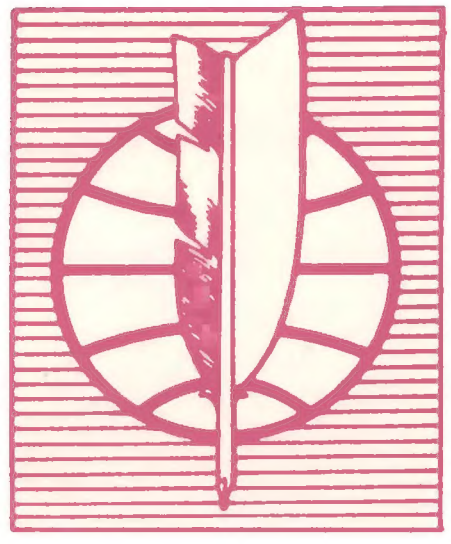
БИБЛИОТЕКА МИРОВОЙ ЛИТЕРАТУРЫ ДЛЯ ДЕТЕЙ

Ф. М. ДОСТОЕВСКИЙ

А. П. ЧЕХОВ



БИБЛИОТЕКА
МИРОВОЙ
ЛИТЕРАТУРЫ
ДЛЯ
ДЕТЕЙ

Ф. М. ДОСТОЕВСКИЙ

Униженные и оскорбленные

Роман

●

А. П. ЧЕХОВ

Рассказы

Вишневый сад

Комедия

●

МОСКВА
„ДЕТСКАЯ ЛИТЕРАТУРА"
1980

Р1
Д70

Scan by Tom Platz

РЕДАКЦИОННЫЙ СОВЕТ
«БИБЛИОТЕКИ МИРОВОЙ ЛИТЕРАТУРЫ ДЛЯ ДЕТЕЙ»

Алексеев С. П.
Алексин А. Г
Барабаш Ю. Я.
Барто А. Л.
Благой Д. Д.
Верейский О. Г.
Виноградов А. А.
Гамзатов Расул
Гончар Олесь
Дехтерев Б. А.
Думбадзе Н. В.
Коржев Г. М.
Леонов Л. М.
Лихачев Д. С.
Ломунов К. Н.
Марков Г. М.
Межелайтис Э. Б.
Миршакар Мирсаид
Михалков С. В.
Мотяшов И. П.
Мустай Карим
Новожилова З. Г.
Пешеходова Г. К.
Прилежаева М. П.
Свиридов Н. В.
Столетов В. Н.
Стукалин Б. И.
Танк Максим
Шолохов М. А.

*

Вступительная статья, составление и примечания
В. И. КУЛЕШОВА

Оформление серии
Б. А. ДЕХТЕРЕВА

Иллюстрации
В. П. ПАНОВА

Д $\frac{70803—310}{М101(03)80}$ Подп. изд.

© Состав. Вступительная статья. Примечания. Оформление. Иллюстрации.
ИЗДАТЕЛЬСТВО «ДЕТСКАЯ ЛИТЕРАТУРА», 1980 г.

В МИРЕ ИДЕЙ И ОБРАЗОВ ДВУХ ВЕЛИКИХ РЕАЛИСТОВ

В томе представлены два писателя-классика прошлого века, Достоевский и Чехов. Каждый из этих гениев русского критического реализма характеризуется своим особенным духом и стилем творчества. Легче обрисовать их своеобразие порознь, чем провести их взаимное сопоставление. И все же перед нами не только яркие индивидуальности, но и явления, внутренне связанные между собой. Сравнение же — лучший способ познания. Таким образом представляется удобный случай убедиться в многообразии богатств русской литературы XIX века, соотношении различных типов ее реализма.

1

Роман «Униженные и оскорбленные» (1861) Достоевского обладает рядом особенностей, которые позволяют в наиболее доступной форме ввести читателя в сложный мир идей и образов великого художника. Роман был написан вскоре по возвращении Достоевского с каторги. Его литературная деятельность, начавшаяся с «Бедных людей» в 1846 году, прерывалась арестом и осуждением через три года по делу революционного общества «петрашевцев», участником которого он был. Теперь, еще пять-шесть лет спустя после каторги, все надо было начинать сначала.

Во второй половине 40-х годов Достоевский уже успел снискать себе широкую известность повестями «Бедные люди», «Двойник», «Белые ночи» и высоко был оценен Белинским. Он был воспринят как один из самых ярких писателей «натуральной школы», то есть реалистической школы, молодых последователей Гоголя. Но в его творчестве сразу же обозначились некоторые тенденции, заставившие насторожиться Белинского. И ученые

до сих пор спорят: то ли Достоевский был неправильно понят критиком, то ли ему пошли на пользу тревоги критика. Речь шла, как казалось Белинскому, о чрезмерном увлечении Достоевского изображением болезненной мнительности своих героев: Голядкина в «Двойнике» (1846), Ордынова в «Хозяйке» (1847). В его произведениях недостаточно четко сохранялась дистанция между героями и автором. С одной стороны, углублялся психологизм и гуманизм в творчестве, открывался человек в «маленьком», забитом чиновнике, а с другой — намечалась увлеченность болезненной психологией героя, которая приглушала социальную мотивировку его поступков и переживаний. Думается, это противоречие у Достоевского оставалось неискоренимым до конца его дней, и оно дает о себе знать даже в его самых великих произведениях. В то же время изображение метаний героев, их «раздвоения», ухода в душевное «подполье» оказывалось у Достоевского только тогда глубоким и значительным, когда он не забывал о социальных основах этих уродств жизни, внушал протест против них. Достоевский, как никто до него, вскрыл много потаенных глубин в человеческой психологии, призвал к ответу самого человека перед своей совестью. Но Достоевский порой с жестокой прямолинейностью делал самого человека главным ответчиком за все несправедливости общества. Необходимой четкости в изображении социального зла и ясной авторской позиции тем более не было в ранних вещах Достоевского. Потому-то Белинский и тревожился, что молодой талант может сбиться с дороги. Возбужденные разнотолки о направлении его дарования раздражали Достоевского и привели к охлаждению отношений с литераторами круга Белинского и самим критиком.

Большие надежды Достоевский возлагал на задуманный им роман «Неточка Незванова» (1849), часть которого была напечатана. В романе, полагал он, должны были со всей полнотой проявиться наблюдательность, сострадание к бедным и возвеличивание простых, униженных людей над теми, кто ими правит. Но докончить «Неточку Незванову» не удалось: вскоре последовал арест.

Сразу же после семипалатинской солдатчины, в 1859 году, написанные Достоевским повести «Дядюшкин сон», «Село Степанчиково и его обитатели» хотя и имели обличительный характер, содержали еще слишком много развлекательных, юмористических моментов. Достоевский знал, что цензура бдительно следит за ним, поэтому решил не раздражать ее острой критикой общественного уклада. Но написанный вслед за повестями роман «Униженные и оскорбленные» был уже смелым дерзанием писателя. Наконец-то ему удалось выступить с завершенным романом, построенным на новых впечатлениях от жизни. Достоевский надеялся этим произведением заново заявить о себе в литературе,

утвердить в ней свое имя. Он предлагал теперь целую концепцию понимания жизни, систему оригинального творчества, в которой все элементы выступали в гармоническом единстве. Судьба же готовила тревоги. Он думал положить конец начатым вокруг себя спорам, а на самом деле возбудил их в небывалых размерах. Достоевский и до сих пор вызывает острые дискуссии. Как верно пишет один из советских исследователей Достоевского Б. Бурсов: «Уже целое столетие вырабатываются способы чтения и восприятия Достоевского». Спорят о загадках его личности, своеобразии его художественной манеры, о проблемах, которые он ставил, о его гуманизме, о его «жестокости».

После каторги взгляды Достоевского резко изменились: он отказался от социалистических и революционных идей, которыми увлекался в кружке М. В. Петрашевского. Теперь ему казалось, что он лучше познал Россию и русский народ и нужно искать примирение всех сословий в некоем высшем христианском братстве. Достоевский чрезвычайно преувеличивал возможности расцвета русского общества, улучшения жизни бедных людей в результате начавшихся царских реформ, главная из которых — отмена крепостного права. Новая концепция жизни Достоевского, конечно, была следствием отчаяния: ему хотелось опереться на какие-то реальные процессы в русской жизни. Революционное же брожение он считал иллюзорным, беспочвенным, не имеющим корней в русском народе. Идеи революционного разрушения считал заемными, пришедшими с Запада, плодом «скитальчества» мыслящих русских людей в чужих краях. Настало время вернуться на «почву» (отсюда и название всего учения Достоевского — «почвенничество»), к своим домашним делам, к созидательной работе. Достоевский верил, что отмена крепостничества и другие царские реформы объединяют русских людей в «общем» деле, кладут конец всяким раздорам между крестьянами и помещиками. Нужно всеми силами стараться не посеять новых раздоров. Писателю казалось, что революционеры как раз и возбуждают раздоры, искусственно подогревают вражду.

В этой обстановке Достоевский хотел активно влиять на русское общество в духе своей проповеди. Вместе со своим старшим братом Михаилом в 1861 году Достоевский начал издавать журнал «Время» (потом они издавали журнал «Эпоха»), название которого явно должно было конкурировать с органом демократии — некрасовским «Современником». Достоевский хотел завладеть инициативой влияния на умы. Но, преследуя эту цель, он ставил себя в сложные отношения с русской демократией, с Чернышевским, Добролюбовым и вступал в открытую борьбу с ними.

Сеятелями раздоров, по мнению Достоевского, оставались и помещики, не хотевшие добровольно отказываться от своих прав,

те новые предприниматели, которые нарождались после реформы. Он спорил с демократами о путях преобразований, но он спорил и с консерваторами, половинчатыми либералами и боролся за полную переделку русской жизни. Он заявлял, что «лик мира сего» ему не нравится. Со всей страстностью и огромным талантом реалиста Достоевский начал исследовать русскую жизнь. Повсюду он натыкался в ней на диссонансы и противоречия. И тут его «проповедь» примирения сословий заглушалась воспроизводимыми им же самим голосами живой жизни, гневно требовавшими устранения несправедливости.

Достоевский оказывался в отчаянно противоречивом положении. Как писатель-реалист он продолжал традиции «натуральной школы», Гоголя и, в сущности, обличал ложь и насилие, что осуществляли в своем творчестве и Некрасов, и Щедрин, и Толстой. Сам он становился все более грозной, обличительной силой. Но как проповедник «почвенничества» Достоевский ставил лишние препоны развитию критического реализма в русской литературе и ослаблял его в своем собственном творчестве.

«Униженные и оскорбленные» — первая ступень этой великой и противоречивой деятельности Достоевского. Роман был напечатан в журнале «Время» как программное произведение целого направления в литературе. Достоевский увлеченно писал один роман за другим. «Униженные и оскорбленные» явились подступом к так называемым «идеологическим» романам Достоевского, составившим вершину его творчества: «Преступление и наказание», «Идиот», «Бесы», «Подросток», «Братья Карамазовы».

Название романа «Униженные и оскорбленные» стало крылатой формулой, характеризующей пафос творчества Достоевского: внимание к бедным людям, «боль о человеке». Эту особенность отмечал у него Добролюбов в статье «Забитые люди», посвященной разбору романа. «Униженные и оскорбленные» — произведение, направленное против казенно-бюрократического режима, против хищников наживы, против цинизма и насилия.

Понятие «идеологический роман» у Достоевского имеет две далеко не равноценные стороны: проповедь «почвенничества» и постановка острых вопросов русской жизни, освещение страстных споров между людьми различных идеологических течений. По отношению к этим течениям Достоевский стремится в романах определить свои позиции, вот почему в них много идеологических споров. И это придает романам захватывающий интерес. Но понятие «идеологический» имеет и еще одну сторону, которая оказывает влияние на построение художественных образов. В основе характера героев Достоевского всегда заложена некая изначальная идея, всегда ими управляет страстное стремление внедрить ее. Идея составляет «вторую натуру» героя. А если взять всех героев с их идеями, то в романах Достоевского обна-

руживается «многоголосие», спор героев, столкновение идей. И если голос героя меняется, мы всегда это замечаем: герой ведь может спорить и с самим собой. Один из ярких исследователей Достоевского, литературовед М. М. Бахтин, назвал указанную особенность романов писателя «полифонизмом». «Полифонизм» и означает «многоголосие». Мы его замечаем уже в «Униженных и оскорбленных».

В основу романа впервые положено Достоевским автобиографическое начало. Повествование ведется от имени некоего Ивана Петровича, писателя, доброго человека, испытавшего потрясения в жизни. В рассказчике угадывается много черт самого Достоевского. В первой публикации роман имел подзаголовок: «Из записок неудавшегося литератора».

Слово «неудавшийся» намекало на прерванную арестом и ссылкой литературную деятельность Достоевского. Автор совмещает в рассказе о карьере и настроениях Ивана Петровича события своей собственной литературной жизни как до каторги, так и после нее. Иван Петрович написал некую повесть об обездоленных людях, и это нас, конечно, отсылает к «Бедным людям» Достоевского. Упоминается в романе некий критик Б., который лестно отозвался о первой повести Ивана Петровича, и в нем мы угадываем Белинского. Самое имя героя, Иван Петрович, весьма многозначительно в глазах Достоевского: его характер некоторыми своими чертами восходит к характеру Ивана Петровича Белкина, выведенного Пушкиным в повестях,— Иван Петрович — олицетворение кротости, порядочности. Достоевский впоследствии будет не раз оперировать понятием «Иван Петрович Белкин», столь родственным его собственным представлениям об идеале гуманности и христианском смирении. Не будем здесь вдаваться в рассуждение, насколько такой Белкин соответствует пушкинскому Белкину: перед нами, конечно, некоторая переработка Достоевским на свой лад пушкинского образа.

Вслед за Добролюбовым принято считать, что рассказчик в «Униженных и оскорбленных» не вполне удался: он напоминает наперсника из старинных трагедий. Некоторый схематизм образа Ивана Петровича очевиден, но, кажется, следует придать большую ценность автобиографическому началу, лежащему в его основе. Рассказчик в будущем романе «Бесы» сильно измельчает, станет частицей серой окружающей среды, передатчиком слухов, сплетен, сторонним наблюдателем главных событий. Несколько серьезнее будет рассказчик в «Братьях Карамазовых», но и здесь он, в основном, обыватель. Совсем иное дело — Иван Петрович. Он, конечно, неравнозначен самому Достоевскому, но он центр всех событий в романе: проповедуемые им нравственные начала очень высоки и составляют сущность его натуры.

Незримое присутствие Достоевского всегда угадывается в романах. Но в столь открытом виде оно предстает впервые в «Униженных и оскорбленных». Присутствия двойника — автора еще не было в «Бедных людях», «Двойнике», «Хозяйке». А в «Униженных и оскорбленных» иное дело, он — сюжетный герой, непосредственный участник действий. В этом видна переходность формы романа «Униженные и оскорбленные», стоящего между двумя эпохами творчества Достоевского. То нравственное начало, которое олицетворяет собой Иван Петрович в «Униженных и оскорбленных», в последующих романах будет проявляться в более сложных формах, в их общем тоне, в выводах из романа. Но разработку этого общего властного тона «полифонии» Достоевский должен был начать со своего героя-двойника, наделив его некоторыми чертами автобиографии и своим новым пониманием жизни.

Есть еще одна особенность романа «Униженные и оскорбленные»: это «фельетонный роман». Сам Достоевский готов был каяться, узнав, что его приятель, покойный критик Ап. Григорьев, упрекал его за эту фельетонность. Достоевский выгораживал только какие-нибудь «полсотни» страниц в романе, которыми можно гордиться, все остальные находил натянутыми. И, как часто бывает с авторами, он подвергал себя чрезмерной самокритике: многие образы не выношены, слеплены в спешке. Надо сказать, что мы можем от себя продолжить некоторые критические замечания об «Униженных и оскорбленных». Многие из них уже сделал Добролюбов. Например, несколько неправдоподобны, порой сентиментальны чувства между молодыми героями. Такова любовь Наташи к Алеше, когда она узнала, что Алеша бросает ее и женится на Кате. И чувства самого Алеши, то увлекающего Наташу, то спрашивающего у Ивана Петровича, кого ему нужно любить: Наташу или Катю. Но при чем же тут фельетонность и что она такое?

Понятие «фельетонный роман» возникло в 40-х годах прошлого века. Таков был популярный роман французского писателя Эжена Сю «Парижские тайны»; следы его влияния и чувствуются в «Униженных и оскорбленных». Черты такого романа обнаруживаются и в произведениях Чарльза Диккенса, который, в свою очередь, также оказал влияние на Достоевского, в частности на роман «Униженные и оскорбленные». Такие «фельетонные романы» обычно публиковались отрывками в газетах в течение года, и, как указывает Л. П. Гроссман, «фельетонный роман» предполагал особую выкройку каждого куска, с заострением интереса в конце, с театральными эффектами, с прерванными кульминациями, упрощенными, плакатно вычерченными типами. Достоевский использовал многие приемы «фельетонного романа», художественно их усовершенствовав. Серия эффектных сцен,

причудливое сочетание глубокого психологизма с условным обозначением чувств — все это становилось принципом динамичного стиля Достоевского. В основе почти всех его романов лежат сенсационные, нередко криминального характера события, которые он черпал из газетной уголовной хроники. Достоевский считал «эксцентричные» (его любимое словцо) события теми яркими вспышками, которые освещают глубины жизни. В «Униженных и оскорбленных» мы видим переход сырой плакатно-броской формы «фельетонного романа» к более высокой ее степени развития, к «фантастическому реализму», «реализму в высшем смысле» (термины самого Достоевского).

Первое определение не означает фантастического в обычном смысле, хотя Достоевский был мастером изображать галлюцинации, видения, сны, особые формы распада человеческой психики. Нет, «фантастический реализм» означает иное: изображение необычных, из ряда вон выходящих событий, связанных с преступлением, насилием, унижением, оскорблением человеческого достоинства. Описываемые события кажутся стоящими на грани фантастики, и читатель спрашивает: «Неужели это возможно?» Достоевский полагал, что типические черты жизни проявляются наиболее ярко именно в особенных, ошеломляющих случаях. Он считал катастрофические всплески жизни глубоко закономерными для современного взбудораженного мира, в котором господствует самое изощренное насилие и человек не защищен от роковых случайностей. Достоевский называл свой реализм «реализмом в высшем смысле», поскольку придавал большое значение заострению изображаемых событий, безбоязненному заглядыванию вперед, предвидению возможного развития событий и характеров. Он исходил из представления о «текучести», изменяемости человека. И действительно, его реализм особенный и стоит на высочайшей ступени.

«Униженные и оскорбленные» — первый русский многоплановый роман, построенный на параллельном развитии интриг, на их переплетении, изображении разных стадий духовного развития героев.

Главная линия связана с судьбой семьи Ихменевых: старик Ихменев Николай Степанович, его жена Анна Андреевна, их дочь Наташа. Вторая линия — семейство Смитов: старик-англичанин, предприниматель Смит, его дочь, убежавшая из дома с русским князем, брошенная им и родившая от него дочь Нелли. Третья линия — семейство Валковских: князь Петр Александрович, рано овдовевший и затем соблазнивший дочь Смита, отец Нелли, бросивший ее на произвол судьбы, его сын от первой жены Алеша, которого он теперь хочет женить на богатой невесте.

Все линии переплетаются в ходе романа; есть в нем два центра: символ добра — Иван Петрович и символ зла — князь Вал-

ковский. В русской литературе еще не было произведения со столь усложненной интригой.

Взаимоотношения между молодыми героями первоначально создавали у читателя впечатление о возможности победы искреннего, непосредственного чувства над корыстными расчетами. Социальные перегородки, казалось, начинают рушиться, и наступает утро новых, возвышенных привязанностей. Перед нами словно новые люди времени, перешагнувшие через вековую пошлость и грязь. Влюбляется в дочь патриархальных дворян Наташу Ихменеву Иван Петрович, писатель, человек новых веяний, замечательных душевных качеств, но тяжелой жизненной судьбы. Сама же Наташа, почувствовав нежную привязанность к аристократическому юноше Алеше Валковскому, уходит к нему, бросив родительский дом. Лишена какой-либо корысти и Катя, обладательница трехмиллионного приданого: она слушает речи молодых людей, одержимых проектами осчастливить человечество смелыми преобразованиями общества на разумных, как им казалось, началах; она даже подумывает дать деньги на их проекты. Уступчивость в отношениях между соперницами, Наташей и Катей, словно пророчит золотой век в отношениях между людьми, погрязшими в раздорах и ненависти. И Алеша, поставленный между Наташей и Катей, оказывается не обманщиком, не соблазнителем, а, скорее, жертвой выбора и по доброте души никак не хочет нанести раны ни той, ни другой из любимых им юных барышень.

Будто что-то сдвинулось и в мире стариков. Сначала добрым филантропом выставляет себя князь Валковский, нанимая управляющим своими имениями нуждавшегося в средствах Ихменева. Он отсылает сына Алешу в здоровую деревенскую семью помещика Ихменева и поначалу одобряет благотворное влияние на сына этого скромного семейного уклада, привязанность к Алеше целомудренной Наташи.

Но идиллии предстояло вскоре разрушиться. Деньги, расчет властно продиктовали свои условия.

Началась бурная перегруппировка чувств, настроений, отношений. Князь Валковский обвиняет Ихменева в растрате и присвоении денег и затевает судебную тяжбу, которую выигрывает. Ихменевы разорены. Проклятие отца повисает над Наташей. Мучается любящий ее по-прежнему Иван Петрович. Появляется соперница Катя, и старик Валковский заводит интриги, чтобы женить на ней сына. Алеша порывает с Наташей, и брак его с богатой невестой — дело решенное.

От добра к злу развиваются отношения. То, о чем говорит заглавие романа, оказалось лейтмотивом всех событий. Страдают Наташа и Нелли, отец Наташи и мать Нелли, ее дед, старик Смит, доживающий свой век в полном одиночестве. В грязь и

нищету брошена маленькая Нелли, натерпевшаяся оскорблений в доме мещанки Бубновой и живущая подаяниями на улице. Другие жильцы также много терпят от Бубновой: это люди бедные, запуганные, искалеченные жизнью.

Образ Нелли наделен большой пронзительной силой: Нелли умирает, так и не простив своего преступного отца. Недаром Добролюбов выделял образ Нелли в романе. Достоевского всегда сокрушали в ряду социальных неустройств особенно страдания детей-сирот, существ совсем беззащитных.

Большим художественным открытием Достоевского был образ князя Петра Александровича Валковского, карьериста, циника, человека развратного и коварного. В нем воплотились черты хищника-приобретателя, которым реформы открывали все двери. Валковский не брезговал никакими средствами для достижения своих целей. Много важных оттенков подмечает в его характере Достоевский. Везде сопутствует ему скандальная слава. Женился он на деньгах, на дочери купца, которую не любил и скоро свел в могилу. Родственные связи поддерживал с таким же распутным человеком, как он сам, графом Наинским. Через искательства у влиятельных людей высшего света ему удается продвинуться на дипломатическую службу за границей. Тут-то и появилось корыстное желание присвоить капитал дочери Смита, сбежавшей с ним от отца. Этот тонко введенный в роман английский колорит, связанный со стариком Смитом, помогает увидеть в перспективе сущность образа Валковского: перед нами не прежний русский барин-домосед, а делец европейского лоска. Он хочет слабохарактерного ветрогона сына Алешу женить на падчерице графини. О чувствах у сына князь не спрашивает и даже посмеивается над его покорностью. С циничной откровенностью Валковский признается, что любит темный разврат, «с грязнотцой», что он «уже давно освободил себя от всех пут и даже обязанностей». Впрочем, он делает важную поправку: «Я считаю себя обязанным только тогда, когда это мне принесет какую-нибудь пользу». Его девиз — «Люби самого себя!» Никаких идеалов не должно быть. Валковский считает, что время работает на таких людей, как он: «Все на свете может погибнуть, одни мы никогда не погибнем».

Валковский носит несколько масок, и трудно иногда распознать, что по-настоящему выражает его лицо. О нем рассказывается много историй, одна отвратительнее другой, он внешне умеет поддерживать свое достоинство и пытается компрометирующие его слухи опровергать. Но всегда оставалась в слухах значительная доля правды, и всякая новая последующая версия нисколько не выгораживала его, а лишь показывала, как далеко может заходить цинизм этого развращенного человека. Его «добрые» поступки имеют большей частью обманное значение.

Он сначала ошеломляет Наташу, объясняя возможность ее счастливой жизни с Алешей. Но тут же вероломно обманывает обоих: воспользовавшись доверчивостью Наташи, исподволь учит лицемерию Алешу. Позже Наташа поняла, что истинная цель князя — разлучить ее с Алешей. Наташу возмутили грязные предложения князя стать любовницей его приятеля, старого графа, и принять отступные десять тысяч. Это как раз та сумма, которую старик Ихменев по суду должен выплатить князю. И Валковский цинично признается Наташе, что он подкупил суд. Оказавшийся в момент разговора в комнате Иван Петрович дал пощечину князю. Но вызова на дуэль не последовало: князь сбежал, поспешно захватив со стола деньги. Увильнул он и от дуэли, на которую вызвал его отец Наташи.

Чрезвычайно противоречив образ Алеши Валковского. Среди ученых до сих пор ведутся о нем споры. Указание Добролюбова на «невыдержанность характеров» в романе больше всего касается образа Алеши. Даже близкий Достоевскому критик О. Миллер называл Алешу «отвратительным барчонком-вертопрахом», «плаксой». Его возвышенное отношение к Наташе и Кате приобретает со временем приторно-сахарный оттенок. Наташа не смеет ни в чем упрекнуть Алешу, надеясь, что его чувства к ней не ослабеют, что он не оставит ее. Сумел Алеша расположить к себе и Катю, которая вовсе не чванится своим богатством и настолько предоставляет ему самому выбор, что желает даже познакомиться с Наташей. Можно приписать все эти отношения молодости героев, их незнанию жизни и самих себя. Все они, конечно, предельно искренни в своих изъявлениях. Но какой объективный смысл этих изъявлений? Примешивается ли тут еще и боязнь полной правды? Вопрос этот большой и важный. Молодость, как известно, имеет свои права. Решения в таких вопросах должны быть найдены изнутри, подсказки со стороны обычно мало действуют. Молодость плохо слушает старших и с большой легкостью ломает себе жизнь. Роман Достоевского поучительный и, как всегда, «предупреждение».

Что же такое Алеша? Конечно, человек избалованный, слабовольный, размазня. Его молодость искупает многое: он, несомненно, искренен в своих метаниях между Наташей и Катей. Кто не был молод, влюблен, не запутывался в чувствах? Но один из самых поучительнейших выводов из романа Достоевского заключается в том, что человек слабохарактерный легко делается жертвой коварных происков, незаметно для себя становится орудием жестокости и жестоким сам. Именно Алеша, а не его отец наносит главный, бессердечный удар Наташе. Тот, кто всмотрится в страницы, где Алеша ищет всевозможные поводы, чтобы отдалить последнее объяснение с Наташей, и не знает, на что решиться и куда толкнет его стечение обстоятельств, тот заметит, что

Достоевский нисколько не выгораживает своего героя, напротив, со всей глубочайшей проницательностью показывает отвратительные черты человеческого безволия. Заглавие романа приобретает дополнительный важный смысл: у людей безвольных униженным и растоптанным оказывается человеческое достоинство. И многое зависит от того, насколько они сами чувствуют это. Если же не чувствуют, то все для них потеряно. Они — не люди.

Выведенные в «Униженных и оскорбленных» образы получили развитие в последующем творчестве Достоевского. Старший Валковский получит продолжение в Свидригайлове («Преступление и наказание»), Ставрогине («Бесы»), Версилове («Подросток»). Алеша — отчасти в князе Мышкине («Идиот»), в Аркадии Долгоруком («Подросток»), может быть, отчасти в Алеше Карамазове («Братья Карамазовы»). Проведенные нами сопоставления имеют, разумеется, не абсолютное, а лишь относительное значение. Идеологическое же начало в «Униженных и оскорбленных» выражено, с одной стороны, в той «философии жизни», которую проповедует князь Валковский, а это — философия века наживы; а с другой — в той морали добра и заступничества за униженных, которую внушает читателю всем смыслом своего романа автор.

2

Чехов вошел в литературу в 80-х годах XIX века сразу как новатор, во многом не похожий ни на предшествующих, ни на окружавших его писателей. Он был мастером «малой формы», короткого рассказа. Он не создавал больших эпических полотен, как Достоевский и Толстой. Отличался он и тем, что не навязывал своих взглядов читателям. Некоторым современникам, как, например, критику-народнику А. М. Скабичевскому, даже казалось, что Чехов вообще не имеет взглядов, что у него нет никаких идеалов. Скабичевский лишь со временем склонился к мнению, что все же Чехов «идеалы» имеет. Другие думали, что Чехов только «чистый художник», рисующий картины, нравы, типы, а выводов не предлагающий. Наиболее проницательные критики замечали, что манера писать у Чехова особенная: Чехова еще при жизни называли «реалистом-импрессионистом», художником, который рисует вещи через впечатления от них, придает большое значение деталям, личному, субъективному восприятию. Отчасти это напоминало Гоголя, но выглядело подчеркнуто достоверно, скупо, без нарочитой живописности. У Чехова особая свежесть наблюдений, неожиданность эпитетов, сравнений, демонстративное высмеивание штампов. Новостью был и чеховский

юмор, отличавшийся от гоголевского и щедринского тем, что выглядел более добродушным, житейским. Этот юмор вытекал из природы самих вещей, их соотношений, сиюминутного положения личности.

Многие особенности творчества Чехова, его борьба с пошлостью, раболепием, распадом духовных ценностей, с одной стороны, и мужественное отстаивание высоких освободительных заветов демократии шестидесятых годов, столь обесцененных позднейшим движением народников и буржуазных либералов, с другой, определялись эпохой, в которой он жил. С особенной насмешкой Чехов критиковал тех, кто проповедовал «теорию малых дел». А она была весьма популярной среди русской либеральной интеллигенции в эпоху политической реакции, наступившей в стране после казни народовольцами Александра II в 1881 году. Передовое движение было разгромлено, начались годы спада, отказа от широкой борьбы. С «теорией малых дел» мы встречаемся в рассказе Чехова «Дом с мезонином», в спорах, которые ведет художник с учительницей Лидией Волчаниновой, сухой и деловитой педанткой, всецело занятой аптечками, земскими делами, полагая, что в этом смысл жизни, что это и есть помощь народу. В России развелось множество «хмурых» людей, потерявших веру в прогресс. Их также правдиво изображал Чехов. Но в 90-х годах обозначился общественный подъем в России, на арену выступил рабочий класс, все заметнее становилось быстрое движение страны к буржуазно-демократической революции. Чехов умер в 1904 году, накануне революционного взрыва, но он чутко улавливал процессы, связанные с надвигавшейся бурей.

Чехова интересовала жизнь среднего слоя в русском обществе, который состоял из интеллигенции, нарождавшейся буржуазии, разорившихся помещиков, поднявшихся вверх крестьянских слоев, мещанства. Чехова интересовали процессы брожения в этом среднем слое, где жили еще какие-то гражданские традиции прошлого и где они разлагались, где слово расходилось с делом. Он изображал жизнь людей этого слоя, полную инерции, автоматизма, страшную в своем равнодушии к народу. Творчество Чехова имело обличительный характер, в этом смысле он, как и Достоевский, Толстой,— критический реалист. Но Чехов наблюдал в этом среднем слое и зарождение людей сильной воли, мечтаний, смелых порывов. Критика существующего и утверждение светлого будущего России все сильнее звучали в творчестве Чехова.

Как это часто случается с гениями, они, входя в литературу, сразу привносили свой особенный взгляд на вещи, свои темы, идеи, свой стиль, резко отличающиеся от традиционных. Вот что писал Чехов в 1886 году своему брату Александру, тоже литератору: «Брось ты, сделай милость, своих угнетенных кол-

лежских регистраторов! Неужели ты нюхом не чуешь, что эта тема уже отжила и нагоняет зевоту! И где ты там, у себя в Азии, находишь те муки, которые переживают в твоих рассказах чиноши? Истинно тебе говорю: даже читать жутко!»

Чеховский рассказ «Смерть чиновника» внешне похож на гоголевский. В основу положен анекдотический случай: мелкий чиновник, по фамилии Червяков, чихнул в театре на голову сидевшего впереди него превосходительства. Извинился, но после того обуял Червякова страх, не пожалуются ли на него по службе, не будет ли ему чего за это. Трепет чеховского «маленького человека» — трепет в манере гоголевских героев. Местами и фразы построены по законам гоголевского комизма: «Чихать никому и нигде не возбраняется. Чихают и мужики, и полицмейстеры, и иногда даже и тайные советники. Все чихают». Но за самооправданиями скрывается страх о наказании. Червяков назойливо извиняется, приходит в дом к его превосходительству: «А то подумают, что я плюнуть хотел. Теперь не подумают, так после подумают!..» Тем не менее в этой, может быть, самой гоголевской вещи у Чехова все пронизано уже иным, чеховским, комизмом. Страдания Червякова даны не всерьез. Мы ему не сочувствуем: это страдания от въевшейся пошлости.

Пошлость высмеяна также в рассказе «Толстый и тонкий». В простую радость встречи двух бывших гимназических приятелей проникает приторная почтительная кислятина со стороны того, который оказался чином меньше. Этот «тонкий» не унижен и не оскорблен, он добровольно раболепствует: так насквозь проела его ржа холопства. В «Хамелеоне» же показано приспособление полицейского надзирателя Очумелова к обстоятельствам, он подло меняет маски в угождение господам и толпе. А унтер Пришибеев в одноименном рассказе имеет, наоборот, одну застывшую маску, маску мерзкого угодничества, и он будет носить ее всю жизнь, хотя и сменит сто профессий: мировой судья, отставной каптенармус, пожарный, швейцар в мужской гимназии. Пришибеевы — везде, они оскорбляют всех и не зря уверены, что без них развалится весь строй: «Наррод, расходись! Не толпись! По домам!»

Особая позиция обозначилась у Чехова в изображении мужика, обойти которого он не мог. Вся литература занималась мужиком: ведь это была эпоха народничества. Чехов не идеализировал, как народник Златовратский, «мужиков», не призывал «опроститься», как Толстой. Он подхватил суровый тон изображения народной жизни, который еще в начале 60-х годов приветствовал Чернышевский в рассказах Н. Успенского.

В рассказе «Злоумышленник» Чехова забитый, темный мужичок Денис так и не понимает на допросе и наверняка не поймет и на суде, почему нельзя у железнодорожных рельсов отвинчи-

вать гайки, хотя бы из гаек и получались хорошие грузила для рыбной ловли. В «Мужиках» Чехова видим то, что В. И. Ленин называл «идиотизмом деревенской жизни». Какое уж тут «хождение в народ» за правдой, за бодростью духа, которыми занималась молодежь 70-х годов. Лакей при московской гостинице «Славянский базар» Чикильдеев попытался было устроиться в деревне, в родном гнезде отцов и дедов, но ему страшно жить среди мужиков, голодных, пьяных, озверелых. Чикильдеев умирает, а жена его с ребенком идет просить милостыню на дорогах. Весь старый быт развалился. Более сильного удара по иллюзиям народников нельзя было нанести.

Чехов в рассказах вывел несметное число героев из самых различных слоев русского общества, различных профессий и занятий.

Одна из важнейших тем у Чехова — тема человеческого общения, поисков смысла жизни. Перед нами не юморист-развлекатель, а писатель вдумчивый, философ по складу ума. Он заглянул в жизнь людей всех возрастов и проник в самые различные жизненные трагедии.

Тоска по любви, взаимности пронизывает рассказ «Душечка». С легкой иронией автор изображает Оленьку, наделенную нежным сердцем, но не знающую пристанища в жизни. Разбитая жизнь любящей женщины показана в рассказе «Егерь». Причем особенно ненавистным было для Чехова лакейское презрение к человеку, его чувствам, а таков в рассказе графский прислужник «егерь» Егор, бросивший избу, хозяйство и любящую жену. В страшном одиночестве томится в чужой городской семье мальчик на побегушках Ванька Жуков, решившийся пожаловаться на судьбу свою в письме «на деревню дедушке» («Ванька»). А няньке Варьке спать не дают: она всю ночь качает «ихнего», то есть хозяйского, ребеночка, а потом крутится весь день в работе. Наконец измученная Варька находит избавление — душит «ихнего» ребеночка,— и тогда наступает покой, тишина сумасшествия и дикого веселья. Враг ее, конечно, не ребеночек, он тут ни при чем, а жизнь взрослых, навалившаяся на Варьку, еще совсем подростка («Спать хочется»). Некому поведать печаль, тоску свою по умершему сыну извозчику Ионе Потапову: каждый седок занят своими ничтожными делами, из-за черствости души или не внемлет его рассказу, или подсмеивается над ним. Пришел Иона в конюшню, лошадь с блестящими глазами жует и слушает его, дышит на руку хозяина: «Иона увлекается и рассказывает ей все...» («Тоска»). Здесь тоже жизнь на грани сумасшествия. А люди где?..

Подобные рассказы-притчи начинают развертываться Чеховым в целые трагедии неустроенных судеб: герои выбирают спутника своей жизни, решают, как жить, правильно или ложно

понимают смысл бытия, встречают подчас неодолимые препятствия. Это самые глубокие, полные философского смысла произведения Чехова.

Проглядела свое счастье Ольга Ивановна, по-пустому увлекшаяся живописью, музыкой, компаниями поклонников, пренебрегшая мужем. А между тем ее муж врач Дымов, скромный труженик, и был настоящим человеком, ученым, полным чувства, самопожертвования, не пожалевшим своей жизни для спасения другого. Этот-то незаметный Дымов и был наделен истинным величием («Попрыгунья»). А в «Учителе словесности» бежит от засасывающего мещанского болота семьи Шелестовых молодой мыслящий человек, понявший, что его женитьба на ограниченной Манюсе была ошибкой; «честная чичиковщина» его не устраивает, ему нужна настоящая общественно полезная деятельность. Бежит от мужа скряги и чинуши, мечтающего только об орденах, молоденькая Анюта, пожелавшая в вихре жизни хоть раз упиться счастьем, в котором, может быть, и погибнет («Анна на шее»).

Чехов со временем все чаще поручал самим героям решать вопросы выбора пути. Он показывал, как счастье, начинавшее было улыбаться героям, по неожиданным причинам рушилось.

«Дом с мезонином» написан с особенной, свойственной Чехову музыкальностью. Мисюсь верила страстным мечтам художника, она своим женским чутьем угадывала все его мысли, сливалась с ними, это была бы и жена, и сподвижница во всех его исканиях. Но Мисюсь безжалостно разлучили с возлюбленным: она была слишком доверчива, открыла родным свои сердечные тайны, и ее возлюбленный художник остался неприкаянным. Это была любовь, прошедшая рядом: «Мисюсь, где ты?»

Трагедия выбора и утверждения чувств с наибольшей силой изображена Чеховым в рассказе «Дама с собачкой». Рассказ отчасти напоминает толстовскую «Анну Каренину», хотя с некоторыми поправками: Гуров все больше и больше увлекается Анной Сергеевной; героиня не кончает самоубийством. Но мучительно встает перед любящими вопрос: как быть? Оба связаны браком: она замужем за чиновником, которого не любит, а он женат, имеет детей, но жену не любит. Мимолетная курортная встреча Гурова с Анной Сергеевной переросла в роман, и со временем им обоим становилось ясно, что они созданы друг для друга и разлука для них — смерть. Но сколько мучительной тоски ими пережито в ожидании запретных встреч, как коротки эти свидания, как давят героев общепринятые условности внешнего мира! Героям предстоит нелегкий путь. И Чехов оставляет читателя в раздумье: чем же кончится этот имеющий все права на жизнь роман, хватит ли у героев сил пройти все испытания, не потеряв друг друга?

В 1890 году Чехов совершил поездку на Сахалин. Совершенно

добровольно, чтобы посмотреть этот только что тогда открывшийся каторжный край. Чехов уже был признанным писателем, дела его шли хорошо; болезнь, чахотка, которая позднее свела его в могилу, еще не давала себя знать. Он плыл по рекам, ехал по мерзлой сибирской земле на лошадях и, наконец, переправился через пролив на Сахалин. Чехов всегда преклонялся перед людьми подвига: Пржевальским, Невельским. Он считал, по-видимому, свою литературную деятельность еще недостаточной для подвига. Захотелось на время оставить литературу и сделать что-то практическое, осязаемое, до очевидности полезное. Риск и самопожертвование во время поездки были уже сами по себе подвигом. Чехов проявил огромную любознательность, разговаривал с каторжанами, изучал их судьбы, произвел почти полную перепись населения на Сахалине.

Поездка на Сахалин обогатила Чехова знанием жизни. Отчетливо наметились новые резкие полюсы в его творчестве: особенная суровость тона в описании случаев текущей русской жизни, как бы напоминающих их «просахалинские» типы, и изображение героев-мечтателей, возвышающихся над буднями, одержимых идеей служения благу, думающих о будущем России. Эти полюсы со всей очевидностью связаны между собой: чем суровее тон, тем страстнее мечта. Яснее стала выявляться позиция автора в решаемых вопросах.

Сахалинская печать лежит на рассказе «В ссылке», в котором сталкиваются два мнения о смысле жизни: Семена, прозванного, словно в насмешку, Толковым, который растоптал верования в лучшую жизнь, и татарина, не расстающегося с мечтой. Такая же печать лежит и на «Палате № 6»; здесь самый зачин чисто сахалинский: «Эти гвозди, обращенные остриями кверху, и забор, и самый флигель имеют тот особый унылый, окаянный вид, какой у нас бывает только у больничных и тюремных построек». В рассказе искусными штрихами передается гнетущая атмосфера, царящая во флигеле для умалишенных. Сюда попадают люди мыслящие, самых здравых идей, такие, как, например, Громов. Рассказ воспринимался читателями того времени как символическое изображение царской России. В юности этот рассказ читал В. И. Ленин, и именно такое впечатление он произвел на него. Сторож Никита, добровольный держиморда, пришибеев, олицетворение полицейского режима, избивал больных. Попал сюда и доктор Рагин, лечивший Громова, с которым проводил часы в глубоких беседах, ибо Рагину не с кем было по-человечески поговорить. Вскоре ему самому приписали умопомешательство, и Никита теперь бьет своего бывшего начальника. А между тем завзятый карьерист карабкается на оставленное Рагиным место, и общий порядок торжествует. Страшные картины стяжательства, убийства рисует Чехов в рассказе «В овраге».

Но у Чехова с 90-х годов появилась перспектива будущего, положительные герои. Эти перемены в творчестве были связаны с общими процессами в стране, шедшей к своему революционному взрыву. Мечта выражалась у Чехова в несколько отвлеченной форме, реальных путей в будущее он не знал. Но Чехов укреплялся в убеждении, что оно есть.

В рассказе «Студент» герой вызывает читательские симпатии тем, что учится думать о смысле жизни, улавливать связь времен. Простые, встреченные им в поле женщины, копавшие картошку, которым он рассказал древнюю библейскую легенду о всечеловеческом братстве, поверили ему, взволновали его; это показало юноше, что есть живая преемственность преданий между поколениями людей. Чехов в «Черном монахе» готов даже в полуфантастической форме «приподнять» своего героя, магистра Коврина, над действительностью, чтобы показать: люди мечты больше люди, чем те, кто довольствуется буднями и не задается общими вопросами. Коврин — философ, звание «магистр» должно, видимо, придать ему значение Фауста, существа более возвышенного, чем простые смертные. Коврин хочет выработать такую концепцию жизни, которая способна будет «подвинуть человечество на тысячу лет вперед». Пусть его замысел не осуществился, пусть герой сошел с ума, но дерзание человеческого гения Чехов приветствует. Песоцкий — в том же рассказе ученый-садовод — снабжает рынок яблоками. Научная заняТость Песоцкого сознательно приведена Чеховым по контрасту с еще более высокими духовными стремлениями Коврина. Такое противопоставление весьма характерно для Чехова. Мы видим его и в «Доме с мезонином», и в «Крыжовнике». Тот «цветущий сад», который олицетворял для Чехова будущее России, ничего общего не имел с садами, насаждаемыми для потребностей желудка, мещанских вкусов и уюта. Тут и сама наука приземлена. Чеховские «сады» — символы, ибо «все в человеке должно быть прекрасно», все, что служит ему. Такие «сады» сродни идеальным мечтаниям Ковриных, Иванов Ивановичей Чимшой-Гималайских. Нужно высоко подниматься над повседневностью, чтобы заглядывать далеко. Мечтатель у Чехова никогда не согласится с тем, что человеку нужно только три аршина: три аршина нужны трупу, а человеку нужен весь мир. А следовательно, и богатая фантазия, беспредельность мечтаний нужны.

Но для Чехова характерно сугубо земное разрешение проблемы мечты. Такие рассказы, как «Черный монах», с видениями бесовской силы, внушающей герою возвышенные мысли, не только редкость, но чуть ли не единственный случай у Чехова. Мы видим и то, что Коврин — малопрактичный деятель, он разрушил жизнь Тани и сам погибает.

Но то, что болезненные видения в «Черном монахе» у Чехова

несут функцию прозрения, осенения, свидетельствует рассказ «Случай из практики». В нем героиня — больная девушка Лиза Ляликова, наследница огромного состояния, нажитого ее покойным отцом, владельцем фабрики. Ее черная немочь заключается в том, что совесть заболела, тоска нашла при виде нищеты рабочих-ткачей и их семей, от мысли, что богатство нажито на прижимке. Родные Лизы не могут понять причины приступов ее меланхолии. Но молодой доктор, вызванный на осмотр, нашел эту причину: он предлагает Лизе отрешиться от богатства, уйти совсем из дома — и тогда она вылечится. Нужно уйти к новым людям. И сама Лиза рассуждает: «Тамара у Лермонтова была одинока и видела дьявола», потому и погибла.

«Дьявол» — это фабрика: она у Чехова страшна своими силуэтами, красными от огня окнами.

К бегству из дома, почти из-под венца, склонил героиню рассказа «Невеста» художник из Москвы Саша, больной, обреченный, но светящийся изнутри добротой человек. Он раскрывает Наде глаза на тусклую, окружающую ее жизнь. Надя уезжает в Москву учиться и потом нисколько не жалеет о сделанном.

Любопытно вдуматься в пророческие слова чеховских героев-мечтателей, героев-обличителей. С годами Чехов все более становился писателем, открыто провозглашавшим формулы счастья. Конечно, Чехов был тонкий художник, он не любил патетики и в самых своих лучших героях находил изъяны, противоречия. Эти герои не перестают у него быть живыми людьми, а он — трезвым реалистом.

Из удушливой атмосферы узкого себялюбивого мещанства, рафинированной пошлости, из «футляра» рвутся и его герои на простор. Понятие «футляр» у Чехова чрезвычайно емкое: в рассказе «Человек в футляре» речь идет ведь не об одном гимназическом учителе классической словесности Беликове, который и в жаркую погоду ходил с поднятым воротником, в темных очках, в калошах, с зонтиком и всего боялся: «как бы чего не вышло». Запуганность Беликова — порождение реакции. Она пронизала человека своими запретами до мозга костей. Но Беликов — чистый гротеск, откровенная карикатура, и он весь в прошлом. Рассказывает же нам об этом странном человеке, уже умершем, некто Буркин, учитель той же гимназии. Возникает же разговор о Беликове в связи с наблюдающимися вокруг и в момент рассказа различными проявлениями страха, скованности. Куда ни оглянись — кругом «футляры», в этом-то и суть рассказа. В начале говорится о жене старосты Мавре, женщине здоровой и неглупой. Но она боится людей, нигде не бывала дальше своего села, никогда не видела ни города, ни железной дороги — все сидела за печью и только по ночам выходила на улицу. Появляется она и в конце рассказа, как отшельница. Мавра, несомнен-

но,— обрамление сюжета. А внутри — Беликов и много-много других «футляров». Сам Буркин разве не тот же «человек в футляре», только менее заметный? Он мастер рассказывать о Беликове, а в себе «беликовщины» не замечает. А она видна, если Буркина сопоставить с его собеседником, ветеринарным врачом Иваном Ивановичем Чимшой-Гималайским. Иван Иванович резок на слова, в нем кипит недовольство жизнью, он лгать не любит, ему противно пресмыкательство из-за куска хлеба, из-за теплого угла, из-за какого-нибудь чинишка, которому грош цена: «Нет, больше жить так невозможно». А Буркин весьма флегматичен: как только Иван Иванович начинает высказывать свои «завиральные идеи», Буркин становится ему поперек и с добродушной усмешкой бросает: «Это уже из другой оперы», то есть обойдем эти вопросы, касаться их не будем. В таких случаях, если разговор идет вечером, Буркин всегда предлагает ложиться спать. Думающий, возбужденный Иван Иванович выходит на крыльцо, закуривает трубочку и в одиночестве ночью долго думает, а Мавра, слышно, бродит где-то тут рядом. Вот и сошлись концы с концами: животный страх Мавры и бесстрашный в думах Иван Иванович. А все Буркины в это время спят. Может быть, фамилия Буркин и символична по-своему: человек огражден от невзгод и дум словно плотной буркой. Во всех рассказах — «Человек в футляре», «Крыжовник» и «О любви», составляющих у Чехова трилогию,— характеры героев и их личные взаимоотношения последовательно выдержаны. Это еще раз подчеркивает связь обеих проблем в творчестве Чехова: изображение пошлости и борьбы с ней. Сам Иван Иванович чувствует себя уже старым для борьбы, а молодому собеседнику Алехину советует: «...не уставайте делать добро!» Смысл жизни и цель «не в нашем счастье», то есть не в узколичном, не в «крыжовнике», «а в чем-то более разумном и великом».

На поприще борьбы за новое у Чехова приходят молодые силы: Королев («Случай из практики»), художник («Дом с мезонином»), Саша и Надя («Невеста»). Вот в каких прямых словах, с призывом к личному почину, говорит о мечте всей жизни Саша: «Только просвещение и святые люди интересны, только они и нужны. Ведь чем больше будет таких людей, тем скорее настанет царствие божие на земле». Обратим внимание: «святые люди», «царствие божие»... Ведь это, скорее, терминология Толстого и Достоевского, нежели Чехова. И все же она ему свойственна, только никак не связана с религиозностью: Чехов был атеистом. Эти слова нужны ему для величия темы. «От вашего города,— продолжает Саша, обращаясь к Наде,— тогда малопомалу не останется камня на камне — все полетит вверх дном, все изменится, точно по волшебству. И будут тогда здесь громадные, великолепнейшие дома, чудесные сады, фонтаны необыкно-

венные, замечательные люди...», ...зла тогда не будет, потому что каждый человек будет веровать и каждый будет знать, для чего он живет...». И затем Саша взывает к Наде: «Милая, голубушка, поезжайте! Покажите всем, что эта неподвижная, серая, грешная жизнь надоела вам. Покажите это хоть себе самой».

«Невеста» — последний рассказ Чехова. На таком важном мотиве оканчивается его проза. Мотив бросает яркий свет на весь предыдущий путь Чехова, на другой жанр его творчества — драматургию.

Драматургия — может быть, самое великое, что создал Чехов. «Чайка», «Дядя Ваня», «Три сестры», «Вишневый сад» — замечательнейшие его пьесы. Эти великие вещи Чехов-драматург написал в последний, самый зрелый, период творчества — с 1896 по 1903 годы. В них отразились все завоевания Чехова-прозаика. А «Вишневый сад» — завершающее звено всего творчества Чехова. Это произведение вобрало в себя мотивы и приемы прежних пьес.

Начиная с «Чайки», Чехов открыл новый вид драматургии. Новаторство сначала не было понято, и на премьере в Петербурге «Чайка» провалилась. «Чайка» верно была прочтена и с успехом сыграна молодым тогда Московским Художественным театром в постановке К. С. Станиславского и В. И. Немировича-Данченко. Театр подобрал ключ к Чехову, а Чехов помог ему найти свой стиль. Хорошо сказал писатель Н. Д. Телешов: «Художественный театр сделал Чехова сценичным, а Чехов сделал Художественный театр художественным». Позднее все новые пьесы Чехова игрались в этом театре. Завязалась личная дружба писателя с артистами. Чайка стала эмблемой на занавесе МХАТа.

В чем новизна, необычность драматургии Чехова? В отличие от предшественников — Грибоедова, Гоголя, Островского,— у Чехова нет внешних конфликтов, ярких сценических приемов. В драмах Чехова поражает отсутствие действия, интриги. Люди, как в жизни, ходят, разговаривают, совершают поступки, а между тем решаются их судьбы, и пьесы большей частью кончаются весьма остро, а порой и с трагическим исходом.

Драматургия Чехова двуплановая, то есть в ней изображаются реальные события, а под ними залегает глубокое «подводное течение», иногда неожиданно определяющее весь ход действия. Но пока мы его не видим, на поверхности все кажется будничным, не строго мотивированным: слышим реплики и смех героев, видим их слезы. Но поступки подчас кажутся никак не вытекающими из слов. С одной стороны, чрезвычайный реализм, предельная приближенность изображений к тому, как на самом деле живут, говорят, действуют люди. Чехов убрал нарочитую, давно сложившуюся в театре жесткую логику поступков героев,

прямые связи между причинами и следствиями. Прислушайтесь-ка сами когда-нибудь, как говорят вокруг вас — в обществе, в семье, в кругу друзей. Ведь эта речь сплошь вперебивку, рваная, скачущая, в ней концы с концами не связаны. А между тем каким-то общим валом разговор движется. Фразы как-то клеятся в логически-упорядоченное целое, и говорящие понимают друг друга, хотя и мешают друг другу. На заданный вопрос ответ дается через десяток посторонних реплик, с умолчаниями, паузами, в урезанном или чрезвычайно расширенном виде и, может быть, совсем не тем лицом, к кому был обращен вопрос. Люди есть люди, и всякое бывает в жизни. И Чехов приблизился к той черте реализма, когда искусство уже прямо переходит в жизнь, а жизнь в искусство. Но указанные особенности диалогов у Чехова, связи между словами и делами героев пьес предопределяются еще и подтекстом, в котором таится нечто иное, имеющее более глубокий смысл, чем то, о чем говорят и что делают герои, как более скрытые связи между их настроениями и поступками. Все это ведет у Чехова к широким, нередко символическим обобщениям. И всегда можно этот общий смысл пьесы, ее символ обозначить, они и централизуют все ее действие. «Чайка» — это пьеса об искусстве и о любви, «Дядя Ваня» — о ложной и подлинной красоте, об обманчивом и истинном величии подвига в жизни. «Три сестры» — о призрачности существования, оторванного от реальной жизни, об осознании целей и смысла жизни перед надвигающейся бурей. Мы видим, что эти мысли напоминают творчество Чехова-прозаика. Они важны, они отражали настроение общества и глубоко волновали Чехова. Проблемы чеховского творчества не утратили значения и для нас и всегда будут иметь значение для всего человечества.

У Чехова в пьесах имеют большой смысл мелочи, впечатления, игра случаев, ирония и комизм. Все это — ступени приближения Чехова-художника к живой реальности, его вклад в русский классический реализм.

В «Вишневом саде» сочетается сразу много идей и значений. Конечно, это элегия по уходящей барской жизни. Элегия, выраженная настроением Раневской и Гаева, расстающихся с родовым имением, с вишневым садом. Но это и философская элегия самого Чехова, глубоко запрятанная, связанная с размышлениями об общем ходе русской жизни, утрачивающей одну красоту за другой, и неизвестно еще, какой будет самая современная красота. Есть что-то иронически беспощадное в отношении Чехова к Раневской, изливающей сентиментальные чувства о своей непорочной юности.

Раневская отправляется опять в Париж к своей «нелепой» любви. Наигранный характер преданности старому укладу, «многоуважаемому шкафу», проступает в речах Гаева. Только забы-

тый в доме уснувший старый Фирс верен этому укладу. Но и Фирс, и уклад обречены на смерть. Сад достается купцу Лопахину, перекупившему его с торгов. Пошлая проза надвигается на эти места: тут будут построены дачи и появится барыш. Но Чехов не сводит столкновение сил к голой схеме, как иногда думают: в «Вишневом саде» изображено то, как капитализм приходит на смену феодализму. Конечно, и этот важный исторический перевал лежит в основе замысла пьесы. Но у Чехова большое значение приобретают оттенки событий, психология действующих лиц, их настроения, переменчивость чувств. Ведь Лопахин как бы нехотя покупает сад, у него сохраняется какое-то уважение к господам, получается даже так, что он чуть ли не выручает их от неприятностей и трудностей аукциона. Есть у Лопахина и своя лирика, связанная с воспоминаниями об этих местах, где он бегал еще мальчонкой, где пахали его отец и дед. И он толкует о превратности судеб и хочет развести в имении свою красоту, конечно, по своим понятиям.

Образ вишневого сада приобретает символический характер не только как причина раздора, столкновения интересов, укладов, но и как цветение жизни, ее надежды. Важная роль отводится образам Ани и Трофимова. Эти молодые люди мечтают о будущем. Аня, дочь Раневской, связана с садом, как с прошлым их семьи, но она уходит в новую жизнь. Многие идеи ей внушает Трофимов. И опять обратим внимание на смысловые тонкости: пророчества Трофимова о будущей жизни значительны, и мы чувствуем, что за ними стоит сам Чехов; но громкие слова, которые говорит Трофимов, не ставят его над прочими героями так высоко, чтобы он оторвался от них и вышел из общего тона пьесы, в которой сочетаются трагедийные и комические мотивы. Трофимов при всех его словах — «конец прошлому», «здравствуй, новая жизнь» — еще и «недотепа», «облезлый барин». Этот «вечный студент» далек еще от революционных порывов.

Мы видим, как по многим линиям «Вишневый сад» связан с остальным творчеством писателя. Такие герои, как Раневская и Гаев, встречались в рассказе «У знакомых», Лопахин — в рассказе «Ионыч», Трофимов и Аня — в рассказе «Невеста». Все это говорит о том, что творчество Чехова — целостная, великая, реалистическая система...

Вернемся, как обещали выше, к сравнительной характеристике Чехова и Достоевского. Перед нами две вершины русского реализма. Нелегко установить родственное между ними, тем более что у Достоевского мы берем не самое совершенное его произведение. И все же совпадающие мотивы в их творчестве есть. Они улавливаются в некоторых частных моментах, прямых сопоставлениях образов и в более широких рамках, связанных с общими судьбами русского реализма.

Чехов и Достоевский при жизни никогда не встречались: Чехов впервые выступил в печати почти в тот же год, когда умер Достоевский; Достоевский — великий романист, Чехов — великий мастер короткого рассказа; Достоевский не был драматургом, Чехов написал несколько замечательных пьес; Достоевский проводил в своих произведениях определенное «учение», Чехов старался не навязывать читателю своих мнений.

И все же обратим внимание на странные совпадения. В одном из писем Достоевский высказался так: ...величайшее умение писателя — это уметь вычеркивать. Кто умеет, кто в силах свое вычеркивать, тот далеко пойдет». Но ведь это же напоминает известные слова Чехова: «Искусство писать состоит собственно не в искусстве писать, а в искусстве... вычеркивать плохо написанное». Чехов не мог взять эти слова у Достоевского: письмо Достоевского впервые было опубликовано в советское время. При разности манер писать — какое сходство в понимании того, как надо писать! Перед нами два взыскательнейших художника.

Пребывание Достоевского на каторге и поездка на Сахалин Чехова, разделенные по времени почти сорокалетием, наложили свою печать на творчество того и другого писателя. Оба писателя заглянули в беспредельную пучину народных страданий. Немногие из выдающихся писателей прошли такую суровую школу познания жизни.

Искания смысла жизни в «Студенте», фантастическое в «Черном монахе» близки «Хозяйке» и «Двойнику». Когда Достоевский рассказывает, как его студент Ордынов одержим великой мыслью найти теорию, а может быть, и религию, которые помогли бы людям лучше устроить жизнь, то отмечает, что «самые теплые и горячие убеждения легли под пером его, что-то похожее на предопределение и таинственность начали проникать в его душу». И у Коврина, как мы помним, мечтавшего «подвинуть человечество на тысячу лет», было такое же внутреннее ощущение: «невыразимое, безграничное счастье наполняло его существо». В изображении «мечтателей» Достоевский может рассматриваться как один из предшественников Чехова. Троекратное появление «черного монаха» Коврину, все менее и менее таинственное, имеет аналогию в сценах трех встреч Голядкина со своим двойником. Оба героя сходят с ума.

Студенческая душа у Достоевского и Чехова нередко является носителем бескорыстных побуждений, протеста против попрания человеческого достоинства. Тут поводы к действиям героев Чехова и Достоевского могут не совпадать. Но святость побуждений родственна. Таков герой «Припадка» у Чехова, таков в защите Нелли, Наташи — Иван Петрович, Сони и всего семейства Мармеладовых — Раскольников, таков в своем «бунте» и Иван Карамазов. Тут есть определенная линия связи. Таков, наконец,

и «подросток» Аркадий Долгорукий. В принципе родственны ему многие молодые искатели смысла жизни у Чехова и «вечный студент» Трофимов.

В произведениях Достоевского и Чехова, может быть, больше, чем у других писателей, просвечивают ситуации и образы прежних произведений русской литературы. «Преступление и наказание» во многом полемически построено по отношению к «Что делать?» Чернышевского. У Чехова нет такой принципиальной полемики с кем-либо из русских писателей или мыслителей. Но потребность «отталкиваться» от предшественников характерна и для Чехова. Его «Дуэль» переиначивает многие ситуации «Евгения Онегина», «Героя нашего времени», романов Тургенева.

Есть у Достоевского и свои «три сестры»: Александрина, Аделаида и Аглая в «Идиоте». У Чехова в пьесе: Ольга, Маша и Ирина. Младшие в обоих случаях считаются «идолами» семьи. Младшие наиболее горячо рвутся выйти из семейного уклада, хотят «знать» будущее. Обратите внимание, как, упреждая героиню Чехова, «по-чеховски» звучат слова Аглаи: «Да, да, да, бежать из дома, мы можем вместе заняться воспитанием, хоть не сейчас, так в будущем. Мы вместе будем пользу приносить: я не хочу быть генеральскою дочкою».

Но главная связь между Чеховым и Достоевским не в отдельных, частных совпадениях, неизбежно приблизительных. Главное — в преодолении, расшатывании схематических представлений о человеке, которые были свойственны многим писателям шестидесятых — семидесятых годов. Чехов и Достоевский показывали человека в его бесконечных изменениях, сомнениях, росте. Впрочем, Достоевский, освобождая человека от рационалистических норм, тут же сковывал его своим «почвенническим» учением. Чехов, освобождаясь от сухого рационализма в представлениях о человеке, отбрасывал и всякое «учение», оставляя человека наедине со своею совестью. В этом смысле не было бы Чехова без Достоевского, но Чехов и продолжил его дело, выводя реализм на широчайшие просторы.

Чехов и Достоевский оказались пророческими фигурами для мировой литературы XX века, литературы, в которой центральное место заняла человеческая личность во всей ее изменчивости и в связях с неслыханными историческими и социальными потрясениями. Во всем своем великом значении предстает сегодня гуманизм обоих писателей, их страстная жажда светлого будущего. Чарующий мир их идей и образов вечно будет достоянием всего человечества.

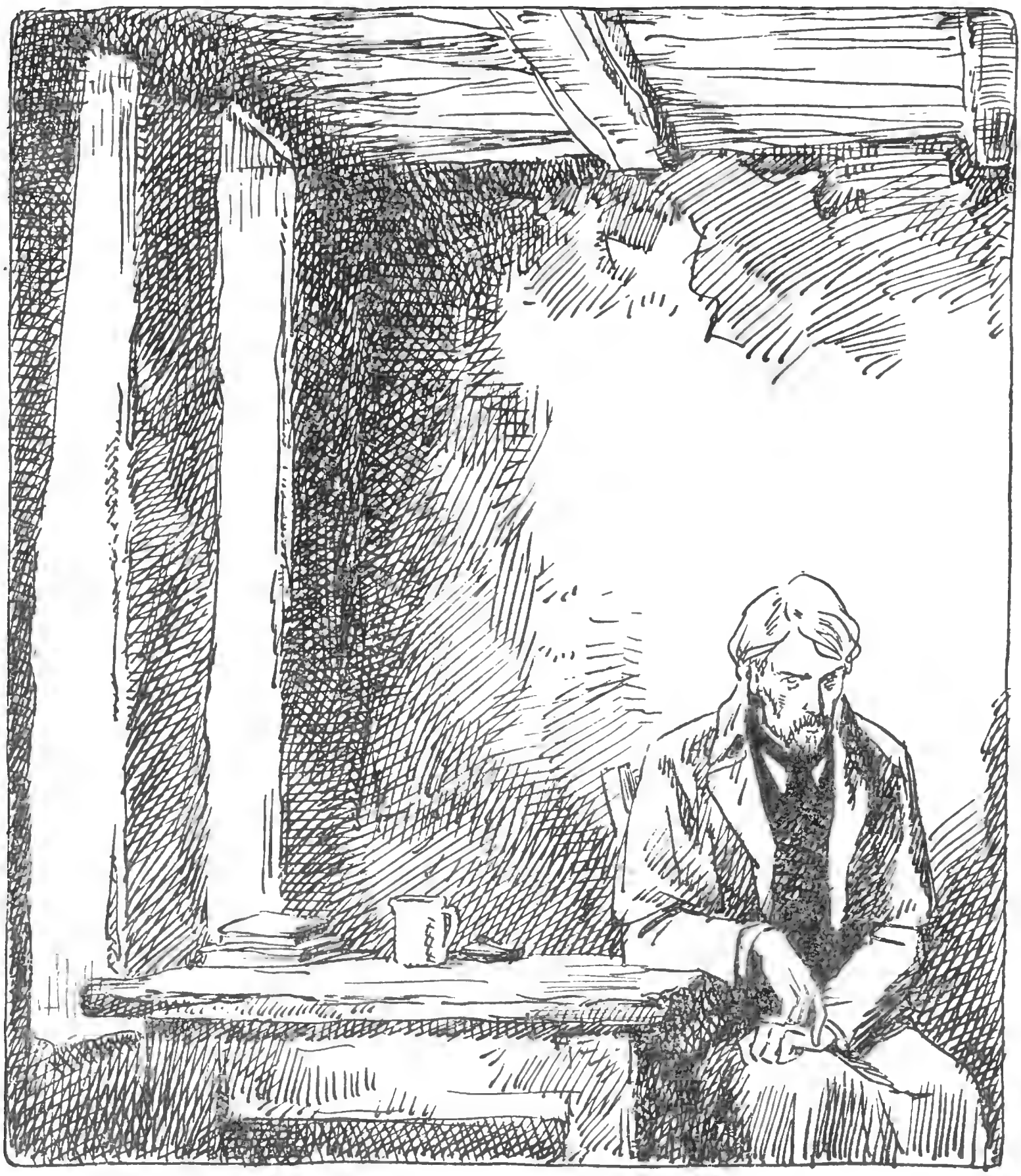
В. И. Кулешов

Ф. М. ДОСТОЕВСКИЙ

Униженные и оскорбленные

Роман

Текст печатается по изданию:
Ф. М. ДОСТОЕВСКИЙ.
Полное собрание сочинений в тридцати томах.
Т. 3. Издательство «Наука», М.— Л., 1972.



ЧАСТЬ ПЕРВАЯ

Глава I

Прошлого года, двадцать второго марта, вечером, со мной случилось престранное происшествие. Весь этот день я ходил по городу и искал себе квартиру. Старая была очень сыра, а я тогда уже начинал дурно кашлять. Еще с осени хотел переехать, а дотянул до весны. В целый день я ничего не мог найти порядочного. Во-первых, хотелось квартиру особенную, не от жильцов, а во-вторых, хоть одну комнату, но непременно

большую, разумеется вместе с тем и как можно дешевую. Я заметил, что в тесной квартире даже и мыслям тесно. Я же, когда обдумывал свои будущие повести, всегда любил ходить взад и вперед по комнате. Кстати: мне всегда приятнее было обдумывать мои сочинения и мечтать, как они у меня напишутся, чем в самом деле писать их, и, право, это было не от лености. Отчего же?

Еще с утра я чувствовал себя нездоровым, а к закату солнца мне стало даже и очень нехорошо: начиналось что-то вроде лихорадки. К тому же я целый день был на ногах и устал. К вечеру, перед самыми сумерками, проходил я по Вознесенскому проспекту. Я люблю мартовское солнце в Петербурге, особенно закат, разумеется, в ясный, морозный вечер. Вся улица вдруг блеснет, облитая ярким светом. Все дома как будто вдруг засверкают. Серые, желтые и грязно-зеленые цвета их потеряют на миг всю свою угрюмость; как будто на душе прояснеет, как будто вздрогнешь или кто-то подтолкнет тебя локтем. Новый взгляд, новые мысли... Удивительно, что может сделать один луч солнца с душой человека!

Но солнечный луч потух; мороз крепчал и начинал пощипывать за нос; сумерки густели; газ блеснул из магазинов и лавок. Поравнявшись с кондитерской Миллера, я вдруг остановился как вкопанный и стал смотреть на ту сторону улицы, как будто предчувствуя, что вот сейчас со мной случится что-то необыкновенное, и в это-то самое мгновение на противоположной стороне я увидел старика и его собаку. Я очень хорошо помню, что сердце мое сжалось от какого-то неприятнейшего ощущения и я сам не мог решить, какого рода было это ощущение.

Я не мистик; в предчувствия и гаданья почти не верю; однако со мною, как, может быть, и со всеми, случилось в жизни несколько происшествий, довольно необъяснимых. Например, хоть этот старик: почему, при тогдашней моей встрече с ним, я тотчас почувствовал, что в тот же вечер со мной случится что-то не совсем обыденное? Впрочем, я был болен; а болезненные ощущения почти всегда бывают обманчивы.

Старик своим медленным, слабым шагом, переставляя ноги, как будто палки, как будто не сгибая их, сгорбившись и слегка ударяя тростью о плиты тротуара, приближался к кондитерской. В жизнь мою не встречал я такой странной, нелепой фигуры. И прежде, до этой встречи, когда мы сходились с ним у Миллера, он всегда болезненно поражал меня. Его высокий рост, сгорбленная спина, мертвенное восьмидесятилетнее лицо, старое пальто, разорванное по швам, изломанная круглая двадцатилетняя шляпа, прикрывавшая его обнаженную голову, на которой уцелел, на самом затылке, клочок уже не седых, а бело-желтых волос; все движения его, делавшиеся как-то бессмысленно, как

будто по заведенной пружине,— все это невольно поражало всякого, встречавшего его в первый раз. Действительно, как-то странно было видеть такого отжившего свой век старика одного, без присмотра, тем более что он был похож на сумасшедшего, убежавшего от своих надзирателей. Поражала меня тоже его необыкновенная худоба: тела на нем почти не было, и как будто на кости его была наклеена только одна кожа. Большие, но тусклые глаза его, вставленные в какие-то синие круги, всегда глядели прямо перед собою, никогда в сторону и никогда ничего не видя,— я в этом уверен. Он хоть и смотрел на вас, но шел прямо на вас же, как будто перед ним пустое пространство. Я это несколько раз замечал. У Миллера он начал являться недавно, неизвестно откуда и всегда вместе с своей собакой. Никто никогда не решался с ним говорить из посетителей кондитерской, и он сам ни с кем из них не заговаривал.

«И зачем он таскается к Миллеру, и что ему там делать? — думал я, стоя по другую сторону улицы и непреодолимо к нему приглядываясь. Какая-то досада — следствие болезни и усталости — закипала во мне.— Об чем он думает? — продолжал я про себя,— что у него в голове? Да и думает ли еще он о чем-нибудь? Лицо его до того умерло, что уж решительно ничего не выражает. И откуда он взял эту гадкую собаку, которая не отходит от него, как будто составляет с ним что-то целое, неразъединимое, и которая так на него похожа?»

Этой несчастной собаке, кажется, тоже было лет восемьдесят; да, это непременно должно было быть. Во-первых, с виду она была так стара, как не бывают никакие собаки, а во-вторых, отчего же мне, с первого раза, как я ее увидал, тотчас же пришло в голову, что эта собака не может быть такая, как все собаки; что она — собака необыкновенная; что в ней непременно должно быть что-то фантастическое, заколдованное; что это, может быть, какой-нибудь Мефистофель*[1] в собачьем виде и что судьба ее какими-то таинственными, неведомыми путями соединена с судьбою ее хозяина. Глядя на нее, вы бы тотчас же согласились, что, наверно, прошло уже лет двадцать, как она в последний раз ела. Худа она была, как скелет, или (чего же лучше?) как ее господин. Шерсть на ней почти вся вылезла, тоже и на хвосте, который висел, как палка, всегда крепко поджатый. Длинноухая голова угрюмо свешивалась вниз. В жизнь мою я не встречал такой противной собаки. Когда оба они шли по улице — господин впереди, а собака за ним следом,— то ее нос прямо касался полы его

---

[1] Слова, отмеченные звездочкой, объяснены в разделе «Комментарии» (стр. 611).

платья, как будто к ней приклеенный. И походка их и весь их вид чуть не проговаривали тогда с каждым шагом:

Стары-то мы, стары, господи, как мы стары!

Помню, мне еще пришло однажды в голову, что старик и собака как-нибудь выкарабкались из какой-нибудь страницы Гофмана*, иллюстрированного Гаварни*, и разгуливают по белому свету в виде ходячих афишек к изданью. Я перешел через улицу и вошел вслед за стариком в кондитерскую.

В кондитерской старик аттестовал себя престранно, и Миллер, стоя за своим прилавком, начал уже в последнее время делать недовольную гримасу при входе незваного посетителя. Во-первых, странный гость никогда ничего не спрашивал. Каждый раз он прямо проходил в угол к печке и там садился на стул. Если же его место у печки бывало занято, то он, постояв несколько времени в бессмысленном недоумении против господина, занявшего его место, уходил, как будто озадаченный, в другой угол к окну. Там выбирал какой-нибудь стул, медленно усаживался на нем, снимал шляпу, ставил ее подле себя на пол, трость клал возле шляпы и затем, откинувшись на спинку стула, оставался неподвижен в продолжение трех или четырех часов. Никогда он не взял в руки ни одной газеты, не произнес ни одного слова, ни одного звука; а только сидел, смотря перед собою во все глаза, но таким тупым, безжизненным взглядом, что можно было побиться об заклад, что он ничего не видит из всего окружающего и ничего не слышит. Собака же, покружившись раза два или три на одном месте, угрюмо укладывалась у ног его, втыкала свою морду между его сапогами, глубоко вздыхала и, вытянувшись во всю свою длину на полу, тоже оставалась неподвижною на весь вечер, точно умирала на это время. Казалось, эти два существа целый день лежат где-нибудь мертвые и, как зайдет солнце, вдруг оживают единственно для того, чтоб дойти до кондитерской Миллера и тем исполнить какую-то таинственную, никому не известную обязанность. Насидевшись часа три-четыре, старик наконец вставал, брал свою шляпу и отправлялся куда-то домой. Поднималась и собака и, опять поджав хвост и свесив голову, медленным прежним шагом машинально следовала за ним. Посетители кондитерской наконец начали всячески обходить старика и даже не садились с ним рядом, как будто он внушал им омерзение. Он же ничего этого не замечал.

Посетители этой кондитерской большею частию немцы. Они собираются сюда со всего Вознесенского проспекта — всё хозяева различных заведений: слесаря, булочники, красильщики, шляпные мастера, седельники — всё люди патриархальные в немецком смысле слова. У Миллера вообще наблюдалась патриар-

хальность. Часто хозяин подходил к знакомым гостям и садился вместе с ними за стол, причем осушалось известное количество пунша. Собаки и маленькие дети хозяина тоже выходили иногда к посетителям, и посетители ласкали детей и собак. Все были между собою знакомы, и все взаимно уважали друг друга. И когда гости углублялись в чтение немецких газет, за дверью, в квартире хозяина, трещал августин*, наигрываемый на дребезжащих фортепьянах старшей хозяйской дочкой, белокурень-кой немочкой в локонах, очень похожей на белую мышку. Вальс принимался с удовольствием. Я ходил к Миллеру в первых числах каждого месяца читать русские журналы, которые у него получались.

Войдя в кондитерскую, я увидел, что старик уже сидит у окна, а собака лежит, как и прежде, растянувшись у ног его. Молча сел я в угол и мысленно задал себе вопрос: «Зачем я вошел сюда, когда мне тут решительно нечего делать, когда я болен и нужнее было бы спешить домой, выпить чаю и лечь в постель? Неужели в самом деле я здесь только для того, чтоб разглядывать этого старика?» Досада взяла меня. «Что мне за дело до него,— думал я, припоминая то странное, болезненное ощущение, с которым я глядел на него еще на улице.— И что мне за дело до всех этих скучных немцев? К чему это фантастическое настроение духа? К чему эта дешевая тревога из пустяков, которую я замечаю в себе в последнее время и которая мешает жить и глядеть ясно на жизнь, о чем уже заметил мне один глубокомысленный критик, с негодованием разбирая мою последнюю повесть?» Но, раздумывая и сетуя, я все-таки оставался на месте, а между тем болезнь одолевала меня все более и более, и мне наконец стало жаль оставить теплую комнату. Я взял франкфуртскую газету, прочел две строки и задремал. Немцы мне не мешали. Они читали, курили и только изредка, в полчаса раз, сообщали друг другу, отрывочно и вполголоса, какую-нибудь новость из Франкфурта да еще какой-нибудь виц или шарфзин знаменитого немецкого остроумца Сафира*; после чего с удвоенною национальною гордостью вновь погружались в чтение.

Я дремал с полчаса и очнулся от сильного озноба. Решительно надо было идти домой. Но в ту минуту одна немая сцена, происходившая в комнате, еще раз остановила меня. Я сказал уже, что старик, как только усаживался на своем стуле, тотчас же упирался куда-нибудь своим взглядом и уже не сводил его на другой предмет во весь вечер. Случалось и мне попадаться под этот взгляд, бессмысленно упорный и ничего не различающий: ощущение было пренеприятное, даже невыносимое, и я обыкновенно как можно скорее переменял место. В эту минуту жертвой старика был один маленький кругленький и чрезвычай-

но опрятный немчик, со стоячими, туго накрахмаленными воротничками и с необыкновенно красным лицом, приезжий гость, купец из Риги, Адам Иваныч Шульц, как узнал я после, короткий приятель Миллеру, но не знавший еще старика и многих из посетителей. С наслаждением почитывая «Dorfbarbier»* и попивая свой пунш, он вдруг, подняв голову, заметил над собой неподвижный взгляд старика. Это его озадачило. Адам Иваныч был человек очень обидчивый и щекотливый, как и вообще все «благородные» немцы. Ему показалось странным и обидным, что его так пристально и бесцеремонно рассматривают. С подавленным негодованием отвел он глаза от неделикатного гостя, пробормотал себе что-то под нос и молча закрылся газетой. Однако не вытерпел и минуты через две подозрительно выглянул из-за газеты: тот же упорный взгляд, то же бессмысленное рассматривание. Смолчал Адам Иваныч и в этот раз. Но когда то же обстоятельство повторилось и в третий, он вспыхнул и почел своею обязанностию защитить свое благородство и не уронить перед благородной публикой прекрасный город Ригу, которого, вероятно, считал себя представителем. С нетерпеливым жестом бросил он газету на стол, энергически стукнув палочкой, к которой она была прикреплена, и, пылая собственным достоинством, весь красный от пунша и от амбиции, в свою очередь уставился своими маленькими воспаленными глазками на досадного старика. Казалось, оба они, и немец и его противник, хотели пересилить друг друга магнетическою силою своих взглядов и выжидали, кто раньше сконфузится и опустит глаза. Стук палочки и эксцентрическая позиция Адама Иваныча обратили на себя внимание всех посетителей. Все тотчас же отложили свои занятия и с важным, безмолвным любопытством наблюдали обоих противников. Сцена становилась очень комическою. Но магнетизм вызывающих глазок красненького Адама Иваныча совершенно пропал даром. Старик, не заботясь ни о чем, продолжал прямо смотреть на взбесившегося г-на Шульца и решительно не замечал, что сделался предметом всеобщего любопытства, как будто голова его была на луне, а не на земле. Терпение Адама Иваныча наконец лопнуло, и он разразился.

— Зачем вы на меня так внимательно смотрите? — прокричал он по-немецки резким, пронзительным голосом и с угрожающим видом.

Но противник его продолжал молчать, как будто не понимал и даже не слыхал вопроса. Адам Иваныч решился заговорить по-русски.

— Я вас спросит, зачом ви на мне так прилежно взирайт? — прокричал он с удвоенною яростию.— Я ко двору известен, а ви неизвестен ко двору! — прибавил он, вскочив со стула.

Но старик даже и не пошевелился. Между немцами раздал-

ся ропот негодования. Сам Миллер, привлеченный шумом, вошел в комнату. Вникнув в дело, он подумал, что старик глух, и нагнулся к самому его уху.

— Каспадин Шульц вас просил прилежно не взирайт на него,— проговорил он как можно громче, пристально всматриваясь в непонятного посетителя.

Старик машинально взглянул на Миллера, и вдруг в лице его, доселе неподвижном, обнаружились признаки какой-то тревожной мысли, какого-то беспокойного волнения. Он засуетился, нагнулся, кряхтя, к своей шляпе, торопливо схватил ее вместе с палкой, поднялся со стула и с какой-то жалкой улыбкой — униженной улыбкой бедняка, которого гонят с занятого им по ошибке места,— приготовился выйти из комнаты. В этой смиренной, покорной торопливости бедного, дряхлого старика было столько вызывающего на жалость, столько такого, отчего иногда сердце точно перевертывается в груди, что вся публика, начиная с Адама Иваныча, тотчас же переменила свой взгляд на дело. Было ясно, что старик не только не мог кого-нибудь обидеть, но сам каждую минуту понимал, что его могут отовсюду выгнать как нищего.

Миллер был человек добрый и сострадательный.

— Нет, нет,— заговорил он, ободрительно трепля старика по плечу,— сидитт! Aber[1] гер[2] Шульц очень просил вас прилежно не взирайт на него. Он у двора известен.

Но бедняк и тут не понял; он засуетился еще больше прежнего, нагнулся поднять свой платок, старый, дырявый синий платок, выпавший из шляпы, и стал кликать свою собаку, которая лежала не шевелясь на полу и, по-видимому, крепко спала, заслонив свою морду обеими лапами.

— Азорка, Азорка! — прошамкал он дрожащим, старческим голосом,— Азорка!

Азорка не пошевельнулся.

— Азорка, Азорка! — тоскливо повторял старик и пошевелил собаку палкой, но та оставалась в прежнем положении.

Палка выпала из рук его. Он нагнулся, стал на оба колена и обеими руками приподнял морду Азорки. Бедный Азорка! Он был мертв. Он умер неслышно, у ног своего господина, может быть от старости, а может быть и от голода. Старик с минуту глядел на него, как пораженный, как будто не понимая, что Азорка уже умер; потом тихо склонился к бывшему слуге и другу и прижал свое бледное лицо к его мертвой морде. Прошла минута молчанья. Все мы были тронуты... Наконец бедняк

---

[1] Но *(нем.)*.

[2] Господин (*нем.*— Herr).

приподнялся. Он был очень бледен и дрожал, как в лихорадочном ознобе.

— Можно шушель сделать,— заговорил сострадательный Миллер, желая хоть чем-нибудь утешить старика. (Шушель означало чучелу.) — Можно кароши сделать шушель; Федор Карлович Кригер отлично сделает шушель; Федор Карлович Кригер велики мастер сделать шушель,— твердил Миллер, подняв с земли палку и подавая ее старику.

— Да, я отлично сделает шушель,— скромно подхватил сам гер Кригер, выступая на первый план. Это был длинный, худощавый и добродетельный немец с рыжими клочковатыми волосами и очками на горбатом носу.

— Федор Карлович Кригер имеет велики талент, чтоб сделать всяки превосходны шушель,— прибавил Миллер, начиная приходить в восторг от своей идеи.

— Да, я имею велики талент, чтоб сделать всяки превосходны шушель,— снова подтвердил гер Кригер,— и я вам даром сделайт из ваша собачка шушель,— прибавил он в припадке великодушного самоотвержения.

— Нет, я вам заплати́т за то, что ви сделайт шушель! — неистово вскричал Адам Иваныч Шульц, вдвое раскрасневшийся, в свою очередь сгорая великодушием и невинно считая себя причиною всех несчастий.

Старик слушал все это, видимо не понимая и по-прежнему дрожа всем телом.

— Погодитт! Выпейте одну рюмку кароши коньяк! — вскричал Миллер, видя, что загадочный гость порывается уйти.

Подали коньяк. Старик машинально взял рюмку, но руки его тряслись, и, прежде чем он донес ее к губам, он расплескал половину и, не выпив ни капли, поставил ее обратно на поднос. Затем, улыбнувшись какой-то странной, совершенно не подходящей к делу улыбкой, ускоренным, неровным шагом вышел из кондитерской, оставив на месте Азорку. Все стояли в изумлении; послышались восклицания.

— Швернот! вас-фюр-эйне-гешихте![1] — говорили немцы, выпуча глаза друг на друга.

А я бросился вслед за стариком. В нескольких шагах от кондитерской, поворотя от нее направо, есть переулок, узкий и темный, обставленный огромными домами. Что-то подтолкнуло меня, что старик непременно повернул сюда. Тут второй дом направо строился и весь был обставлен лесами. Забор, окружавший дом, выходил чуть не на средину переулка, к забору была прилажена деревянная настилка для проходящих. В темном углу, составленном забором и домом, я нашел старика. Он сидел на

---

[1] Вот беда! что за история! *(нем.)*

приступке деревянного тротуара и обеими руками, опершись локтями на колена, поддерживал свою голову. Я сел подле него.

— Послушайте,— сказал я, почти не зная, с чего и начать,— не горюйте об Азорке. Пойдемте, я вас отвезу домой. Успокойтесь. Я сейчас схожу за извозчиком. Где вы живете?

Старик не отвечал. Я не знал, на что решиться. Прохожих не было. Вдруг он начал хватать меня за руку.

— Душно! — проговорил он хриплым, едва слышным голосом,— душно!

— Пойдемте к вам домой! — вскричал я, приподымаясь и насильно приподымая его,— вы выпьете чаю и ляжете в постель... Я сейчас приведу извозчика. Я позову доктора... мне знаком один доктор...

Я не помню, что я еще говорил ему. Он было хотел приподняться, но, поднявшись немного, опять упал на землю и опять начал что-то бормотать тем же хриплым, удушливым голосом. Я нагнулся к нему еще ближе и слушал.

— На Васильевском острове,— хрипел старик,— в Шестой линии... в Ше-стой ли-нии...

Он замолчал.

— Вы живете на Васильевском? Но вы не туда пошли; это будет налево, а не направо. Я вас сейчас довезу...

Старик не двигался. Я взял его за руку; рука упала, как мертвая. Я взглянул ему в лицо, дотронулся до него — он был уже мертвый. Мне казалось, что все это происходит во сне.

Это приключение стоило мне больших хлопот, в продолжение которых прошла сама собою моя лихорадка. Квартиру старика отыскали. Он, однако же, жил не на Васильевском острову, а в двух шагах от того места, где умер, в доме Клугена, под самою кровлею, в пятом этаже, в отдельной квартире, состоящей из одной маленькой прихожей и одной большой, очень низкой комнаты, с тремя щелями наподобие окон. Жил он ужасно бедно. Мебели было всего стол, два стула и старый-старый диван, твердый, как камень, и из которого со всех сторон высовывалась мочала; да и то оказалось хозяйское. Печь, по-видимому, уже давно не топилась; свечей тоже не отыскалось. Я серьезно теперь думаю, что старик выдумал ходить к Миллеру единственно для того, чтоб посидеть при свечах и погреться. На столе стояла пустая глиняная кружка и лежала старая, черствая корка хлеба. Денег не нашлось ни копейки. Даже не было другой перемены белья, чтоб похоронить его; кто-то дал уж свою рубашку. Ясно, что он не мог жить таким образом, совершенно один, и, верно, кто-нибудь, хоть изредка, навещал его. В столе отыскался его паспорт. Покойник был из иностранцев, но русский подданный, Иеремия Смит, машинист, семидесяти восьми лет от роду. На столе лежали две книги: краткая география и Новый

завет* в русском переводе, исчерченный карандашом на полях и с отметками ногтем. Книги эти я приобрел себе. Спрашивали жильцов, хозяина дома,— никто об нем почти ничего не знал. Жильцов в этом доме множество, почти всё мастеровые и немки, содержательницы квартир со столом и прислугою. Управляющий домом, из благородных, тоже немного мог сказать о бывшем своем постояльце, кроме разве того, что квартира ходила по шести рублей в месяц, что покойник жил в ней четыре месяца; но за два последних месяца не заплатил ни копейки, так что приходилось его сгонять с квартиры. Спрашивали: не ходил ли к нему кто-нибудь? Но никто не мог дать об этом удовлетворительного ответа. Дом большой: мало ли людей ходит в такой ноев ковчег*, всех не запомнишь. Дворник, служивший в этом доме лет пять и, вероятно, могший хоть что-нибудь разъяснить, ушел две недели перед этим к себе на родину, на побывку, оставив вместо себя своего племянника, молодого парня, еще не узнавшего лично и половины жильцов. Не знаю наверно, чем именно кончились тогда все эти справки, но наконец старика похоронили. В эти дни между другими хлопотами я ходил на Васильевский остров, в Шестую линию, и, только придя туда, усмехнулся сам над собою: что мог я увидать в Шестой линии, кроме ряда обыкновенных домов? «Но зачем же,— думал я,— старик, умирая, говорил про Шестую линию и про Васильевский остров? Не в бреду ли?»

Я осмотрел опустевшую квартиру Смита, и мне она понравилась. Я оставил ее за собою. Главное, была большая комната, хоть и очень низкая, так что мне в первое время все казалось, что я задену потолок головою. Впрочем, я скоро привык. За шесть рублей в месяц и нельзя было достать лучше. Особняк соблазнял меня; оставалось только похлопотать насчет прислуги, так как совершенно без прислуги нельзя было жить. Дворник на первое время обещался приходить хоть по разу в день, прислужить мне в каком-нибудь крайнем случае. «А кто знает,— думал я,— может быть, кто-нибудь и наведается о старике!» Впрочем, прошло уже пять дней, как он умер, а еще никто не приходил.

Глава II

В то время, именно год назад, я еще сотрудничал по журналам, писал статейки и твердо верил, что мне удастся написать какую-нибудь большую, хорошую вещь. Я сидел тогда за большим романом; но дело все-таки кончилось тем, что я — вот засел теперь в больнице и, кажется, скоро умру. А коли скоро умру, то к чему бы, кажется, и писать записки?

Вспоминается мне невольно и беспрерывно весь этот тяжелый, последний год моей жизни. Хочу теперь все записать, и, если б я не изобрел себе этого занятия, мне кажется, я бы умер с тоски. Все эти прошедшие впечатления волнуют иногда меня до боли, до муки. Под пером они примут характер более успокоительный, более стройный; менее будут походить на бред, на кошмар. Так мне кажется. Один механизм письма чего стоит: он успокоит, расхолодит, расшевелит во мне прежние авторские привычки, обратит мои воспоминания и больные мечты в дело, в занятие... Да, я хорошо выдумал. К тому ж и наследство фельдшеру; хоть окна облепит моими записками, когда будет зимние рамы вставлять.

Но, впрочем, я начал мой рассказ, неизвестно почему, из средины. Коли уж все записывать, то надо начинать сначала. Ну, и начнем сначала. Впрочем, не велика будет моя автобиография.

Родился я не здесь, а далеко отсюда, в — ской губернии. Должно полагать, что родители мои были хорошие люди, но оставили меня сиротой еще в детстве, и вырос я в доме Николая Сергеича Ихменева, мелкопоместного помещика, который принял меня из жалости. Детей у него была одна только дочь, Наташа, ребенок тремя годами моложе меня. Мы росли с ней как брат с сестрой. О мое милое детство! Как глупо тосковать и жалеть о тебе на двадцать пятом году жизни и, умирая, вспомянуть только об одном тебе с восторгом и благодарностию! Тогда на небе было такое ясное, такое непетербургское солнце и так резво, весело бились наши маленькие сердца. Тогда кругом были поля и леса, а не груда мертвых камней, как теперь. Что за чудный был сад и парк в Васильевском, где Николай Сергеич был управляющим; в этот сад мы с Наташей ходили гулять, а за садом был большой, сырой лес, где мы, дети, оба раз заблудились... Золотое, прекрасное время! Жизнь сказывалась впервые, таинственно и заманчиво, и так сладко было знакомиться с нею. Тогда за каждым кустом, за каждым деревом как будто еще кто-то жил, для нас таинственный и неведомый; сказочный мир сливался с действительным; и, когда, бывало, в глубоких долинах густел вечерний пар и седыми извилистыми космами цеплялся за кустарник, лепившийся по каменистым ребрам нашего большого оврага, мы с Наташей, на берегу, держась за руки, с боязливым любопытством заглядывали вглубь и ждали, что вот-вот выйдет кто-нибудь к нам или откликнется из тумана с овражьего дна и нянины сказки окажутся настоящей, законной правдой. Раз, потом, уже долго спустя, я как-то напомнил Наташе, как достали нам тогда однажды «Детское чтение», как мы тотчас же убежали в сад, к пруду, где стояла под старым густым кленом наша любимая зеленая скамейка, уселись там и начали читать «Аль-

фонса и Далинду»* — волшебную повесть. Еще и теперь я не могу вспомнить эту повесть без какого-то странного сердечного движения, и когда я, год тому назад, припомнил Наташе две первые строчки: «Альфонс, герой моей повести, родился в Португалии; Дон-Рамир, его отец» и т. д., я чуть не заплакал. Должно быть, это вышло ужасно глупо, и потому-то, вероятно, Наташа так странно улыбнулась тогда моему восторгу. Впрочем, тотчас же спохватилась (я помню это) и для моего утешения сама принялась вспоминать про старое. Слово за словом, и сама расчувствовалась. Славный был этот вечер; мы все перебрали: и то, когда меня отсылали в губернский город в пансион,— господи, как она тогда плакала! — и нашу последнюю разлуку, когда я уже навсегда расставался с Васильевским. Я уже кончил тогда с моим пансионом и отправлялся в Петербург готовиться в университет. Мне было тогда семнадцать лет, ей пятнадцатый. Наташа говорит, что я был тогда такой нескладный, такой долговязый и что на меня без смеху смотреть нельзя было. В минуту прощанья я отвел ее в сторону, чтоб сказать ей что-то ужасно важное; но язык мой как-то вдруг онемел и завяз. Она припоминает, что я был в большом волнении. Разумеется, наш разговор не клеился. Я не знал, что сказать, а она, пожалуй, и не поняла бы меня. Я только горько заплакал, да так и уехал, ничего не сказавши. Мы свиделись уже долго спустя, в Петербурге. Это было года два тому назад. Старик Ихменев приехал сюда хлопотать по своей тяжбе, а я только что выскочил тогда в литераторы.

Глава III

Николай Сергеич Ихменев происходил из хорошей фамилии, но давно уже обедневшей. Впрочем, после родителей ему досталось полтораста душ хорошего имения. Лет двадцати от роду он распорядился поступить в гусары. Все шло хорошо; но на шестом году его службы случилось ему в один несчастный вечер проиграть все свое состояние. Он не спал всю ночь. На следующий вечер он снова явился к карточному столу и поставил на карту свою лошадь — последнее, что у него осталось. Карта взяла, за ней другая, третья, и через полчаса он отыграл одну из деревень своих, сельцо Ихменевку, в котором числилось пятьдесят душ по последней ревизии. Он забастовал и на другой же день подал в отставку. Сто душ погибло безвозвратно. Через два месяца он был уволен поручиком и отправился в свое сельцо. Никогда в жизни он не говорил потом о своем проигрыше и, несмотря на известное свое добродушие, непременно бы рассорился с тем, кто бы решился ему об этом напомнить. В деревне

он прилежно занялся хозяйством и тридцати пяти лет от роду женился на бедной дворяночке, Анне Андреевне Шумиловой, совершенной бесприданнице, но получившей образование в губернском благородном пансионе, у эмигрантки Мон-Ревеш, чем Анна Андреевна гордилась всю жизнь, хотя никто никогда не мог догадаться: в чем именно состояло это образование. Хозяином сделался Николай Сергеич превосходным. У него учились хозяйству соседи-помещики. Прошло несколько лет, как вдруг в соседнее имение, село Васильевское, в котором считалось девятьсот душ, приехал из Петербурга помещик, князь Петр Александрович Валковский. Его приезд произвел во всем околодке довольно сильное впечатление. Князь был еще молодой человек, хотя и не первой молодости, имел немалый чин, значительные связи, был красив собою, имел состояние и, наконец, был вдовец, что особенно было интересно для дам и девиц всего уезда. Рассказывали о блестящем приеме, сделанном ему в губернском городе губернатором, которому он приходился как-то сродни; о том, как все губернские дамы «сошли с ума от его любезностей», и проч., и проч. Одним словом, это был один из блестящих представителей высшего петербургского общества, которые редко появляются в губерниях и, появляясь, производят чрезвычайный эффект. Князь, однако же, был не из любезных, особенно с теми, в ком не нуждался и кого считал хоть немного ниже себя. С своими соседями по имению он не заблагорассудил познакомиться, чем тотчас же нажил себе много врагов. И потому все чрезвычайно удивились, когда вдруг ему вздумалось сделать визит к Николаю Сергеичу. Правда, что Николай Сергеич был одним из самых ближайших его соседей. В доме Ихменевых князь произвел сильное впечатление. Он тотчас же очаровал их обоих; особенно в восторге от него была Анна Андреевна. Немного спустя он был уже у них совершенно запросто, ездил каждый день, приглашал их к себе, острил, рассказывал анекдоты, играл на скверном их фортепьяно, пел. Ихменевы не могли надивиться: как можно было про такого дорогого, милейшего человека говорить, что он гордый, спесивый, сухой эгоист, о чем в один голос кричали все соседи? Надобно думать, что князю действительно понравился Николай Сергеич, человек простой, прямой, бескорыстный, благородный. Впрочем, вскоре все объяснилось. Князь приехал в Васильевское, чтоб прогнать своего управляющего, одного блудного немца, человека амбиционного, агронома, одаренного почтенной сединой, очками и горбатым носом, но, при всех этих преимуществах, кравшего без стыда и цензуры и, сверх того, замучившего нескольких мужиков. Иван Карлович был наконец пойман и уличен на деле, очень обиделся, много говорил про немецкую честность; но, несмотря на все это, был прогнан и даже с некоторым бесславием.

Князю нужен был управитель, и выбор его пал на Николая Сергеича, отличнейшего хозяина и честнейшего человека, в чем, конечно, не могло быть и малейшего сомнения. Кажется, князю очень хотелось, чтоб Николай Сергеич сам предложил себя в управляющие; но этого не случилось, и князь в одно прекрасное утро сделал предложение сам в форме самой дружеской и покорнейшей просьбы. Ихменев сначала отказывался; но значительное жалованье соблазнило Анну Андреевну, а удвоенные любезности просителя рассеяли и все остальные недоумения. Князь достиг своей цели. Надо думать, что он был большим знатоком людей. В короткое время своего знакомства с Ихменевым он совершенно узнал, с кем имеет дело, и понял, что Ихменева надо очаровать дружеским, сердечным образом, надобно привлечь к себе его сердце, и что без этого деньги не много сделают. Ему же нужен был такой управляющий, которому он мог бы слепо и навсегда довериться, чтоб уж и не заезжать никогда в Васильевское, как и действительно он рассчитывал. Очарование, которое он произвел в Ихменеве, было так сильно, что тот искренно поверил в его дружбу. Николай Сергеич был один из тех добрейших и наивно-романтических людей, которые так хороши у нас на Руси, что бы ни говорили о них, и которые, если уж полюбят кого (иногда бог знает за что), то отдаются ему всей душой, простирая иногда свою привязанность до комического.

Прошло много лет. Имение князя процветало. Сношения между владетелем Васильевского и его управляющим совершались без малейших неприятностей с обеих сторон и ограничивались сухой деловой перепиской. Князь, не вмешиваясь нисколько в распоряжения Николая Сергеича, давал ему иногда такие советы, которые удивляли Ихменева своею необыкновенною практичностью и деловитостью. Видно было, что он не только не любил тратить лишнего, но даже умел наживать. Лет пять после посещения Васильевского он прислал Николаю Сергеичу доверенность на покупку другого превосходнейшего имения в четыреста душ, в той же губернии. Николай Сергеич был в восторге; успехи князя, слухи об его удачах, о его возвышении он принимал к сердцу, как будто дело шло о родном его брате. Но восторг его дошел до последней степени, когда князь действительно показал ему в одном случае свою чрезвычайную доверенность. Вот как это произошло... Впрочем, здесь я нахожу необходимым упомянуть о некоторых особенных подробностях из жизни этого князя Валковского, отчасти одного из главнейших лиц моего рассказа.

Глава IV

Я упомянул уже прежде, что он был вдов. Женат был он еще в первой молодости и женился на деньгах. От родителей своих, окончательно разорившихся в Москве, он не получил почти ничего. Васильевское было заложено и перезаложено; долги на нем лежали огромные. У двадцатидвухлетнего князя, принужденного тогда служить в Москве в какой-то канцелярии, не оставалось ни копейки, и он вступал в жизнь как «голяк-потомок отрасли старинной». Брак на перезрелой дочери какого-то купца-откупщика спас его. Откупщик, конечно, обманул его на приданом, но все-таки на деньги жены можно было выкупить родовое именье и подняться на ноги. Купеческая дочка, доставшаяся князю, едва умела писать, не могла склеить двух слов, была дурна лицом и имела только одно важное достоинство: была добра и безответна. Князь воспользовался этим достоинством вполне: после первого года брака он оставил жену свою, родившую ему в это время сына, на руках ее отца-откупщика в Москве, а сам уехал служить в — ю губернию, где выхлопотал, через покровительство одного знатного петербургского родственника, довольно видное место. Душа его жаждала отличий, возвышений, карьеры, и, рассчитав, что с своею женой он не может жить ни в Петербурге, ни в Москве, он решился, в ожидании лучшего, начать свою карьеру с провинции. Говорят, что еще в первый год своего сожительства с женою он чуть не замучил ее своим грубым с ней обхождением. Этот слух всегда возмущал Николая Сергеича, и он с жаром стоял за князя, утверждая, что князь не способен к неблагородному поступку. Но лет через семь умерла наконец княгиня, и овдовевший супруг ее немедленно переехал в Петербург. В Петербурге он произвел даже некоторое впечатление. Еще молодой, красавец собою, с состоянием, одаренный многими блестящими качествами, несомненным остроумием, вкусом, неистощимою веселостью, он явился не как искатель счастья и покровительства, а довольно самостоятельно. Рассказывали, что в нем действительно было что-то обаятельное, что-то покоряющее, что-то сильное. Он чрезвычайно нравился женщинам, и связь с одной из светских красавиц доставила ему скандалезную славу. Он сыпал деньгами, не жалея их, несмотря на врожденную расчетливость, доходившую до скупости, проигрывал кому нужно в карты и не морщился даже от огромных проигрышей. Но не развлечений он приехал искать в Петербурге: ему надо было окончательно стать на дорогу и упрочить свою карьеру. Он достиг этого. Граф Наинский, его знатный родственник, который не обратил бы и внимания на него, если б он явился обыкновенным просителем, пораженный его успехами в обществе, нашел возможным и приличным обратить на него

свое особенное внимание и даже удостоил взять в свой дом на воспитание его семилетнего сына. К этому-то времени относится и поездка князя в Васильевское и знакомство его с Ихменевыми. Наконец получив через посредство графа значительное место при одном из важнейших посольств, он отправился за границу. Далее слухи о нем становились несколько темными: говорили о каком-то неприятном происшествии, случившемся с ним за границей, но никто не мог объяснить, в чем оно состояло. Известно было только, что он успел прикупить четыреста душ, о чем уже я упоминал. Воротился он из-за границы уже много лет спустя, в важном чине, и немедленно занял в Петербурге весьма значительное место. В Ихменевке носились слухи, что он вступает во второй брак и роднится с каким-то знатным, богатым и сильным домом. «Смотрит в вельможи!» — говорил Николай Сергеич, потирая руки от удовольствия. Я был тогда в Петербурге, в университете, и помню, что Ихменев нарочно писал ко мне и просил меня справиться: справедливы ли слухи о браке? Он писал тоже князю, прося у него для меня покровительства; но князь оставил письмо его без ответа. Я знал только, что сын его, воспитывавшийся сначала у графа, а потом в лицее, окончил тогда курс наук девятнадцати лет от роду. Я написал об этом к Ихменевым, а также и о том, что князь очень любит своего сына, балует его, рассчитывает уже и теперь его будущность. Все это я узнал от товарищей-студентов, знакомых молодому князю. В это-то время Николай Сергеич в одно прекрасное утро получил от князя письмо, чрезвычайно его удивившее...

Князь, который до сих пор, как уже упомянул я, ограничивался в сношениях с Николаем Сергеичем одной сухой, деловой перепиской, писал к нему теперь самым подробным, откровенным и дружеским образом о своих семейных обстоятельствах: он жаловался на своего сына, писал, что сын огорчает его дурным своим поведением; что, конечно, на шалости такого мальчика нельзя еще смотреть слишком серьезно (он видимо старался оправдать его), но что он решился наказать сына, попугать его, а именно: сослать его на некоторое время в деревню, под присмотр Ихменева. Князь писал, что вполне полагается на «своего добрейшего, благороднейшего Николая Сергеевича и в особенности на Анну Андреевну», просил их обоих принять его ветрогона в их семейство, поучить в уединении уму-разуму, полюбить его, если возможно, а главное, исправить его легкомысленный характер и «внушить спасительные и строгие правила, столь необходимые в человеческой жизни». Разумеется, старик Ихменев с восторгом принялся за дело. Явился и молодой князь; они приняли его как родного сына. Вскоре Николай Сергеич горячо полюбил его, не менее чем свою Наташу; даже потом, уже после окончательного разрыва между князем-отцом

и Ихменевым, старик с веселым духом вспоминал иногда о своем Алеше — так привык он называть князя Алексея Петровича. В самом деле, это был премилейший мальчик: красавчик собою, слабый и нервный, как женщина, но вместе с тем веселый и простодушный, с душою отверзтою* и способною к благороднейшим ощущениям, с сердцем любящим, правдивым и признательным,— он сделался идолом в доме Ихменевых. Несмотря на свои девятнадцать лет, он был еще совершенный ребенок. Трудно было представить, за что его мог сослать отец, который, как говорили, очень любил его? Говорили, что молодой человек в Петербурге жил праздно и ветрено, служить не хотел и огорчал этим отца. Николай Сергеич не расспрашивал Алешу, потому что князь Петр Александрович, видимо, умалчивал в своем письме о настоящей причине изгнания сына. Впрочем, носились слухи про какую-то непростительную ветреность Алеши, про какую-то связь с одной дамой, про какой-то вызов на дуэль, про какой-то невероятный проигрыш в карты; доходили даже до каких-то чужих денег, им будто бы растраченных. Был тоже слух, что князь решился удалить сына вовсе не за вину, а вследствие каких-то особенных, эгоистических соображений. Николай Сергеич с негодованием отвергал этот слух, тем более что Алеша чрезвычайно любил своего отца, которого не знал в продолжение всего своего детства и отрочества; он говорил об нем с восторгом, с увлечением; видно было, что он вполне подчинился его влиянию. Алеша болтал тоже иногда про какую-то графиню, за которой волочились и он и отец вместе, но что он, Алеша, одержал верх, а отец на него за это ужасно рассердился. Он всегда рассказывал эту историю с восторгом, с детским простодушием, с звонким, веселым смехом; но Николай Сергеич тотчас же его останавливал. Алеша подтверждал тоже слух, что отец его хочет жениться.

Он выжил уже почти год в изгнании, в известные сроки писал к отцу почтительные и благоразумные письма и наконец до того сжился с Васильевским, что когда князь на лето сам приехал в деревню (о чем заранее уведомил Ихменевых), то изгнанник сам стал просить отца позволить ему как можно долее остаться в Васильевском, уверяя, что сельская жизнь — настоящее его назначение. Все решения и увлечения Алеши происходили от его чрезвычайной, слабонервной восприимчивости, от горячего сердца, от легкомыслия, доходившего иногда до бессмыслицы; от чрезвычайной способности подчиняться всякому внешнему влиянию и от совершенного отсутствия воли. Но князь как-то подозрительно выслушал его просьбу... Вообще Николай Сергеич с трудом узнавал своего прежнего *«друга»*: князь Петр Александрович чрезвычайно изменился. Он сделался вдруг особенно придирчив к Николаю Сергеичу; в проверке

счетов по именью выказал какую-то отвратительную жадность, скупость и непонятную мнительность. Все это ужасно огорчило добрейшего Ихменева; он долго старался не верить самому себе. В этот раз все делалось обратно в сравнении с первым посещением Васильевского, четырнадцать лет тому назад: в этот раз князь перезнакомился со всеми соседями, разумеется из важнейших; к Николаю же Сергеичу он никогда не ездил и обращался с ним как будто с своим подчиненным. Вдруг случилось непонятное происшествие: без всякой видимой причины последовал ожесточенный разрыв между князем и Николаем Сергеичем. Подслушаны были горячие, обидные слова, сказанные с обеих сторон. С негодованием удалился Ихменев из Васильевского, но история еще этим не кончилась. По всему околодку вдруг распространилась отвратительная сплетня. Уверяли, что Николай Сергеич, разгадав характер молодого князя, имел намерение употребить все недостатки его в свою пользу; что дочь его Наташа (которой уже было тогда семнадцать лет) сумела влюбить в себя двадцатилетнего юношу; что и отец и мать этой любви покровительствовали, хотя и делали вид, что ничего не замечают; что хитрая и «безнравственная» Наташа околдовала наконец совершенно молодого человека, не видавшего в целый год, ее стараниями, почти ни одной настоящей благородной девицы, которых так много зреет в почтенных домах соседних помещиков. Уверяли, наконец, что между любовниками уже было условлено обвенчаться, в пятнадцати верстах от Васильевского, в селе Григорьеве, по-видимому тихонько от родителей Наташи, но которые, однако же, знали все до малейшей подробности и руководили дочь гнусными своими советами. Одним словом, в целой книге не уместить всего, что уездные кумушки обоего пола успели насплетничать по поводу этой истории. Но удивительнее всего, что князь поверил всему этому совершенно и даже приехал в Васильевское единственно по этой причине, вследствие какого-то анонимного доноса, присланного к нему в Петербург из провинции. Конечно, всякий, кто знал хоть сколько-нибудь Николая Сергеича, не мог бы, кажется, и одному слову поверить из всех взводимых на него обвинений; а между тем, как водится, все суетились, все говорили, все оговаривались, все покачивали головами и... осуждали безвозвратно. Ихменев же был слишком горд, чтоб оправдывать дочь свою пред кумушками, и настрого запретил своей Анне Андреевне вступать в какие бы то ни было объяснения с соседями. Сама же Наташа, так оклеветанная, даже еще целый год спустя, не знала почти ни одного слова из всех этих наговоров и сплетней: от нее тщательно скрывали всю историю, и она была весела и невинна, как двенадцатилетний ребенок.

Тем временем ссора шла все дальше и дальше. Услужливые

люди не дремали. Явились доносчики и свидетели, и князя успели наконец уверить, что долголетнее управление Николая Сергеича Васильевским далеко не отличалось образцовою честностью. Мало того: что три года тому назад при продаже рощи Николай Сергеич утаил в свою пользу двенадцать тысяч серебром, что на это можно представить самые ясные, законные доказательства перед судом, тем более что на продажу рощи он не имел от князя никакой законной доверенности, а действовал по собственному соображению, убедив уже потом князя в необходимости продажи и предъявив за рощу сумму несравненно меньше действительно полученной. Разумеется, все это были одни клеветы, как и оказалось впоследствии, но князь поверил всему и при свидетелях назвал Николая Сергеича вором. Ихменев не стерпел и отвечал равносильным оскорблением; произошла ужасная сцена. Немедленно начался процесс. Николай Сергеич, за неимением кой-каких бумаг, а главное, не имея ни покровителей, ни опытности в хождении по таким делам, тотчас же стал проигрывать в своей тяжбе. На имение его было наложено запрещение. Раздраженный старик бросил все и решился наконец переехать в Петербург, чтобы лично хлопотать о своем деле, а в губернии оставил за себя опытного поверенного. Кажется, князь скоро стал понимать, что он напрасно оскорбил Ихменева. Но оскорбление с обеих сторон было так сильно, что не оставалось и слова на мир, и раздраженный князь употреблял все усилия, чтоб повернуть дело в свою пользу, то есть, в сущности, отнять у бывшего своего управляющего последний кусок хлеба.

Глава V

Итак, Ихменевы переехали в Петербург. Не стану описывать мою встречу с Наташей после такой долгой разлуки. Во все эти четыре года я не забывал ее никогда. Конечно, я сам не понимал вполне того чувства, с которым вспоминал о ней; но когда мы вновь свиделись, я скоро догадался, что она суждена мне судьбою. Сначала, в первые дни после их приезда, мне все казалось, что она как-то мало развилась в эти годы, совсем как будто не переменилась и осталась такой же девочкой, как и была до нашей разлуки. Но потом каждый день я угадывал в ней что-нибудь новое, до тех пор мне совсем незнакомое, как будто нарочно скрытое от меня, как будто девушка нарочно от меня пряталась,— и что за наслаждение было это отгадывание! Старик, переехав в Петербург, первое время был раздражен и желчен. Дела его шли худо; он негодовал, выходил из себя, возился с деловыми бумагами, и ему было не до нас. Анна же Андреевна ходила как потерянная и сначала ничего сообразить

не могла. Петербург ее пугал. Она вздыхала и трусила, плакала о прежнем житье-бытье, об Ихменевке, о том, что Наташа на возрасте, а об ней и подумать некому, и пускалась со мной в престранные откровенности, за неимением кого другого, более способного к дружеской доверенности.

Вот в это-то время, незадолго до их приезда, я кончил мой первый роман, тот самый, с которого началась моя литературная карьера, и, как новичок, сначала не знал, куда его сунуть. У Ихменевых я об этом ничего не говорил; они же чуть со мной не поссорились за то, что я живу праздно, то есть не служу и не стараюсь приискать себе места. Старик горько и даже желчно укорял меня, разумеется, из отеческого ко мне участия. Я же просто стыдился сказать им, чем занимаюсь. Ну как, в самом деле, объявить прямо, что не хочу служить, а хочу сочинять романы, а потому до времени их обманывал, говорил, что места мне не дают, а что я ищу из всех сил. Ему некогда было поверять меня. Помню, как однажды Наташа, наслушавшись наших разговоров, таинственно отвела меня в сторону и со слезами умоляла подумать о моей судьбе, допрашивала меня, выпытывала: что я именно делаю, и когда я перед ней не открылся, взяла с меня клятву, что я не сгублю себя как лентяй и праздношатайка. Правда, я хоть не признался и ей, чем занимаюсь, но помню, что за одно одобрительное слово ее о труде моем, о моем первом романе, я бы отдал все самые лестные для меня отзывы критиков и ценителей, которые потом о себе слышал. И вот вышел наконец мой роман. Еще задолго до появления его поднялся шум и гам в литературном мире. Б. обрадовался как ребенок, прочитав мою рукопись. Нет! Если я был счастлив когда-нибудь, то это даже и не во время первых упоительных минут моего успеха, а тогда, когда еще я не читал и не показывал никому моей рукописи: в те долгие ночи, среди восторженных надежд и мечтаний и страстной любви к труду; когда я сжился с моей фантазией, с лицами, которых сам создал, как с родными, как будто с действительно существующими; любил их, радовался и печалился с ними, а подчас даже и плакал самыми искренними слезами над незатейливым героем моим. И описать не могу, как обрадовались старики моему успеху, хотя сперва ужасно удивились: так странно их это поразило! Анна Андреевна, например, никак не хотела поверить, что новый, прославляемый всеми писатель — тот самый Ваня, который и т. д., и т. д., и все качала головою. Старик долго не сдавался и сначала, при первых слухах, даже испугался; стал говорить о потерянной служебной карьере, о беспорядочном поведении всех вообще сочинителей. Но беспрерывные новые слухи, объявления в журналах и наконец несколько похвальных слов, услышанных им обо мне от таких лиц, которым он с благоговением верил, заставили его изменить свой

взгляд на дело. Когда же он увидел, что я вдруг очутился с деньгами, и узнал, какую плату можно получать за литературный труд, то и последние сомнения его рассеялись. Быстрый в переходах от сомнения к полной, восторженной вере, радуясь как ребенок моему счастью, он вдруг ударился в самые необузданные надежды, в самые ослепительные мечты о моей будущности. Каждый день создавал он для меня новые карьеры и планы, и чего-чего не было в этих планах! Он начал выказывать мне какое-то особенное, до тех пор небывалое ко мне уважение. Но все-таки, помню, случалось, сомнения вдруг опять осаждали его, часто среди самого восторженного фантазирования, и снова сбивали его с толку.

«Сочинитель, поэт! Как-то странно... Когда же поэты выходили в люди, в чины? Народ-то все такой щелкопер, ненадежный!»

Я заметил, что подобные сомнения и все эти щекотливые вопросы приходили к нему всего чаще в сумерки (так памятны мне все подробности и все то золотое время!). В сумерки наш старик всегда становился как-то особенно нервен, впечатлителен и мнителен. Мы с Наташей уж знали это и заранее посмеивались. Помню, я ободрял его анекдотами про генеральство Сумарокова, про то, как Державину прислали табакерку с червонцами, как сама императрица посетила Ломоносова; рассказывал про Пушкина, про Гоголя.

— Знаю, братец, все знаю,— возражал старик, может быть слышавший первый раз в жизни все эти истории.— Гм! Послушай, Ваня, а ведь я все-таки рад, что твоя стряпня не стихами писана. Стихи, братец, вздор; уж ты не спорь, а мне поверь, старику; я добра желаю тебе; чистый вздор, праздное употребление времени! Стихи гимназистам писать; стихи до сумасшедшего дома вашу братью, молодежь, доводят... Положим, что Пушкин велик, кто об этом! А все-таки стишки, и ничего больше; так, эфемерное что-то... Я, впрочем, его и читал-то мало... Проза другое дело! Тут сочинитель даже поучать может,— ну там о любви к отечеству упомянуть или так, вообще про добродетели... да! Я, брат, только не умею выразиться, но ты меня понимаешь; любя говорю. А ну-ка, ну-ка прочти! — заключил он с некоторым видом покровительства, когда я наконец принес книгу и все мы после чаю уселись за круглый стол,— прочти-ка, что ты там настрочил; много кричат о тебе! Посмотрим, посмотрим!

Я развернул книгу и приготовился читать. В тот вечер только что вышел мой роман из печати, и я, достав наконец экземпляр, прибежал к Ихменевым читать свое сочинение.

Как я горевал и досадовал, что не мог им прочесть его ранее, по рукописи, которая была в руках у издателя! Наташа даже плакала с досады, ссорилась со мной, попрекала меня, что чужие

прочтут мой роман раньше, чем она... Но вот наконец мы сидим за столом. Старик состроил физиономию необыкновенно серьезную и критическую. Он хотел строго-строго судить, «сам уверить-ся». Старушка тоже смотрела необыкновенно торжественно; чуть ли она не надела к чтению нового чепчика. Она давно уже приметила, что я смотрю с бесконечной любовью на ее бесценную Наташу; что у меня дух занимается и темнеет в глазах, когда я с ней заговариваю, и что и Наташа тоже как-то яснее, чем прежде, на меня поглядывает. Да! пришло наконец это время, пришло в минуту удач, золотых надежд и самого полного счастья, все вместе, все разом пришло! Приметила тоже старушка, что и старик ее как-то уж слишком начал хвалить меня и как-то особенно взглядывает на меня и на дочь... и вдруг испугалась: все же я был не граф, не князь, не владетельный принц или по крайней мере коллежский советник* из правоведов, молодой, в орденах и красивый собою! Анна Андреевна не любила желать вполовину.

«Хвалят человека,— думала она обо мне,— а за что — неизвестно. Сочинитель, поэт... Да ведь что ж такое сочинитель?»

Глава VI

Я прочел им мой роман в один присест. Мы начали сейчас после чаю, а просидели до двух часов пополуночи. Старик сначала нахмурился. Он ожидал чего-то непостижимо высокого, такого, чего бы он, пожалуй, и сам не мог понять, но только непременно высокого; а вместо того вдруг такие будни и все такое известное — вот точь-в-точь как то самое, что обыкновенно кругом совершается. И добро бы большой или интересный человек был герой, или из исторического что-нибудь, вроде Рославлева или Юрия Милославского*; а то выставлен какой-то маленький, забитый и даже глуповатый чиновник, у которого и пуговицы на вицмундире обсыпались; и все это таким простым слогом описано, ни дать ни взять, как мы сами говорим... Странно! Старушка вопросительно взглядывала на Николая Сергеича и даже немного надулась, точно чем-то обиделась: «Ну стоит, право, такой вздор печатать и слушать, да еще и деньги за это дают»,— написано было на лице ее. Наташа была вся внимание, с жадностию слушала, не сводила с меня глаз, всматриваясь в мои губы, как я произношу каждое слово, и сама шевелила своими хорошенькими губками. И что ж? Прежде чем я дочел до половины, у всех моих слушателей текли из глаз слезы. Анна Андреевна искренно плакала, от всей души сожалея моего героя и пренаивно желая хоть чем-нибудь помочь ему в его несчастиях, что понял я из ее восклицаний. Старик уже отбросил все мечты о высоком: «С первого шагу видно, что далеко кулику до Петрова

дня*, так себе, просто рассказец; зато сердце захватывает,— говорил он,— зато становится понятно и памятно, что кругом происходит; зато познается, что самый забитый, последний человек есть тоже человек и называется брат мой!» Наташа слушала, плакала и под столом, украдкой, крепко пожимала мою руку. Кончилось чтение. Она встала; щечки ее горели, слезинка стояла в глазах; вдруг она схватила мою руку, поцеловала ее и выбежала вон из комнаты. Отец и мать переглянулись между собою.

— Гм! вот она какая восторженная,— проговорил старик, пораженный поступком дочери,— это ничего, впрочем, это хорошо, хорошо, благородный порыв! Она добрая девушка...— бормотал он, смотря вскользь на жену, как будто желая оправдать Наташу, а вместе с тем почему-то желая оправдать и меня.

Но Анна Андреевна, несмотря на то, что во время чтения сама была в некотором волнении и тронута, смотрела теперь так, как будто хотела выговорить:

«Оно конечно, Александр Македонский герой, но зачем же стулья ломать?»* и т. д.

Наташа воротилась скоро, веселая и счастливая, и, проходя мимо, потихоньку ущипнула меня. Старик принялся было опять «серьезно» оценивать мою повесть, но от радости не выдержал характера и увлекся:

— Ну, брат Ваня, хорошо, хорошо! Утешил! Так утешил, что я даже и не ожидал. Не высокое, не великое, это видно... Вон у меня там «Освобождение Москвы»* лежит, в Москве же и сочинили,— ну так оно с первой строки, братец, видно, что, так сказать, орлом воспарил человек... Но знаешь ли, Ваня, у тебя оно как-то проще, понятнее. Вот именно за то и люблю, что понятнее! Роднее как-то оно; как будто со мной самим все это случилось. А то что высокое-то? И сам бы не понимал. Слог бы я выправил: я ведь хвалю, а что ни говори, все-таки мало возвышенного... Ну да уж теперь поздно: напечатано. Разве во втором издании? А что, брат, ведь и второе издание, чай, будет? Тогда опять деньги... Гм!

— И неужели вы столько денег получили, Иван Петрович?— заметила Анна Андреевна.— Гляжу на вас, и все как-то не верится. Ах ты, господи, вот ведь за что теперь деньги стали давать!

— Знаешь, Ваня? — продолжал старик, увлекаясь все более и более,— это хоть не служба, зато все-таки карьера. Прочтут и высокие лица. Вот ты говорил, Гоголь вспоможение ежегодное получает и за границу послан. А что если бы и ты? А? Или еще рано? Надо еще что-нибудь сочинить? Так сочиняй, брат, сочиняй поскорее! Не засыпáй на лаврах*. Чего глядеть-то!

И он говорил это с таким убежденным видом, с таким добро-

душием, что недоставало решимости остановить и расхолодить его фантазию.

— Или вот, например, табакерку дадут... Что ж? На милость ведь нет образца. Поощрить захотят. А кто знает, может, и ко двору попадешь,— прибавил он полушепотом и с значительным видом прищурив свой левый глаз,— или нет? Или еще рано ко двору-то?

— Ну, уж и ко двору! — сказала Анна Андреевна, как будто обидевшись.

— Еще немного, и вы произведете меня в генералы,— отвечал я, смеясь от души.

Старик тоже засмеялся. Он был чрезвычайно доволен.

— Ваше превосходительство, не хотите ли кушать? — закричала резвая Наташа, которая тем временем собрала нам поужинать.

Она захохотала, подбежала к отцу и крепко обняла его своими горячими ручками:

— Добрый, добрый папаша!

Старик расчувствовался.

— Ну, ну, хорошо, хорошо! Я ведь так, спроста говорю. Генерал не генерал, а пойдемте-ка ужинать. Ах ты чувствительная! — прибавил он, потрепав свою Наташу по раскрасневшейся щечке, что любил делать при всяком удобном случае,— я, вот видишь ли, Ваня, любя говорил. Ну, хоть и не генерал (далеко до генерала!), а все-таки известное лицо, сочинитель!

— Нынче, папаша, говорят: писатель.

— А не сочинитель? Не знал я. Ну, положим, хоть и писатель; а я вот что хотел сказать: камергером*, конечно, не сделают за то, что роман сочинил; об этом и думать нечего; а все-таки можно в люди пройти; ну сделаться каким-нибудь там атташе*. За границу могут послать, в Италию, для поправления здоровья или там для усовершенствования в науках, что ли; деньгами помогут. Разумеется, надо, чтобы все это и с твоей стороны было благородно; чтоб за дело, за настоящее дело деньги и почести брать, а не так, чтоб как-нибудь там, по протекции...

— Да ты не загордись тогда, Иван Петрович,— прибавила, смеясь, Анна Андреевна.

— Да уж поскорей ему звезду, папаша, а то что в самом деле, атташе да атташе!

И она опять ущипнула меня за руку.

— А эта все надо мной подсмеивается! — вскричал старик, с восторгом смотря на Наташу, у которой разгорелись щечки, а глазки весело сияли, как звездочки.— Я, детки, кажется, и вправду далеко зашел, в Альнаскары записался*; и всегда-то я был такой... а только знаешь, Ваня, смотрю я на тебя: какой-то ты у нас совсем простой...

— Ах, боже мой! Да какому же ему быть, папочка?

— Ну нет, я не то... А только все-таки, Ваня, у тебя какое-то этак лицо... то есть совсем как будто не поэтическое... Этак, знаешь, бледные они, говорят, бывают, поэты-то, ну и с волосами такими, и в глазах этак что-то... Знаешь, там Гете какой-нибудь или проч. ...я это в «Аббаддонне» читал*... а что? Опять соврал что-нибудь? Ишь, шалунья, так и заливается надо мной! Я, друзья мои, не ученый, только чувствовать могу. Ну, лицо не лицо,— это ведь не велика беда, лицо-то; для меня и твое хорошо, и очень нравится... Я ведь не к тому говорил... А только будь честен, Ваня, будь честен, это главное; живи честно, не возмечтай! Перед тобой дорога широкая. Служи честно своему делу; вот что я хотел сказать, вот именно это-то я и хотел сказать!

Чудное было время! Все свободные часы, все вечера проводил я у них. Старику приносил вести о литературном мире, о литераторах, которыми он вдруг, неизвестно почему, начал чрезвычайно интересоваться; даже начал читать критические статьи Б., про которого я много наговорил ему и которого он почти не понимал, но хвалил до восторга и горько жаловался на врагов его, писавших в «Северном трутне»*. Старушка зорко следила за мной и Наташей; но не уследила она за нами! Между нами уже было сказано одно словечко, и я услышал наконец, как Наташа, потупив головку и полураскрыв свои губки, почти шепотом сказала мне: *да*. Но узнали и старики; погадали, подумали; Анна Андреевна долго качала головою. Странно и жутко ей было. Не верила она мне.

— Ведь вот хорошо удача, Иван Петрович,— говорила она,— а вдруг не будет удачи или там что-нибудь; что тогда? Хоть бы служили вы где!

— А вот что я скажу тебе, Ваня,— решил старик, надумавшись,— я и сам это видел, заметил и, признаюсь, даже обрадовался, что ты и Наташа... ну, да чего тут! Видишь, Ваня, оба вы еще очень молоды, и моя Анна Андреевна права. Подождем. Ты, положим, талант, даже замечательный талант... ну, не гений, как об тебе там сперва прокричали, а так, просто талант (я еще вот сегодня читал на тебя эту критику в «Трутне»; слишком уж там тебя худо третируют; ну да ведь это что ж за газета!). Да! так видишь: ведь это еще не деньги в ломбарде, талант-то; а вы оба бедные. Подождем годика этак полтора или хоть год: пойдешь хорошо, утвердишься крепко на своей дороге — твоя Наташа; не удастся тебе — сам рассуди!.. Ты человек честный; подумай!..

На этом и остановились. А через год вот что было.

Да, это было почти ровно через год! В ясный сентябрьский день, перед вечером, вошел я к моим старикам больной, с замиранием в душе и упал на стул чуть не в обмороке, так что даже

они перепугались, на меня глядя. Но не оттого закружилась у меня тогда голова и тосковало сердце так, что я десять раз подходил к их дверям и десять раз возвращался назад, прежде чем вошел,— не оттого, что не удалась мне моя карьера и что не было у меня еще ни славы, ни денег; не оттого, что я еще не какой-нибудь «атташе» и далеко было до того, чтоб меня послали для поправления здоровья в Италию; а оттого, что можно прожить десять лет в один год, и прожила в этот год десять лет и моя Наташа. Бесконечность легла между нами... И вот, помню, сидел я перед стариком, молчал и доламывал рассеянной рукой и без того уже обломанные поля моей шляпы; сидел и ждал, неизвестно зачем, когда выйдет Наташа. Костюм мой был жалок и худо на мне сидел; лицом я осунулся, похудел, пожелтел,— а все-таки далеко не похож был я на поэта, и в глазах моих все-таки не было ничего великого, о чем так хлопотал когда-то добрый Николай Сергеич. Старушка смотрела на меня с непритворным и уж слишком торопливым сожалением, а сама про себя думала:

«Ведь вот эдакой-то чуть не стал женихом Наташи, господи помилуй и сохрани!»

— Что, Иван Петрович, не хотите ли чаю? (самовар кипел на столе), да каково, батюшка, поживаете? Больные вы какие-то вовсе,— спросила она меня жалобным голосом, как теперь ее слышу.

И как теперь вижу: говорит она мне, а в глазах ее видна и другая забота, та же самая забота, от которой затуманился и ее старик и с которой он сидел теперь над простывающей чашкой и думал свою думу. Я знал, что их очень озабочивает в эту минуту процесс с князем Валковским, повернувшийся для них не совсем хорошо, и что у них случились еще новые неприятности, расстроившие Николая Сергеича до болезни. Молодой князь, из-за которого началась вся история этого процесса, месяцев пять тому назад нашел случай побывать у Ихменевых. Старик, любивший своего милого Алешу как родного сына, почти каждый день вспоминавший о нем, принял его с радостию. Анна Андреевна вспомнила про Васильевское и расплакалась. Алеша стал ходить к ним чаще и чаще, потихоньку от отца; Николай Сергеич, честный, открытый, прямодушный, с негодованием отверг все предосторожности. Из благородной гордости он не хотел и думать: что скажет князь, если узнает, что его сын опять принят в доме Ихменевых, и мысленно презирал все его нелепые подозрения. Но старик не знал, достанет ли у него сил вынести новые оскорбления. Молодой князь начал бывать у них почти каждый день. Весело было с ним старикам. Целые вечера и далеко за полночь просиживал он у них. Разумеется, отец узнал наконец обо всем. Вышла гнуснейшая сплетня. Он оскорбил Николая

Сергеича ужасным письмом, все на ту же тему, как и прежде, а сыну положительно запретил посещать Ихменевых. Это случилось за две недели до моего к ним прихода. Старик загрустил ужасно. Как! Его Наташу, невинную, благородную, замешивать опять в эту грязную клевету, в эту низость! Ее имя было оскорбительно произнесено уже и прежде обидевшим его человеком... И оставить все это без удовлетворения! В первые дни он слег в постель от отчаяния. Все это я знал. Вся история дошла до меня в подробности, хотя я, больной и убитый, все это последнее время, недели три, у них не показывался и лежал у себя на квартире. Но я знал еще... нет! Я тогда еще только предчувствовал, знал, да не верил, что кроме этой истории есть и у них теперь что-то, что должно беспокоить их больше всего на свете, и с мучительной тоской к ним приглядывался. Да, я мучился; я боялся угадать, боялся верить и всеми силами желал удалить роковую минуту. А между тем и пришел для нее. Меня точно тянуло к ним в этот вечер!

— Да, Ваня,— спросил вдруг старик, как будто опомнившись,— уж не был ли болен? Что долго не ходил? Я виноват перед тобой: давно хотел тебя навестить, да все как-то того...— И он опять задумался.

— Я был нездоров,— отвечал я.

— Гм! нездоров! — повторил он пять минут спустя.— То-то нездоров! Говорил я тогда, предостерегал,— не послушался! Гм! Нет, брат Ваня: муза, видно, испокон веку сидела на чердаке голодная, да и будет сидеть. Так-то!

Да, не в духе был старик. Не было б у него своей раны на сердце, не заговорил бы он со мной о голодной музе. Я всматривался в его лицо: оно пожелтело, в глазах его выражалось какое-то недоумение, какая-то мысль в форме вопроса, которого он не в силах был разрешить. Был он как-то порывист и непривычно желчен. Жена взглядывала на него с беспокойством и покачивала головою. Когда он раз отвернулся, она кивнула мне на него украдкой.

— Как здоровье Натальи Николаевны? Она дома? — спросил я озабоченную Анну Андреевну.

— Дома, батюшка, дома,— отвечала она, как будто затрудняясь моим вопросом.— Сейчас сама выйдет на вас поглядеть. Шутка ли! Три недели не видались! Да чтой-то она у нас какая-то стала такая,— не сообразишь с ней никак: здоровая ли, больная ли, бог с ней!

И она робко посмотрела на мужа.

— А что? Ничего с ней,— отозвался Николай Сергеич неохотно и отрывисто,— здорова. Так, в лета входит девица, перестала младенцем быть, вот и все. Кто их разберет, эти девичьи печали да капризы?

— Ну, уж и капризы? — подхватила Анна Андреевна обидчивым голосом.

Старик смолчал и забарабанил пальцами по столу. «Боже, неужели уж было что-нибудь между ними?» — подумал я в страхе.

— Ну, а что, как там у вас? — начал он снова.— Что Б., все еще критику пишет?

— Да, пишет,— отвечал я.

— Эх, Ваня, Ваня! — заключил он, махнув рукой.— Что уж тут критика!

Дверь отворилась, и вошла Наташа.

Глава VII

Она несла в руках свою шляпку и, войдя, положила ее на фортепьяно; потом подошла ко мне и молча протянула мне руку. Губы ее слегка пошевелились; она как будто хотела мне что-то сказать, какое-то приветствие, но ничего не сказала.

Три недели, как мы не видались. Я глядел на нее с недоумением и страхом. Как переменилась она в три недели! Сердце мое защемило тоской, когда я разглядел эти впалые, бледные щеки, губы, запекшиеся, как в лихорадке, и глаза, сверкавшие из-под длинных темных ресниц горячечным огнем и какой-то страстной решимостью.

Но боже, как она была прекрасна! Никогда, ни прежде, ни после, не видал я ее такою, как в этот роковой день. Та ли, та ли это Наташа, та ли это девочка, которая, еще только год тому назад, не спускала с меня глаз и, шевеля за мною губками, слушала мой роман и которая так весело, так беспечно хохотала и шутила в тот вечер с отцом и со мною за ужином? Та ли это Наташа, которая там, в той комнате, наклонив головку и вся загоревшись румянцем, сказала мне: *да*.

Раздался густой звук колокола, призывавшего к вечерне. Она вздрогнула, старушка перекрестилась.

— Ты к вечерне собиралась, Наташа, а вот уж и благовестят,— сказала она.— Сходи, Наташенька, сходи, помолись, благо близко! Да и прошлась бы заодно. Что взаперти-то сидеть? Смотри, какая ты бледная, ровно сглазили.

— Я... может быть... не пойду сегодня,— проговорила Наташа медленно и тихо, почти шепотом.— Я... нездорова,— прибавила она и побледнела как полотно.

— Лучше бы пойти, Наташа; ведь ты же хотела давеча и шляпку вот принесла. Помолись, Наташенька, помолись, чтоб тебе бог здоровья послал,— уговаривала Анна Андреевна, робко смотря на дочь, как будто боялась ее.

— Ну да; сходи; а к тому ж и пройдешься,— прибавил старик, тоже с беспокойством всматриваясь в лицо дочери,— мать правду говорит. Вот Ваня тебя и проводит.

Мне показалось, что горькая усмешка промелькнула на губах Наташи. Она подошла к фортепьяно, взяла шляпку и надела ее; руки ее дрожали. Все движения ее были как будто бессознательны, точно она не понимала, что делала. Отец и мать пристально в нее всматривались.

— Прощайте! — чуть слышно проговорила она.

— И, ангел мой, что прощаться, далекий ли путь! На тебя хоть ветер подует; смотри, какая ты бледненькая. Ах! да ведь я и забыла (все-то я забываю!) — ла́донку я тебе кончила; молитву зашила в нее, ангел мой; монашенка из Киева научила прошлого года; пригодная молитва; еще давеча зашила. Надень, Наташа. Авось господь бог тебе здоровья пошлет. Одна ты у нас.

И старушка вынула из рабочего ящика нательный золотой крестик Наташи; на той же ленточке была привешена только что сшитая ла́донка.

— Носи на здоровье! — прибавила она, надевая крест и крестя дочь,— когда-то я тебя каждую ночь так крестила на сон грядущий, молитву читала, а ты за мной причитывала. А теперь ты не та стала, и не дает тебе господь спокойного духа. Ах, Наташа, Наташа̀! Не помогают тебе и молитвы мои материнские! — И старушка заплакала.

Наташа молча поцеловала ее руку и ступила шаг к дверям; но вдруг быстро воротилась назад и подошла к отцу. Грудь ее глубоко волновалась.

— Папенька! Перекрестите и вы... свою дочь,— проговорила она задыхающимся голосом и опустилась перед ним на колени.

Мы все стояли в смущении от неожиданного, слишком торжественного ее поступка. Несколько мгновений отец смотрел на нее, совсем потерявшись.

— Наташенька, деточка моя, дочка моя, милочка, что с тобою! — вскричал он наконец, и слезы градом хлынули из глаз его.— Отчего ты тоскуешь? Отчего плачешь и день и ночь? Ведь я все вижу; я ночей не сплю, встаю и слушаю у твоей комнаты!.. Скажи мне все, Наташа, откройся мне во всем, старику, и мы...

Он не договорил, поднял ее и крепко обнял. Она судорожно прижалась к его груди и скрыла на его плече свою голову.

— Ничего, ничего, это так... я нездорова...— твердила она, задыхаясь от внутренних, подавленных слез.

— Да благословит же тебя бог, как я благословляю тебя, ди́тя мое милое, бесценное дитя! — сказал отец.— Да пошлет

он тебе навсегда мир души и оградит тебя от всякого горя. Помолись богу, друг мой, чтоб грешная молитва моя дошла до него.

— И мое, и мое благословение над тобою! — прибавила старушка, заливаясь слезами.

— Прощайте! — прошептала Наташа.

У дверей она остановилась, еще раз взглянула на них, хотела было еще что-то сказать, но не могла и быстро вышла из комнаты. Я бросился вслед за нею, предчувствуя недоброе.

Глава VIII

Она шла молча, скоро, потупив голову и не смотря на меня. Но, пройдя улицу и ступив на набережную, вдруг остановилась и схватила меня за руку.

— Душно! — прошептала она,— сердце теснит... душно!

— Воротись, Наташа! — вскричал я в испуге.

— Неужели ж ты не видишь, Ваня, что я вышла *совсем*, ушла от них и никогда не возвращусь назад? — сказала она, с невыразимой тоской смотря на меня.

Сердце упало во мне. Все это я предчувствовал, еще идя к ним; все это уже представлялось мне, как в тумане, еще, может быть, задолго до этого дня; но теперь слова ее поразили меня как громом.

Мы печально шли по набережной. Я не мог говорить; я соображал, размышлял и потерялся совершенно. Голова у меня закружилась. Мне казалось это так безобразно, так невозможно!

— Ты винишь меня, Ваня? — сказала она, наконец.

— Нет, но... но я не верю; этого быть не может!..— отвечал я, не помня, что говорю.

— Нет, Ваня, это уж есть! Я ушла от них и не знаю, что с ними будет... не знаю, что будет и со мною!

— Ты к *нему*, Наташа? Да?

— Да,— отвечала она.

— Но это невозможно! — вскричал я в исступлении,— знаешь ли, что это невозможно, Наташа, бедная ты моя! Ведь это безумие. Ведь ты их убьешь и себя погубишь! Знаешь ли ты это, Наташа?

— Знаю; но что же мне делать, не моя воля,— сказала она, и в словах ее слышалось столько отчаяния, как будто она шла на смертную казнь.

— Воротись, воротись, пока не поздно,— умолял я ее, и тем горячее, тем настойчивее умолял, чем больше сам сознавал всю бесполезность моих увещаний и всю нелепость их в настоящую минуту.— Понимаешь ли ты, Наташа, что ты сделаешь с отцом?

Обдумала ль ты это? Ведь *его* отец враг твоему; ведь князь оскорбил твоего отца, заподозрил его в грабеже денег; ведь он его вором назвал. Ведь они тягаются... Да что! Это еще последнее дело, а знаешь ли ты, Наташа... (о боже, да ведь ты все это знаешь!) знаешь ли, что князь заподозрил твоего отца и мать, что они сами, нарочно, сводили тебя с Алешей, когда Алеша гостил у вас в деревне? Подумай, представь себе только, каково страдал тогда твой отец от этой клеветы. Ведь он весь поседел в эти два года,— взгляни на него! А главное: ты ведь это все знаешь, Наташа, господи боже мой! Ведь уж я не говорю, чего стоит им обоим тебя потерять навеки! Ведь ты их сокровище, все, что у них осталось на старости. Я уж и говорить об этом не хочу: сама должна знать; припомни, что отец считает тебя напрасно оклеветанною, обиженною этими гордецами, неотомщенною! Теперь же, именно теперь, все это вновь разгорелось, усилилась вся эта старая, наболевшая вражда из-за того, что вы принимали к себе Алешу. Князь опять оскорбил твоего отца, в старике еще злоба кипит от этой новой обиды, и вдруг все, все это, все эти обвинения окажутся теперь справедливыми! Все, кому дело известно, оправдают теперь князя и обвинят тебя и твоего отца. Ну, что теперь будет с ним? Ведь это убьет его сразу! Стыд, позор, и от кого же? Через тебя, его дочь, его единственное, бесценное дитя! А мать? Да ведь она не переживет старика... Наташа, Наташа! Что ты делаешь? Воротись! Опомнись!

Она молчала; наконец взглянула на меня как будто с упреком, и столько пронзительной боли, столько страдания было в ее взгляде, что я понял, какою кровью и без моих слов обливается теперь ее раненое сердце. Я понял, чего стоило ей ее решение и как я мучил, резал ее моими бесполезными, поздними словами; я все это понимал и все-таки не мог удержать себя и продолжал говорить:

— Да ведь ты же сама говорила сейчас Анне Андреевне, *может быть*, не пойдешь из дому... ко всенощной. Стало быть, ты хотела и остаться; стало быть, не решилась еще совершенно?

Она только горько улыбнулась в ответ. И к чему я это спросил? Ведь я мог понять, что все уже было решено невозвратно. Но я тоже был вне себя.

— Неужели ж ты так его полюбила? — вскричал я, с замиранием сердца смотря на нее и почти сам не понимая, что спрашиваю.

— Что мне отвечать тебе, Ваня? Ты видишь! Он велел мне прийти, и я здесь, жду его,— проговорила она с той же горькой улыбкой.

— Но послушай, послушай только,— начал я опять умолять

ее, хватаясь за соломинку,— все это еще можно поправить, еще можно обделать другим образом, совершенно другим каким-нибудь образом! Можно не уходить из дому. Я тебя научу, как сделать, Наташечка. Я берусь вам все устроить, все, и свидания, и все... Только из дому-то не уходи!.. Я буду переносить ваши письма; отчего же не переносить? Это лучше, чем теперешнее. Я сумею это сделать; я вам угожу обоим; вот увидите, что угожу... И ты не погубишь себя, Наташечка, как теперь... А то ведь ты совсем себя теперь губишь, совсем! Согласись, Наташа: все пойдет и прекрасно и счастливо, и любить вы будете друг друга сколько захотите... А когда отцы перестанут ссориться (потому что они непременно перестанут ссориться) — тогда...

— Полно, Ваня, оставь,— прервала она, крепко сжав мою руку и улыбнувшись сквозь слезы.— Добрый, добрый Ваня! Добрый, честный ты человек! И ни слова-то о себе! Я же тебя оставила первая, а ты все простил, только об моем счастье и думаешь. Письма нам переносить хочешь...

Она заплакала.

— Я ведь знаю, Ваня, как ты любил меня, как до сих пор еще любишь, и ни одним-то упреком, ни одним горьким словом ты не упрекнул меня во все это время! А я, я... Боже мой, как я перед тобой виновата. Помнишь, Ваня, помнишь и наше время с тобою? Ох, лучше б я не знала, не встречала б *его* никогда!.. Жила б я с тобой, Ваня, с тобой, добренький ты мой, голубчик ты мой!.. Нет, я тебя не стою! Видишь, я какая: в такую минуту тебе же напоминаю о нашем прошлом счастии, а ты и без того страдаешь! Вот ты три недели не приходил: клянусь же тебе, Ваня, ни одного разу не приходила мне в голову мысль, что ты меня проклял и ненавидишь. Я знала, отчего ты ушел: ты не хотел нам мешать и быть нам живым укором. А самому тебе разве не было тяжело на нас смотреть? А как я ждала тебя, Ваня, уж как ждала! Ваня, послушай, если я и люблю Алешу, как безумная, как сумасшедшая, то тебя, может быть, еще больше, как друга моего, люблю. Я уж слышу, знаю, что без тебя я не проживу; ты мне надобен, мне твое сердце надобно, твоя душа золотая... Ох, Ваня! Какое горькое, какое тяжелое время наступает!

Она залилась слезами. Да, тяжело ей было!

— Ах, как мне хотелось тебя видеть! — продолжала она, подавив свои слезы.— Как ты похудел, какой ты больной, бледный; ты в самом деле был нездоров, Ваня? Что ж я и не спрошу! Все о себе говорю; ну, как же теперь твои дела с журналистами? Что твой новый роман, подвигается ли?

— До романов ли, до меня ли теперь, Наташа! Да и что мои дела! Ничего; так себе, да и бог с ними! А вот что, Наташа: это он сам потребовал, чтоб ты шла к нему?

— Нет, не он один, больше я. Он, правда, говорил, да я и сама... Видишь, голубчик, я тебе все расскажу: ему сватают невесту, богатую и очень знатную; очень знатным людям родня. Отец непременно хочет, чтоб он женился на ней, а отец, ведь ты знаешь,— ужасный интриган; он все пружины в ход пустил: и в десять лет такого случая не нажить. Связи, деньги... А она, говорят, очень хороша собою; да и образованием и сердцем — всем хороша; уж Алеша увлекается ею. Да к тому же отец и сам его хочет поскорей с плеч долой сбыть, чтоб самому жениться, а потому непременно и во что бы то ни стало положил расторгнуть нашу связь. Он боится меня и моего влияния на Алешу...

— Да разве князь,— прервал я ее с удивлением,— про вашу любовь знает? Ведь он только подозревал, да и то не наверно.

— Знает, все знает.

— Да ему кто сказал?

— Алеша же все и рассказал, недавно. Он мне сам говорил, что все это рассказал отцу.

— Господи! Что ж это у вас происходит! Сам же все и рассказал, да еще в такое время?..

— Не вини его, Ваня,— перебила Наташа,— не смейся над ним! Его судить нельзя, как всех других. Будь справедлив. Ведь он не таков, как вот мы с тобой. Он ребенок; его и воспитали не так. Разве он понимает, что делает? Первое впечатление, первое чужое влияние способно его отвлечь от всего, чему он за минуту перед тем отдавался с клятвою. У него нет характера. Он вот поклянется тебе, да в тот же день, так же правдиво и искренно, другому отдастся; да еще сам первый к тебе придет рассказать об этом. Он и дурной поступок, пожалуй, сделает; да обвинить-то его за этот дурной поступок нельзя будет, а разве что пожалеть. Он и на самопожертвование способен и даже знаешь на какое! Да только до какого-нибудь нового впечатления: тут уж он опять все забудет. *Так и меня забудет, если я не буду постоянно при нем.* Вот он какой!

— Ах, Наташа, да, может быть, это все неправда, только слухи одни. Ну, где ему, такому еще мальчику, жениться!

— Соображения какие-то у отца особенные, говорю тебе.

— А почему ж ты знаешь, что невеста его так хороша и что он и ею уж увлекается?

— Да ведь он мне сам говорил.

— Как! Сам же и сказал тебе, что может другую любить, а от тебя потребовал теперь такой жертвы?

— Нет, Ваня, нет! Ты не знаешь его, ты мало с ним был; его надо короче узнать и уж потом судить. Нет сердца на свете правдивее и чище его сердца! Что ж? Лучше, что ль, если б он лгал? А что он увлекся, так ведь стоит только мне неделю с ним

не видаться, он и забудет меня и полюбит другую, а потом как увидит меня, то и опять у ног моих будет. Нет! Это еще и хорошо, что я знаю, что не скрыто от меня это; а то бы я умерла от подозрений. Да, Ваня! Я уж решилась: *если я не буду при нем всегда, постоянно, каждое мгновение, он разлюбит меня, забудет и бросит*. Уж он такой; его всякая другая за собой увлечь может. А что же я тогда буду делать? Я тогда умру... да что умереть! Я бы и рада теперь умереть! А вот каково жить-то мне без него? Вот что хуже самой смерти, хуже всех мук! О, Ваня, Ваня! Ведь есть же что-нибудь, что я вот бросила теперь для него и мать и отца! Не уговаривай меня: все решено! Он должен быть подле меня каждый час, каждое мгновение; я не могу воротиться. Я знаю, что погибла и других погубила... Ах, Ваня! — вскричала она вдруг и вся задрожала,— что, если он в самом деле уж не любит меня! Что, если ты правду про него сейчас говорил (я никогда этого не говорил), что он только обманывает меня и только кажется таким правдивым и искренним, а сам злой и тщеславный! Я вот теперь защищаю его перед тобой; а он, может быть, в эту же минуту с другою и смеется про себя... а я, я, низкая, бросила все и хожу по улицам, ищу его... Ох, Ваня!

Этот стон с такою болью вырвался из ее сердца, что вся душа моя заныла в тоске. Я понял, что Наташа потеряла уже всякую власть над собой. Только слепая, безумная ревность в последней степени могла довести ее до такого сумасбродного решения. Но во мне самом разгорелась ревность и прорвалась из сердца. Я не выдержал: гадкое чувство увлекло меня.

— Наташа,— сказал я,— одного только я не понимаю: как ты можешь любить его после того, что сама про него сейчас говорила? Не уважаешь его, не веришь даже в любовь его, и идешь к нему без возврата, и всех для него губишь? Что ж это такое? Измучает он тебя на всю жизнь, да и ты его тоже. Слишком уж любишь ты его, Наташа, слишком! Не понимаю я такой любви.

— Да, люблю, как сумасшедшая,— отвечала она, побледнев, как будто от боли.— Я тебя никогда так не любила, Ваня. Я ведь и сама знаю, что с ума сошла и не так люблю, как надо. Нехорошо я люблю его... Слушай, Ваня: я ведь и прежде знала и даже в самые счастливые минуты наши предчувствовала, что он даст мне одни только муки. Но что же делать, если мне теперь даже муки от него — счастье? Я разве на радость иду к нему? Разве я не знаю вперед, что меня у него ожидает и что я перенесу от него? Ведь вот он клялся мне любить меня, всё обещания давал; а ведь я ничему не верю из его обещаний, ни во что их не ставлю и прежде не ставила, хоть и знала, что он мне не лгал, да и солгать не может. Я сама ему сказала, сама, что не хочу

его ничем связывать. С ним это лучше: привязи никто не любит, я первая. А все-таки я рада быть его рабой, добровольной рабой; переносить от него все, все, только бы он был со мной, только б я глядела на него! Кажется, пусть бы он и другую любил, только бы при мне это было, чтоб и я тут подле была... Экая низость, Ваня? — спросила она вдруг, смотря на меня каким-то горячечным, воспаленным взглядом. Одно мгновение мне казалось, будто она в бреду.— Ведь это низость, такие желания? Что ж? Сама говорю, что низость, а если он бросит меня, я побегу за ним на край света, хоть и отталкивать, хоть и прогонять меня будет. Вот ты уговариваешь теперь меня воротиться,— а что будет из этого? Ворочусь, а завтра же опять уйду, прикажет — и уйду; свистнет, кликнет меня, как собачку, я и побегу за ним... Муки! Не боюсь я от него никаких мук! Я буду знать, что *от него* страдаю... Ох, да ведь этого не расскажешь, Ваня!

«А отец, а мать?» — подумал я. Она как будто уж и забыла про них.

— Так он и не женится на тебе, Наташа?

— Обещал, все обещал. Он ведь для того меня и зовет теперь, чтоб завтра же обвенчаться потихоньку, за городом; да ведь он не знает, что делает. Он, может быть, как и венчаются-то, не знает. И какой он муж! Смешно, право. А женится, так несчастлив будет, попрекать начнет... Не хочу я, чтоб он когда-нибудь в чем-нибудь попрекнул меня. Все ему отдам, а он мне пускай ничего. Что ж, коль он несчастлив будет от женитьбы, зачем же его несчастным делать?

— Нет, это какой-то чад, Наташа,— сказал я.— Что ж, ты теперь прямо к нему?

— Нет, он обещался сюда прийти, взять меня; мы условились...

И она жадно посмотрела вдаль, но никого еще не было.

— И его еще нет! и ты *первая* пришла! — вскричал я с негодованием. Наташа как будто пошатнулась от удара. Лицо ее болезненно исказилось.

— Он, может быть, и совсем не придет,— проговорила она с горькой усмешкой.— Третьего дня он писал, что если я не дам ему слова прийти, то он поневоле должен отложить свое решение — ехать и обвенчаться со мною; а отец увезет его к невесте. И так просто, так натурально написал, как будто это и совсем ничего... Что, если он и вправду поехал к *ней*, Ваня?

Я не отвечал. Она крепко стиснула мне руку — и глаза ее засверкали.

— Он у ней,— проговорила она чуть слышно.— Он надеялся, что я не приду сюда, чтоб поехать к ней, а потом сказать, что он прав, что он заранее уведомлял, а я сама не пришла. Я ему надоела, вот он и отстает... Ох, боже! Сумасшедшая я!

Да ведь он мне сам в последний раз сказал, что я ему надоела... Чего ж я жду!

— Вот он! — закричал я, вдруг завидев его вдали на набережной.

Наташа вздрогнула, вскрикнула, вгляделась в приближавшегося Алешу и вдруг, бросив мою руку, пустилась к нему. Он тоже ускорил шаги, и через минуту она была уже в его объятиях. На улице, кроме нас, никого почти не было. Они целовались, смеялись; Наташа смеялась и плакала, все вместе, точно они встретились после бесконечной разлуки. Краска залила ее бледные щеки; она была как исступленная... Алеша заметил меня и тотчас же ко мне подошел.

Глава IX

Я жадно в него всматривался, хоть и видел его много раз до этой минуты; я смотрел в его глаза, как будто его взгляд мог разрешить все мои недоумения, мог разъяснить мне: чем, как этот ребенок мог очаровать ее, мог зародить в ней такую безумную любовь — любовь до забвения самого первого долга, до безрассудной жертвы всем, что было для Наташи до сих пор самой полной святыней? Князь взял меня за обе руки, крепко пожал их, и его взгляд, кроткий и ясный, проник в мое сердце.

Я почувствовал, что мог ошибаться в заключениях моих на его счет уж по тому одному, что он был враг мой. Да, я не любил его, и, каюсь, я никогда не мог его полюбить,— только один я, может быть, из всех его знавших. Многое в нем мне упорно не нравилось, даже изящная его наружность, и, может быть, именно потому, что она была как-то уж слишком изящна. Впоследствии я понял, что и в этом судил пристрастно. Он был высок, строен, тонок; лицо его было продолговатое, всегда бледное; белокурые волосы, большие голубые глаза, кроткие и задумчивые, в которых вдруг, порывами, блистала иногда самая простодушная, самая детская веселость. Полные небольшие пунцовые губы его, превосходно обрисованные, почти всегда имели какую-то серьезную складку; тем неожиданнее и тем очаровательнее была вдруг появлявшаяся на них улыбка, до того наивная и простодушная, что вы сами, вслед за ним, в каком бы вы ни были настроении духа, ощущали немедленную потребность в ответ ему, точно так же как и он, улыбнуться. Одевался он неизысканно, но всегда изящно; видно было, что ему не стоило ни малейшего труда это изящество во всем, что оно ему прирожденно. Правда, и в нем было несколько нехороших замашек, несколько дурных привычек хорошего тона: легкомыслие, самодовольство, вежливая дерзость. Но он был слишком ясен и прост душою

и сам, первый, обличал в себе эти привычки, каялся в них и смеялся над ними. Мне кажется, этот ребенок никогда, даже и в шутку, не мог бы солгать, а если б и солгал, то, право, не подозревая в этом дурного. Даже самый эгоизм был в нем как-то привлекателен, именно потому, может быть, что был откровенен, а не скрыт. В нем ничего не было скрытного. Он был слаб, доверчив и робок сердцем; воли у него не было никакой. Обидеть, обмануть его было бы и грешно и жалко, так же как грешно обмануть и обидеть ребенка. Он был не по летам наивен и почти ничего не понимал из действительной жизни; впрочем, и в сорок лет ничего бы, кажется, в ней не узнал. Такие люди как бы осуждены на вечное несовершеннолетие. Мне кажется, не было человека, который бы мог не полюбить его; он заласкался бы к вам, как дитя. Наташа сказала правду: он мог бы сделать и дурной поступок, принужденный к тому чьим-нибудь сильным влиянием; но, сознав последствия такого поступка, я думаю, он бы умер от раскаяния. Наташа инстинктивно чувствовала, что будет его госпожой, владычицей; что он будет даже жертвой ее. Она предвкушала наслаждение любить без памяти и мучить до боли того, кого любишь, именно за то, что любишь, и потому-то, может быть, и поспешила отдаться ему в жертву первая. Но и в его глазах сияла любовь, и он с восторгом смотрел на нее. Она с торжеством взглянула на меня. Она забыла в это мгновение все — и родителей, и прощанье, и подозрения... Она была счастлива.

— Ваня! — вскричала она,— я виновата перед ним и не стою его. Я думала, что ты уже и не придешь, Алеша. Забудь мои дурные мысли, Ваня. Я заглажу это! — прибавила она, с бесконечною любовью смотря на него. Он улыбнулся, поцеловал у ней руку и, не выпуская ее руки, сказал, обращаясь ко мне:

— Не вините и меня. Как давно хотел я вас обнять как родного брата; как много она мне про вас говорила! Мы с вами до сих пор едва познакомились и как-то не сошлись. Будем друзьями и... простите нас,— прибавил он вполголоса и немного покраснев, но с такой прекрасной улыбкой, что я не мог не отозваться всем моим сердцем на его приветствие.

— Да, да, Алеша,— подхватила Наташа,— он наш, он наш брат, он уже простил нас, и без него мы не будем счастливы. Я уже тебе говорила... Ох, жестокие мы дети, Алеша! Но мы будем жить втроем... Ваня! — продолжала она, и губы ее задрожали,— вот ты воротишься теперь к *ним*, домой; у тебя такое золотое сердце, что хоть они и не простят меня, но, видя, что и ты простил, может быть, хоть немного смягчатся надо мной. Расскажи им все, все, *своими* словами из сердца; найди такие слова... Защити меня, спаси; передай им все причины, все, как сам понял. Знаешь ли, Ваня, что я бы, может быть, и не реши-

лась на *это*, если б тебя не случилось сегодня со мною! Ты спасение мое: я тотчас же на тебя понадеялась, что ты сумеешь им так передать, что, по крайней мере, этот первый-то ужас смягчишь для них. О боже мой, боже!.. Скажи им от меня, Ваня, что я знаю, простить меня уж нельзя теперь: они простят, бог не простит; но что если они и проклянут меня, то я все-таки буду благословлять их и молиться за них всю мою жизнь. Все мое сердце у них! Ах, зачем мы не все счастливы! Зачем, зачем!.. Боже! Что это я такое сделала! — вскричала она вдруг, точно опомнившись, и, вся задрожав от ужаса, закрыла лицо руками. Алеша обнял ее и молча крепко прижал к себе. Прошло несколько минут молчания.

— И вы могли потребовать такой жертвы! — сказал я, с упреком смотря на него.

— Не вините меня! — повторил он,— уверяю вас, что теперь все эти несчастья, хоть они и очень сильны,— только на одну минуту. Я в этом совершенно уверен. Нужна только твердость, чтоб перенести эту минуту; то же самое и она мне говорила. Вы знаете: всему причиною эта семейная гордость, эти совершенно ненужные ссоры, какие-то там еще тяжбы!.. Но... (я об этом долго размышлял, уверяю вас) все это должно прекратиться. Мы все соединимся опять и тогда уже будем совершенно счастливы, так что даже и старики помирятся, на нас глядя. Почему знать, может быть, именно наш брак послужит началом к их примирению! Я думаю, что даже и не может быть иначе. Как вы думаете?

— Вы говорите: брак. Когда же вы обвенчаетесь? — спросил я, взглянув на Наташу.

— Завтра или послезавтра; по крайней мере, послезавтра — наверно. Вот видите, я и сам еще нехорошо знаю и, по правде, ничего еще там не устроил. Я думал, что Наташа, может быть, еще и не придет сегодня. К тому же отец непременно хотел меня везти сегодня к невесте (ведь мне сватают невесту; Наташа вам сказывала? да я не хочу). Ну, так я еще и не мог рассчитать всего наверное. Но все-таки мы, наверное, обвенчаемся послезавтра. Мне, по крайней мере, так кажется, потому что ведь нельзя же иначе. Завтра же мы выезжаем по псковской дороге. Тут у меня недалеко, в деревне, есть товарищ, лицейский, очень хороший человек; я вас, может быть, познакомлю. Там в селе есть и священник, а, впрочем, наверно не знаю, есть или нет. Надо было заранее справиться, да я не успел... А, впрочем, по-настоящему, все это мелочи. Было бы главное-то в виду. Можно ведь из соседнего какого-нибудь села пригласить священника; как вы думаете? Ведь есть же там соседние села! Одно жаль, что я до сих пор не успел ни строчки написать туда; предупредить бы надо. Пожалуй, моего приятеля нет теперь и дома...

Но — это последняя вещь! Была бы решимость, а там все само собою устроится, не правда ли? А покамест, до завтра или хоть до послезавтра, она пробудет здесь у меня. Я нанял особую квартиру, в которой мы и воротясь будем жить. Я уж не пойду жить к отцу, не правда ли? Вы к нам придете; я премило устроился. Ко мне будут ходить наши лицейские; я заведу вечера...

Я с недоумением и тоскою смотрел на него. Наташа умоляла меня взглядом не судить его строго и быть снисходительнее. Она слушала его рассказы с какою-то грустною улыбкой, а вместе с тем как будто и любовалась им, так же как любуются милым, веселым ребенком, слушая его неразумную, но милую болтовню. Я с упреком поглядел на нее. Мне стало невыносимо тяжело.

— Но ваш отец? — спросил я,— твердо ли вы уверены, что он вас простит?

— Непременно; что ж ему останется делать? То есть он, разумеется, проклянет меня сначала; я даже в этом уверен. Он уж такой; и такой со мной строгий. Пожалуй, еще будет кому-нибудь жаловаться, употребит, одним словом, отцовскую власть... Но ведь все это несерьезно. Он меня любит без памяти; посердится и простит. Тогда все помирятся, и все мы будем счастливы. Ее отец тоже.

— А если не простит? подумали ль вы об этом?

— Непременно простит, только, может быть, не так скоро. Ну что ж? Я докажу ему, что и у меня есть характер. Он все бранит меня, что у меня нет характера, что я легкомысленный. Вот и увидит теперь, легкомыслен ли я или нет? Ведь сделаться семейным человеком не шутка; тогда уж я буду не мальчик... то есть я хотел сказать, что я буду такой же, как и другие... ну, там семейные люди. Я буду жить своими трудами. Наташа говорит, что это гораздо лучше, чем жить на чужой счет, как мы все живем. Если б вы только знали, сколько она мне говорит хорошего! Я бы сам этого никогда не выдумал,— не так я рос, не так меня воспитали. Правда, я и сам знаю, что я легкомыслен и почти ни к чему не способен; но, знаете ли, у меня третьего дня явилась удивительная мысль. Теперь хоть и не время, но я вам расскажу, потому что надо же и Наташе услышать, а вы нам дадите совет. Вот видите: я хочу писать повести и продавать в журналы, так же как и вы. Вы мне поможете с журналистами, не правда ли? Я рассчитывал на вас и вчера всю ночь обдумывал один роман, так, для пробы, и знаете ли: могла бы выйти премиленькая вещица. Сюжет я взял из одной комедии Скриба*... Но я вам потом расскажу. Главное, за него дадут денег... ведь вам же платят!

Я не мог не усмехнуться.

— Вы смеетесь,— сказал он, улыбаясь вслед за мною.— Нет, послушайте,— прибавил он с непостижимым простодушием,— вы не смотрите на меня, что я такой кажусь; право, у меня чрезвычайно много наблюдательности; вот вы увидите сами. Почему же не попробовать? Может, и выйдет что-нибудь... А впрочем, вы, кажется, и правы: я ведь ничего не знаю в действительной жизни; так мне и Наташа говорит; это, впрочем, мне и все говорят; какой же я буду писатель? Смейтесь, смейтесь, поправляйте меня; ведь это для нее же вы сделаете, а вы ее любите. Я вам правду скажу: я не стою ее; я это чувствую; мне это очень тяжело, и я не знаю, за что это она меня так полюбила? А я бы, кажется, всю жизнь за нее отдал! Право, я до этой минуты ничего не боялся, а теперь боюсь: что это мы затеваем! Господи! Неужели ж в человеке, когда он вполне предан своему долгу, как нарочно недостанет уменья и твердости исполнить свой долг? Помогайте нам хоть вы, друг наш! вы один только друг у нас и остались. А ведь я что понимаю один-то! Простите, что я на вас так рассчитываю; я вас считаю слишком благородным человеком и гораздо лучше меня. Но я исправлюсь, будьте уверены, и буду достоин вас обоих.

Тут он опять пожал мне руку, и в прекрасных глазах его просияло доброе, прекрасное чувство. Он так доверчиво протягивал мне руку, так верил, что я ему друг!

— Она мне поможет исправиться,— продолжал он.— Вы, впрочем, не думайте чего-нибудь очень худого, не сокрушайтесь слишком об нас. У меня все-таки много надежд, а в материальном отношении мы будем совершенно обеспечены. Я, например, если не удастся роман (я, по правде, еще и давеча подумал, что роман глупость, а теперь только так про него рассказал, чтоб выслушать ваше решение),— если не удастся роман, то я ведь в крайнем случае могу давать уроки музыки. Вы не знали, что я знаю музыку? Я не стыжусь жить и таким трудом. Я совершенно новых идей в этом случае. Да, кроме того, у меня есть много дорогих безделушек, туалетных вещиц; к чему они? Я продам их, и мы, знаете, сколько времени проживем на это! Наконец, в самом крайнем случае я, может быть, действительно займусь службой. Отец даже будет рад; он все гонит меня служить, а я все отговариваюсь нездоровьем. (Я, впрочем, куда-то уж записан.) А вот как он увидит, что женитьба принесла мне пользу, остепенила меня и что я действительно начал служить,— обрадуется и простит меня...

— Но, Алексей Петрович, подумали ль вы, какая история выйдет теперь между вашим и ее отцом? Как вы думаете, что сегодня будет вечером у них в доме?

И я указал ему на помертвевшую от моих слов Наташу. Я был безжалостен.

— Да, да, вы правы, это ужасно! — отвечал он,— я уже думал об этом и душевно страдал... Но что же делать? Вы правы: хотя только бы ее-то родители нас простили! А как я их люблю обоих, если б вы знали! Ведь они мне все равно что родные, и вот чем я им плачу!.. Ох, уж эти ссоры, эти процессы! Вы не поверите, как это нам теперь неприятно! И за что они ссорятся! Все мы так друг друга любим, а ссоримся! Помирились бы, да и дело с концом! Право, я бы так поступил на их месте... Страшно мне от ваших слов. Наташа, это ужас, что мы с тобой затеваем! Я это и прежде говорил... Ты сама настаиваешь... Но послушайте, Иван Петрович, может быть, все это уладится к лучшему; как вы думаете? Ведь помирятся же они наконец! Мы их помирим. Это так, это непременно; они не устоят против нашей любви... Пусть они нас проклинают, а мы их все-таки будем любить; они и не устоят. Вы не поверите, какое иногда бывает доброе сердце у моего старика! Он ведь это так только смотрит исподлобья, а ведь в других случаях он прерассудительный. Если б вы знали, как он мягко со мной говорил сегодня, убеждал меня! А я вот сегодня же против него иду; это мне очень грустно. А все из-за этих негодных предрассудков! Просто — сумасшествие! Ну что, если б он на нее посмотрел хорошенько и пробыл с нею хоть полчаса? Ведь он тотчас же все бы нам позволил.— Говоря это, Алеша нежно и страстно взглянул на Наташу.

— Я тысячу раз с наслаждением воображал себе,— продолжал он свою болтовню,— как он полюбит ее, когда узнает, и как она их всех изумит. Ведь они все и не видывали никогда такой девушки! Отец убежден, что она просто какая-то интриганка. Моя обязанность восстановить ее честь, и я это сделаю! Ах, Наташа! тебя все полюбят, все; нет такого человека, который бы мог тебя не любить,— прибавил он в восторге.— Хоть я не стою тебя совсем, но ты люби меня, Наташа, а уж я... ты ведь знаешь меня! Да и много ль нужно нам для нашего счастья! Нет, я верю, верю, что этот вечер должен принесть нам всем и счастье, и мир, и согласие! Будь благословен этот вечер! Так ли, Наташа? Но что с тобой? Боже мой, что с тобой?

Она была бледна как мертвая. Все время, как разглагольствовал Алеша, она пристально смотрела на него; но взгляд ее становился все мутнее и неподвижнее, лицо все бледнее и беднее. Мне казалось, что она, наконец, уж и не слушала, а была в каком-то забытьи. Восклицание Алеши как будто вдруг разбудило ее. Она очнулась, осмотрелась и вдруг — бросилась ко мне. Наскоро, точно торопясь и как будто прячась от Алеши, она вынула из кармана письмо и подала его мне. Письмо было к старикам и еще накануне писано. Отдавая мне его, она пристально смотрела на меня, точно приковалась ко мне своим взглядом. Во взгляде этом было отчаяние; я никогда не забуду

этого страшного взгляда. Страх охватил и меня; я видел, что она теперь только вполне почувствовала весь ужас своего поступка. Она силилась мне что-то сказать, даже начала говорить и вдруг упала в обморок. Я успел поддержать ее. Алеша побледнел от испуга; он тер ей виски, целовал руки, губы. Минуты через две она очнулась. Невдалеке стояла извозчичья карета, в которой приехал Алеша; он подозвал ее. Садясь в карету, Наташа, как безумная, схватила мою руку, и горячая слезинка обожгла мои пальцы. Карета тронулась. Я еще долго стоял на месте, провожая ее глазами. Все мое счастье погибло в эту минуту, и жизнь переломилась надвое. Я больно это почувствовал... Медленно пошел я назад, прежней дорогой, к старикам. Я не знал, что скажу им, как войду к ним? Мысли мои мертвели, ноги подкашивались...

И вот вся история моего счастия; так кончилась и разрешилась моя любовь. Буду теперь продолжать прерванный рассказ.

Глава X

Дней через пять после смерти Смита я переехал на его квартиру. Весь тот день мне было невыносимо грустно. Погода была ненастная и холодная; шел мокрый снег, пополам с дождем. Только к вечеру, на одно мгновение, проглянуло солнце и какой-то заблудший луч, верно из любопытства, заглянул и в мою комнату. Я стал раскаиваться, что переехал сюда. Комната, впрочем, была большая, но такая низкая, закопченная, затхлая и так неприятно пустая, несмотря на кой-какую мебель. Тогда же подумал я, что непременно сгублю в этой квартире и последнее здоровье свое. Так оно и случилось.

Все это утро я возился с своими бумагами, разбирая их и приводя в порядок. За неимением портфеля я перевез их в подушечной наволочке; все это скомкалось и перемешалось. Потом я засел писать. Я все еще писал тогда мой большой роман; но дело опять повалилось из рук; не тем была полна голова...

Я бросил перо и сел у окна. Смеркалось, а мне становилось все грустнее и грустнее. Разные тяжелые мысли осаждали меня. Все казалось мне, что в Петербурге я, наконец, погибну. Приближалась весна; так бы и ожил, кажется, думал я, вырвавшись из этой скорлупы на свет божий, дохнув запахом свежих полей и лесов: а я так давно не видал их!.. Помню, пришло мне тоже на мысль, как бы хорошо было, если б каким-нибудь волшебством или чудом совершенно забыть все, что было, что прожилось в последние годы; все забыть, освежить голову и опять начать с новыми силами. Тогда еще я мечтал об этом и надеялся на воскресение. «Хоть бы в сумасшедший дом поступить, что ли,— решил я, наконец,— чтоб перевернулся как-нибудь весь мозг в

голове и расположился по-новому, а потом опять вылечиться». Была же жажда жизни и вера в нее!.. Но, помню, я тогда же засмеялся. «Что же бы делать пришлось после сумасшедшего-то дома? Неужели опять романы писать?..

Так я мечтал и горевал, а между тем время уходило. Наступала ночь. В этот вечер у меня было условлено свидание с Наташей; она убедительно звала меня к себе запиской еще накануне. Я вскочил и стал собираться. Мне и без того хотелось вырваться поскорей из квартиры хоть куда-нибудь, хоть на дождь, на слякоть.

По мере того как наступала темнота, комната моя становилась как будто просторнее, как будто она все более и более расширялась. Мне вообразилось, что я каждую ночь в каждом углу буду видеть Смита: он будет сидеть и неподвижно глядеть на меня, как в кондитерской на Адама Ивановича, а у ног его будет Азорка. И вот в это-то мгновение случилось со мной происшествие, которое сильно поразило меня.

Впрочем, надо сознаться во всем откровенно: от расстройства ли нерв, от новых ли впечатлений в новой квартире, от недавней ли хандры, но я мало-помалу и постепенно, с самого наступления сумерек, стал впадать в то состояние души, которое так часто приходит ко мне теперь, в моей болезни, по ночам, и которое я называю *мистическим ужасом*. Это — самая тяжелая, мучительная боязнь чего-то, чего я сам определить не могу, чего-то непостигаемого и несуществующего в порядке вещей, но что непременно, может быть, сию же минуту, осуществится, как бы в насмешку всем доводам разума придет ко мне и станет передо мною как неотразимый факт, ужасный, безобразный и неумолимый. Боязнь эта возрастает обыкновенно все сильнее и сильнее, несмотря ни на какие доводы рассудка, так что наконец ум, несмотря на то, что приобретает в эти минуты, может быть, еще бóльшую ясность, тем не менее лишается всякой возможности противодействовать ощущениям. Его не слушаются, он становится бесполезен, и это раздвоение еще больше усиливает пугливую тоску ожидания. Мне кажется, такова отчасти тоска людей, боящихся мертвецов. Но в моей тоске неопределенность опасности еще более усиливает мучения.

Помню, я стоял спиной к дверям и брал со стола шляпу, и вдруг в это самое мгновение мне пришло на мысль, что когда я обернусь назад, то непременно увижу Смита: сначала он тихо растворит дверь, станет на пороге и оглядит комнату; потом тихо, склонив голову, войдет, станет передо мной, уставится на меня своими мутными глазами и вдруг засмеется мне прямо в глаза долгим, беззубым и неслышным смехом, и все тело его заколышется и долго будет колыхаться от этого смеха. Все это привидение чрезвычайно ярко и отчетливо нарисовалось вне-

запно в моем воображении, а вместе с тем вдруг установилась во мне самая полная, са́мая неотразимая уверенность, что все это непременно, неминуемо случится, что это уж и случилось, но только я не вижу, потому что стою задом к двери, и что именно в это самое мгновение, может быть, уже отворяется дверь. Я быстро оглянулся, и что же? — дверь действительно отворялась, тихо, неслышно, точно так, как мне представлялось минуту назад. Я вскрикнул. Долго никто не показывался, как будто дверь отворялась сама собой; вдруг на пороге явилось какое-то странное существо; чьи-то глаза, сколько я мог различить в темноте, разглядывали меня пристально и упорно. Холод пробежал по всем моим членам. К величайшему моему ужасу, я увидел, что это ребенок, девочка, и если б это был даже сам Смит, то и он бы, может быть, не так испугал меня, как это странное, неожиданное появление незнакомого ребенка в моей комнате в такой час и в такое время.

Я уже сказал, что дверь она отворяла так неслышно и медленно, как будто боялась войти. Появившись, она стала на пороге и долго смотрела на меня с изумлением, доходившим до столбняка; наконец тихо, медленно ступила два шага вперед и остановилась передо мною, все еще не говоря ни слова. Я разглядел ее ближе. Это была девочка лет двенадцати или тринадцати, маленького роста, худая, бледная, как будто только что встала от жестокой болезни. Тем ярче сверкали ее большие черные глаза. Левой рукой она придерживала у груди старый, дырявый платок, которым прикрывала свою, еще дрожавшую от вечернего холода, грудь. Одежду на ней можно было вполне назвать рубищем; густые черные волосы были неприглажены и всклочены.

Мы простояли так минуты две, упорно рассматривая друг друга.

— Где дедушка? — спросила она, наконец, едва слышным и хриплым голосом, как будто у ней болела грудь или горло.

Весь мой мистический ужас соскочил с меня при этом вопросе. Спрашивали Смита; неожиданно проявлялись следы его.

— Твой дедушка? да ведь он уже умер! — сказал я вдруг, совершенно не приготовившись отвечать на ее вопрос, и тотчас раскаялся. С минуту стояла она в прежнем положении и вдруг вся задрожала, но так сильно, как будто в ней приготовлялся какой-нибудь опасный нервический припадок. Я схватился было поддержать ее, чтоб она не упала. Через несколько минут ей стало лучше, и я ясно видел, что она употребляет над собой неестественные усилия, скрывая передо мною свое волнение.

— Прости, прости меня, девочка! Прости, дитя мое! — говорил я,— я так вдруг объявил тебе, а может быть, это еще и не то... бедненькая!.. Кого ты ищешь? старика, который тут жил?

— Да,— прошептала она с усилием и с беспокойством смотря на меня.

— Его фамилия была Смит? Да?

— Д-да!

— Так он... ну да, так это он и умер... Только ты не печалься, голубчик мой. Что ж ты не приходила? Ты теперь откуда? Его похоронили вчера; он умер вдруг, скоропостижно... Так ты его внучка?

Девочка не отвечала на мои скорые и беспорядочные вопросы. Молча отвернулась она и тихо пошла из комнаты. Я был так поражен, что уж и не удерживал и не расспрашивал ее более. Она остановилась еще раз на пороге и, полуоборотившись ко мне, спросила:

— Азорка тоже умер?

— Да, и Азорка тоже умер,— отвечал я, и мне показался странным ее вопрос: точно и она была уверена, что Азорка непременно должен был умереть вместе с стариком. Выслушав мой ответ, девочка неслышно вышла из комнаты, осторожно притворив за собою дверь.

Через минуту я выбежал за ней в погоню, ужасно досадуя, что дал ей уйти! Она так тихо вышла, что я не слыхал, как отворила она другую дверь на лестницу. С лестницы она еще не успела сойти, думал я, и остановился в сенях прислушаться. Но все было тихо, и не слышно было ничьих шагов. Только хлопнула где-то дверь в нижнем этаже, и опять все стало тихо.

Я стал поспешно сходить вниз. Лестница прямо от моей квартиры, с пятого этажа до четвертого, шла винтом; с четвертого же начиналась прямая. Это была грязная, черная и всегда темная лестница, из тех, какие обыкновенно бывают в капитальных домах с мелкими квартирами. В ту минуту на ней уже было совершенно темно. Ощупью сойдя в четвертый этаж, я остановился, и вдруг меня как будто подтолкнуло, что здесь, в сенях, кто-то был и прятался от меня. Я стал ощупывать руками; девочка была тут, в самом углу, и, оборотившись к стене лицом, тихо и неслышно плакала.

— Послушай, чего ж ты боишься? — начал я.— Я так испугал тебя; я виноват. Дедушка, когда умирал, говорил о тебе; это были последние его слова... У меня и книги остались; верно, твои. Как тебя зовут? где ты живешь? Он говорил, что в Шестой линии...

Но я не докончил. Она вскрикнула в испуге, как будто оттого, что я знаю, где она живет, оттолкнула меня своей худенькой, костлявой рукой и бросилась вниз по лестнице. Я за ней; ее шаги еще слышались мне внизу. Вдруг они прекратились... Когда я выскочил на улицу, ее уже не было. Пробежав

вплоть до Вознесенского проспекта, я увидел, что все мои поиски тщетны: она исчезла. «Вероятно, где-нибудь спряталась от меня,— подумал я,— когда еще сходила с лестницы».

Глава XI

Но только что я ступил на грязный, мокрый тротуар проспекта, как вдруг столкнулся с одним прохожим, который шел, по-видимому, в глубокой задумчивости, наклонив голову, скоро и куда-то торопясь. К величайшему моему изумлению, я узнал старика Ихменева. Это был для меня вечер неожиданных встреч. Я знал, что старик дня три тому назад крепко прихворнул, и вдруг я встречаю его в такую сырость на улице. К тому же он и прежде почти никогда не выходил в вечернее время, а с тех пор, как ушла Наташа, то есть почти уже с полгода, сделался настоящим домоседом. Он как-то не по-обыкновенному мне обрадовался, как человек, нашедший наконец друга, с которым он может разделить свои мысли, схватил меня за руку, крепко сжал ее и, не спросив, куда я иду, потащил меня за собою. Был он чем-то встревожен, тороплив и порывист. «Куда же это он ходил?» — подумал я про себя. Спрашивать его было излишне; он сделался страшно мнителен и иногда в самом простом вопросе или замечании видел обидный намек, оскорбление.

Я оглядел его искоса: лицо у него было больное; в последнее время он очень похудел; борода его была с неделю небритая. Волосы, совсем поседевшие, в беспорядке выбивались из-под скомканной шляпы и длинными космами лежали на воротнике его старого, изношенного пальто. Я еще прежде заметил, что в иные минуты он как будто забывался; забывал, например, что он не один в комнате, разговаривал сам с собою, жестикулировал руками. Тяжело было смотреть на него.

— Ну что, Ваня, что? — заговорил он.— Куда шел? А я вот, брат, вышел; дела. Здоров ли?

— Вы-то здоровы ли? — отвечал я,— так еще недавно были больны, а выходите.

Старик не отвечал, как будто не расслушал меня.

— Как здоровье Анны Андреевны?

— Здорова, здорова... Немножно, впрочем, и она хворает. Загрустила она у меня что-то... о тебе поминала: зачем не приходишь. Да ты ведь теперь-то к нам, Ваня? Аль нет? Я, может, тебе помешал, отвлекаю тебя от чего-нибудь? — спросил он вдруг, как-то недоверчиво и подозрительно в меня всматриваясь. Мнительный старик стал до того чуток и раздражителен, что, отвечай я ему теперь, что шел не к ним, он бы непременно обиделся и холодно расстался со мной. Я поспешил отвечать

утвердительно, что я именно шел проведать Анну Андреевну, хоть и знал, что опоздаю, а может, и совсем не успею попасть к Наташе.

— Ну вот и хорошо,— сказал старик, совершенно успокоенный моим ответом,— это хорошо...— и вдруг замолчал и задумался, как будто чего-то не договаривая.

— Да, это хорошо! — машинально повторил он минут через пять, как бы очнувшись после глубокой задумчивости.— Гм... видишь, Ваня, ты для нас был всегда как бы родным сыном; бог не благословил нас с Анной Андреевной... сыном... и послал нам тебя; я так всегда думал. Старуха тоже... да! и ты всегда вел себя с нами почтительно, нежно, как родной, благодарный сын. Да благословит тебя бог за это, Ваня, как и мы оба, старики, благословляем и любим тебя... да!

Голос его задрожал; он переждал с минуту.

— Да... ну, а что? Не хворал ли? Что же долго у нас не был?

Я рассказал ему всю историю с Смитом, извиняясь, что смитовское дело меня задержало, что, кроме того, я чуть не заболел и что за всеми этими хлопотами к ним, на Васильевский (они жили тогда на Васильевском), было далеко идти. Я чуть было не проговорился, что все-таки нашел случай быть у Наташи и в это время, но вовремя замолчал.

История Смита очень заинтересовала старика. Он сделался внимательнее. Узнав, что новая моя квартира сыра и, может быть, еще хуже прежней, а стоит шесть рублей в месяц, он даже разгорячился. Вообще он сделался чрезвычайно порывист и нетерпелив. Только Анна Андреевна умела еще ладить с ним в такие минуты, да и то не всегда.

— Гм... это все твоя литература, Ваня! — вскричал он почти со злобою,— довела до чердака, доведет и до кладбища! говорил я тебе тогда, предрекал!.. А что Б. все еще критику пишет?

— Да ведь он уже умер, в чахотке. Я вам, кажется, уж и говорил об этом.

— Умер, гм... умер! Да так и следовало. Что ж, оставил что-нибудь жене и детям? Ведь ты говорил, что у него там жена, что ль, была... И на что эти люди женятся!

— Нет, ничего не оставил,— отвечал я.

— Ну, так и есть! — вскричал он с таким увлечением, как будто это дело близко, родственно до него касалось и как будто умерший Б. был его брат родной.— Ничего! То-то ничего! А знаешь, Ваня, я ведь это заранее предчувствовал, что так с ним кончится, еще тогда, когда, помнишь, ты мне его все расхваливал. Легко сказать: ничего не оставил! Гм... славу заслужил. Положим, может быть, и бессмертную славу, но ведь слава не накормит. Я, брат, и о тебе тогда же все предугадал, Ваня;

хвалил тебя, а про себя все предугадал. Так умер Б.? Да и как не умереть! И житье хорошо и... место хорошее, смотри!

И он быстрым, невольным жестом руки указал мне на туманную перспективу улицы, освещенную слабо мерцающими в сырой мгле фонарями, на грязные дома, на сверкающие от сырости плиты тротуаров, на угрюмых, сердитых и промокших прохожих, на всю эту картину, которую обхватывал черный, как будто залитый тушью, купол петербургского неба. Мы выходили уж на площадь; перед нами во мраке вставал памятник, освещенный снизу газовыми рожками, и еще далее подымалась темная, огромная масса Исакия, неясно отделявшаяся от мрачного колорита неба.

— Ты ведь говорил, Ваня, что он был человек хороший, великодушный, симпатичный, с чувством, с сердцем. Ну, так вот они все таковы, люди-то с сердцем, симпатичные-то твои! Только и умеют, что сирот размножать! Гм... да и умирать-то, я думаю, ему было весело!.. Э-э-эх! Уехал бы куда-нибудь отсюда, хоть в Сибирь!.. Что ты, девочка? — спросил он вдруг, увидев на тротуаре ребенка, просившего милостыню.

Это была маленькая худенькая девочка, лет семи-восьми, не больше, одетая в грязные отрепья; маленькие ножки ее были обуты на босу ногу в дырявые башмаки. Она силилась прикрыть свое дрожащее от холода тельце каким-то ветхим подобием крошечного капота, из которого она давно уже успела вырасти. Тощее, бледное и больное ее личико было обращено к нам; она робко и безмолвно смотрела на нас и с каким-то покорным страхом отказа протягивала нам свою дрожащую ручонку. Старик так и задрожал весь, увидя ее, и так быстро к ней оборотился, что даже ее испугал. Она вздрогнула и отшатнулась от него.

— Что, что тебе, девочка? — вскричал он.— Что? просишь? да? Вот, вот тебе... возьми, вот!

И он, суетясь и дрожа от волнения, стал искать у себя в кармане и вынул две или три серебряные монетки. Но ему показалось мало; он достал портмоне и, вынув из него рублевую бумажку,— все, что там было,— положил деньги в руку маленькой нищей.

— Христос тебя да сохранит, маленькая... дитя ты мое! Ангел божий да будет с тобой!

И он несколько раз дрожавшею рукою перекрестил бедняжку; но вдруг, увидав, что и я тут и смотрю на него, нахмурился и скорыми шагами пошел далее.

— Это я, видишь, Ваня, смотреть не могу,— начал он после довольно продолжительного сердитого молчания,— как эти маленькие невинные создания дрогнут от холоду на улице... из-за проклятых матерей и отцов. А впрочем, какая же мать и вышлет

такого ребенка на такой ужас, если уж не самая несчастная!.. Должно быть, там в углу у ней еще сидят сироты, а это старшая; сама больна, старуха-то; и... гм! Не княжеские дети! Много, Ваня, на свете... не княжеских детей! гм!

Он помолчал с минуту, как бы затрудняясь чем-то.

— Я, видишь, Ваня, обещал Анне Андреевне,— начал он, немного путаясь и сбиваясь,— обещал ей... то есть мы согласились вместе с Анной Андреевной сиротку какую-нибудь на воспитание взять... так, какую-нибудь; бедную то есть и маленькую, в дом, совсем; понимаешь? А то скучно нам, старикам, одним-то, гм... только, видишь: Анна Андреевна что-то против этого восставать стала. Так ты поговори с ней, этак, знаешь, не от меня, а как бы с своей стороны... урезонь ее... понимаешь? Я давно тебя собирался об этом попросить... чтоб ты уговорил ее согласиться, а мне как-то неловко очень-то просить самому... ну, да что о пустяках толковать! Мне что девочка? и не нужна; так, для утехи... чтоб голос чей-нибудь детский слышать... а впрочем, по правде, я ведь для старухи это делаю; ей же веселее будет, чем с одним со мной. Но все это вздор! Знаешь, Ваня, этак мы долго не дойдем: возьмем-ка извозчика; идти далеко, а Анна Андреевна нас заждалась...

Было половина восьмого, когда мы приехали к Анне Андреевне.

Глава XII

Старики очень любили друг друга. И любовь, и долговременная свычка связали их неразрывно. Но Николай Сергеич не только теперь, но даже и прежде, в самые счастливые времена, был как-то несообщителен с своей Анной Андреевной, даже иногда суров, особливо при людях. В иных натурах, нежно и тонко чувствующих, бывает иногда какое-то упорство, какое-то целомудренное нежелание высказываться и выказывать даже милому себе существу свою нежность не только при людях, но даже и наедине; наедине еще больше; только изредка прорывается в них ласка, и прорывается тем горячее, тем порывистее, чем дольше она была сдержана. Таков отчасти был и старик Ихменев с своей Анной Андреевной, даже смолоду. Он уважал ее и любил беспредельно, несмотря на то, что это была женщина только добрая и ничего больше не умевшая, как только любить его, и ужасно досадовал на то, что она, в свою очередь, была с ним, по простоте своей, даже иногда слишком и неосторожно наружу. Но после ухода Наташи они как-то нежнее стали друг к другу; они болезненно почувствовали, что остались одни на свете. И хотя Николай Сергеич становился иногда чрезвычайно угрюм,

тем не менее оба они, даже на два часа, не могли расстаться друг с другом без тоски и без боли. О Наташе они как-то безмолвно условились не говорить ни слова, как будто ее и на свете не было. Анна Андреевна не осмелилась даже намекать о ней ясно при муже, хотя это было для нее очень тяжело. Она давно уже простила Наташу в сердце своем. Между нами как-то установилось, чтоб с каждым приходом моим я приносил ей известие о ее милом, незабвенном дитяти.

Старушка становилась больна, если долго не получала известий, а когда я приходил с ними, интересовалась самою малейшею подробностию, расспрашивала с судорожным любопытством, «отводила душу» на моих рассказах и чуть не умерла от страха, когда Наташа однажды заболела, даже чуть было не пошла к ней сама. Но это был крайний случай. Сначала она даже и при мне не решалась выражать желание увидеться с дочерью и почти всегда после наших разговоров, когда, бывало, уже все у меня выспросит, считала необходимостью как-то сжаться передо мною и непременно подтвердить, что хоть она и интересуется судьбою дочери, но все-таки Наташа такая преступница, которую и простить нельзя. Но все это было напускное. Бывали случаи, когда Анна Андреевна тосковала до изнеможения, плакала, называла при мне Наташу самыми милыми именами, горько жаловалась на Николая Сергеича, а при нем начинала *намекать*, хоть и с большою осторожностью, на людскую гордость, на жестокосердие, на то, что мы не умеем прощать обид и что бог не простит непрощающих, но дальше этого при нем не высказывалась. В такие минуты старик тотчас же черствел и угрюмел, молчал, нахмурившись, или вдруг, обыкновенно чрезвычайно неловко и громко, заговаривал о другом, или, наконец, уходил *к себе*, оставляя нас одних и давая, таким образом, Анне Андреевне возможность вполне излить передо мной свое горе в слезах и сетованиях. Точно так же он уходил к себе всегда при моих посещениях, бывало, только что успеет со мною поздороваться, чтоб дать мне время сообщить Анне Андреевне все последние новости о Наташе. Так сделал он и теперь.

— Я промок,— сказал он ей, только что ступив в комнату,— пойду-ка к себе, а ты, Ваня, тут посиди. Вот с ним история случилась, с квартирой; расскажи-ка ей. А я сейчас и ворочусь...

И он поспешил уйти, стараясь даже и не глядеть на нас, как будто совестясь, что сам же нас сводил вместе. В таких случаях, и особенно когда возвращался к нам, он становился всегда суров и желчен и со мной, и с Анной Андреевной, даже придирчив, точно сам на себя злился и досадовал за свою мягкость и уступчивость.

— Вот он какой,— сказала старушка, оставившая со мной в последнее время всю чопорность и все свои задние мысли,—

всегда-то он такой со мной; а ведь знает, что мы все его хитрости понимаем. Чего ж бы передо мной виды-то на себя напускать! Чужая я ему, что ли? Так он и с дочерью. Ведь простить-то бы мог, даже, может быть, и желает простить, господь его знает. По ночам плачет, сама слышала! А наружу крепится. Гордость его обуяла... Батюшка, Иван Петрович, рассказывай поскорее: куда он ходил?

— Николай Сергеич? Не знаю; я у вас хотел спросить.

— А я так и обмерла, как он вышел. Больной ведь он, в такую погоду, на ночь глядя; ну, думаю, верно, за чем-нибудь важным; а чему ж и быть-то важнее известного вам дела? Думаю я это про себя, а спросить-то и не смею. Ведь я теперь его ни о чем не смею расспрашивать. Господи боже, ведь так и обомлела и за него и за нее. Ну как, думаю, к ней пошел; уж не простить ли решился? Ведь он все узнал, все последние известия об ней знает; я наверное полагаю, что знает, а откуда ему вести приходят, не придумаю. Больно уж тосковал он вчера, да и сегодня тоже. Да что же вы молчите! Говорите, батюшка, что там еще случилось? Как ангела божия ждала вас, все глаза высмотрела. Ну, что же, оставляет злодей-то Наташу?

Я тотчас же рассказал Анне Андреевне все, что сам знал. С ней я был всегда и вполне откровенен. Я сообщил ей, что у Наташи с Алешей действительно как будто идет на разрыв и что это серьезнее, чем прежние их несогласия; что Наташа прислала мне вчера записку, в которой умоляла меня прийти к ней сегодня вечером, в девять часов, а потому я даже и не предполагал сегодня заходить к ним; завел же меня сам Николай Сергеич. Рассказал и объяснил ей подробно, что положение теперь вообще критическое; что отец Алеши, который недели две как воротился из отъезда, и слышать ничего не хочет, строго взялся за Алешу; но важнее всего, что Алеша, кажется, и сам не прочь от невесты и, слышно, что даже влюбился в нее. Прибавил я еще, что записка Наташи, сколько можно угадывать, написана ею в большом волнении; пишет она, что сегодня вечером все решится, а что? — неизвестно; странно тоже, что пишет от вчерашнего дня, а назначает прийти сегодня, и час определила: девять часов. А потому я непременно должен идти, да и поскорее.

— Иди, иди, батюшка, непременно иди,— захлопотала старушка,— вот только он выйдет, ты чайку выпей... Ах, самовар-то не несут! Матрена! Что ж ты самовар? Разбойница, а не девка!.. Ну, так чайку-то выпьешь, найди предлог благовидный, да и ступай. А завтра непременно ко мне и все расскажи; да пораньше забеги. Господи! Уж не вышло ли еще какой беды! Уж чего бы, кажется, хуже теперешнего! Ведь Николай-то Сергеич все уж узнал, сердце мне говорит, что узнал. Я-то вот через Матрену много узнаю, а та через Агашу, а Агаша-то крестница Марьи Ва-

сильевны, что у князя в доме проживает... ну, да ведь ты сам знаешь.. Сердит был сегодня ужасно мой, Николай-то. Я было то да се, а он чуть было не закричал на меня, а потом словно жалко ему стало, говорит: денег мало. Точно бы он из-за денег кричал. После обеда пошел было спать. Я заглянула к нему в щелку (щелка такая есть в дверях; он и не знает про нее), а он-то, голубчик, на коленях перед киотом* богу молится. Как увидала я это, у меня и ноги подкосились. И чаю не пил и не спал, взял шапку и пошел. В пятом вышел. Я и спросить не посмела: закричал бы он на меня. Часто он кричать начал, все больше на Матрену, а то и на меня; а как закричит, у меня тотчас ноги мертвеют и от сердца отрывается. Ведь только блажит, знаю, что блажит, а все страшно. Богу целый час молилась, как он ушел, чтоб на благую мысль его навел. Где же записка-то ее, покажи-ка!

Я показал. Я знал, что у Анны Андреевны была одна любимая, заветная мысль, что Алеша, которого она звала то злодеем, то бесчувственным, глупым мальчишкой, женится наконец на Наташе и что отец его, князь Петр Александрович, ему это позволит. Она даже и проговаривалась передо мной, хотя в другие разы раскаивалась и отпиралась от слов своих. Но ни за что не посмела бы она высказать свои надежды при Николае Сергеиче, хотя и знала, что старик их подозревает в ней и даже не раз попрекал ее косвенным образом. Я думаю, он окончательно бы проклял Наташу и вырвал ее из своего сердца навеки, если б узнал про возможность этого брака.

Все мы так тогда думали. Он ждал дочь всеми желаниями своего сердца, но он ждал ее одну, раскаявшуюся, вырвавшую из своего сердца даже воспоминание о своем Алеше. Это было единственным условием прощения, хотя и не высказанным, но, глядя на него, понятным и несомненным.

— Бесхарактерный он, бесхарактерный мальчишка, бесхарактерный и жестокосердый, я всегда это говорила,— начала опять Анна Андреевна.— И воспитывать его не умели, так, ветрогон какой-то вышел; бросает ее за такую любовь, господи боже мой! Что с ней будет, с бедняжкой! И что он в новой-то нашел, удивляюсь!

— Я слышал, Анна Андреевна,— возразил я,— что эта невеста очаровательная девушка, да и Наталья Николаевна про нее тоже говорила...

— А ты не верь! — перебила старушка.— Что за очаровательная? Для вас, щелкоперов, всякая очаровательная, только бы юбка болталась. А что Наташа ее хвалит, так это она по благородству души делает. Не умеет она удержать его, все ему прощает, а сама страдает. Сколько уж раз он ей изменял! Злодеи жестокосердые! А на меня, Иван Петрович, просто ужас находит.

Гордость всех обуяла. Смирил бы хоть мой-то себя, простил бы ее, мою голубку, да и привел бы сюда. Обняла б ее, посмотрела б на нее! Похудела она?

— Похудела, Анна Андреевна.

— Голубчик мой! А у меня, Иван Петрович, беда! Всю ночь да весь день сегодня проплакала... да что! После расскажу! Сколько раз я заикалась говорить ему издалека, чтоб простил-то; прямо-то не смею, так издалека, ловким этаким манером заговаривала. А у самой сердце так и замирает: рассердится, думаю, да и проклянет ее совсем! Проклятия-то я еще от него не слыхала... так вот и боюсь, чтоб проклятия не наложил. Тогда ведь что будет? Отец проклял, и бог покарает. Так и живу, каждый день дрожу от ужаса. Да и тебе, Иван Петрович, стыдно; кажется, в нашем доме взрос и отеческие ласки от всех у нас видел: тоже выдумал, очаровательная! А вот Марья Васильевна ихняя лучше говорит. (Я ведь согрешила, да ее раз на кофей и позвала, когда мой на все утро по делам уезжал.) Она мне всю подноготную объяснила. Князь-то, отец-то Алешин, с графиней-то в непозволительной связи находился. Графиня давно, говорят, попрекала его: что он на ней не женится, а тот все отлынивал. А графиня-то эта, когда еще муж ее был жив, зазорным поведением отличалась. Умер муж-то — она за границу: всё итальянцы да французы пошли, баронов каких-то у себя завела; там и князя Петра Александровича подцепила. А падчерица ее, первого ее мужа, откупщика, дочь, меж тем росла да росла. Графиня-то, мачеха-то, все прожила, а Катерина Федоровна меж тем подросла, да и два миллиона, что ей отец-откупщик в ломбарде оставил, подросли. Теперь, говорят, у ней три миллиона; князь-то и смекнул: вот бы Алешу женить! (не промах! своего не пропустит). Граф-то, придворный-то, знатный-то, помнишь, родственник-то ихний, тоже согласен; три миллиона не шутка. Хорошо, говорит, поговорите с этой графиней. Князь и сообщает графине свое желание. Та и руками и ногами: без правил, говорят, женщина, буянка такая! Ее уже здесь не все, говорят, принимают; не то что за границей. Нет, говорит, ты, князь, сам на мне женись, а не бывать моей падчерице за Алешей. А девица-то, падчерица-то, души, говорят, в своей мачехе не слышит; чуть на нее не молится и во всем ей послушна. Кроткая, говорят, такая, ангельская душа! Князь-то видит, в чем дело, да и говорит: ты, графиня, не беспокойся. Именье-то свое прожила, и долги на тебе неоплатные. А как твоя падчерица выйдет за Алешу, так их будет пара: и твоя невинная, и Алеша мой дурачок; мы их и возьмем под начало и будем сообща опекать; тогда и у тебя деньги будут. А то что, говорит, за меня замуж тебе идти? Хитрый человек! Масон!* Так полгода тому назад было, графиня не решалась, а теперь, говорят, в Варшаву ездили, там

и согласились. Вот как я слышала. Все это Марья Васильевна мне рассказала, всю подноготную, от верного человека сама она слышала. Ну, так вот что тут: денежки, миллионы, а то что — очаровательная!

Рассказ Анны Андреевны меня поразил. Он совершенно согласовался со всем тем, что я сам недавно слышал от самого Алеши. Рассказывая, он храбрился, что ни за что не женится на деньгах. Но Катерина Федоровна поразила и увлекла его. Я слышал тоже от Алеши, что отец его сам, может быть, женится, хоть и отвергает эти слухи, чтоб не раздражить до времени графини. Я сказал уже, что Алеша очень любил отца, любовался и хвалился им и верил в него, как в оракула.

— Ведь не графского же рода и она, твоя очаровательная-то! — продолжала Анна Андреевна, крайне раздраженная моей похвалой будущей невесте молодого князя.— А Наташа ему еще лучше была бы партия. Та откупщица, а Наташа-то из старинного дворянского дома, высокоблагородная девица. Старик-то мой вчера (я забыла вам рассказать) сундучок свой отпер, кованый,— знаете? — да целый вечер против меня сидел да старые грамоты наши разбирал. Да серьезный такой сидит. Я чулок вяжу, да и не гляжу на него, боюсь. Так он видит, что я молчу, рассердился, да сам и окликнул меня и целый-то вечер мне нашу родословную толковал. Так вот и выходит, что мы-то, Ихменевы-то, еще при Иване Васильевиче Грозном дворянами были, а что мой род, Шумиловых, еще при Алексее Михайловиче известен был, и документы есть у нас, и в истории Карамзина упомянуто. Так вот как, батюшка, мы, видно, тоже не хуже других с этой черты. Как начал мне старик толковать, я и поняла, что у него на уме. Знать, и ему обидно, что Наташей пренебрегают. Богатством только и взяли перед нами. Ну, да пусть тот, разбойник-то, Петр-то Александрович, о богатстве хлопочет; всем известно: жестокосердая, жадная душа. В иезуиты, говорят, тайно в Варшаве записался? Правда ли это?

— Глупый слух,— отвечал я, невольно заинтересованный устойчивостью этого слуха. Но известие о Николае Сергеиче, разбиравшем свои грамоты, было любопытно. Прежде он никогда не хвалился своею родословною.

— Всё злодеи жестокосердые! — продолжала Анна Андреевна,— ну, что же она, мой голубчик, горюет, плачет? Ах, пора тебе идти к ней! Матрена, Матрена! Разбойник, а не девка!.. Не оскорбляли ее? Говори же, Ваня.

Что было ей отвечать? Старушка заплакала. Я спросил, какая у ней еще случилась беда, про которую она мне давеча собиралась рассказать?

— Ах, батюшка, мало было одних бед, так, видно, еще не

вся чаша выпита! Помнишь, голубчик, или не помнишь, был у меня медальончик, в золото оправленный, так, для сувенира сделано, а в нем портрет Наташечки, в детских летах; восьми лет она тогда была, ангельчик мой. Еще тогда мы с Николаем Сергеичем его проезжему живописцу заказывали, да ты забыл, видно, батюшка! Хороший был живописец, купидоном ее изобразил: волосики светленькие такие у ней тогда были, взбитые; в рубашечке кисейной представил ее, так что и тельце просвечивает, и такая она вышла хорошенькая, что и наглядеться нельзя. Просила я живописца, чтоб крылышки ей подрисовал, да не согласился живописец. Так вот, батюшка, я, после ужасов-то наших тогдашних, медальончик из шкатулки и вынула, да на грудь себе и повесила на шнурке, так и носила возле креста, а сама-то боюсь, чтоб мой не увидал. Ведь он тогда же все ее вещи приказал из дому выкинуть или сжечь, чтоб ничто и не напоминало про нее у нас. А мне-то хоть бы на портрет ее поглядеть; иной раз поплачу, на него глядя,— все легче станет, а в другой раз, когда одна остаюсь, не нацелуюсь, как будто ее самое целую; имена нежные ей прибираю, да и на ночь-то каждый раз перекрещу. Говорю с ней вслух, когда одна остаюся, спрошу что-нибудь и представляю, как будто она мне ответила, и еще спрошу. Ох, голубчик Ваня, тяжело и рассказывать-то! Ну, вот я и рада, что хоть про медальон-то он не знает и не заметил; только хвать вчера утром, а медальона и нет, только шнурочек болтается, перетерся, должно быть, а я и обронила. Так и замерла. Искать; искала-искала, искала-искала — нет! Сгинул да пропал! И куда ему сгинуть? Наверно, думаю, в постели обронила; все перерыла — нет! Коли сорвался да упал куда-нибудь, так, может, кто и нашел его, а кому найти, кроме *него* или Матрены? Ну, на Матрену и думать нельзя; она мне всей душой предана... (Матрена, да ты скоро ли самовар-то?) Ну, думаю, если он найдет, что тогда будет? Сижу себе грущу, да и плачу-плачу, слез удержать не могу. А Николай Сергеич все ласковей да ласковей со мной; на меня глядя, грустит, как будто и он знает, о чем я плачу, и жалеет меня. Вот и думаю про себя: почему он может знать? Не сыскал ли он и в самом деле медальон, да и выбросил в форточку. Ведь в сердцах он на это способен; выбросил, а сам теперь и грустит — жалеет, что выбросил. Уж я и под окошко, под форточкой, искать ходила с Матреной — ничего не нашла. Как в воду кануло. Всю ночь проплакала. Первый раз я ее на ночь не перекрестила. Ох, к худу это, к худу, Иван Петрович, не предвещает добра; другой день, глаз не осушая, плачу. Вас-то ждала, голубчика, как ангела божия, хоть душу отвести...

И старушка горько заплакала.

— Ах, да, и забыла вам сообщить! — заговорила она вдруг,

обрадовавшись, что вспомнила,— слышали вы от него что-нибудь про сиротку?

— Слышал, Анна Андреевна, говорил он мне, что будто вы оба надумались и согласились взять бедную девочку, сиротку, на воспитание. Правда ли это?

— И не думала, батюшка, и не думала! И никакой сиротки не хочу! Напоминать она мне будет горькую долю нашу, наше несчастье. Кроме Наташи, никого не хочу. Одна была дочь, одна и останется. А только что ж это значит, батюшка, что он сиротку-то выдумал? Как ты думаешь, Иван Петрович? Мне в утешение, что ль, на мои слезы глядя, аль чтоб родную дочь даже совсем из воспоминания изгнать да к другому детищу привязаться? Что он обо мне доро́гой говорил с вами? Каков он вам показался — суровый, сердитый? Тс! Идет! После, батюшка, доскажете, после!.. Завтра-то прийти не забудь...

Глава XIII

Вошел старик. Он с любопытством и как будто чего-то стыдясь оглядел нас, нахмурился и подошел к столу.

— Что ж самовар,— спросил он,— неужели до сих пор не могли подать?

— Несут, батюшка, несут; ну, вот и принесли,— захлопотала Анна Андреевна.

Матрена тотчас же, как увидала Николая Сергеича, и явилась с самоваром, точно ждала его выхода, чтоб подать. Это была старая, испытанная и преданная служанка, но самая своенравная ворчунья из всех служанок в мире, с настойчивым и упрямым характером. Николая Сергеича она боялась и при нем всегда прикусывала язык. Зато вполне вознаграждала себя перед Анной Андреевной, грубила ей на каждом шагу и показывала явную претензию господствовать над своей госпожой, хотя в то же время душевно и искренно любила ее и Наташу. Эту Матрену я знал еще в Ихменевке.

— Гм... ведь неприятно, когда промокнешь; а тут тебе и чаю *не хотят* приготовить,— ворчал вполголоса старик.

Анна Андреевна тотчас же подмигнула мне на него. Он терпеть не мог этих таинственных подмигиваний и хоть в эту минуту и старался не смотреть на нас, но по лицу его можно было заметить, что Анна Андреевна именно теперь мне на него подмигнула и что он вполне это знает.

— По делам ходил, Ваня,— заговорил он вдруг.— Дрянь такая завелась. Говорил я тебе? Меня совсем осуждают. Доказательств, вишь, нет; бумаг нужных нет; справки неверны выходят... Гм...

Он говорил про свой процесс с князем; этот процесс все еще тянулся, но принимал самое худое направление для Николая Сергеича.

Я молчал, не зная, что ему отвечать. Он подозрительно взглянул на меня.

— А что ж! — подхватил он вдруг, как будто раздраженный нашим молчанием,— чем скорей, тем лучше. Подлецом меня не сделают, хоть и решат, что я должен заплатить. Со мной моя совесть, и пусть решают... По крайней мере, дело кончено; развяжут, разорят... Брошу все и уеду в Сибирь.

— Господи, куда ехать! Да зачем бы это в такую даль! — не утерпела не сказать Анна Андреевна.

— А здесь от чего близко? — грубо спросил он, как бы обрадовавшись возражению.

— Ну, все-таки... от людей...— проговорила было Анна Андреевна и с тоскою взглянула на меня.

— От каких людей? — вскричал он, переводя горячий взгляд от меня на нее и обратно,— от каких людей? От грабителей, от клеветников, от предателей? Таких везде много; не беспокойся, и в Сибири найдем. А не хочешь со мной ехать, так, пожалуй, и оставайся; я не насилую.

— Батюшка Николай Сергеич! Да на кого ж я без тебя останусь! — закричала бедная Анна Андреевна.— Ведь у меня, кроме тебя, в целом свете нет ник...

Она заикнулась, замолчала и обратила ко мне испуганный взгляд, как бы прося заступления и помощи. Старик был раздражен, ко всему придирался; противоречить ему было нельзя.

— Полноте, Анна Андреевна,— сказал я,— в Сибири совсем не так дурно, как кажется. Если случится несчастье и вам надо будет продать Ихменевку, то намерение Николая Сергеича даже и очень хорошо. В Сибири можно найти порядочное частное место, и тогда...

— Ну, вот, по крайней мере, хоть ты, Иван, дело говоришь. Я так и думал. Брошу все и уеду.

— Ну, вот уж и не ожидала! — вскрикнула Анна Андреевна, всплеснув руками,— и ты, Ваня, туда же! Уж от тебя-то, Иван Петрович, не ожидала... Кажется, кроме ласки, вы от нас ничего не видали, а теперь...

— Ха-ха-ха! А ты чего ожидала! Да чем же мы жить-то здесь будем, подумай! Деньги прожиты, последнюю копейку добиваем! Уж не прикажешь ли к князю Петру Александровичу пойти да прощения просить?

Услышав про князя, старушка так и задрожала от страха. Чайная ложечка в ее руке звонко задребезжала о блюдечко.

— Нет, в самом деле,— подхватил Ихменев, разгорячая сам себя с злобною, упорною радостию,— как ты думаешь, Ваня,

ведь, право, пойти! На что в Сибирь ехать! А лучше я вот завтра разоденусь, причешусь да приглажусь; Анна Андреевна манишку новую приготовит (к такому лицу уж нельзя иначе!), перчатки для полного бонтону* купить да и пойти к его сиятельству: батюшка, ваше сиятельство, кормилец, отец родной! Прости и помилуй, дай кусок хлеба,— жена, дети маленькие!.. Так ли, Анна Андреевна? Этого ли хочешь?

— Батюшка... я ничего не хочу! Так, сдуру сказала: прости, коли в чем досадила, да только не кричи,— проговорила она, все больше и больше дрожа от страха.

Я уверен, что в душе его все ныло и перевертывалось в эту минуту, глядя на слезы и страх своей бедной подруги; я уверен, что ему было гораздо больнее, чем ей; но он не мог удержаться. Так бывает иногда с добрейшими, но слабонервными людьми, которые, несмотря на всю свою доброту, увлекаются до самонаслаждения собственным горем и гневом, ища высказаться во что бы то ни стало, даже до обиды другому, невиноватому и преимущественно всегда самому ближнему к себе человеку. У женщины, например, бывает иногда потребность чувствовать себя несчастною, обиженною, хотя бы не было ни обид, ни несчастий. Есть много мужчин, похожих в этом случае на женщин, и даже мужчин не слабых, в которых вовсе не так много женственного. Старик чувствовал потребность ссоры, хотя сам страдал от этой потребности.

Помню, у меня тут же мелькнула мысль: уж и в самом деле не сделал ли он перед этим какой-нибудь выходки, вроде предположений Анны Андреевны! Чего доброго, не надоумил ли его господь и не ходил ли он в самом деле к Наташе, да одумался дорогой, или что-нибудь не удалось, сорвалось в его намерении,— как и должно было случиться,— и вот он воротился домой, рассерженный и уничтоженный, стыдясь своих недавних желаний и чувств, ища, на ком сорвать сердце за свою же *слабость*, и выбирая именно тех, кого наиболее подозревал в таких же желаниях и чувствах. Может быть, желая простить дочь, он именно воображал себе восторг и радость своей бедной Анны Андреевны, и, при неудаче, *разумеется*, ей же первой и доставалось за это.

Но убитый вид ее, дрожавшей перед ним от страха, тронул его. Он как будто устыдился своего гнева и на минуту сдержал себя. Мы все молчали; я старался не глядеть на него. Но добрая минута тянулась недолго. Во что бы ни стало надо было высказаться, хотя бы взрывом, хотя бы проклятием.

— Видишь, Ваня,— сказал он вдруг,— мне жаль, мне не хотелось бы говорить, но пришло такое время, и я должен объясниться откровенно, без закорючек, как следует всякому прямому человеку... понимаешь, Ваня? Я рад, что ты пришел, и

потому хочу громко сказать при тебе же, так, чтоб и *другие* слышали, что весь этот вздор, все эти слезы, вздохи, несчастья мне наконец надоели. То, что я вырвал из сердца моего, может быть, с кровью и болью, никогда опять не воротится в мое сердце. Да! Я сказал и сделаю. Я говорю про то, что было полгода назад, понимаешь, Ваня! И говорю про это так откровенно, так прямо именно для того, чтоб ты никак не мог ошибиться в словах моих,— прибавил он, воспаленными глазами смотря на меня и, видимо, избегая испуганных взглядов жены.— Повторяю: это вздор; я не желаю!.. Меня именно бесит, что меня, как дурака, как самого низкого подлеца, *все* считают способным иметь такие низкие, такие слабые чувства... думают, что я с ума схожу от горя... Вздор! Я отбросил, я забыл старые чувства! Для меня нет воспоминаний... да! да! да! и да!..

Он вскочил со стула и ударил кулаком по столу так, что чашки зазвенели.

— Николай Сергеич! Неужели вам не жаль Анну Андреевну? Посмотрите, что вы над ней делаете,— сказал я, не в силах удержаться и почти с негодованием смотря на него. Но я только к огню подлил масла.

— Не жаль! — закричал он, задрожав и побледнев,— не жаль, потому что и меня не жалеют! Не жаль, потому что в моем же доме составляются заговоры против поруганной моей головы за развратную дочь, достойную проклятия и всех наказаний!..

— Батюшка, Николай Сергеич, не проклинай!.. все, что хочешь, только дочь не проклинай! — вскричала Анна Андреевна.

— Прокляну! — кричал старик вдвое громче, чем прежде,— потому что от меня же, обиженного, поруганного, требуют, чтоб я шел к этой проклятой и у ней же просил прощения! Да, да, это так! Этим мучат меня каждодневно, денно и нощно, у меня же в доме, слезами, вздохами, глупыми намеками! Хотят меня разжалобить... Смотри, смотри, Ваня,— прибавил он, поспешно вынимая дрожащими руками из бокового своего кармана бумаги,— вот тут выписки из нашего дела! По этому делу выходит теперь, что я вор, что я обманщик, что я обокрал моего благодетеля!.. Я ошельмован, опозорен из-за нее! Вот, вот, смотри, смотри!..

И он начал выбрасывать из бокового кармана своего сюртука разные бумаги, одну за другою, на стол, нетерпеливо отыскивая между ними ту, которую хотел мне показать; но нужная бумага, как нарочно, не отыскивалась. В нетерпении он рванул из кармана все, что захватил в нем рукой, и вдруг — что-то звонко и тяжело упало на стол... Анна Андреевна вскрикнула. Это был потерянный медальон.

Я едва верил глазам своим. Кровь бросилась в голову старика и залила его щеки; он вздрогнул. Анна Андреевна стояла,

сложив руки, и с мольбою смотрела на него. Лицо ее просияло светлою, радостною надеждою. Эта краска в лице, это смущение старика перед нами... да, она не ошиблась, она понимала теперь, как пропал ее медальон!

Она поняла, что он нашел его, обрадовался своей находке и, может быть, дрожа от восторга, ревниво спрятал его у себя от всех глаз; что где-нибудь один, тихонько от всех, он с беспредельною любовью смотрел на личико своего возлюбленного дитяти,— смотрел и не мог насмотреться, что, может быть, он так же, как и бедная мать, запирался один от всех разговаривать с своей бесценной Наташей, выдумывать ее ответы, отвечать на них самому, а ночью, в мучительной тоске, с подавленными в груди рыданиями, ласкал и целовал милый образ и вместо проклятий призывал прощение и благословение на ту, которую не хотел видеть и проклинал перед всеми.

— Голубчик мой, так ты ее еще любишь! — вскричала Анна Андреевна, не удерживаясь более перед суровым отцом, за минуту проклинавшим ее Наташу.

Но лишь только он услышал ее крик, безумная ярость сверкнула в глазах его. Он схватил медальон, с силою бросил его на пол и с бешенством начал топтать ногою.

— Навеки, навеки будь проклята мною! — хрипел он, задыхаясь.— Навеки, навеки!

— Господи! — закричала старушка,— ее, ее! Мою Наташу! Ее личико... топчет ногами! Ногами!.. тиран! Бесчувственный, жестокосердый гордец!

Услышав вопль жены, безумный старик остановился в ужасе от того, что сделалось. Вдруг он схватил с полу медальон и бросился вон из комнаты, но, сделав два шага, упал на колена, уперся руками на стоявший перед ним диван и в изнеможении склонил свою голову.

Он рыдал, как дитя, как женщина. Рыдания теснили грудь его, как будто хотели ее разорвать. Грозный старик в одну минуту стал слабее ребенка. О, теперь уж он не мог проклинать; он уже не стыдился никого из нас и, в судорожном порыве любви, опять покрывал при нас бесчисленными поцелуями портрет, который за минуту назад топтал ногами. Казалось, вся нежность, вся любовь его к дочери, так долго в нем сдержанная, стремилась теперь вырваться наружу с неудержимою силою и силою порыва разбивала все существо его.

— Прости, прости ее! — восклицала, рыдая, Анна Андреевна, склонившись над ним и обнимая его.— Вороти ее в родительский дом, голубчик, и сам бог на Страшном суде* своем зачтет тебе твое смирение и милосердие!..

— Нет, нет! Ни за что, никогда! — восклицал он хриплым, задушаемым голосом.— Никогда! Никогда!

Глава XIV

Я пришел к Наташе уже поздно, в десять часов. Она жила тогда на Фонтанке, у Семеновского моста, в грязном «капитальном» доме купца Колотушкина, в четвертом этаже. В первое время после ухода из дому она и Алеша жили в прекрасной квартире, небольшой, но красивой и удобной, в третьем этаже, на Литейной. Но скоро ресурсы молодого князя истощились. Учителем музыки он не сделался, но начал занимать и вошел в огромные для него долги. Деньги он употреблял на украшение квартиры, на подарки Наташе, которая восставала против его мотовства, журила его, иногда даже плакала. Чувствительный и проницательный сердцем Алеша, иногда целую неделю обдумывавший с наслаждением, как бы ей что подарить и как-то она примет подарок, делавший из этого для себя настоящие праздники, с восторгом сообщавший мне заранее свои ожидания и мечты, впадал в уныние от ее журьбы и слез, так что его становилось жалко, а впоследствии между ними бывали из-за подарков упреки, огорчения и ссоры. Кроме того, Алеша много проживал денег тихонько от Наташи; увлекался за товарищами, изменял ей; ездил к разным Жозефинам и Минам; а между тем он все-таки очень любил ее. Он любил ее как-то с мучением; часто он приходил ко мне расстроенный и грустный, говоря, что не стоит мизинчика своей Наташи; что он груб и зол, не в состоянии понимать ее и недостоин ее любви. Он был отчасти прав; между ними было совершенное неравенство; он чувствовал себя перед нею ребенком, да и она всегда считала его за ребенка. Со слезами каялся он мне в знакомстве с Жозефиной, в то же время умоляя не говорить об этом Наташе; и когда, робкий и трепещущий, он отправлялся, бывало, после всех этих откровенностей, со мною к ней (непременно со мною, уверяя, что боится взглянуть на нее после своего преступления и что я один могу поддержать его), то Наташа с первого же взгляда на него уже знала, в чем дело. Она была очень ревнива и, не понимаю каким образом, всегда прощала ему все его ветрености. Обыкновенно так случалось: Алеша войдет со мною, робко заговорит с ней, с робкою нежностию смотрит ей в глаза. Она тотчас же угадает, что он виноват, но не покажет и вида, никогда не заговорит об этом первая, ничего не выпытывает, напротив, тотчас же удвоит к нему свои ласки, станет нежнее, веселее,— и это не была какая-нибудь игра или обдуманная хитрость с ее стороны. Нет; для этого прекрасного создания было какое-то бесконечное наслаждение прощать и миловать; как будто в самом процессе прощения Алеши она находила какую-то особенную, утонченную прелесть. Правда, тогда еще дело касалось одних Жозефин. Видя ее кроткую и прощающую, Алеша уже не мог утерпеть и тотчас же сам

во всем каялся, без всякого спроса,— чтоб облегчить сердце и «быть по-прежнему», говорил он. Получив прощение, он приходил в восторг, иногда даже плакал от радости и умиления, целовал, обнимал ее. Потом тотчас же развеселялся и начинал с ребяческою откровенностью рассказывать все подробности своих похождений с Жозефиной, смеялся, хохотал, благословлял и восхвалял Наташу, и вечер кончался счастливо и весело. Когда прекратились у него все деньги, он начал продавать вещи. По настоянию Наташи отыскана была маленькая, но дешевая квартира на Фонтанке. Вещи продолжали продаваться. Наташа продала даже свои платья и стала искать работы; когда Алеша узнал об этом, отчаянию его не было пределов: он проклинал себя, кричал, что сам себя презирает, а между тем ничем не поправил дела. В настоящее время прекратились даже и эти последние ресурсы; оставалась только одна работа, но плата за нее была самая ничтожная.

С самого начала, когда они еще жили вместе, Алеша сильно поссорился за это с отцом. Тогдашние намерения князя женить сына на Катерине Федоровне Филимоновой, падчерице графини, были еще только в проекте, но он сильно настаивал на этом проекте; он возил Алешу к будущей невесте, уговаривал его стараться ей понравиться, убеждал его и строгостями и резонами; но дело расстроилось из-за графини. Тогда и отец стал смотреть на связь сына с Наташей сквозь пальцы, предоставляя все времени, и надеялся, зная ветреность и легкомыслие Алеши, что любовь его скоро пройдет. О том же, что он может жениться на Наташе, князь, до самого последнего времени, почти перестал заботиться. Что же касается до любовников, то у них дело отлагалось до формального примирения с отцом и вообще до перемены обстоятельств. Впрочем, Наташа, видимо, не хотела заводить об этом разговоров. Алеша проговорился мне тайком, что отец как будто немножко и рад был всей этой истории: ему нравилось во всем этом деле унижение Ихменева. Для формы же он продолжал изъявлять свое неудовольствие сыну: уменьшил и без того небогатое содержание его (он был чрезвычайно с ним скуп), грозил отнять все; но вскоре уехал в Польшу, за графиней, у которой были там дела, все еще без устали преследуя свой проект сватовства. Правда, Алеша был еще слишком молод для женитьбы; но невеста была слишком богата, и упустить такой случай было невозможно. Князь добился, наконец, цели. До нас дошли слухи, что дело о сватовстве пошло, наконец, на лад. В то время, которое я описываю, князь только что воротился в Петербург. Сына он встретил ласково, но упорность его связи с Наташей неприятно изумила его. Он стал сомневаться, трусить. Строго и настоятельно потребовал он разрыва; но скоро догадался употребить гораздо лучшее средство и повез Алешу к графине. Ее

падчерица была почти красавица, почти еще девочка, но с редким сердцем, с ясной, непорочной душой, весела, умна, нежна. Князь рассчитал, что все-таки полгода должны были взять свое, что Наташа уже не имела для его сына прелести новизны и что теперь он уже не такими глазами будет смотреть на будущую свою невесту, как полгода назад. Он угадал только отчасти... Алеша действительно увлекся. Прибавлю еще, что отец вдруг стал необыкновенно ласков к сыну (хотя все-таки не давал ему денег). Алеша чувствовал, что под этой лаской скрывается непреклонное, неизменное решение, и тосковал,— не так, впрочем, как бы он тосковал, если б не видал ежедневно Катерины Федоровны. Я знал, что он уже пятый день не показывался к Наташе. Идя к ней от Ихменевых, я тревожно угадывал, что бы такое она хотела сказать мне? Еще издали я различил свет в ее окне. Между нами уже давно было условлено, чтоб она ставила свечку на окно, если ей очень и непременно надо меня видеть, так что если мне случалось проходить близко (а это случалось почти каждый вечер), то я все-таки, по необыкновенному свету в окне, мог догадаться, что меня ждут и что я ей нужен. В последнее время она часто выставляла свечу...

Глава XV

Я застал Наташу одну. Она тихо ходила взад и вперед по комнате, сложа руки на груди, в глубокой задумчивости. Потухавший самовар стоял на столе и уже давно ожидал меня. Молча и с улыбкою протянула она мне руку. Лицо ее было бледно, с болезненным выражением. В улыбке ее было что-то страдальческое, нежное, терпеливое. Голубые ясные глаза ее стали как будто больше, чем прежде, волосы как будто гуще,— все это так казалось от худобы и болезни.

— А я думала, ты уж не придешь,— сказала она, подавая мне руку,— хотела даже Мавру послать к тебе узнать; думала, не заболел ли опять?

— Нет, не заболел, меня задержали, сейчас расскажу. Ну что с тобой, Наташа? Что случилось?

— Ничего не случилось,— отвечала она, как бы удивленная.— А что?

— Да ты писала... вчера написала, чтоб пришел, да еще назначила час, чтоб не раньше, не позже; это как-то не по-обыкновенному.

— Ах, да! Это я *его* вчера ждала.

— Что ж он, все еще не был?

— Нет. Я и думала: если не придет, так с тобой надо будет переговорить,— прибавила она, помолчав.

— А сегодня вечером ожидала его?

— Нет, не ждала; он вечером *там.*

— Что же ты думаешь, Наташа, он уж совсем никогда не придет?

— Разумеется, придет,— отвечала она, как-то особенно серьезно взглянув на меня.

Ей не нравилась скорость моих вопросов. Мы замолчали, продолжая ходить по комнате.

— Я все тебя ждала, Ваня,— начала она вновь с улыбкой,— и знаешь, что делала? Ходила здесь взад и вперед и стихи наизусть читала; помнишь — колокольчик, зимняя дорога: «Самовар мой кипит на дубовом столе...», мы еще вместе читали:

Улеглася метелица; путь озарен*,
Ночь глядит миллионами тусклых очей...

И потом:

То вдруг слышится мне — страстный голос поет,
С колокольчиком дружно звеня:
«Ах, когда-то, когда-то мой милый придет,
Отдохнуть на груди у меня!
У меня ли не жизнь! Чуть заря на стекле
Начинает лучами с морозом играть,
Самовар мой кипит на дубовом столе,
И трещит моя печь, озаряя в угле
За цветной занавеской кровать...

— Как это хорошо! Какие это мучительные стихи, Ваня, и какая фантастическая, раздающаяся картина. Канва одна, и только намечен узор,— вышивай, что хочешь. Два ощущения: прежнее и последнее. Этот самовар, этот ситцевый занавес,— так это все родное... Это как в мещанских домиках в уездном нашем городке; я и дом этот как будто вижу, новый, из бревен, еще досками не обшитый... А потом другая картина:

То вдруг слышится мне — тот же голос поет,
С колокольчиком грустно звеня:
«Где-то старый мой друг? Я боюсь, он войдет
И, ласкаясь, обнимет меня!
Что за жизнь у меня! — И тесна, и темна,
И скучна моя горница; дует в окно...
За окошком растет только вишня одна,
Да и та за промерзлым стеклом не видна
И, быть может, погибла давно.
Что за жизнь! Полинял пестрый полога цвет;
Я больная брожу и не еду к родным,
Побранить меня некому — милого нет...
Лишь старуха ворчит...»

— «Я больная брожу»... эта «больная», как тут хорошо поставлено! «*Побранить меня некому*»,— сколько нежности, неги

в этом стихе и мучений от воспоминаний, да еще мучений, которые сам вызвал, да и любуешься ими... Господи, как это хорошо! Как это бывает!

Она замолчала, как будто подавляя начинавшуюся горловую спазму.

— Голубчик мой, Ваня! — сказала она мне через минуту и вдруг опять замолчала, как будто сама забыла, что хотела сказать, или сказала так, без мысли, от какого-то внезапного ощущения.

Между тем мы всё прохаживались по комнате. Перед образом горела лампадка. В последнее время Наташа становилась все набожнее и набожнее и не любила, когда об этом с ней заговаривали.

— Что, завтра праздник? — спросил я,— у тебя лампадка горит.

— Нет, не праздник... да что ж, Ваня, садись, должно быть устал. Хочешь чаю? Ведь ты еще не пил?

— Сядем, Наташа. Чай я пил.

— Да ты откуда теперь?

— От *них*.— Мы с ней всегда так называли родной дом.

— От них? Как ты успел? Сам зашел? Звали?..

Она засыпала меня вопросами. Лицо ее сделалось еще бледнее от волнения. Я рассказал ей подробно мою встречу с стариком, разговор с матерью, сцену с медальоном,— рассказал подробно и со всеми оттенками. Я никогда ничего не скрывал от нее. Она слушала жадно, ловя каждое мое слово. Слезы блеснули на ее глазах. Сцена с медальоном сильно ее взволновала.

— Постой, постой, Ваня,— говорила она, часто прерывая мой рассказ,— говори подробнее, все, все, как можно подробнее, ты не так подробно рассказываешь!..

Я повторил второй и третий раз, поминутно отвечая на ее беспрерывные вопросы о подробностях.

— И ты в самом деле думаешь, что он ходил ко мне?

— Не знаю, Наташа, и мнения даже составить не могу. Что грустит о тебе и любит тебя, это ясно; но что он ходил к тебе, это... это...

— И он целовал медальон? — перебила она,— что он говорил, когда целовал?

— Бессвязно, одни восклицания; называл тебя самыми нежными именами, звал тебя...

— Звал?

— Да.

Она тихо заплакала.

— Бедные! — сказала она.— А если он все знает,— прибавила она после некоторого молчания,— так это не мудрено. Он и об отце Алеши имеет большие известия.

— Наташа,— сказал я робко,— пойдем к ним...

— Когда? — спросила она, побледнев и чуть-чуть привстав с кресел. Она думала, что я зову ее сейчас.

— Нет, Ваня,— прибавила она, положив мне обе руки на плечи и грустно улыбаясь,— нет, голубчик; это всегдашний твой разговор, но... не говори лучше об этом.

— Так неужели ж никогда, никогда не кончится этот ужасный раздор! — вскричал я грустно.— Неужели ж ты до того горда, что не хочешь сделать первый шаг! Он за тобою; ты должна его первая сделать. Может быть, отец только того и ждет, чтоб простить тебя... Он отец; он обижен тобою! Уважь его гордость; она законна, она естественна! Ты должна это сделать. Попробуй, и он простит тебя без всяких условий.

— Без условий! Это невозможно; и не упрекай меня, Ваня, напрасно. Я об этом дни и ночи думала и думаю. После того как я их покинула, может быть, не было дня, чтоб я об этом не думала. Да и сколько раз мы с тобой же об этом говорили! Ведь ты знаешь сам, что это невозможно!

— Попробуй!

— Нет, друг мой, нельзя. Если и попробую, что еще больше ожесточу его против себя. Безвозвратного не воротишь, и знаешь, чего именно тут воротить нельзя? Не воротишь этих детских, счастливых дней, которые я прожила вместе с ними. Если б отец и простил, то все-таки он бы не узнал меня теперь. Он любил еще девочку, большого ребенка. Он любовался моим детским простодушием; лаская, он еще гладил меня по голове, так же, как когда я была еще семилетней девочкой и, сидя у него на коленях, пела ему мои детские песенки. С первого детства моего до самого последнего дня он приходил к моей кровати и крестил меня на ночь. За месяц до нашего несчастья он купил мне серьги, тихонько от меня (а я все узнала), и радовался как ребенок, воображая, как я буду рада подарку, и ужасно рассердился на всех и на меня первую, когда узнал от меня же, что мне давно уже известно о покупке серег. За три дня до моего ухода он приметил, что я грустна, тотчас же и сам загрустил до болезни, и — как ты думаешь? — чтоб развеселить меня, он придумал взять билет в театр!.. Ей-богу, он хотел этим излечить меня! Повторяю тебе, он знал и любил девочку и не хотел и думать о том, что я когда-нибудь тоже стану женщиной... Ему это и в голову не приходило. Теперь же, если б я воротилась домой, он бы меня и не узнал. Если он и простит, то кого же встретит теперь? Я уж не та, уж не ребенок, я много прожила. Если я и угожу ему, он все-таки будет вздыхать о прошедшем счастье, тосковать, что я совсем не та, как прежде, когда еще он любил меня ребенком; а старое всегда лучше кажется! С мучениями вспоминается! О, как хорошо прошедшее, Ваня! — вскрича-

ла она, сама увлекаясь и прерывая себя этим восклицанием, с болью вырвавшимся из ее сердца.

— Это все правда,— сказал я,— что ты говоришь, Наташа. Значит, ему надо теперь узнать и полюбить тебя вновь. А главное: узнать. Что ж? Он и полюбит тебя. Неужели ж ты думаешь, что он не в состоянии узнать и понять тебя, он, он, такое сердце!

— Ох, Ваня, не будь несправедлив! И что особенно во мне понимать? Я не про то говорила. Видишь, что еще: отеческая любовь тоже ревнива. Ему обидно, что без него все это началось и разрешилось с Алешей, а он не знал, проглядел. Он знает, что и не предчувствовал этого, и несчастные последствия нашей любви, мой побег, приписывается именно моей «неблагодарной» скрытности. Я не пришла к нему с самого начала, я не каялась потом перед ним в каждом движении моего сердца, с самого начала моей любви; напротив, я затаила все в себе, я пряталась от него, и, уверяю тебя, Ваня, втайне ему это обиднее, оскорбительнее, чем самые последствия любви,— то, что я ушла от них и вся отдалась моему любовнику. Положим, он встретил бы меня теперь как отец, горячо и ласково, но семя вражды останется. На второй, на третий день начнутся огорчения, недоумения, попреки. К тому же он не простит без условий. Я, положим, скажу, и скажу правду, из глубины сердца, что понимаю, как его оскорбила, до какой степени перед ним виновата. И хоть мне и больно будет, если он не захочет понять, чего мне самой стоило все это *счастье* с Алешей, какие я сама страдания перенесла, то я подавлю свою боль, все перенесу,— но ему и этого будет мало. Он потребует от меня невозможного вознаграждения: он потребует, чтоб я прокляла мое прошедшее, прокляла Алешу и раскаялась в моей любви к нему. Он захочет невозможного — воротить прошедшее и вычеркнуть из нашей жизни последние полгода. Но я не прокляну никого, я не могу раскаяться... Уж так оно пришлось, так случилось... Нет, Ваня, теперь нельзя. Время еще не пришло.

— Когда же придет время?

— Не знаю... Надо как-нибудь выстрадать вновь наше будущее счастье; купить его какими-нибудь новыми муками. Страданием все очищается... Ох, Ваня, сколько в жизни боли!

Я замолчал и задумчиво смотрел на нее.

— Что ты так смотришь на меня, Алеша, то бишь — Ваня?— проговорила она, ошибаясь и улыбнувшись своей ошибке.

— Я смотрю теперь на твою улыбку, Наташа. Где ты взяла ее? У тебя прежде не было такой.

— А что же в моей улыбке?

— Прежнее детское простодушие, правда, в ней еще есть... Но когда ты улыбаешься, точно в то же время у тебя как-нибудь сильно заболит на сердце. Вот ты похудела, Наташа,

а волосы твои стали как будто гуще... Что это у тебя за платье? Это еще у них было сделано?

— Как ты меня любишь, Ваня! — отвечала она, ласково взглянув на меня.— Ну, а ты, что ты теперь делаешь? Как твои-то дела?

— Не изменились; все роман пишу; да тяжело, не дается. Вдохновение выдохлось. Сплеча-то и можно бы написать, пожалуй, и занимательно бы вышло; да хорошую идею жаль портить. Эта из любимых. А к сроку непременно надо в журнал. Я даже думаю бросить роман и придумать повесть поскорее, так, что-нибудь легонькое и грациозное и отнюдь без мрачного направления... Это уж отнюдь... Все должны веселиться и радоваться!..

— Бедный ты труженик! А что Смит?

— Да Смит умер.

— Не приходил к тебе? Я серьезно говорю тебе, Ваня: ты болен, у тебя нервы расстроены, такие все мечты. Когда ты мне рассказывал про наем этой квартиры, я все это в тебе заметила. Что, квартира сыра, нехороша?

— Да! У меня еще случилась история, сегодня вечером... Впрочем, я потом расскажу.

Она меня уже не слушала и сидела в глубокой задумчивости.

— Не понимаю, как я могла уйти тогда от *них*; я в горячке была,— проговорила она, наконец, смотря на меня таким взглядом, которым не ждала ответа.

Заговори я с ней в эту минуту, она бы и не слыхала меня.

— Ваня,— сказала она чуть слышным голосом,— я просила тебя за делом.

— Что такое?

— Я расстаюсь с ним.

— Рассталась или расстаешься?

— Надо кончить с этой жизнью. Я и звала тебя, чтоб выразить все, все, что накопилось теперь и что я скрывала от тебя до сих пор.— Она всегда так начинала со мной, поверяя мне свои тайные намерения, и всегда почти выходило, что все эти тайны я знал от нее же.

— Ах, Наташа, я тысячу раз это от тебя слышал! Конечно, вам жить вместе нельзя; ваша связь какая-то странная; между вами нет ничего общего. Но... достанет ли сил у тебя?

— Прежде были только намерения, Ваня; теперь же я решилась совсем. Я люблю его бесконечно, а между тем выходит, что я ему первый враг; я гублю его будущность. Надо освободить его. Жениться он на мне не может; он не в силах пойти против отца. Я тоже не хочу его связывать. И потому я даже рада, что он влюбился в невесту, которую ему сватают. Ему легче будет расстаться со мной. Я это должна! Это долг... Если я люблю

его, то должна всем для него пожертвовать, должна доказать ему любовь мою, это долг! Не правда ли?

— Но ведь ты не уговоришь его.

— Я и не буду уговаривать. Я буду с ним по-прежнему, войди он хоть сейчас. Но я должна приискать средство, чтоб ему было легко оставить меня без угрызений совести. Вот что меня мучит, Ваня; помоги. Не присоветуешь ли чего-нибудь?

— Такое средство одно,— сказал я,— разлюбить его совсем и полюбить другого. Но вряд ли это будет средством. Ведь ты знаешь его характер? Вот он к тебе пять дней не ездит. Предположи, что он совсем оставил тебя; тебе стоит только написать ему, что ты сама его оставляешь, а он тотчас же прибежит к тебе.

— За что ты его не любишь, Ваня?

— Я!

— Да, ты, ты! Ты ему враг, тайный и явный! Ты не можешь говорить о нем без мщения. Я тысячу раз замечала, что тебе первое удовольствие унижать и чернить его! Именно чернить, я правду говорю!

— И тысячу раз уже говорила мне это. Довольно, Наташа; оставим этот разговор.

— Я бы хотела переехать на другую квартиру,— заговорила она опять после некоторого молчания.— Да ты не сердись, Ваня...

— Что ж, он придет и на другую квартиру, а я, ей-богу, не сержусь.

— Любовь сильна; новая любовь может удержать его. Если и воротится ко мне, так только разве на минуту, как ты думаешь?

— Не знаю, Наташа, в нем все в высшей степени ни с чем не сообразно, он хочет и на той жениться и тебя любить. Он как-то может все это вместе делать.

— Если б я знала наверно, что он любит ее, я бы решилась... Ваня! Не таи от меня ничего! Знаешь ты что-нибудь, чего мне не хочешь сказать, или нет?

Она смотрела на меня беспокойным, выпытывающим взглядом.

— Ничего не знаю, друг мой, даю тебе честное слово; с тобой я был всегда откровенен. Впрочем, я вот что еще думаю: может быть, он вовсе не влюблен в падчерицу графини так сильно, как мы думаем. Так, увлечение...

— Ты думаешь, Ваня? Боже, если б я это знала наверно! О, как бы я желала его видеть в эту минуту, только взглянуть на него. Я бы по лицу его все узнала! И нет его! Нет его!

— Да разве ты ждешь его, Наташа?

— Нет, он у *ней;* я знаю; я посылала узнавать. Как бы я

желала взглянуть и на нее... Послушай, Ваня, я скажу вздор, но неужели же мне никак нельзя ее увидеть, нигде нельзя с нею встретиться? Как ты думаешь?

Она с беспокойством ожидала, что я скажу.

— Увидать еще можно. Но ведь только увидать — мало.

— Довольно бы того хоть увидать, а там я бы и сама угадала. Послушай: я ведь так глупа стала; хожу-хожу здесь, все одна, все одна,— все думаю; мысли как какой-то вихрь, так тяжело! Я и выдумала, Ваня, нельзя ли тебе с ней познакомиться? Ведь графиня (тогда ты сам рассказывал) хвалила твой роман; ты ведь ходишь иногда на вечера к князю Р***; она там бывает. Сделай, чтоб тебя ей там представили. А то, пожалуй, и Алеша мог бы тебя с ней познакомить. Вот ты бы мне все и рассказал про нее.

— Наташа, друг мой, об этом после. А вот что: неужели ты серьезно думаешь, что у тебя достанет сил на разлуку? Посмотри теперь на себя: неужели ты покойна?

— Дос-та-нет! — отвечала она чуть слышно.— Все для него! Вся жизнь моя для него! Но знаешь, Ваня, не могу я перенести, что он теперь у нее, обо мне позабыл, сидит возле нее, рассказывает, смеется, помнишь, как здесь, бывало, сидел... Смотрит ей прямо в глаза; он всегда так смотрит; и в мысль ему не приходит теперь, что я вот здесь... с тобой.

Она не докончила и с отчаянием взглянула на меня.

— Как же ты, Наташа, еще сейчас, только сейчас говорила...

— Пусть мы вместе, все вместе расстанемся! — перебила она с сверкающим взглядом.— Я сама его благословлю на это. Но тяжело, Ваня, когда он сам, первый, забудет меня? Ах, Ваня, какая это мука! Я сама не понимаю себя: умом выходит так, а на деле не так! Что со мною будет!

— Полно, полно, Наташа, успокойся!..

— И вот уже пять дней, каждый час, каждую минуту... Во сне ли, сплю ли — все об нем, об нем! Знаешь, Ваня: пойдем туда, проводи меня!

— Полно, Наташа.

— Нет, пойдем! Я тебя только ждала, Ваня! Я уже три дня об этом думаю. Об этом-то деле я и писала к тебе... Ты меня должен проводить; ты не должен отказать мне в этом... Я тебя ждала... Три дня... Там сегодня вечер... он там... пойдем!

Она была как в бреду. В прихожей раздался шум; Мавра как будто спорила с кем-то.

— Стой, Наташа, кто это? — спросил я,— слушай!

Она прислушалась с недоверчивою улыбкою и вдруг страшно побледнела.

— Боже мой! Кто там? — проговорила она чуть слышным голосом.

Она хотела было удержать меня, но я вышел в прихожую к Мавре. Так и есть! Это был Алеша. Он об чем-то расспрашивал Мавру; та сначала не пускала его.

— Откудова такой явился? — говорила она, как власть имеющая.— Что? Где рыскал? Ну уж иди, иди! А меня тебе не подмаслить! Ступай-ка; что-то ответишь?

— Я никого не боюсь! Я войду! — говорил Алеша, немного, впрочем, сконфузившись.

— Ну ступай! Прыток ты больно!

— И пойду! А! И вы здесь! — сказал он, увидев меня,— как это хорошо, что и вы здесь! Ну вот и я; видите; как же мне теперь...

— Да просто войдите,— отвечал я,— чего вы боитесь?

— Я ничего не боюсь, уверяю вас, потому что я, ей-богу, не виноват. Вы думаете, я виноват? Вот увидите, я сейчас оправдаюсь. Наташа, можно к тебе? — вскрикнул он с какой-то выделанною смелостию, остановясь перед затворенною дверью.

Никто не отвечал.

— Что ж это? — спросил он с беспокойством.

— Ничего, она сейчас там была,— отвечал я,— разве что-нибудь...

Алеша осторожно отворил дверь и робко окинул глазами комнату. Никого не было.

Вдруг он увидал ее в углу, между шкафом и окном. Она стояла там, как будто спрятавшись, ни жива ни мертва. Как вспомню об этом, до сих пор не могу не улыбнуться. Алеша тихо и осторожно подошел к ней.

— Наташа, что ты? Здравствуй, Наташа,— робко проговорил он, с каким-то испугом смотря на нее.

— Ну что ж, ну... ничего!..— отвечала она в ужасном смущении, как будто она же и была виновата.— Ты... хочешь чаю?

— Наташа, послушай...— говорил Алеша, совершенно потерявшись.— Ты, может быть, уверена, что я виноват... Но я не виноват; я нисколько не виноват! Вот видишь ли, я тебе сейчас расскажу.

— Да зачем же это? — прошептала Наташа,— нет, нет, не надо... лучше дай руку и... кончено... как всегда...— И она вышла из угла; румянец стал показываться на щеках ее.

Она смотрела вниз, как будто боясь взглянуть на Алешу.

— О боже мой! — вскрикнул он в восторге,— если б только был виноват, я бы не смел, кажется, и взглянуть на нее после этого! Посмотрите, посмотрите! — кричал он, обращаясь ко мне,— вот: она считает меня виноватым; всё против меня, все видимости против меня! Я пять дней не езжу! Есть слухи, что я у невесты,— и что ж? Она уж прощает меня! Она уж говорит: «Дай руку, и кончено!» Наташа, голубчик мой, ангел мой, ангел

мой! Я не виноват, и ты знай это! Я не виноват ни на столечко! Напротив! Напротив!

— Но... Но ведь ты теперь *там*... Тебя теперь *туда* звали... Как же ты здесь? Ко... который час?..

— Половина одиннадцатого! Я и был там... Но я сказался больным и уехал и — это первый, первый раз в эти пять дней, что я свободен, что я был в состоянии урваться от них, и приехал к тебе, Наташа. То есть я мог и прежде приехать, но я нарочно не ехал! А почему? ты сейчас узнаешь, объясню; я затем и приехал, чтоб объяснить; только, ей-богу, в этот раз я ни в чем перед тобой не виноват, ни в чем! Ни в чем!

Наташа подняла голову и взглянула на него... Но ответный взгляд его сиял такою правдивостью, лицо его было так радостно, так честно, так весело, что не было возможности ему не поверить. Я думал, они вскрикнут и бросятся друг другу в объятия, как это уже несколько раз прежде бывало при подобных же примирениях. Но Наташа, как будто подавленная счастьем, опустила на грудь голову и вдруг... тихо заплакала. Тут уж Алеша не мог выдержать. Он бросился к ногам ее. Он целовал ее руки, ноги; он был как в исступлении. Я придвинул ей кресла. Она села. Ноги ее подкашивались.

ЧАСТЬ ВТОРАЯ

Глава I

Через минуту мы все смеялись, как полоумные.

— Да дайте же, дайте мне рассказать,— покрывал нас всех Алеша своим звонким голосом.— Они думают, что все это, как и прежде... что я с пустяками приехал... Я вам говорю, что у меня самое интересное дело. Да замолчите ли вы когда-нибудь!

Ему чрезвычайно хотелось рассказать. По виду его можно было судить, что у него важные новости. Но его приготовленная

важность от наивной гордости владеть такими новостями тотчас же рассмешила Наташу. Я невольно засмеялся вслед за ней. И чем больше он сердился на нас, тем больше мы смеялись. Досада и потом детское отчаяние Алеши довели, наконец, нас до той степени, когда стоит только показать пальчик, как гоголевскому мичману*, чтоб тотчас же и покатиться со смеху. Мавра, вышедшая из кухни, стояла в дверях и с серьезным негодованием смотрела на нас, досадуя, что не досталось Алеше хорошей головомойки от Наташи, как ожидала она с наслаждением все эти пять дней, и что вместо того все так веселы.

Наконец Наташа, видя, что наш смех обижает Алешу, перестала смеяться.

— Что же ты хочешь рассказать? — спросила она.

— А что, поставить, что ль, самовар? — спросила Мавра, без малейшего уважения перебивая Алешу.

— Ступай, Мавра, ступай,— отвечал он, махая на нее руками и торопясь прогнать ее.— Я буду рассказывать все, что было, все, что есть, и все, что будет, потому что я все это знаю. Вижу, друзья мои, вы хотите знать, где я был эти пять дней,— это-то я и хочу рассказать; а вы мне не даете. Ну, и, во-первых, я тебя все время обманывал, Наташа, все это время, давным-давно уж обманывал, и это-то и есть самое главное.

— Обманывал?

— Да, обманывал, уже целый месяц; еще до приезда отца начал; теперь пришло время полной откровенности. Месяц тому назад, когда еще отец не приезжал, я вдруг получил от него огромнейшее письмо и скрыл это от вас обоих. В письме он прямо и просто,— и заметьте себе, таким серьезным тоном, что я даже испугался,— объявлял мне, что дело о моем сватовстве уже кончилось, что невеста моя совершенство; что я, разумеется, ее не стою, но что все-таки непременно должен на ней жениться. И потому, чтоб приготовлялся, чтоб выбил из головы все мои вздоры и так далее, и так далее,— ну, уж известно, какие это вздоры. Вот это-то письмо я от вас и утаил...

— Совсем не утаил! — перебила Наташа,— вот чем хвалится! А выходит, что все тотчас же нам рассказал. Я еще помню, как ты вдруг сделался такой послушный, такой нежный и не отходил от меня, точно провинился в чем-нибудь, и все письмо нам по отрывкам и рассказал.

— Не может быть, главного, наверно, не рассказал. Может быть, вы оба угадали что-нибудь, это уж ваше дело, а я не рассказывал. Я скрыл и ужасно страдал.

— Я помню, Алеша, вы со мной тогда поминутно советовались и все мне рассказали, отрывками, разумеется, в виде предположений,— прибавил я, смотря на Наташу.

— Все рассказал! Уж не хвастайся, пожалуйста! — подхвати-

ла она.— Ну, что ты можешь скрыть? Ну, тебе ли быть обманщиком? Даже Мавра все узнала. Знала ты, Мавра?

— Ну, как не знать! — отозвалась Мавра, просунув к нам свою голову,— все в три же первые дня рассказал. Не тебе бы хитрить!

— Фу, какая досада с вами разговаривать! Ты все это из злости делаешь, Наташа! А ты, Мавра, тоже ошибаешься. Я помню, был тогда как сумасшедший; помнишь, Мавра?

— Как не помнить. Ты и теперь как сумасшедший.

— Нет, нет, я не про то говорю. Помнишь! Тогда еще у нас денег не было, и ты ходила мою сигарочницу серебряную закладывать; а главное, позволь тебе заметить, Мавра, ты ужасно передо мной забываешься. Это все тебя Наташа приучила. Ну, положим, я действительно все вам рассказал тогда же, отрывками (я это теперь припоминаю). Но тона, тона письма вы не знаете, а ведь в письме главное тон. Про это я и говорю.

— Ну, а какой же тон? — спросила Наташа.

— Послушай, Наташа, ты спрашиваешь — точно шутишь. Не *шути*. Уверяю тебя, это очень важно. Такой тон, что я и руки опустил. Никогда отец так со мной не говорил. То есть скорее Лиссабон провалится, чем не сбудется по его желанию; вот какой тон!

— Ну-ну, рассказывай; зачем же тебе надо было скрывать от меня?

— Ах, боже мой! да чтоб тебя не испугать. Я надеялся все сам уладить. Ну, так вот, после этого письма, как только отец приехал, пошли мои муки. Я приготовился ему отвечать твердо, ясно, серьезно, да все как-то не удавалось. А он даже и не расспрашивал; хитрец! Напротив, показывал такой вид, как будто уже все дело решено и между нами уже не может быть никакого спора и недоумения. Слышишь, *не может быть* даже; такая самонадеянность! Со мной же стал такой ласковый, такой милый. Я просто удивлялся. Как он умен, Иван Петрович, если б вы знали! Он все читал, все знает; вы на него только один раз посмотрите, а уж он все ваши мысли, как свои, знает. Вот за это-то, верно, и прозвали его иезуитом. Наташа не любит, когда я его хвалю. Ты не сердись, Наташа. Ну, так вот... а кстати! Он мне денег сначала не давал, а теперь дал, вчера. Наташа! Ангел мой! Кончилась теперь наша бедность! Вот, смотри! Все, что уменьшил мне в наказание, за все эти полгода, все вчера додал; смотрите сколько; я еще не сосчитал. Мавра, смотри, сколько денег! Теперь уж не будем ложки да запонки закладывать!

Он вынул из кармана довольно толстую пачку денег, тысячи полторы серебром, и положил на стол. Мавра с удовольствием на нее посмотрела и похвалила Алешу. Наташа сильно торопила его.

— Ну, так вот — что мне делать, думаю? — продолжал Алеша,— ну как против него пойти? То есть, клянусь вам обоим,

будь он зол со мной, а не такой добрый, я бы и не думал ни о чем. Я прямо бы сказал ему, что не хочу, что я уж сам вырос и стал человеком, и теперь — кончено! И, поверьте, настоял бы на своем. А тут — что я ему скажу? Но не вините и меня. Я вижу, ты как будто недовольна, Наташа. Чего вы оба переглядываетесь? Наверно, думаете: вот уж его сейчас и оплели и ни капли в нем твердости нет. Есть твердость, есть, и еще больше, чем вы думаете! А доказательство, что, несмотря на мое положение, я тотчас же сказал себе: это мой долг; я должен все, все высказать отцу, и стал говорить, и высказал, и он меня выслушал.

— Да что же, что именно ты высказал? — с беспокойством спросила Наташа.

— А то, что не хочу никакой другой невесты, а что у меня есть своя,— это ты. То есть я прямо этого еще до сих пор не высказал, но я его приготовил к этому, а завтра скажу; так уж я решил. Сначала я стал говорить о том, что жениться на деньгах стыдно и неблагородно и что нам считать себя какими-то аристократами — просто глупо (я ведь с ним совершенно откровенно, как брат с братом). Потом объяснил ему тут же, что я tiers-état и что tiers-état c'est l'essentiel[1]; что я горжусь тем, что похож на всех, и не хочу ни от кого отличаться... Я говорил горячо, увлекательно. Я сам себе удивлялся. Я доказал ему наконец и с его точки зрения... я прямо сказал: какие мы князья? Только по роду; а в сущности, что в нас княжеского? Особенного богатства, во-первых, нет, а богатство — главное. Нынче самый главный князь — Ротшильд*. Во-вторых, в настоящем-то большом свете об нас уж давно не слыхивали, последний был дядя, Семен Валковский, да тот только в Москве был известен, да и то тем, что последние триста душ прожил, и если б отец не нажил сам денег, то его внуки, может быть, сами бы землю пахали, как и есть такие князья. Так нечего и нам заноситься. Одним словом, я все высказал, что у меня накипело,— все, горячо и откровенно, даже еще прибавил кой-что. Он даже и не возражал, а просто начал меня упрекать, что я бросил дом графа Наинского, а потом сказал, что надо подмазаться к княгине К., моей крестной матери, и что если княгиня К. меня хорошо примет, так, значит, и везде примут и карьера сделана, и пошел, и пошел расписывать! Это все намеки на то, что я, как сошелся с тобой, Наташа, то всех их бросил; что это, стало быть, твое влияние. Но прямо он до сих пор не говорил про тебя, даже, видимо, избегает. Мы оба хитрим, выжидаем, ловим друг друга, и будь уверена, что и на нашей улице будет праздник.

— Да хорошо уж; чем же кончилось, как он-то решил? Вот что главное. И какой ты болтун, Алеша...

---

[1] Третье сословие... третье сословие — это главное *(франц.)*.

— А господь его знает, совсем и не разберешь, как он решил; а я вовсе не болтун, я дело говорю: он даже и не решал, а только на все мои рассуждения улыбался, но такой улыбкой, как будто ему жалко меня. Я ведь понимаю, что это унизительно, да я не стыжусь. Я, говорит, совершенно с тобой согласен, а вот поедемка к графу Наинскому, да смотри там этого ничего не говори. Я-то тебя понимаю, да они-то тебя не поймут. Кажется, и его самого они все не совсем хорошо принимают; за что-то сердятся. Вообще в свете отца теперь что-то не любят! Граф сначала принимал меня чрезвычайно величаво, совсем свысока, даже совсем как будто забыл, что я вырос в его доме, припоминать начал, ей-богу! Он просто сердится на меня за неблагодарность, а, право, тут не было никакой от меня неблагодарности; в его доме ужасно скучно,— ну, я и не ездил. Он и отца принял ужасно небрежно; так небрежно, так небрежно, что я даже не понимаю, как он туда ездит. Все это меня возмутило. Бедный отец должен перед ним чуть не спину гнуть; я понимаю, что все это для меня, да мне-то ничего не нужно. Я было хотел потом высказать отцу все мои чувства, да удержался. Да и зачем! Убеждений его я не переменю, а только его раздосадую; а ему и без того тяжело. Ну, думаю, пущусь на хитрости, перехитрю их всех, заставлю графа уважать себя,— и что ж? Тотчас же всего достиг, в какой-нибудь один день все переменилось! Граф Наинский не знает теперь, куда меня посадить. И все это я сделал, один я, через свою собственную хитрость, так что отец только руки расставил.

— Послушай, Алеша, ты бы лучше рассказывал о деле! — вскричала нетерпеливая Наташа,— я думала, ты что-нибудь про наше расскажешь, а тебе только хочется рассказать, как ты там отличился у графа Наинского. Какое мне дело до твоего графа!

— Какое дело! Слышите, Иван Петрович, какое дело? Да в этом-то и самое главное дело. Вот ты увидишь сама; все под конец объяснится. Только дайте мне рассказать... А наконец (почему же не сказать откровенно!), вот что, Наташа, да и вы тоже, Иван Петрович, я, может быть, действительно иногда очень, очень нерассудителен; ну, да, положим даже (ведь иногда и это бывало), просто глуп. Но тут, уверяю вас, я выказал много хитрости... ну... и, наконец, даже ума; так что я думал, вы сами будете рады, что я не всегда же... неумен.

— Ах, что ты, Алеша, полно! Голубчик ты мой!..

Наташа сносить не могла, когда Алешу считали неумным. Сколько раз, бывало, она дулась на меня, не высказывая на словах, если я, не слишком церемонясь, доказывал Алеше, что он сделал какую-нибудь глупость; это было больное место в ее сердце. Она не могла снести унижения Алеши и, вероятно, тем более, что про себя сознавалась в его ограниченности. Но своего мнения отнюдь ему не высказывала и боялась этого, чтоб не

оскорбить его самолюбия. Он же в этих случаях был как-то особенно проницателен и всегда угадывал ее тайные чувства. Наташа это видела и очень печалилась, тотчас же льстила ему, ласкала его. Вот почему теперь слова его больно отозвались в ее сердце...

— Полно, Алеша, ты только легкомыслен, а ты вовсе не такой,— прибавила она,— с чего ты себя унижаешь?

— Ну, и хорошо; ну, так вот и дайте мне досказать. После приема у графа отец даже разозлился на меня. Думаю, постой! Мы тогда ехали к княгине; я давно уже слышал, что она от старости почти из ума выжила и вдобавок глухая, и ужасно любит собачонок. У ней целая стая, и она души в них не слышит. Несмотря на все это, она с огромным влиянием в свете, так что даже граф Наинский le superbe[1], у ней antichambre делает[2]. Вот я дорогою и основал план всех дальнейших действий, и как вы думаете, на чем основал? На том, что меня все собаки любят, ей-богу! Я это заметил. Или во мне магнетизм какой-нибудь сидит, или потому, что я сам очень люблю всех животных, уж не знаю, только любят собаки, да и только! Кстати о магнетизме, я тебе еще не рассказывал, Наташа, мы на днях духов вызывали, я был у одного вызывателя; это ужасно любопытно, Иван Петрович, даже поразило меня. Я Юлия Цезаря* вызывал.

— Ах, боже мой! Ну зачем тебе Юлия Цезаря? — вскричала Наташа, заливаясь смехом.— Этого недоставало!

— Да почему же... точно я какой-нибудь... почему же я не имею права вызвать Юлия Цезаря? Что ему сделается? Вот смеется!

— Да ничего, конечно, не сделается... ах, голубчик ты мой! Ну, что ж тебе сказал Юлий Цезарь?

— Да ничего не сказал. Я только держал карандаш, а карандаш сам ходил по бумаге и писал. Это, говорят, Юлий Цезарь пишет. Я этому не верю.

— Да что ж написал-то?

— Да написал что-то вроде «обмокни», как у Гоголя...* да полно смеяться!

— Да рассказывай про княгиню-то!

— Ну, да, вот вы всё меня перебиваете. Приехали мы к княгине, и я начал с того, что стал куртизанить с Мими*. Эта Мими — старая, гадкая, самая мерзкая собачонка, к тому же упрямая и кусака. Княгиня без ума от нее, не надышит; она, кажется, ей ровесница. Я начал с того, что стал Мими конфетами прикармливать и в какие-нибудь десять минут выучил подавать лапку, чему во всю жизнь не могли ее выучить. Княгиня пришла просто в восторг; чуть не плачет от радости: «Мими! Мими! Ми-

[1] Гордец *(франц.)*.

[2] Является на поклон *(франц.)*.

ми лапку дает!» Приехал кто-то: «Мими лапку дает! Вот выучил крестник!» Граф Наинский вошел: «Мими лапку дает!» На меня смотрит чуть не со слезами умиления. Предобрейшая старушка; даже жалко ее. Я не промах, тут опять ей польстил: у ней на табакерке ее собственный портрет, когда еще она невестой была, лет шестьдесят назад. Вот и урони она табакерку, я подымаю, да и говорю, точно не знаю: Quelle charmante peinture![1] Это идеальная красота! Ну, тут она уж совсем растаяла; со мной и о том и о сем, и где я учился, и у кого бываю, и какие у меня славные волосы, и пошла, и пошла. Я тоже: рассмешил ее, историю скандалезную ей рассказал. Она это любит; только пальцем мне погрозила, а впрочем, очень смеялась. Отпускает меня — целует и крестит, требует, чтоб каждый день я приезжал ее развлекать. Граф мне руку жмет, глаза у него стали масленые; а отец, хоть он и добрейший, и честнейший, и благороднейший человек, но верьте или не верьте, а чуть не плакал от радости, когда мы вдвоем домой приехали; обнимал меня, в откровенности пустился, в какие-то таинственные откровенности, насчет карьеры, связей, денег, браков, так что я многого и не понял. Тут-то он и денег мне дал. Это вчера было. Завтра я опять к княгине, но отец все-таки благороднейший человек — не думайте чего-нибудь, и хоть отдаляет меня от тебя, Наташа, но это потому, что он ослеплен, потому что ему миллионов Катиных хочется, а у тебя их нет; и хочет он их для одного меня, и только по незнанию несправедлив к тебе. А какой отец не хочет счастья своему сыну? Ведь он не виноват, что привык считать в миллионах счастье. Так уж они все. Ведь смотреть на него нужно только с этой точки, не иначе,— вот он тотчас же и выйдет прав. Я нарочно спешил к тебе, Наташа, уверить тебя в этом, потому, я знаю, ты предубеждена против него и, разумеется, в этом не виновата. Я тебя не виню...

— Так только-то и случилось с тобой, что ты карьеру у княгини сделал? В этом и вся хитрость? — спросила Наташа.

— Какое! Что ты! Это только начало... я потому рассказал про княгиню, что, понимаешь, я через нее отца в руки возьму, а главная моя история еще и не начиналась.

— Ну, так рассказывай же!

— Со мной сегодня случилось еще происшествие, и даже очень странное, и я до сих пор еще поражен,— продолжал Алеша.— Надо вам заметить, что хоть у отца с графиней и порешено наше сватовство, но официально еще до сих пор решительно ничего не было, так что мы хоть сейчас разойдемся, и никакого скандала; один только граф Наинский знает, но ведь это считается родственник и покровитель. Мало того, хоть я в эти две

---

[1] Какое прелестное изображение! *(франц.)*

недели и очень сошелся с Катей, но до самого сегодняшнего вечера мы ни слова не говорили с ней о будущем, то есть о браке и... ну, и о любви. Кроме того, положено сначала испросить согласие княгини К., от которой ждут у нас всевозможного покровительства и золотых дождей. Что скажет она, то скажет и свет; у ней такие связи... А меня непременно хотят вывести в свет и в люди. Но особенно на всех этих распоряжениях настаивает графиня, мачеха Кати. Дело в том, что княгиня, за все ее заграничные штуки, пожалуй, еще ее и не примет, а княгиня не примет, так и другие, пожалуй, не примут; так вот и удобный случай — сватовство мое с Катей. И потому графиня, которая прежде была против сватовства, страшно обрадовалась сегодня моему успеху у княгини, но это в сторону, а вот что главное: Катерину Федоровну я знал еще с прошлого года; но ведь я был тогда еще мальчиком и ничего не мог понимать, а потому ничего и не разглядел тогда в ней...

— Просто ты тогда любил меня больше,— прервала Наташа,— оттого и не разглядел, а теперь...

— Ни слова, Наташа,— вскричал с жаром Алеша,— ты совершенно ошибаешься и меня оскорбляешь!.. Я даже не возражаю тебе; выслушай дальше, и ты все увидишь... Ох, если б ты знала Катю! Если б ты знала, что это за нежная, ясная, голубиная душа! Но ты узнаешь; только дослушай до конца! Две недели тому назад, когда по приезде их отец повез меня к Кате, я стал в нее пристально вглядываться. Я заметил, что и она в меня вглядывается. Это завлекло мое любопытство вполне; уж я не говорю про то, что у меня было свое особенное намерение узнать ее поближе,— намерение, еще с того самого письма от отца, которое меня так поразило. Не буду ничего говорить, не буду хвалить ее, скажу только одно: она яркое исключение из всего круга. Это такая своеобразная натура, такая сильная и правдивая душа, сильная именно своей чистотой и правдивостью, что я перед ней просто мальчик, младший брат ее, несмотря на то что ей всего только семнадцать лет. Одно еще я заметил: в ней много грусти, точно тайны какой-то; она неговорлива; в доме почти всегда молчит, точно запугана... Она как будто что-то обдумывает. Отца моего как будто боится. Мачеху не любит — я догадался об этом; это сама графиня распускает, для каких-то целей, что падчерица ее ужасно любит; все это неправда: Катя только слушается ее беспрекословно и как будто уговорилась с ней в этом; четыре дня тому назад, после всех моих наблюдений, я решился исполнить мое намерение и сегодня вечером исполнил его. Это: рассказать все Кате, признаться ей во всем, склонить ее на нашу сторону и тогда разом покончить дело...

— Как! Что рассказать, в чем признаться? — спросила с беспокойством Наташа.

— Все, решительно все,— отвечал Алеша,— и благодарю бога, который внушил мне эту мысль; но слушайте, слушайте! Четыре дня тому назад я решил так: удалиться от вас и кончить все самому. Если б я был с вами, я бы все колебался, я бы слушал вас и никогда бы не решился. Один же, поставив именно себя в такое положение, что каждую минуту должен был твердить себе, что надо кончить и что я *должен* кончить, я собрался с духом и — кончил! Я положил воротиться к вам с решением и воротился с решением!

— Что же, что же? Как было дело? Рассказывай поскорее!

— Очень просто! Я подошел к ней прямо, честно и смело... Но, во-первых, я должен вам рассказать один случай перед этим, который ужасно поразил меня. Перед тем как нам ехать, отец получил какое-то письмо. Я в это время входил в его кабинет и остановился у двери. Он не видал меня. Он до того был поражен этим письмом, что говорил сам с собою, восклицал что-то, вне себя ходил по комнате и наконец вдруг захохотал, а в руках письмо держит. Я даже побоялся войти, переждал еще и потом вошел. Отец был так рад чему-то, так рад; заговорил со мной как-то странно; потом вдруг прервал и велел мне тотчас же собираться ехать, хотя еще было очень рано. У них сегодня никого не было, только мы одни, и ты напрасно думала, Наташа, что там был званый вечер. Тебе не так передали...

— Ах, не отвлекайся, Алеша, пожалуйста; говори, как ты рассказывал все Кате!

— Счастье в том, что мы с ней целых два часа оставались одни. Я просто объявил ей, что хоть нас и хотят сосватать, но брак наш невозможен; что в сердце моем все симпатии к ней и что она одна может спасти меня. Тут я открыл ей все. Представь себе, она ничего не знала из нашей истории, про нас с тобой, Наташа! Если б ты могла видеть, как она была тронута; сначала даже испугалась. Побледнела вся. Я рассказал ей всю нашу историю: как ты бросила для меня свой дом, как мы жили одни, как мы теперь мучаемся, боимся всего и что теперь мы прибегаем к ней (я и от твоего имени говорил, Наташа), чтоб она сама взяла нашу сторону и прямо сказала бы мачехе, что не хочет идти за меня, что в этом все наше спасение и что нам более нечего ждать ниоткуда. Она с таким любопытством слушала, с такой симпатией. Какие у ней были глаза в ту минуту! Кажется, вся душа ее перешла в ее взгляд. У ней совсем голубые глаза. Она благодарила меня, что я не усомнился в ней, и дала слово помогать нам всеми силами. Потом о тебе стала расспрашивать, говорила, что очень хочет познакомиться с тобой, просила передать, что уже любит тебя как сестру и чтоб и ты ее любила как сестру, а когда узнала, что я уже пятый день тебя не видал, тотчас же стала гнать меня к тебе...

Наташа была тронута.

— И ты прежде этого мог рассказывать о своих подвигах у какой-то глухой княгини! Ах, Алеша, Алеша! — вскрикнула она, с упреком на него глядя.— Ну что ж Катя? Была рада, весела, когда отпускала тебя?

— Да, она была рада, что удалось ей сделать благородное дело, а сама плакала. Потому что она ведь тоже любит меня, Наташа! Она призналась, что начинала уже любить меня; что она людей не видит и что я понравился ей уже давно; она отличила меня особенно потому, что кругом все хитрость и ложь, а я показался ей человеком искренним и честным. Она встала и сказала: «Ну, бог с вами, Алексей Петрович, а я думала...» Не договорила, заплакала и ушла. Мы решили, что завтра же она и скажет мачехе, что не хочет за меня, и что завтра же я должен все сказать отцу и высказать твердо и смело. Она упрекала меня, зачем я раньше ему не сказал: «Честный человек ничего не должен бояться!» Она такая благородная. Отца моего она тоже не любит; говорит, что он хитрый и ищет денег. Я защищал его; она мне не поверила. Если же не удастся завтра у отца (а она наверное думает, что не удастся), тогда и она соглашается, чтоб я прибегнул к покровительству княгини К. Тогда уже никто из них не осмелится идти против. Мы с ней дали друг другу слово быть как брат с сестрой. О, если б ты знала и ее историю, как она несчастна, с каким отвращением смотрит на свою жизнь у мачехи, на всю эту обстановку... Она прямо не говорила, точно и меня боялась, но я по некоторым словам угадал. Наташа, голубчик мой! Как бы залюбовалась она на тебя, если б увидала! И какое у ней сердце доброе! С ней так легко! Вы обе созданы быть одна другой сестрами и должны любить друг друга. Я все об этом думал. И право: я бы свел вас обеих вместе, а сам бы стоял возле да любовался на вас. Не думай же чего-нибудь, Наташечка, и позволь мне про нее говорить. Мне именно с тобой хочется про нее говорить, а с ней про тебя. Ты ведь знаешь, что я тебя больше всех люблю, больше ее... Ты мое все!

Наташа молча смотрела на него, ласково и как-то грустно. Его слова как будто ласкали и как будто чем-то мучили ее.

— И давно, еще две недели назад, я оценил Катю,— продолжал он.— Я ведь каждый вечер к ним ездил. Ворочусь, бывало, домой и все думаю, все думаю о вас обеих, все сравниваю вас между собою.

— Которая же из нас выходила лучше? — спросила, улыбаясь, Наташа.

— Иной раз ты, другой она. Но ты всегда лучше оставалась. Когда же я говорю с ней, я всегда чувствую, что сам лучше становлюсь, умнее, благороднее как-то. Но завтра, завтра все решится!

— И не жаль ее тебе? Ведь она любит тебя; ты говоришь, что сам это заметил?

— Жаль, Наташа! Но мы будем все трое любить друг друга, и тогда...

— А тогда и прощай! — проговорила тихо Наташа как будто про себя. Алеша с недоумением посмотрел на нее.

Но разговор наш вдруг был прерван самым неожиданным образом. В кухне, которая в то же время была и переднею, послышался легкий шум, как будто кто-то вошел. Через минуту Мавра отворила дверь и украдкой стала кивать Алеше, вызывая его. Все мы оборотились к ней.

— Там вот спрашивают тебя, пожалуй-ка,— сказала она каким-то таинственным голосом.

— Кто меня может теперь спрашивать? — проговорил Алеша, с недоумением глядя на нас.— Пойду!

В кухне стоял ливрейный лакей князя, его отца. Оказалось, что князь, возвращаясь домой, остановил свою карету у квартиры Наташи и послал узнать, у ней ли Алеша? Объявив это, лакей тотчас же вышел.

— Странно! Этого еще никогда не было,— говорил Алеша, в смущении нас оглядывая,— что это?

Наташа с беспокойством смотрела на него. Вдруг Мавра опять отворила к нам дверь.

— Сам идет, князь! — сказала она ускоренным шепотом и тотчас же спряталась.

Наташа побледнела и встала с места. Вдруг глаза ее загорелись. Она стала, слегка опершись на стол, и в волнении смотрела на дверь, в которую должен был войти незваный гость.

— Наташа, не бойся, ты со мной! Я не позволю обидеть тебя,— прошептал смущенный, но не потерявшийся Алеша.

Дверь отворилась, и на пороге явился сам князь Валковский своею собственною особою.

Глава II

Он окинул нас быстрым, внимательным взглядом. По этому взгляду еще нельзя было угадать: явился он врагом или другом? Но опишу подробно его наружность. В этот вечер он особенно поразил меня.

Я видел его и прежде. Это был человек лет сорока пяти, не больше, с правильными и чрезвычайно красивыми чертами лица, которого выражение изменялось судя по обстоятельствам; но изменялось резко, вполне, с необыкновенною быстротою, переходя от самого приятного до самого угрюмого или недовольного, как будто внезапно была передернута какая-то пружинка. Пра-

вильный овал лица несколько смуглого, превосходные зубы, маленькие и довольно тонкие губы, красиво обрисованные, прямой, несколько продолговатый нос, высокий лоб, на котором еще не видно было ни малейшей морщинки, серые, довольно большие глаза — все это составляло почти красавца, а между тем лицо его не производило приятного впечатления. Это лицо именно отвращало от себя тем, что выражение его было как будто не свое, а всегда напускное, обдуманное, заимствованное, и какое-то слепое убеждение зарождалось в вас, что вы никогда и не добьетесь до настоящего его выражения. Вглядываясь пристальнее, вы начинали подозревать под всегдашней маской что-то злое, хитрое и в высочайшей степени эгоистическое. Особенно останавливали ваше внимание его прекрасные с виду глаза, серые, открытые. Они одни как будто не могли вполне подчиняться его воле. Он бы и хотел смотреть мягко и ласково, но лучи его взглядов как будто раздваивались и между мягкими, ласковыми лучами мелькали жесткие, недоверчивые, пытливые, злые... Он был довольно высокого роста, сложен изящно, несколько худощаво и казался несравненно моложе своих лет. Темно-русые мягкие волосы его почти еще и не начинали седеть. Уши, руки, оконечности ног его были удивительно хороши. Это была вполне породистая красивость. Одет он был с утонченною изящностию и свежестию, но с некоторыми замашками молодого человека, что, впрочем, к нему шло. Он казался старшим братом Алеши. По крайней мере, его никак нельзя было принять за отца такого взрослого сына.

Он подошел прямо к Наташе и сказал ей, твердо смотря на нее:

— Мой приход к вам в такой час и без доклада — странен и вне принятых правил; но я надеюсь, вы поверите, что, по крайней мере, я в состоянии сознать всю эксцентричность моего поступка. Я знаю тоже, с кем имею дело; знаю, что вы проницательны и великодушны. Подарите мне только десять минут, и я надеюсь, вы сами меня поймете и оправдаете.

Он выговорил все это вежливо, но с силой и с какой-то настойчивостью.

— Садитесь,— сказала Наташа, еще не освободившаяся от первого смущения и некоторого испуга.

Он слегка поклонился и сел.

— Прежде всего позвольте мне сказать два слова ему,— начал он, указывая на сына.— Алеша, только что ты уехал, не дождавшись меня и даже не простясь с нами, графине доложили, что с Катериной Федоровной дурно. Она бросилась было к ней, но Катерина Федоровна вдруг вошла к нам сама, расстроенная и в сильном волнении. Она сказала нам прямо, что не может быть твоей женой. Она сказала еще, что пойдет в монастырь, что ты просил ее помощи и сам признался ей, что любишь Наталью

Николаевну... Такое невероятное признание от Катерины Федоровны и, наконец, в такую минуту, разумеется, было вызвано чрезвычайною странностию твоего объяснения с нею. Она была почти вне себя. Ты понимаешь, как я был поражен и испуган. Проезжая теперь мимо, я заметил в ваших окнах огонь,— продолжал он, обращаясь к Наташе.— Тогда мысль, которая преследовала меня уже давно, до того вполне овладела мною, что я не в состоянии был противиться первому влечению и вошел к вам. Зачем? Скажу сейчас, но прошу наперед, не удивляйтесь некоторой резкости моего объяснения. Все это так внезапно...

— Я надеюсь, что пойму и как должно... оценю то, что вы скажете,— проговорила, запинаясь, Наташа.

Князь пристально в нее всматривался, как будто спешил *разучить* ее вполне в одну какую-нибудь минуту.

— Я и надеюсь на вашу проницательность,— продолжал он,— и если позволил себе прийти к вам теперь, то именно потому, что знал, с кем имею дело. Я давно уже знаю вас, несмотря на то что когда-то был так несправедлив и виноват перед вами. Выслушайте: вы знаете, между мной и отцом вашим — давнишние неприятности. Не оправдываю себя; может быть, я более виноват перед ним, чем сколько полагал до сих пор. Но если так, то я сам был обманут. Я мнителен и сознаюсь в том. Я склонен подозревать дурное прежде хорошего — черта несчастная, свойственная сухому сердцу. Но я не имею привычки скрывать свои недостатки. Я поверил всем наговорам и, когда вы оставили ваших родителей, я ужаснулся за Алешу. Но я вас еще не знал. Справки, сделанные мною мало-помалу, ободрили меня совершенно. Я наблюдал, изучал и, наконец, убедился, что подозрения мои неосновательны. Я узнал, что вы рассорились с вашим семейством, знаю тоже, что ваш отец всеми силами против вашего брака с моим сыном. И уж одно то, что вы, имея такое влияние, такую, можно сказать, власть над Алешей, не воспользовались до сих пор этою властью и не заставили его жениться на себе, уж одно это выказывает вас со стороны слишком хорошей. И все-таки, сознаюсь перед вами вполне, я всеми силами решился тогда препятствовать всякой возможности вашего брака с моим сыном. Я знаю, я выражаюсь слишком откровенно, но в эту минуту откровенность с моей стороны нужнее всего; вы сами согласитесь с этим, когда меня дослушаете. Скоро после того, как вы оставили ваш дом, я уехал из Петербурга; но, уезжая, я уже не боялся за Алешу. Я надеялся на благородную гордость вашу. Я понял, что вы сами не хотели брака прежде окончания наших фамильных неприятностей; не хотели нарушать согласия между Алешей и мною, потому что я никогда бы не простил ему его брака с вами; не хотели тоже, чтоб сказали про вас, что вы искали женихакнязя и связей с нашим домом. Напротив, вы даже показали пре-

небрежение к нам и, может быть, ждали той минуты, когда я сам приду просить вас сделать нам честь отдать вашу руку моему сыну. Но все-таки я упорно оставался вашим недоброжелателем. Оправдывать себя не стану, но причин моих от вас не скрою. Вот они: вы не знатны и не богаты. Я хоть и имею состояние, но нам надо больше. Наша фамилия в упадке. Нам нужно связей и денег. Падчерица графини Зинаиды Федоровны хоть и без связей, но очень богата. Промедлить немного, и явились бы искатели и отбили бы у нас невесту; а нельзя было терять такой случай, и, несмотря на то что Алеша еще слишком молод, я решился его сватать. Видите, я не скрываю ничего. Вы можете с презрением смотреть на отца, который сам сознается в том, что наводил сына, из корысти и из предрассудков, на дурной поступок; потому что бросить великодушную девушку, пожертвовавшую ему всем и перед которой он так виноват,— это дурной поступок. Но не оправдываю себя. Вторая причина предполагавшегося брака моего сына с падчерицею графини Зинаиды Федоровны та, что эта девушка в высшей степени достойна любви и уважения. Она хороша собой, прекрасно воспитана, с превосходным характером и очень умна, хотя во многом еще ребенок. Алеша без характера, легкомыслен, чрезвычайно нерассудителен, в двадцать два года еще совершенно ребенок и разве только с одним достоинством, с добрым сердцем,— качество даже опасное при других недостатках. Уже давно я заметил, что мое влияние на него начинает уменьшаться: пылкость, юношеские увлечения берут свое и даже берут верх над некоторыми настоящими обязанностями. Я его, может быть, слишком горячо люблю, но убеждаюсь, что ему уже мало одного меня руководителем. А между тем он непременно должен быть под чьим-нибудь постоянным, благодетельным влиянием. Его натура подчиняющаяся, слабая, любящая, предпочитающая любить и повиноваться, чем повелевать. Так он и останется на всю свою жизнь. Можете себе представить, как я обрадовался, встретив в Катерине Федоровне идеал девушки, которую бы я желал в жены своему сыну. Но я обрадовался поздно; над ним уже неразрушимо царило другое влияние — ваше. Я зорко наблюдал его, воротясь месяц тому назад в Петербург, и с удивлением заметил в нем значительную перемену к лучшему. Легкомыслие, детскость — в нем почти еще те же, но в нем укрепились некоторые благородные внушения; он начинает интересоваться не одними игрушками, а тем, что возвышенно, благородно, честно. Идеи его странны, неустойчивы, иногда нелепы; но желания, влечения, но сердце — лучше, а это фундамент для всего; и все это лучшее в нем — бесспорно от вас. Вы перевоспитали его. Признаюсь вам, у меня тогда же промелькнула мысль, что вы, более чем кто-нибудь, могли бы составить его счастье. Но я прогнал эту мысль, я не хотел этих мыс-

лей. Мне надо было отвлечь его от вас во что бы то ни стало; я стал действовать и думал, что достиг своей цели. Еще час тому назад я думал, что победа на моей стороне. Но происшествие в доме графини разом перевернуло все мои предположения, и прежде всего меня поразил неожиданный факт: странная в Алеше серьезность, строгость привязанности к вам, упорство, живучесть этой привязанности. Повторяю вам: вы перевоспитали его окончательно. Я вдруг увидел, что перемена в нем идет еще дальше, чем даже я полагал. Сегодня он вдруг выказал передо мною признак ума, которого я отнюдь не подозревал в нем, и в то же время необыкновенную тонкость, догадливость сердца. Он выбрал самую верную дорогу, чтоб выйти из положения, которое считал затруднительным. Он затронул и возбудил самые благороднейшие способности человеческого сердца, именно — способность прощать и отплачивать за зло великодушием. Он отдался во власть обиженного им существа и прибег к нему же с просьбою об участии и помощи. Он затронул всю гордость женщины, уже любившей его, прямо признавшись ей, что у нее есть соперница, и в то же время возбудил в ней симпатию к ее сопернице, а для себя прощение и обещание бескорыстной братской дружбы. Идти на такое объяснение и в то же время не оскорбить, не обидеть — на это иногда не способны даже самые ловкие мудрецы, а способны именно сердца свежие, чистые и хорошо направленные, как у него. Я уверен, что вы, Наталья Николаевна, не участвовали в его сегодняшнем поступке ни словом, ни советом. Вы, может быть, только сейчас узнали обо всем от него же. Я не ошибаюсь? Не правда ли?

— Вы не ошибаетесь,— повторила Наташа, у которой пылало все лицо и глаза сияли каким-то странным блеском, точно вдохновением. Диалектика князя начинала производить свое действие.— Я пять дней не видала Алеши,— прибавила она.— Все это он сам выдумал, сам и исполнил.

— Непременно так,— подтвердил князь,— но, несмотря на то, вся эта неожиданная его прозорливость, вся эта решимость, сознание долга, наконец вся эта благородная твердость — все это вследствие вашего влияния над ним. Все это я окончательно сообразил и обдумал сейчас, едучи домой, а обдумав, вдруг ощутил в себе силу решиться. Сватовство наше с домом графини разрушено и восстановиться не может; но если б и могло — ему не бывать уже более. Что ж, если я сам убедился, что вы одна только можете составить его счастие, что вы — настоящий руководитель его, что вы уже положили начало его будущему счастью! Я не скрыл от вас ничего, не скрываю и теперь; я очень люблю карьеры, деньги, знатность, даже чины; сознательно считаю многое из этого предрассудком, но люблю эти предрассудки и решительно не хочу попирать их. Но есть обстоятельства,

когда надо допустить и другие соображения, когда нельзя все мерить на одну мерку... Кроме того, я люблю моего сына горячо. Одним словом, я пришел к заключению, что Алеша не должен разлучаться с вами, потому что без вас погибнет. И признаться ли? Я, может быть, целый месяц как решил это и только теперь сам узнал, что я решил справедливо. Конечно, чтоб высказать вам все это, я бы мог посетить вас и завтра, а не беспокоить вас почти в полночь. Но теперешняя поспешность моя, может быть, покажет вам, как горячо и, главное, как искренно я берусь за это дело. Я не мальчик; я не мог бы в мои лета решиться на шаг необдуманный. Когда я входил сюда, уже все было решено и обдумано. Но я чувствую, что мне еще долго надо будет ждать, чтоб убедить вас вполне в моей искренности... Но к делу! Объяснять ли мне теперь вам, зачем я пришел сюда? Я пришел, чтоб исполнить мой долг перед вами и — торжественно, со всем беспредельным моим к вам уважением, прошу вас осчастливить моего сына и отдать ему вашу руку. О, не считайте, что я явился как грозный отец, решившийся наконец простить моих детей и милостиво согласиться на их счастье. Нет! Нет! Вы унизите меня, предположив во мне такие мысли. Не сочтите тоже, что я был заранее уверен в вашем согласии, основываясь на том, чем вы пожертвовали для моего сына; опять нет! Я первый скажу вслух, что он вас не стоит и... (он добр и чистосердечен) — он сам подтвердит это. Но этого мало. Меня влекло сюда, в такой час, не одно это... я пришел сюда... (и он почтительно и с некоторою торжественностью приподнялся с своего места) я пришел сюда для того, чтоб стать вашим другом! Я знаю, я не имею на это ни малейшего права, напротив! Но — позвольте мне заслужить это право! Позвольте мне надеяться!

Почтительно наклонясь перед Наташей, он ждал ее ответа. Все время, как он говорил, я пристально наблюдал его. Он заметил это.

Проговорил он свою речь холодно, с некоторыми притязаниями на диалектику, а в иных местах даже с некоторою небрежностью. Тон всей его речи даже иногда не соответствовал порыву, привлекшему его к нам в такой неурочный час для первого посещения и особенно при таких отношениях. Некоторые выражения его были приметно выделаны, а в иных местах его длинной и странной своею длиннотою речи он как бы искусственно напускал на себя вид чудака, силящегося скрыть пробивающееся чувство под видом юмора, небрежности и шутки. Но все это я сообразил потом; тогда же было другое дело. Последние слова он проговорил так одушевленно, с таким чувством, с таким видом самого искреннего уважения к Наташе, что победил нас всех. Даже что-то вроде слезы промелькнуло на его ресницах. Благородное сердце Наташи было побеждено совершенно. Она, вслед

за ним, приподнялась с своего места и молча, в глубоком волнении протянула ему свою руку. Он взял ее и нежно, с чувством поцеловал. Алеша был вне себя от восторга.

— Что я говорил тебе, Наташа! — вскричал он.— Ты не верила мне! Ты не верила, что это благороднейший человек в мире! Видишь, видишь сама!..

Он бросился к отцу и горячо обнял его. Тот отвечал ему тем же, но поспешил сократить чувствительную сцену, как бы стыдясь выказать свои чувства.

— Довольно,— сказал он и взял свою шляпу,— я еду. Я просил у вас только десять минут, а просидел целый час,— прибавил он, усмехаясь.— Но я ухожу в самом горячем нетерпении свидеться с вами опять как можно скорее. Позволите ли мне посещать вас как можно чаще?

— Да, да! — отвечала Наташа,— как можно чаще! Я хочу поскорей... полюбить вас...— прибавила она в замешательстве.

— Как вы искренни, как вы честны! — сказал князь, улыбаясь словам ее.— Вы даже не хотите схитрить, чтоб сказать простую вежливость. Но ваша искренность дороже всех этих поддельных вежливостей. Да! Я сознаю, что я долго, долго еще должен заслуживать любовь вашу!

— Полноте, не хвалите меня... довольно! — шептала в смущении Наташа. Как хороша она была в эту минуту!

— Пусть так! — решил князь,— но еще два слова о деле. Можете ли вы представить, как я несчастлив! Ведь завтра я не могу быть у вас, ни завтра, ни послезавтра. Сегодня вечером я получил письмо, до того для меня важное (требующее немедленного моего участия в одном деле), что никаким образом я не могу избежать его. Завтра утром я уезжаю из Петербурга. Пожалуйста, не подумайте, что я зашел к вам так поздно именно потому, что завтра было бы некогда, ни завтра, ни послезавтра. Вы, разумеется, этого не подумаете, но вот вам образчик моей мнительности! Почему мне показалось, что вы непременно должны были это подумать? Да, много помешала мне эта мнительность в моей жизни, и весь раздор мой с семейством вашим, может быть, только последствия моего жалкого характера!.. Сегодня у нас вторник. В среду, в четверг, в пятницу меня не будет в Петербурге. В субботу же я непременно надеюсь воротиться и в тот же день буду у вас. Скажите, я могу прийти к вам на целый вечер?

— Непременно, непременно! — вскричала Наташа,— в субботу вечером я вас жду! С нетерпением жду!

— А как я-то счастлив! Я более и более буду узнавать вас! но... иду! И все-таки я не могу уйти, чтоб не пожать вашу руку,— продолжал он, вдруг обращаясь ко мне.— Извините! Мы все теперь говорим так бессвязно... Я имел уже несколько раз удовольствие встречаться с вами, и даже раз мы были представлены

друг другу. Не могу выйти отсюда, не выразив, как бы мне приятно было возобновить с вами знакомство.

— Мы с вами встречались, это правда,— отвечал я, принимая его руку,— но, виноват, не помню, чтоб мы с вами знакомились.

— У князя Р. прошлого года.

— Виноват, забыл. Но, уверяю вас, в этот раз не забуду. Этот вечер для меня особенно памятен.

— Да, вы правы, мне тоже. Я давно знаю, что вы настоящий, искренний друг Натальи Николаевны и моего сына. Я надеюсь быть между вами троими четвертым. Не так ли? — прибавил он, обращаясь к Наташе.

— Да, он наш искренний друг, и мы должны быть все вместе! — отвечала с глубоким чувством Наташа. Бедненькая! Она так и засияла от радости, когда увидела, что князь не забыл подойти ко мне. Как она любила меня!

— Я встречал много поклонников вашего таланта,— продолжал князь,— и знаю двух самых искренних ваших почитательниц. Им так приятно будет узнать вас лично. Это графиня, мой лучший друг, и ее падчерица, Катерина Федоровна Филимонова. Позвольте мне надеяться, что вы не откажете мне в удовольствии представить вас этим дамам.

— Мне очень лестно, хотя теперь я мало имею знакомств...

— Но мне вы дадите ваш адрес! Где вы живете? Я буду иметь удовольствие...

— Я не принимаю у себя, князь, по крайней мере в настоящее время.

— Но я, хоть и не заслужил исключения... но...

— Извольте, если вы требуете, и мне очень приятно. Я живу в — м переулке, в доме Клугена.

— В доме Клугена! — вскричал он, как будто чем-то пораженный.— Как! Вы... давно там живете?

— Нет, недавно,— отвечал я, невольно в него всматриваясь.— Моя квартира сорок четвертый номер.

— В сорок четвертом? Вы живете... один?

— Совершенно один.

— Д-да! Я потому... что, кажется, знаю этот дом. Тем лучше... Я непременно буду у вас, непременно! Мне о многом нужно переговорить с вами, и я многого ожидаю от вас. Вы во многом можете обязать меня. Видите, я прямо начинаю с просьбы. Но до свидания! Еще раз вашу руку!

Он пожал руку мне и Алеше, еще раз поцеловал ручку Наташи и вышел, не пригласив Алешу следовать за собою.

Мы трое остались в большом смущении. Все это случилось так неожиданно, так нечаянно. Все мы чувствовали, что в один миг все изменилось и начинается что-то новое, неведомое.

Алеша молча присел возле Наташи и тихо целовал ее руку. Изредка он заглядывал ей в лицо, как бы ожидая, что она скажет?

— Голубчик Алеша, поезжай завтра же к Катерине Федоровне,— проговорила наконец она.

— Я сам это думал,— отвечал он,— непременно поеду.

— А может быть, ей и тяжело будет тебя видеть... как сделать?

— Не знаю, друг мой. И про это я тоже думал. Я посмотрю... увижу... так и решу. А что, Наташа, ведь у нас все теперь переменилось,— не утерпел не заговорить Алеша.

Она улыбнулась и посмотрела на него долгим и нежным взглядом.

— И какой он деликатный. Видел, какая у тебя бедная квартира, и ни слова...

— О чем?

— Ну... чтоб переехать на другую... или что-нибудь,— прибавил он, закрасневшись.

— Полно, Алеша, с какой же бы стати!

— То-то я и говорю, что он такой деликатный. А как хвалил тебя! Я ведь говорил тебе... говорил! Нет, он может все понимать и чувствовать! А про меня как про ребенка говорил; все-то они меня так почитают! Да что ж, я ведь и в самом деле такой.

— Ты ребенок, да проницательнее нас всех. Добрый ты, Алеша!

— А он сказал, что мое доброе сердце вредит мне. Как это? Не понимаю. А знаешь что, Наташа. Не поехать ли мне поскорей к нему? Завтра чем свет у тебя буду.

— Поезжай, поезжай, голубчик. Это ты хорошо придумал. И непременно покажись ему, слышишь? А завтра приезжай как можно раньше. Теперь уже не будешь от меня по пяти дней бегать? — лукаво прибавила она, лаская его взглядом. Все мы были в какой-то тихой, в какой-то полной радости.

— Со мной, Ваня? — крикнул Алеша, выходя из комнаты.

— Нет, он останется; мы еще поговорим с тобой, Ваня. Смотри же, завтра чем свет!

— Чем свет! Прощай, Мавра!

Мавра была в сильном волнении. Она все слышала, что говорил князь, все подслушала, но многого не поняла. Ей бы хотелось угадать и расспросить. А покамест она смотрела так серьезно, даже гордо. Она тоже догадывалась, что многое изменилось.

Мы остались одни. Наташа взяла меня за руку и несколько времени молчала, как будто ища, что сказать.

— Устала я! — проговорила она наконец слабым голосом.— Слушай: ведь ты пойдешь завтра к нашим?

— Непременно.

— Маменьке скажи, а *ему* не говори.

— Да я ведь и без того никогда об тебе с ним не говорю.

— То-то; он и без того узнает. А ты замечай, что он скажет? Как примет? Господи, Ваня! Что, неужели ж он в самом деле проклянет меня за этот брак? нет, не может быть!

— Все должен уладить князь,— подхватил я поспешно.— Он должен непременно с ним помириться, а тогда и все уладится.

— О боже мой! Если б! Если б! — с мольбою вскричала она.

— Не беспокойся, Наташа, все уладится. На то идет.

Она пристально поглядела на меня.

— Ваня! Что ты думаешь о князе?

— Если он говорил искренно, то, по-моему, он человек вполне благородный.

— Если он говорил искренно? Что это значит? Да разве он мог говорить неискренно?

— И мне тоже кажется,— отвечал я. «Стало быть, у ней мелькает какая-то мысль,— подумал я про себя.— Странно!»

— Ты все смотрел на него... так пристально...

— Да, он немного странен; мне показалось.

— И мне тоже. Он как-то все так говорит... Устала я, голубчик. Знаешь что? Ступай и ты домой. А завтра приходи ко мне как можно пораньше от них. Да слушай еще: это не обидно было, когда я сказала ему, что хочу поскорее полюбить его?

— Нет... почему ж обидно?

— И... не глупо? То есть ведь это значило, что покамест я еще не люблю его.

— Напротив, это было прекрасно, наивно, быстро. Ты так хороша была в эту минуту! Глуп будет он, если не поймет этого с своей великосветскостью.

— Ты как будто на него сердишься, Ваня? А какая, однако ж, я дурная, мнительная и какая тщеславная! Не смейся; я ведь перед тобой ничего не скрываю. Ах, Ваня, друг ты мой дорогой! Вот если я буду опять несчастна, если опять горе придет, ведь уж ты, верно, будешь здесь подле меня; один, может быть, и будешь! Чем заслужу я тебе за все! Не проклинай меня никогда, Ваня!..

Воротясь домой, я тотчас же разделся и лег спать. В комнате у меня было сыро и темно, как в погребе. Много странных мыслей и ощущений бродило во мне, и я еще долго не мог заснуть.

Но как, должно быть, смеялся в эту минуту один человек, засыпая в комфортной своей постели,— если, впрочем, он еще удостоил усмехнуться над нами! Должно быть, не удостоил!

Глава III

На другое утро часов в десять, когда я выходил из квартиры, торопясь на Васильевский остров к Ихменевым, чтоб пройти от них поскорее к Наташе, я вдруг столкнулся в дверях со вчерашней посетительницей моей, внучкой Смита. Она входила ко мне. Не знаю почему, но, помню, я ей очень обрадовался. Вчера я еще и разглядеть не успел ее, и днем она еще более удивила меня. Да и трудно было встретить более странное, более оригинальное существо, по крайней мере по наружности. Маленькая, с сверкающими, черными, какими-то нерусскими глазами, с густейшими черными всклоченными волосами и с загадочным, немым и упорным взглядом, она могла остановить внимание даже всякого прохожего на улице. Особенно поражал ее взгляд: в нем сверкал ум, а вместе с тем и какая-то инквизиторская недоверчивость и даже подозрительность. Ветхое и грязное ее платьице при дневном свете еще больше вчерашнего походило на рубище. Мне казалось, что она больна в какой-нибудь медленной, упорной и постоянной болезни, постепенно, но неумолимо разрушающей ее организм. Бледное и худое ее лицо имело какой-то ненатуральный смугло-желтый, желчный оттенок. Но вообще, несмотря на все безобразие нищеты и болезни, она была даже недурна собою. Брови ее были резкие, тонкие и красивые; особенно был хорош ее широкий лоб, немного низкий, и губы, прекрасно обрисованные, с какой-то гордой, смелой складкой, но бледные, чуть-чуть только окрашенные.

— Ах, ты опять! — вскричал я,— ну, я так и думал, что ты придешь. Войди же!

Она вошла, медленно переступив через порог, как и вчера, и недоверчиво озираясь кругом. Она внимательно осмотрела комнату, в которой жил ее дедушка, как будто отмечая, насколько изменилась комната от другого жильца. «Ну, каков дедушка, такова и внучка,— подумал я.— Уж не сумасшедшая ли она?» Она все еще молчала; я ждал.

— За книжками! — прошептала она наконец, опустив глаза в землю.

— Ах, да! Твои книжки; вот они, возьми! Я нарочно их сберег для тебя.

Она с любопытством на меня посмотрела и как-то странно искривила рот, как будто хотела недоверчиво улыбнуться. Но позыв улыбки прошел и сменился тотчас же прежним суровым и загадочным выражением.

— А разве дедушка вам говорил про меня? — спросила она, иронически оглядывая меня с ног до головы.

— Нет, про тебя он не говорил, но он...

— А почему ж вы знали, что я приду? Кто вам сказал? — спросила она, быстро перебивая меня.

— Потому, мне казалось, твой дедушка не мог жить один, всеми оставленный. Он был такой старый, слабый; вот я и думал, что кто-нибудь ходил к нему. Возьми, вот твои книги. Ты по ним учишься?

— Нет.

— Зачем же они тебе?

— Меня учил дедушка, когда я ходила к нему.

— А разве потом не ходила?

— Потом не ходила... я больна сделалась,— прибавила она, как бы оправдываясь.

— Что ж у тебя, семья, мать, отец?

Она вдруг нахмурила свои брови и даже с каким-то испугом взглянула на меня. Потом потупилась, молча повернулась и тихо пошла из комнаты, не удостоив меня ответом, совершенно как вчера. Я с изумлением провожал ее глазами. Но она остановилась на пороге.

— Отчего он умер? — отрывисто спросила она, чуть-чуть оборотясь ко мне, совершенно с тем же жестом и движением, как и вчера, когда, тоже выходя и стоя лицом к дверям, спросила об Азорке.

Я подошел к ней и начал ей наскоро рассказывать. Она молча и пытливо слушала, потупив голову и стоя ко мне спиной. Я рассказал ей тоже, как старик, умирая, говорил про Шестую линию.

— Я и догадался,— прибавил я,— что там, верно, кто-нибудь живет из дорогих ему, оттого и ждал, что придут о нем наведаться. Верно, он тебя любил, когда в последнюю минуту о тебе поминал.

— Нет,— прошептала она как бы невольно,— не любил.

Она была сильно взволнована. Рассказывая, я нагибался к ней и заглядывал в ее лицо. Я заметил, что она употребляла ужасные усилия подавить свое волнение, точно из гордости передо мной. Она все больше и больше бледнела и крепко закусила свою нижнюю губу. Но особенно поразил меня странный стук ее сердца. Оно стучало все сильнее и сильнее, так что, наконец, можно было слышать его за два, за три шага, как в аневризме*. Я думал, что она вдруг разразится слезами, как и вчера; но она преодолела себя.

— А где забор?

— Какой забор?

— Под которым он умер.

— Я тебе покажу его... когда выйдем. Да, послушай, как тебя зовут?

— Не надо...

— Чего не надо?

— Не надо; ничего... никак не зовут,— отрывисто и как будто с досадой проговорила она и сделала движение уйти. Я остановил ее.

— Подожди, странная ты девочка! Ведь я тебе добра желаю; мне тебя жаль со вчерашнего дня, когда ты там в углу на лестнице плакала. Я вспомнить об этом не могу... К тому же твой дедушка у меня на руках умер, и, верно, он об тебе вспоминал, когда про Шестую линию говорил, значит, как будто тебя мне на руки оставлял. Он мне во сне снится... Вот и книжки я тебе сберег, а ты такая дикая, точно боишься меня. Ты, верно, очень бедна и сиротка, может быть, на чужих руках; так или нет?

Я убеждал ее горячо и сам не знаю, чем влекла она меня так к себе. В чувстве моем было еще что-то другое, кроме одной жалости. Таинственность ли всей обстановки, впечатление ли, произведенное Смитом, фантастичность ли моего собственного настроения,— не знаю, но что-то непреодолимо влекло меня к ней. Мои слова, казалось, ее тронули; она как-то странно поглядела на меня, но уж не сурово, а мягко и долго; потом опять потупилась как бы в раздумье.

— Елена,— вдруг прошептала она, неожиданно и чрезвычайно тихо.

— Это тебя зовут Елена?

— Да...

— Что же, ты будешь приходить ко мне?

— Нельзя... не знаю... приду,— прошептала она как бы в борьбе и раздумье. В эту минуту вдруг где-то ударили стенные часы. Она вздрогнула и, с невыразимой болезненной тоскою смотря на меня, прошептала: — Это который час?

— Должно быть, половина одиннадцатого.

Она вскрикнула от испуга.

— Господи! — проговорила она и вдруг бросилась бежать. Но я остановил ее еще раз в сенях.

— Я тебя так не пущу,— сказал я.— Чего ты боишься? Ты опоздала?

— Да, да, я тихонько ушла! Пустите! Она будет бить меня! — закричáла она, видимо проговорившись и вырываясь из моих рук.

— Слушай же и не рвись; тебе на Васильевский, и я туда же, в Тринадцатую линию. Я тоже опоздал и хочу взять извозчика. Хочешь со мной? Я довезу. Скорее, чем пешком-то...

— Ко мне нельзя, нельзя,— вскричала она еще в сильнейшем испуге. Даже черты ее исказились от какого-то ужаса при одной мысли, что я могу прийти туда, где она живет.

— Да говорю тебе, что я в Тринадцатую линию, по своему делу, а не к тебе! Не пойду я за тобою. На извозчике скоро доедем. Пойдем!

Мы поспешно сбежали вниз. Я взял первого попавшегося ваньку*, на скверной гитаре*. Видно, Елена очень торопилась, коли согласилась сесть со мною. Всего загадочнее было то, что я даже и расспрашивать ее не смел. Она так и замахала руками и чуть не соскочила с дрожек, когда я спросил, кого она дома так боится? «Что за таинственность?» — подумал я.

На дрожках было ей очень неловко сидеть. При каждом толчке она, чтоб удержаться, схватывалась за мое пальто левой рукой, грязной, маленькой, в каких-то цыпках. В другой руке она крепко держала свои книги; видно было по всему, что книги эти ей очень дороги. Поправляясь, она вдруг обнажила свою ногу, и, к величайшему удивлению моему, я увидел, что она была в одних дырявых башмаках, без чулок. Хоть я и решился было ни о чем ее не расспрашивать, но тут опять не мог утерпеть.

— Неужели ж у тебя нет чулок? — спросил я.— Как можно ходить на босу ногу́ в такую сырость и в такой холод?

— Нет,— отвечала она отрывисто.

— Ах, боже мой, да ведь ты живешь же у кого-нибудь! Ты бы попросила у других чулки, коли надо было выйти.

— Я так сама хочу.

— Да ты заболеешь, умрешь.

— Пускай умру.

Она, видимо, не хотела отвечать и сердилась на мои вопросы.

— Вот здесь он и умер,— сказал я, указывая ей на дом, у которого умер старик.

Она пристально посмотрела и вдруг, с мольбою обратившись ко мне, сказала:

— Ради бога, не ходите за мной. А я приду, приду! Как только можно будет, так и приду!

— Хорошо, я сказал уже, что не пойду к тебе. Но чего ты боишься! Ты, верно, какая-то несчастная. Мне больно смотреть на тебя...

— Я никого не боюсь,— отвечала она с каким-то раздражением в голосе.

— Но ты давеча сказала: «Она прибьет меня!»

— Пусть бьет! — отвечала она, и глаза ее засверкали.— Пусть бьет! Пусть бьет! — горько повторяла она, и верхняя губка ее как-то презрительно приподнялась и задрожала.

Наконец мы приехали на Васильевский. Она остановила извозчика в начале Шестой линии и спрыгнула с дрожек, с беспокойством озираясь кругом.

— Поезжайте прочь; я приду, приду! — повторяла она в страшном беспокойстве, умоляя меня не ходить за ней.— Ступайте же скорее, скорее!

Я поехал. Но, проехав по набережной несколько шагов, отпустил извозчика и, воротившись назад в Шестую линию, быстро

перебежал на другую сторону улицы. Я увидел ее; она не успела еще много отойти, хотя шла очень скоро и все оглядывалась; даже остановилась было на минутку, чтоб лучше высмотреть: иду ли я за ней или нет? Но я притаился в попавшихся мне воротах, и она меня не заметила. Она пошла далее, я за ней, все по другой стороне улицы.

Любопытство мое было возбуждено в последней степени. Я хоть и решил не входить за ней, но непременно хотел узнать тот дом, в который она войдет, на всякий случай. Я был под влиянием тяжелого и странного впечатления, похожего на то, которое произвел во мне в кондитерской ее дедушка, когда умер Азорка...

Глава IV

Мы шли долго, до самого Малого проспекта. Она чуть не бежала; наконец вошла в лавочку. Я остановился подождать ее. «Ведь не живет же она в лавочке»,— подумал я.

Действительно, через минуту она вышла, но уже книг с ней не было. Вместо книг в ее руках была какая-то глиняная чашка. Пройдя немного, она вошла в ворота одного невзрачного дома. Дом был небольшой, но каменный, старый, двухэтажный, окрашенный грязно-желтою краской. В одном из окон нижнего этажа, которых было всего три, торчал маленький красный гробик,— вывеска незначительного гробовщика. Окна верхнего этажа были чрезвычайно малые и совершенно квадратные, с тусклыми, зелеными и надтреснувшими стеклами, сквозь которые просвечивали розовые коленкоровые занавески. Я перешел через улицу, подошел к дому и прочел на железном листе, над воротами дома: дом мещанки Бубновой.

Но только что я успел разобрать надпись, как вдруг на дворе у Бубновой раздался пронзительный женский визг и затем ругательства. Я заглянул в калитку; на ступеньке деревянного крылечка стояла толстая баба, одетая как мещанка, в головке* и в зеленой шали. Лицо ее было отвратительно-багрового цвета; маленькие, заплывшие и налитые кровью глаза сверкали от злости. Видно было, что она нетрезвая, несмотря на дообеденное время. Она визжала на бедную Елену, стоявшую перед ней в каком-то оцепенении с чашкой в руках. С лестницы из-за спины багровой бабы выглядывало полурастрепанное, набеленное и нарумяненное женское существо. Немного погодя отворилась дверь с подвальной лестницы в нижний этаж, и на ступеньках ее показалась, вероятно привлеченная криком, бедно одетая средних лет женщина, благообразной и скромной наружности. Из полуотворенной же двери выглядывали и другие жильцы нижнего этажа, дряхлый старик и девушка. Рослый и дюжий мужик, вероятно

дворник, стоял посреди двора, с метлой в руке, и лениво посматривал на всю сцену.

— Ах ты, проклятая, ах ты, кровопивица, гнида ты этакая!— визжала баба, залпом выпуская из себя все накопившиеся ругательства, большею частию без запятых и без точек, но с каким-то захлебыванием,— так-то ты за мое попеченье воздаешь, лохматая! За огурцами только послали ее, а она уж и улизнула! Сердце мое чувствовало, что улизнет, когда посылала. Ныло сердце мое, ныло! Вчера ввечеру все вихры ей за это же оттаскала, а она и сегодня бежать! Да куда тебе ходить, распутница, куда ходить! К кому ты ходишь, идол проклятый, лупоглазая гадина, яд, к кому! Говори, гниль болотная, или тут же тебя задушу!

И разъяренная баба бросилась на бедную девочку, но, увидав смотревшую с крыльца женщину, жилицу нижнего этажа, вдруг остановилась и, обращаясь к ней, завопила еще визгливее прежнего, размахивая руками, как будто беря ее в свидетельницы чудовищного преступления ее бедной жертвы.

— Мать издохла у ней! Сами знаете, добрые люди: одна ведь осталась как шиш на свете. Вижу у вас, бедных людей, на руках, самим есть нечего; дай, думаю, хоть для Николая-то угодника потружусь, приму сироту. Приняла. Что ж бы вы думали? Вот уж два месяца содержу,— кровь она у меня в эти два месяца выпила, белое тело мое поела! Пиявка! Змей гремучий! Упорная сатана! Молчит, хоть бей, хоть брось, все молчит; словно себе воды в рот наберет,— все молчит! Сердце мое надрывает — молчит! Да за кого ты себя почитаешь, фря* ты эдакая, облизьяна зеленая? Да без меня ты бы на улице с голоду померла. Ноги мои должна мыть да воду эту пить, изверг, черная ты шпага французская. Околела бы без меня!

— Да что вы, Анна Трифоновна, так себя надсаждаете? Чем она вам опять досадила? — почтительно спросила женщина, к которой обращалась разъяренная мегера.

— Как чем, добрая ты женщина, как чем? Не хочу, чтоб против меня шли! Не делай своего хорошего, а делай мое дурное,— вот я какова! Да она меня чуть в гроб сегодня не уходила! За огурцами в лавочку ее послала, а она через три часа воротилась! Сердце мое предчувствовало, когда посылала; ныло оно, ныло; ныло-ныло! Где была? Куда ходила? Каких себе покровителей нашла? Я ль ей не благодетельствовала! Да я ее поганке-матери четырнадцать целковых долгу простила, на свой счет похоронила, чертенка ее на воспитание взяла, милая ты женщина, знаешь, сама знаешь! Что ж, не вправе я над ней после этого? Она бы чувствовала, а вместо чувствия она супротив идет! Я ей счастья хотела. Я ее, поганку, в кисейных платьях водить хотела, в Гостином ботинки купила, как паву* нарядила,— душа у праздника! Что ж бы вы думали, добрые люди! В два дня все

платья изорвала, в кусочки изорвала да в клочочки, да так и ходит, так и ходит! Да ведь что вы думаете, нарочно изорвала,— не хочу лгать, сама подглядела; хочу, дескать, в затрапезном ходить, не хочу в кисейном! Ну, отвела тогда душу над ней, исколотила ее, так ведь я лекаря потом призывала, ему деньги платила. А ведь задавить тебя, гнида ты эдакая, так только неделю молока не пить,— всего-то наказанья за тебя только положено! За наказание полы мыть ее заставила; что ж бы вы думали: моет! Моет, стерьва, моет! Горячит мое сердце,— моет! Ну, думаю: бежит она от меня! Да только подумала, глядь — она и бежала вчера! Сами слышали, добрые люди, как я вчера ее за это била, руки обколотила все об нее, чулки, башмаки отняла — не уйдет на босу ногу, думаю; а она и сегодня туда ж! Где была? Говори! Кому, семя крапивное, жаловалась, кому на меня доносила? Говори, цыганка, маска привозная, говори!

И в исступлении она бросилась на обезумевшую от страха девочку, вцепилась ей в волосы и грянула ее оземь. Чашка с огурцами полетела в сторону и разбилась; это еще более усилило бешенство пьяной мегеры. Она била свою жертву по лицу, по голове; но Елена упорно молчала, и ни одного звука, ни одного крика, ни одной жалобы не проронила она, даже и под побоями. Я бросился на двор, почти не помня себя от негодования, прямо к пьяной бабе.

— Что вы делаете? как смеете вы так обращаться с бедной сиротой! — вскричал я, хватая эту фурию* за руку.

— Это что! Да ты кто такой? — завизжала она, бросив Елену и подпершись руками в боки.— Вам что в моем доме угодно?

— То угодно, что вы безжалостная! — кричал я.— Как вы смеете так тиранить бедного ребенка? Она не ваша; я сам слышал, что она только ваш приемыш, бедная сирота...

— Господи Иисусе! — завопила фурия,— да ты кто таков навязался! Ты с ней пришел, что ли? Да я сейчас к частному приставу!* Да меня сам Андрон Тимофеич как благородную почитает! Что она, к тебе, что ли ходит? Кто такой? В чужой дом буянить пришел. Караул!

И она бросилась на меня с кулаками. Но в эту минуту вдруг раздался пронзительный, нечеловеческий крик. Я взглянул,— Елена, стоявшая как без чувств, вдруг с страшным, неестественным криком ударилась оземь и билась в страшных судорогах. Лицо ее исказилось. С ней был припадок падучей болезни. Растрепанная девка и женщина снизу подбежали, подняли ее и поспешно понесли наверх.

— А хоть издохни, проклятая! — завизжала баба вслед за ней.— В месяц уж третий припадок... Вон, маклак!* — и она снова бросилась на меня.

— Чего, дворник, стоишь? За что жалованье получаешь?

— Пошел! Пошел! Хочешь, чтоб шею нагладили,— лениво пробасил дворник, как бы для одной только проформы.— Двоим любо, третий не суйся. Поклон, да и вон!

Нечего делать, я вышел за ворота, убедившись, что выходка моя была совершенно бесполезна. Но негодование кипело во мне. Я стал на тротуаре против ворот и глядел в калитку. Только что я вышел, баба бросилась наверх, а дворник, сделав свое дело, тоже куда-то скрылся. Через минуту женщина, помогавшая снести Елену, сошла с крыльца, спеша к себе вниз. Увидев меня, она остановилась и с любопытством на меня поглядела. Ее доброе и смирное лицо ободрило меня. Я снова ступил на двор и прямо подошел к ней.

— Позвольте спросить,— начал я,— что такое здесь эта девочка и что делает с ней эта гадкая баба? Не думайте, пожалуйста, что я из простого любопытства расспрашиваю. Эту девочку я встречал и по одному обстоятельству очень ею интересуюсь.

— А коль интересуетесь, так вы бы лучше ее к себе взяли али место какое ей нашли, чем ей тут пропадать,— проговорила как бы нехотя женщина, делая движение уйти от меня.

— Но если вы меня не научите, что же я сделаю? Говорю вам, я ничего не знаю. Это, верно, сама Бубнова, хозяйка дома?

— Сама хозяйка.

— Так как же девочка-то к ней попала? У ней здесь мать умерла?

— А так и попала... Не наше дело.— И она опять хотела уйти.

— Да сделайте же одолжение; говорю вам, меня это очень интересует. Я, может быть, что-нибудь и в состоянии сделать. Кто ж эта девочка? Кто была ее мать,— вы знаете?

— А словно из иностранок каких-то, приезжая; у нас внизу и жила; да больная такая; в чахотке и померла.

— Стало быть, была очень бедная, коли в углу в подвале жила?

— Ух, бедная! Все сердце на нее изныло. Мы уж на што перебиваемся, а и нам шесть рублей в пять месяцев, что у нас прожила, задолжала. Мы и похоронили; муж и гроб делал.

— А как же Бубнова говорит, что она похоронила?

— Какое похоронила!

— А как была ее фамилия?

— А и не выговорю, батюшка; мудрено; немецкая, должно быть.

— Смит?

— Нет, что-то не так. А Анна Трифоновна сироту-то к себе и забрала; на воспитание, говорит. Да нехорошо оно вовсе...

— Верно, для целей каких-нибудь забрала?

— Нехорошие за ней дела,— отвечала женщина, как бы в раздумье и колеблясь: говорить или нет? — Нам что, мы посторонние...

— А ты бы лучше язык-то на привязи подержала! — раздался сзади нас мужской голос. Это был пожилых лет человек в халате и в кафтане сверх халата, с виду мещанин — мастеровой, муж моей собеседницы.

— Ей, батюшка, с вами нечего разговаривать; не наше это дело...— промолвил он, искоса оглядев меня.— А ты пошла! Прощайте, сударь; мы гробовщики. Коли что по мастерству надоть, с нашим полным удовольствием... А окромя того, нечего нам с вами происходить...

Я вышел из этого дома в раздумье и в глубоком волнении. Сделать я ничего не мог, но чувствовал, что мне тяжело оставить все это так. Некоторые слова гробовщицы особенно меня возмутили. Тут скрывалось какое-то нехорошее дело: я это предчувствовал.

Я шел, потупив голову и размышляя, как вдруг резкий голос окликнул меня по фамилии. Гляжу — передо мной стоит хмельной человек, чуть не покачиваясь, одетый довольно чисто, но в скверной шинели и в засаленном картузе. Лицо очень знакомое. Я стал всматриваться. Он подмигнул мне и иронически улыбнулся.

— Не узнаешь?

Глава V

— А! Да это ты, Маслобоев! — вскричал я, вдруг узнав в нем прежнего школьного товарища, еще по губернской гимназии,— ну, встреча!

— Да, встреча! Лет шесть не встречались. То есть и встречались, да ваше превосходительство не удостоивали взглядом-с. Ведь вы генералы-с, литературные то есть-с!..— Говоря это, он насмешливо улыбался.

— Ну, брат Маслобоев, это ты врешь,— прервал я его.— Во-первых, генералы, хоть бы и литературные, и с виду не такие бывают, как я, а второе, позволь тебе сказать, я действительно припоминаю, что раза два тебя на улице встретил, да ты сам видимо избегал меня, а мне что ж подходить, коли вижу, человек избегает. И знаешь, что я думаю? Не будь ты теперь хмелен, ты бы и теперь меня не окликнул. Не правда ли? Ну, здравствуй! Я, брат, очень, очень рад, что тебя встретил.

— Право! А не компрометирую я тебя моим... *не тем видом?* Ну, да нечего об этом расспрашивать; не суть важное; я, брат Ваня, всегда помню, какой ты был славный мальчуга. А пом-

нишь, тебя за меня высекли? Ты смолчал, а меня не выдал, а я, вместо благодарности, над тобой же неделю трунил. Безгрешная ты душа! Здравствуй, душа моя, здравствуй! (Мы поцеловались.) Ведь я уж сколько лет один маюсь,— день да ночь — сутки прочь, а старого не забыл. Не забывается! А ты-то, ты-то?

— Да что я-то, и я один маюсь...

Он долго глядел на меня с сильным чувством расслабленного от вина человека. Впрочем, он и без того был чрезвычайно добрый человек.

— Нет, Ваня, ты не то, что я! — проговорил он наконец трагическим тоном.— Я ведь читал; читал, Ваня, читал!.. Да послушай: поговорим по душе! Спешишь?

— Спешу; и, признаюсь тебе, ужасно расстроен одним делом. А вот что лучше: где ты живешь?

— Скажу. Но это не лучше; а сказать ли, что лучше?

— Ну, что?

— А вот что! Видишь? — И он указал мне на вывеску в десяти шагах от того места, где мы стояли,— видишь: кондитерская и ресторан, то есть попросту ресторация, но место хорошее. Предупрежу, помещение приличное, а водка, и не говори! Из Киева пешком пришла! Пил, многократно пил, знаю; а мне худого здесь и не смеют подать. Знают Филиппа Филиппыча. Я ведь Филипп Филиппыч. Что? Гримасничаешь? Нет, ты дай мне договорить. Теперь четверть двенадцатого, сейчас смотрел; ну, так ровно в тридцать пять минут двенадцатого я тебя и отпущу. А тем временем муху задавим*. Двадцать минут на старого друга,— идет?

— Если только двадцать минут, то идет; потому, душа моя, ей-богу, дело...

— А идет, так идет. Только вот что, два слова прежде всего: лицо у тебя нехорошее, точно сейчас тебе чем надосадили, правда?

— Правда.

— То-то я и угадал. Я, брат, теперь в физиономистику пустился, тоже занятие! Ну, так пойдем, поговорим. В двадцать минут, во-первых, успею вздушить адмирала Чаинского и пропущу березовки, потом зорной, потом померанцевой, потом parfait amour*, а потом еще что-нибудь изобрету. Пью, брат! Только по праздникам перед обедней и хорош. А ты хоть и не пей. Мне просто тебя одного надо. А выпьешь, особенное благородство души докажешь. Пойдем! Сболтнем слова два, да и опять лет на десять врозь. Я, брат, тебе, Ваня, не пара!

— Ну, да ты не болтай, а поскорей пойдем. Двадцать минут твои, а там и пусти.

В ресторацию надо было попасть, поднявшись по деревянной двухколенчатой лестнице с крылечком во второй этаж. Но на

лестнице мы вдруг столкнулись с двумя сильно выпившими господами. Увидя нас, они, покачиваясь, посторонились.

Один из них был очень молодой и моложавый парень, еще безбородый, с едва пробивающимися усиками и с усиленно глуповатым выражением лица. Одет он был франтом, но как-то смешно: точно он был в чужом платье, с дорогими перстнями на пальцах, с дорогой булавкой в галстухе и чрезвычайно глупо причесанный, с каким-то коком. Он все улыбался и хихикал. Товарищ его был уже лет пятидесяти, толстый, пузатый, одетый довольно небрежно, тоже с большой булавкой в галстухе, лысый и плешивый, с обрюзглым, пьяным и рябым лицом и в очках на носу, похожем на пуговку. Выражение этого лица было злое и чувственное. Скверные, злые и подозрительные глаза заплыли жиром и глядели как из щелочек. По-видимому, они оба знали Маслобоева, но пузан при встрече с нами скорчил досадную, хоть и мгновенную гримасу, а молодой так и ушел в какую-то подобострастно-сладкую улыбку. Он даже снял картуз. Он был в картузе.

— Простите, Филипп Филиппыч,— пробормотал он, умильно смотря на него.

— А что?

— Виноват-с... того-с... (он щелкнул по воротнику). Там Митрошка сидит-с. Так он, выходит, Филипп Филиппыч-с, подлец-с.

— Да что такое?

— Да уж так-с... А ему вот (он кивнул на товарища) на прошлой неделе, через того самого Митрошку-с, в неприличном месте рожу в сметане вымазали-с... кхи!

Товарищ с досадой подтолкнул его локтем.

— А вы бы с нами, Филипп Филиппыч, полдюжинки распили-с, у Дюссо-с*, прикажете надеяться-с?

— Нет, батюшка, теперь нельзя,— отвечал Маслобоев.— Дело есть.

— Кхи! И у меня дельце есть, до вас-с...— Товарищ опять подтолкнул его локтем.

— После, после!

Маслобоев как-то видимо старался не смотреть на них. Но только что мы вошли в первую комнату, через которую, по всей длине ее, тянулся довольно опрятный прилавок, весь уставленный закусками, подовыми пирогами, расстегаями* и графинами с настойками разных цветов, как Маслобоев быстро отвел меня в угол и сказал:

— Молодой — это купеческий сын Сизобрюхов, сын известного лабазника*, получил полмиллиона после отца и теперь кутит. В Париж ездил, денег там видимо-невидимо убил, там бы, может, и все просадил, да после дяди еще наследство получил

и вернулся из Парижа; так здесь уж и добивает остальное. Через год-то он, разумеется, пойдет по миру. Глуп как гусь,— и по первым ресторанам, и в подвалах и кабаках, и по актрисам, и в гусары просился — просьбу недавно подавал. Другой, пожилой,— Архипов, тоже что-то вроде купца или управляющего, шлялся и по откупам*; бестия, шельма и теперешний товарищ Сизобрюхова, Иуда и Фальстаф*, все вместе, двукратный банкрот и отвратительно чувственная тварь, с разными вычурами. В этом роде я знаю за ним одно уголовное дело; вывернулся. По одному случаю я очень теперь рад, что его здесь встретил; я его ждал... Архипов, разумеется, обирает Сизобрюхова. Много разных закоулков знает, тем и драгоценен для этаких вьюношей. Я, брат, на него уже давно зубы точу. Точит на него зубы* и Митрошка, вот тот молодцеватый парень, в богатой поддевке*,— там, у окна стоит, цыганское лицо. Он лошадьми барышничает и со всеми здешними гусарами знаком. Я тебе скажу, такой плут, что в глазах у тебя будет фальшивую бумажку делать, а ты хоть и видел, а все-таки ему ее разменяешь. Он в поддевке, правда в бархатной, и похож на славянофила* (да это, по-моему, к нему и идет), а наряди его сейчас в великолепнейший фрак и тому подобное, отведи его в английский клуб* да скажи там: такой-то, дескать, владетельный граф Барабанов, так там его два часа за графа почитать будут,— и в вист сыграет, и говорить по-графски будет, и не догадаются; надует. Он плохо кончит. Так вот этот Митрошка на пузана крепко зубы точит, потому у Митрошки теперь тонко, а пузан у него Сизобрюхова отбил, прежнего приятеля, с которого он не успел еще шерсточку обстричь. Если они сошлись теперь в ресторации, так тут, верно, какая-нибудь штука была. Я даже знаю какая и предугадываю, что Митрошка, а не кто другой, известил меня, что Архипов с Сизобрюховым будут здесь и шныряют по этим местам за каким-то скверным делом. Ненавистью Митрошки к Архипову я хочу воспользоваться, потому что имею свои причины; да и явился я здесь почти по этой причине. Виду же Митрошке не хочу показывать, да и ты на него не засматривайся. А когда будем выходить отсюда, то он, наверно, сам ко мне подойдет и скажет то, что мне надо... А теперь пойдем, Ваня, вон в ту комнату, видишь? Ну, Степан,— продолжал он, обращаясь к половому,— понимаешь, чего мне надо?

— Понимаю-с.

— И удовлетворишь?

— Удовлетворю-с.

— Удовлетвори. Садись, Ваня Ну, что ты так на меня смотришь? Я вижу ведь, ты на меня смотришь. Удивляешься? Не удивляйся. Все может с человеком случиться, что даже и не снилось ему никогда, и уж особенно тогда... ну, да хоть тогда,

когда мы с тобой зубрили Корнелия Непота!* Вот что, Ваня, верь одному: Маслобоев хоть и сбился с дороги, но сердце в нем то же осталось, а обстоятельства - только переменились. Я хоть и в саже, да никого не гаже. И в доктора поступал, и в учителя отечественной словесности готовился, и об Гоголе статью написал, и в золотопромышленники хотел, и жениться собирался — жива-душа калачика хочет, и *она* соглашалась, хотя в доме такая благодать, что нечем кошки из избы было выманить. Я было уж к свадебной церемонии и сапоги крепкие занимать хотел, потому у самого были уж полтора года в дырьях... Да и не женился. Она за учителя вышла, а я стал в конторе служить, то есть не в коммерческой конторе, а так, просто в конторе. Ну, тут пошла музыка не та. Протекли годы, и я теперь хоть и не служу, но денежки наживаю удобно: взятки беру и за правду стою; молодец против овец, а против молодца и сам овца. Правила имею: знаю, например, что один в поле не воин, и — дело делаю. Дело же мое больше по подноготной* части... понимаешь?

— Да ты уж не сыщик ли какой-нибудь?

— Нет, не то чтобы сыщик, а делами некоторыми занимаюсь, отчасти и официально, отчасти и по собственному призванию. Вот что, Ваня: водку пью. А так как ума и никогда не пропивал, то знаю и мою будущность. Время мое прошло, черного кобеля не отмоешь добела. Одно скажу: если б во мне не откликался еще человек, не подошел бы я сегодня к тебе, Ваня. Правда твоя, встречал я тебя, видал и прежде, много раз хотел подойти, да все не смел, все откладывал. Не стою я тебя. И правду ты сказал, Ваня, что если и подошел, так только потому, что хмельной. И хоть все это сильнейшая ерунда, но мы обо мне покончим. Давай лучше о тебе говорить. Ну, душа: читал! Читал, ведь и я прочел! Я, дружище, про твоего первенца говорю. Как прочел — я, брат, чуть порядочным человеком не сделался! Чуть было; да только пораздумал и предпочел лучше остаться непорядочным человеком. Так-то...

И много еще он мне говорил. Он хмелел все больше и больше и начал крепко умиляться, чуть не до слез. Маслобоев был всегда славный малый, но всегда себе на уме и развит как-то не по силам; хитрый, пронырливый, пролаз и крючок еще с самой школы, но в сущности человек не без сердца; погибший человек. Таких людей между русскими людьми много. Бывают они часто с большими способностями; но все это в них как-то перепутывается, да сверх того они в состоянии сознательно идти против своей совести из слабости на известных пунктах, и не только всегда погибают, но и сами заранее знают, что идут к погибели. Маслобоев, между прочим, потонул в вине.

— Теперь, друг, еще одно слово,— продолжал он.— Слышал я, как твоя слава сперва прогремела; читал потом на тебя разные

критики (право, читал; ты думаешь, я уж ничего не читаю); встречал тебя потом в худых сапогах, в грязи без калош, в обломанной шляпе и кой о чем догадался. По журналистам теперь промышляешь?

— Да, Маслобоев.

— Значит, в почтовые клячи записался?

— Похоже на то.

— Ну, так на это я, брат, вот что скажу: пить лучше! Я вот напьюсь, лягу себе на диван (а у меня диван славный, с пружинами) и думаю, что вот я, например, какой-нибудь Гомер или Дант, или какой-нибудь Фридрих Барбаруса*,— ведь все можно себе представить. Ну, а тебе нельзя представить себе, что ты Дант или Фридрих Барбаруса, во-первых, потому что ты хочешь быть сам по себе, а во-вторых, потому что тебе всякое хотение запрещено, ибо ты почтовая кляча. У меня воображение, а у тебя действительность. Послушай же откровенно и прямо, по-братски (не то на десять лет обидишь и унизишь меня),— не надо ли денег? Есть. Да ты не гримасничай. Деньги возьми, расплатись с антрепренерами*, скинь хомут, потом обеспечь себе целый год жизни и садись за любимую мысль, пиши великое произведение! А? Что скажешь?

— Слушай, Маслобоев! Братское твое предложение ценю, но ничего не могу теперь отвечать — а почему — долго рассказывать. Есть обстоятельства. Впрочем, обещаюсь: все расскажу тебе потом, по-братски. За предложение благодарю: обещаюсь, что приду к тебе и приду много раз. Но вот в чем дело: ты со мной откровенен, а потому и я решаюсь спросить у тебя совета, тем более что ты в этих делах мастак.

И я рассказал ему всю историю Смита и его внучки, начиная с самой кондитерской. Странное дело: когда я рассказывал, мне по глазам его показалось, что он кой-что знает из этой истории. Я спросил его об этом.

— Нет, не то,— отвечал он.— Впрочем, так, кой-что о Смите я слышал, что умер какой-то старик в кондитерской. А об мадам Бубновой я действительно кой-что знаю. С этой дамы я уж взял два месяца тому назад взятку. Je prends mon bien, oú je le trouve[1] и только в этом смысле похож на Мольера*. Но хотя и я содрал с нее сто рублей, все-таки я тогда же дал себе слово скрутить ее уже не на сто, а на пятьсот рублей. Скверная баба! Непозволительными делами занимается. Оно бы ничего, да иногда уж слишком до худого доходит. Ты не считай меня, пожалуйста, Дон Кихотом*. Дело все в том, что может крепко мне перепасть, и когда я, полчаса тому назад, Сизобрюхова встретил, то очень обрадовался. Сизобрюхова, очевидно, сюда привели, и

---

[1] Я беру свое добро там, где нахожу его *(франц.)*.

привел его пузан, а так как я знаю, по какого рода делам пузан особенно промышляет, то и заключаю... Ну, да уж я его накрою! Я очень рад, что от тебя про эту девочку услыхал; теперь я на другой след попал. Я ведь, брат, разными частными комиссиями занимаюсь, да еще с какими людьми знаком! Разыскивал я недавно одно дельце для одного князя, так я тебе скажу — такое дельце, что от этого князя и ожидать нельзя было. А то, хочешь, другую историю про мужнюю жену расскажу? Ты, брат, ко мне ходи, я тебе таких сюжетов наготовил, что, опиши их, так не поверят тебе...

— А как фамилия того князя? — перебил я его, предчувствуя что-то.

— А тебе на что? Изволь: Валковский.

— Петр?

— Он. Ты знаком?

— Знаком, да не очень. Ну, Маслобоев, я об этом господине к тебе не раз понаведаюсь,— сказал я, вставая,— ты меня ужасно заинтересовал.

— Вот видишь, старый приятель, наведывайся, сколько хочешь. Сказки я умею рассказывать, но ведь до известных пределов,— понимаешь? Не то кредит и честь потеряешь, деловую то есть, ну и так далее.

— Ну, насколько честь позволит.

Я был даже в волнении. Он это заметил.

— Ну, что ж теперь скажешь мне про ту историю, которую я сейчас тебе рассказал. Придумал ты что или нет?

— Про твою историю? А вот подожди меня две минутки; я расплачусь.

Он пошел к буфету и там, как бы нечаянно, вдруг очутился вместе с тем парнем в поддевке, которого так бесцеремонно звали Митрошкой. Мне показалось, что Маслобоев знал его несколько ближе, чем сам признавался мне. По крайней мере, видно было, что сошлись они теперь не в первый раз. Митрошка был с виду парень довольно оригинальный. В своей поддевке, в шелковой красной рубашке, с резкими, но благообразными чертами лица, еще довольно моложавый, смуглый, с смелым сверкающим взглядом, он производил и любопытное и не отталкивающее впечатление. Жест его был как-то выделанно удалой, а вместе с тем в настоящую минуту он, видимо, сдерживал себя, *всего более желая себе придать вид чрезвычайной деловитости и* солидности.

— Вот что, Ваня,— сказал Маслобоев, воротясь ко мне,— наведайся-ка ты сегодня ко мне в семь часов, так я, может, кой-что и скажу тебе. Один-то я, видишь ли, ничего не значу; прежде значил, а теперь только пьяница и удалился от дел. Но у меня остались прежние сношения; могу кой о чем разведать, с разными

тонкими людьми перенюхаться; этим и беру; правда, в свободное, то есть трезвое, время и сам кой-что делаю, тоже через знакомых... больше по разведкам... Ну, да что тут! Довольно... Вот и адрес мой: в Шестилавочной. А теперь, брат, я уж слишком прокис. Пропущу еще золотую, да и домой. Полежу. Придешь — с Александрой Семеновной познакомлю, а будет время, о поэзии поговорим.

— Ну, а о том-то?

— Ну, и о том, может быть.

— Пожалуй, приду, наверно приду...

Глава VI

Анна Андреевна уже давно дожидалась меня. То, что я вчера сказал ей о записке Наташи, сильно завлекло ее любопытство, и она ждала меня гораздо раньше утром, по крайней мере часов в десять. Когда же я явился к ней во втором часу пополудни, то муки ожидания достигли в бедной старушке последней степени своей силы. Кроме того, ей очень хотелось объявить мне о своих новых надеждах, возродившихся в ней со вчерашнего дня, и об Николае Сергеиче, который со вчерашнего дня прихворнул, стал угрюм, а между тем и как-то особенно с нею нежен. Когда я появился, она приняла было меня с недовольной и холодной складкой в лице, едва цедила сквозь зубы и не показывала ни малейшего любопытства, как будто чуть не проговорила: «Зачем пришел? Охота тебе, батюшка, каждый день шляться». Она сердилась за поздний приход. Но я спешил и потому без дальнейших проволочек рассказал ей всю вчерашнюю сцену у Наташи. Как только старушка услышала о посещении старшего князя и о торжественном его предложении, как тотчас же соскочила с нее вся напускная хандра. Недостает у меня слов описать, как она обрадовалась, даже как-то потерялась, крестилась, плакала, клала перед образом земные поклоны, обнимала меня и хотела тотчас же бежать к Николаю Сергеичу и объявить ему свою радость.

— Помилуй, батюшка, ведь это он все от разных унижений и оскорблений хандрит, а вот теперь узнает, что Наташе полное удовлетворение сделано, так мигом все позабудет.

Насилу я отговорил ее. Добрая старушка, несмотря на то что двадцать пять лет прожила с мужем, еще плохо знала его. Ей ужасно тоже захотелось тотчас же поехать со мной к Наташе. Я представил ей, что Николай Сергеич не только, может быть, не одобрит ее поступка, но еще мы этим повредим всему делу. Насилу-то она одумалась, но продержала меня еще полчаса лишних и все время говорила только сама. «С кем же я-то теперь

останусь,— говорила она,— с такой радостью да сидя одна в четырех стенах?» Наконец я убедил ее отпустить меня, представив ей, что Наташа теперь ждет меня не дождется. Старушка перекрестила меня несколько раз на дорогу, послала особое благословение Наташе и чуть не заплакала, когда я решительно отказался прийти в тот же день еще раз, вечером, если с Наташей не случится чего особенного. Николая Сергеича в этот раз я не видал: он не спал всю ночь, жаловался на головную боль, на озноб и теперь спал в своем кабинете.

Тоже и Наташа прождала меня все утро. Когда я вошел, она, по обыкновению своему, ходила по комнате, сложа руки и о чем-то раздумывая. Даже и теперь, когда я вспоминаю о ней, я не иначе представляю ее, как всегда одну в бедной комнатке, задумчивую, оставленную, ожидающую, с сложенными руками, с опущенными вниз глазами, расхаживающую бесцельно взад и вперед.

Она тихо, все еще продолжая ходить, спросила, почему я так поздно? Я рассказал ей вкратце все мои похождения, но она меня почти и не слушала. Заметно было, что она чем-то очень озабочена. «Что нового?» — спросил я. «Нового ничего»,— отвечала она, но с таким видом, по которому я тотчас догадался, что новое у ней есть и что она для того и ждала меня, чтоб рассказать это новое, но, по обыкновению своему, расскажет не сейчас, а когда я буду уходить. Так всегда у нас было. Я уж применился к ней и ждал.

Мы, разумеется, начали разговор о вчерашнем. Меня особенно поразило то, что мы совершенно сходимся с ней в впечатлении нашем о старом князе: ей он решительно не нравился, гораздо больше не нравился, чем вчера. И когда мы перебрали по черточкам весь его вчерашний визит, Наташа вдруг сказала:

— Послушай, Ваня, а ведь так всегда бывает, что вот если сначала человек не понравится, то уж это почти признак, что он непременно понравится потом. По крайней мере, так всегда бывало со мною.

— Дай бог так, Наташа. К тому же вот мое мнение, и окончательное: я всє перебрал и вывел, что хоть князь, может быть, и иезуитничает, но соглашается он на ваш брак вправду и серьезно.

Наташа остановилась среди комнаты и сурово взглянула на меня. Все лицо ее изменилось; даже губы слегка вздрогнули.

— Да как же бы он мог в *таком* случае начать хитрить и... лгать? — спросила она с надменным недоумением.

— То-то, то-то! — поддакнул я скорее.

— Разумеется, не лгал. Мне кажется, и думать об этом нечего. Нельзя даже предлога приискать к какой-нибудь хитрости. И, наконец, что ж я такое в глазах его, чтоб до такой степени смеяться надо мной? Неужели человек может быть способен на такую обиду?

— Конечно, конечно! — подтверждал я, а про себя подумал: «Ты, верно, об этом только и думаешь теперь, ходя по комнате, моя бедняжка, и, может, еще больше сомневаешься, чем я».

— Ах, как бы я желала, чтоб он поскорее воротился! — сказала она.— Целый вечер хотел просидеть у меня и тогда... Должно быть, важные дела, коль все бросил да уехал. Не знаешь ли, какие, Ваня? Не слыхал ли чего-нибудь?

— А господь его знает. Ведь он все деньги наживает. Я слышал, участок в каком-то подряде здесь в Петербурге берет. Мы, Наташа, в делах ничего не смыслим.

— Разумеется, не смыслим. Алеша говорил про какое-то письмо вчера.

— Известие какое-нибудь. А был Алеша?

— Был.

— Рано?

— В двенадцать часов: да ведь он долго спит. Посидел. Я прогнала его к Катерине Федоровне; нельзя же, Ваня.

— А разве сам он не собирался туда?

— Нет, и сам собирался...

Она хотела что-то еще прибавить и замолчала. Я глядел на нее и выжидал. Лицо у ней было грустное. Я бы и спросил ее, да она очень иногда не любила расспросов.

— Странный этот мальчик,— сказала она наконец, слегка искривив рот и как будто стараясь не глядеть на меня.

— А что! Верно, что-нибудь у вас было?

— Нет, ничего; так... Он был, впрочем, и милый... Только уж...

— Вот теперь все его горести и заботы кончились,— сказал я.

Наташа пристально и пытливо взглянула на меня. Ей, может быть, самой хотелось бы ответить мне: «Немного-то было у него горестей и забот и прежде»; но ей показалось, что в моих словах та же мысль, она и надулась.

Впрочем, тотчас же опять стала и приветлива и любезна. В этот раз она была чрезвычайно кротка. Я просидел у ней более часу. Она очень беспокоилась. Князь пугал ее. Я заметил по некоторым ее вопросам, что ей очень бы хотелось узнать наверно, какое именно произвела она на него вчера впечатление? Так ли она себя держала? Не слишком ли она выразила перед ним свою радость? Не была ли слишком обидчива? Или, наоборот, уж слишком снисходительна? Не подумал бы он чего-нибудь? Не просмеял бы? Не почувствовал бы презрения к ней?.. От этой мысли щеки ее вспыхнули как огонь.

— Неужели можно так волноваться из-за того только, что дурной человек что-нибудь подумает? Да пусть его думает! — сказал я.

— Почему же он дурной? — спросила она.

Наташа была мнительна, но чиста сердцем и прямодушна. Мнительность ее происходила из чистого источника. Она была горда, и благородно горда, и не могла перенести, если то, что считала выше всего, предалось бы на посмеяние в ее же глазах. На презрение человека низкого она, конечно, отвечала бы только презрением, но все-таки болела бы сердцем за насмешку над тем, что считала святынею, кто бы ни смеялся. Не от недостатка твердости происходило это. Происходило отчасти и от слишком малого знания света, от непривычки к людям, от замкнутости в своем угле. Она всю жизнь прожила в своем угле, почти не выходя из него. И, наконец, свойство самых добродушных людей, может быть перешедшее к ней от отца,— захвалить человека, упорно считать его лучше, чем он в самом деле, сгоряча преувеличивать в нем все доброе — было в ней развито в сильной степени. Тяжело таким людям потом разочаровываться; еще тяжеле, когда чувствуешь, что сам виноват. Зачем ожидал более, чем могут дать? А таких людей поминутно ждет такое разочарование. Всего лучше, если они спокойно сидят в своих углах и не выходят на свет; я даже заметил, что они действительно любят свои углы до того, что даже дичают в них. Впрочем, Наташа перенесла много несчастий, много оскорблений. Это было уже больное существо, и ее нельзя винить, если только в моих словах есть обвинение.

Но я спешил и встал уходить. Она изумилась и чуть не заплакала, что я ухожу, хотя все время, как я сидел, не показывала мне никакой особенной нежности, напротив, даже была со мной как будто холоднее обыкновенного. Она горячо поцеловала меня и как-то долго посмотрела мне в глаза.

— Послушай,— сказала она,— Алеша был пресмешной сегодня и даже удивил меня. Он был очень мил, очень счастлив с виду, но влетел таким мотыльком таким фатом, все перед зеркалом вертелся. Уж он слишком как-то без церемоний теперь... да и сидел-то недолго. Представь: мне конфет привез.

— Конфет? Что ж, это очень мило и простодушно. Ах, какие вы оба! Вот уж и пошли теперь наблюдать друг за другом, шпионить, лица друг у друга изучать, тайные мысли на них читать (а ничего-то вы в них и не понимаете!). Еще он ничего. Он веселый и школьник по-прежнему. А ты-то, ты-то!

И всегда, когда Наташа переменяла тон и подходила, бывало, ко мне или с жалобой на Алешу, или для разрешения каких-нибудь щекотливых недоумений, или с каким-нибудь секретом и с желанием, чтоб я понял его с полслова, то, помню, она всегда смотрела на меня, оскаля зубки и как будто вымаливая, чтоб я непременно решил как-нибудь так, чтоб ей тотчас же стало легче на сердце. Но помню тоже, я в таких случаях всегда как-то принимал суровый и резкий тон, точно распекая кого-то, и дела-

лось это у меня совершенно нечаянно, но всегда *удавалось*. Суровость и важность моя были кстати, казались авторитетнее, а ведь иногда человек чувствует непреодолимую потребность, чтоб его кто-нибудь пораспек. По крайней мере, Наташа уходила от меня иногда совершенно утешенная.

— Нет, видишь, Ваня,— продолжала она, держа одну свою ручку на моем плече, другою сжимая мне руку, а глазками заискивая в моих глазах,— мне показалось, что он был как-то мало проникнут... он показался мне таким уж mari[1],— знаешь, как будто десять лет женат, но все еще любезный с женой человек. Не рано ли уж очень?.. Смеялся, вертелся, но как будто это все ко мне только так, только уж отчасти относится, а не так, как прежде... Очень торопился к Катерине Федоровне... Я ему говорю, а он не слушает или об другом заговаривает, знаешь, эта скверная, великосветская привычка, от которой мы оба его так отучали. Одним словом, был такой... даже как будто равнодушный... Но что я! Вот и пошла, вот и начала! Ах, какие мы все требовательные, Ваня, какие капризные деспоты! Только теперь вижу! Пустой перемены в лице человеку не простим, а у него еще бог знает отчего переменилось лицо! Ты прав, Ваня, что сейчас укорял меня! Это я одна во всем виновата! Сами себе горести создаем, да еще жалуемся... Спасибо, Ваня, ты меня совершенно утешил. Ах, кабы он сегодня приехал! Да чего! Пожалуй, еще рассердится за давешнее.

— Да неужели вы уж поссорились! — вскричал я с удивлением.

— И виду не подала! Только я была немного грустна, а он из веселого стал вдруг задумчивым и, мне показалось, сухо со мной простился. Да я пошлю за ним... Приходи и ты, Ваня, сегодня.

— Непременно, если только не задержит одно дело.

— Ну вот, какое там дело?

— Да навязал себе! А впрочем, кажется, непременно приду.

Глава VII

Ровно в семь часов я был у Маслобоева. Он жил в Шестилавочной, в небольшом доме, во флигеле, в довольно неопрятной квартире о трех комнатах, впрочем не бедно меблированных. Виден был даже некоторый достаток и в то же время чрезвычайная нехозяйственность. Мне отворила прехорошенькая девушка лет девятнадцати, очень просто, но очень мило одетая, очень чистенькая и с предобрыми веселыми глазками. Я тотчас дога-

[1] Мужем *(франц.)*.

дался, что это и есть та самая Александра Семеновна, о которой он упомянул вскользь давеча, подманивая меня с ней познакомиться. Она спросила, кто я, и, услышав фамилию, сказала, что он ждет меня, но что теперь спит в своей комнате, куда меня и повела. Маслобоев спал на прекрасном, мягком диване, накрытый своею грязною шинелью, с кожаной истертой подушкой в головах. Сон у него был очень чуткий; только что мы вошли, он тотчас же окликнул меня по имени.

— А! Это ты? Жду. Сейчас во сне видел, что ты пришел и меня будишь. Значит, пора. Едем.

— Куда едем?

— К даме.

— К какой? Зачем?

— К мадам Бубновой, затем чтобы ее раскассировать*. А какая красотка-то! — протянул он, обращаясь к Александре Семеновне, и даже поцеловал кончики пальцев при воспоминании о мадам Бубновой.

— Ну уж пошел, выдумал! — проговорила Александра Семеновна, считая непременным долгом немного рассердиться.

— Незнаком? Познакомься, брат: вот, Александра Семеновна, рекомендую тебе, это литературный генерал; их только раз в год даром осматривают, а в прочее время за деньги.

— Ну, вот дуру нашел. Вы его, пожалуйста, не слушайте, все смеется надо мной. Какие они генералы?

— Я про то вам и говорю, что особенные. А ты, ваше превосходительство, не думай, что мы глупы; мы гораздо умнее, чем с первого взгляда кажемся.

— Да не слушайте его! Вечно-то застыдит при хороших людях, бесстыдник. Хоть бы в театр когда свез.

— Любите, Александра Семеновна, домашние свои... А не забыли, что любить-то надо? Словечко-то не забыли? Вот которому я вас учил?

— Конечно, не забыла. Вздор какой-нибудь значит.

— Ну, да какое ж словечко-то?

— Вот стану я страмиться при госте. Оно, может быть, страм какой значит. Язык отсохни, коли скажу.

— Значит, забыли-с?

— А вот и не забыла; пенаты! Любите свои пенаты*... ведь вот что выдумает! Может, никаких пенатов и не было; и за что их любить-то? Все врет!

— Зато у мадам Бубновой...

— Тьфу ты с своей Бубновой! — и Александра Семеновна выбежала в величайшем негодовании.

— Пора! идем! Прощайте, Александра Семеновна!

Мы вышли.

— Видишь, Ваня, во-первых, сядем на этого извозчика. Так.

А во-вторых, я давеча, как с тобой простился, кой-что еще узнал, и узнал уж не по догадкам, а в точности. Я еще на Васильевском целый час оставался. Этот пузан — страшная каналья, грязный, гадкий, с вычурами и с разными подлыми вкусами. Эта Бубнова давно уж известна кой-какими проделками в этом же роде. Она на днях с одной девочкой из честного дома чуть не попалась. Эти кисейные платья, в которые она рядила эту сиротку (вот ты давеча рассказывал), не давали мне покоя; потому что я кой-что уже до этого слышал. Давеча я кой-что еще разузнал, правда совершенно случайно, но, кажется, наверно. Сколько лет девочке?

— По лицу лет тринадцать.

— А по росту меньше. Ну, так она и сделает. Коли надо, скажет одиннадцать, а то пятнадцать. И так как у бедняжки ни защиты, ни семейства, то...

— Неужели?

— А ты что думал? Да уж мадам Бубнова из одного сострадания не взяла бы к себе сироту. А уж если пузан туда повадился, так уж так. Он с ней давеча утром виделся. А болвану Сизобрюхову обещана сегодня красавица, мужняя жена, чиновница и штаб-офицерка. Купецкие дети из кутящих до этого падки; всегда про чин спросят. Это как в латинской грамматике, помнишь: значение предпочитается окончанию. А впрочем, я еще, кажется, с давешнего пьян. Ну, а Бубнова такими делами заниматься не смей. Она и полицию надуть хочет; да врешь! А потому я и пугну, так как она знает, что я по старой памяти... ну и прочее — понимаешь?

Я был страшно поражен. Все эти известия взволновали мою душу. Я все боялся, что мы опоздаем, и погонял извозчика.

— Не беспокойся; меры приняты,— говорил Маслобоев.— Там Митрошка. Сизобрюхов ему поплатится деньгами, а пузатый подлец — натурой. Это еще давеча решено было. Ну, а Бубнова на мой пай приходится... Потому она не смей...

Мы приехали и остановились у ресторации; но человека, называвшегося Митрошкой, там не было. Приказав извозчику нас дожидаться у крыльца ресторации, мы пошли к Бубновой. Митрошка поджидал нас у ворот. В окнах разливался яркий свет, и слышался пьяный, раскатистый смех Сизобрюхова.

— Там они все, с четверть часа будет,— известил Митрошка.— Теперь самое время.

— Да как же мы войдем? — спросил я.

— Как гости,— возразил Маслобоев.— Она меня знает; да и Митрошку знает. Правда, все на запоре, да только не для нас.

Он тихо постучал в ворота, и они тотчас же отворились. Отворил дворник и перемигнулся с Митрошкой. Мы вошли тихо; в доме нас не слыхали. Дворник провел нас по лесенке и по-

стучался. Его окликнули; он отвечал, что один: «дескать, надоть». Отворили, и мы все вошли разом. Дворник скрылся.

— Ай, кто это? — закричала Бубнова, пьяная и растрепанная, стоявшая в крошечной передней со свечою в руках.

— Кто? — подхватил Маслобоев.— Как же вы это, Анна Трифоновна, дорогих гостей не узнаете? Кто же, как не мы?.. Филипп Филиппыч.

— Ах, Филипп Филиппыч! это вы-с... дорогие гости... Да как же вы-с... я-с... ничего-с... пожалуйте сюда-с.

И она совсем заметалась.

— Куда сюда? Да тут перегородка... Нет, вы нас принимайте получше. Мы у вас холодненького выпьем, да машерочек* нет ли?

Хозяйка мигом ободрилась.

— Да для таких дорогих гостей из-под земли найду; из китайского государства выпишу.

— Два слова, голубушка Анна Трифоновна: здесь Сизобрюхов?

— З... здесь.

— Так его-то мне и надобно. Как же он смел, подлец, без меня кутить!

— Да он вас, верно, не позабыл. Все кого-то поджидал, верно, вас.

Маслобоев толкнул дверь, и мы очутились в небольшой комнате, в два окна, с геранями, плетеными стульями и с скверными фортепьянами; все, как следовало. Но еще прежде, чем мы вошли, еще когда мы разговаривали в передней, Митрошка стушевался. Я после узнал, что он и не входил, а пережидал за дверью. Ему было кому потом отворить. Растрепанная и нарумяненная женщина, выглядывавшая давеча утром из-за плеча Бубновой, приходилась ему кума.

Сизобрюхов сидел на тоненьком диванчике под красное дерево, перед круглым столом, покрытым скатертью. На столе стояли две бутылки теплого шампанского, бутылка скверного рому; стояли тарелки с кондитерскими конфетами, пряниками и орехами трех сортов. За столом, напротив Сизобрюхова, сидело отвратительное существо лет сорока и рябое, в черном тафтяном платье и с бронзовыми браслетами и брошками. Это была штабофицерка, очевидно поддельная. Сизобрюхов был пьян и очень доволен. Пузатого его спутника с ним не было.

— Так-то люди делают! — заревел во все горло Маслобоев,— а еще к Дюссо приглашает!

— Филипп Филиппыч, осчастливили-с! — пробормотал Сизобрюхов, с блаженным видом подымаясь нам навстречу.

— Пьешь?

— Извините-с.

— Да ты не извиняйся, а приглашай гостей. С тобой погулять приехали. Вот привел еще гостя: приятель! — Маслобоев указал на меня.

— Рады-с, то есть осчастливили-с... Кхи!

— Ишь, шампанское называется! На кислые щи похоже.

— Обижаете-с.

— Знать, ты к Дюссо-то и показываться не смеешь; а еще приглашает!

— Он сейчас рассказывал, что в Париже был,— подхватила штаб-офицерка,— вот врет-то, должно быть!

— Федосья Титишна, не обижайте-с. Были-с. Ездили-с.

— Ну, такому ли мужику в Париже быть?

— Были-с. Могли-с. Мы там с Карпом Васильичем отличались. Карпа Васильича изволите знать-с?

— А на что мне знать твоего Карпа Васильича?

— Да уж так-с... из политики дело-с. А мы с ним там, в местечке Париже-с, у мадам Жубер-с, англицкую трюму разбили-с.

— Что разбили?

— Трюму-с. Трюма такая была, во всю стену до потолка простиралась; а уж Карп Васильич так пьян, что уж с мадам Жубер-с по-русски заговорил. Он это у трюмы стал, да и облокотился. А Жуберта-то и кричит ему, по-свойски то есть: «Трюма семьсот франков стоит (по нашему четвертаков), разобьешь!» Он ухмыляется да на меня смотрит; а я супротив сижу на канапе*, и красота со мной, да не такое рыло, как вот ефта-с, а с киксом*, словом сказать-с. Он и кричит: «Степан Терентьич, а Степан Терентьич! Пополам идет, что ли?» Я говорю: «Идет!» — как он кулачищем-то по трюме-то стукнет — дзынь! Только осколки посыпались. Завизжала Жуберта, так в рожу ему прямо и лезет: «Что ты, разбойник, куда пришел?» (по-ихнему то есть). А он ей: «Ты, говорит, мадам Жубер-с, деньги бери, а ндраву моему не препятствуй», да тут же ей шестьсот пятьдесят франков и отвалил. Полсотни выторговали-с.

В эту минуту страшный, пронзительный крик раздался где-то за несколькими дверями, за две или за три комнатки от той, в которой мы были. Я вздрогнул и тоже закричал. Я узнал этот крик: это был голос Елены. Тотчас же вслед за этим жалобным криком раздались другие крики, ругательства, возня и, наконец, ясные, звонкие, отчетливые удары ладонью руки по лицу. Это, вероятно, расправлялся Митрошка по своей части. Вдруг с силой отворилась дверь, и Елена, бледная, с помутившимися глазами, в белом кисейном, но совершенно измятом и изорванном платье, с расчесанными, но разбившимися, как бы в борьбе, волосами, ворвалась в комнату. Я стоял против дверей, а она бросилась

Ф. М. Достоевский

«УНИЖЕННЫЕ И ОСКОРБЛЕННЫЕ»

прямо ко мне и обхватила меня руками. Все вскочили, все переполошились. Визги и крики раздались при ее появлении. Вслед за ней показался в дверях Митрошка, волоча за волосы своего пузатого недруга в самом растерзанном виде. Он доволок его до порога и вбросил к нам в комнату.

— Вот он! Берите его! — произнес Митрошка с совершенно довольным видом.

— Слушай,— проговорил Маслобоев, спокойно подходя ко мне и стукнув меня по плечу,— бери нашего извозчика, бери девочку и поезжай к себе, а здесь тебе больше нечего делать. Завтра уладим и остальное.

Я не заставил себе повторять два раза. Схватив за руку Елену, я вывел ее из этого вертепа*. Уж не знаю, как там у них кончилось. Нас не останавливали: хозяйка была поражена ужасом. Все произошло так скоро, что она и помешать не могла. Извозчик нас дожидался, и через двадцать минут я был уже на своей квартире.

Елена была как полумертвая. Я расстегнул крючки у ее платья, спрыснул ее водой и положил на диван. С ней начался жар и бред. Я глядел на ее бледное личико, на бесцветные ее губы, на ее черные, сбившиеся на сторону, но расчесанные волосок к волоску и напомаженные волосы, на весь ее туалет, на эти розовые бантики, еще уцелевшие кой-где на платье,— и понял окончательно всю эту отвратительную историю. Бедная! Ей становилось все хуже и хуже. Я не отходил от нее и решился не ходить этот вечер к Наташе. Иногда Елена подымала свои длинные ресницы и взглядывала на меня, и долго и пристально глядела, как бы узнавая меня. Уже поздно, часу в первом ночи, она заснула.

Я заснул подле нее на полу.

Глава VIII

Я встал очень рано. Всю ночь я просыпался почти каждые полчаса, подходил к моей бедной гостье и внимательно к ней присматривался. У нее был жар и легкий бред. Но к утру она заснула крепко. Добрый знак, подумал я, но, проснувшись утром, решился поскорей, покамест бедняжка еще спала, сбегать к доктору. Я знал одного доктора, холостого и добродушного старичка, с незапамятных времен жившего у Владимирской вдвоем с своей экономкой-немкой. К нему-то я и отправился. Он обещал быть у меня в десять часов. Было восемь, когда я приходил к нему. Мне ужасно хотелось зайти по дороге к Маслобоеву, но я раздумал: он, верно, еще спал со вчерашнего, да к тому же Елена могла проснуться и, пожалуй, без меня испугалась бы,

увидя себя в моей квартире. В болезненном своем состоянии она могла забыть: как, когда и каким образом попала ко мне.

Она проснулась в ту самую минуту, когда я входил в комнату. Я подошел к ней и осторожно спросил: как она себя чувствует? Она не отвечала, но долго-долго и пристально на меня смотрела своими выразительными черными глазами. Мне показалось из ее взгляда, что она все понимает и в полной памяти. Не отвечала же она мне, может быть, по своей всегдашней привычке. И вчера и третьего дня, как приходила ко мне, она на иные мои вопросы не проговаривала ни слова, а только начинала вдруг смотреть мне в глаза своим длинным, упорным взглядом, в котором вместе с недоумением и диким любопытством была еще какая-то странная гордость. Теперь же я заметил в ее взгляде суровость и даже как будто недоверчивость. Я было приложил руку к ее лбу, чтоб пощупать, есть ли жар, но она молча и тихо своей маленькой ручкой отвела мою и отвернулась от меня лицом к стене. Я отошел, чтоб уж и не беспокоить ее.

У меня был большой медный чайник. Я уже давно употреблял его вместо самовара и кипятил в нем воду. Дрова у меня были, дворник разом носил мне их дней на пять. Я затопил печь, сходил за водой и наставил чайник. На столе же приготовил мой чайный прибор. Елена повернулась ко мне и смотрела на все с любопытством. Я спросил ее, не хочет ли и она чего? Но она опять от меня отвернулась и ничего не ответила.

«На меня-то за что ж она сердится? — подумал я.— Странная девочка!»

Мой старичок доктор пришел, как сказал, в десять часов. Он осмотрел больную со всей немецкой внимательностью и сильно обнадежил меня, сказав, что хоть и есть лихорадочное состояние, но особенной опасности нет никакой. Он прибавил, что у ней должна быть другая, постоянная болезнь, что-нибудь вроде неправильного сердцебиения, «но что этот пункт будет требовать особенных наблюдений, теперь же она вне опасности». Он прописал ей микстуру и каких-то порошков, более для обычая, чем для надобности, и тотчас же начал меня расспрашивать: каким образом она у меня очутилась? В то же время он с удивлением рассматривал мою квартиру. Этот старичок был ужасный болтун.

Елена же его поразила; она вырвала у него свою руку, когда он щупал ее пульс, и не хотела показать ему язык. На все вопросы его не отвечала ни слова, но все время только пристально смотрела на его огромный Станислав, качавшийся у него на шее*. «У нее, верно, голова очень болит,— заметил старичок,— но только как она глядит!» Я не почел за нужное ему рассказывать о Елене и отговорился тем, что это длинная история.

— Дайте мне знать, если надо будет,— сказал он, уходя.— А теперь нет опасности.

Я решился на весь день остаться с Еленой и, по возможности, до самого выздоровления оставлять ее как можно реже одну. Но зная, что Наташа и Анна Андреевна могут измучиться, ожидая меня понапрасну, решился хоть Наташу уведомить по городской почте письмом, что сегодня у ней не буду. Анне же Андреевне нельзя было писать. Она сама просила меня, чтоб я, раз навсегда, не присылал ей писем, после того как я однажды послал было ей известие во время болезни Наташи. «И старик хмурится, как письмо твое увидит,— говорила она,— узнать-то ему очень хочется, сердечному, что́ в письме, да и спросить-то нельзя, не решается. Вот и расстроится на весь день. Да к тому же, батюшка, письмом-то ты меня только раздразнишь. Ну что десять строк! Захочется подробнее расспросить, а тебя-то и нет». И потому я написал одной Наташе и, когда относил в аптеку рецепт, отправил зараз и письмо.

Тем временем Елена опять заснула. Во сне она слегка стонала и вздрагивала. Доктор угадал: у ней сильно болела голова. Порой она слегка вскрикивала и просыпалась. На меня она взглядывала даже с досадою, как будто ей особенно тяжело было мое внимание. Признаюсь, мне было это очень больно.

В одиннадцать часов пришел Маслобоев. Он был озабочен и как будто рассеян; зашел он только на минутку и очень куда-то торопился.

— Ну, брат, я ожидал, что ты живешь неказисто,— заметил он, осматриваясь,— но, право, не думал, что найду тебя в таком сундуке. Ведь это сундук, а не квартира. Ну, да это-то, положим, ничего, а главная беда в том, что тебя все эти посторонние хлопоты только отвлекают от работы. Я об этом думал еще вчера, когда мы ехали к Бубновой. Я ведь, брат, по натуре моей и по социальному моему положению принадлежу к тем людям, которые сами путного ничего не делают, а другим наставления читают, чтоб делали. Теперь слушай: я, может быть, завтра или послезавтра зайду к тебе, а ты непременно побывай у меня в воскресенье утром. К тому времени дело этой девочки, надеюсь, совсем кончится; в тот же раз я с тобой серьезно переговорю, потому что за тебя надо серьезно приняться. Эдак жить нельзя. Я тебе вчера только намекнул, а теперь логически представлять буду. Да и, наконец, скажи: что ж ты за бесчестье, что ли, считаешь взять у меня денег на время?..

— Да не ссорься! — прервал я его.— Лучше скажи, чем у вас там вчера-то кончилось?

— Да что, кончилось благополучнейшим образом, и цель достигнута, понимаешь? Теперь же мне некогда. На минутку зашел только уведомить, что мне некогда и не до тебя; да,

кстати, узнать: что, ты ее поместишь куда-нибудь или у себя держать хочешь? Потому это надо обдумать и решить.

— Этого я еще наверно не знаю и, признаюсь, ждал тебя, чтоб с тобой посоветоваться. Ну на каком, например, основании я буду ее у себя держать?

— Э, чего тут, да хоть в виде служанки...

— Прошу тебя только, говори тише. Она хоть и больна, но совершенно в памяти, и как тебя увидела, я заметил, как будто вздрогнула. Значит, вчерашнее вспомнила...

Тут я ему рассказал об ее характере и все, что я в ней заметил. Слова мои заинтересовали Маслобоева. Я прибавил, что, может быть, помещу ее в один дом, и слегка рассказал ему про моих стариков. К удивлению моему, он уже отчасти знал историю Наташи и на вопрос мой: откуда он знает?

— Так; давно, как-то мельком слышал, к одному делу приходилось. Ведь я уже говорил тебе, что знаю князя Валковского. Это ты хорошо делаешь, что хочешь отправить ее к тем старикам. А то стеснит она тебя только. Да вот еще что: ей нужен какой-нибудь вид. Об этом не беспокойся; на себя беру. Прощай, заходи чаще. Что́ она теперь, спит?

— Кажется,— отвечал я.

Но только что он ушел, Елена тотчас же меня окликнула.

— Кто это́? — спросила она. Голос ее дрожал, но смотрела она на меня все тем же пристальным и как будто надменным взглядом. Иначе я не умею выразиться.

Я назвал ей фамилию Маслобоева и прибавил, что через него-то я и вырвал ее от Бубновой и что Бубнова его очень боится. Щеки ее вдруг загорелись как будто заревом, вероятно от воспоминаний.

— И она теперь никогда не придет сюда? — спросила Елена, пытливо смотря на меня.

Я поспешил ее обнадежить. Она замолчала, взяла было своими горячими пальчиками мою руку, но тотчас же отбросила ее, как будто опомнившись. «Не может быть, чтоб она в самом деле чувствовала ко мне такое отвращение,— подумал я. Это ее манера, или... или просто бедняжка видела столько горя, что уж не доверяет никому на свете».

В назначенное время я сходил за лекарством и вместе с тем в знакомый трактир, в котором я иногда обедал и где мне верили в долг. В этот раз, выходя из дому, я захватил с собой судки и взял в трактире порцию супу из курицы для Елены. Но она не хотела есть, и суп до времени остался в печке.

Дав ей лекарство, я сел за свою работу. Я думал, что она спит, но, нечаянно взглянув на нее, вдруг увидел, что она приподняла голову и пристально следила, как я пишу. Я притворился, что не заметил ее.

Наконец она и в самом деле заснула и, к величайшему моему удовольствию, спокойно, без бреду и без стонов. На меня напало раздумье; Наташа не только могла, не зная, в чем дело, рассердиться на меня за то, что я не приходил к ней сегодня, но даже, думал я, наверно будет огорчена моим невниманием именно в такое время, когда, может быть, я ей наиболее нужен. У нее даже наверно могли случиться теперь какие-нибудь хлопоты, какое-нибудь дело препоручить мне, а меня, как нарочно, и нет.

Что же касается до Анны Андреевны, то я совершенно не знал, как завтра отговорюсь перед нею. Я думал-думал и вдруг решился сбегать и туда и сюда. Все мое отсутствие могло продолжаться всего только два часа. Елена же спит и не услышит, как я схожу. Я вскочил, накинул пальто, взял фуражку, но только было хотел уйти, как вдруг Елена позвала меня. Я удивился: неужели ж она притворялась, что спит?

Замечу кстати: хоть Елена и показывала вид, что как будто не хочет говорить со мною, но эти оклики, довольно частые, эта потребность обращаться ко мне со всеми недоумениями, доказывали противное и, признаюсь, были мне даже приятны.

— Куда вы хотите отдать меня? — спросила она, когда я к ней подошел. Вообще она задавала свои вопросы как-то вдруг, совсем для меня неожиданно. В этот раз я даже не сейчас ее понял.

— Давеча вы говорили с вашим знакомым, что хотите отдать меня в какой-то дом. Я никуда не хочу.

Я нагнулся к ней: она была опять вся в жару; с ней был опять лихорадочный кризис. Я начал утешать ее и обнадеживать; уверял ее, что если она хочет остаться у меня, то я никуда ее не отдам. Говоря это, я снял пальто и фуражку. Оставить ее одну в таком состоянии я не решился.

— Нет, ступайте! — сказала она, тотчас догадавшись, что я хочу остаться.— Я спать хочу; я сейчас засну.

— Да как же ты одна будешь?..— говорил я в недоумении.— Я, впрочем, наверно через два часа назад буду...

— Ну, и ступайте. А то целый год больна буду, так вам целый год из дому не уходить,— и она попробовала улыбнуться и как-то странно взглянула на меня, как будто борясь с каким-то добрым чувством, отозвавшимся в ее сердце. Бедняжка! Добренькое, нежное ее сердце выглядывало наружу, несмотря на всю ее нелюдимость и видимое ожесточение.

Сначала я сбегал к Анне Андреевне. Она ждала меня с лихорадочным нетерпением и встретила упреками; сама же была в страшном беспокойстве: Николай Сергеич сейчас после обеда ушел со двора, а куда — неизвестно. Я предчувствовал, что старушка не утерпела и рассказала ему все, по своему обыкновению, *намеками*. Она, впрочем, мне почти что призналась в этом

сама, говоря, что не могла утерпеть, чтоб не поделиться с ним такою радостью, но что Николай Сергеич стал, по ее собственному выражению, чернее тучи, ничего не сказал, «все молчал, даже на вопросы мои не отвечал», и вдруг после обеда собрался и был таков. Рассказывая это, Анна Андреевна чуть не дрожала от страху и умоляла меня подождать с ней вместе Николая Сергеича. Я отговорился и сказал ей почти наотрез, что, может быть, и завтра не приду и что я собственно потому и забежал теперь, чтобы об этом предуведомить. В этот раз мы чуть было не поссорились. Она заплакала; резко и горько упрекала меня, и только когда я уже выходил из двери, она вдруг бросилась ко мне на шею, крепко обняла меня обеими руками и сказала, чтоб я не сердился на нее, «сироту», и не принимал в обиду слов ее.

Наташу, против ожидания, я застал опять одну, и — странное дело, мне показалось, что она вовсе не так была мне в этот раз рада, как вчера и вообще в другие разы. Как будто я ей в чем-нибудь досадил или помешал. На мой вопрос: был ли сегодня Алеша? — она отвечала: разумеется, был, но недолго. Обещался сегодня вечером быть,— прибавила она, как бы в раздумье.

— А вчера вечером был?

— Н-нет. Его задержали,— прибавила она скороговоркой.— Ну, что, Ваня, как твои дела?

Я видел, что она хочет зачем-то замять наш разговор и свернуть на другое. Я оглядел ее пристальнее: она была видимо расстроена. Впрочем, заметив, что я пристально слежу за ней и в нее вглядываюсь, она вдруг быстро и как-то гневно взглянула на меня и с такою силою, что как будто обожгла меня взглядом. «У нее опять горе,— подумал я,— только она говорить мне не хочет».

В ответ на ее вопрос о моих делах я рассказал ей всю историю Елены, со всеми подробностями. Ее чрезвычайно заинтересовал и даже поразил мой рассказ.

— Боже мой! И ты мог ее оставить одну, больную! — вскричала она.

Я объяснил, что хотел было совсем не приходить к ней сегодня, но думал, что она на меня рассердится и что во мне могла быть какая-нибудь нужда.

— Нужда,— проговорила она про себя, что-то обдумывая,— нужда-то, пожалуй, есть в тебе, Ваня, но лучше уж в другой раз. Был у наших?

Я рассказал ей.

— Да; бог знает, как отец примет теперь все эти известия. А впрочем, что и принимать-то...

— Как что принимать? — спросил я,— такой переворот!

— Да уж так... Куда ж это он опять пошел? В тот раз вы

думали, что он ко мне ходил. Видишь, Ваня, если можешь, зайди ко мне завтра. Может быть, я кой-что и скажу тебе... Совестно мне только тебя беспокоить; а теперь шел бы ты домой к своей гостье. Небось часа два прошло, как ты вышел из дома?

— Прошло. Прощай, Наташа. Ну, а каков был сегодня с тобой Алеша?

— Да что Алеша, ничего... Удивляюсь даже твоему любопытству.

— До свидания, друг мой.

— Прощай.— Она подала мне руку как-то небрежно и отвернулась от моего последнего прощального взгляда. Я вышел от нее несколько удивленный. «А впрочем,— подумал я,— есть же ей об чем и задуматься. Дела не шуточные. А завтра все первая же мне и расскажет».

Возвратился я домой грустный и был страшно поражен, только что вошел в дверь. Было уже темно. Я разглядел, что Елена сидит на диване, опустив на грудь голову, как будто в глубокой задумчивости. На меня она и не взглянула, точно была в забытьи. Я подошел к ней; она что-то шептала про себя. «Уж не в бреду ли?» — подумал я.

— Елена, друг мой, что́ с тобой? — спросил я, садясь подле нее и охватив ее рукою.

— Я хочу отсюда... Я лучше хочу к ней,— проговорила она, не подымая ко мне головы.

— Куда? К кому? — спросил я в удивле́нии.

— К ней, к Бубновой. Она все говорит, что я ей должна много денег, что она маменьку на свои деньги похоронила... Я не хочу, чтобы она бранила маменьку, я хочу у ней работать и все ей заработаю... Тогда от нее сама и уйду. А теперь я опять к ней пойду.

— Успокойся, Елена, к ней нельзя,— говорил я.— Она тебя замучает; она тебя погубит...

— Пусть погубит, пусть мучает,— с жаром подхватила Елена,— не я первая; другие и лучше меня, да мучаются. Это мне нищая на улице говорила. Я бедная и хочу быть бедная. Всю жизнь буду бедная; так мне мать велела, когда умирала. Я работать буду... Я не хочу это платье носить...

— Я завтра же тебе куплю другое. Я и книжки твои тебе принесу. Ты будешь у меня жить. Я тебя никому не отдам, если сама не захочешь; успокойся...

— Я в работницы наймусь.

— Хорошо, хорошо! Только успокойся, ляг, засни!

Но бедная девочка залилась слезами. Мало-помалу слезы ее обратились в рыдания. Я не знал, что с ней делать; подносил ей воды, мочил ей виски, голову. Наконец она упала на диван в совершенном изнеможении, и с ней опять начался лихорадоч-

ный озноб. Я окутал ее, чем нашлось, и она заснула, но беспокойно, поминутно вздрагивая и просыпаясь. Хоть я и не много ходил в этот день, но устал ужасно и рассудил сам лечь как можно раньше. Мучительные заботы роились в моей голове. Я предчувствовал, что с этой девочкой мне будет много хлопот. Но более всего заботила меня Наташа и ее дела. Вообще, вспоминаю теперь, я редко был в таком тяжелом расположении духа, как засыпая в эту несчастную ночь.

Глава IX

Проснулся я больной, поздно, часов в десять утра. У меня кружилась и болела голова. Я взглянул на постель Елены: постель была пуста. В то же время из правой моей комнатки долетали до меня какие-то звуки, как будто кто-то шуркал по полу веником. Я вышел посмотреть. Елена, держа в руке веник и придерживая другой рукой свое нарядное платьице, которое она еще и не снимала с того самого вечера, мела пол. Дрова, приготовленные в печку, были сложены в уголку; со стола стерто, чайник вычищен; одним словом, Елена хозяйничала.

— Послушай, Елена,— закричал я,— кто же тебя заставляет пол мести? Я этого не хочу, ты больна; разве ты в работницы пришла ко мне?

— Кто ж будет здесь пол мести? — отвечала она, выпрямляясь и прямо смотря на меня.— Теперь я не больна.

— Но я не для работы взял тебя, Елена. Ты как будто боишься, что я буду попрекать тебя, как Бубнова, что ты у меня даром живешь? И откуда ты взяла этот гадкий веник? У меня не было веника,— прибавил я, смотря на нее с удивлением.

— Это мой веник. Я его сама сюда принесла. Я и дедушке здесь пол мела. А веник вот тут, под печкой с того времени и лежал.

Я воротился в комнату в раздумье. Могло быть, что я грешил; но мне именно казалось, что ей как будто тяжело было мое гостеприимство и что она всячески хотела доказать мне, что живет у меня не даром. «В таком случае какой же это озлобленный характер?» — подумал я. Минуты две спустя вошла и она и молча села на свое вчерашнее место на диване, пытливо на меня поглядывая. Между тем я вскипятил чайник, заварил чай, налил ей чашку и подал с куском белого хлеба. Она взяла молча и беспрекословно. Целые сутки она почти ничего не ела.

— Вот и платьице хорошенькое запачкала веником,— сказал я, заметив большую грязную полосу на подоле ее юбки.

Она осмотрелась и вдруг, к величайшему моему удивлению, отставила чашку, ущипнула обеими руками, по-видимому хладно-

кровно и тихо, кисейное полотнище юбки и одним взмахом разорвала его сверху донизу. Сделав это, она молча подняла на меня свой упорный, сверкающий взгляд. Лицо ее было бледно.

— Что ты делаешь, Елена? — закричал я, уверенный, что вижу перед собою сумасшедшую.

— Это нехорошее платье,— проговорила она, почти задыхаясь от волнения.— Зачем вы сказали, что это хорошее платье? Я не хочу его носить,— вскричала она вдруг, вскочив с места.— Я его изорву. Я не просила ее рядить меня. Она меня нарядила сама, насильно. Я уж разорвала одно платье, разорву и это, разорву! Разорву! Разорву!..

И она с яростию накинулась на свое несчастное платьице. В один миг она изорвала его чуть не в клочки. Когда она кончила, она была так бледна, что едва стояла на месте. Я с удивлением смотрел на такое ожесточение. Она же смотрела на меня каким-то вызывающим взглядом, как будто и я был тоже в чем-нибудь виноват перед нею. Но я уже знал, что мне делать.

Я положил, не откладывая, сегодня же утром купить ей новое платье. На это дикое, ожесточенное существо нужно было действовать добротой. Она смотрела так, как будто никогда и не видывала добрых людей. Если она уж раз, несмотря на жестокое наказание, изорвала в клочки свое первое, такое же платье, то с каким же ожесточением она должна была смотреть на него теперь, когда оно напоминало ей такую ужасную недавнюю минуту.

На Толкучем можно было очень дешево купить хорошенькое и простенькое платьице. Беда была в том, что у меня в ту минуту почти совсем не было денег. Но я еще накануне, ложась спать, решил отправиться сегодня в одно место, где была надежда достать их, и как раз приходилось идти в ту самую сторону, где Толкучий. Я взял шляпу. Елена пристально следила за мной, как будто чего-то ждала.

— Вы опять запрете меня? — спросила она, когда я взялся за ключ, чтоб запереть за собой квартиру, как вчера и третьего дня.

— Друг мой,— сказал я, подходя к ней,— не сердись за это. Я потому запираю, что может кто-нибудь прийти. Ты же больная, пожалуй испугаешься. Да и бог знает, кто еще придет; может быть, Бубнова вздумает прийти...

Я нарочно сказал ей это. Я запирал ее, потому что не доверял ей. Мне казалось, что она вдруг вздумает уйти от меня. До времени я решился быть осторожнее. Елена промолчала, и я таки запер ее и в этот раз.

Я знал одного антрепренера, издававшего уже третий год одну многотомную книгу. У него я часто доставал работу, когда нужно было поскорей заработать сколько-нибудь денег. Платил он исправно. Я отправился к нему, и мне удалось получить

двадцать пять рублей вперед, с обязательством доставить через неделю компилятивную статью. Но я надеялся выгадать время на моем романе. Это я часто делал, когда приходила крайняя нужда.

Добыв денег, я отправился на Толкучий. Там скоро я отыскал знакомую мне старушку торговку, продававшую всякое тряпье. Я ей рассказал примерно рост Елены, и она мигом выбрала мне светленькое ситцевое, совершенно крепкое и не более одного раза мытое платьице за чрезвычайно дешевую цену. Кстати уж я захватил и шейный платочек. Расплачиваясь, я подумал, что надо же Елене какую-нибудь шубейку, мантильку или что-нибудь в этом роде. Погода стояла холодная, а у ней ровно ничего не было. Но я отложил эту покупку до другого раза. Елена была такая обидчивая, гордая. Господь знает, как примет она и это платье, несмотря на то, что я нарочно выбирал как можно проще и неказистее, самое буднишнее, какое только можно было выбрать. Впрочем, я все-таки купил две пары чулок нитяных и одни шерстяные. Это я мог отдать ей под предлогом того, что она больна, а в комнате холодно. Ей надо было тоже белья. Но все это я оставил до тех пор, пока поближе с ней познакомлюсь. Зато я купил старые занавески к кроватям — вещь необходимую и которая могла принесть Елене большое удовольствие.

Со всем этим я воротился домой уже в час пополудни. Замок мой отпирался почти неслышно, так что Елена не сейчас услыхала, что я воротился. Я заметил, что она стояла у стола и перебирала мои книги и бумаги. Услышав же меня, она быстро захлопнула книгу, которую читала, и отошла от стола вся покраснев. Я взглянул на эту книгу: это был мой первый роман, изданный отдельной книжкой и на заглавном листе которого выставлено было мое имя.

— А сюда кто-то без вас стучался,— сказала она таким тоном, как будто поддразнивая меня: зачем, дескать, запирал?

— Уж не доктор ли,— сказал я,— ты не окликнула его, Елена?

— Нет.

Я не отвечал, взял узелок, развязал его и вынул купленное платье.

— Вот, друг мой Елена,— сказал я, подходя к ней,— в таких клочьях, как ты теперь, ходить нельзя. Я и купил тебе платье, буднишнее, самое дешевое, так что тебе нечего беспокоиться; оно всего рубль двадцать копеек стоит. Носи на здоровье.

Я положил платье подле нее. Она вспыхнула и смотрела на меня некоторое время во все глаза.

Она была чрезвычайно удивлена, и вместе с тем мне показалось, ей было чего-то ужасно стыдно. Но что-то мягкое, нежное засветилось в глазах ее. Видя, что она молчит, я отвернулся

к столу. Поступок мой, видимо, поразил ее. Но она с усилием превозмогала себя и сидела, опустив глаза в землю.

Голова моя болела и кружилась все более и более. Свежий воздух не принес мне ни малейшей пользы. Между тем надо было идти к Наташе. Беспокойство мое об ней не уменьшалось со вчерашнего дня, напротив — возрастало все более и более. Вдруг мне показалось, что Елена меня окликнула. Я оборотился к ней.

— Вы, когда уходите, не запирайте меня,— проговорила она, смотря в сторону и пальчиком теребя на диване покромку, как будто бы вся была погружена в это занятие.— Я от вас никуда не уйду.

— Хорошо, Елена, я согласен. Но если кто-нибудь придет чужой? Пожалуй, еще бог знает кто?

— Так оставьте ключ мне, я и запрусь изнутри; а будут стучать, я и скажу: нет дома.— И она с лукавством посмотрела на меня, как бы приговаривая: «Вот ведь как это просто делается!»

— Вам кто белье моет? — спросила она вдруг, прежде чем я успел ей отвечать что-нибудь.

— Здесь, в этом доме, есть женщина.

— Я умею мыть белье. А где вы кушанье вчера взяли?

— В трактире.

— Я и стряпать умею. Я вам кушанье буду готовить.

— Полно, Елена; ну что ты можешь уметь стряпать? Все это ты не к делу говоришь...

Елена замолчала и потупилась. Ее, видимо, огорчило мое замечание. Прошло по крайней мере минут десять; мы оба молчали.

— Суп,— сказала она вдруг, не поднимая головы.

— Как суп? Какой суп? — спросил я, удивляясь.

— Суп умею готовить. Я для маменьки готовила, когда она была больна. Я и на рынок ходила.

— Вот видишь, Елена, вот видишь, какая ты гордая,— сказал я, подходя к ней и садясь с ней на диван рядом.— Я с тобой поступаю, как мне велит мое сердце. Ты теперь одна, без родных, несчастная. Я тебе помочь хочу. Так же бы и ты мне помогла, когда бы мне было худо. Но ты не хочешь так рассудить, и вот тебе тяжело от меня самый простой подарок принять. Ты тотчас же хочешь за него заплатить, заработать, как будто я Бубнова и тебя попрекаю. Если так, то это стыдно, Елена.

Она не отвечала, губы ее вздрагивали. Кажется, ей хотелось что-то сказать мне; но она скрепилась и смолчала. Я встал, чтоб идти к Наташе. В этот раз я оставил Елене ключ, прося ее, если кто придет и будет стучаться, окликнуть и спросить: кто такой? Я совершенно был уверен, что с Наташей случилось что-нибудь

очень нехорошее, а что она до времени таит от меня, как это и не раз бывало между нами. Во всяком случае, я решился зайти к ней только на одну минутку, иначе я мог раздражить ее моею назойливостью.

Так и случилось. Она опять встретила меня недовольным, жестким взглядом. Надо было тотчас же уйти; а у меня ноги подкашивались.

— Я к тебе на минутку, Наташа,— начал я,— посоветоваться: что мне делать с моей гостьей? — И я начал поскорей рассказывать все про Елену. Наташа выслушала меня молча.

— Не знаю, что тебе посоветовать, Ваня,— отвечала она.— По всему видно, что это престранное существо. Может быть, она была очень обижена, очень напугана. Дай ей, по крайней мере, выздороветь. Ты ее хочешь к нашим?

— Она все говорит, что никуда от меня не пойдет. Да и бог знает, как там ее примут, так что я и не знаю. Ну что, друг мой, как ты? Ты вчера была как будто нездорова! — спросил я ее робея.

— Да... у меня и сегодня что-то голова болит,— отвечала она рассеянно.— Не видал ли кого из наших?

— Нет. Завтра схожу. Ведь вот завтра суббота...

— Так что же?

— Вечером будет князь...

— Так что же? Я не забыла.

— Нет, я ведь только так...

Она остановилась прямо передо мной и долго и пристально посмотрела мне в глаза. В ее взгляде была какая-то решимость, какое-то упорство; что-то лихорадочное, горячечное.

— Знаешь что, Ваня,— сказала она,— будь добр, уйди от меня, ты мне очень мешаешь...

Я встал с кресел и с невыразимым удивлением смотрел на нее.

— Друг мой, Наташа! Что с тобой? Что случилось? — вскричал я в испуге.

— Ничего не случилось! Все, все завтра узнаешь, а теперь я хочу быть одна. Слышишь, Ваня: уходи сейчас. Мне так тяжело, так тяжело смотреть на тебя!

— Но скажи мне по крайней мере...

— Все, все завтра узнаешь! О боже мой! Да уйдешь ли ты?

Я вышел. Я был так поражен, что едва помнил себя. Мавра выскочила за мной в сени.

— Что, сердится? — спросила она меня.— Я уж и подступиться к ней боюсь.

— Да что с ней такое?

— А то, что *наш*-то третий день носу к нам не показывал!

— Как третий день? — спросил я в изумлении,— да она

сама вчера говорила, что он вчера утром был да еще вчера вечером хотел приехать...

— Какое вечером! Он и утром совсем не был! Говорю тебе, с третьего дня глаз не кажет. Неужто сама вчера сказывала, что утром был?

— Сама говорила.

— Ну,— сказала Мавра в раздумье,— значит, больно ее задело, когда уж перед тобой признаться не хочет, что не был. Ну, молодец!

— Да что ж это такое! — вскричал я.

— А то такое, что и не знаю, что с ней делать,— продолжала Мавра, разводя руками.— Вчера еще было меня к нему посылала, да два раза с дороги воротила. А сегодня так уж и со мной говорить не хочет. Хоть бы ты его повидал. Я уж и отойти от нее не смею.

Я бросился вне себя вниз по лестнице.

— К вечеру-то будешь у нас? — закричала мне вслед Мавра.

— Там увидим,— отвечал я с дороги.— Я, может, только к тебе забегу и спрошу: что и как? Если только сам жив буду.

Я действительно почувствовал, что меня как будто что ударило в самое сердце.

Глава X

Я отправился прямо к Алеше. Он жил у отца в Малой Морской. У князя была довольно большая квартира, несмотря на то, что он жил один. Алеша занимал в этой квартире две прекрасные комнаты. Я очень редко бывал у него, до этого раза всего, кажется, однажды. Он же заходил ко мне чаще, особенно сначала, в первое время его связи с Наташей.

Его не было дома. Я прошел прямо в его половину и написал ему такую записку:

«Алеша, вы, кажется, сошли с ума. Так как вечером во вторник ваш отец сам просил Наташу сделать вам честь быть вашей женою, вы же этой просьбе были рады, чему я свидетелем, то, согласитесь сами, ваше поведение в настоящем случае несколько странно. Знаете ли, что вы делаете с Наташей? Во всяком случае, моя записка вам напомнит, что поведение ваше перед вашей будущей женою в высшей степени недостойно и легкомысленно. Я очень хорошо знаю, что не имею никакого права вам читать наставления, но не обращаю на это никакого внимания.

P. S. О письме этом она ничего не знает, и даже не она мне говорила про вас».

Я запечатал записку и оставил у него на столе. На вопрос

мой слуга отвечал, что Алексей Петрович почти совсем не бывает дома и что и теперь воротится не раньше как ночью, перед рассветом.

Я едва дошел домой. Голова моя кружилась, ноги слабели и дрожали. Дверь ко мне была отворена. У меня сидел Николай Сергеич Ихменев и дожидался меня. Он сидел у стола и молча, с удивлением смотрел на Елену, которая тоже с неменьшим удивлением его рассматривала, хотя упорно молчала. «То-то,— думал я,— она должна ему показаться странною».

— Вот, брат, целый час жду тебя и, признаюсь, никак не ожидал... тебя так найти,— продолжал он, осматриваясь в комнате и неприметно мигая мне на Елену. В глазах его изображалось изумление. Но, вглядевшись в него ближе, я заметил в нем тревогу и грусть. Лицо его было бледнее обыкновенного.

— Садись-ка, садись,— продолжал он с озабоченным и хлопотливым видом,— вот спешил к тебе, дело есть; да что с тобой? На тебе лица нет.

— Нездоровится. С самого утра кружится голова.

— Ну, смотри, этим нечего пренебрегать. Простудился, что ли?

— Нет, просто нервный припадок. У меня это иногда бывает. Да вы-то здоровы ли?

— Ничего, ничего! Это так, сгоряча. Есть дело. Садись.

Я придвинул стул и уселся лицом к нему у стола. Старик слегка нагнулся ко мне и начал полушепотом:

— Смотри не гляди на нее и показывай вид, как будто мы говорим о постороннем. Это что у тебя за гостья такая сидит?

— После вам все объясню, Николай Сергеич. Это бедная девочка, совершенная сирота, внучка того самого Смита, который здесь жил и умер в кондитерской.

— А, так у него была и внучка! Ну, братец, чудак же она! Как глядит, как глядит! Просто говорю: еще бы ты минут пять не пришел, я бы здесь не высидел. Насилу отперла и до сих пор ни слова; просто жутко с ней, на человеческое существо не похожа. Да как она здесь очутилась? А, понимаю, верно, к деду пришла, не зная, что он умер.

— Да. Она была очень несчастна. Старик, еще умирая, об ней вспоминал.

— Гм! каков дед такова и внучка. После все это мне расскажешь. Может быть, можно будет и помочь чем-нибудь, так чем-нибудь, коль уж она такая несчастная... Ну, а теперь нельзя ли, брат, ей сказать, чтоб она ушла, потому что поговорить с тобой надо серьезно.

— Да уйти-то ей некуда. Она здесь и живет.

Я объяснил старику, что мог, в двух словах, прибавив, что можно говорить и при ней, потому что она дитя.

— Ну да... конечно, дитя. Только ты, брат, меня ошеломил. С тобой живет, господи боже мой!

И старик в изумлении посмотрел на нее еще раз. Елена, чувствуя, что про нее говорят, сидела молча, потупив голову и щипала пальчиками покромку дивана. Она уже успела надеть на себя новое платьице, которое вышло ей совершенно впору. Волосы ее были приглажены тщательнее обыкновенного, может быть, по поводу нового платья. Вообще если б не странная дикость ее взгляда, то она была бы премиловидная девочка.

— Коротко и ясно, вот в чем, брат, дело,— начал опять старик,— длинное дело, важное дело...

Он сидел потупившись, с важным и соображающим видом и, несмотря на свою торопливость и на «коротко и ясно», не находил слов для начала речи. «Что-то будет?» — подумал я.

— Видишь, Ваня, пришел я к тебе с величайшей просьбой. Но прежде... так как я сам теперь соображаю, надо бы тебе объяснить некоторые обстоятельства... чрезвычайно щекотливые обстоятельства.

Он откашлянулся и мельком взглянул на меня; взглянул и покраснел; покраснел и рассердился на себя за свою ненаходчивость; рассердился и решился:

— Ну, да что тут еще объяснять! Сам понимаешь. Просто-запросто я вызываю князя на дуэль, а тебя прошу устроить это дело и быть моим секундантом.

Я отшатнулся на спинку стула и смотрел на него вне себя от изумления.

— Ну что смотришь! Я ведь не сошел с ума.

— Но, позвольте, Николай Сергеич! Какой же предлог, какая цель? И, наконец, как это можно...

— Предлог! Цель! — вскричал старик,— вот прекрасно!..

— Хорошо, хорошо, знаю, что вы скажете; но чему же вы поможете вашей выходкой! Какой выход представляет дуэль? Признаюсь, ничего не понимаю.

— Я так и думал, что ты ничего не поймешь. Слушай: тяжба наша кончилась (то есть кончится на днях; остаются только одни пустые формальности); я осужден. Я должен заплатить до десяти тысяч; так присудили. За них отвечает Ихменевка. Следственно, теперь уж этот подлый человек обеспечен в своих деньгах, а я, предоставив Ихменевку, заплатил и делаюсь человеком посторонним. Тут-то я и поднимаю голову. Так и так, почтеннейший князь, вы меня оскорбляли два года; вы позорили мое имя, честь моего семейства, и я должен был все это переносить! Я не мог тогда вас вызвать на поединок. Вы бы мне прямо сказали тогда: «А, хитрый человек, ты хочешь убить меня, чтоб не платить мне денег, которые, ты предчувствуешь, присудят тебя мне заплатить, рано ли, поздно ли! Нет, сначала посмотрим, как решится

тяжба, а потом вызывай». Теперь, почтенный князь, процесс решен, вы обеспечены, следовательно, нет никаких затруднений, и потому не угодно ли сюда, к барьеру*. Вот в чем дело. Что ж, по-твоему, я не вправе, наконец, отмстить за себя, за все, за все!

Глаза его сверкали. Я долго смотрел на него молча. Мне хотелось проникнуть в его тайную мысль.

— Послушайте, Николай Сергеич,— отвечал я наконец, решившись сказать главное слово, без которого мы бы не понимали друг друга.— Можете ли вы быть со мною совершенно откровенны?

— Могу,— отвечал он с твердостью.

— Скажите же прямо: одно ли чувство мщения побуждает вас к вызову или у вас в виду и другие цели?

— Ваня,— отвечал он,— ты знаешь, что я не позволяю никому в разговорах со мною касаться некоторых пунктов; но для теперешнего раза делаю исключение, потому что ты своим ясным умом тотчас же догадался, что обойти этот пункт невозможно. Да, у меня есть другая цель. Эта цель: спасти мою погибшую дочь и избавить ее от пагубного пути, на который ставят ее теперь последние обстоятельства.

— Но как же вы спасете ее этой дуэлью, вот вопрос?

— Помешав всему тому, что там теперь затевается. Слушай: не думай, что во мне говорит какая-нибудь там отцовская нежность и тому подобные слабости. Все это вздор! Внутренность сердца моего я никому не показываю. Не знаешь его и ты. Дочь оставила меня, ушла из моего дома с любовником, и я вырвал ее из моего сердца, вырвал раз навсегда, в тот самый вечер — помнишь? Если ты видел меня рыдающим над ее портретом, то из этого еще не следует, что я желаю простить ее. Я не простил и тогда. Я плакал о потерянном счастии, о тщетной мечте, но не о *ней*, как она теперь. Я, может быть, и часто плачу; я не стыжусь в этом признаться, так же как и не стыжусь признаться, что любил прежде дитя мое больше всего на свете. Все это, по-видимому, противоречит моей теперешней выходке. Ты можешь сказать мне: если так, если вы равнодушны к судьбе той, которую уже не считаете вашей дочерью, то для чего же вы вмешиваетесь в то, что там теперь затевается? Отвечаю: во-первых, для того, что не хочу дать восторжествовать низкому и коварному человеку, а во-вторых, из чувства самого обыкновенного человеколюбия. Если она мне уже не дочь, то она все-таки слабое, незащищенное и обманутое существо, которое обманывают еще больше, чтоб погубить окончательно. Ввязаться в дело прямо я не могу, а косвенно, дуэлью, могу. Если меня убьют или прольют мою кровь, неужели она перешагнет через наш барьер, а может быть, через мой труп и пойдет с сыном моего убийцы к венцу, как

дочь того царя (помнишь, у нас была книжка, по которой ты учился читать), которая переехала через труп своего отца в колеснице? Да и, наконец, если пойдет на дуэль, так князья-то наши и сами свадьбы не захотят. Одним словом, я не хочу этого брака и употреблю все усилия, чтоб его не было. Понял меня теперь?

— Нет. Если вы желаете Наташе добра, то каким образом вы решаетесь помешать ее браку, то есть именно тому, что может восстановить ее доброе имя? Ведь ей еще долго жить на свете; ей нужно доброе имя.

— А плевать на все светские мнения, вот как она должна думать! Она должна сознать, что главнейший позор заключается для нее в этом браке, именно в связи с этими подлыми людьми, с этим жалким светом. Благородная гордость — вот ответ ее свету. Тогда,— может быть, и я соглашусь протянуть ей руку, и увидим, кто тогда осмелится опозорить дитя мое!

Такой отчаянный идеализм изумил меня. Но я тотчас догадался, что он был сам не в себе и говорил сгоряча.

— Это слишком идеально,— отвечал я ему,— следственно, жестоко. Вы требуете от нее силы, которой, может быть, вы не дали ей при рождении. И разве она соглашается на брак потому, что хочет быть княгиней? Ведь она любит; ведь это страсть, это фатум. И наконец: вы требуете от нее презрения к светскому мнению, а сами перед ним преклоняетесь. Князь вас обидел, публично заподозрил вас в низком побуждении обманом породниться с его княжеским домом, и вот вы теперь рассуждаете: если она сама откажет им теперь, после формального предложения с их стороны, то, разумеется, это будет самым полным и явным опровержением прежней клеветы. Вот вы чего добиваетесь, вы преклоняетесь перед мнением самого князя, вы добиваетесь, чтоб он сам сознался в своей ошибке. Вас тянет осмеять его, отмстить ему, и для этого вы жертвуете счастьем дочери. Разве это не эгоизм?

Старик сидел мрачный и нахмуренный и долго не отвечал ни слова.

— Ты несправедлив ко мне, Ваня,— проговорил он наконец, и слеза заблистала на его ресницах,— клянусь тебе, несправедлив, но оставим это! Я не могу выворотить перед тобой мое сердце,— продолжал он, приподнимаясь и берясь за шляпу,— одно скажу: ты заговорил сейчас о счастье дочери. Я решительно и буквально не верю этому счастью, кроме того, что этот брак и без моего вмешательства никогда не состоится.

— Как так! Почему вы думаете? Вы, может быть, знаете что-нибудь? — вскричал я с любопытством.

— Нет, особенного ничего не знаю. Но эта проклятая лисица не могла решиться на такое дело. Все это вздор, одни козни.

Я уверен в этом, и помяни мое слово, что так и сбудется. Во-вторых: если б этот брак и сбылся, то есть в таком только случае, если у того подлеца есть свой особый, таинственный, никому не известный расчет, по которому этот брак ему выгоден,— расчет, которого я решительно не понимаю, то реши сам, спроси свое собственное сердце: будет ли она счастлива в этом браке? Попреки, унижения, подруга мальчишки, который уж и теперь тяготится ее любовью, а как женится — тотчас же начнет ее не уважать, обижать, унижать; в то же время сила страсти с ее стороны, по мере охлаждения с другой; ревность, муки, ад, развод, может быть, само преступление... нет, Ваня! Если вы там это стряпаете, а ты еще помогаешь, то, предрекаю тебе, дашь ответ богу, но уж будет поздно! Прощай!

Я остановил его.

— Послушайте, Николай Сергеич, решим так: подождем. Будьте уверены, что не одни глаза смотрят за этим делом, и, может быть, оно разрешится самым лучшим образом, само собою, без насильственных и искуственных разрешений, как, например, эта дуэль. Время — самый лучший разрешитель! А наконец, позвольте вам сказать, что весь ваш проект совершенно невозможен. Неужели ж вы могли хоть одну минуту думать, что князь примет ваш вызов?

— Как не примет? Что ты, опомнись!

— Клянусь вам, не примет, и поверьте, что найдет отговорку совершенно достаточную; сделает все это с педантскою важностью, а между тем вы будете совершенно осмеяны...

— Помилуй, братец, помилуй! Ты меня просто сразил после этого! Да как же это он не примет? Нет, Ваня, ты просто какой-то поэт; именно, настоящий поэт! Да что ж, по-твоему, неприлично, что ль, со мной драться? Я не хуже его. Я старик, оскорбленный отец; ты — русский литератор, и потому лицо тоже почетное, можешь быть секундантом и... и... Я уж и не понимаю, чего ж тебе еще надобно...

— Вот увидите. Он такие предлоги подведет, что вы сами, вы, первый, найдете, что вам с ним драться — в высшей степени невозможно.

— Гм... хорошо, друг мой, пусть будет по-твоему! Я пережду, до известного времени, разумеется. Посмотрим, что сделает время. Но вот что, друг мой: дай мне честное слово, что ни там, ни Анне Андреевне ты не объявишь нашего разговора?

— Даю.

— Второе, Ваня, сделай милость, не начинай больше никогда со мной говорить об этом.

— Хорошо, даю слово.

— И, наконец, еще просьба: я знаю, мой милый, тебе у нас, может быть, и скучно, но ходи к нам почаще, если только

можешь. Моя бедная Анна Андреевна так тебя любит и... и... так без тебя скучает... понимаешь, Ваня?

И он крепко сжал мою руку. Я от всего сердца дал ему обещание.

— А теперь, Ваня, последнее щекотливое дело: есть у тебя деньги?

— Деньги! — повторил я с удивлением.

— Да (и старик покраснел и опустил глаза); смотрю я, брат, на твою квартиру... на твои обстоятельства... и как подумаю, что у тебя могут быть другие экстренные траты (и именно теперь могут быть), то... вот, брат, сто пятьдесят рублей, на первый случай...

— Сто пятьдесят, да еще на *первый случай*, тогда как вы сами проиграли тяжбу!

— Ваня, ты, как я вижу, меня совсем не понимаешь! Могут быть *экстренные* надобности, пойми это. В иных случаях деньги способствуют независимости положения, независимости решения. Может быть, тебе теперь и не нужно, но не надо ль на что-нибудь в будущем? Во всяком случае, я у тебя их оставлю. Это все, что я мог собрать. Не истратишь, так воротишь. А теперь прощай! Боже мой, какой ты бледный! Да ты весь больной...

Я не возражал и взял деньги. Слишком ясно было, на что он их оставлял у меня.

— Я едва стою на ногах,— отвечал я ему.

— Не пренебрегай этим, Ваня, голубчик, не пренебрегай! Сегодня никуда не ходи. Анне Андреевне так и скажу, в каком ты положении. Не надо ли доктора? Завтра навещу тебя; по крайней мере всеми силами постараюсь, если только сам буду ноги таскать. А теперь лег бы ты... Ну, прощай. Прощай, девочка; отворотилась! Слушай, друг мой! Вот еще пять рублей; это девочке. Ты, впрочем, ей не говори, что я дал, а так, просто истрать на нее, ну там башмачонки какие-нибудь, белье... мало ль что понадобится! Прощай, друг мой...

Я проводил его до ворот. Мне нужно было попросить дворника сходить за кушаньем. Елена до сих пор не обедала...

Глава XI

Но только что я воротился к себе, голова моя закружилась, и я упал посреди комнаты. Помню только крик Елены: она всплеснула руками и бросилась ко мне поддержать меня. Это было последнее мгновение, уцелевшее в моей памяти...

Помню потом себя уже на постели. Елена рассказывала мне впоследствии, что она вместе с дворником, принесшим в это время нам кушанье, перенесла меня на диван. Несколько раз я

просыпался и каждый раз видел склонившееся надо мной сострадательное, заботливое личико Елены. Но все это я помню как сквозь сон, как в тумане, и милый образ бедной девочки мелькал передо мной среди забытья, как виденье, как картинка; она подносила мне пить, оправляла меня на постели или сидела передо мной, грустная, испуганная, и приглаживала своими пальчиками мои волосы. Один раз вспоминаю ее тихий поцелуй на моем лице. В другой раз, вдруг очнувшись ночью, при свете нагоревшей свечи, стоявшей передо мной на придвинутом к дивану столике, я увидел, что Елена прилегла лицом на мою подушку и пугливо спала, полураскрыв свои бледные губки и приложив ладонь к своей теплой щечке. Но очнулся я хорошо уже только рано утром. Свеча догорела вся; яркий, розовый луч начинавшейся зари уже играл на стене. Елена сидела на стуле перед столом и, склонив свою усталую головку на левую руку, улегшуюся на столе, крепко спала, и, помню, я загляделся на ее детское личико, полное и во сне как-то не детски грустного выражения и какой-то странной, болезненной красоты; бледное, с длинными ресницами на худеньких щеках, обрамленное черными как смоль волосами, густо и тяжело ниспадавшими небрежно завязанным узлом на сторону. Другая рука ее лежала на моей подушке. Я тихо-тихо поцеловал эту худенькую ручку, но бедное дитя не проснулось, только как будто улыбка проскользнула на ее бледных губках. Я смотрел-смотрел на нее и тихо заснул покойным, целительным сном. В этот раз я проспал чуть не до полудня. Проснувшись, я почувствовал себя почти выздоровевшим. Только слабость и тягость во всех членах свидетельствовали о недавней болезни. Подобные нервные и быстрые припадки бывали со мною и прежде; я знал их хорошо. Болезнь обыкновенно почти совсем проходила в сутки, что, впрочем, не мешало ей действовать в эти сутки сурово и круто.

Был уже почти полдень. Первое, что я увидел, это протянутые в углу, на снурке, занавесы, купленные мною вчера. Распорядилась Елена и отмежевала себе в комнате особый уголок. Она сидела перед печкой и кипятила чайник. Заметив, что я проснулся, она весело улыбнулась и тотчас же подошла ко мне.

— Друг ты мой,— сказал я, взяв ее за руку,— ты целую ночь за мной смотрела. Я не знал, что ты такая добрая.

— А вы почему знаете, что я за вами смотрела; может быть, я всю ночь проспала? — спросила она, смотря на меня с добродушным и стыдливым лукавством и в то же время застенчиво краснея от своих слов.

— Я просыпался и видел все. Ты заснула только перед рассветом...

— Хотите чаю? — перебила она, как бы затрудняясь продолжать этот разговор, что бывает со всеми целомудренными

и сурово честными сердцами, когда об них им же заговорят с похвалою.

— Хочу,— отвечал я.— Но обедала ли ты вчера?

— Не обедала, а ужинала. Дворник принес. Вы, впрочем, не разговаривайте, а лежите покойно: вы еще не совсем здоровы,— прибавила она, поднося мне чаю и садясь на мою постель.

— Какое лежите! До сумерек, впрочем, буду лежать, а там пойду со двора. Непременно надо, Леночка.

— Ну, уж и надо! К кому вы пойдете? Уж не к вчерашнему ли гостю?

— Нет, не к нему.

— Вот и хорошо, что не к нему. Это он вас расстроил вчера. Так к его дочери?

— А ты почему знаешь про его дочь?

— Я все вчера слышала,— отвечала она, потупившись.

Лицо ее нахмурилось. Брови сдвинулись над глазами.

— Он дурной старик,— прибавила она потом.

— Разве ты знаешь его? Напротив, он очень добрый человек.

— Нет, нет; он злой; я слышала,— отвечала она с увлечением.

— Да что же ты слышала?

— Он свою дочь не хочет простить...

— Но он любит ее. Она перед ним виновата, а он об ней заботится, мучается.

— А зачем не прощает? Теперь, как простит, дочь и не шла бы к нему.

— Как так? Почему же?

— Потому что он не стоит, чтоб его дочь любила,— отвечала она с жаром.— Пусть она уйдет от него навсегда и лучше пусть милостыню просит, а он пусть видит, что дочь просит милостыню, да мучается.

Глаза ее сверкали, щечки загорелись. «Верно, она неспроста так говорит»,— подумал я про себя.

— Это вы меня к нему-то в дом хотели отдать? — прибавила она, помолчав.

— Да, Елена.

— Нет, я лучше в служанки наймусь.

— Ах, как не хорошо это все, что ты говоришь, Леночка. И какой вздор: ну к кому ты можешь наняться?

— Ко всякому мужику,— нетерпеливо отвечала она, все более и более потупляясь. Она была приметно вспыльчива.

— Да мужику и не надо такой работницы,— сказал я усмехаясь.

— Ну к господам.

— С твоим ли характером жить у господ?

— С моим.— Чем более раздражалась она, тем отрывистее отвечала.

— Да ты не выдержишь.

— Выдержу. Меня будут бранить, а я буду нарочно молчать. Меня будут бить, а я буду все молчать, все молчать, пусть бьют, ни за что не запла́чу. Им же хуже будет от злости, что я не пла́чу.

— Что ты, Елена! Сколько в тебе озлобления; и гордая ты какая! Много, знать, ты видала горя...

Я встал и подошел к моему большому столу. Елена осталась на диване, задумчиво смотря в землю, и пальчиками щипала покромку. Она молчала. «Рассердилась, что ли, она на мои слова?» — думал я.

Стоя у стола, я машинально развернул вчерашние книги, взятые мною для компиляции, и мало-помалу завлекся чтением. Со мной это часто случается: подойду, разверну книгу на минутку справиться и зачитаюсь так, что забуду все.

— Что вы тут все пишете? — с робкой улыбкой спросила Елена, тихонько подойдя к столу.

— А так, Леночка, всякую вс̀ячину. За это мне деньги дают.

— Просьбы?

— Нет, не просьбы.— И я объяснил ей сколько мог, что описываю разные истории про разных людей: из этого выходят книги, которые называются повестями и романами. Она слушала с большим любопытством.

— Что же, вы тут все правду описываете?

— Нет, выдумываю.

— Зачем же вы неправду пишете?

— А вот прочти, вот видишь, вот эту книжку; ты уж раз ее смотрела. Ты ведь умеешь читать?

— Умею.

— Ну вот и увидишь. Эту книжку я написал.

— Вы? прочту...

Ей что-то очень хотелось мне сказать, но она, очевидно, затруднялась и была в большом волнении. Под ее вопросами что-то крылось.

— А вам много за это платят? — спросила она наконец.

— Да как случится. Иногда много, а иногда и ничего нет, потому что работа не работается. Эта работа трудная, Леночка.

— Так вы не богатый?

— Нет, не богатый.

— Так я буду работать и вам помогать...

Она быстро взглянула на меня, вспыхнула, опустила глаза и, ступив ко мне два шага, вдруг обхватила меня обеими руками, а лицом крепко-крепко прижалась к моей груди. Я с изумлением смотрел на нее.

— Я вас люблю... я не гордая,— проговорила она.— Вы сказали вчера, что я гордая. Нет, нет... я не такая... я вас люблю. Вы только один меня любите...

Но уже слезы задушали ее. Минуту спустя они вырвались из ее груди с такою силою, как вчера во время припадка. Она упала передо мной на колени, целовала мои руки, ноги...

— Вы любите меня!..— повторяла она,— вы только один, один!..

Она судорожно сжимала мои колени своими руками. Все чувство ее, сдерживаемое столько времени, вдруг разом вырвалось наружу в неудержимом порыве, и мне стало понятно это странное упорство сердца, целомудренно таящего себя до времени и тем упорнее, тем суровее, чем сильнее потребность излить себя, высказаться, и все это до того неизбежного порыва, когда все существо вдруг до самозабвения отдается этой потребности любви, благодарности, ласкам, слезам...

Она рыдала до того, что с ней сделалась истерика. Насилу я развел ее руки, обхватившие меня. Я поднял ее и отнес на диван. Долго еще она рыдала, укрыв лицо в подушки, как будто стыдясь смотреть на меня, но крепко стиснув мою руку в своей маленькой ручке и не отнимая ее от своего сердца.

Мало-помалу она утихла, но все еще не подымала ко мне своего лица. Раза два, мельком, ее глаза скользнули по моему лицу, и в них было столько мягкости и какого-то пугливого и снова прятавшегося чувства. Наконец она покраснела и улыбнулась.

— Легче ли тебе? — спросил я,— чувствительная ты моя Леночка, больное ты мое дитя?

— Не Леночка, нет...— прошептала она, все еще пряча от меня свое личико.

— Не Леночка? Как же?

— Нелли.

— Нелли? Почему же непременно Нелли? Пожалуй, это очень хорошенькое имя. Так я тебя и буду звать, коли ты сама хочешь.

— Так меня мамаша звала... И никто так меня не звал, никогда, кроме нее... И я не хотела сама, чтоб меня кто звал так, кроме мамаши... А вы зовите; я хочу... Я вас буду всегда любить, всегда любить...

«Любящее и гордое сердечко,— подумал я,— а как долго надо мне было заслужить, чтоб ты для меня стала... Нелли». Но теперь я уже знал, что ее сердце предано мне навеки.

— Нелли, послушай,— спросил я, как только она успокоилась.— Ты вот говоришь, что тебя любила только одна мамаша и никто больше. А разве твой дедушка и вправду не любил тебя?

— Не любил...

— А ведь ты плакала здесь о нем, помнишь, на лестнице?

Она на минуту задумалась.

— Нет, не любил... Он был злой.— И какое-то больное чувство выдавилось на ее лице.

— Да ведь с него нельзя было и спрашивать, Нелли. Он, кажется, совсем уже выжил из ума. Он и умер как безумный. Ведь я тебе рассказывал, как он умер.

— Да; но он только в последний месяц стал совсем забываться. Сидит, бывало, здесь целый день, и если б я не приходила к нему, он бы и другой, и третий день так сидел, не пивши, не евши. А прежде он был гораздо лучше.

— Когда же прежде?

— Когда еще мамаша не умирала.

— Стало быть, это ты ему приносила пить и есть, Нелли?

— Да, и я приносила.

— Где ж ты брала, у Бубновой?

— Нет, я никогда ничего не брала у Бубновой,— настойчиво проговорила она каким-то вздрогнувшим голосом.

— Где же ты брала, ведь у тебя ничего не было?

Нелли помолчала и страшно побледнела; потом долгим-долгим взглядом посмотрела на меня.

— Я на улицу милостыню ходила просить... Напрошу пять копеек и куплю ему хлеба и табаку нюхального...

— И он позволял! Нелли! Нелли!

— Я сначала сама пошла и ему не сказала. А он, как узнал, потом уж сам стал меня прогонять просить. Я стою на мосту, прошу у прохожих, а он ходит около моста, дожидается; и как увидит, что мне дали, так и бросится на меня и отнимет деньги, точно я утаить от него хочу, не для него собираю.

Говоря это, она улыбнулась какою-то едкою, горькою улыбкою.

— Это все было, когда мамаша умерла,— прибавила она.— Тут он уж совсем стал как безумный.

— Стало быть, он очень любил твою мамашу? Как же он не жил с нею?

— Нет, не любил... Он был злой и ее не прощал... как вчерашний злой старик,— проговорила она тихо, совсем почти шепотом и бледнея все больше и больше.

Я вздрогнул. Завязка целого романа так и блеснула в моем воображении. Эта бедная женщина, умирающая в подвале у гробовщика, сиротка дочь ее, навещавшая изредка дедушку, проклявшего ее мать; обезумевший чудак старик, умирающий в кондитерской после смерти своей собаки!..

— А ведь Азорка-то был прежде маменькин,— сказала вдруг Нелли, улыбаясь какому-то воспоминанию.— Дедушка очень любил прежде маменьку, и когда мамаша ушла от него, у него и

остался мамашин Азорка. Оттого-то он и любил так Азорку... Мамашу не простил, а когда собака умерла, так сам умер,— сурово прибавила Нелли, и улыбка исчезла с лица ее.

— Нелли, кто ж он был такой прежде? — спросил я, подождав немного.

— Он был прежде богатый... Я не знаю, кто он был,— отвечала она.— У него был какой-то завод... Так мамаша мне говорила. Она сначала думала, что я маленькая, и всего мне не говорила. Все, бывало, целует меня, а сама говорит: все узнаешь; придет время, узнаешь, бедная, несчастная! И все меня бедной и несчастной звала. И когда ночью, бывало, думает, что я сплю (а я нарочно, не сплю, притворюсь, что сплю), она все плачет надо мной, целует меня и говорит: бедная, несчастная!

— Отчего же умерла твоя мамаша?

— От чахотки; теперь шесть недель будет.

— А ты помнишь, когда дедушка был богат?

— Да ведь я еще тогда не родилась. Мамаша еще прежде, чем я родилась, ушла от дедушки.

— С кем же ушла?

— Не знаю,— отвечала Нелли, тихо и как бы задумываясь.— Она за границу ушла, а я там и родилась.

— За границей? Где же?

— В Швейцарии. Я везде была, и в Италии была, и в Париже была.

Я удивился.

— И ты помнишь, Нелли?

— Многое помню.

— Как же ты так хорошо по-русски знаешь, Нелли?

— Мамаша меня еще и там учила по-русски. Она была русская, потому что ее мать была русская, а дедушка был англичанин, но тоже как русский. А как мы сюда с мамашей воротились полтора года назад, я и научилась совсем. Мамаша была уже тогда больная. Тут мы стали все беднее и беднее. Мамаша все плакала. Она сначала долго отыскивала здесь в Петербурге дедушку и все говорила, что перед ним виновата, и все плакала... Так плакала, так плакала! А как узнала, что дедушка бедный, то еще больше плакала. Она к нему и письма часто писала, он все не отвечал.

— Зачем же мамаша воротилась сюда? Только к отцу?

— Не знаю. А там нам так хорошо было жить,— и глаза Нелли засверкали.— Мамаша жила одна, со мной. У ней был один друг, добрый, как вы... Он ее еще здесь знал. Но он там умер, мамаша и воротилась...

— Так с ним-то мамаша твоя и ушла от дедушки?

— Нет, не с ним. Мамаша ушла с другим от дедушки, а тот ее и оставил...

— С кем же, Нелли?

Нелли взглянула на меня и ничего не отвечала. Она, очевидно, знала, с кем ушла ее мамаша и кто, вероятно, был и ее отец. Ей было тяжело даже и мне назвать его имя...

Я не хотел ее мучить расспросами. Это был характер странный, неровный и пылкий, но подавлявший в себе свои порывы; симпатичный, но замыкавшийся в гордость и недоступность. Все время, как я ее знал, она, несмотря на то, что любила меня всем сердцем своим, самою светлою и ясною любовью, почти наравне с своею умершею матерью, о которой даже не могла вспоминать без боли,— несмотря на то, она редко была со мной наружу и, кроме этого дня, редко чувствовала потребность говорить со мной о своем прошедшем; даже, напротив, как-то сурово таилась от меня. Но в этот день, в продолжение нескольких часов, среди мук и судорожных рыданий, прерывавших рассказ ее, она передала мне все, что наиболее волновало и мучило ее в ее воспоминаниях, и никогда не забуду я этого страшного рассказа. Но главная история ее еще впереди...

Это была страшная история; это история покинутой женщины, пережившей свое счастье; больной, измученной и оставленной всеми; отвергнутой последним существом, на которое она могла надеяться,— отцом своим, оскорбленным когда-то ею и, в свою очередь, выжившим из ума от нестерпимых страданий и унижений. Это история женщины, доведенной до отчаяния; ходившей с своею девочкой, которую она считала еще ребенком, по холодным, грязным петербургским улицам и просившей милостыню; женщины, умиравшей потом целые месяцы в сыром подвале и которой отец отказывал в прощении до последней минуты ее жизни и только в последнюю минуту опомнившийся и прибежавший простить ее, но уже заставший один холодный труп вместо той, которую любил больше всего на свете. Это был странный рассказ о таинственных, даже едва понятных отношениях выжившего из ума старика с его маленькой внучкой, уже понимавшей его, уже понимавшей, несмотря на свое детство, многое из того, до чего не развивается иной в целые годы своей обеспеченной и гладкой жизни. Мрачная это была история, одна из тех мрачных и мучительных историй, которые так часто и неприметно, почти таинственно, сбываются, под тяжелым петербургским небом, в темных, потаенных закоулках огромного города, среди взбалмошного кипения жизни, тупого эгоизма, сталкивающихся интересов, угрюмого разврата, сокровенных преступлений, среди всего этого кромешного ада бессмысленной и ненормальной жизни...

Но эта история еще впереди...

ЧАСТЬ ТРЕТЬЯ

Глава I

Давно уже наступили сумерки, настал вечер, и только тогда я очнулся от мрачного кошмара и вспомнил о настоящем.

— Нелли,— сказал я,— вот ты теперь больна, расстроена, а я должен тебя оставить одну, взволнованную и в слезах. Друг мой! Прости меня и узнай, что тут есть тоже одно любимое и непрощенное существо, несчастное, оскорбленное и покинутое. Она ждет меня. Да и меня самого влечет теперь после твоего

рассказа так, что я, кажется, не перенесу, если не увижу ее сейчас, сию минуту...

Не знаю, поняла ли Нелли все, что я ей говорил. Я был взволнован и от рассказа, и от недавней болезни; но я бросился к Наташе. Было уже поздно, час девятый, когда я вошел к ней.

Еще на улице, у ворот дома, в котором жила Наташа, я заметил коляску, и мне показалось, что это коляска князя. Вход к Наташе был со двора. Только что я стал входить на лестницу, я заслышал перед собой, одним всходом выше, человека, взбиравшегося ощупью, осторожно, очевидно незнакомого с местностью. Мне вообразилось, что это должен быть князь; но вскоре я стал разуверяться. Незнакомец, взбираясь наверх, ворчал и проклинал дорогу и все сильнее и энергичнее, чем выше он подымался. Конечно, лестница была узкая, грязная, крутая, никогда не освещенная; но таких ругательств, какие начались в третьем этаже, я бы никак не мог приписать князю: взбиравшийся господин ругался, как извозчик. Но с третьего этажа начался свет; у Наташиных дверей горел маленький фонарь. У самой двери я нагнал моего незнакомца, и каково же было мое изумление, когда я узнал в нем князя. Кажется, ему чрезвычайно было неприятно так нечаянно столкнуться со мною. Первое мгновение он не узнал меня; но вдруг все лицо его преобразилось. Первый, злобный и ненавистный взгляд его на меня сделался вдруг приветливым и веселым, и он с какою-то необыкновенною радостью протянул мне обе руки.

— Ах, это вы! А я только что хотел было стать на колена и молить бога о спасении моей жизни. Слышали, как я ругался?

И он захохотал простодушнейшим образом. Но вдруг лицо его приняло серьезное и заботливое выражение.

— И Алеша мог поместить Наталью Николаевну в такой квартире! — сказал он, покачивая головою.— Вот эти-то так называемые *мелочи* и обозначают человека. Я боюсь за него. Он добр, у него благородное сердце, но вот вам пример: любит без памяти, а помещает ту, которую любит, в такой конуре. Я даже слышал, что иногда хлеба не было,— прибавил он шепотом, отыскивая ручку колокольчика.— У меня голова трещит, когда подумаю о его будущности, а главное, о будущности *Анны* Николаевны, когда она будет его женой...

Он ошибся именем и не заметил того, с явною досадою не находя колокольчика. Но колокольчика и не было. Я подергал ручку замка, и Мавра тотчас же нам отворила, суетливо встречая нас. В кухне, отделявшейся от крошечной передней деревянной перегородкой, сквозь отворенную дверь заметны были некоторые приготовления: все было как-то не по-всегдашнему, вытерто и вычищено; в печи горел огонь; на столе стояла какая-

то новая посуда. Видно было, что нас ждали. Мавра бросилась снимать наши пальто.

— Алеша здесь? — спросил я ее.

— Не бывал,— шепнула она мне как-то таинственно.

Мы вошли к Наташе. В ее комнате не было никаких особенных приготовлений; все было по-старому. Впрочем, у нее всегда было все так чисто и мило, что нечего было и прибирать. Наташа встретила нас, стоя перед дверью. Я поражен был болезненной худобой и чрезвычайной бледностью ее лица, хотя румянец и блеснул на одно мгновение на ее помертвевших щеках. Глаза были лихорадочные. Она молча и торопливо протянула князю руку, приметно суетясь и теряясь. На меня же она и не взглянула. Я стоял и ждал молча.

— Вот и я! — дружески и весело заговорил князь,— только несколько часов как воротился. Все это время вы не выходили из моего ума (он нежно поцеловал ее руку),— и сколько, сколько я передумал о вас! Сколько выдумал вам сказать, передать... Ну, да мы наговоримся! Во-первых, мой ветрогон, которого, я вижу, еще здесь нет...

— Позвольте, князь,— перебила его Наташа, покраснев и смешавшись,— мне надо сказать два слова Ивану Петровичу. Ваня, пойдем... два слова...

Она схватила меня за руку и повела за ширмы.

— Ваня,— сказала она шепотом, заведя меня в самый темный угол,— простишь ты меня или нет?

— Наташа, полно, что ты!

— Нет, нет, Ваня, ты слишком часто и слишком много прощал мне, но ведь есть же конец всякому терпению. Ты меня никогда не разлюбишь, я знаю, но ты меня назовешь неблагодарною, а я вчера и третьего дня была пред тобой неблагодарная, эгоистка, жестокая...

Она вдруг залилась слезами и прижалась лицом к моему плечу.

— Полно, Наташа,— спешил я разуверить ее.— Ведь я был очень болен всю ночь: даже и теперь едва стою на ногах, оттого и не заходил ни вечером вчера, ни сегодня, а ты и думаешь, что я рассердился... Друг ты мой дорогой, да разве я не знаю, что теперь в твоей душе делается?

— Ну и хорошо... значит, простил, как всегда,— сказала она, улыбаясь сквозь слезы и сжимая до боли мою руку.— Остальное после. Много надо сказать тебе, Ваня. А теперь к нему...

— Поскорей, Наташа; мы так его вдруг оставили...

— Вот ты увидишь, увидишь, что будет,— наскоро шепнула она мне.— Я теперь знаю все, все угадала. Виноват всему *он*. Этот вечер много решит. Пойдем!

Я не понял, но спросить было некогда. Наташа вышла к князю с светлым лицом. Он все еще стоял со шляпой в руках. Она весело перед ним извинилась, взяла у него шляпу, сама придвинула ему стул, и мы втроем уселись кругом ее столика.

— Я начал о моем ветренике,— продолжал князь,— я видел его только одну минуту и то на улице, когда он садился ехать к графине Зинаиде Федоровне. Он ужасно спешил и, представьте, даже не хотел встать, чтоб войти со мной в комнаты после четырех дней разлуки. И, кажется, я в том виноват, Наталья Николаевна, что он теперь не у вас и что мы пришли прежде него; я воспользовался случаем, и так как сам не мог быть сегодня у графини, то дал ему одно поручение. Но он явится сию минуту.

— Он вам наверно обещал приехать сегодня? — спросила Наташа с самым простодушным видом, смотря на князя.

— Ах, боже мой, еще бы он не приехал; как это вы спрашиваете! — воскликнул он с удивлением, всматриваясь в нее.— Впрочем, понимаю: вы на него сердитесь. Действительно, как будто дурно с его стороны прийти всех позже. Но, повторяю, виноват в этом я. Не сердитесь и на него. Он легкомысленный, ветреник; я его не защищаю, но некоторые особенные обстоятельства требуют, чтоб он не только не оставлял теперь дома графини и некоторых других связей, но, напротив, как можно чаще являлся туда. Ну, а так как он, вероятно, не выходит теперь от вас и забыл все на свете, то, пожалуйста, не сердитесь, если я буду иногда брать его часа на два, не больше, по моим поручениям. Я уверен, что он еще ни разу не был у княгини К. с того вечера, и так досадую, что не успел давеча расспросить его!..

Я взглянул на Наташу. Она слушала князя с легкой полунасмешливой улыбкой. Но он говорил так прямо, так натурально. Казалось, не было возможности в чем-нибудь подозревать его.

— И вы вправду не знали, что он у меня во все эти дни ни разу не был? — спросила Наташа тихим и спокойным голосом, как будто говоря о самом обыкновенном для нее происшествии.

— Как! Ни разу не был? Позвольте, что вы говорите! — сказал князь, по-видимому, в чрезвычайном изумлении.

— Вы были у меня во вторник, поздно вечером; на другое утро он заезжал ко мне на полчаса, и с тех пор я его не видала ни разу.

— Но это невероятно! (Он изумлялся все более и более.) Я именно думал, что он не выходит от вас. Извините, это так странно... просто невероятно.

— Но, однако ж, верно, и как жаль: я нарочно ждала вас, думала от вас-то и узнать, где он находится?

— Ах, боже мой! Да ведь он сейчас же будет здесь!

Но то, что вы мне сказали, меня до того поразило, что я... признаюсь, я всего ожидал от него, но этого... этого!

— Как вы изумляетесь! А я так думала, что вы не только не станете изумляться, но даже заранее знали, что так будет.

— Знал! Я? Но уверяю же вас, Наталья Николаевна, что видел его только одну минуту сегодня и больше никого об нем не расспрашивал; и мне странно, что вы мне как будто не верите,— продолжал он, оглядывая нас обоих.

— Сохрани бог,— подхватила Наташа,— совершенно уверена, что вы сказали правду.

И она засмеялась снова, прямо в глаза князю, так, что его как будто передернуло.

— Объяснитесь,— сказал он в замешательстве.

— Да тут нечего и объяснять. Я говорю очень просто. Вы ведь знаете, какой он ветреный, забывчивый. Ну вот, как ему дана теперь полная свобода, он и увлекся.

— Но так увлекаться невозможно, тут что-нибудь да есть, и только что он приедет, я заставлю его объяснить это дело. Но более всего меня удивляет, что вы как будто и меня в чем-то обвиняете, тогда как меня даже здесь и не было. А впрочем, Наталья Николаевна, я вижу, вы на него очень сердитесь,— и это понятно! Вы имеете на то все права, и... и... разумеется, я первый виноват, ну хоть потому только, что я первый подвернулся; не правда ли?— продолжал он, обращаясь ко мне с раздражительною усмешкою.

Наташа вспыхнула.

— Позвольте, Наталья Николаевна,— продолжал он с достоинством,— соглашаюсь, что я виноват, но только в том, что уехал на другой день после нашего знакомства, так что вы, при некоторой мнительности, которую я замечаю в вашем характере, уже успели изменить обо мне ваше мнение, тем более что тому способствовали обстоятельства. Не уезжал бы я — вы бы меня узнали лучше, да и Алеша не ветреничал бы под моим надзором. Сегодня же вы услышите, что я наговорю ему.

— То есть сделаете, что он мною начнет тяготиться. Невозможно, чтоб, при вашем уме, вы вправду думали, что такое средство мне поможет.

— Так уж не хотите ли вы намекнуть, что я нарочно хочу так устроить, чтоб он вами тяготился? Вы обижаете меня, Наталья Николаевна.

— Я стараюсь как можно меньше употреблять намеков, с кем бы я ни говорила,— отвечала Наташа,— напротив, всегда стараюсь говорить как можно прямее, и вы, может быть, сегодня же убедитесь в этом. Обижать я вас не хочу, да и незачем, хоть уж потому только, что вы моими словами не обидитесь, что бы я вам ни сказала. В этом я совершенно уверена, потому что

совершенно понимаю наши взаимные отношения: ведь вы на них не можете смотреть серьезно, не правда ли? Но если я в самом деле вас обидела, то готова просить прощения, чтоб исполнить перед вами все обязанности... гостеприимства.

Несмотря на легкий и даже шутливый тон, с которым Наташа произнесла эту фразу, со смехом на губах, никогда еще я не видал ее до такой степени раздраженною. Теперь только я понял, до чего наболело у нее в сердце в эти три дня. Загадочные слова ее, что она уже все знает и обо всем догадалась, испугали меня; они прямо относились к князю. Она изменила о нем свое мнение и смотрела на него как на своего врага,— это было очевидно. Она, видимо, приписывала его влиянию все свои неудачи с Алешей и, может быть, имела на это какие-нибудь данные. Я боялся между ними внезапной сцены. Шутливый тон ее был слишком обнаружен, слишком не закрыт. Последние же слова ее князю о том, что он не может смотреть на их отношения серьезно, фраза об извинении по обязанности гостеприимства, ее обещание, в виде угрозы, доказать ему в этот же вечер, что она умеет говорить прямо,— все это было до такой степени язвительно и немаскировано, что не было возможности, чтоб князь не понял всего этого. Я видел, что он изменился в лице, но он умел владеть собою. Он тотчас же показал вид, что не заметил этих слов, не понял их настоящего смысла, и, разумеется, отделался шуткой.

— Боже меня сохрани требовать извинений!— подхватил он смеясь.— Я вовсе не того хотел, да и не в моих правилах требовать извинения от женщины. Еще в первое наше свидание я отчасти предупредил вас о моем характере, а потому вы, вероятно, не рассердитесь на меня за одно замечание, тем более что оно будет вообще о всех женщинах; вы тоже, вероятно, согласитесь с этим замечанием,— продолжал он, с любезностью обращаясь ко мне.— Именно, я заметил, в женском характере есть такая черта, что если, например, женщина в чем виновата, то скорей она согласится потом, впоследствии, загладить свою вину тысячью ласк, чем в настоящую минуту, во время самой очевидной улики в проступке, сознаться в нем и попросить прощения. Итак, если только предположить, что я вами обижен, то теперь, в настоящую минуту, я нарочно не хочу извинения; мне выгоднее будет впоследствии, когда вы сознаете вашу ошибку и захотите ее загладить перед мной... тысячью ласк. А вы так добры, так чисты, свежи, так наружу, что минута, когда вы будете раскаиваться, предчувствую это, будет очаровательна. А лучше, вместо извинения, скажите мне теперь, не могу ли я сегодня же чем-нибудь доказать вам, что я гораздо искреннее и прямее поступаю с вами, чем вы обо мне думаете?

Наташа покраснела. Мне тоже показалось, что в ответе

Ф. М. Достоевский

«УНИЖЕННЫЕ И ОСКОРБЛЕННЫЕ»

князя слышится какой-то уж слишком легкий, даже небрежный тон, какая-то нескромная шутливость.

— Вы хотите мне доказать, что вы со мной прямы и простодушны?— спросила Наташа, с вызывающим видом смотря на него.

— Да.

— Если так, исполните мою просьбу.

— Заранее даю слово.

— Вот она: ни одним словом, ни одним намеком обо мне не беспокоить Алешу ни сегодня, ни завтра. Ни одного упрека за то, что он забыл меня; ни одного наставления. Я именно хочу встретить его так, как будто ничего между нами не было, чтоб он и заметить ничего не мог. Мне это надо. Дадите вы мне такое слово?

— С величайшим удовольствием,— отвечал князь,— и позвольте мне прибавить от всей души, что я редко в ком встречал более благоразумного и ясного взгляда на такие дела... Но вот, кажется, и Алеша.

Действительно, в передней послышался шум. Наташа вздрогнула и как будто к чему-то приготовилась. Князь сидел с серьезною миною и ожидал, что-то будет; он пристально следил за Наташей. Но дверь отворилась, и к нам влетел Алеша.

Глава II

Он именно влетел с каким-то сияющим лицом, радостный, веселый. Видно было, что он весело и счастливо провел эти четыре дня. На нем как будто написано было, что он хотел нам что-то сообщить.

— Вот и я!— провозгласил он на всю комнату.— Тот, которому бы надо быть раньше всех. Но сейчас узнаете все, все, все! Давеча, папаша, мы с тобой двух слов не успели сказать, а мне много надо было сказать тебе. Это он мне только в добрые свои минуты позволяет говорить себе: *ты*,— прервал он, обращаясь ко мне,— ей-богу, в иное время запрещает! И какая у него является тактика: начинает сам говорить мне *вы*. Но с этого дня я хочу, чтоб у него всегда были добрые минуты, и сделаю так! Вообще я весь переменился в эти четыре дня, совершенно, совершенно переменился и все вам расскажу. Но это впереди. А главное теперь: вот она! вот она! опять! Наташа, голубчик, здравствуй, ангел ты мой! — говорил он, усаживаясь подле нее и жадно целуя ее руку,— тосковал-то я по тебе в эти дни! Но что хочешь — не мог! Управиться не мог. Милая ты моя! Как будто ты похудела немножко, бледненькая стала какая...

Он в восторге покрывал ее руки поцелуями, жадно смотрел на нее своими прекрасными глазами, как будто не мог наглядеться. Я взглянул на Наташу и по лицу ее угадал, что у нас были одни мысли: он был вполне невинен. Да и когда, как этот *невинный* мог бы сделаться виноватым? Яркий румянец прилил вдруг к бледным щекам Наташи, точно вся кровь, собравшаяся в ее сердце, отхлынула вдруг в голову. Глаза ее засверкали, и она гордо взглянула на князя.

— Но где же... ты был... столько дней? — проговорила она сдержанным и прерывающимся голосом. Она тяжело и неровно дышала. Боже мой, как она любила его!

— То-то и есть, что я в самом деле как будто виноват перед тобой; да что: *как будто!* разумеется, виноват, и сам это знаю, и приехал с тем, что знаю. Катя вчера и сегодня говорила мне, что не может женщина простить такую небрежность (ведь она все знает, что было у нас здесь во вторник; я на другой же день рассказал). Я с ней спорил, доказывал ей, говорил, что эта женщина называется *Наташа* и что во всем свете, может быть, только одна есть равная ей: это Катя; и я приехал сюда, разумеется, зная, что я выиграл в споре. Разве такой ангел, как ты, может не простить? «Не был, стало быть непременно что-нибудь помешало, а не то что разлюбил»,— вот как будет думать моя Наташа! Да и как тебя разлюбить? Разве возможно? Все сердце наболело у меня по тебе. Но я все-таки виноват! А когда узнаешь все, меня же первая оправдаешь! Сейчас все расскажу, мне надобно излить душу пред всеми вами; с тем и приехал. Хотел было сегодня (было полминутки свободной) залететь к тебе, чтоб поцеловать тебя на лету, но и тут неудача: Катя немедленно потребовала к себе по важнейшим делам. Это еще до того времени, когда я на дрожках сидел, папа, и ты меня видел; это я другой раз, по другой записке к Кате тогда ехал. У нас ведь теперь целые дни скороходы с записками из дома в дом бегают. Иван Петрович, вашу записку я только вчера ночью успел прочесть, и вы совершенно правы во всем, что вы там написали. Но что же делать: физическая невозможность! Так и подумал: завтра вечером во всем оправдаюсь; потому что уж сегодня вечером невозможно мне было не приехать к тебе, Наташа.

— Какая это записка? — спросила Наташа.

— Он у меня был, не застал, разумеется, и сильно разругал в письме, которое мне оставил, за то, что к тебе не хожу. И он совершенно прав. Это было вчера.

Наташа взглянула на меня.

— Но если у тебя доставало времени бывать с утра до вечера у Катерины Федоровны...— начал было князь.

— Знаю, знаю, что ты скажешь,— перебил Алеша: — «Если

мог быть у Кати, то у тебя должно быть вдвое причин быть здесь». Совершенно с тобой согласен и даже прибавлю от себя. не вдвое причин, а в миллион больше причин! Но, во-первых, бывают же странные, неожиданные события в жизни, которые все перемешивают и ставят вверх дном. Ну, вот и со мной случились такие события. Говорю же я, что в эти дни я совершенно изменился, весь до конца ногтей; стало быть, были же важные обстоятельства!

— Ах, боже мой, да что же с тобой было! Не томи, пожалуйста! — вскричала Наташа, улыбаясь на горячку Алеши.

В самом деле, он был немного смешон: он торопился; слова вылетали у него быстро, часто, без порядка, какой-то стукотней. Ему все хотелось говорить, говорить, рассказать. Но, рассказывая, он все-таки не покидал руки Наташи и беспрерывно подносил ее к губам, как будто не мог нацеловаться.

— В том-то и дело, что со мной было,— продолжал Алеша.— Ах, друзья мои! Что я видел, что делал, каких людей узнал! Во-первых, Катя: это такое совершенство! Я ее совсем, совсем не знал до сих пор! И тогда, во вторник, когда я говорил тебе об ней, Наташа,— помнишь, я еще с таким восторгом говорил, ну так и тогда даже я ее совсем почти не знал. Она сама таилась от меня до самого теперешнего времени. Но теперь мы совершенно узнали друг друга. Мы с ней уж теперь на *ты*. Но начну сначала: во-первых, Наташа, если б ты могла только слышать, что она говорила мне про тебя, когда я на другой день, в среду, рассказал ей, что здесь между нами было... А кстати: припоминаю, каким я был глупцом перед тобой, когда я приехал к тебе тогда утром, в среду! Ты встречаешь меня с восторгом, ты вся проникнута новым положением нашим, ты хочешь говорить со мной обо всем этом; ты грустна и в то же время шалишь и играешь со мной, а я — такого солидного человека из себя корчу! О глупец! Глупец! Ведь, ей-богу же, мне хотелось порисоваться, похвастаться, что я скоро буду мужем, солидным человеком, и нашел же перед кем хвастаться,— перед тобой! Ах, как, должно быть, ты тогда надо мной смеялась и как я стоил твоей насмешки!

Князь сидел молча и с какой-то торжествующе иронической улыбкой смотрел на Алешу. Точно он рад был, что сын выказывает себя с такой легкомысленной и даже смешной точки зрения. Весь этот вечер я прилежно наблюдал его и совершенно убедился, что он вовсе не любит сына, хотя и говорили про слишком горячую отцовскую любовь его.

— После тебя я поехал к Кате,— сыпал свой рассказ Алеша.— Я уже сказал, что мы только в это утро совершенно узнали друг друга, и странно как-то это произошло... не помню даже... Несколько горячих слов, несколько ощущений, мыслей,

прямо высказанных, и мы — сблизились навеки. Ты должна, должна узнать ее, Наташа! Как она рассказала, как она растолковала мне тебя! Как объяснила мне, какое ты сокровище для меня! Мало-помалу она объяснила мне все свои идеи и свой взгляд на жизнь; это такая серьезная, такая восторженная девушка! Она говорила о долге, о назначении нашем, о том, что мы все должны служить человечеству, и так как мы совершенно сошлись, в какие-нибудь пять-шесть часов разговора, то кончили тем, что поклялись друг другу в вечной дружбе и в том, что во всю жизнь нашу будем действовать вместе!

— В чем же действовать? — с удивлением спросил князь.

— Я так изменился, отец, что все это, конечно, должно удивлять тебя; даже заранее предчувствую все твои возражения,— отвечал торжественно Алеша.— Все вы люди практические, у вас столько выжитых правил, серьезных, строгих; на все новое, на все молодое, свежее вы смотрите недоверчиво, враждебно, насмешливо. Но теперь уж я не тот, каким ты знал меня несколько дней тому назад. Я другой! Я смело смотрю в глаза всему и всем на свете. Если я знаю, что мое убеждение справедливо, я преследую его до последней крайности; и если я не собьюсь с дороги, то я честный человек. С меня довольно. Говорите после того, что хотите, я в себе уверен.

— Ого! — сказал князь насмешливо.

Наташа с беспокойством оглядела нас. Она боялась за Алешу. Ему часто случалось очень невыгодно для себя увлекаться в разговоре, и она знала это. Ей не хотелось, чтоб Алеша выказал себя с смешной стороны перед нами и особенно перед отцом.

— Что ты, Алеша! Ведь это уж философия какая-то,— сказала она,— тебя, верно, кто-нибудь научил... ты бы лучше рассказывал.

— Да я и рассказываю! — вскричал Алеша.— Вот видишь: у Кати есть два дальние родственника, какие-то кузены, Левенька и Боренька, один студент, а другой просто молодой человек. Она с ними имеет сношения, а те — просто необыкновенные люди! К графине они почти не ходят, по принципу. Когда мы говорили с Катей о назначении человека, о призвании и обо всем этом, она указала мне на них и немедленно дала мне к ним записку; я тотчас же полетел с ними знакомиться. В тот же вечер мы сошлись совершенно. Там было человек двенадцать разного народу — студентов, офицеров, художников; был один писатель... они все вас знают, Иван Петрович, то есть читали ваши сочинения и много ждут от вас в будущем. Так они мне сами сказали. Я говорил им, что с вами знаком, и обещал им вас познакомить с ними. Все они приняли меня по-братски, с распростертыми объятиями. Я с первого же разу сказал им, что буду скоро женатый человек; так они и принимали

меня за женатого человека. Живут они в пятом этаже, под крышами; собираются как можно чаще, но преимущественно по средам, к Левеньке и Бореньке. Это все молодежь свежая; все они с пламенной любовью ко всему человечеству; все мы говорили о нашем настоящем, будущем, о науках, о литературе, и говорили так хорошо, так прямо и просто... Туда тоже ходит один гимназист. Как они обращаются между собой, как они благородны! Я не видал еще до сих пор таких! Где я бывал до сих пор? Что я видал? На чем я вырос? Одна ты только, Наташа, и говорила мне что-нибудь в этом роде. Ах, Наташа, ты непременно должна познакомиться с ними; Катя уже знакома. Они говорят об ней чуть не с благоговением, и Катя уже говорила Левеньке и Бореньке, что когда она войдет в права над своим состоянием, то непременно тотчас же пожертвует миллион на общественную пользу.

— И распорядителями этого миллиона, верно, будут Левенька и Боренька и их вся компания? — спросил князь.

— Неправда, неправда; стыдно, отец, так говорить! — с жаром вскричал Алеша,— я подозреваю твою мысль! А об этом миллионе действительно был у нас разговор, и долго решали: как его употребить? Решили наконец, что прежде всего на общественное просвещение...

— Да, я действительно не совсем знал до сих пор Катерину Федоровну,— заметил князь как бы про себя, все с той же насмешливой улыбкой.— Я, впрочем, многого от нее ожидал, но этого...

— Чего этого! — прервал Алеша,— что тебе так странно? Что это выходит несколько из вашего порядка? Что никто до сих пор не жертвовал миллиона, а она пожертвует? Это, что ли? Но, что ж, если она не хочет жить на чужой счет; потому что жить этими миллионами значит жить на чужой счет (я только теперь это узнал). Она хочет быть полезна отечеству и всем и принесть на общую пользу свою лепту. Про лепту-то еще мы в прописях читали, а как эта лепта запахла миллионом, так уж тут и не то? И на чем держится все это хваленое благоразумие, в которое я так верил! Что ты так смотришь на меня, отец? Точно ты видишь перед собой шута, дурачка! Ну, что ж что дурачок! Послушала бы ты, Наташа, что говорила об этом Катя: «Не ум главное, а то, что направляет его,— натура, сердце, благородные свойства, развитие». Но главное, на этот счет есть гениальное выражение Безмыгина. Безмыгин — это знакомый Левеньки и Бореньки и, между нами, голова, и действительно гениальная голова! Не далее как вчера он сказал к разговору: дурак, сознавшийся, что он дурак, есть уже не дурак! Какова правда! Такие изречения у него поминутно. Он сыплет истинами.

— Действительно гениально! — заметил князь.

— Ты все смеешься. Но ведь я от тебя ничего никогда не слыхал такого; и от всего вашего общества тоже никогда не слыхал. У вас, напротив, всё это как-то прячут, всё бы пониже к земле, чтоб все росты, все носы выходили непременно по каким-то меркам, по каким-то правилам — точно это возможно! Точно это не в тысячу раз невозможнее, чем то, об чем мы говорим и что думаем. А еще называют нас утопистами! Послушал бы ты, как они мне вчера говорили...

— Но что же, об чем вы говорите и думаете? Расскажи, Алеша, я до сих пор как-то не понимаю,— сказала Наташа.

— Вообще обо всем, что ведет к прогрессу, к гуманности, к любви; все это говорится по поводу современных вопросов. Мы говорим о гласности, о начинающихся реформах, о любви к человечеству, о современных деятелях; мы их разбираем, читаем. Но, главное, мы дали друг другу слово быть совершенно между собой откровенными и прямо говорить друг другу все о самих себе, не стесняясь. Только откровенность, только прямота могут достигнуть цели. Об этом особенно старается Безмыгин. Я рассказал об этом Кате, и она совершенно сочувствует Безмыгину. И потому мы все, под руководством Безмыгина, дали себе слово действовать честно и прямо всю жизнь, и что бы ни говорили о нас, как бы ни судили о нас,— не смущаться ничем, не стыдиться нашей восторженности, наших увлечений, наших ошибок и идти напрямки. Коли ты хочешь, чтоб тебя уважали, во-первых и главное, уважай сам себя; только этим, только самоуважением ты заставишь и других уважать себя. Это говорит Безмыгин, и Катя совершенно с ним согласна. Вообще мы теперь уговариваемся в наших убеждениях и положили заниматься изучением самих себя порознь, а все вместе толковать друг другу друг друга...

— Что за галиматья! — вскричал князь с беспокойством,— и кто этот Безмыгин? Нет, это так оставить нельзя...

— Чего нельзя оставить? — подхватил Алеша,— слушай, отец, почему я говорю все это теперь, при тебе? Потому что хочу и надеюсь ввести и тебя в наш круг. Я дал уже там и за тебя слово. Ты смеешься, ну, я так и знал, что ты будешь смеяться! Но выслушай! Ты добр, благороден; ты поймешь. Ведь ты не знаешь, ты не видал никогда этих людей, не слыхал их самих. Положим, что ты обо всем этом слышал, все изучил, ты ужасно учен; но самих-то их ты не видал, у них не был, а потому как же ты можешь судить о них верно! Ты только воображаешь, что знаешь. Нет, ты побудь у них, послушай их и тогда,— и тогда я даю слово за тебя, что ты будешь наш! А главное, я хочу употребить все средства, чтоб спасти тебя

от гибели в твоем обществе, к которому ты так прилепился, и от твоих убеждений.

Князь молча и с ядовитейшей насмешкой выслушал эту выходку; злость была в лице его. Наташа следила за ним с нескрываемым отвращением. Он видел это, но показывал, что не замечает. Но как только Алеша кончил, князь вдруг разразился смехом. Он даже упал на спинку стула, как будто был не в силах сдержать себя. Но смех этот был решительно выделанный. Слишком заметно было, что он смеялся единственно для того, чтоб как можно сильнее обидеть и унизить своего сына. Алеша действительно огорчился; все лицо его изобразило чрезвычайную грусть. Но он терпеливо переждал, когда кончится веселость отца.

— Отец,— начал он грустно,— для чего же ты смеешься надо мной? Я шел к тебе прямо и откровенно. Если, по твоему мнению, я говорю глупости, вразуми меня, а не смейся надо мною. Да и над чем смеяться? Над тем, что для меня теперь свято, благородно? Ну, пусть я заблуждаюсь, пусть это все неверно, ошибочно, пусть я дурачок, как ты несколько раз называл меня; но если я и заблуждаюсь, то искренно, честно; я не потерял своего благородства. Я восторгаюсь высокими идеями. Пусть они ошибочны, но основание их свято. Я ведь сказал тебе, что ты и все ваши ничего еще не сказали мне такого же, что направило бы меня, увлекло бы за собой. Опровергни их, скажи мне что-нибудь лучше ихнего, и я пойду за тобой, но не смейся надо мной, потому что это очень огорчает меня.

Алеша произнес это чрезвычайно благородно и с каким-то строгим достоинством. Наташа с сочувствием следила за ним. Князь даже с удивлением выслушал сына и тотчас же переменил свой тон.

— Я вовсе не хотел оскорбить тебя, друг мой,— отвечал он,— напротив, я о тебе сожалею. Ты приготовляешься к такому шагу в жизни, при котором пора бы уже перестать быть таким легкомысленным мальчиком. Вот моя мысль. Я смеялся невольно и совсем не хотел оскорблять тебя.

— Почему же так показалось мне? — продолжал Алеша с горьким чувством.— Почему уже давно мне кажется, что ты смотришь на меня враждебно, с холодной насмешкой, а не как отец на сына? Почему мне кажется, что если б я был на твоем месте, я б не осмеял так оскорбительно своего сына, как ты теперь меня. Послушай: объяснимся откровенно, сейчас, навсегда, так, чтоб уж не оставалось больше никаких недоумений. И... я хочу говорить всю правду: когда я вошел сюда, мне показалось, что и здесь произошло какое-то недоумение; не так как-то ожидал я вас встретить здесь вместе. Так или нет? Если

так, то не лучше ли каждому высказать свои чувства? Сколько зла можно устранить откровенностью!

— Говори, говори, Алеша! — сказал князь,— То, что ты предлагаешь нам, очень умно. Может быть, с этого и надо было начать,— прибавил он, взглянув на Наташу.

— Не рассердись же за полную мою откровенность,— начал Алеша,— ты сам ее хочешь, сам вызываешь. Слушай. Ты согласился на мой брак с Наташей; ты дал нам это счастье и для этого победил себя самого. Ты был великодушен, и мы все оценили твой благородный поступок. Но почему же теперь ты с какой-то радостью беспрерывно намекаешь мне, что я еще смешной мальчик и вовсе не гожусь быть мужем; мало того, ты как будто хочешь осмеять, унизить, даже как будто очернить меня в глазах Наташи. Ты очень рад всегда, когда можешь хоть чем-нибудь меня выказать с смешной стороны; это я заметил не теперь, а уже давно. Как будто ты именно стараешься для чего-то доказать нам, что брак наш смешон, нелеп и что мы не пара. Право, как будто ты сам не веришь в то, что для нас предназначаешь; как будто смотришь на все это как на шутку, на забавную выдумку, на какой-то смешной водевиль... Я ведь не из сегодняшних только слов твоих это вывожу. Я в тот же вечер, во вторник же, как воротился к тебе отсюда, слышал от тебя несколько странных выражений, изумивших, даже огорчивших меня. И в среду, уезжая, ты тоже сделал несколько каких-то намеков на наше теперешнее положение, сказал и о ней — не оскорбительно, напротив, но как-то не так, как бы я хотел слышать от тебя, как-то слишком легко, как-то без любви, без такого уважения к ней... Это трудно рассказать, но тон ясен; сердце слышит. Скажи же мне, что я ошибаюсь. Разуверь меня, ободри меня и... и ее, потому что ты и ее огорчил. Я это угадал с первого же взгляда, как вошел сюда...

Алеша высказал это с жаром и с твердостью. Наташа с какою-то торжественностью его слушала и вся в волнении, с пылающим лицом, раза два проговорила про себя в продолжение его речи: «Да, да, это так!» Князь смутился.

— Друг мой,— отвечал он,— я, конечно, не могу припомнить всего, что говорил тебе; но очень странно, если ты принял мои слова в такую сторону. Готов разуверить тебя всем, чем только могу. Если я теперь смеялся, то и это понятно. Скажу тебе, что моим смехом я даже хотел прикрыть мое горькое чувство. Когда соображу теперь, что ты скоро собираешься быть мужем, то это мне теперь кажется совершенно несбыточным, нелепым, извини меня, даже смешным. Ты меня укоряешь за этот смех, а я говорю, что все это через тебя. Винюсь и я: может быть, я сам мало следил за тобой в последнее время

и потому только теперь, в этот вечер, узнал, на что ты можешь быть способен. Теперь уже я трепещу, когда подумаю о твоей будущности с Натальей Николаевной: я поторопился; я вижу, что вы очень несходны между собою. Всякая любовь проходит, а несходство навсегда остается. Я уж и не говорю о твоей судьбе, но подумай, если только в тебе честные намерения, вместе с собой ты губишь и Наталью Николаевну, решительно губишь! Вот ты говорил теперь целый час о любви к человечеству, о благородстве убеждений, о благородных людях, с которыми познакомился; а спроси Ивана Петровича, что говорил я ему давеча, когда мы поднялись в четвертый этаж, по здешней отвратительной лестнице, и оставались здесь у дверей, благодаря бога за спасение наших жизней и ног? Знаешь ли, какая мысль мне невольно тотчас же пришла в голову? Я удивился, как мог ты, при такой любви к Наталье Николаевне, терпеть, чтоб она жила в такой квартире? Как ты не догадался, что если не имеешь средств, если не имеешь способностей исполнять свои обязанности, то не имеешь права и быть мужем, не имеешь права брать на себя никаких обязательств. Одной любви мало; любовь оказывается делами; а ты как рассуждаешь: «Хоть и страдай со мной, но живи со мной»,— ведь это не гуманно, это не благородно! Говорить о всеобщей любви, восторгаться общечеловеческими вопросами и в то же время делать преступления против любви и не замечать их — непонятно! Не перебивайте меня, Наталья Николаевна, дайте мне кончить; мне слишком горько, и я должен высказаться. Ты говорил, Алеша, что в эти дни увлекался всем, что благородно, прекрасно, честно, и укорял меня, что в нашем обществе нет таких увлечений, а только одно сухое благоразумие. Посмотри же: увлекаться высоким и прекрасным и после того, что было здесь во вторник, четыре дня пренебрегать тою, которая, кажется бы, должна быть для тебя дороже всего на свете! Ты даже признался о твоем споре с Катериной Федоровной, что Наталья Николаевна так любит тебя, так великодушна, что простит тебе твой проступок. Но какое право ты имеешь рассчитывать на такое прощение и предлагать об этом пари? И неужели ты ни разу не подумал, сколько горьких мыслей, сколько сомнений, подозрений послал ты в эти дни Наталье Николаевне? Неужели, потому что ты там увлекся какими-то новыми идеями, ты имел право пренебречь самою первейшею своею обязанностью? Простите меня, Наталья Николаевна, что я изменил моему слову. Но теперешнее дело серьезнее этого слова: вы сами поймете это... Знаешь ли ты, Алеша, что я застал Наталью Николаевну среди таких страданий, что понятно, в какой ад ты обратил для нее эти четыре дня, которые, напротив, должны бы быть лучшими днями ее жизни. Такие поступки, с одной стороны, и —

слова, слова и слова — с другой... неужели я не прав. И ты можешь после этого обвинять меня, когда сам кругом виноват?

Князь кончил. Он даже увлекся своим красноречием и не мог скрыть от нас своего торжества. Когда Алеша услышал о страданиях Наташи, то с болезненной тоской взглянул на нее, но Наташа уже решилась.

— Полно, Алеша, не тоскуй,— сказала она,— другие виноватее тебя. Садись и выслушай, что я скажу сейчас твоему отцу. Пора кончить!

— Объяснитесь, Наталья Николаевна,— подхватил князь,— убедительно прошу вас! Я уже два часа слышу об этом загадки. Это становится невыносимо, и, признаюсь, не такой ожидал я здесь встречи.

— Может быть; потому что думали очаровать нас словами, так что мы и не заметим ваших тайных намерений. Что вам объяснять! Вы сами все знаете и все понимаете. Алеша прав. Самое первое желание ваше — разлучить нас. Вы заранее почти наизусть знали все, что здесь случится, после того вечера, во вторник, и рассчитали все как по пальцам. Я уже сказала вам, что вы смотрите и на меня и на сватовство, вами затеянное, не серьезно. Вы шутите с нами; вы играете и имеете вам известную цель. Игра ваша верная. Алеша был прав, когда укорял вас, что вы смотрите на все это как на водевиль. Вы бы, напротив, должны были радоваться, а не упрекать Алешу, потому что он, не зная ничего, исполнил все, что вы от него ожидали; может быть, даже и больше.

Я остолбенел от изумления. Я и ожидал, что в этот вечер случится какая-нибудь катастрофа. Но слишком резкая откровенность Наташи и нескрываемый презрительный тон ее слов изумили меня до последней крайности. Стало быть, она действительно что-то знала, думал я, и безотлагательно решилась на разрыв. Может быть, даже с нетерпением ждала князя, чтобы разом все прямо в глаза ему высказать. Князь слегка побледнел. Лицо Алеши изображало наивный страх и томительное ожидание.

— Вспомните, в чем вы меня сейчас обвинили! — вскричал князь,— и хоть немножко обдумайте ваши слова... я ничего не понимаю.

— А! Так вы не хотите понять с двух слов,— сказала Наташа,— даже он, даже вот Алеша вас понял так же, как и я, а мы с ним не сговаривались, даже не видались! И ему тоже показалось, что вы играете с нами недостойную, оскорбительную игру, а он любит вас и верит в вас, как в божество. Вы не считали за нужное быть с ним поосторожнее, похитрее; рассчитывали, что он не догадается. Но у него чуткое, нежное,

впечатлительное сердце, и ваши слова, ваш *тон*, как он говорит, у него остались на сердце...

— Ничего, ничего не понимаю! — повторил князь, с видом величайшего изумления обращаясь ко мне, точно брал меня в свидетели. Он был раздражен и разгорячился.— Вы мнительны, вы в тревоге,— продолжал он, обращаясь к ней,— просто-запросто вы ревнуете к Катерине Федоровне и потому готовы обвинить весь свет и меня первого, и... и позвольте уж все сказать: странное мнение можно получить о вашем характере... Я не привык к таким сценам; я бы ни минуты не остался здесь после этого, если б не интересы моего сына... Я все еще жду, не благоволите ли вы объясниться?

— Так вы все-таки упрямитесь и не хотите понять с двух слов, несмотря на то, что все это наизусть знаете? Вы непременно хотите, чтоб я вам все прямо высказала?

— Я только этого и добиваюсь.

— Хорошо же, слушайте же,— вскричала Наташа, сверкая глазами от гнева,— я выскажу все, все!

Глава III

Она встала и начала говорить стоя, не замечая того от волнения. Князь слушал, слушал и тоже встал с места. Вся сцена становилась слишком торжественною.

— Припомните сами свои слова во вторник,— начала Наташа.— Вы сказали: мне нужны деньги, торные дороги, значение в свете,— помните?

— Помню.

— Ну, так для того-то, чтобы добыть эти деньги, чтобы добиться всех этих успехов, которые у вас ускользали из рук, вы и приезжали сюда во вторник и выдумали это сватовство, считая, что эта шутка вам поможет поймать то, что от вас ускользало.

— Наташа,— вскричал я,— подумай, что ты говоришь!

— Шутка! Расчет! — повторял князь с видом крайне оскорбленного достоинства.

Алеша сидел убитый горем и смотрел, почти ничего не понимая.

— Да, да, не останавливайте меня, я поклялась все высказать,— продолжала раздраженная Наташа.— Вы помните сами: Алеша не слушался вас. Целые полгода вы трудились над ним, чтоб отвлечь его от меня. Он не поддавался вам. И вдруг у вас настала минута, когда время уже не терпело. Упустить его, и невеста, деньги, главное — деньги, целых три миллиона приданого, ускользнут у вас из-под пальцев. Остава-

лось одно: чтоб Алеша полюбил ту, которую вы назначили ему в невесты; вы думали: если полюбит, то, может быть, и отстанет от меня...

— Наташа, Наташа! — с тоскою вскричал Алеша.— Что ты говоришь!

— Вы так и сделали,— продолжала она, не останавливаясь на крик Алеши,— но — и тут опять та же, прежняя история! Все бы могло уладиться, да я-то опять мешаю! Одно только могло вам подать надежду: вы, как опытный и хитрый человек, может быть, уж и тогда заметили, что Алеша иногда как будто тяготится своей прежней привязанностью. Вы не могли не заметить, что он начинает мною пренебрегать, скучать, по пяти дней ко мне не ездит. Авось наскучит совсем и бросит, как вдруг, во вторник, решительный поступок Алеши поразил вас совершенно. Что вам делать!..

— Позвольте,— вскричал князь,— напротив, этот факт...

— Я говорю,— настойчиво перебила Наташа,— вы спросили себя в тот вечер: «Что теперь делать?» и решили: позволить ему жениться на мне, не в самом деле, а только так, *на словах*, чтоб только его успокоить. Срок свадьбы, думали вы, можно отдалять сколько угодно; а между тем новая любовь началась; вы это заметили. И вот на этом-то начале новой любви вы все и основали.

— Романы, романы,— произнес князь вполголоса, как будто про себя,— уединение, мечтательность и чтение романов!

— Да, на этой-то новой любви вы все и основали,— повторила Наташа, не слыхав и не обратив внимания на слова князя, вся в лихорадочном жару и все более и более увлекаясь,— и какие шансы для этой новой любви! Ведь она началась еще тогда, когда он еще не узнал всех совершенств этой девушки! В ту самую минуту, когда он, в тот вечер, открывается этой девушке, что не может ее любить, потому что долг и другая любовь запрещают ему,— эта девушка вдруг выказывает пред ним столько благородства, столько сочувствия к нему и к своей сопернице, столько сердечного прощения, что он хоть и верил в ее красоту, но и не думал до этого мгновения, чтоб она была так прекрасна! Он и ко мне тогда приехал,— только и говорил, что о ней; она слишком поразила его. Да, он назавтра же непременно должен был почувствовать неотразимую потребность увидеть опять это прекрасное существо, хоть из одной только благодарности. Да и почему ж к ней не ехать? Ведь та, прежняя, уже не страдает, судьба ее решена, ведь той целый век отдается, а тут одна какая-нибудь минутка... И что за неблагодарная была бы Наташа, если б она ревновала даже к этой минуте? И вот незаметно отнимается у этой Наташи вместо минуты день, другой, третий. А между тем в это время девушка выказывается

перед ним в совершенно неожиданном, новом виде; она такая благородная, энтузиастка и в то же время такой наивный ребенок, и в этом так сходна с ним характером. Они клянутся друг другу в дружбе, братстве, хотят не разлучаться всю жизнь. *«В какие-нибудь пять-шесть часов разговора»* вся душа его открывается для новых ощущений, и сердце его отдается все... Придет наконец время, думаете вы, он сравнит свою прежнюю любовь с своими новыми, свежими ощущениями: там все знакомое, всегдашнее; там так серьезны, требовательны; там его ревнуют, бранят; там слезы... А если и начинают с ним шалить, играть, то как будто не с ровней, а с ребенком... а главное: все такое прежнее, известное...

Слезы и горькая спазма душили ее, но Наташа скрепилась еще на минуту.

— Что ж дальше? А дальше время; ведь не сейчас же назначена свадьба с Наташей; времени много, и все изменится... А тут ваши слова, намеки, толкования, красноречие... Можно даже и поклеветать на эту досадную Наташу; можно выставить ее в таком невыгодном свете и... как это все разрешится — неизвестно, но победа ваша! Алеша! Не вини меня, друг мой! Не говори, что я не понимаю твоей любви и мало ценю ее. Я ведь знаю, что ты и теперь любишь меня и что в эту минуту, может быть, и не понимаешь моих жалоб. Я знаю, что я очень-очень худо сделала, что теперь это все высказала. Но что же мне делать, если я это все понимаю и все больше и больше люблю тебя... совсем... без памяти!

Она закрыла лицо руками, упала в кресла и зарыдала как ребенок. Алеша с криком бросился к ней. Он никогда не мог видеть без слез ее слезы.

Ее рыдания, кажется, очень помогли князю: все увлечения Наташи в продолжение этого длинного объяснения, все резкости ее выходок против него, которыми уж из одного приличия надо было обидеться, все это теперь, очевидно, можно было свести на безумный порыв ревности, на оскорбленную любовь, даже на болезнь. Даже следовало выказать сочувствие...

— Успокойтесь, утешьтесь, Наталья Николаевна,— утешал князь,— все это исступление, мечты, уединение... Вы так были раздражены его легкомысленным поведением... Но ведь это только одно легкомыслие с его стороны. Самый главный факт, про который вы особенно упоминали, происшествие во вторник, скорей бы должно доказать вам всю безграничность его привязанности к вам, а вы, напротив, подумали...

— О, не говорите мне, не мучайте меня хоть теперь! — прервала Наташа, горько плача,— мне все уже сказало сердце, и давно сказало! Неужели вы думаете, что я не понимаю, что прежняя любовь его вся прошла... Здесь, в этой комнате, одна...

когда он оставлял, забывал меня... я все это пережила... все передумала... Что ж мне и делать было! Я тебя не виню, Алеша... Что вы меня обманываете? Неужели ж вы думаете, что я не пробовала сама себя обманывать!.. О, сколько раз, сколько раз! Разве я не вслушивалась в каждый звук его голоса? Разве я не научилась читать по его лицу, по его глазам?.. Все, все погибло, все схоронено... О, я несчастная!

Алеша плакал перед ней на коленях.

— Да, да, это я виноват! Все от меня!..— повторял он среди рыданий.

— Нет, не вини себя, Алеша... тут есть другие... враги наши. Это они... они!

— Но позвольте же наконец,— начал князь с некоторым нетерпением,— на каком основании приписываете вы мне все эти... преступления? Ведь это одни только ваши догадки, ничем не доказанные...

— Доказательств! — вскричала Наташа, быстро приподымаясь с кресел,— вам доказательств, коварный вы человек! Вы не могли, не могли действовать иначе, когда приходили сюда с вашим предложением! Вам надо было успокоить вашего сына, усыпить его угрызения, чтоб он свободнее и спокойнее отдался весь Кате; без этого он все бы вспоминал обо мне, не поддавался бы вам, а вам наскучило дожидаться. Что, разве это неправда?

— Признаюсь,— отвечал князь с саркастической улыбкой,— если б я хотел вас обмануть, я бы действительно так рассчитал; вы очень... остроумны, но ведь это надобно доказать и тогда уже оскорблять людей такими упреками...

— Доказать! А ваше все прежнее поведение, когда вы отбивали его от меня? Тот, который научает сына пренебрегать и играть такими обязанностями из-за светских выгод, из-за денег,— развращает его! Что вы говорили давеча о лестнице и о дурной квартире? Не вы ли отняли у него жалованье, которое прежде давали ему, чтоб принудить нас разойтись через нужду и голод? Через вас и эта квартира, и эта лестница, а вы же его теперь попрекаете, двуличный вы человек! И откуда у вас вдруг явился тогда, в тот вечер, такой жар, такие новые, вам не свойственные убеждения? И для чего я вам так понадобилась? Я ходила здесь эти четыре дня; я все обдумала, все взвесила, каждое слово ваше, выражение вашего лица и убедилась, что все это было напускное, шутка, комедия, оскорбительная, низкая и недостойная... Я ведь знаю вас, давно знаю! Каждый раз, когда Алеша приезжал от вас, я по лицу его угадывала все, что вы ему говорили, внушали; все влияния ваши на него изучила! Нет, вам не обмануть меня! Может быть, у вас есть и еще какие-нибудь расчеты, может быть, я и не

самое главное теперь высказала; но все равно! Вы меня обманывали — это главное! Это вам и надо было сказать прямо в лицо!..

— Только-то? Это все доказательства? Но подумайте, исступленная вы женщина: этой выходкой (как вы называете мое предложение во вторник) я слишком себя связывал. Это было бы слишком легкомысленно для меня.

— Чем, чем вы себя связывали? Что значит в ваших глазах обмануть меня? Да и что такое обида какой-то девушке! Ведь она несчастная беглянка, отверженная отцом, беззащитная, *замаравшая* себя, *безнравственная!* Стоит ли с ней церемониться, коли эта *шутка* может принесть хоть какую-нибудь, хоть самую маленькую выгоду!

— В какое же положение вы сами ставите себя, Наталья Николаевна, подумайте! Вы непременно настаиваете, что с моей стороны было вам оскорбление. Но ведь это оскорбление так важно, так унизительно, что я не понимаю, как можно даже предположить его, тем более настаивать на нем. Нужно быть уж слишком ко всему приученной, чтоб так легко допускать это, извините меня. Я вправе упрекать вас, потому что вы вооружаете против меня сына: если он не восстал теперь на меня за вас, то сердце его против меня.

— Нет, отец, нет,— вскричал Алеша,— если я не восстал на тебя, то верю, что ты не мог оскорбить, да и не могу я поверить, чтоб можно было так оскорблять!

— Слышите? — вскричал князь.

— Наташа, во всем виноват я, не обвиняй его. Это грешно и ужасно!

— Слышишь, Ваня? Он уж против меня! — вскричала Наташа.

— Довольно! — сказал князь,— надо кончить эту тяжелую сцену. Этот слепой и яростный порыв ревности вне всяких границ рисует ваш характер совершенно в новом для меня виде. Я предупрежден. Мы поторопились, действительно поторопились. Вы даже и не замечаете, как оскорбили меня; для вас это ничего. Поторопились... поторопились... конечно, слово мое должно быть свято, но... я отец и желаю счастья моему сыну...

— Вы отказываетесь от своего слова,— вскричала Наташа вне себя,— вы обрадовались случаю! Но знайте, что я сама, еще два дня тому, здесь, одна, решилась освободить его от его слова, а теперь подтверждаю при всех. Я отказываюсь!

— То есть, может быть, вы хотите воскресить в нем все прежние беспокойства, чувство долга, всю «тоску по своим обязанностям» (как вы сами давеча выразились), для того чтоб этим снова привязать его к себе по-старому. Ведь это выходит

по вашей же теории; я потому так и говорю; но довольно; решит время. Я буду ждать минуты более спокойной, чтоб объясниться с вами. Надеюсь, мы не прерываем отношений наших окончательно. Надеюсь тоже, вы научитесь лучше ценить меня. Я еще сегодня хотел было вам сообщить мой проект насчет ваших родных, из которого вы бы увидали... но довольно! Иван Петрович! — прибавил он, подходя ко мне,— теперь более чем когда-нибудь мне будет драгоценно познакомиться с вами ближе, не говоря уже о давнишнем желании моем. Надеюсь, вы поймете меня. На днях я буду у вас; вы позволите?

Я поклонился. Мне самому казалось, что теперь я уже не мог избежать его знакомства. Он пожал мне руку, молча поклонился Наташе и вышел с видом оскорбленного достоинства.

Глава IV

Несколько минут мы все не говорили ни слова. Наташа сидела задумавшись, грустная и убитая. Вся ее энергия вдруг ее оставила. Она смотрела прямо перед собой, ничего не видя, как бы забывшись и держа руку Алеши в своей руке. Тот тихо доплакивал свое горе, изредка взглядывая на нее с боязливым любопытством.

Наконец он робко начал утешать ее, умолял не сердиться, винил себя; видно было, что ему очень хотелось оправдать отца и что это особенно у него лежало на сердце; он несколько раз заговаривал об этом, но не смел ясно высказаться, боясь снова возбудить гнев Наташи. Он клялся ей во всегдашней, неизменной любви и с жаром оправдывался в своей привязанности к Кате; беспрерывно повторял, что он любит Катю только как сестру, как милую, добрую сестру, которую не может оставить совсем, что это было бы даже грубо и жестоко с его стороны, и все уверял, что если Наташа узнает Катю, то они обе тотчас же подружатся, так что никогда не разойдутся, и тогда уже никаких не будет недоразумений. Эта мысль ему особенно нравилась. Бедняжка не лгал нисколько. Он не понимал опасений Наташи, да и вообще не понял хорошо, что она давеча говорила его отцу. Понял только, что они поссорились, и это-то особенно лежало камнем на его сердце.

— Ты меня винишь за отца? — спросила Наташа.

— Могу ль я винить,— отвечал он с горьким чувством,— когда сам всему причиной и во всем виноват? Это я довел тебя до такого гнева, а ты в гневе и его обвинила, потому что хотела меня оправдать; ты меня всегда оправдываешь, а я не стою того. Надо было сыскать виноватого, вот ты и подумала, что он. А он, право, право, не виноват! — воскликнул Алеша,

одушевляясь.— И с тем ли он приезжал сюда! Того ли ожидал!

Но, видя, что Наташа смотрит на него с тоской и упреком, тотчас оробел.

— Ну, не буду, не буду, прости меня,— сказал он.— Я всему причиною!

— Да, Алеша,— продолжала она с тяжким чувством.— Теперь он прошел между нами и нарушил наш мир, на всю жизнь. Ты всегда в меня верил больше, чем во всех; теперь же он влил в твое сердце подозрение против меня, недоверие, ты винишь меня, он взял у меня половину твоего сердца. Черная *кошка* пробежала между нами.

— Не говори так, Наташа. Зачем ты говоришь: «черная кошка»? — Он огорчился выражением.

— Он фальшивою добротою, ложным великодушием привлек тебя к себе,— продолжала Наташа,— и теперь все больше и больше будет восстановлять тебя против меня.

— Клянусь тебе, что нет! — вскричал Алеша еще с большим жаром.— Он был раздражен, когда сказал, что «поторопились»,— ты увидишь сама, завтра же, на днях, он спохватится, и если он до того рассердился, что в самом деле не захочет нашего брака, то я, клянусь тебе, его не послушаюсь. У меня, может быть, достанет на это силы... И знаешь, кто нам поможет,— вскричал он вдруг с восторгом от своей идеи.— Катя нам поможет! И ты увидишь, ты увидишь, что за прекрасное это созданье! Ты увидишь, хочет ли она быть твоей соперницей и разлучить нас! И как ты несправедлива была давеча, когда говорила, что я из таких, которые могут разлюбить на другой день после свадьбы! Как это мне горько было слышать! Нет, я не такой, и если я часто ездил к Кате...

— Полно, Алеша, будь у ней, когда хочешь. Я не про то давеча говорила. Ты не понял всего. Будь счастлив с кем хочешь. Не могу же я требовать у твоего сердца больше, чем оно может мне дать...

Вошла Мавра.

— Что ж, подавать чай, что ли? Шутка ли, два часа самовар кипит; одиннадцать часов.

Она спросила грубо и сердито; видно было, что она очень не в духе и сердилась на Наташу. Дело в том, что она все эти дни, со вторника, была в таком восторге, что ее барышня (которую она очень любила) выходит замуж, что уже успела разгласить это по всему дому, в околодке, в лавочке, дворнику. Она хвалилась и с торжеством рассказывала, что князь, важный человек, генерал и ужасно богатый, сам приезжал просить согласия ее барышни, и она, Мавра, собственными ушами это слышала, и вдруг, теперь, все пошло прахом. Князь уехал рассерженный, и чаю не подавали, и, уж разумеется, всему

виновата барышня. Мавра слышала, как она говорила с ним непочтительно.

— Что ж... подай,— отвечала Наташа.

— Ну, а закуску-то подавать, что ли?

— Ну, и закуску,— Наташа смешалась.

— Готовили, готовили! — продолжала Мавра,— со вчерашнего дня без ног. За вином на Невский бегала, а тут...— И она вышла, сердито хлопнув дверью.

Наташа покраснела и как-то странно взглянула на меня. Между тем подали чай, тут же и закуску; была дичь, какая-то рыба, две бутылки превосходного вина от Елисеева. «К чему ж это все наготовили?» — подумал я.

— Это я, видишь, Ваня, вот какая,— сказала Наташа, подходя к столу и конфузясь даже передо мной.— Ведь предчувствовала, что все это сегодня так выйдет, как вышло, а все-таки думала, что авось, может быть, и не так кончится. Алеша приедет, начнет мириться, мы помиримся; все мои подозрения окажутся несправедливыми, меня разуверят, и... на всякий случай я и приготовила закуску. Что ж, думала, мы заговоримся, засидимся...

Бедная Наташа! Она так покраснела, говоря это. Алеша пришел в восторг.

— Вот видишь, Наташа! — вскричал он.— Сама ты себе не верила; два часа тому назад еще не верила своим подозрениям! Нет, это надо все поправить; я виноват, я всему причиной, я все и поправлю. Наташа, позволь мне сейчас же к отцу! Мне надо его видеть; он обижен, он оскорблен; его надо утешить, я ему выскажу все, все от себя, только от одного себя; ты тут не будешь замешана. И я все улажу... Не сердись на меня, что я так хочу к нему и что тебя хочу оставить. Совсем не то: мне жаль его; он оправдается перед тобой; увидишь... Завтра, чем свет, я у тебя, и весь день у тебя, к Кате не поеду...

Наташа его не останавливала, даже сама посоветовала ехать. Она ужасно боялась, что Алеша будет теперь нарочно, *через силу*, просиживать у нее целые дни и наскучит ею. Она просила только, чтоб он от ее имени ничего не говорил, и старалась повеселее улыбнуться ему на прощание. Он уже хотел было выйти, но вдруг подошел к ней, взял ее за обе руки и сел подле нее. Он смотрел на нее с невыразимою нежностью.

— Наташа, друг мой, ангел мой, не сердись на меня, и не будем никогда ссориться. И дай мне слово, что будешь всегда во всем верить мне, а я тебе. Вот что, мой ангел, я тебе расскажу теперь: были мы раз с тобой в ссоре, не помню за что; я был виноват. Мы не говорили друг с другом. Мне не хотелось просить прощения первому, а было мне ужасно грустно. Я ходил

по городу, слонялся везде, заходил к приятелям, а в сердце было так тяжело, так тяжело... И пришло мне тогда на ум: что если б ты, например, от чего-нибудь заболела и умерла. И когда я вообразил себе это, на меня вдруг нашло такое отчаяние, точно я в самом деле навеки потерял тебя. Мысли всё шли тяжелее, ужаснее. И вот мало-помалу я стал воображать себе, что пришел будто я к тебе на могилу, упал на нее без памяти, обнял ее и замер в тоске. Вообразил я себе, как бы я целовал эту могилу, звал бы тебя из нее, хоть на одну минуту, и молил бы у бога чуда, чтоб ты хоть на одно мгновение воскресла бы передо мною; представилось мне, как бы я бросился обнимать тебя, прижал бы к себе, целовал и, кажется, умер бы тут от блаженства, что хоть одно мгновение мог еще раз, как прежде, обнять тебя. И когда я воображал себе это, мне вдруг подумалось: вот я на одно мгновение буду просить тебя у бога, а между тем была же ты со мною шесть месяцев и в эти шесть месяцев сколько раз мы поссорились, сколько дней мы не говорили друг с другом! Целые дни мы были в ссоре и пренебрегали нашим счастьем, а тут только на одну минуту вызываю тебя из могилы и за эту минуту готов заплатить всею жизнью!.. Как вообразил я это все, я не мог выдержать и бросился к тебе скорей, прибежал сюда, а ты уж ждала меня, и, когда мы обнялись после ссоры, помню, я так крепко прижал тебя к груди, как будто и в самом деле лишаюсь тебя. Наташа! не будем никогда ссориться! Это так мне всегда тяжело! И можно ли, господи! подумать, чтоб я мог оставить тебя!

Наташа плакала. Они крепко обнялись друг с другом, и Алеша еще раз поклялся ей, что никогда ее не оставит. Затем он полетел к отцу. Он был в твердой уверенности, что все уладит, все устроит.

— Все кончено! Все пропало! — сказала Наташа, судорожно сжав мою руку.— Он меня любит и никогда не разлюбит; но он и Катю любит и через несколько времени будет любить ее больше меня. А эта ехидна князь не будет дремать, и тогда...

— Наташа! Я сам верю, что князь поступает не чисто, но...

— Ты не веришь всему, что я ему высказала! Я заметила это по твоему лицу. Но погоди, сам увидишь, права была я или нет? Я ведь еще только вообще говорила, а бог знает, что у него еще в мыслях! Это ужасный человек! Я ходила эти четыре дня здесь по комнате и догадалась обо всем. Ему именно надо было освободить, облегчить сердце Алеши от его грусти, мешавшей ему жить, от обязанностей любви ко мне. Он выдумал это сватовство и для того еще, чтоб втереться между нами своим влиянием и очаровать Алешу благородством и великодушием. Это правда, правда, Ваня! Алеша именно такого характера. Он бы успокоился на мой счет; тревога бы у него прошла за меня.

Он бы думал: что ведь теперь уж она жена моя, навеки со мной, и невольно бы обратил больше внимания на Катю. Князь, видно, изучил эту Катю и угадал, что она пара ему, что она может его сильней увлечь, чем я. Ох, Ваня! На тебя вся моя надежда теперь: он для чего-то хочет с тобой сойтись, знакомиться. Не отвергай этого и старайся, голубчик, ради бога, поскорее попасть к графине. Познакомься с этой Катей, разгляди ее лучше и скажи мне: что она такое? Мне надо, чтоб там был твой взгляд. Никто так меня не понимает, как ты, и ты поймешь, что мне надо. Разгляди еще, в какой степени они дружны, что между ними, об чем они говорят; Катю, Катю, главное, рассмотри... Докажи мне еще этот раз, милый, возлюбленный мой Ваня, докажи мне еще раз свою дружбу! На тебя, только на тебя теперь и надежда моя!..

Когда я воротился домой, был уже первый час ночи. Нелли отворила мне с заспанным лицом. Она улыбнулась и светло посмотрела на меня. Бедняжка очень досадовала на себя, что заснула. Ей все хотелось меня дождаться. Она сказала, что меня кто-то приходил спрашивать, сидел с ней и оставил на столе записку. Записка была от Маслобоева. Он звал меня к себе завтра, в первом часу. Мне хотелось расспросить Нелли, но я отложил до завтра, настаивая, чтоб она непременно шла спать; бедняжка и без того устала, ожидая меня, и заснула только за полчаса до моего прихода.

Глава V

Наутро Нелли рассказала мне про вчерашнее посещение довольно странные вещи. Впрочем, уж и то было странно, что Маслобоев вздумал в этот вечер прийти: он наверно знал, что я не буду дома; я сам предуведомил его об этом при последнем нашем свидании и очень хорошо это помнил. Нелли рассказывала, что сначала она было не хотела отпирать, потому что боялась: было уж восемь часов вечера. Но он упросил ее через запертую дверь, уверяя, что если он не оставит мне теперь записку, то завтра мне почему-то будет очень худо. Когда она его впустила, он тотчас же написал записку, подошел к ней и уселся подле нее на диване. «Я встала и не хотела с ним говорить,— рассказывала Нелли,— я его очень боялась; он начал говорить про Бубнову, как она теперь сердится, что она уж не смеет меня теперь взять, и начал вас хвалить; сказал, что он с вами большой друг и вас маленьким мальчиком знал. Тут я стала с ним говорить. Он вынул конфеты и просил, чтоб и я взяла; я не хотела; он стал меня уверять тогда, что он добрый человек,

умеет петь песни и плясать; вскочил и начал плясать. Мне стало смешно. Потом сказал, что посидит еще немножко,— дождусь Ваню, авось воротится,— и очень просил меня, чтоб я не боялась и села подле него. Я села; но говорить с ним ничего не хотела. Тогда он сказал мне, что знал мамашу и дедушку и... тут я стала говорить. И он долго сидел».

— А об чем же вы говорили?

— О мамаше... о Бубновой... о дедушке. Он сидел часа два.

Нелли как будто не хотелось рассказывать, об чем они говорили. Я не расспрашивал, надеясь узнать все от Маслобоева. Мне показалось только, что Маслобоев нарочно заходил без меня, чтоб застать Нелли одну. «Для чего ему это?» — подумал я.

Она показала мне три конфетки, которые он ей дал. Это были леденцы, в зеленых и красных бумажках, прескверные и, вероятно, купленные в овощной лавочке. Нелли засмеялась, показывая мне их.

— Что ж ты их не ела? — спросил я.

— Не хочу,— отвечала она серьезно, нахмурив брови.— Я и не брала у него; он сам на диване оставил...

В этот день мне предстояло много ходьбы. Я стал прощаться с Нелли.

— Скучно тебе одной? — спросил я ее, уходя.

— И скучно и не скучно. Скучно потому, что вас долго нет.

И она с такою любовью взглянула на меня, сказав это. Все это утро она смотрела на меня таким же нежным взглядом и казалась такою веселенькою, такою ласковою, и в то же время что-то стыдливое, даже робкое было в ней, как будто она боялась чем-нибудь досадить мне, потерять мою привязанность и... и слишком высказаться, точно стыдясь этого.

— А чем же не скучно-то? Ведь ты сказала, что тебе «и скучно и не скучно»? — спросил я, невольно улыбаясь ей, так становилась она мне мила и дорога.

— Уж я сама знаю чем,— отвечала она, усмехнувшись, и чего-то опять застыдилась. Мы говорили на пороге, у растворенной двери. Нелли стояла передо мной, потупив глазки, одной рукой схватившись за мое плечо, а другою пощипывая мне рукав сюртука.

— Что ж это, секрет? — спросил я.

— Нет... ничего... я — я вашу книжку без вас читать начала,— проговорила она вполголоса и, подняв на меня нежный, проницающий взгляд, вся закраснелась.

— А, вот как! Что ж, нравится тебе? — я был в замешательстве автора, которого похвалили в глаза, но я бы бог знает что дал, если б мог в эту минуту поцеловать ее. Но как-то нельзя было поцеловать. Нелли помолчала.

— Зачем, зачем он умер? — спросила она с видом глубочайшей грусти, мельком взглянув на меня и вдруг опять опустив глаза.

— Кто это?

— Да вот этот, молодой, в чахотке... в книжке-то?

— Что ж делать, так надо было, Нелли.

— Совсем не надо,— отвечала она почти шепотом, но как-то вдруг, отрывисто, чуть не сердито, надув губки и еще упорнее уставившись глазами в пол.

Прошла еще минута.

— А она... ну, вот и они-то... девушка и старичок,— шептала она, продолжая как-то усиленнее пощипывать меня за рукав,— что ж, они будут жить вместе? И не будут бедные?

— Нет, Нелли, она уедет далеко; выйдет замуж за помещика, а он один останется,— отвечал я с крайним сожалением, действительно сожалея, что не могу ей сказать чего-нибудь утешительнее.

— Ну, вот... Вот! Вот как это! У, какие!.. Я и читать теперь не хочу!

И она сердито оттолкнула мою руку, быстро отвернулась от меня, ушла к столу и стала лицом к углу, глазами в землю. Она вся покраснела и неровно дышала, точно от какого-то ужасного огорчения.

— Полно, Нелли, ты рассердилась! — начал я, подходя к ней,— ведь это все неправда, что написано,— выдумка; ну, чего ж тут сердиться! Чувствительная ты девочка!

— Я не сержусь,— проговорила она робко, подняв на меня такой светлый, такой любящий взгляд; потом вдруг схватила мою руку, прижала к моей груди лицо и отчего-то заплакала.

Но в ту же минуту и засмеялась,— и плакала и смеялась — все вместе. Мне тоже было и смешно, и как-то... сладко. Но она ни за что не хотела поднять ко мне голову, и когда я стал было отрывать ее личико от моего плеча, она все крепче приникала к нему и все сильнее и сильнее смеялась.

Наконец кончилась эта чувствительная сцена. Мы простились; я спешил. Нелли, вся разрумянившаяся и все еще как будто пристыженная и с сияющими, как звездочки, глазками, выбежала за мной на самую лестницу и просила воротиться скорее. Я обещал, что непременно ворочусь к обеду и как можно пораньше.

Сначала я пошел к старикам. Оба они хворали. Анна Андреевна была совсем больная; Николай Сергеич сидел у себя в кабинете. Он слышал, что я пришел, но я знал, что, по обыкновению своему, он выйдет не раньше, как через четверть часа, чтоб дать нам наговориться. Я не хотел очень расстраивать Анну Андреевну и потому смягчал по возможности мой рассказ о вчерашнем

вечере, но высказал правду; к удивлению моему, старушка хоть и огорчилась, но как-то без удивления приняла известие о возможности разрыва.

— Ну, батюшка, так я и думала,— сказала она.— Вы ушли тогда, а я долго продумала и надумалась, что не бывать этому. Не заслужили мы у господа бога, да и человек-то такой подлый; можно ль от него добра ожидать. Шутка ль десять тысяч с нас задаром берет, знает ведь, что задаром, и все-таки берет. Последний кусок хлеба отнимает; продадут Ихменевку. А Наташечка справедлива и умна, что им не поверила. Да знаете ль вы еще, батюшка,— продолжала она, понизив голос,— мой-то, мой-то! Совсем напротив этой свадьбы идет. Проговариваться стал: не хочу, говорит! Я сначала думала, что он блажит; нет, взаправду. Что ж тогда с ней-то будет, с голубушкой? Ведь он ее тогда совсем проклянет. Ну, а тот-то, Алеша-то, он-то что?

И долго еще она меня расспрашивала и, по обыкновению своему, охала и сетовала с каждым моим ответом. Вообще я заметил, что она в последнее время как-то совсем потерялась. Всякое известие потрясало ее. Скорбь об Наташе убивала ее сердце и здоровье.

Вошел старик, в халате, в туфлях; он жаловался на лихорадку, но с нежностью посмотрел на жену и все время, как я у них был, ухаживал за ней, как нянька, смотрел ей в глаза, даже робел перед нею. Во взглядах его было столько нежности. Он был испуган ее болезнью; чувствовал, что лишится всего в жизни, если и ее потеряет.

Я просидел у них с час. Прощаясь, он вышел за мною до передней и заговорил о Нелли. У него была серьезная мысль принять ее к себе в дом вместо дочери. Он стал советоваться со мной, как склонить на то Анну Андреевну. С особенным любопытством расспрашивал меня о Нелли и не узнал ли я о ней еще чего нового?

Я наскоро рассказал ему. Рассказ мой произвел на него впечатление.

— Мы еще поговорим об этом,— сказал он решительно,— а покамест... а впрочем, я сам к тебе приду, вот только немножко поправлюсь здоровьем. Тогда и решим.

Ровно в двенадцать часов я был у Маслобоева. К величайшему моему изумлению, первое лицо, которое я встретил, войдя к нему, был князь. Он в передней надевал свое пальто, а Маслобоев суетливо помогал ему и подавал ему его трость. Он уж говорил мне о своем знакомстве с князем, но все-таки эта встреча чрезвычайно изумила меня.

Князь как будто смешался, увидев меня.

— Ах, это вы! — вскрикнул он как-то уж слишком с жаром,— представьте, какая встреча! Впрочем, я сейчас узнал от

господина Маслобоева, что вы с ним знакомы. Рад, рад, чрезвычайно рад, что вас встретил; я именно желал вас видеть и надеюсь как можно скорее заехать к вам, вы позволите? У меня просьба до вас: помогите мне, разъясните теперешнее положение наше. Вы, верно, поняли, что я говорю про вчерашнее. Вы там знакомы дружески, вы следили за всем ходом этого дела: вы имеете влияние... Ужасно жалею, что не могу с вами теперь же... Дела! Но на днях и даже, может быть, скорее я буду иметь удовольствие быть у вас. А теперь...

Он как-то уж слишком крепко пожал мне руку, перемигнулся с Маслобоевым и вышел.

— Скажи ты мне, ради бога...— начал было я, входя в комнату.

— Ровно-таки ничего тебе не скажу,— перебил Маслобоев, поспешно хватая фуражку и направляясь в переднюю,— дела! Я, брат, сам бегу, опоздал!..

— Да ведь ты сам написал, что в двенадцать часов.

— Что ж такое, что написал? Вчера тебе написал, а сегодня мне написали, да так, что лоб затрещал,— такие дела! Ждут меня. Прости, Ваня. Все, что могу предоставить тебе в удовлетворение, это исколотить меня за то, что напрасно тебя потревожил. Если хочешь удовлетвориться, то колоти, но только, ради Христа, поскорее! Не задержи, дела, ждут...

— Да зачем мне тебя колотить? Дела, так спеши, у всякого бывает свое непредвиденное. А только...

— Нет, про *только*-то уж я скажу,— перебил он, выскакивая в переднюю и надевая шинель (за ним и я стал одеваться).— У меня и до тебя дело; очень важное дело, за ним-то я и звал тебя; прямо до тебя касается и до твоих интересов. А так как в одну минуту, теперь, рассказать нельзя, то дай ты, ради бога, слово, что придешь ко мне сегодня ровно в семь часов, ни раньше, ни позже. Буду дома.

— Сегодня,— сказал я в нерешимости,— ну, брат, я сегодня вечером хотел было зайти...

— Зайди, голубчик, сейчас туда, куда ты хотел вечером зайти, а вечером ко мне. Потому, Ваня, и вообразить не можешь, какие я вещи тебе сообщу.

— Да изволь, изволь; что бы такое? Признаюсь, ты завлек мое любопытство.

Между тем мы вышли из ворот дома и стояли на тротуаре.

— Так будешь? — спросил он настойчиво.

— Сказал, что буду.

— Нет, дай честное слово.

— Фу, какой! Ну, честное слово.

— Отлично и благородно. Тебе куда?

— Сюда,— отвечал я, показывая направо.

— Ну, а мне сюда,— сказал он, показывая налево.— Прощай, Ваня! Помни, семь часов.

«Странно»,— подумал я, смотря ему вслед.

Вечером я хотел быть у Наташи. Но так как теперь дал слово Маслобоеву, то и рассудил отправиться к ней сейчас. Я был уверен, что застану у ней Алешу. Действительно, он был там и ужасно обрадовался, когда я вошел.

Он был очень мил, чрезвычайно нежен с Наташей и даже развеселился с моим приходом. Наташа хоть и старалась казаться веселою, но видно было, что через силу. Лицо ее было больное и бледное; плохо спала ночью. К Алеше она была как-то усиленно ласкова.

Алеша хоть и много говорил, много рассказывал, по-видимому, желая развеселить ее и сорвать улыбку с ее невольно складывавшихся не в улыбку губ, но заметно обходил в разговоре Катю и отца. Вероятно, вчерашняя его попытка примирения не удалась.

— Знаешь что? Ему ужасно хочется уйти от меня,— шепнула мне наскоро Наташа, когда он вышел на минуту что-то сказать Мавре,— да и боится. А я сама боюсь ему сказать, чтоб он уходил, потому что он тогда, пожалуй, нарочно не уйдет, а пуще всего боюсь, что он соскучится и за это совсем охладеет ко мне! Как сделать?

— Боже, в какое положение вы сами себя ставите! И какие вы мнительные, как вы следите друг за другом! Да просто объясниться, ну и кончено. Вот через это-то положение он, может быть, и действительно соскучится.

— Как же быть? — вскричала она, испуганная.

— Постой, я вам все улажу...— и я вышел в кухню, под предлогом попросить Мавру обтереть одну очень загрязнившуюся мою калошу.

— Осторожнее, Ваня! — закричала она мне вслед.

Только что я вошел к Мавре, Алеша так и бросился ко мне, точно меня ждал:

— Иван Петрович, голубчик, что мне делать? Посоветуйте мне: я еще вчера дал слово быть сегодня, именно теперь, у Кати. Не могу же я манкировать! Я люблю Наташу как не знаю что, готов просто в огонь, но согласитесь сами, там совсем бросить, ведь это нельзя...

— Ну, что ж, поезжайте...

— Да как же Наташа-то? Ведь я огорчу ее, Иван Петрович, выручите как-нибудь...

— По-моему, лучше поезжайте. Вы знаете, как она вас любит; ей все будет казаться, что вам с ней скучно и что вы с ней сидите насильно. Непринужденнее лучше. Впрочем, пойдемте, я вам помогу.

— Голубчик, Иван Петрович! Какой вы добрый!

Мы вошли; через минуту я сказал ему:

— А я видел сейчас вашего отца.

— Где? — вскричал он, испуганный.

— На улице, случайно. Он остановился со мной на минуту, опять просил быть знакомым. Спрашивал об вас: не знаю ли я, где теперь вы? Ему очень надо было вас видеть, что-то сказать вам.

— Ах, Алеша, съезди, покажись ему,— подхватила Наташа, понявшая, к чему я клоню.

— Но... где ж я его теперь встречу? Он дома?

— Нет, помнится, он сказал, что он у графини будет.

— Ну, так как же...— наивно произнес Алеша, печально смотря на Наташу.

— Ах, Алеша, так что же! — сказала она.— Неужели ж ты вправду хочешь оставить это знакомство, чтоб меня успокоить. Ведь это по-детски. Во-первых, это невозможно, а во-вторых, ты просто будешь неблагороден перед Катей. Вы друзья; разве можно так грубо разрывать связи. Наконец, ты меня просто обижаешь, коли думаешь, что я так тебя ревную. Поезжай, немедленно поезжай, я прошу тебя! Да и отец твой успокоится.

— Наташа, ты ангел, а я твоего пальчика не стою! — вскричал Алеша с восторгом и с раскаянием.— Ты так добра, а я... я... ну узнай же! Я сейчас же просил там, в кухне, Ивана Петровича, чтоб он помог мне уехать от тебя. Он это и выдумал. Но не суди меня, ангел Наташа! Я не совсем виноват, потому что люблю тебя в тысячу раз больше всего на свете и потому выдумал новую мысль: открыться во всем Кате и немедленно рассказать ей все наше теперешнее положение и все, что вчера было. Она что-нибудь выдумает для нашего спасения, она нам всею душою предана...

— Ну и ступай,— отвечала Наташа, улыбаясь,— и вот что, друг мой, я сама хотела бы очень познакомиться с Катей. Как бы это устроить?

Восторгу Алеши не было пределов. Он тотчас же пустился в предположения, как познакомиться. По его выходило очень легко: Катя выдумает. Он развивал свою идею с жаром, горячо. Сегодня же обещался и ответ принести, через два же часа, и вечер просидеть у Наташи.

— Вправду приедешь? — спросила Наташа, отпуская его.

— Неужели ты сомневаешься? Прощай, Наташа, прощай, возлюбленная ты моя,— вечная моя возлюбленная! Прощай, Ваня! Ах, боже мой, я вас нечаянно назвал Ваней; послушайте, Иван Петрович, я вас люблю — зачем мы не на *ты*. Будем на *ты*.

— Будем на *ты*.

— Слава богу! Ведь мне это сто раз в голову приходило. Да я все как-то не смел вам сказать. Вот и теперь *вы* говорю. А ведь это очень трудно *ты* говорить. Это, кажется, где-то у Толстого хорошо выведено: двое дали друг другу слово говорить *ты*, да и никак не могут и все избегают такие фразы, в которых местоимения. Ах, Наташа! Перечтем когда-нибудь «Детство и отрочество»*; ведь как хорошо!

— Да уж ступай, ступай,— прогоняла Наташа, смеясь,— заболтался от радости...

— Прощай! Через два часа у тебя!

Он поцеловал у ней руку и поспешно вышел.

— Видишь, видишь, Ваня! — проговорила она и залилась слезами.

Я просидел с ней часа два, утешал ее и успел убедить во всем. Разумеется, она была во всем права, во всех своих опасениях. У меня сердце было в тоске, когда я думал о теперешнем ее положении; боялся я за нее. Но что ж было делать?

Странен был для меня и Алеша: он любил ее не меньше, чем прежде, даже, может быть, и сильнее, мучительнее, от раскаяния и благодарности. Но в то же время новая любовь крепко вселялась в его сердце. Чем это кончится — невозможно было предвидеть. Мне самому ужасно любопытно было посмотреть на Катю. Я снова обещал Наташе познакомиться с нею.

Под конец она даже как будто развеселилась. Между прочим, я рассказал ей все о Нелли, о Маслобоеве, о Бубновой, о сегодняшней встрече моей у Маслобоева с князем и о назначенном свидании в семь часов. Все это ужасно ее заинтересовало. О стариках я говорил с ней немного, а о посещении Ихменева умолчал, до времени; предполагаемая дуэль Николая Сергеича с князем могла испугать ее. Ей тоже показались очень странными сношения князя с Маслобоевым и чрезвычайное его желание познакомиться со мною, хотя все это и довольно объяснялось теперешним положением...

Часа в три я воротился домой. Нелли встретила меня с своим светлым личиком...

Глава VI

Ровно в семь часов вечера я уже был у Маслобоева. Он встретил меня с громкими криками и с распростертыми объятиями. Само собой разумеется, он был вполпьяна. Но более всего меня удивили чрезвычайные приготовления к моей встрече. Видно было, что меня ожидали. Хорошенький томпаковый* самовар кипел на круглом столике, накрытом прекрасною и дорогою скатертью. Чайный прибор блистал хрусталем, серебром

и фарфором. На другом столе, покрытом другого рода, но не менее богатой скатертью, стояли на тарелках конфеты, очень хорошие, варенья киевские, жидкие и сухие, мармелад, пастила, желе, французские варенья, апельсины, яблоки и трех или четырех сортов орехи,— одним словом, целая фруктовая лавка. На третьем столе, покрытом белоснежною скатертью, стояли разнообразнейшие закуски: икра, сыр, пастет, колбасы, копченый окорок, рыба и строй превосходных хрустальных графинов с водками многочисленных сортов и прелестнейших цветов — зеленых, рубиновых, коричневых, золотых. Наконец, на маленьком столике, в стороне, тоже накрытом белою скатертью, стояли две вазы с шампанским. На столе перед диваном красовались три бутылки: сотерн, лафит* и коньяк,— бутылки елисеевские и предорогие. За чайным столиком сидела Александра Семеновна хоть и в простом платье и уборе, но, видимо, изысканном и обдуманном, правда, очень удачно. Она понимала, что к ней идет, и, видимо, этим гордилась; встречая меня, она привстала с некоторою торжественностью. Удовольствие и веселость сверкали на ее свеженьком личике. Маслобоев сидел в прекрасных китайских туфлях, в дорогом халате и в свежем щегольском белье. На рубашке его были везде, где только можно было прицепить, модные запонки и пуговки. Волосы были расчесаны, напомажены и с косым пробором, по-модному.

Я так был озадачен, что остановился среди комнаты и смотрел, раскрыв рот, то на Маслобоева, то на Александру Семеновну, самодовольство которой доходило до блаженства.

— Что это, Маслобоев? Разве у тебя сегодня званый вечер? — вскричал я наконец с беспокойством.

— Нет, ты один,— отвечал он торжественно.

— Да что же это (я указал на закуски), ведь тут можно накормить целый полк?

— И напоить,— главное забыл: напоить! — прибавил Маслобоев.

— И это все для одного меня?

— И для Александры Семеновны. Все это ей угодно было так сочинить.

— Ну, вот уж! Я так и знала! — воскликнула, закрасневшись, Александра Семеновна, но нисколько не потеряв своего довольного вида.— Гостя прилично принять нельзя: тотчас я виновата!

— С самого утра, можешь себе представить, с самого утра, только что узнала, что ты придешь на вечер, захлопотала; в муках была...

— И тут солгал! Вовсе не с самого утра, а со вчерашнего вечера. Ты вчера вечером, как пришел, так и сказал мне, что они в гости на целый вечер придут...

— Это вы ослышались-с.

— Вовсе не ослышалась, а так было. Я никогда не лгу. А почему ж гостя не встретить? Живем-живем, никто-то к нам не ходит, а все-то у нас есть. Пусть же хорошие люди видят, что и мы умеем, как люди, жить.

— И главное, узнают, какая вы великолепная хозяйка и распорядительница,— прибавил Маслобоев.— Представь, дружище, я-то, я-то за что тут попался. Рубашку голландскую на меня напялили, запонки натыкали, туфли, халат китайский, волосы расчесала мне сама и распомадила: бергамот-с; духами какими-то попрыскать хотела: крем-брюле, да уж тут я не вытерпел, восстал, супружескую власть показал...

— Вовсе не бергамот, а самая лучшая французская помада, из фарфоровой расписной баночки! — подхватила, вся вспыхнув, Александра Семеновна.— Посудите сами, Иван Петрович, ни в театр, ни танцевать никуда не пускает, только платья дарит, а что мне в платье-то? Наряжусь да и хожу одна по комнате. Намедни упросила, совсем уж было собрались в театр; только что отвернулась брошку прицепить, а он к шкапику: одну, другую, да и накатился. Так и остались. Никто-то, никто-то, никто-то не ходит к нам в гости; а только по утрам, по делам какие-то люди ходят; меня и прогонят. А между тем и самовары, и сервиз есть, и чашки хорошие — все это есть, все дареное. И съестное-то нам носят, почти одно вино покупаем да какую-нибудь помаду, да вот там закуски,— пастет, окорока да конфеты для вас купили... Хоть бы посмотрел кто, как мы живем! Целый год думала: вот придет гость, настоящий гость, мы все это и покажем, и угостим: и люди похвалят, и самим любо будет; а что его, дурака, напомадила, так он и не стоит того; ему бы все в грязном ходить. Вон какой халат на нем: подарили, да стоит ли он такого халата? Ему бы только нализаться прежде всего. Вот увидите, что он вас будет прежде чаю водкой просить.

— А что! Ведь и вправду дело: выпьем-ка, Ваня, золотую и серебряную, а потом, с освеженной душой и к другим напиткам приступим.

— Ну, так я и знала!

— Не беспокойтесь, Сашенька, и чайку выпьем, с коньячком, за ваше здоровье-с.

— Ну, так и есть! — вскричала она, всплеснув руками.— Чай ханский, по шести целковых, третьего дня купец подарил, а он его с коньяком хочет пить. Не слушайте, Иван Петрович, вот я вам сейчас налью... увидите, сами увидите, какой чай!

И она захлопотала у самовара.

Было понятно, что рассчитывали меня продержать весь вечер. Александра Семеновна целый год ожидала гостя и теперь

готовилась отвести на мне душу. Все это было не в моих расчетах.

— Послушай, Маслобоев,— сказал я, усаживаясь,— ведь я к тебе вовсе не в гости; я по делам; ты сам меня звал что-то сообщить.

— Ну, так ведь дело делом, а приятельская беседа своим чередом.

— Нет, душа моя, не рассчитывай. В половину девятого — и прощай. Дело есть; я дал слово...

— Не думаю. Помилуй, что ж ты со мной делаешь? Что ж ты с Александрой-то Семеновной делаешь? Ты взгляни на нее: обомлела. За что ж меня напомадила-то: ведь на мне бергамот; подумай!

— Ты все шутишь, Маслобоев. Я Александре Семеновне поклянусь, что на будущей неделе, ну хоть в пятницу, приду к вам обедать; а теперь, брат, я дал слово, или, лучше сказать, мне просто надобно быть в одном месте. Лучше объясни мне: что ты хотел сообщить?

— Так неужели ж вы только до половины девятого! — вскричала Александра Семеновна робким и жалобным голосом, чуть не плача и подавая мне чашку превосходного чаю.

— Не беспокойтесь, Сашенька; все это вздор,— подхватил Маслобоев.— Он останется; это вздор. А вот что ты лучше скажи мне, Ваня, куда это ты все уходишь? Какие у тебя дела? Можно узнать? Ведь ты каждый день куда-то бегаешь, не работаешь...

— А зачем тебе? Впрочем, может быть, скажу после. А вот объясни-ка ты лучше, зачем ты приходил ко мне вчера, когда я сам сказал тебе, помнишь, что меня не будет дома?

— Потом вспомнил, а вчера забыл. Об деле действительно хотел с тобою поговорить, но пуще всего надо было утешить Александру Семеновну. «Вот, говорит, есть человек, оказался приятель, зачем не позовешь?» И уж меня, брат, четверо суток за тебя продергивают. За бергамот мне, конечно, на том свете сорок грехов простят, но, думаю, отчего же не посидеть вечерок по-приятельски? Я и употребил стратагему*: написал, что, дескать, такое дело, что если не придешь, то все наши корабли потонут.

Я попросил его вперед так не делать, а лучше прямо предуведомить. Впрочем, это объяснение меня не совсем удовлетворило.

— Ну, а давеча-то зачем бежал от меня? — спросил я.

— А давеча действительно было дело, настолечко не солгу.

— Не с князем ли?

— А вам нравится наш чай? — спросила медовым голоском Александра Семеновна.

Вот уж пять минут она ждала, что я похвалю их чай, а я и не догадался.

— Превосходный, Александра Семеновна, великолепный! Я еще и не пивал такого.

Александра Семеновна так и зарделась от удовольствия и бросилась наливать мне еще.

— Князь! — вскричал Маслобоев,— этот князь, брат, такая шельма, такой плут... ну! Я, брат, вот что тебе скажу: я хоть и сам плут, но из одного целомудрия не захотел бы быть в его коже! Но довольно; молчок! Только это одно об нем и могу сказать.

— А я, как нарочно, пришел к тебе, чтобы и об нем расспросить между прочим. Но это после. А зачем ты вчера без меня моей Елене леденцов давал да плясал перед ней? И об чем ты мог полтора часа с ней говорить!

— Елена, это маленькая девочка, лет двенадцати или одиннадцати, живет до времени у Ивана Петровича,— объяснил Маслобоев, вдруг обращаясь к Александре Семеновне.— Смотри, Ваня, смотри,— продолжал он, показывая на нее пальцем,— так вся и вспыхнула, как услышала, что я незнакомой девушке леденцов носил, так и зарделась, так и вздрогнула, точно мы вдруг из пистолета выстрелили... ишь глазенки-то, так и сверкают, как угольки. Да уж нечего, Александра Семеновна, нечего скрывать! Ревнивы-с. Не растолкуй я, что это одиннадцатилетняя девочка, так меня тотчас же за вихры оттаскала бы: и бергамот бы не спас!

— Он и теперь не спасет!

И с этими словами Александра Семеновна одним прыжком прыгнула к нам из-за чайного столика, и прежде чем Маслобоев успел заслонить свою голову, она схватила его за клочок волос и порядочно продернула.

— Вот тебе, вот тебе! Не смей говорить перед гостем, что я ревнива, не смей, не смей, не смей!

Она даже раскраснелась, и хоть смеялась, но Маслобоеву досталось порядочно.

— Про всякий стыд рассказывает! — серьезно прибавила она, обратясь ко мне.

— Ну, Ваня, таково-то житье мое! По этой причине непременно водочки! — решил Маслобоев, оправляя волосы и чуть не бегом направляясь к графину. Но Александра Семеновна предупредила его: подскочила к столу, налила сама, подала и даже ласково потрепала его по щеке. Маслобоев с гордостью подмигнул мне глазом, щелкнул языком и торжественно выпил свою рюмку.

— Насчет леденцов трудно сообразить,— начал он, усаживаясь подле меня на диване.— Я их купил третьего дня,

в пьяном виде, в овощной лавочке,— не знаю для чего. Впрочем, может быть, для того, чтоб поддержать отечественную торговлю и промышленность,— не знаю наверно; помню только, что я шел тогда по улице пьяный, упал в грязь, рвал на себе волосы и плакал о том, что ни к чему не способен. Я, разумеется, об леденцах забыл, так они и остались у меня в кармане до вчерашнего дня, когда я сел на них, садясь на твой диван. Насчет танцев же опять тот же нетрезвый вид: вчера я был достаточно пьян, а в пьяном виде я, когда бываю доволен судьбою, иногда танцую. Вот и все; кроме разве того, что эта сиротка возбудила во мне жалость; да, кроме того, она и говорить со мной не хотела, как будто сердилась. Я и ну танцевать, чтоб развеселить ее, и леденчиками попотчевал.

— А не подкупал ее, чтоб у ней кое-что выведать и, признайся откровенно: нарочно ты зашел ко мне, зная, что меня дома не будет, чтоб поговорить с ней между четырех глаз и что-нибудь выведать, или нет? Ведь я знаю, ты с ней часа полтора просидел, уверил ее, что ее мать-покойницу знаешь, и что-то выспрашивал.

Маслобоев прищурился и плутовски усмехнулся.

— А ведь идея-то была бы недурна, — сказал он.— Нет, Ваня, это не то. То есть почему не расспросить при случае; но это не то. Слушай, старинный приятель, я хоть теперь и довольно пьян, по обыкновению, но знай, что с *злым умыслом* Филипп тебя никогда не обманет, с *злым то есть* умыслом.

— Ну, а без злого умысла?

— Ну... и без злого умысла. Но к черту это, выпьем, и об деле! Дело-то пустое,— продолжал он, выпив.— Эта Бубнова не имела никакого права держать эту девочку; я все разузнал. Никакого тут усыновления или прочего не было. Мать должна была ей денег, та и забрала к себе девчонку. Бубнова хоть и плутовка, хоть и злодейка, но баба-дура, как и все бабы. У покойницы был хороший паспорт; следственно, все чисто. Елена может жить у тебя, хотя бы очень хорошо было, если б какие-нибудь люди семейные и благодетельные взяли ее серьезно на воспитание. Но покамест пусть она у тебя. Это ничего; я тебе все обделаю: Бубнова и пальцем пошевелить не смеет. О покойнице же матери я почти ничего не узнал точного. Она чья-то вдова, по фамилии Зальцман.

— Так, мне так и Нелли говорила.

— Ну, так и кончено. Теперь же, Ваня,— начал он с некоторою торжественностью,— я имею к тебе одну просьбицу. Ты же исполни. Расскажи мне по возможности подробнее, что у тебя за дела, куда ты ходишь, где бываешь по целым дням. Я хоть отчасти и слышал и знаю, но мне надобно знать гораздо подробнее.

Такая торжественность удивила меня и даже обеспокоила.

— Да что такое? Для чего тебе это знать? Ты так торжественно спрашиваешь...

— Вот что, Ваня, без лишних слов: я тебе хочу оказать услугу. Видишь, дружище, если б я с тобой хитрил, я бы у тебя и без торжественности умел выпытать. А ты подозреваешь, что я с тобой хитрю: давеча, леденцы-то; я ведь понял. Но так как я с торжественностью говорю, значит, не для себя интересуюсь, а для тебя. Так ты не сомневайся и говори напрямик, правду — истинную...

— Да какую услугу? Слушай, Маслобоев; для чего ты не хочешь мне рассказать что-нибудь о князе? Мне это нужно. Вот это будет услуга.

— О князе! гм... Ну, так и быть, прямо скажу: я и выспрашиваю теперь тебя по поводу князя.

— Как?

— А вот как: я, брат, заметил, что он как-то в твои дела замешался; между прочим, он расспрашивал меня об тебе. Уж как он узнал, что мы знакомы,— это не твое дело. А только главное в том: берегись ты этого князя. Это Иуда-предатель и даже хуже того. И потому, когда я увидал, что он отразился в твоих делах, то вострепетал за тебя. Впрочем, я ведь ничего не знаю; для того-то и прошу тебя рассказать, чтоб я мог судить... И даже для того тебя сегодня к себе призвал. Вот это-то и есть то важное дело; прямо объясняю.

— По крайней мере, ты мне скажешь хоть что-нибудь, хоть то, почему именно я должен опасаться князя.

— Хорошо, так и быть; я, брат, вообще употребляюсь иногда по иным делам. Но рассуди: мне ведь иные и доверяются-то потому, что я не болтун. Как же я тебе буду рассказывать? Так и не взыщи, если расскажу вообще, слишком вообще, для того только, чтоб показать: какой, дескать, он выходит подлец. Ну, начинай же сначала ты, про свое.

Я рассудил, что в моих делах мне решительно нечего было скрывать от Маслобоева. Дело Наташи было не секретное; к тому же я мог ожидать для нее некоторой пользы от Маслобоева. Разумеется, в моем рассказе я, по возможности, обошел некоторые пункты. Маслобоев в особенности внимательно слушал все, что касалось князя; во многих местах меня останавливал, многое вновь переспрашивал, так что я рассказал ему довольно подробно. Рассказ мой продолжался с полчаса.

— Гм! умная голова у этой девицы,— решил Маслобоев.— Если, может быть, и не совсем верно догадалась она про князя, то уж то одно хорошо, что с первого шагу узнала, с кем имеет дело, и прервала все сношения. Молодец Наталья Николаевна! Пью за ее здоровье! (Он выпил.) Тут не только ум, тут сердца

надо было, чтоб не дать себя обмануть. И сердце не выдало. Разумеется, ее дело проиграно: князь настоит на своем, и Алеша ее бросит. Жаль одного, Ихменева,— десять тысяч платить этому подлецу! Да кто у него по делу-то ходил, кто хлопотал? Небось сам! Э-эх! То-то все эти горячие и благородные! Никуда не годится народ! С князем не так надо было действовать. Я бы такого адвокатика достал Ихменеву — э-эх! — И он с досадой стукнул по столу.

— Ну, теперь что же князь-то?

— А ты все о князе. Да что об нем говорить; и не рад, что вызвался. Я ведь, Ваня, только хотел тебя насчет этого мошенника предуведомить, чтобы, так сказать, оградить тебя от его влияния. Кто с ним связывается, тот не безопасен. Так ты держи ухо востро; вот и все. А ты уж и подумал, что я тебе бог знает какие парижские тайны хочу сообщить. И видно, что романист! Ну, что говорить о подлеце? Подлец так и есть подлец... Ну, вот, например, расскажу тебе одно его дельце, разумеется без мест, без городов, без лиц, то есть без календарской точности. Ты знаешь, что он еще в первой молодости, когда принужден был жить канцелярским жалованьем, женился на богатой купчихе. Ну, с этой купчихой он не совсем вежливо обошелся, и хоть не в ней теперь дело, но замечу, друг Ваня, что он всю жизнь наиболее по таким делам любил промышлять. Вот еще случай: поехал он за границу. Там...

— Постой, Маслобоев, про которую ты поездку говоришь? В котором году?

— Ровно девяносто девять лет тому назад и три месяца. Ну-с, там он и сманил одну дочь у одного отца, да и увез с собой в Париж. Да ведь как сделал-то! Отец был вроде какого-то заводчика или участвовал в каком-то эдаком предприятии. Наверно не знаю. Я ведь если и рассказываю тебе, то по собственным умозаключениям и соображениям из других данных. Вот князь его и надул, тоже в предприятие с ним вместе залез. Надул вполне и деньги с него взял. Насчет взятых денег у старика были, разумеется, кой-какие документы. А князю хотелось так взять, чтоб и не отдать, по-нашему — просто украсть. У старика была дочь, и дочь-то была красавица, а у этой красавицы был влюбленный в нее идеальный человек, братец Шиллеру, поэт, в то же время купец, молодой мечтатель, одним словом — вполне немец, Феферкухен какой-то.

— То есть это фамилия его Феферкухен?

— Ну, может, и не Феферкухен, черт его дери, не в нем дело. Только князь-то и подлез к дочери, да так подлез, что она влюбилась в него, как сумасшедшая. Князю и захотелось тогда двух вещей: во-первых, овладеть дочкой, а во-вторых, документами во взятой у старика сумме. Ключи от всех ящиков

стариковых были у его дочери. Старик же любил дочь без памяти, до того, что замуж ее отдавать не хотел. Серьезно. Ко всякому жениху ревновал, не понимал, как можно расстаться с нею, и Феферкухена прогнал, чудак какой-то англичанин...

— Англичанин? Да где же все это происходило?

— Я только так сказал: англичанин, для сравнения, а ты уж и подхватил. Было ж это в городе Санта-фе-де-Богота*, а может, и в Кракове, но вернее всего, что в фюрстентум[1] Нассау, вот что на зельтерской воде написано, именно в Нассау; довольно с тебя? Ну-с, вот-с князь девицу-то сманил, да и увез от отца, да по настоянию князя девица захватила с собой и кой-какие документики. Ведь бывает же такая любовь, Ваня! Фу ты, боже мой, а ведь девушка была честная, благородная, возвышенная! Правда, может, толку-то большого в бумагах не знала. Ее заботило одно: отец проклянет. Князь и тут нашелся; дал ей форменное, законное обязательство, что на ней женится. Таким образом и уверил ее, что они так только поедут, на время, прогуляются, а когда гнев старика поутихнет, они и воротятся к нему обвенчанные и будут втроем век жить, добра наживать и так далее до бесконечности. Бежала она, старик-то ее проклял да и обанкрутился. За нею в Париж потащился и Фрауенмильх, все бросил и торговлю бросил; влюблен был уж очень.

— Стой! Какой Фрауенмильх?

— Ну тот, как его! Фейербах-то... тьфу, проклятый: Феферкухен! Ну-с, князю, разумеется, жениться нельзя было, что, дескать, графиня Хлестова* скажет? Как барон Помойкин об этом отзовется? Следовательно, надо было надуть. Ну, надул-то он слишком нагло. Во-первых, чуть ли не бил ее, во-вторых, нарочно пригласил к себе Феферкухена, тот и ходил, другом ее сделался, ну, хныкали вместе, по целым вечерам одни сидели, несчастья свои оплакивали, тот утешал: известно, божьи души. Князь-то нарочно так подвел: раз застает их поздно, да и выдумал, что они в связи, придрался к чему-то: своими глазами, говорит, видел. Ну и вытолкал их обоих за ворота, а сам на время в Лондон уехал. А та была уж на сносях; как выгнали ее, она и родила дочь... то есть не дочь, а сына, именно сынишку. Володькой и окрестили. Феферкухен восприемником был. Ну вот и поехала она с Феферкухеном. У того маленькие деньжонки были. Объехала она Швейцарию, Италию... во всех то есть поэтических землях была, как и следует. Та все плакала, а Феферкухен хныкал, и много лет таким образом прошло, и девочка выросла. И для князя-то все бы хорошо было, да одно нехорошо: обязательство жениться он у ней назад не выхлопотал.

---

[1] Княжестве (*нем.*— Fürstentum).

«Низкий ты человек,— сказала она ему при прощании,— ты меня обокрал, ты меня обесчестил и теперь оставляешь. Прощай! Но обязательства тебе не отдам. Не потому, что я когда-нибудь хотела за тебя выйти, а потому, что ты этого документа боишься. Так пусть он и будет у меня вечно в руках». Погорячилась, одним словом, но князь, впрочем, остался покоен. Вообще эдаким подлецам превосходно иметь дело с так называемыми возвышенными существами. Они так благородны, что их весьма легко обмануть, а во-вторых, они всегда отделываются возвышенным и благородным презрением, вместо практического применения к делу закона, если только можно его применить. Ну, вот хоть бы эта мать: отделалась гордым презрением и хоть оставила у себя документ, но ведь князь знал, что она скорее повесится, чем употребит его в дело: ну, и был покоен до времени. А она хоть и плюнула ему в его подлое лицо, да ведь у ней Володька на руках оставался: умри она, что с ним будет? Но об этом не рассуждалось. Брудершафт тоже ободрял ее и не рассуждал; Шиллера читали. Наконец, Брудершафт отчего-то скиснул и умер...

— То есть Феферкухен?

— Ну да, черт его дери! А она...

— Постой! Сколько лет они странствовали?

— Ровнешенько двести. Ну-с, она и воротилась в Краков. Отец-то не принял, проклял, она умерла, а князь перекрестился от радости. Я там был, мед пил, по усам текло, а в рот не попало, дали мне шлык, а я в подворотню шмыг... выпьем, брат Ваня!

— Я подозреваю, что ты у него по этому делу хлопочешь, Маслобоев.

— Тебе непременно этого хочется?

— Но не понимаю только, что ты-то тут можешь сделать!

— А видишь, она как воротилась в Мадрид-то после десятилетнего отсутствия, под чужим именем, то надо было все это разузнать и о Брудершафте, и о старике, и действительно ли она воротилась, и о птенце, и умерла ли она, и нет ли бумаг, и так далее до бесконечности. Да еще кой о чем. Сквернейший человек, берегись его, Ваня, а об Маслобоеве вот что думай: никогда, ни за что не называй его подлецом! Он хоть и подлец (по-моему, так нет человека не подлеца), но не против тебя. Я крепко пьян, но слушай: если когда-нибудь, близко ли, далеко ли, теперь ли, или на будущий год, тебе покажется, что Маслобоев против тебя в чем-нибудь схитрил (и, пожалуйста, не забудь этого слова *схитрил*),— то знай, что без злого умысла. Маслобоев над тобой наблюдает. И потому не верь подозрениям, а лучше приди и объяснись откровенно и по-братски с самим Маслобоевым. Ну, теперь хочешь пить?

— Нет.

— Закусить?

— Нет, брат, извини...

— Ну, так и убирайся, без четверти девять, а ты спесив. Теперь тебе уже пора.

— Как? Что? Напился пьян, да и гостя гонит! Всегда-то он такой! Ах, бесстыдник! — вскричала чуть не плача Александра Семеновна.

— Пеший конному не товарищ! Александра Семеновна, мы остаемся вместе и будем обожать друг друга. А это генерал! Нет, Ваня, я соврал; ты не генерал, а я — подлец! Посмотри, на что я похож теперь? Что я перед тобой? Прости, Ваня, не осуди и дай излить...

Он обнял меня и залился слезами. Я стал уходить.

— Ах, боже мой! А у нас и ужинать приготовлено,— говорила Александра Семеновна в ужаснейшем горе.— А в пятницу-то придете к нам?

— Приду, Александра Семеновна, честное слово, приду.

— Да вы, может быть, побрезгаете, что он вот такой... пьяный. Не брезгайте, Иван Петрович, он добрый, очень добрый, а уж вас как любит! Он про вас мне и день и ночь теперь говорит, все про вас. Нарочно ваши книжки купил для меня; я еще не прочла; завтра начну. А уж мне-то как хорошо будет, когда вы придете! Никого-то не вижу, никто-то не ходит к нам посидеть. Все у нас есть, а сидим одни. Теперь вот я сидела, все слушала, все слушала, как вы говорили, и как это хорошо... Так до пятницы...

Глава VII

Я шел и торопился домой: слова Маслобоева слишком меня поразили. Мне бог знает что приходило в голову... Как нарочно, дома меня ожидало одно происшествие, которое меня потрясло, как удар электрической машины.

Против самых ворот дома, в котором я квартировал, стоял фонарь. Только что я стал под ворота, вдруг от самого фонаря бросилась на меня какая-то странная фигура, так что я даже вскрикнул, какое-то живое существо, испуганное, дрожащее, полусумасшедшее, и с криком уцепилось за мои руки. Ужас охватил меня. Это была Нелли!

— Нелли! Что с тобой? — закричал я.— Что ты!

— Там, наверху... он сидит... у нас...

— Кто такой? Пойдем; пойдем вместе со мной.

— Не хочу, не хочу! Я подожду, пока он уйдет... в сенях... не хочу.

Я поднялся к себе с каким-то странным предчувствием, отворил дверь и — увидел князя. Он сидел у стола и читал роман. По крайней мере, книга была раскрыта.

— Иван Петрович! — вскричал он с радостью.— Я так рад, что вы наконец воротились. Только что хотел было уезжать. Более часу вас ждал. Я дал сегодня слово, по настоятельнейшей и убедительнейшей просьбе графини, приехать к ней сегодня вечером с вами. Она так просила, так хочет с вами познакомиться! Так как уж вы дали мне обещание, то я рассудил заехать к вам самому, пораньше, покамест вы еще не успели никуда отправиться, и пригласить вас с собою. Представьте же мою печаль; приезжаю: ваша служанка объявляет, что вас нет дома. Что делать! Я ведь дал честное слово явиться с вами; а потому сел вас подождать, решив, что прожду четверть часа. Но вот они, четверть часа: развернул ваш роман и зачитался. Иван Петрович! Ведь это совершенство! Ведь вас не понимают после этого! Ведь вы у меня слезы исторгли. Ведь я плакал, а я не очень часто плачу...

— Так вы хотите, чтоб я ехал? Признаюсь вам, теперь... хоть я вовсе не прочь, но...

— Ради бога, поедемте! Что же со мной-то вы сделаете? Ведь я вас ждал полтора часа!.. Притом же мне с вами так надо, так надо поговорить,— вы понимаете о чем? Вы все это дело знаете лучше меня... Мы, может быть, решим что-нибудь, остановимся на чем-нибудь, подумайте! Ради бога, не отказывайте.

Я рассудил, что рано ли, поздно ли надо будет ехать. Положим, Наташа теперь одна, я ей нужен, но ведь она же сама поручила мне как можно скорей узнать Катю. К тому же, может быть, и Алеша там... Я знал, что Наташа не будет покойна, прежде чем я не принесу ей известий о Кате, и решился ехать. Но меня смущала Нелли.

— Погодите,— сказал я князю и вышел на лестницу. Нелли стояла тут, в темном углу.

— Почему ты не хочешь идти, Нелли? Что он тебе сделал? Что с тобой говорил?

— Ничего... Я не хочу, не хочу...— повторяла она,— я боюсь...

Как я ее ни упрашивал — ничто не помогало. Я уговорился с ней, чтоб как только я выйду с князем, она бы вошла в комнату и заперлась.

— И не пускай к себе никого, Нелли, как бы тебя ни упрашивали.

— А вы с ним едете?

— С ним.

Она вздрогнула и схватила меня за руки, точно хотела

упросить, чтоб я не ехал, но не сказала ни слова. Я решил расспросить ее подробно завтра.

Попросив извинения у князя, я стал одеваться. Он начал уверять меня, что туда не надо никаких гардеробов, никаких туалетов. «Так, разве посвежее что-нибудь! — прибавил он, инквизиторски оглядев меня с головы до ног,— знаете, все-таки эти светские предрассудки... ведь нельзя же совершенно от них избавиться. Этого совершенства вы в нашем свете долго не найдете»,— заключил он, с удовольствием увидав, что у меня есть фрак.

Мы вышли. Но я оставил его на лестнице, вошел в комнату, куда уже проскользнула Нелли, и еще раз простился с нею. Она была ужасно взволнована. Лицо ее посинело. Я боялся за нее; мне тяжко было ее оставить.

— Странная это у вас служанка,— говорил мне князь, сходя с лестницы.— Ведь эта маленькая девочка ваша служанка?

— Нет... она так... живет у меня покамест.

— Странная девочка. Я уверен, что она сумасшедшая. Представьте себе, сначала отвечала мне хорошо, но потом, когда разглядела меня, бросилась ко мне, вскрикнула, задрожала, вцепилась в меня... что-то хочет сказать — не может. Признаюсь, я струсил, хотел уж бежать от нее, но она, слава богу, сама от меня убежала. Я был в изумлении. Как это вы уживаетесь?

— У нее падучая болезнь,— отвечал я.

— А, вот что! Ну, это не так удивительно... если она с припадками.

Мне тут же показалось одно: что вчерашний визит ко мне Маслобоева, тогда как он знал, что я не дома, что сегодняшний мой визит к Маслобоеву, что сегодняший рассказ Маслобоева, который он рассказал в пьяном виде и нехотя, что приглашение быть у него сегодня в семь часов, что его убеждения не верить в его хитрость и, наконец, что князь, ожидающий меня полтора часа и, может быть, знавший, что я у Маслобоева, тогда как Нелли выскочила от него на улицу,— что все это имело между собой некоторую связь. Было о чем задуматься.

У ворот дожидалась его коляска. Мы сели и поехали.

Глава VIII

Ехать было недолго, к Торговому мосту. Первую минуту мы молчали. Я все думал: как-то он со мной заговорит? Мне казалось, что он будет меня пробовать, ощупывать, выпытывать. Но он заговорил без всяких изворотов и прямо приступил к делу.

— Меня чрезвычайно заботит теперь одно обстоятельство,

Иван Петрович,— начал он,— о котором я хочу прежде всего переговорить с вами и попросить у вас совета: я уж давно решил отказаться от выигранного мною процесса и уступить спорные десять тысяч Ихменеву. Как поступить?

«Не может быть, чтоб ты не знал, как поступить,— промелькнуло у меня в мыслях.— Уж не на смех ли ты меня подымаешь?»

— Не знаю, князь,— отвечал я как можно простодушнее,— в чем другом, то есть что касается Натальи Николаевны, я готов сообщить вам необходимые для вас и для нас всех сведения, но в этом деле вы, конечно, знаете больше моего.

— Нет, нет, конечно, меньше. Вы с ними знакомы, и, может быть, даже сама Наталья Николаевна вам не раз передавала свои мысли на этот счет; а для меня главное руководство. Вы можете мне много помочь; дело же крайне затруднительное. Я готов уступить и даже непременно положил уступить, как бы ни кончились все прочие дела; вы понимаете? Но как, в каком виде сделать эту уступку, вот в чем вопрос? Старик горд, упрям; пожалуй, меня же обидит за мое же добродушие и швырнет мне эти деньги назад.

— Но позвольте, вы как считаете эти деньги: своими или его?

— Процесс выигран мною, следственно, моими.

— Но по совести?

— Разумеется, считаю моими,— отвечал он, несколько пикированный моею бесцеремонностью,— впрочем, вы, кажется, не знаете всей сущности этого дела. Я не виню старика в умышленном обмане и, признаюсь вам, никогда не винил. Вольно ему было самому напустить на себя обиду. Он виноват в недосмотре, в нерачительности о вверенных ему делах, а, по бывшему уговору нашему, за некоторые из подобных дел он должен был отвечать. Но знаете ли вы, что даже и не в этом дело: дело в нашей ссоре, во взаимных тогдашних оскорблениях; одним словом, в обоюдно уязвленном самолюбии. Я, может быть, и внимания не обратил бы тогда на эти дрянные десять тысяч; но вам, разумеется, известно, из-за чего и как началось тогда все это дело. Соглашаюсь, я был мнителен, я был, пожалуй, неправ (то есть тогда неправ), но я не замечал этого и, в досаде, оскорбленный его грубостями, не хотел упустить случая и начал дело. Вам все это, пожалуй, покажется с моей стороны не совсем благородным. Я не оправдываюсь; замечу вам только, что гнев и, главное, раздраженное самолюбие — еще не есть отсутствие благородства, а есть дело естественное, человеческое, и, признаюсь, повторяю вам, я ведь почти вовсе не знал Ихменева и совершенно верил всем этим слухам насчет Алеши и его дочери, а следственно, мог поверить и умышленной

краже денег... Но это в сторону. Главное в том: что мне теперь делать? Отказаться от денег; но если я тут же скажу, что считаю и теперь свой иск правым, то ведь это значит: я их дарю ему. А тут прибавьте еще щекотливое положение насчет Натальи Николаевны... Он непременно швырнет мне эти деньги назад.

— Вот видите, сами же вы говорите: *швырнет;* следовательно, считаете его человеком честным, а поэтому и можете быть совершенно уверены, что он не крал ваших денег. А если так, почему бы вам не пойти к нему и не объявить прямо, что считаете свой иск незаконным? Это было бы благородно, и Ихменев, может быть, не затруднился бы тогда взять *свои* деньги.

— Гм... *свои* деньги; вот в том-то и дело; что же вы со мной-то делаете? Идти и объявить ему, что считаю свой иск незаконным. Да зачем же ты искал, коли знал, что ищешь незаконно? — так мне все в глаза скажут. А я этого не заслужил, потому что искал законно; я нигде не говорил и не писал, что он у меня крал; но в его неосмотрительности, в легкомыслии, в неуменье вести дела и теперь уверен. Эти деньги положительно мои, и потому больно взводить самому на себя поклеп, и, наконец, повторяю вам, старик сам взвел на себя обиду, а вы меня заставляете в этой обиде у него прощения просить,— это тяжело.

— Мне кажется, если два человека хотят помириться, то...

— То это легко, вы думаете?

— Да.

— Нет, иногда очень нелегко, тем более...

— Тем более, если с этим связаны другие обстоятельства. Вот в этом я с вами согласен, князь. Дело Натальи Николаевны и вашего сына должно быть разрешено вами во всех тех пунктах, которые от вас зависят, и разрешено вполне удовлетворительно для Ихменевых. Только тогда вы можете объясниться с Ихменевым и о процессе совершенно искренно. Теперь же, когда еще ничего не решено, у вас один только путь: признаться в несправедливости вашего иска и признаться открыто, а если надо, так и публично,— вот мое мнение; говорю вам прямо, потому что вы же сами спрашивали моего мнения и, вероятно, не желали, чтоб я с вами хитрил. Это же дает мне смелость спросить вас: для чего вы беспокоитесь об отдаче этих денег Ихменеву? Если вы считаете себя в этом иске правым, то для чего отдавать? Простите мое любопытство, но это так связано с другими обстоятельствами...

— А как вы думаете? — спросил он вдруг, как будто совершенно не слыхал моего вопроса,— уверены ли вы, что старик Ихменев откажется от десяти тысяч, если б даже вручить ему деньги безо всяких оговорок и... и... и всяких этих смягчений?

— Разумеется, откажется!

Я весь так и вспыхнул и даже вздрогнул от негодования. Этот нагло скептический вопрос произвел на меня такое же впечатление, как будто князь мне плюнул прямо в глаза. К моему оскорблению присоединилось и другое: грубая, великосветская манера, с которою он, не отвечая на мой вопрос и как будто не заметив его, перебил его другим, вероятно давая мне заметить, что я слишком увлекся и зафамильярничал, осмелившись предлагать ему такие вопросы. Я до ненависти не любил этого великосветского маневра и всеми силами еще прежде отучал от него Алешу.

— Гм... вы слишком пылки, и на свете некоторые дела не так делаются, как вы воображаете,— спокойно заметил князь на мое восклицание.— Я, впрочем, думаю, что об этом могла бы отчасти решить Наталья Николаевна; вы ей передайте это. Она могла бы посоветовать.

— Ничуть,— отвечал я грубо.— Вы не изволили выслушать, что я начал вам говорить давеча, и перебили меня. Наталья Николаевна поймет, что если вы возвращаете деньги неискренно и без всяких этих, как вы говорите, *смягчений*, то, значит, вы платите отцу за дочь, а ей за Алешу, одним словом — награждаете деньгами...

— Гм... вот вы как меня понимаете, добрейший мой Иван Петрович.— Князь засмеялся. Для чего он засмеялся? — А между тем,— продолжал он,— нам еще столько, столько надо вместе переговорить. Но теперь некогда. Прошу вас только, поймите *одно:* дело касается прямо Натальи Николаевны и всей ее будущности, и все это зависит отчасти от того, как мы с вами это решим и на чем остановимся. Вы тут необходимы,— сами увидите. И потому, если вы продолжаете быть привязанным к Наталье Николаевне, то и не можете отказаться от объяснений со мною, как бы мало ни чувствовали ко мне симпатии. Но мы приехали... à bientôt[1].

Глава IX

Графиня жила прекрасно. Комнаты были убраны комфортно и со вкусом, хотя вовсе не пышно. Все, однако же, носило на себе характер временного пребывания; это была только приличная квартира на время, а не постоянное, утвердившееся жилье богатой фамилии со всем размахом барства и со всеми его прихотями, принимаемыми за необходимость. Носился слух, что графиня на лето едет в свое имение (разоренное и перезаложенное), в Симбирскую губернию, и что князь сопровождает

[1] До скорого свидания *(франц.)*; здесь — в смысле скорого возобновления прерванного разговора.

ее. Я уже слышал про это и с тоскою подумал: как поступит Алеша, когда Катя уедет с графиней? С Наташей я еще не заговаривал об этом, боялся; но по некоторым признакам успел заметить, что, кажется, и ей этот слух известен. Но она молчала и страдала про себя.

Графиня приняла меня прекрасно, приветливо протянула мне руку и подтвердила, что давно желала меня у себя видеть. Она сама разливала чай из прекрасного серебряного самовара, около которого мы и уселись: я, князь и еще какой-то очень великосветский господин пожилых лет и со звездой, несколько накрахмаленный, с дипломатическими приемами. Этого гостя, кажется, очень уважали. Графиня, воротясь из-за границы, не успела еще в эту зиму завести в Петербурге больших связей и основать свое положение, как хотела и рассчитывала. Кроме этого гостя, никого не было, и никто не являлся во весь вечер. Я искал глазами Катерину Федоровну; она была в другой комнате с Алешей, но, услышав о нашем приезде, тотчас же вышла к нам. Князь с любезностию поцеловал у ней руку, а графиня указала ей на меня. Князь тотчас же нас познакомил. Я с нетерпеливым вниманием в нее вглядывался: это была нежная блондиночка, одетая в белое платье, невысокого роста, с тихим и спокойным выражением лица, с совершенно голубыми глазами, как говорил Алеша, с красотой юности и только. Я ожидал встретить совершенство красоты, но красоты не было. Правильный, нежно очерченный овал лица, довольно правильные черты, густые и действительно прекрасные волосы, обыденная домашняя их прическа, тихий, пристальный взгляд; при встрече с ней где-нибудь я бы прошел мимо нее, не обратив на нее никакого особенного внимания; но это было только с первого взгляда, и я успел несколько лучше разглядеть ее потом, в этот вечер. Уж одно то, как она подала мне руку, с каким-то наивно усиленным вниманием продолжая смотреть мне в глаза и не говоря мне ни слова, поразило меня своею странностию, и я отчего-то невольно улыбнулся ей. Видно, я тотчас же почувствовал перед собой существо чистое сердцем. Графиня пристально следила за нею. Пожав мне руку, Катя с какою-то поспешностью отошла от меня и села в другом конце комнаты, вместе с Алешей. Здороваясь со мной, Алеша шепнул мне: «Я здесь только на минутку, но сейчас *туда*».

«Дипломат» — не знаю его фамилии и называю его дипломатом, чтобы как-нибудь назвать,— говорил спокойно и величаво, развивая какую-то идею. Графиня внимательно его слушала. Князь одобрительно и льстиво улыбался; оратор часто обращался к нему, вероятно ценя в нем достойного слушателя. Мне дали чаю и оставили меня в покое, чему я был очень рад. Между тем я всматривался в графиню. По первому впе-

чатлению она мне как-то нехотя понравилась. Может быть, она была уже не молода, но мне казалось, что ей не более двадцати восьми лет. Лицо ее было еще свежо и когда-то, в первой молодости, должно быть, было очень красиво. Темно-русые волосы были еще довольно густы; взгляд был чрезвычайно добрый, но какой-то ветреный и шаловливо-насмешливый. Но теперь она для чего-то видимо себя сдерживала. В этом взгляде выражалось тоже много ума, но более всего доброты и веселости. Мне показалось, что преобладающее ее качество было некоторое легкомыслие, жажда наслаждений и какой-то добродушный эгоизм, может быть даже и большой. Она была под началом у князя, который имел на нее чрезвычайное влияние. Я знал, что они были в связи, слышал также, что он был уж слишком не ревнивый любовник во время их пребывания за границей; но мне все казалось — кажется и теперь,— что их связывало, кроме бывших отношений, еще что-то другое, отчасти таинственное, что-нибудь вроде взаимного обязательства, основанного на каком-нибудь расчете... одним словом, что-то такое должно было быть. Знал я тоже, что князь в настоящее время тяготился ею, а между тем отношения их не прерывались. Может быть, их тогда особенно связывали виды на Катю, которые, разумеется, в инициативе своей должны были принадлежать князю. На этом основании князь и отделался от брака с графиней, которая этого действительно требовала, убедив ее содействовать браку Алеши с ее падчерицей. Так, по крайней мере, я заключал по прежним простодушным рассказам Алеши, который хоть что-нибудь да мог же заметить. Мне все казалось тоже, отчасти из тех же рассказов, что князь, несмотря на то что графиня была в его полном повиновении, имел какую-то причину бояться ее. Даже Алеша это заметил. Я узнал потом, что князю очень хотелось выдать графиню за кого-нибудь замуж и что отчасти с этою целью он и отсылал ее в Симбирскую губернию, надеясь приискать ей приличного мужа в провинции.

Я сидел и слушал, не зная, как бы мне поскорее поговорить глаз на глаз с Катериной Федоровной. Дипломат отвечал на какой-то вопрос графини о современном положении дел, о начинающихся реформах и о том, следует ли их бояться или нет? Он говорил много и долго, спокойно и как власть имеющий. Он развивал свою идею тонко и умно, но идея была отвратительная. Он именно настаивал на том, что весь этот дух реформ и исправлений слишком скоро принесет известные плоды; что, увидя эти плоды, возьмутся за ум и что не только в обществе (разумеется, в известной его части) пройдет этот новый дух, но увидят по опыту ошибку и тогда с удвоенной энергией начнут поддерживать старое. Что опыт, хоть бы и печальный, будет очень выгоден, потому что научит, как поддерживать это спа-

сительное старое, принесет для этого новые данные; а следственно, даже надо желать, чтоб теперь поскорее дошло до последней степени неосторожности. «Без *нас* нельзя,— заключил он,— без нас ни одно общество еще никогда не стояло. Мы не потеряем, а напротив, еще выиграем; мы всплывем, всплывем, и девиз наш в настоящую минуту должен быть «Pire ça va, mieux ça est»[1]. Князь улыбнулся ему с отвратительным сочувствием. Оратор был совершенно доволен собою. Я был так глуп, что хотел было возражать; сердце кипело во мне. Но меня остановил ядовитый взгляд князя; он мельком скользнул в мою сторону, и мне показалось, что князь именно ожидает какой-нибудь странной и юношеской выходки с моей стороны; ему, может быть, даже хотелось этого, чтоб насладиться тем, как я себя скомпрометирую. Вместе с тем я был твердо уверен, что дипломат непременно не заметит моего возражения, а может быть, даже и самого меня. Мне скверно стало сидеть с ними; но выручил Алеша.

Он тихонько подошел ко мне, тронул меня за плечо и попросил на два слова. Я догадался, что он послом от Кати. Так и было. Через минуту я уже сидел рядом с нею. Сначала она всего меня пристально оглядела, как будто говоря про себя: «вот ты какой», и в первую минуту мы оба не находили слов для начала разговора. Я, однако ж, был уверен, что ей стоит только заговорить, чтоб уж и не останавливаться, хоть до утра. «Какие-нибудь пять-шесть часов разговора», о которых рассказывал Алеша, мелькнули у меня в уме. Алеша сидел тут же и с нетерпением ждал, как-то мы начнем.

— Что ж вы ничего не говорите? — начал он, с улыбкою смотря на нас.— Сошлись и молчат.

— Ах, Алеша, какой ты... мы сейчас,— отвечала Катя.— Нам ведь так много надо переговорить вместе, Иван Петрович, что не знаю, с чего и начать. Мы очень поздно знакомимся; надо бы раньше, хоть я вас и давным-давно знаю. И так мне хотелось вас видеть. Я даже думала вам письмо написать...

— О чем? — спросил я, невольно улыбаясь.

— Мало ли о чем,— отвечала она серьезно.— Вот хоть бы о том, правду ли он рассказывает про Наталью Николаевну, что она не оскорбляется, когда он ее в такое время оставляет одну? Ну, можно ли так поступать, как он? Ну, зачем ты теперь здесь, скажи, пожалуйста?

— Ах, боже мой, да я сейчас и поеду. Я ведь сказал, что здесь только одну минутку пробуду, на вас обоих посмотрю, как вы вместе будете говорить, а там и туда.

— Да что мы вместе, ну вот и сидим,— видел? И всегда-то он такой,— прибавила она, слегка краснея и указывая мне на

---

[1] Чем хуже, тем лучше *(франц.)*.

него пальчиком.— «Одну минутку, говорит, только одну минутку», а смотришь, и до полночи просидел, а там уж и поздно. «Она, говорит, не сердится, она добрая»,— вот он как рассуждает! Ну, хорошо ли это, ну, благородно ли?

— Да я, пожалуй, поеду,— жалобно отвечал Алеша,— только мне бы очень хотелось побыть с вами...

— А что тебе с нами? Нам, напротив, надо о многом наедине переговорить. Да послушай, ты не сердись; это необходимость,— пойми хорошенько.

— Если необходимость, то я сейчас же... чего же тут сердиться. Я только на минуточку к Левеньке, а там тотчас и к ней. Вот что, Иван Петрович,— продолжал он, взяв свою шляпу,— вы знаете, что отец хочет отказаться от денег, которые выиграл по процессу с Ихменева.

— Знаю, он мне говорил.

— Как благородно он это делает. Вот Катя не верит, что он делает благородно. Поговорите с ней об этом. Прощай, Катя, и, пожалуйста, не сомневайся, что я люблю Наташу. И зачем вы все навязываете мне эти условия, упрекаете меня, следите за мной,— точно я у вас под надзором! Она знает, как я ее люблю, и уверена во мне, и я уверен, что она во мне уверена. Я люблю ее безо всего, безо всяких обязательств. Я не знаю, как я ее люблю. Просто люблю. И потому нечего меня допрашивать, как виноватого. Вот спроси Ивана Петровича, теперь уж он здесь и подтвердит тебе, что Наташа ревнива и хоть очень любит меня, но в любви ее много эгоизма, потому что она ничем не хочет для меня пожертвовать.

— Как это? — спросил я в удивлении, не веря ушам своим.

— Что ты это, Алеша? — чуть не вскрикнула Катя, всплеснув своими руками.

— Ну да; что ж тут удивительного? Иван Петрович знает. Она все требует, чтоб я с ней был. Она хоть и не требует этого, но видно, что ей этого хочется.

— И не стыдно, не стыдно это тебе! — сказала Катя, вся загоревшись от гнева.

— Да что же стыдно-то? Какая ты, право, Катя! Я ведь люблю ее больше, чем она думает, а если б она любила меня настоящим образом, так, как я ее люблю, то, наверно, пожертвовала бы мне своим удовольствием. Она, правда, и сама отпускает меня, да ведь я вижу по лицу, что это ей тяжело, стало быть, для меня все равно что и не отпускает.

— Нет, это неспроста! — вскричала Катя, снова обращаясь ко мне с сверкающим гневным взглядом.— Признавайся, Алеша, признавайся сейчас, это все наговорил тебе отец? Сегодня наговорил? И, пожалуйста, не хитри со мной: я тотчас узнаю! Так или нет?

— Да, говорил,— отвечал смущенный Алеша,— что ж тут такого? Он говорил со мной сегодня так ласково, так по-дружески, а ее все мне хвалил, так что я даже удивился: она его так оскорбила, а он ее же так хвалит.

— А вы, вы и поверили,— сказал я,— вы, которому она отдала все, что могла отдать, и даже теперь, сегодня же все ее беспокойство было об вас, чтоб вам не было как-нибудь скучно, чтоб как-нибудь не лишить вас возможности видеться с Катериной Федоровной! Она сама мне это говорила сегодня. И вдруг вы поверили фальшивым наговорам! Не стыдно ли вам?

— Неблагодарный! Да что, ему никогда ничего не стыдно! — проговорила Катя, махнув на него рукой, как будто на совершенно потерянного человека.

— Да что вы в самом деле! — продолжал Алеша жалобным голосом.— И всегда-то ты такая, Катя! Всегда ты во мне одно худое подозреваешь... Уж не говорю про Ивана Петровича! Вы думаете, я не люблю Наташу. Я не к тому сказал, что она эгоистка. Я хотел только сказать, что она меня уж слишком любит, так что уж из меры выходит, а от этого и мне и ей тяжело. А отец меня никогда не проведет, хоть бы и хотел. Не дамся. Он вовсе не говорил, что она эгоистка, в дурном смысле слова; я ведь понял. Он именно сказал точь-в-точь так же, как я теперь передал: что она до того уж слишком меня любит, до того сильно, что уж это выходит просто эгоизм, так что и мне и ей тяжело, а впоследствии и еще тяжелее мне будет. Что ж, ведь это он правду сказал, меня любя, и это вовсе не значит, что он обижал Наташу; напротив, он видел в ней самую сильную любовь, любовь без меры, до невозможности...

Но Катя прервала его и не дала ему кончить. Она с жаром начала укорять его, доказывать, что отец для того и начал хвалить Наташу, чтоб обмануть его видимою добротою, и все это с намерением расторгнуть их связь, чтоб невидимо и неприметно вооружить против нее самого Алешу. Она горячо и умно вывела, как Наташа любила его, как никакая любовь не простит того, что он с ней делает,— и что настоящий-то эгоист и есть он сам, Алеша. Мало-помалу Катя довела его до ужасной печали и до полного раскаяния; он сидел подле нас, смотря в землю, уже ничего не отвечая, совершенно уничтоженный и с страдальческим выражением в лице. Но Катя была неумолима. Я с крайним любопытством всматривался в нее. Мне хотелось поскорее узнать эту странную девушку. Она была совершенный ребенок, но какой-то странный, *убежденный* ребенок, с твердыми правилами и с страстной, врожденной любовью к добру и к справедливости. Если ее действительно можно было назвать еще ребенком, то она принадлежала к разряду *задумывающихся* детей, довольно многочисленному в наших семействах. Видно

было, что она уже много рассуждала. Любопытно было бы заглянуть в эту рассуждающую головку и подсмотреть, как смешивались там совершенно детские идеи и представления с серьезно выжитыми впечатлениями и наблюдениями жизни (потому что Катя уже жила), а вместе с тем и с идеями, еще ей не знакомыми, не выжитыми ею, но поразившими ее отвлеченно, книжно, которых уже должно было быть очень много и которые она, вероятно, принимала за выжитые ею самою. Во весь этот вечер и впоследствии, мне кажется, я довольно хорошо изучил ее. Сердце в ней было пылкое и восприимчивое. Она в иных случаях как будто пренебрегала уменьем владеть собою, ставя прежде всего истину, а всякую жизненную выдержку считала за условный предрассудок и, кажется, тщеславилась таким убеждением, что случается со многими пылкими людьми, даже и не в очень молодых годах. Но это-то и придавало ей какую-то особенную прелесть. Она очень любила мыслить и добиваться истины, но была до того не педант, до того с ребяческими, детскими выходками, что вы с первого взгляда начинали любить в ней все ее оригинальности и мириться с ними. Я вспомнил Левеньку и Бореньку*, и мне показалось, что все это совершенно в порядке вещей. И странно: лицо ее, в котором я не заметил ничего особенно прекрасного с первого взгляда, в этот же вечер поминутно становилось для меня все прекраснее и привлекательнее. Это наивное раздвоение ребенка и размышляющей женщины, эта детская и в высшей степени правдивая жажда истины и справедливости и непоколебимая вера в свои стремления — все это освещало ее лицо каким-то прекрасным светом искренности, придавало ему какую-то высшую, духовную красоту, и вы начинали понимать, что не так скоро можно исчерпать все значение этой красоты, которая не поддается вся сразу каждому обыкновенному безучастному взгляду. И я понял, что Алеша должен был страстно привязаться к ней. Если он не мог сам мыслить и рассуждать, то любил именно тех, которые за него мыслили и даже желали,— а Катя уже взяла его под опеку. Сердце его было благородно и неотразимо, разом покорялось всему, что было честно и прекрасно, а Катя уже много и со всею искренностью детства и симпатии перед ним высказалась. У него не было ни капли собственной воли; у ней было очень много настойчивой, сильно и пламенно настроенной воли, а Алеша мог привязаться только к тому, кто мог им властвовать и даже повелевать. Этим отчасти привязала его к себе Наташа, в начале их связи, но в Кате было большое преимущество перед Наташей — то, что она сама была еще дитя и, кажется, еще долго должна была оставаться ребенком. Эта детскость ее, ее яркий ум и в то же время некоторый недостаток рассудка — все это было как-то более сродни для Алеши. Он чувствовал это,

и потому Катя влекла его к себе все сильней и сильней. Я уверен, что когда они говорили между собой наедине, то рядом с серьезными «пропагандными» разговорами Кати дело, может быть, доходило у них и до игрушек. И хоть Катя, вероятно, очень часто журила Алешу и уже держала его в руках, но ему, очевидно, было с ней легче, чем с Наташей. Они были более *пара* друг другу, а это было главное.

— Полно, Катя, полно, довольно; ты всегда права выходишь, а я нет. Это потому, что в тебе душа чище моей,— сказал Алеша, вставая и подавая ей на прощанье руку.— Сейчас же и к ней, и к Левеньке не заеду...

— И нечего тебе у Левеньки делать; а что теперь слушаешься и едешь, то в этом ты очень мил.

— А ты в тысячу раз всех милее,— отвечал грустный Алеша.— Иван Петрович, мне нужно вам два слова сказать.

Мы отошли на два шага.

— Я сегодня бесстыдно поступил,— прошептал он мне,— я низко поступил, я виноват перед всеми на свете, а перед ними обеими больше всего. Сегодня отец после обеда познакомил меня с Александриной (одна француженка) — очаровательная женщина. Я... увлекся и... ну, уж что тут говорить, я недостоин быть вместе с ними... Прощайте, Иван Петрович!

— Он добрый, он благородный,— поспешно начала Катя, когда я уселся опять подле нее,— но мы об нем потом будем много говорить; а теперь нам прежде всего нужно условиться: вы как считаете князя?

— Очень нехорошим человеком.

— И я тоже. Следственно, мы в этом согласны, а потому нам легче будет судить. Теперь о Наталье Николаевне... Знаете, Иван Петрович, я теперь как впотьмах, я вас ждала как света. Вы мне все это разъясните, потому что в самом-то главном пункте я сужу по догадкам, из того, что мне рассказывал Алеша. А больше не от кого было узнать. Скажите же, во-первых (это главное), как по вашему мнению: будут Алеша и Наташа вместе счастливы или нет? Это мне прежде всего нужно знать для окончательного моего решения, чтоб уж самой знать, как поступать.

— Как же можно об этом сказать наверно?..

— Да, разумеется, не наверно,— перебила она,— а как вам кажется? — потому что вы очень умный человек.

— По-моему, они не могут быть счастливы.

— Почему же?

— Они не пара.

— Я так и думала! — И она сложила ручки, как бы в глубокой тоске.

— Расскажите подробнее. Слушайте: я ужасно желаю

видеть Наташу, потому что мне много надо с ней переговорить, и мне кажется, что мы с ней все решим. А теперь я все ее представляю себе в уме: она должна быть ужасно умна, серьезная, правдивая и прекрасная собой. Ведь так?

— Так.

— Так и я была уверена. Ну, так если она такая, как же она могла полюбить Алешу, такого мальчика? Объясните мне это; я часто об этом думаю.

— Этого нельзя объяснить, Катерина Федоровна; трудно представить, за что и как можно полюбить. Да, он ребенок. Но знаете ли, как можно полюбить ребенка? (Сердце мое размягчилось, глядя на нее и на ее глазки, пристально, с глубоким, серьезным и нетерпеливым вниманием устремленные на меня.) И чем больше Наташа сама не похожа на ребенка,— продолжал я,— чем серьезнее она, тем скорее она могла полюбить его. Он правдив, искренен, наивен ужасно, а иногда грациозно наивен. Она, может быть, полюбила его — как бы это сказать?.. Как будто из какой-то жалости. Великодушное сердце может полюбить из жалости... Впрочем, я чувствую, что я вам ничего не могу объяснить, но зато спрошу вас самих: ведь вы его любите?

Я смело задал ей этот вопрос и чувствовал, что поспешностью такого вопроса я не могу смутить беспредельной, младенческой чистоты этой ясной души.

— Ей-богу, еще не знаю,— тихо отвечала она мне, светло смотря мне в глаза,— но, кажется, очень люблю...

— Ну, вот видите. А можете ли изъяснить, за что его любите?

— В нем лжи нет,— отвечала она, подумав,— и когда он посмотрит прямо в глаза и что-нибудь говорит мне при этом, то мне это очень нравится... Послушайте, Иван Петрович, вот я с вами говорю об этом, я девушка, а вы мужчина; хорошо ли я это делаю или нет?

— Да что же тут такого?

— То-то. Разумеется, что же тут такого? А вот они (она указала глазами на группу, сидевшую за самоваром), они, наверно, сказали бы, что это нехорошо. Правы они или нет?

— Нет! Ведь вы не чувствуете в сердце, что поступаете дурно, стало быть...

— Так я и всегда делаю,— перебила она, очевидно спеша как можно больше наговориться со мною,— как только я в чем смущаюсь, сейчас спрошу свое сердце, и коль оно спокойно, то и я спокойна. Так и всегда надо поступать. И я потому с вами говорю так совершенно откровенно, как будто сама с собою, что, во-первых, вы прекрасный человек, и я знаю вашу прежнюю историю с Наташей до Алеши, и я плакала, когда слушала.

— А вам кто рассказывал?

— Разумеется, Алеша, и сам со слезами рассказывал: это было очень хорошо с его стороны, и мне очень понравилось. Мне кажется, он вас больше любит, чем вы его, Иван Петрович. Вот эдакими-то вещами он мне и нравится. Ну, а во-вторых, я потому с вами так прямо говорю, как сама с собою, что вы очень умный человек и много можете мне дать советов и научить меня.

— Почему же вы знаете, что я до того умен, что могу вас учить?

— Ну вот; что это вы!— Она задумалась.

— Я ведь только так об этом заговорила; будемте говорить о самом главном. Научите меня, Иван Петрович: вот я чувствую теперь, что я Наташина соперница, я ведь это знаю, как же мне поступать? Я потому и спросила вас: будут ли они счастливы. Я об этом день и ночь думаю. Положение Наташи ужасно, ужасно! Ведь он совсем ее перестал любить, а меня все больше и больше любит. Ведь так?

— Кажется, так.

— И ведь он ее не обманывает. Он сам не знает, что перестает любить, а она наверно это знает. Каково же она мучается!

— Что же вы хотите делать, Катерина Федоровна?

— Много у меня проектов,— отвечала она серьезно,— а между тем я все путаюсь. Потому-то и ждала вас с таким нетерпением, чтоб вы мне все это разрешили. Вы все это гораздо лучше меня знаете. Ведь вы для меня теперь как будто какой-то бог. Слушайте, я сначала так рассуждала: если они любят друг друга, то надобно, чтоб они были счастливы, и потому я должна собой пожертвовать и им помогать. Ведь так?

— Я знаю, что вы и пожертвовали собой.

— Да, пожертвовала, а потом как он начал приезжать ко мне и все больше и больше меня любить, так и стала задумываться про себя и все думаю: пожертвовать или нет? Ведь это очень худо, не правда ли?

— Это естественно,— отвечал я,— так должно быть... и вы не виноваты.

— Не думаю; это вы потому говорите, что очень добры. А я так думаю, что у меня сердце не совсем чистое. Если б было чистое сердце, я бы знала, как решить. Но оставим это! Потом я узнала побольше об их отношениях от князя, от maman, от самого Алеши и догадалась, что они не ровня; вы вот теперь подтвердили. Я и задумалась еще больше: как же теперь? Ведь если они будут несчастливы, так ведь им лучше разойтись; а потом и положила: расспросить вас подробнее обо всем и поехать самой к Наташе, а уж с ней и решить все дело.

— Но как же решить-то, вот вопрос?

— Я так и скажу ей: «Ведь вы его любите больше всего, а потому и счастье его должны любить больше своего; следственно, должны с ним расстаться».

— Да, но каково же ей будет это слышать? А если она согласится с вами, то в силах ли она будет это сделать?

— Вот об этом-то я и думаю день и ночь и... и...

И она вдруг заплакала.

— Вы не поверите, как мне жалко Наташу,— прошептала она дрожавшими от слез губками.

Нечего было тут прибавлять. Я молчал, и мне самому хотелось заплакать, смотря на нее, так, от любви какой-то. Что за милый был это ребенок! Я уж не спрашивал ее, почему она считает себя способною сделать счастье Алеши.

— Вы ведь любите музыку?— спросила она, несколько успокоившись, еще задумчивая от недавних слез.

— Люблю,— отвечал я с некоторым удивлением.

— Если б было время, я бы вам сыграла третий концерт Бетховена. Я его теперь играю. Там все эти чувства... точно так же, как я теперь чувствую. Так мне кажется. Но это в другой раз; а теперь надо говорить.

Начались у нас переговоры о том, как ей видеться с Наташей и как это все устроить. Она объявила мне, что за ней присматривают, хотя мачеха ее добрая и любит ее, но ни за что не позволит ей познакомиться с Натальей Николаевной; а потому она и решилась на хитрость. Поутру она иногда ездит гулять, почти всегда с графиней. Иногда же графиня не ездит с нею, а отпускает ее одну с француженкой, которая теперь больна. Бывает же это, когда у графини болит голова; а потому и ждать надо, когда у ней заболит голова. А до этого она уговорит свою француженку (что-то вроде компаньонки, старушка), потому что француженка очень добра. В результате выходило, что никак нельзя было определить заранее дня, назначенного для визита к Наташе.

— С Наташей вы познакомитесь и не будете раскаиваться,— сказал я.— Она вас сама очень хочет узнать, и это нужно хоть для того только, чтоб ей знать, кому она передает Алешу. О деле же этом не тоскуйте очень. Время и без ваших забот решит. Ведь вы едете в деревню.

— Да, скоро, может быть, через месяц,— отвечала она,— и я знаю, что на этом настаивает князь.

— Как вы думаете, поедет с вами Алеша?

— Вот и я об этом думала!— проговорила она, пристально смотря на меня.— Ведь он поедет.

— Поедет.

— Боже мой, что из этого всего выйдет — не знаю. Послушайте, Иван Петрович. Я вам обо всем буду писать, буду часто

писать и много. Уж я теперь пошла вас мучить. Вы часто будете к нам приходить?

— Не знаю, Катерина Федоровна: это зависит от обстоятельств. Может быть, и совсем не буду ходить.

— Почему же?

— Это будет зависеть от разных причин, а главное, от отношений моих с князем.

— Это нечестный человек,— сказала решительно Катя.— А знаете, Иван Петрович, что если б я к вам приехала! Это хорошо бы было или не хорошо?

— Как вы сами думаете?

— Я думаю, что хорошо. Так, навестила бы вас...— прибавила она, улыбнувшись.— Я ведь к тому говорю, что я, кроме того, что вас уважаю,— я вас очень люблю... И у вас научиться многому можно. А я вас люблю... И ведь это не стыдно, что я вам про все это говорю?

— Чего же стыдно? Вы сами мне уже дороги, как родная.

— Ведь вы хотите быть моим другом?

— О да, да! — отвечал я.

— Ну, а они непременно бы сказали, что стыдно и не следует так поступать молодой девушке,— заметила она, снова указав мне на собеседников у чайного стола. Замечу здесь, что князь, кажется, нарочно оставил нас одних вдоволь наговориться.

— Я ведь знаю очень хорошо,— прибавила она,— князю хочется моих денег. Про меня они думают, что я совершенный ребенок, и даже мне прямо это говорят. Я же не думаю этого. Я уж не ребенок. Странные они люди: сами ведь они точно дети; ну, из чего хлопочут?

— Катерина Федоровна, я забыл спросить: кто эти Левенька и Боренька, к которым так часто ездит Алеша?

— Это мне дальняя родня. Они очень умные и очень честные, но уж много говорят... Я их знаю...

И она улыбнулась.

— Правда ли, что вы хотите им подарить со временем миллион?

— Ну, вот видите, ну хоть бы этот миллион, уж они так болтают о нем, что уж и несносно становится. Я, конечно, с радостию пожертвую на все полезное, к чему ведь такие огромные деньги, не правда ли? Но ведь когда еще я его пожертвую; а они уж там теперь делят, рассуждают, кричат, спорят: куда лучше употребить его, даже ссорятся из-за этого,— так что уж это и странно. Слишком торопятся. Но все-таки они такие искренние и... умные. Учатся. Это все же лучше, чем как другие живут. Ведь так?

И много еще мы говорили с ней. Она мне рассказала чуть

не всю свою жизнь и с жадностью слушала мои рассказы. Все требовала, чтоб я всего более рассказывал ей про Наташу и про Алешу. Было уже двенадцать часов, когда князь подошел ко мне и дал знать, что пора откланиваться. Я простился. Катя горячо пожала мне руку и выразительно на меня взглянула. Графиня просила меня бывать; мы вышли вместе с князем.

Не могу удержаться от странного и, может быть, совершенно не идущего к делу замечания. Из трехчасового моего разговора с Катей я вынес, между прочим, какое-то странное, но вместе с тем глубокое убеждение, что она до того еще вполне ребенок, что совершенно не знает всей тайны отношений мужчины и женщины. Это придавало необыкновенную комичность некоторым ее рассуждениям и вообще серьезному тону, с которым она говорила о многих очень важных вещах...

Глава X

— А знаете ли что,— сказал мне князь, садясь вместе со мною в коляску,— что, если б нам теперь поужинать, а? Как вы думаете?

— Право, не знаю, князь,— отвечал я, колеблясь,— я никогда не ужинаю...

— Ну, разумеется, и *поговорим* за ужином,— прибавил он, пристально и хитро смотря мне прямо в глаза.

Как было не понять! «Он хочет высказаться,— подумал я,— а мне ведь того и надо». Я согласился.

— Дело в шляпе. В Большую Морскую, к Б*.

— В ресторан? — спросил я с некоторым замешательством.

— Да. А что ж? Я ведь редко ужинаю дома. Неужели ж вы мне не позволите пригласить вас?

— Но я вам сказал уже, что я никогда не ужинаю.

— Что за дело один раз. К тому же ведь это я вас приглашаю...

То есть заплачу за тебя; я уверен, что он прибавил это нарочно. Я позволил везти себя, но в ресторане решился платить за себя сам. Мы приехали. Князь взял особую комнату и со вкусом и знанием дела выбрал два-три блюда. Блюда были дорогие, равно как и бутылка тонкого столового вина, которую он велел принести. Все это было не по моему карману. Я посмотрел на карту и велел принести себе полрябчика и рюмку лафиту. Князь взбунтовался.

— Вы не хотите со мной ужинать! Ведь это даже смешно. Pardon, mon ami[1], но ведь это... возмутительная щепетильность.

---

[1] Извините, мой друг (*франц.*).

Это уж самое мелкое самолюбие. Тут замешались чуть ли не сословные интересы, и бьюсь об заклад, что это так. Уверяю вас, что вы меня обижаете.

Но я настоял на своем.

— Впрочем, как хотите,— прибавил он.— Я вас не принуждаю... скажите, Иван Петрович, можно мне с вами говорить вполне дружелюбно?

— Я вас прошу об этом.

— Ну так, по-моему, такая щепетильность вам же вредит. Так же точно вредят себе и все ваши этим же самым. Вы литератор, вам нужно знать свет, а вы всего чуждаетесь. Я не про рябчиков теперь говорю, но ведь вы готовы отказываться совершенно от всякого сообщения с нашим кругом, а это положительно вредно. Кроме того, что вы много теряете,— ну, одним словом, карьеру,— кроме того, хоть одно то, что надобно самому узнать, что вы описываете, а у вас там, в повестях, и графы, и князья, и будуары... впрочем, что ж я? У вас там теперь все нищета, потерянные шинели, ревизоры, задорные офицеры, чиновники, старые годы и раскольничий быт, знаю, знаю.

— Но вы ошибаетесь, князь; если я не хожу в так называемый вами «высший круг», то это потому, что там, во-первых, скучно, а во-вторых, нечего делать! Но и, наконец, я все-таки бываю...

— Знаю, у князя Р., раз в год; я там вас и встретил. А остальное время года вы коснеете в демократической гордости и чахнете на ваших чердаках, хотя и не все так поступают из ваших. Есть такие искатели приключений, что даже меня тошнит...

— Я просил бы вас, князь, переменить этот разговор и не возвращаться к нам на чердаки.

— Ах, боже мой, вот вы и обиделись. Впрочем, сами же вы позволили мне говорить с вами дружелюбно. Но, виноват, я ничем еще не заслужил вашей дружбы. Вино порядочное. Попробуйте.

Он налил мне полстакана из своей бутылки.

— Вот видите, мой милый Иван Петрович, я ведь очень хорошо понимаю, что навязываться на дружбу неприлично. Ведь не все же мы грубы и наглы с вами, как вы о нас воображаете; ну, я тоже очень хорошо понимаю, что вы сидите здесь со мной не из расположения ко мне, а оттого, что я обещался с вами *поговорить*. Не правда ли?

Он засмеялся.

— А так как вы наблюдаете интересы известной особы, то вам и хочется послушать, что я буду говорить. Так ли? — прибавил он с злою улыбкою.

— Вы не ошиблись,— прервал я с нетерпением (я видел, что он был из тех, которые, видя человека хоть капельку в своей власти, сейчас же дают ему это почувствовать. Я же был в его власти; я не мог уйти, не выслушав всего, что он намерен был сказать, и он знал это очень хорошо. Его тон вдруг изменился и все больше и больше переходил в нагло фамильярный и насмешливый).— Вы не ошиблись, князь; я именно за этим и приехал, иначе, право, не стал бы сидеть... так поздно.

Мне хотелось сказать: иначе ни за что бы не остался с вами, но я не сказал и перевернул по-другому, не из боязни, а из проклятой моей слабости и деликатности. Ну как в самом деле сказать человеку грубость прямо в глаза, хотя он и стоил того и хотя я именно и хотел сказать ему грубость? Мне кажется, князь это приметил по моим глазам и с насмешкою смотрел на меня во все продолжение моей фразы, как бы наслаждаясь моим малодушием и точно подзадоривая меня своим взглядом: «А что, не посмел, сбрендил*, то-то, брат!» Это наверно так было, потому что он, когда я кончил, расхохотался и с какой-то протежирующей лаской потрепал меня по колену.

«Смешишь же ты, братец»,— прочитал я в его взгляде. «Постой же!» — подумал я про себя.

— Мне сегодня очень весело! — вскричал он,— и, право, не знаю почему. Да, да, мой друг, да! Я именно об этой особе и хотел говорить. Надо же окончательно высказаться, *договориться* до чего-нибудь, и надеюсь, что в этот раз вы меня совершенно поймете. Давеча я с вами заговорил об этих деньгах и об этом колпаке-отце*, шестидесятилетнем младенце... Ну! Не стоит теперь и поминать. Я ведь это *так* говорил! Ха-ха-ха, ведь вы литератор, должны же были догадаться...

Я с изумлением смотрел на него. Кажется, он был еще не пьян.

— Ну, а что касается до этой девушки, то, право, я ее уважаю, даже люблю, уверяю вас; капризна она немножко, но ведь «нет розы без шипов», как говорили пятьдесят лет назад, и хорошо говорили: шипы колются, но ведь это-то и заманчиво, и хоть мой Алексей дурак, но я ему отчасти уже простил — за хороший вкус. Короче, мне эти девицы нравятся, и у меня — он многознаменательно сжал губы — даже виды особенные... Ну, да это после...

— Князь! Послушайте, князь! — вскричал я,— я не понимаю в вас этой быстрой перемены, но... перемените разговор, прошу вас!

— Вы опять горячитесь! Ну, хорошо... переменю, переменю! Только вот что хочу спросить у вас, мой добрый друг: очень вы ее уважаете?

— Разумеется,— отвечал я с грубым нетерпением.

— Ну, ну и любите? — продолжал он, отвратительно скаля зубы и прищурив глаза.

— Вы забываетесь! — вскричал я.

— Ну, не буду, не буду! Успокойтесь! В удивительнейшем расположении духа я сегодня. Мне так весело, как давно не бывало. Не выпить ли нам шампанского! Как думаете, мой поэт?

— Я не буду пить, не хочу!

— И не говорите! Вы непременно должны мне составить сегодня компанию. Я чувствую себя прекрасно, и так как я добр до сентиментальности, то и не могу быть счастливым один. Кто знает, мы, может быть, еще дойдем до того, что выпьем на ты, ха, ха, ха! Нет, молодой мой друг, вы меня еще не знаете! Я уверен, что вы меня полюбите. Я хочу, чтоб вы разделили сегодня со мною и горе и радость, и веселье и слезы, хотя, надеюсь, что я-то, по крайней мере, не заплачу. Ну как же, Иван Петрович? Ведь вы сообразите только, что если не будет того, что мне хочется, то все мое вдохновение пройдет, пропадет, улетучится, и вы ничего не услышите; ну, а ведь вы здесь единственно для того, чтоб что-нибудь услышать. Не правда ли? — прибавил он, опять нагло мне подмигивая,— ну так и выбирайте.

Угроза была важная. Я согласился. «Уж не хочет ли он меня напоить пьяным?» — подумал я. Кстати, здесь место упомянуть об одном слухе про князя, слухе, который уже давно дошел до меня. Говорили про него, что он — всегда такой приличный и изящный в обществе — любит иногда по ночам пьянствовать, напиваться как стелька и потаенно развратничать, гадко и таинственно развратничать... Я слыхал о нем ужасные слухи... Говорят, Алеша знал о том, что отец иногда пьет, и старался скрывать это перед всеми и особенно перед Наташей. Однажды было он мне проговорился, но тотчас же замял разговор и не отвечал на мои расспросы. Впрочем, я не от него и слышал и, признаюсь, прежде не верил; теперь же ждал, что будет.

Подали вино; князь налил два бокала, себе и мне.

— Милая, милая девочка, хоть и побранила меня! — продолжал он, с наслаждением смакуя вино,— но эти милые существа именно тут-то и милы, в такие именно моменты... А ведь она, наверно, думала, что меня пристыдила, помните в тот вечер, разбила в прах! Ха, ха, ха! И как к ней идет румянец! Знаток вы в женщинах? Иногда внезапный румянец ужасно идет к бледным щекам, заметили вы это? Ах, боже мой! Да вы, кажется, опять сердитесь?

— Да, сержусь! — вскричал я, уже не сдерживая себя,— и не хочу, чтоб вы говорили теперь о Наталье Николаевне... то есть говорили в таком тоне. Я... я не позволю вам этого!

— Ого! Ну, извольте, сделаю вам удовольствие, переменю

тему. Я ведь уступчив и мягок, как тесто. Будем говорить об вас. Я вас люблю, Иван Петрович, если б вы знали, какое дружеское, какое искреннее я беру в вас участие...

— Князь, не лучше ли говорить о деле,— прервал я его.

— То есть о *нашем деле*, хотите вы сказать. Я вас понимаю с полуслова, mon ami, но вы и не подозреваете, как близко мы коснемся к делу, если заговорим теперь об вас и если, разумеется, вы меня не прервете. Итак, продолжаю: я хотел вам сказать, мой бесценный Иван Петрович, что жить так, как вы живете, значит просто губить себя. Уж вы позвольте мне коснуться этой деликатной материи; я из дружбы. Вы бедны, вы берете у вашего антрепренера вперед, платите свои должишки, на остальное питаетесь полгода одним чаем и дрожите на своем чердаке в ожидании, когда напишется ваш роман в журнале вашего антрепренера; ведь так?

— Хоть и так, но все же это...

— Почетнее, чем воровать, низкопоклонничать, брать взятки, интриговать, ну и прочее и прочее. Знаю, знаю, что вы хотите сказать; все это давно напечатано.

— А следственно, вам нечего и говорить о моих делах. Неужели я вас должен, князь, учить деликатности.

— Ну, уж конечно, не вы. Только что же делать, если мы именно касаемся этой деликатной струны. Ведь не обходить же ее. Ну, да впрочем, оставим чердаки в покое. Я и сам до них не охотник, разве в известных случаях (и он отвратительно захохотал). А вот что меня удивляет: что за охота вам играть роль второго лица?* Конечно, один ваш писатель даже, помнится, сказал где-то: что, может быть, самый великий подвиг человека в том, если он сумеет ограничиться в жизни ролью второго лица... Кажется, что-то эдакое! Об этом я еще где-то разговор слышал, но ведь Алеша отбил у вас невесту, я ведь это знаю, а вы, как какой-нибудь Шиллер*, за них же распинаетесь, им же прислуживаете и чуть ли у них не на побегушках... Вы уж извините меня, мой милый, но ведь это какая-то гаденькая игра в великодушные чувства... Как это вам не надоест, в самом деле! Даже стыдно. Я бы, кажется, на вашем месте умер с досады; а главное: стыдно, стыдно!

— Князь! Вы, кажется, нарочно привезли меня сюда, чтоб оскорбить! — вскричал я вне себя от злости.

— О нет, мой друг, нет, я в эту минуту просто-запросто деловой человек и хочу вашего счастья. Одним словом, я хочу уладить все дело. Но оставим на время *все дело*, а вы меня дослушайте до конца, постарайтесь не горячиться, хоть две какие-нибудь минутки. Ну, как вы думаете, что, если б вам жениться? Видите, я ведь теперь совершенно говорю о *постороннем;* что ж вы на меня с таким удивлением смотрите?

— Жду, когда вы все кончите,— отвечал я, действительно смотря на него с удивлением.

— Да высказывать-то нечего. Мне именно хотелось знать, что бы вы сказали, если б вам кто-нибудь из друзей ваших, желающий вам основательного, истинного счастья, не эфемерного какого-нибудь, предложил девушку, молоденькую, хорошенькую, но... уже кое-что испытавшую; я говорю аллегорически, но вы меня понимаете, ну, вроде Натальи Николаевны, разумеется с приличным вознаграждением... (Заметьте, я говорю о постороннем, а не о *нашем* деле); ну, что бы вы сказали?

— Я скажу вам, что вы... сошли с ума.

— Ха-ха-ха! Ба! Да вы чуть ли не бить меня собираетесь?

Я действительно готов был на него броситься. Дальше я не мог выдержать. Он производил на меня впечатление какого-то гада, какого-то огромного паука, которого мне ужасно хотелось раздавить. Он наслаждался своими насмешками надо мною; он играл со мной, как кошка с мышью, предполагая, что я весь в его власти. Мне казалось (и я понимал это), что он находил какое-то удовольствие, какое-то, может быть, даже сладострастие в своей низости и в этом нахальстве, в этом цинизме, с которым он срывал, наконец, передо мной свою маску. Он хотел насладиться моим удивлением, моим ужасом. Он меня искренно презирал и смеялся надо мною.

Я предчувствовал еще с самого начала, что все это предумеренно и к чему-нибудь клонится; но я был в таком положении, что во что бы то ни стало должен был его дослушать. Это было в интересах Наташи, и я должен был решиться на все и все перенести, потому что в эту минуту, может быть, решалось все дело. Но как можно было слушать эти циничеcкие, подлые выходки на ее счет, как можно было это переносить хладнокровно? А он, вдобавок к тому, сам очень хорошо понимал, что я не могу его не выслушать, и это еще усугубляло обиду. «Впрочем, он ведь сам нуждается во мне»,— подумал я и стал отвечать ему резко и бранчиво. Он понял это.

— Вот что, молодой мой друг,— начал он, серьезно смотря на меня,— нам с вами эдак продолжать нельзя, а потому лучше уговоримся. Я, видите ли, намерен был вам кое-что высказать, ну, а вы уж должны быть так любезны, чтобы согласиться выслушать, что бы я ни сказал. Я желаю говорить, как хочу и как мне нравится, да по-настоящему так и надо. Ну, так как же, молодой мой друг, будете вы терпеливы?

Я скрепился и смолчал, несмотря на то, что он смотрел на меня с такою едкою насмешкою, как будто сам вызывал меня на самый резкий протест. Но он понял, что я уже согласился не уходить, и продолжал:

— Не сердитесь на меня, друг мой. Вы ведь на что рассер-

дились? На одну наружность, не правда ли? Ведь вы от меня, в самой сущности дела, ничего другого и не ожидали, как бы я ни говорил с вами: с раздушенною ли вежливостью, или как теперь; следовательно, смысл все-таки был бы тот же, как и теперь. Вы меня презираете, не правда ли? Видите ли, сколько во мне этой милой простоты, откровенности, этой bonhomie[1]. Я вам во всем признаюсь, даже в моих детских капризах. Да, mon cher[2], да, побольше bonhomie и с вашей стороны, и мы сладимся, сговоримся совершенно и наконец поймем друг друга окончательно. А на меня не дивитесь: мне до того, наконец, надоели все эти невинности, все эти Алешины пасторали*, вся эта шиллеровщина, все эти возвышенности в этой проклятой связи с этой Наташей (впрочем, очень миленькой девочкой), что я, так сказать, поневоле рад случаю над всем этим погримасничать. Ну, случай и вышел. К тому же я и хотел перед вами излить мою душу. Ха-ха-ха!

— Вы меня удивляете, князь, и я вас не узнаю. Вы впадаете в тон полишинеля*; эти неожиданные откровенности...

— Ха-ха-ха, а ведь это верно отчасти! Премиленькое сравнение! ха-ха-ха! Я *кучу*, мой друг, я *кучу*, я рад и доволен, ну, а вы, мой поэт, должны уж оказать мне всевозможное снисхождение. Но давайте-ка лучше пить,— решил он, совершенно довольный собою и подливая в бокал.— Вот что, друг мой, уж один тот глупый вечер, помните у Наташи, доконал меня окончательно. Правда, сама она была очень мила, но я вышел оттуда с ужасной злобой и не хочу этого забыть. Ни забыть, ни скрывать. Конечно, будет и наше время и даже быстро приближается, но теперь мы это оставим. А между прочим, я хотел объяснить вам, что у меня именно есть черта в характере, которую вы еще не знали,— это ненависть ко всем этим пошлым, ничего не стоящим наивностям и пастораля м, и одно из самых пикантных для меня наслаждений всегда было прикинуться сначала самому на этот лад, войти в этот тон, обласкать, ободрить какого-нибудь вечно юного Шиллера и потом вдруг, сразу огорошить его; вдруг поднять перед ним маску и из восторженного лица сделать ему гримасу, показать ему язык именно в ту минуту, когда он менее всего ожидает этого сюрприза. Что? Вы этого не понимаете, вам это кажется гадким, нелепым, неблагородным, может быть, так ли?

— Разумеется, так.

— Вы откровенны. Ну, да что же делать, если самого меня мучат! Глупо и я откровенен, но уж таков мой характер. Впрочем, мне хочется рассказать кой-какие черты из моей жизни. Вы

---

[1] Добродушия *(франц.)*.

[2] Мой дорогой *(франц.)*.

меня поймете лучше, и это будет очень любопытно. Да, я действительно, может быть, сегодня похож на полишинеля; а ведь полишинель откровенен, не правда ли?

— Послушайте, князь, теперь поздно, и, право...

— Что? Боже, какая нетерпимость! Да и куда спешить? Ну, посидим, поговорим по-дружески, искренно, знаете, эдак за бокалом вина, как добрые приятели. Вы думаете, я пьян: ничего, это лучше. Ха-ха-ха! Право, эти дружеские сходки всегда так долго потом памятны, с таким наслаждением об них вспоминается. Вы недобрый человек, Иван Петрович. Сентиментальности в вас нет, чувствительности. Ну, что вам часик для такого друга, как я? К тому же ведь это тоже касается к делу... Ну, как этого не понять? А еще литератор; да вы бы должны были случай благословлять. Ведь вы можете с меня тип писать, ха-ха-ха! Боже, как я мило откровенен сегодня!

Он видимо хмелел. Лицо его изменилось и приняло какое-то злобное выражение. Ему, очевидно, хотелось язвить, колоть, кусать, насмехаться. «Это отчасти и лучше, что он пьян,— подумал я,— пьяный всегда разболтает». Но он был себе на уме.

— Друг мой,— начал он, видимо наслаждаясь собою,— я сделал вам сейчас одно признание, может быть даже и неуместное, о том, что у меня иногда является непреодолимое желание показать кому-нибудь в известном случае язык. За эту наивную и простодушную откровенность мою вы сравнили меня с полишинелем, что́ меня искренно рассмешило. Но если вы упрекаете меня или дивитесь на меня, что я с вами теперь груб и, пожалуй, еще неблагопристоен, как мужик,— одним словом, вдруг переменил с вами тон, то вы в этом случае совершенно несправедливы. Во-первых, мне так угодно, во-вторых, я не у себя, а с *вами*... то есть я хочу сказать, что мы теперь *кутим*, как добрые приятели, а в-третьих, я ужасно люблю капризы. Знаете ли, что когда-то я из каприза даже был метафизиком* и филантропом* и вращался чуть ли не в таких же идеях, как вы? Это, впрочем, было ужасно давно, в златые дни моей юности. Помню, я еще тогда приехал к себе в деревню с гуманными целями и, разумеется, скучал на чем свет стоит; и вы не поверите, что тогда случилось со мною? От скуки я начал знакомиться с хорошенькими девочками... Да уж вы не гримасничаете ли? О молодой мой друг! Да ведь мы теперь в дружеской сходке. Когда ж и покутить, когда ж и распахнуться! Я ведь русская натура, неподдельная русская натура, патриот, люблю распахнуться, да и к тому же надо ловить минуту и насладиться жизнью. Умрем и — что там! Ну, так вот-с я и волочился. Помню, еще у одной пастушки был муж, красивый молодой мужичок. Я его больно наказал и в солдаты хотел отдать (прошлые проказы, мой поэт!), да и не отдал в солдаты. Умер он у меня в больнице... У меня

ведь в селе больница была, на двенадцать кроватей,— великолепно устроенная; чистота, полы паркетные. Я, впрочем, ее давно уж уничтожил, а тогда гордился ею: филантропом был; ну, а мужичка чуть не засек за жену... Ну, что вы опять гримасу состроили? Вам отвратительно слушать? Возмущает ваши благородные чувства? Ну, ну, успокойтесь! Все это прошло. Это я сделал, когда романтизировал, хотел быть благодетелем человечества, филантропическое общество основать... в такую тогда колею попал. Тогда и сек. Теперь не высеку; теперь надо гримасничать; теперь мы все гримасничаем — такое время пришло... Но более всего меня смешит теперь дурак Ихменев. Я уверен, что он знал весь этот пассаж с мужичком... и что ж? Он из доброты своей души, созданной, кажется, из патоки, и оттого, что влюбился тогда в меня и сам же захвалил меня самому себе,— решился ничему не верить и не поверил; то есть факту не поверил и двенадцать лет стоял за меня горой до тех пор, пока до самого не коснулось. Ха-ха-ха! Ну, да все это вздор! Выпьем, мой юный друг. Послушайте: любите вы женщин?

Я ничего не отвечал. Я только слушал его. Он уж начал вторую бутылку.

— А я люблю о них говорить за ужином. Познакомил бы я вас после ужина с одной mademoiselle Phileberte — а? Как вы думаете? Да что с вами? Вы и смотреть на меня не хотите... гм!

Он было задумался. Но вдруг поднял голову, как-то значительно взглянул на меня и продолжал:

— Вот что, мой поэт, хочу я вам открыть одну тайну природы, которая, кажется, вам совсем неизвестна. Я уверен, что вы меня называете в эту минуту грешником, может быть даже подлецом, чудовищем разврата и порока. Но вот что я вам скажу! Если б только могло быть (чего, впрочем, по человеческой натуре никогда быть не может), если б могло быть, чтоб каждый из нас описал всю свою подноготную, но так, чтобы не побоялся изложить не только то, что он боится сказать и ни за что не скажет людям, не только то, что он боится сказать своим лучшим друзьям, но даже и то, в чем боится подчас признаться самому себе,— то ведь на свете поднялся бы тогда такой смрад, что нам бы всем надо было задохнуться. Вот почему, говоря в скобках, так хороши наши светские условия и приличия. В них глубокая мысль,— не скажу нравственная, но просто предохранительная, комфортная, что, разумеется, еще лучше, потому что нравственность в сущности тот же комфорт, то есть изобретена единственно для комфорта. Но о приличиях после, я теперь сбиваюсь, напомните мне о них потом. Заключу же так: вы меня обвиняете в пороке, разврате, безнравственности, а я, может быть, только тем и виноват теперь, что *откровеннее* других, и больше ничего; что не утаиваю того, что другие скрывают даже от самих себя,

как сказал я прежде... Это я скверно делаю, но я теперь так хочу. Впрочем, не беспокойтесь,— прибавил он с насмешливою улыбкой,— я сказал «виноват», но ведь я вовсе не прошу прощения. Заметьте себе еще: я не конфужу вас, не спрашиваю о том: нет ли у вас у самого каких-нибудь таких же тайн, чтоб вашими тайнами оправдать и себя... Я поступаю прилично и благородно. Вообще я всегда поступаю благородно...

— Вы просто заговариваетесь,— сказал я, с презрением смотря на него.

— Заговариваетесь, ха-ха-ха! А сказать, об чем вы теперь думаете? Вы думаете: зачем это я завез вас сюда и вдруг, ни с того ни с сего, так перед вами разоткровенничался? Так или нет?

— Так.

— Ну, это вы после узнаете.

— А проще всего, выпили чуть не две бутылки и... охмелели.

— То есть просто пьян. И это может быть. «Охмелели!» — то есть это понежнее, чем пьян. О, преисполненный деликатностей человек! Но... мы, кажется, опять начали браниться, а заговорили было о таком интересном предмете. Да, мой поэт, если еще есть на свете что-нибудь хорошенькое и сладенькое, так это женщины.

— Знаете ли, князь, я все-таки не понимаю, почему вам вздумалось выбрать именно меня конфидентом* ваших тайн и любовных... стремлений.

— Гм... да ведь я вам сказал, что узнаете после. Не беспокойтесь; а впрочем, хоть бы и так, безо всяких причин; вы поэт, вы меня поймете, да я уж и говорил вам об этом. Есть особое сладострастие в этом внезапном срыве маски, в этом цинизме, с которым человек вдруг выказывается перед другим в таком виде, что даже не удостоивает и постыдиться перед ним. Я вам расскажу анекдот: был в Париже один сумасшедший чиновник; его потом посадили в сумасшедший дом, когда вполне убедились, что он сумасшедший. Ну так когда он сходил с ума, то вот что выдумал для своего удовольствия: он раздевался у себя дома, совершенно, как Адам, оставлял на себе одну обувь, накидывал на себя широкий плащ до пят, закутывался в него и с важной, величественной миной выходил на улицу. Ну, сбоку посмотреть — человек, как и все, прогуливается себе в широком плаще для своего удовольствия. Но лишь только случалось ему встретить какого-нибудь прохожего, где-нибудь наедине, так чтоб кругом никого не было, он молча шел на него, с самым серьезным и глубокомысленным видом, вдруг останавливался перед ним, развертывал свой плащ и показывал себя во всем... чистосердечии. Это продолжалось одну минуту, потом он завертывался опять и молча, не пошевелив ни одним мускулом лица, проходил мимо остолбеневшего от изумления зрителя, важно, плавно, как

тень в «Гамлете»*. Так он поступал со всеми, с мужчинами, женщинами и детьми, и в этом состояло все его удовольствие. Вот часть-то этого самого удовольствия и можно находить, внезапно огорошив какого-нибудь Шиллера и высунув ему язык, когда он всего менее ожидает этого. «Огорошив» — каково словечко? Я его вычитал где-то в вашей же современной литературе.

— Ну, так то был сумасшедший, а вы...

— Себе на уме?

— Да.

Князь захохотал.

— Вы справедливо судите, мой милый,— прибавил он с самым наглым выражением лица.

— Князь,— сказал я, разгорячившись от его нахальства,— вы нас ненавидите, в том числе и меня, и мстите мне теперь за все и за всех. Все это в вас из самого мелкого самолюбия. Вы злы и мелочно злы. Мы вас разозлили, и, может быть, больше всего вы сердитесь за тот вечер. Разумеется, вы ничем так сильно не могли отплатить мне, как этим окончательным презрением ко мне; вы избавляете себя даже от обыденной и всем обязательной вежливости, которою мы все друг другу обязаны. Вы ясно хотите показать мне, что даже не удостоиваете постыдиться меня, срывая передо мной так откровенно и так неожиданно вашу гадкую маску и выставляясь в таком нравственном цинизме...

— Для чего ж вы это мне все говорите? — спросил он, грубо и злобно смотря на меня.— Чтоб показать свою проницательность?

— Чтоб показать, что я вас понимаю, и заявить это перед вами.

— Quelle idée, mon cher[1],— продолжал он, вдруг переменив свой тон на прежний веселый и болтливо-добродушный.— Вы только отбили меня от предмета. Buvons, mon ami[2], позвольте мне налить. А я только что было хотел рассказать одно прелестнейшее и чрезвычайно любопытное приключение. Расскажу его вам в общих чертах. Был я знаком когда-то с одной барыней; была она не первой молодости, а так лет двадцати семи-восьми,— красавица первостепенная, что за бюст, что за осанка, что за походка! Она глядела пронзительно, как орлица, но всегда сурово и строго; держала себя величаво и недоступно. Она слыла холодной, как крещенская зима, и запугивала всех своею недосягаемою, своею грозною добродетелью. Именно грозною. Не было во всем ее круге такого нетерпимого судьи, как она. Она карала не только порок, но даже малейшую слабость в других женщинах, и карала безвозвратно, без апелляции. В своем кругу она имела

---

[1] Что за мысль, мой дорогой *(франц.)*.

[2] Выпьем, мой друг *(франц.)*.

Ф. М. Достоевский

«УНИЖЕННЫЕ И ОСКОРБЛЕННЫЕ»

огромное значение. Самые гордые и самые страшные по своей добродетели старухи почитали ее, даже заискивали в ней. Она смотрела на всех бесстрастно-жестоко, как абесса* средневекового монастыря. Молодые женщины трепетали ее взгляда и суждения. Одно ее замечание, один намек ее уже могли погубить репутацию,— уж так она себя поставила в обществе,— боялись ее даже мужчины. Наконец она бросилась в какой-то созерцательный мистицизм, впрочем тоже спокойный и величавый... И что ж? Не было развратницы развратнее этой женщины, и я имел счастье заслужить вполне ее доверенность. Одним словом — я был ее тайным и таинственным любовником. Сношения были устроены до того ловко, до того мастерски, что даже никто из ее домашних не мог иметь ни малейшего подозрения; только одна ее прехорошенькая камеристка, француженка, была посвящена во все ее тайны, но на эту камеристку можно было вполне положиться; она тоже брала участие в деле,— каким образом? Я это теперь опущу. Барыня моя была сладострастна до того, что сам маркиз де Сад* мог бы у ней поучиться. Но самое сильное, самое пронзительное и потрясающее в этом наслаждении — была его таинственность и наглость обмана. Эта насмешка над всем, о чем графиня проповедовала в обществе как о высоком, недоступном и ненарушимом, и, наконец, этот внутренний дьявольский хохот и сознательное попирание всего, чего нельзя попирать,— и все это без пределов, доведенное до самой последней степени, до такой степени, о которой самое горячечное воображение не смело бы и помыслить,— вот в этом-то, главное, и заключалась самая яркая черта этого наслаждения. Да, это был сам дьявол во плоти, но он был непобедимо очарователен. Я и теперь не могу припомнить о ней без восторга. В пылу самых горячих наслаждений она вдруг хохотала, как исступленная, и я понимал, вполне понимал этот хохот и сам хохотал... Я еще и теперь задыхаюсь при одном воспоминании, хотя тому уже много лет. Через год она переменила меня. Если б я и хотел, я бы не мог повредить ей. Ну, кто бы мог мне поверить? Каков характер? Что́ скажете, молодой мой друг?

— Фу, какая низость! — отвечал я, с отвращением выслушав это признание.

— Вы бы не были молодым моим другом, если б отвечали иначе! Я так и знал, что вы это скажете. Ха-ха-ха! Подождите, mon ami, поживете и поймете, а теперь вам еще нужно пряничка. Нет, вы не поэт после этого: эта женщина понимала жизнь и умела ею воспользоваться.

— Да зачем же доходить до такого зверства?

— До какого зверства?

— До которого дошла эта женщина и вы с нею.

— А, вы называете это зверством,— признак, что вы все

еще на помочах и на веревочке. Конечно, я признаю, что самостоятельность может явиться и совершенно в противоположном, но... будем говорить попроще, mon ami... согласитесь сами, ведь все это вздор.

— Что же не вздор?

— Не вздор — это личность, это я сам. Все для меня, и весь мир для меня создан. Послушайте, мой друг, я еще верую в то, что на свете можно хорошо пожить. А это самая лучшая вера, потому что без нее даже и худо-то жить нельзя: пришлось бы отравиться. Говорят, так и сделал какой-то дурак. Он зафилософствовался до того, что разрушил все, все, даже законность всех нормальных и естественных обязанностей человеческих, и дошел до того, что ничего у него не осталось; остался в итоге нуль, вот он и провозгласил, что в жизни самое лучшее — синильная кислота. Вы скажете: это Гамлет, это грозное отчаяние,— одним словом, что-нибудь такое величавое, что нам и не приснится никогда. Но вы поэт, а я простой человек и потому скажу, что надо смотреть на дело с самой простой, практической точки зрения. Я, например, уже давно освободил себя от всех пут и даже обязанностей. Я считаю себя обязанным только тогда, когда это мне принесет какую-нибудь пользу. Вы, разумеется, не можете так смотреть на вещи; у вас ноги спутаны и вкус больной. Вы тоскуете по идеалу, по добродетелям. Но, мой друг, я ведь сам готов признавать все, что прикажете; но что же мне делать, если я наверно знаю, что в основании всех человеческих добродетелей лежит глубочайший эгоизм. И чем добродетельнее дело — тем более тут эгоизма. Люби самого себя — вот одно правило, которое я признаю. Жизнь — коммерческая сделка; даром не бросайте денег, но, пожалуй, платите за угождение, и вы исполните все свои обязанности к ближнему,— вот моя нравственность, если уж вам ее непременно нужно, хотя, признаюсь вам, по-моему, лучше и не платить своему ближнему, а суметь заставить его делать даром. Идеалов я не имею и не хочу иметь; тоски по них никогда не чувствовал. В свете можно так весело, так мило прожить и без идеалов... и en somme[1], я очень рад, что могу обойтись без синильной кислоты. Ведь будь я именно *добродетельнее*, я бы, может быть, без нее и не обошелся, как тот дурак-философ (без сомнения, немец). Нет! В жизни так много еще хорошего. Я люблю значение, чин, отель, огромную ставку в карты (ужасно люблю карты). Но главное, главное — женщины... и женщины во всех видах; я даже люблю потаенный, темный разврат, постраннее и оригинальнее, даже немножко с грязнотцой для разнообразия... Ха-ха-ха! Смотрю я на

---

[1] В общем *(франц.)*.

ваше лицо: с каким презрением смотрите вы на меня теперь!

— Вы правы,— отвечал я.

— Ну, положим, что и вы правы, но ведь, во всяком случае, лучше грязнотца, чем синильная кислота. Не правда ли?

— Нет, уж синильная кислота лучше.

— Я нарочно спросил вас: «не правда ли?», чтоб насладиться вашим ответом; я его знал заранее. Нет, мой друг: если вы истинный человеколюбец, то пожелайте всем умным людям такого же вкуса, как у меня, даже и с грязнотцой, иначе ведь умному человеку скоро нечего будет делать на свете и останутся одни только дураки. То-то им счастье будет! Да ведь и теперь есть пословица: дуракам счастье, и, знаете ли, нет ничего приятнее, как жить с дураками и поддакивать им: выгодно! Вы не смотрите на меня, что я дорожу предрассудками, держусь известных условий, добиваюсь значения; ведь я вижу, что я живу в обществе пустом; но в нем покамест тепло, и я ему поддакиваю, показываю, что за него горой, а при случае я первый же его и оставлю. Я ведь все ваши новые идеи знаю, хотя и никогда не страдал от них, да и не от чего. Угрызений совести у меня не было ни о чем. Я на все согласен, было бы мне хорошо, и нас таких легион, и нам действительно хорошо. Все на свете может погибнуть, одни мы никогда не погибнем. Мы существуем с тех пор, как мир существует. Весь мир может куда-нибудь провалиться, но мы всплывем наверх. Кстати: посмотрите хоть уж на одно то, как живучи такие люди, как мы. Ведь мы, примерно, феноменально живучи; поражало вас это когда-нибудь? Значит, сама природа нам покровительствует, хе-хе-хе! Я хочу непременно жить до девяноста лет. Я смерти не люблю и боюсь ее. Ведь черт знает еще как придется умереть! Но к чему говорить об этом! Это меня отравившийся философ раззадорил. К черту философию! Buvons, mon cher! Ведь мы начали было говорить о хорошеньких девушках... Куда это вы!

— Я иду, да и вам пора...

— Полноте, полноте! Я, так сказать, открыл перед вами все мое сердце, а вы даже и не чувствуете такого яркого доказательства дружбы. Хе-хе-хе! В вас мало любви, мой поэт. Но постойте, я хочу еще бутылку.

— Третью?

— Третью. Про добродетель, мой юный питомец (вы мне позволите назвать вас этим сладким именем: кто знает, может быть, мои поучения пойдут и впрок)... Итак, мой питомец, про добродетель я уж сказал вам: «чем добродетель добродетельнее, тем больше в ней эгоизма». Хочу вам рассказать на эту тему один премиленький анекдот: я любил однажды девушку и любил почти искренно. Она даже многим для меня пожертвовала...

— Это та, которую вы обокрали? — грубо спросил я, не желая более сдерживаться.

Князь вздрогнул, переменился в лице и уставился на меня своими воспаленными глазами; в его взгляде было недоумение и бешенство.

— Постойте,— проговорил он как бы про себя,— постойте, дайте мне сообразить. Я действительно пьян, и мне трудно сообразить...

Он замолчал и пытливо, с той же злобой смотрел на меня, придерживая мою руку своей рукой, как бы боясь, чтоб я не ушел. Я уверен, что в эту минуту он соображал и доискивался, откуда я могу знать это дело, почти никому не известное, и нет ли во всем этом какой-нибудь опасности? Так продолжалось с минуту; но вдруг лицо его быстро изменилось; прежнее насмешливое, пьяно-веселое выражение появилось снова в его глазах. Он захохотал.

— Ха-ха-ха! Талейран*, да и только! Ну что ж, я действительно стоял перед ней как оплеванный, когда она брякнула мне в глаза, что я обокрал ее! Как она визжала тогда, как ругалась! Бешеная была женщина и... без всякой выдержки. Но, посудите сами: во-первых, я вовсе не обокрал ее, как вы сейчас выразились. Она подарила мне свои деньги сама, и они уже были мои. Ну, положим, вы мне дарите ваш лучший фрак (говоря это, он взглянул на мой единственный и довольно безобразный фрак, шитый года три назад портным Иваном Скорнягиным), я вам благодарен, ношу его, вдруг через год вы поссорились со мной и требуете его назад, а я его уж износил. Это неблагородно; зачем же дарить? Во-вторых, я, несмотря на то, что деньги были мои, непременно бы возвратил их назад, но согласитесь сами: где же я вдруг мог собрать такую сумму? А главное, я терпеть не могу пасторалей и шиллеровщины, я уж вам говорил,— ну, это-то и было всему причиною. Вы не поверите, как она рисовалась передо мною, крича, что дарит мне (впрочем, мои же) деньги. Злость взяла меня, и я вдруг сумел рассудить совершенно правильно, потому что присутствие духа никогда не оставляет меня: я рассудил, что, отдав ей деньги, сделаю ее, может быть, даже несчастною. Я бы отнял у ней наслаждение быть несчастной вполне *из-за меня* и проклинать меня за это всю свою жизнь. Поверьте, мой друг, в несчастии такого рода есть даже какое-то высшее упоение сознавать себя вполне правым и великодушным и иметь полное право назвать своего обидчика подлецом. Это упоение злобы встречается у шиллеровских натур, разумеется; может быть, потом ей было нечего есть, но я уверен, что она была счастлива. Я и не хотел лишить ее этого счастья и не отослал ей денег. Таким образом и оправдано вполне мое правило, что чем громче и крупней человеческое великодушие,

тем больше в нем самого отвратительного эгоизма... Неужели вам это неясно? Но... вы хотели поддеть меня, ха-ха-ха!.. ну, признайтесь, хотели поддеть?.. О Талейран!

— Прощайте! — сказал я, вставая.

— Минутку! Два заключительных слова,— вскричал он, изменяя вдруг свой гадкий тон на серьезный.— Выслушайте мое последнее: из всего, что я сказал вам, следует ясно и ярко (думаю, что и вы сами это заметили), что я никогда и ни для кого не хочу упускать мою выгоду. Я люблю деньги, и мне они надобны. У Катерины Федоровны их много; ее отец десять лет содержал винный откуп. У ней три миллиона, и эти три миллиона мне очень пригодятся. Алеша и Катя — совершенная пара; оба дураки в последней степени; мне того и надо. И потому я непременно желаю и хочу, чтоб их брак устроился, и как можно скорее. Недели через две, через три графиня и Катя едут в деревню. Алеша должен сопровождать их. Предуведомьте Наталью Николаевну, чтоб не было пасторалей, чтоб не было шиллеровщины, чтоб против меня не восставали. Я мстителен и зол, я за свое постою. Ее я не боюсь: все, без сомнения, будет по-моему, и потому если предупреждаю теперь, то почти для нее же самой. Смотрите же, чтоб не было глупостей и чтоб вела она себя благоразумно. Не то ей будет плохо, очень плохо. Уж она за то только должна быть мне благодарна, что я не поступил с нею как следует, по законам. Знайте, мой поэт, что законы ограждают семейное спокойствие; они гарантируют отца в повиновении сына, и что те, которые отвлекают детей от священных обязанностей к их родителям, законами не поощряются. Сообразите, наконец, что у меня есть связи, что у ней никаких и... неужели вы не понимаете, что я бы мог с ней сделать?.. Но я не сделал, потому что до сих пор она вела себя благоразумно. Не беспокойтесь: каждую минуту, за каждым движением их присматривали зоркие глаза все эти полгода, и я знал все до последней мелочи. И потому я спокойно ждал, пока Алеша сам ее бросит, что уж и начинается; а покамест ему милое развлечение. Я же остался в его понятиях гуманным отцом, а мне надо, чтоб он так обо мне думал. Ха-ха-ха! Как вспомню я, что чуть не комплименты ей делал, тогда вечером, что она была так великодушна и бескорыстна, что не вышла за него замуж; желал бы я знать, как бы она вышла! Что же касается до моего тогдашнего к ней приезда, то все это было единственно для того, что уж пора было кончить их связь. Но мне надобно было увериться во всем своими глазами, своим собственным опытом... Ну, довольно ли с вас? Или вы, может быть, хотите узнать еще: для чего я завез вас сюда, для чего я перед вами так ломался и так спроста откровенничал, тогда как все это можно было высказать без всяких откровенностей,— да?

— Да.— Я скрепился и жадно слушал. Мне нечего было отвечать ему более.

— Единственно потому, мой друг, что в вас я заметил несколько более благоразумия и ясного взгляда на вещи, чем в обоих наших дурачках. Вы могли и раньше знать, кто я, предугадывать, составлять предположения обо мне, но я хотел вас избавить от всего этого труда и решился вам наглядно показать, с *кем* вы имеете дело. Действительное впечатление великая вещь. Поймите же меня, mon ami. Вы знаете, с кем имеете дело, ее вы любите, и потому я надеюсь теперь, что вы употребите все свое влияние (а вы таки имеете на нее влияние), чтоб избавить ее от *некоторых* хлопот. Иначе будут хлопоты, и уверяю, уверяю вас, что не шуточные. Ну-с, наконец, третья причина моих с вами откровенностей, это... (да ведь вы угадали же, мой милый), да, мне действительно хотелось поплевать немножко на все это дело, и поплевать именно в ваших глазах...

— И вы достигли вашей цели,— сказал я, дрожа от волнения.— Я согласен, что ничем вы не могли так выразить передо мной всей вашей злобы и всего презрения вашего ко мне и ко всем нам, как этими откровенностями. Вы не только не опасались, что ваши откровенности могут вас передо *мной* компрометировать, но даже и не стыдились меня... Вы действительно походили на того сумасшедшего в плаще. Вы меня за человека не считали.

— Вы угадали, мой юный друг,— сказал он, вставая,— вы все угадали: недаром же вы литератор. Надеюсь, что мы расстаемся дружелюбно. Брудершафт* ведь не будем пить?

— Вы пьяны, и единственно потому я не отвечаю вам как бы следовало...

— Опять фигура умолчания,— не договорили, как следовало бы отвечать, ха-ха-ха! Заплатить за вас вы мне не позволяете.

— Не беспокойтесь, я сам заплачу.

— Ну, уж без сомненья. Ведь нам не по дороге?

— Я с вами не поеду.

— Прощайте, мой поэт. Надеюсь, вы меня поняли...

Он вышел, шагая несколько нетвердо и не оборачиваясь ко мне. Лакей усадил его в коляску. Я пошел своею дорогою. Был третий час утра. Шел дождь, ночь была темная...

ЧАСТЬ ЧЕТВЕРТАЯ

Глава I

Не стану описывать моего озлобления. Несмотря на то, что можно было всего ожидать, я был поражен; точно он предстал передо мной во всем своем безобразии совсем неожиданно. Впрочем, помню, ощущения мои были смутны: как будто я был чем-то придавлен, ушиблен, и черная тоска все больше и больше сосала мне сердце; я боялся за Наташу. Я предчувствовал ей много мук впереди и смутно заботился, как бы их обойти, как бы

облегчить эти последние минуты перед окончательной развязкой всего дела. В развязке же сомнения не было никакого. Она приближалась, и как было не угадать, какова она будет!

Я и не заметил, как дошел домой, хотя дождь мочил меня всю дорогу. Было уже часа три утра. Не успел я стукнуть в дверь моей квартиры, как послышался стон, и дверь торопливо начала отпираться, как будто Нелли и не ложилась спать, а все время сторожила меня у самого порога. Свечка горела. Я взглянул в лицо Нелли и испугался: оно все изменилось; глаза горели, как в горячке, и смотрели как-то дико, точно она не узнавала меня. С ней был сильный жар.

— Нелли, что с тобой, ты больна? — спросил я, наклоняясь к ней и обняв ее рукой.

Она трепетно прижалась ко мне, как будто боялась чего-то, что-то заговорила, скоро, порывисто, как будто только и ждала меня, чтоб поскорей мне это рассказать. Но слова ее были бессвязны и странны; я ничего не понял, она была в бреду.

Я повел ее поскорей на постель. Но она все бросалась ко мне и прижималась крепко, как будто в испуге, как будто прося защитить себя от кого-то, и когда уже легла в постель, все еще хваталась за мою руку и крепко держала ее, боясь, чтоб я опять не ушел. Я был до того потрясен и расстроен нервами, что, глядя на нее, даже заплакал. Я сам был болен. Увидя мои слезы, она долго и неподвижно вглядывалась в меня с усиленным, напряженным вниманием, как будто стараясь что-то осмыслить и сообразить. Видно было, что ей стоило это больших усилий. Наконец что-то похожее на мысль прояснилось в лице ее; после сильного припадка падучей болезни она обыкновенно некоторое время не могла соображать свои мысли и внятно произносить слова. Так было и теперь: сделав над собой чрезвычайное усилие, чтоб выговорить мне что-то, и догадавшись, что я не понимаю, она протянула свою ручонку и начала отирать мои слезы, потом обхватила мою шею, нагнула меня к себе и поцеловала.

Было ясно: с ней без меня был припадок, и случился он именно в то мгновение, когда она стояла у самой двери. Очнувшись от припадка, она, вероятно, долго не могла прийти в себя. В это время действительность смешивается с бредом, и ей, верно, вообразилось что-нибудь ужасное, какие-нибудь страхи. В то же время она смутно сознавала, что я должен воротиться и буду стучаться у дверей, а потому, лежа у самого порога на полу, чутко ждала моего возвращения и приподнялась на мой первый стук.

«Но для чего ж она как раз очутилась у дверей?» — подумал я и вдруг с удивлением заметил, что она была в шубейке (я только что купил ей у знакомой старухи-торговки, зашедшей ко мне на квартиру и уступавшей мне иногда свой товар в долг); следовательно, она собиралась куда-то идти со двора и, вероятно,

уже отпирала дверь, как вдруг эпилепсия поразила ее. Куда ж она хотела идти? Уж не была ли она и тогда в бреду?

Между тем жар не проходил, и она скоро опять впала в бред и беспамятство. С ней был уже два раза припадок на моей квартире, но всегда оканчивался благополучно, а теперь она была точно в горячке. Посидев над ней с полчаса, я примостил к дивану стулья и лег, как был, одетый, близ нее, чтобы скорей проснуться, если б она меня позвала. Свечки я не тушил. Много раз еще я взглядывал на нее прежде, чем сам заснул. Она была бледна; губы — запекшиеся от жару и окровавленные, вероятно, от падения; с лица не сходило выражение страха и какой-то мучительной тоски, которая, казалось, не покидала ее даже во сне. Я решился назавтра как можно раньше сходить к доктору, если б ей стало хуже. Боялся я, чтоб не приключилось настоящей горячки.

«Это ее князь напугал!» — подумал я с содроганием и вспомнил рассказ его о женщине, бросившей ему в лицо свои деньги.

Глава II

...Прошло две недели; Нелли выздоравливала. Горячки с ней не было, но была она сильно больна. Она встала с постели уже в конце апреля, в светлый, ясный день. Была страстная неделя.

Бедное создание! Я не могу продолжать рассказа в прежнем порядке. Много прошло уже времени до теперешней минуты, когда я записываю все это прошлое, но до сих пор с такой тяжелой, пронзительной тоской вспоминается мне это бледное, худенькое личико, эти пронзительные долгие взгляды ее черных глаз, когда, бывало, мы оставались вдвоем, и она смотрит на меня с своей постели, смотрит, долго смотрит, как бы вызывая меня угадать, что у ней на уме; но видя, что я не угадываю и все в прежнем недоумении, тихо и как будто про себя улыбнется и вдруг ласково протянет мне свою горячую ручку с худенькими, высохшими пальчиками. Теперь все прошло, уж все известно, а до сих пор я не знаю всей тайны этого больного, измученного и оскорбленного маленького сердца.

Я чувствую, что я отвлекусь от рассказа, но в эту минуту мне хочется думать об одной только Нелли. Странно: теперь, когда я лежу на больничной койке один, оставленный всеми, кого я так много и сильно любил,— теперь иногда одна какая-нибудь мелкая черта из того времени, тогда часто для меня неприметная и скоро забываемая, вдруг приходя на память, внезапно получает в моем уме совершенно другое значение, цельное и объясняющее мне теперь то, чего я даже до сих пор не умел понять.

Первые четыре дня ее болезни мы, я и доктор, ужасно за нее боялись, но на пятый день доктор отвел меня в сторону и сказал мне, что бояться нечего и она непременно выздоровеет. Это был тот самый доктор, давно знакомый мне старый холостяк, добряк и чудак, которого я призывал еще в первую болезнь Нелли и который так поразил ее своим Станиславом на шее, чрезвычайных размеров.

— Стало быть, совсем нечего бояться! — сказал я, обрадовавшись.

— Да, она теперь выздоровеет, но потом она весьма скоро умрет.

— Как умрет! Да почему же! — вскричал я, ошеломленный таким приговором.

— Да, она непременно весьма скоро умрет. У пациентки органический порок в сердце, и при малейших неблагоприятных обстоятельствах она сляжет снова. Может быть, снова выздоровеет, но потом опять сляжет снова и наконец умрет.

— И неужели ж нельзя никак спасти ее? Нет, этого быть не может!

— Но это должно быть. И однако, при удалении неблагоприятных обстоятельств, при спокойной и тихой жизни, когда будет более удовольствий, пациентка еще может быть отдалена от смерти, и даже бывают случаи... неожиданные... ненормальные и странные... одним словом, пациентка даже может быть спасена, при совокуплении многих благоприятных обстоятельств, но радикально спасена — никогда.

— Но боже мой, что же теперь делать?

— Следовать советам, вести покойную жизнь и исправно принимать порошки. Я заметил, что эта девица капризна, неровного характера и даже насмешлива; она очень не любит исправно принимать порошки и вот сейчас решительно отказалась.

— Да, доктор. Она действительно странная, но я все приписываю болезненному раздражению. Вчера она была очень послушна; сегодня же, когда я ей подносил лекарство, она пихнула ложку как будто нечаянно, и все пролилось. Когда же я хотел развести новый порошок, она вырвала у меня всю коробку и ударила ее об пол, а потом залилась слезами... Только, кажется, не оттого, что ее заставляли принимать порошки,— прибавил я, подумав.

— Гм! ирритация[1]. Прежние большие несчастия (я подробно и откровенно рассказал доктору многое из истории Нелли; и рассказ мой очень поразил его), все это в связи, и вот от этого и болезнь. Покамест единственное средство — принимать порошки, и она должна принять порошок. Я пойду и еще раз постара-

---

[1]Раздражение, возбуждение (*лат.*—irritatio).

юсь внушить ей ее обязанность слушаться медицинских советов и... то есть говоря вообще... принимать порошки.

Мы оба вышли из кухни (в которой и происходило наше свидание), и доктор снова приблизился к постели больной. Но Нелли, кажется, нас слышала: по крайней мере, она приподняла голову с подушек и, обратив в нашу сторону ухо, все время чутко прислушивалась. Я заметил это в щель полуотворенной двери; когда же мы пошли к ней, плутовка юркнула вновь под одеяло и поглядывала на нас с насмешливой улыбкой. Бедняжка очень похудела в эти четыре дня болезни: глаза ввалились, жар все еще не проходил. Тем страннее шел к ее лицу шаловливый вид и задорные блестящие взгляды, очень удивлявшие доктора, самого добрейшего из всех немецких людей в Петербурге.

Он серьезно, но стараясь как можно смягчить свой голос, ласковым и нежнейшим тоном изложил необходимость и спасительность порошков, а следственно, и обязанность каждого больного принимать их. Нелли приподняла было голову, но вдруг, по-видимому совершенно нечаянным движением руки, задела ложку, и все лекарство пролилось опять на пол. Я уверен, она это сделала нарочно.

— Это очень неприятная неосторожность,— спокойно сказал старичок,— и я подозреваю, что вы сделали это нарочно, что очень непохвально. Но... можно все исправить и еще развести порошок.

Нелли засмеялась ему прямо в глаза.

Доктор методически покачал головою.

— Это очень нехорошо,— сказал он, разводя новый порошок,— очень, очень непохвально.

— Не сердитесь на меня,— отвечала Нелли, тщетно стараясь не засмеяться снова,— я непременно приму... А любите вы меня?

— Если вы будете вести себя похвально, то очень буду любить.

— Очень?

— Очень.

— А теперь не любите?

— И теперь люблю.

— А поцелуете меня, если я захочу вас поцеловать?

— Да, если вы будете того заслуживать.

Тут Нелли опять не могла вытерпеть и снова засмеялась.

— У пациентки веселый характер, но теперь — это нервы и каприз,— прошептал мне доктор с самым серьезным видом.

— Ну, хорошо, я выпью порошок,— вскрикнула вдруг своим слабым голоском Нелли,— но когда я вырасту и буду большая, вы возьмете меня за себя замуж?

Вероятно, выдумка этой новой шалости очень ей нравилась;

глаза ее так и горели, а губки так и подергивало смехом в ожидании ответа несколько изумленного доктора.

— Ну да,— отвечал он, улыбаясь невольно этому новому капризу,— ну да, если вы будете добрая и благовоспитанная девица, будете послушны и будете...

— Принимать порошки? — подхватила Нелли.

— Ого! ну да, принимать порошки. Добрая девица,— шепнул он мне снова,— в ней много, много... доброго и умного, но, однако ж... замуж... какой странный каприз...

И он снова поднес ей лекарство. Но в этот раз она даже и не схитрила, а просто снизу вверх подтолкнула рукой ложку, и все лекарство выплеснулось прямо на манишку и на лицо бедному старичку. Нелли громко засмеялась, но не прежним простодушным и веселым смехом. В лице ее промелькнуло что-то жестокое, злое. Во все это время она как будто избегала моего взгляда, смотрела на одного доктора и с насмешкою, сквозь которую проглядывало, однако же, беспокойство, ждала, что-то будет теперь делать «смешной» старичок.

— О! вы опять... Какое несчастие! Но... можно еще развести порошок,— проговорил старик, отирая платком лицо и манишку.

Это ужасно поразило Нелли. Она ждала нашего гнева, думала, что ее начнут бранить, упрекать, и, может быть, ей, бессознательно, того только и хотелось в эту минуту,— чтоб иметь предлог тотчас же заплакать, зарыдать, как в истерике, разбросать опять порошки, как давеча, и даже разбить что-нибудь с досады, и всем этим утолить свое капризное, наболевшее сердечко. Такие капризы бывают и не у одних больных, и не у одной Нелли. Как часто, бывало, я ходил взад и вперед по комнате с бессознательным желанием, чтоб поскорей меня кто-нибудь обидел или сказал слово, которое бы можно было принять за обиду, и поскорей сорвать на чем-нибудь сердце. Женщины же, «срывая» таким образом сердце, начинают плакать самыми искренними слезами, а самые чувствительные из них даже доходят до истерики. Дело очень простое и самое житейское и бывающее чаще всего, когда есть другая, часто никому не известная печаль в сердце и которую хотелось бы, да нельзя никому высказать.

Но вдруг, пораженная ангельской добротою обиженного ею старичка и терпением, с которым он снова разводил ей третий порошок, не сказав ей ни одного слова упрека, Нелли вдруг притихла. Насмешка слетела с ее губок, краска ударила ей в лицо, глаза повлажнели; она мельком взглянула на меня и тотчас же отворотилась. Доктор поднес ей лекарство. Она смирно и робко выпила его, схватив красную пухлую руку старика, и медленно поглядела ему в глаза.

— Вы... сердитесь... что я злая,— сказала было она, но не докончила, юркнула под одеяло, накрылась с головой и громко, истерически зарыдала.

— О дитя мое, не плачьте... Это ничего... Это нервы; выпейте воды.

Но Нелли не слушала.

— Утешьтесь... не расстраивайте себя,— продолжал он, чуть сам не хныча над нею, потому что был очень чувствительный человек,— я вас прощаю и замуж возьму, если вы, при хорошем поведении честной девицы, будете...

— Принимать порошки! — послышалось из-под одеяла с тоненьким, как колокольчик, нервическим смехом, прерываемым рыданиями,— очень мне знакомым смехом.

— Доброе, признательное дитя,— сказал доктор торжественно и чуть не со слезами на глазах.— Бедная девица!

И с этих пор между ним и Нелли началась какая-то странная, удивительная симпатия. Со мной же, напротив, Нелли становилась все угрюмее, нервичнее и раздражительнее. Я не знал, чему это приписать, и дивился на нее, тем более что эта перемена произошла в ней как-то вдруг. В первые дни болезни она была со мной чрезвычайно нежна и ласкова; казалось, не могла наглядеться на меня, не отпускала от себя, схватывала мою руку своею горячею рукой и садила меня возле себя, и если замечала, что я угрюм и встревожен, старалась развеселить меня, шутила, играла со мной и улыбалась мне, видимо подавляя свои собственные страдания. Она не хотела, чтоб я работал по ночам или сидел, сторожил ее, и печалилась, видя, что я ее не слушаюсь. Иногда я замечал в ней озабоченный вид; она начинала расспрашивать и выпытывать от меня, почему я печалюсь, что у меня на уме; но странно, когда доходило до Наташи, она тотчас же умолкала или начинала заговаривать о другом. Она как будто избегала говорить о Наташе, и это поразило меня. Когда я приходил, она радовалась. Когда же я брался за шляпу, она смотрела уныло и как-то странно, как будто с упреком, провожала меня глазами.

На четвертый день ее болезни я весь вечер и даже далеко за полночь просидел у Наташи. Нам было тогда о чем говорить. Уходя же из дому, я сказал моей больной, что ворочусь очень скоро, на что и сам рассчитывал. Оставшись у Наташи почти нечаянно, я был спокоен насчет Нелли: она оставалась не одна. С ней сидела Александра Семеновна, узнавшая от Маслобоева, зашедшего ко мне на минуту, что Нелли больна и я в больших хлопотах и один-одинехонек. Боже мой, как захлопотала добренькая Александра Семеновна:

— Так, стало быть, он и обедать к нам теперь не придет!.. Ах, боже мой! И один-то он, бедный, один. Ну, так покажем же

мы теперь ему наше радушие. Вот случай выдался, так и не надо его упускать.

Тотчас же она явилась у нас, привезя с собой на извозчике целый узел. Объявив с первого слова, что теперь и не уйдет от меня и приехала, чтоб помогать мне в хлопотах, она развязала узел. В нем были сиропы, варенья для больной, цыплята и курица, в случае, если больная начнет выздоравливать, яблоки для печенья, апельсины, киевские сухие варенья (на случай, если доктор позволит), наконец, белье, простыни, салфетки, женские рубашки, бинты, компрессы — точно на целый лазарет.

— Все-то у нас есть,— говорила она мне, скоро и хлопотливо выговаривая каждое слово, как будто куда-то торопясь,— ну, а вот вы живете по-холостому. У вас ведь этого всего мало. Так уж позвольте мне... и Филипп Филиппыч так приказал. Ну, что же теперь... поскорей, поскорей! Что же теперь надо делать? Что она? В памяти? Ах, так ей не хорошо лежать, надо поправить подушку, чтоб ниже лежала голова, да знаете ли... не лучше ли кожаную подушку? От кожаной-то холодит. Ах, какая я дура! И на ум не пришло привезть. Я поеду за ней... Не нужно ли огонь развести? Я свою старуху вам пришлю. У меня есть знакомая старуха. У вас ведь никого нет из женской прислуги... Ну, что же теперь делать? Это что? Трава... доктор прописал? Верно, для грудного чаю? Сейчас пойду разведу огонь.

Но я ее успокоил, и она очень удивилась и даже опечалилась, что дела-то оказывается вовсе не так много. Это, впрочем, не обескуражило ее совершенно. Она тотчас же подружилась с Нелли и много помогала мне во все время ее болезни, навещала нас почти каждый день и всегда, бывало, приедет с таким видом, как будто что-нибудь пропало или куда-то уехало и надо поскорее ловить. Она всегда прибавляла, что так и Филипп Филиппыч приказал. Нелли она очень понравилась. Они полюбили одна другую, как две сестры, и я думаю, что Александра Семеновна во многом была такой же точно ребенок, как и Нелли. Она рассказывала ей разные истории, смешила ее, и Нелли потом часто скучала, когда Александра Семеновна уезжала домой. Первое же ее появление у нас удивило мою больную, но она тотчас же догадалась, зачем приехала незваная гостья, и, по обыкновению своему, даже нахмурилась, сделалась молчалива и нелюбезна.

— Она зачем к нам приезжала? — спросила Нелли как будто с недовольным видом, когда Александра Семеновна уехала.

— Помочь тебе, Нелли, и ходить за тобой.

— Да что ж?.. За что же? Ведь я ей ничего такого не сделала.

— Добрые люди и не ждут, чтоб им прежде делали, Нелли. Они и без этого любят помогать тем, кто нуждается. Полно,

Нелли; на свете очень много добрых людей. Только твоя-то беда, что ты их не встречала и не встретила, когда было надо.

Нелли замолчала: я отошел от нее. Но четверть часа спустя она сама подозвала меня к себе слабым голосом, попросила было пить и вдруг крепко обняла меня, припала к моей груди и долго не выпускала меня из своих рук. На другой день, когда приехала Александра Семеновна, она встретила ее с радостной улыбкой, но как будто все еще стыдясь ее отчего-то.

Глава III

Вот в этот-то день я и был у Наташи весь вечер. Я пришел уже поздно. Нелли спала, Александре Семеновне тоже хотелось спать, но она все сидела над больною и ждала меня. Тотчас же торопливым шепотом начала она мне рассказывать, что Нелли сначала была очень весела, даже много смеялась, но потом стала скучна и, видя, что я не прихожу, замолчала и задумалась. «Потом стала жаловаться, что у ней голова болит, заплакала и так разрыдалась, что уж я и не знала, что с нею делать,— прибавила Александра Семеновна.— Заговорила было со мной о Наталье Николаевне, но я ей ничего не могла сказать; она и перестала расспрашивать и все потом плакала, так и уснула в слезах. Ну, прощайте же, Иван Петрович; ей все-таки легче, как я заметила, а мне надо домой, так и Филипп Филиппыч приказал. Уж я признаюсь вам, ведь он меня этот раз только на два часа отпустил, а я уж сама осталась. Да что, ничего, не беспокойтесь обо мне; не смеет он сердиться... Только вот разве... Ах, боже мой, голубчик, Иван Петрович, что мне делать: все-то он теперь домой хмельной приходит! Занят он чем-то очень, со мной не говорит, тоскует, дело у него важное на уме; я уж это вижу; а вечером все-таки пьян... Подумаю только: воротился он теперь домой, кто-то его там уложит? Ну, еду, еду, прощайте. Прощайте, Иван Петрович. Книги я у вас тут смотрела: сколько книг-то у вас, и всё, должно быть, умные; а я-то дура, ничего-то я никогда не читала... Ну, до завтра...»

Но назавтра же Нелли проснулась грустная и угрюмая, нехотя отвечала мне. Сама же ничего со мной не заговаривала, точно сердилась на меня. Я заметил только несколько взглядов ее, брошенных на меня вскользь, как бы украдкой; в этих взглядах было много какой-то затаенной сердечной боли, но все-таки в них проглядывала нежность, которой не было, когда она прямо глядела на меня. В этот-то день и происходила сцена при приеме лекарства с доктором; я не знал, что подумать.

Но Нелли переменилась ко мне окончательно. Ее странности, капризы, иногда чуть не ненависть ко мне — все это продолжа-

лось вплоть до самого того дня, когда она перестала жить со мной, вплоть до самой той катастрофы, которая развязала весь наш роман. Но об этом после.

Случалось иногда, впрочем, что она вдруг становилась на какой-нибудь час ко мне по-прежнему ласкова. Ласки ее, казалось, удвоивались в эти мгновения; чаще всего в эти же минуты она горько плакала. Но часы эти проходили скоро, и она впадала опять в прежнюю тоску и опять враждебно смотрела на меня, или капризилась, как при докторе, или вдруг, заметив, что мне неприятна какая-нибудь ее новая шалость, начинала хохотать и всегда почти кончала слезами.

Она поссорилась даже раз с Александрой Семеновной, сказала ей, что ничего не хочет от нее. Когда же я стал пенять ей, при Александре же Семеновне, она разгорячилась, отвечала с какой-то порывчатой, накопившейся злобой, но вдруг замолчала и ровно два дня ни одного слова не говорила со мной, не хотела принять ни одного лекарства, даже не хотела пить и есть, и только старичок-доктор сумел уговорить и усовестить ее.

Я сказал уже, что между доктором и ею, с самого дня приема лекарства, началась какая-то удивительная симпатия. Нелли очень полюбила его и всегда встречала его с веселой улыбкой, как бы ни была грустна перед его приходом. С своей стороны, старичок начал ездить к нам каждый день, а иногда и по два раза в день, даже и тогда, когда Нелли стала ходить и уже совсем выздоравливала, и казалось, она заворожила его так, что он не мог прожить дня, не слыхав ее смеху и шуток над ним, нередко очень забавных. Он стал возить ей книжки с картинками, все назидательного свойства. Одну он нарочно купил для нее. Потом стал возить ей сласти, конфет в хорошеньких коробочках. В такие разы он входил обыкновенно с торжественным видом, как будто был именинник, и Нелли тотчас же догадывалась, что он приехал с подарком. Но подарка он не показывал, а только хитро смеялся, усаживался подле Нелли, намекал, что если одна молодая девица умела вести себя хорошо и заслужить в его отсутствие уважение, то такая молодая девица достойна хорошей награды. При этом он так простодушно и добродушно на нее поглядывал, что Нелли хоть и смеялась над ним самым откровенным смехом, но вместе с тем искренняя, ласкающая привязанность просвечивалась в эту минуту в ее проясневших глазках. Наконец, старик торжественно подымался со стула, вынимал коробочку с конфетами и, вручая ее Нелли, непременно прибавлял: «Моей будущей и любезной супруге». В эту минуту он сам был, наверно, счастливее Нелли.

После этого начинались разговоры, и каждый раз он серьезно и убедительно уговаривал ее беречь здоровье и давал ей убедительные медицинские советы.

— Более всего надо беречь свое здоровье,— говорил он догматическим тоном,— и во-первых, и главное, для того, чтоб остаться в живых, а во-вторых, чтобы всегда быть здоровым и, таким образом, достигнуть счастия в жизни. Если вы имеете, мое милое дитя, какие-нибудь горести, то забывайте их или лучше всего старайтесь о них не думать. Если же не имеете никаких горестей, то... также о них не думайте, а старайтесь думать об удовольствиях... о чем-нибудь веселом, игривом...

— А об чем же это веселом, игривом думать? — спрашивала Нелли.

Доктор немедленно становился в тупик.

— Ну, там... об какой-нибудь невинной игре, приличной вашему возрасту; или там... ну, что-нибудь эдакое...

— Я не хочу играть; я не люблю играть,— говорила Нелли.— А вот я люблю лучше новые платья.

— Новые платья! Гм. Ну, это уже не так хорошо. Надо во всем удовольствоваться скромною долей в жизни. А впрочем... пожалуй... можно любить и новые платья.

— А вы много мне сошьете платьев, когда я за вас замуж выйду?

— Какая идея! — говорил доктор и уж невольно хмурился. Нелли плутовски улыбалась и даже раз, забывшись, с улыбкою взглянула и на меня.— А впрочем... я вам сошью платье, если вы его заслужите своим поведением,— продолжал доктор.

— А порошки нужно будет каждый день принимать, когда я за вас замуж выйду?

— Ну, тогда можно будет и не всегда принимать порошки,— и доктор начинал улыбаться.

Нелли прерывала разговор смехом. Старичок смеялся вслед за ней и с любовью следил за ее веселостью.

— Игривый ум! — говорил он, обращаясь ко мне.— Но все еще виден каприз и некоторая прихотливость и раздражительность.

Он был прав. Я решительно не знал, что делалось с нею. Она как будто совсем не хотела говорить со мной, точно я перед ней в чем-нибудь провинился. Мне это было очень горько. Я даже сам нахмурился и однажды целый день не заговаривал с нею, но на другой день мне стало стыдно. Часто она плакала, и я решительно не знал, чем ее утешить. Впрочем, она однажды прервала со мной свое молчание.

Раз я воротился домой перед сумерками и увидел, что Нелли быстро спрятала под подушку книгу. Это был мой роман, который она взяла со стола и читала в мое отсутствие. К чему же было его прятать от меня? Точно она стыдится,— подумал я, но не показал виду, что заметил что-нибудь. Четверть часа спустя, когда я вышел на минутку в кухню, она быстро вскочила с по-

стели и положила роман на прежнее место: воротясь, я увидал уже его на столе. Через минуту она позвала меня к себе; в голосе ее отзывалось какое-то волнение. Уже четыре дня, как она почти не говорила со мной.

— Вы... сегодня... пойдете к Наташе? — спросила она меня прерывающимся голосом.

— Да, Нелли; мне очень нужно ее видеть сегодня.

Нелли помолчала.

— Вы... очень ее любите? — спросила она опять слабым голосом.

— Да, Нелли, очень люблю.

— И я ее люблю,— прибавила она тихо. Затем опять наступило молчание.

— Я хочу к ней и с ней буду жить,— начала опять Нелли, робко взглянув на меня.

— Это нельзя, Нелли,— отвечал я, несколько удивленный.— Разве тебе дурно у меня?

— Почему ж нельзя? — и она вспыхнула.— Ведь уговариваете же вы меня, чтоб я пошла жить к ее отцу; а я не хочу идти. У ней есть служанка?

— Есть.

— Ну, так пусть она отошлет свою служанку, а я ей буду служить. Все буду ей делать и ничего с нее не возьму; я любить ее буду и кушанье буду варить. Вы так и скажите ей сегодня.

— Но к чему же, что за фантазия, Нелли? И как же ты о ней судишь: неужели ты думаешь, что она согласится взять тебя вместо кухарки? Уж если возьмет она тебя, то как свою ровную, как младшую сестру свою.

— Нет, я не хочу как ровная. Так я не хочу...

— Почему же?

Нелли молчала. Губки ее подергивало: ей хотелось плакать.

— Ведь тот, которого она теперь любит, уедет от нее и ее одну бросит? — спросила она наконец.

Я удивился.

— Да почему ты это знаешь, Нелли?

— Вы и сами говорили мне все, и третьего дня, когда муж Александры Семеновны приходил утром, я его спрашивала: он мне все и сказал.

— Да разве Маслобоев приходил утром?

— Приходил,— отвечала она, потупив глазки.

— А зачем же ты мне не сказала, что он приходил?

— Так...

Я подумал с минуту. Бог знает, зачем этот Маслобоев шляется, с своею таинственностью. Что за сношения завел? Надо бы его увидать.

— Ну, так что ж тебе, Нелли, если он ее бросит?

— Ведь вы ее любите же очень,— отвечала Нелли, не подымая на меня глаз.— А коли любите, стало быть, замуж ее возьмете, когда тот уедет.

— Нет, Нелли, она меня не любит так, как я ее люблю, да и я... Нет, не будет этого, Нелли.

— А я бы вам обоим служила, как служанка ваша, а вы бы жили и радовались,— проговорила она чуть не шепотом, не смотря на меня.

«Что с ней, что с ней!» — подумал я, и вся душа перевернулась во мне. Нелли замолчала и более во весь вечер не сказала ни слова. Когда же я ушел, она заплакала, плакала весь вечер, как донесла мне Александра Семеновна, и так и уснула в слезах. Даже ночью, во сне, она плакала и что-то ночью говорила в бреду.

Но с этого дня она сделалась еще угрюмее и молчаливее и совсем уж не говорила со мной. Правда, я заметил два-три взгляда ее, брошенные на меня украдкой, и в этих взглядах было столько нежности! Но это проходило вместе с мгновением, вызвавшим эту внезапную нежность, и, как бы в отпор этому вызову, Нелли чуть не с каждым часом делалась все мрачнее, даже с доктором, удивлявшимся перемене ее характера. Между тем она уже совсем почти выздоровела, и доктор позволил ей наконец погулять на свежем воздухе, но только очень немного. Погода стояла светлая, теплая. Была страстная неделя, приходившаяся в этот раз очень поздно; я вышел поутру; мне надо было непременно быть у Наташи, но я положил раньше воротиться домой, чтоб взять Нелли и идти с нею гулять; дома же покамест оставил ее одну.

Но не могу выразить, какой удар ожидал меня дома. Я спешил домой. Прихожу и вижу, что ключ торчит снаружи у двери. Вхожу: никого нет. Я обмер. Смотрю: на столе бумажка, и на ней написано карандашом крупным, неровным почерком:

«Я ушла от вас и больше к вам никогда не приду. Но я вас очень люблю.

Ваша верная *Нелли*».

Я вскрикнул от ужаса и бросился вон из квартиры.

Глава IV

Я еще не успел выбежать на улицу, не успел сообразить, что и как теперь делать, как вдруг увидел, что у наших ворот останавливаются дрожки и с дрожек сходит Александра Семеновна, ведя за руку Нелли. Она крепко держала ее, точно боялась, чтоб она не убежала другой раз. Я так и бросился к ним.

— Нелли, что с тобой! — закричал я,— куда ты уходила, зачем?

— Постойте, не торопитесь; пойдемте-ка поскорее к вам, там все и узнаете,— защебетала Александра Семеновна,— какие вещи-то я вам расскажу, Иван Петрович,— шептала она наскоро дорогою.— Дивиться только надо... Вот пойдемте, сейчас узнаете.

На лице ее было написано, что у ней были чрезвычайно важные новости.

— Ступай, Нелли, ступай, приляг немножко,— сказала она, когда мы вошли в комнаты,— ведь ты устала; шутка ли, сколько обегала; а после болезни-то тяжело; приляг, голубчик, приляг. А мы с вами уйдемте-ка пока отсюда, не будем ей мешать, пусть уснет.— И она мигнула мне, чтоб я вышел с ней в кухню.

Но Нелли не прилегла, она села на диван и закрыла обеими руками лицо.

Мы вышли, и Александра Семеновна наскоро рассказала мне, в чем дело. Потом я узнал еще более подробностей. Вот как это все было.

Уйдя от меня часа за два до моего возвращения и оставив мне записку, Нелли побежала сперва к старичку-доктору. Адрес его она успела выведать еще прежде. Доктор рассказывал мне, что он так и обмер, когда увидел у себя Нелли, и все время, пока она была у него, «не верил глазам своим». «Я и теперь не верю,— прибавил он в заключение своего рассказа,— и никогда этому не поверю». И однако ж, Нелли действительно была у него. Он сидел спокойно в своем кабинете, в креслах, в шлафроке* и за кофеем, когда она вбежала и бросилась к нему на шею, прежде чем он успел опомниться. Она плакала, обнимала и целовала его, целовала ему руки и убедительно, хотя и бессвязно, просила его, чтоб он взял ее жить к себе; говорила, что не хочет и не может более жить со мной, потому и ушла от меня; что ей тяжело; что она уже не будет более смеяться над ним и говорить об новых платьях и будет вести себя хорошо, будет учиться, выучится «манишки ему стирать и гладить» (вероятно, она сообразила всю свою речь дорогою, а может быть, и раньше) и что, наконец, будет послушна и хоть каждый день будет принимать какие угодно порошки. А что если она говорила тогда, что замуж хотела за него выйти, так ведь это она шутила, что она и не думает об этом. Старый немец был так ошеломлен, что сидел все время разинув рот, подняв свою руку, в которой держал сигару, и забыв о сигаре, так что она и потухла.

— Мадмуазель,— проговорил он наконец, получив кое-как употребление языка,— мадмуазель, сколько я вас понял, вы просите, чтоб я вам дал место у себя. Но это — невозможно! Вы видите, я очень стеснен и не имею значительного дохода... И, наконец, так прямо, не подумав... Это ужасно! И, наконец, вы,

сколько я вижу, бежали из своего дома. Это очень непохвально и невозможно... И, наконец, я вам позволил только немного гулять в ясный день, под надзором вашего благодетеля, а вы бросаете своего благодетеля и бежите ко мне, тогда как вы должны беречь себя и... и... принимать лекарство. И, наконец... наконец, я ничего не понимаю...

Нелли не дала ему договорить. Она снова начала плакать, снова упрашивать его, но ничего не помогло. Старичок все более и более впадал в изумление и все более и более ничего не понимал. Наконец, Нелли бросила его, вскрикнула: «Ах, боже мой!» — и выбежала из комнаты. «Я был болен весь этот день,— прибавил доктор, заключая свой рассказ,— и на ночь принял декокт*...»

А Нелли бросилась к Маслобоевым. Она запаслась и их адресом и отыскала их, хотя и не без труда. Маслобоев был дома. Александра Семеновна так и всплеснула руками, когда услышала просьбу Нелли взять ее к ним. На ее же расспросы: почему ей так хочется, что ей тяжело, что ли, у меня? — Нелли ничего не отвечала и бросилась, рыдая, на стул. «Она так рыдала, так рыдала,— рассказывала мне Александра Семеновна,— что я думала, она умрет от этого». Нелли просилась хоть в горничные, хоть в кухарки, говорила, что будет пол мести и научится белье стирать. (На этом мытье белья она основывала какие-то особенные надежды и почему-то считала это самым сильным прельщением, чтоб ее взяли.) Мнение Александры Семеновны было оставить ее у себя до разъяснения дела, а мне дать знать. Но Филипп Филиппыч решительно этому воспротивился и тотчас же приказал отвезти беглянку ко мне. Дорогою Александра Семеновна обнимала и целовала ее, отчего Нелли еще больше начинала плакать. Смотря на нее, расплакалась и Александра Семеновна. Так обе всю дорогу и плакали.

— Да почему же, почему же, Нелли, ты не хочешь у него жить; что он, обижает тебя, что ли? — спрашивала, заливаясь слезами, Александра Семеновна.

— Нет, не обижает.

— Ну, так отчего же?

— Так, не хочу у него жить... не могу... я такая с ним все злая... а он добрый... а у вас я не буду злая, я буду работать,— проговорила она, рыдая как в истерике.

— Отчего же ты с ним такая злая, Нелли?..

— Так...

— И только я от нее это «так» и выпытала,— заключила Александра Семеновна, отирая свои слезы,— что это она за горемычная такая? Родимец, что ли, это? Как вы думаете, Иван Петрович?

Мы вошли к Нелли; она лежала, скрыв лицо в подушках,

и плакала. Я стал перед ней на колени, взял ее руки и начал целовать их. Она вырвала у меня руки и зарыдала еще сильнее. Я не знал, что и говорить. В эту минуту вошел старик Ихменев.

— А я к тебе по делу, Иван, здравствуй! — сказал он, оглядывая нас всех и с удивлением видя меня на коленях. Старик был болен все последнее время. Он был бледен и худ, но, как будто храбрясь перед кем-то, презирал свою болезнь, не слушал увещаний Анны Андреевны, не ложился, а продолжал ходить по своим делам.

— Прощайте покамест,— сказала Александра Семеновна, пристально посмотрев на старика.— Мне Филипп Филиппыч приказал как можно скорее воротиться. Дело у нас есть. А вечером, в сумерки, приеду к вам, часика два посижу.

— Кто такая? — шепнул мне старик, по-видимому думая о другом. Я объяснил.

— Гм. А вот я по делу, Иван...

Я знал, по какому он делу, и ждал его посещения. Он пришел переговорить со мной и с Нелли и перепросить ее у меня. Анна Андреевна соглашалась наконец взять в дом сиротку. Случилось это вследствие наших тайных разговоров: я убедил Анну Андреевну и сказал ей, что вид сиротки, которой мать была тоже проклята своим отцом, может быть, повернет сердце нашего старика на другие мысли. Я так ярко разъяснил ей свой план, что она теперь сама уже стала приставать к мужу, чтоб взять сиротку. Старик с готовностью принялся за дело: ему хотелось, во-первых, угодить своей Анне Андреевне, а во-вторых, у него были свои особые соображения... Но все это я объясню потом подробнее...

Я сказал уже, что Нелли не любила старика еще с первого его посещения. Потом я заметил, что даже какая-то ненависть проглядывала в лице ее, когда произносили при ней имя Ихменева. Старик начал дело тотчас же, без околичностей. Он прямо подошел к Нелли, которая все еще лежала, скрыв лицо свое в подушках, и, взяв ее за руку, спросил: хочет ли она перейти к нему жить вместо дочери?

— У меня была дочь, я ее любил больше самого себя,— заключил старик,— но теперь ее нет со мной. Она умерла. Хочешь ли ты заступить ее место в моем доме и... в моем сердце?

И в его глазах, сухих и воспаленных от лихорадочного жара, накипела слеза.

— Нет, не хочу,— отвечала Нелли, не подымая головы.

— Почему же, дитя мое? У тебя нет никого. Иван не может держать тебя вечно при себе, а у меня ты будешь, как в родном доме.

— Не хочу, потому что вы злой. Да, злой, злой,— прибавила она, подымая голову и садясь на постели против старика.— Я са-

ма злая, и злее всех, но вы еще злее меня!..— Говоря это, Нелли побледнела, глаза ее засверкали; даже дрожавшие губы ее побледнели и искривились от прилива какого-то сильного ощущения. Старик в недоумении смотрел на нее.

— Да, злее меня, потому что вы не хотите простить свою дочь; вы хотите забыть ее совсем и берете к себе другое дитя, а разве можно забыть свое родное дитя? Разве вы будете любить меня? Ведь как только вы на меня взглянете, так и вспомните, что я вам чужая и что у вас была своя дочь, которую вы сами забыли, потому что вы жестокий человек. А я не хочу жить у жестоких людей, не хочу, не хочу!..— Нелли всхлипнула и мельком взглянула на меня.

— Послезавтра Христос воскрес, все целуются и обнимаются, все мирятся, все вины прощаются... Я ведь знаю... Только вы один, вы... у! жестокий! Подите прочь!

Она залилась слезами. Эту речь она, кажется, давно уже сообразила и вытвердила, на случай если старик еще раз будет ее приглашать к себе.

Старик был поражен и побледнел. Болезненное ощущение выразилось в лице его.

— И к чему, к чему, зачем обо мне все так беспокоятся? Я не хочу, не хочу! — вскрикнула вдруг Нелли в каком-то исступлении,— я милостыню пойду просить!

— Нелли, что с тобой? Нелли, друг мой! — вскрикнул я невольно, но восклицанием моим только подлил к огню масла.

— Да, я буду лучше ходить по улицам и милостыню просить, а здесь не останусь,— кричала она, рыдая.—И мать моя милостыню просила, а когда умирала, сама сказала мне: будь бедная и лучше милостыню проси, чем... Милостыню не стыдно просить: я не у одного человека прошу, я у всех прошу, а все не один человек; у одного стыдно, а у всех не стыдно; так мне одна нищенка говорила; ведь я маленькая, мне негде взять. Я у всех и прошу. А здесь я не хочу, не хочу, не хочу, я злая; я злее всех; вот какая я злая!

И Нелли вдруг совершенно неожиданно схватила со столика чашку и бросила ее об пол.

— Вот теперь и разбилась,— прибавила она, с каким-то вызывающим торжеством смотря на меня.— Чашек-то всего две,— прибавила она,—я и другую разобью... Тогда из чего будете чай-то пить?

Она была как взбешенная и как будто сама ощущала наслаждение в этом бешенстве, как будто сама сознавала, что это и стыдно и нехорошо, и в то же время как будто поджигала себя на дальнейшие выходки.

— Она больна у тебя, Ваня, вот что,— сказал старик,— или... уж и не понимаю, что это за ребенок. Прощай!

Он взял свою фуражку и пожал мне руку. Он был как убитый; Нелли страшно оскорбила его; все поднялось во мне.

— И не пожалела ты его, Нелли! — вскричал я, когда мы остались одни,— и не стыдно, не стыдно тебе! Нет, ты не добрая, ты и вправду злая! — и как был без шляпы, так и побежал я вслед за стариком. Мне хотелось проводить его до ворот и хоть два слова сказать ему в утешение. Сбегая с лестницы, я как будто еще видел перед собой лицо Нелли, страшно побледневшее от моих упреков.

Я скоро догнал моего старика.

— Бедная девочка оскорблена, и у ней свое горе, верь мне, Иван; а я ей о своем стал расписывать,— сказал он, горько улыбаясь.— Я растравил ее рану. Говорят, сытый голодного не разумеет; а я, Ваня, прибавлю, что и голодный голодного не всегда поймет. Ну, прощай!

Я было заговорил о чем-то постороннем, но старик только рукой махнул.

— Полно меня-то утешать; лучше смотри, чтоб твоя-то не убежала от тебя; она так и смотрит,— прибавил он с каким-то озлоблением и пошел от меня скорыми шагами, помахивая и постукивая своей палкой по тротуару.

Он и не ожидал, что будет пророком.

Что сделалось со мной, когда, воротясь к себе, я, к ужасу моему, опять не нашел дома Нелли! Я бросился в сени, искал ее на лестнице, кликал, стучался даже у соседей и спрашивал о ней; поверить я не мог и не хотел, что она опять бежала. И как она могла убежать? Ворота в доме одни; она должна была пройти мимо нас, когда я разговаривал с стариком. Но скоро, к большому моему унынию, я сообразил, что она могла прежде спрятаться где-нибудь на лестнице и выждать, пока я пройду обратно домой, а потом бежать, так что я никак не мог ее встретить. Во всяком случае, она не могла далеко уйти.

В сильном беспокойстве выбежал я опять на поиски, оставив на всякий случай квартиру отпертою.

Прежде всего я отправился к Маслобоевым. Маслобоевых я не застал дома, ни его, ни Александры Семеновны. Оставив у них записку, в которой извещал их о новой беде и прося, если к ним придет Нелли, немедленно дать мне знать, я пошел к доктору; того тоже не было дома, служанка объявила мне, что, кроме давешнего посещения, другого не было. Что было делать? Я отправился к Бубновой и узнал от знакомой мне гробовщицы, что хозяйка со вчерашнего дня сидит за что-то в полиции, а Нелли там *с тех пор* и не видали. Усталый, измученный, я побежал опять к Маслобоевым; тот же ответ: никого не было, да и они сами еще не возвращались. Записка моя лежала на столе. Что было мне делать?

В смертельной тоске возвращался я к себе домой поздно вечером. Мне надо было в этот вечер быть у Наташи; она сама звала меня еще утром. Но я даже и не ел ничего в этот день; мысль о Нелли возмущала всю мою душу. «Что же это такое? — думал я.— Неужели ж это такое мудреное следствие болезни? Уж не сумасшедшая ли она или сходит с ума? Но, боже мой, где она теперь, где я сыщу ее!»

Только что я это воскликнул, как вдруг увидел Нелли, в нескольких шагах от меня, на В — м мосту. Она стояла у фонаря и меня не видала. Я хотел бежать к ней, но остановился. «Что ж это она здесь делает?» — подумал я в недоумении и, уверенный, что теперь уж не потеряю ее, решился ждать и наблюдать за ней. Прошло минут десять, она все стояла, посматривая на прохожих. Наконец прошел один старичок, хорошо одетый, и Нелли подошла к нему: тот, не останавливаясь, вынул что-то из кармана и подал ей. Она ему поклонилась. Не могу выразить, что почувствовал я в это мгновение. Мучительно сжалось мое сердце; как будто что-то дорогое, что я любил, лелеял и миловал, было опозорено и оплевано передо мной в эту минуту, но вместе с тем и слезы потекли из глаз моих.

Да, слезы о бедной Нелли, хотя я в то же время чувствовал непримиримое негодование: она не от нужды просила; она была не брошенная, не оставленная кем-нибудь на произвол судьбы; бежала не от жестоких притеснителей, а от друзей своих, которые ее любили и лелеяли. Она как будто хотела кого-то изумить или испугать своими подвигами; точно она хвасталась перед кем-то? Но что-то тайное зрело в ее душе... Да, старик был прав; она оскорблена, рана ее не могла зажить, и она как бы нарочно старалась растравлять свою рану этой таинственностью, этой недоверчивостью ко всем нам; точно она наслаждалась сама своей болью, этим *эгоизмом страдания*, если так можно выразиться. Это растравление боли и это наслаждение ею было мне понятно: это наслаждение многих обиженных и оскорбленных, пригнетенных судьбою и сознающих в себе ее несправедливость. Но на какую же несправедливость нашу могла пожаловаться Нелли? Она как будто хотела нас удивить и испугать своими капризами и дикими выходками, точно она в самом деле перед нами хвалилась... Но нет! Она теперь одна, никто не видит из нас, что она просила милостыню. Неужели ж она сама про себя находила в этом наслаждение? Для чего ей милостыня, для чего ей деньги?

Получив подаяние, она сошла с моста и подошла к ярко освещенным окнам одного магазина. Тут она принялась считать свою добычу; я стоял в десяти шагах. Денег в руке ее было уже довольно; видно, что она с самого утра просила. Зажав их в руке, она перешла через улицу и вошла в мелочную лавочку. Я тотчас

же подошел к дверям лавочки, отворенным настежь, и смотрел: что она там будет делать?

Я видел, что она положила на прилавок деньги и ей подали чашку, простую чайную чашку, очень похожую на ту, которую она давеча разбила, чтоб показать мне и Ихменеву, какая она злая. Чашка эта стоила, может быть, копеек пятнадцать, может быть, даже и меньше. Купец завернул ее в бумагу, завязал и отдал Нелли, которая торопливо с довольным видом вышла из лавочки.

— Нелли! — вскрикнул я, когда она поравнялась со мною,— Нелли!

Она вздрогнула, взглянула на меня, чашка выскользнула из ее рук, упала на мостовую и разбилась. Нелли была бледна; но, взглянув на меня и уверившись, что я все видел и знаю, вдруг покраснела; этой краской сказывался нестерпимый, мучительный стыд. Я взял ее за руку и повел домой; идти было недалеко. Мы ни слова не промолвили дорогою. Придя домой, я сел; Нелли стояла передо мной задумчивая и смущенная, бледная по-прежнему, опустив в землю глаза. Она не могла смотреть на меня.

— Нелли, ты просила милостыню?

— Да! — прошептала она и еще больше потупилась.

— Ты хотела набрать денег, чтоб купить разбитую давеча чашку?

— Да...

— Но разве я попрекал тебя, разве я бранил тебя за эту чашку? Неужели ж ты не видишь, Нелли, сколько злого, самодовольно злого в твоем поступке? Хорошо ли это? Неужели тебе не стыдно? Неужели...

— Стыдно...— прошептала она чуть слышным голосом, и слезинка покатилась по ее щеке.

— Стыдно...— повторил я за ней.— Нелли, милая, если я виноват перед тобой, прости меня и помиримся.

Она взглянула на меня, слезы брызнули из ее глаз, и она бросилась ко мне на грудь.

В эту минуту влетела Александра Семеновна.

— Что! Она дома? Опять? Ах, Нелли, Нелли, что это с тобой делается? Ну да хорошо, что, по крайней мере, дома... где вы отыскали ее, Иван Петрович?

Я мигнул Александре Семеновне, чтоб она не расспрашивала, и она поняла меня. Я нежно простился с Нелли, которая все еще горько плакала, и упросил добренькую Александру Семеновну посидеть с ней до моего возвращения, а сам побежал к Наташе. Я опоздал и торопился.

В этот вечер решалась наша судьба: нам было много о чем говорить с Наташей, но я все-таки ввернул словечко о Нелли

и рассказал все, что случилось, со всеми подробностями. Рассказ мой очень заинтересовал и даже поразил Наташу.

— Знаешь что, Ваня,— сказала она, подумав,— мне кажется, она тебя любит.

— Что... как это? — спросил я в удивлении.

— Да, это начало любви, женской любви...

— Что ты, Наташа, полно! Ведь она ребенок!

— Которому скоро четырнадцать лет. Это ожесточение оттого, что ты не понимаешь ее любви, да и она-то, может быть, сама не понимает себя; ожесточение, в котором много детского, но серьезное, мучительное. Главное — она ревнует тебя ко мне. Ты так меня любишь, что, верно, и дома только обо мне одной заботишься, говоришь и думаешь, а потому на нее обращаешь мало внимания. Она заметила это, и ее это уязвило. Она, может быть, хочет говорить с тобой, чувствует потребность раскрыть перед тобой свое сердце, не умеет, стыдится, сама не понимает себя, ждет случая, а ты, вместо того чтоб ускорить этот случай, отдаляешься от нее, убегаешь от нее ко мне и даже, когда она была больна, по целым дням оставлял ее одну. Она и плачет об этом: ей тебя недостает, и пуще всего ей больно, что ты этого не замечаешь. Ты вот и теперь, в такую минуту, оставил ее одну для меня. Да она больна будет завтра от этого. И как ты мог оставить ее? Ступай к ней скорее...

— Я и не оставил бы ее, но...

— Ну да, я сама тебя просила прийти. А теперь ступай.

— Пойду, но только, разумеется, я ничему этому не верю.

— Оттого что все это на других не похоже. Вспомни ее историю, сообрази все, и поверишь. Она росла не так, как мы с тобой...

Воротился я все-таки поздно. Александра Семеновна рассказала мне, что Нелли опять, как в тот вечер, очень много плакала «и так и уснула в слезах», как тогда. «А уж теперь я уйду, Иван Петрович, так и Филипп Филиппыч приказал. Ждет он меня, бедный».

Я поблагодарил ее и сел у изголовья Нелли. Мне самому было тяжело, что я мог оставить ее в такую минуту. Долго, до глубокой ночи сидел я над нею задумавшись... Роковое это было время.

Но надо рассказать, что случилось в эти две недели...

Глава V

После достопамятного для меня вечера, проведенного мною с князем в ресторане у Б., я несколько дней сряду был в постоянном страхе за Наташу. «Чем грозил ей этот проклятый князь

и чем именно хотел отмстить ей?» — спрашивал я сам себя поминутно и терялся в разных предположениях. Я пришел наконец к заключению, что угрозы его были не вздор, не фанфаронство* и что, покамест она живет с Алешей, князь действительно мог наделать ей много неприятностей. Он мелочен, мстителен, зол и расчетлив, думал я. Трудно, чтоб он мог забыть оскорбление и не воспользоваться каким-нибудь случаем к отмщению. Во всяком случае, он указал мне на один пункт во всем этом деле и высказался насчет этого пункта довольно ясно: он настоятельно требовал разрыва Алеши с Наташей и ожидал от меня, чтоб я приготовил ее к близкой разлуке и так приготовил, чтоб не было «сцен, пасторалей и шиллеровщины». Разумеется, он хлопотал всего более о том, чтоб Алеша остался им доволен и продолжал его считать нежным отцом; а это ему было очень нужно для удобнейшего овладения впоследствии Катиными деньгами. Итак, мне предстояло приготовить Наташу к близкой разлуке. Но в Наташе я заметил сильную перемену: прежней откровенности ее со мною и помину не было; мало того, она как будто стала со мной недоверчива. Утешения мои ее только мучили; мои расспросы все более и более досаждали ей, даже сердили ее. Сижу, бывало, у ней, гляжу на нее! Она ходит, скрестив руки, по комнате из угла в угол, мрачная, бледная, как будто в забытьи, забыв даже, что и я тут, подле нее. Когда же ей случалось взглянуть на меня (а она даже и взглядов моих избегала), то нетерпеливая досада вдруг проглядывала в ее лице, и она быстро отворачивалась. Я понимал, что она сама обдумывала, может быть, какой-нибудь свой собственный план о близком, предстоящем разрыве, и могла ли она его без боли, без горечи обдумывать? А я был убежден, что она уже решилась на разрыв. Но все-таки меня мучило и пугало ее мрачное отчаяние. К тому же говорить с ней, утешать ее я иногда и не смел, а потому со страхом ожидал, чем это все разрешится.

Что же касается до ее сурового и неприступного вида со мной, то это меня хоть и беспокоило, хоть и мучило, но я был уверен в сердце моей Наташи: я видел, что ей очень тяжело и что она была слишком расстроена. Всякое постороннее вмешательство возбуждало в ней только досаду, злобу. В таком случае особенно вмешательство близких друзей, знающих наши тайны, становится нам всего досаднее. Но я знал тоже очень хорошо, что в последнюю минуту Наташа придет же ко мне снова и в моем же сердце будет искать себе облегчения.

О моем разговоре с князем я, разумеется, ей умолчал: рассказ мой только бы взволновал и расстроил ее еще более. Я сказал ей только так, мимоходом, что был с князем у графини и убедился, что он ужасный подлец. Но она и не расспрашивала про него, чему я был очень рад; зато жадно выслушивала все, что

я рассказал ей о моем свидании с Катей. Выслушав, она тоже ничего не сказала и о ней, но краска покрыла ее бледное лицо, и весь почти этот день она была в особенном волнении. Я не скрыл ничего о Кате и прямо признался, что даже и на меня Катя произвела прекрасное впечатление. Да и к чему было скрывать? Ведь Наташа угадала бы, что я скрываю, и только рассердилась бы на меня за это. А потому я нарочно рассказывал как можно подробнее, стараясь предупредить все ее вопросы, тем более что ей самой в ее положении трудно было меня расспрашивать: легко ли в самом деле, под видом равнодушия, выпытывать о совершенствах своей соперницы?

Я думал, что она еще не знает, что Алеша, по непременному распоряжению князя, должен был сопровождать графиню и Катю в деревню, и затруднялся, как открыть ей это, чтоб, по возможности, смягчить удар. Но каково же было мое изумление, когда Наташа с первых же слов остановила меня и сказала, что нечего ее *утешать*, что она уже пять дней, как знает про это.

— Боже мой! — вскричал я,— да кто же тебе сказал?

— Алеша.

— Как? Он уже сказал?

— Да, и я на все решилась, Ваня,— прибавила она с таким видом, который ясно и как-то нетерпеливо предупреждал меня, чтоб я и не продолжал этого разговора.

Алеша довольно часто бывал у Наташи, но все на минутку; один раз только просидел у ней несколько часов сряду; но это было без меня. Входил он обыкновенно грустный, смотрел на нее робко и нежно; но Наташа так нежно, так ласково встречала его, что он тотчас же все забывал и развеселялся. Ко мне он тоже начал ходить очень часто, почти каждый день. Правда, он очень мучился, но не мог и минуты пробыть один с своей тоской и поминутно прибегал ко мне за утешением.

Что мог я сказать ему? Он упрекал меня в холодности, в равнодушии, даже в злобе к нему; тосковал, плакал, уходил к Кате и уж там утещался.

В тот день, когда Наташа объявила мне, что знает про отъезд (это было с неделю после разговора моего с князем), он вбежал ко мне в отчаянии, обнял меня, упал ко мне на грудь и зарыдал, как ребенок. Я молчал и ждал, что он скажет.

— Я низкий, я подлый человек, Ваня,— начал он мне,— спаси меня от меня самого. Я не оттого плачу, что я низок и подл, но оттого, что через меня Наташа будет несчастна. Ведь я оставляю ее на несчастье... Ваня, друг мой, скажи мне, реши за меня, кого я больше люблю из них: Катю или Наташу?

— Этого я не могу решить, Алеша,— отвечал я,— тебе лучше знать, чем мне...

— Нет, Ваня, не то; ведь я не так глуп, чтоб задавать такие

вопросы; но в том-то и дело, что я тут сам ничего не знаю. Я спрашиваю себя и не могу ответить. А ты смотришь со стороны и, может, больше моего знаешь... Ну, хоть и не знаешь, то скажи, как тебе кажется?

— Мне кажется, что Катю ты больше любишь.

— Тебе так кажется! Нет, нет, совсем нет! Ты совсем не угадал. Я беспредельно люблю Наташу. Я ни за что, никогда не могу ее оставить; я это и Кате сказал, и Катя совершенно со мною согласна. Что ж ты молчишь? Вот, я видел, ты сейчас улыбнулся. Эх, Ваня, ты никогда не утешал меня, когда мне было слишком тяжело, как теперь... Прощай!

Он выбежал из комнаты, оставив чрезвычайное впечатление в удивленной Нелли, молча выслушавшей наш разговор. Она тогда была еще больна, лежала в постели и принимала лекарство. Алеша никогда не заговаривал с нею и при посещениях своих почти не обращал на нее никакого внимания.

Через два часа он явился снова, и я удивился его радостному лицу. Он опять бросился ко мне на шею и обнял меня.

— Кончено дело! — вскричал он,— все недоумения разрешены. От вас я прямо пошел к Наташе: я был расстроен, я не мог быть без нее. Войдя, я упал перед ней на колени и целовал ее ноги: мне это нужно было, мне хотелось этого; без этого я бы умер с тоски. Она молча обняла меня и заплакала. Тут я прямо ей сказал, что Катю люблю больше ее...

— Что ж она?

— Она ничего не отвечала, а только ласкала и утешала меня — меня, который ей это сказал! Она умеет утешать, Иван Петрович! О, я выплакал перед ней все горе, все ей высказал. Я прямо сказал, что люблю очень Катю, но что как бы я ее ни любил и кого бы я ни любил, я все-таки без нее, без Наташи, обойтись не могу и умру. Да, Ваня, дня не проживу без нее, я это чувствую, да! и потому мы решили немедленно с ней обвенчаться; а так как до отъезда нельзя этого сделать, потому что теперь великий пост и венчать не станут, то уж по приезде моем, а это будет к первому июня. Отец позволит, в этом нет и сомнения. Что же касается до Кати, то что ж такое! Я ведь не могу же жить без Наташи... Обвенчаемся и тоже туда с ней поедем, где Катя...

Бедная Наташа! Каково было ей утешать этого мальчика, сидеть над ним, выслушать его признание и выдумать ему, наивному эгоисту, для спокойствия его, сказку о скором браке. Алеша действительно на несколько дней успокоился. Он и бегал к Наташе, собственно, из того, что слабое сердце его не в силах было одно перенесть печали. Но все-таки, когда время начало приближаться к разлуке, он опять впал в беспокойство, в слезы и опять прибегал ко мне и выплакивал свое горе. В последнее

время он так привязался к Наташе, что не мог ее оставить и на день, не только на полтора месяца. Он вполне был, однако ж, уверен до самой последней минуты, что оставляет ее только на полтора месяца и что по возвращении его будет их свадьба. Что же касается до Наташи, то она, в свою очередь, вполне понимала, что вся судьба ее меняется, что Алеша уж никогда теперь к ней не воротится и что так тому и следует быть.

День разлуки их наступил. Наташа была больна,— бледная, с воспаленным взглядом, с запекшимися губами, изредка разговаривала сама с собою, изредка быстро и пронзительно взглядывала на меня, не плакала, не отвечала на мои расспросы и вздрагивала, как листок на дереве, когда раздавался звонкий голос входившего Алеши. Она вспыхивала, как зарево, и спешила к нему; судорожно обнимала его, целовала его, смеялась... Алеша вглядывался в нее, иногда с беспокойством расспрашивал, здорова ли она, утешал, что уезжает ненадолго, что потом их свадьба. Наташа делала видимые усилия, перемогала себя и давила свои слезы. Она не плакала перед ним.

Один раз он заговорил, что надо оставить ей денег на все время его отъезда и чтоб она не беспокоилась, потому что отец обещал ему дать много на дорогу. Наташа нахмурилась. Когда же мы остались вдвоем, я объявил, что у меня есть для нее *сто пятьдесят рублей*, на всякий случай. Она не расспрашивала, откуда эти деньги. Это было за два дня до отъезда Алеши и накануне первого и последнего свидания Наташи с Катей. Катя прислала с Алешей записку, в которой просила Наташу позволить посетить себя завтра; причем писала и ко мне: она просила и меня присутствовать при их свидании.

Я непременно решился быть в двенадцать часов (назначенный Катей час) у Наташи, несмотря ни на какие задержки; а хлопот и задержек было много. Не говоря уже о Нелли, в последнее время мне было много хлопот у Ихменевых.

Эти хлопоты начались еще неделю назад. Анна Андреевна прислала в одно утро за мною с просьбой бросить все и немедленно спешить к ней по очень важному делу, не терпящему ни малейшего отлагательства. Придя к ней, я застал ее одну: она ходила по комнате вся в лихорадке от волнения и испуга, с трепетом ожидая возвращения Николая Сергеича. По обыкновению, я долго не мог добиться от нее, в чем дело и чего она так испугалась, а между тем, очевидно, каждая минута была дорога. Наконец, после горячих и ненужных делу попреков: «зачем я не хожу и оставляю их, как сирот, одних в горе», так что уж «бог знает что без меня происходит»,— она объявила мне, что Николай Сергеич в последние три дня был в таком волнении, «что и описать невозможно».

— Просто на себя не похож,— говорила она,— в лихорадке,

по ночам, тихонько от меня, на коленках перед образом молится, во сне бредит, а наяву как полоумный: стали вчера есть щи, а он ложку подле себя отыскать не может, спросишь его про одно, а он отвечает про другое. Из дому стал поминутно уходить: «все по делам, говорит, ухожу, адвоката видеть надо»; наконец, сегодня утром заперся у себя в кабинете: «мне, говорит, нужную бумагу по тяжебному делу надо писать». Ну, какую, думаю про себя, тебе бумагу писать, когда ложку подле прибора не мог отыскать? Однако в замочную щелку я подсмотрела: сидит, пишет, а сам так и заливается-плачет. Какую же такую, думаю, деловую бумагу так пишут? Али, может, ему уж так Ихменевку нашу жалко; стало быть, уж совсем пропала наша Ихменевка! Вот думаю я это, а он вдруг вскочил из-за стола да как ударит пером по столу, раскраснелся, глаза сверкают, схватился за фуражку и выходит ко мне. «Я, говорит, Анна Андреевна, скоро приду». Ушел он, а я тотчас же к его столику письменному; бумаг у него по нашей тяжбе там пропасть такая лежит, что уж он мне и прикасаться к ним не позволяет. Сколько раз, бывало, прошу: «Дай ты мне хоть раз бумаги поднять, я бы пыль со столика стерла». Куды, закричит, замашет руками: нетерпеливый он такой стал здесь в Петербурге, крикун. Так вот я к столику-то подошла и ищу: которая это бумага, что он сейчас-то писал? Потому доподлинно знаю, что он ее с собой не взял, а когда вставал из-за стола, то под другие бумаги сунул. Ну, вот, батюшка, Иван Петрович, что я нашла, посмотри-ка.

И она подала мне лист почтовой бумаги, вполовину исписанный, но с такими помарками, что в иных местах разобрать было невозможно.

Бедный старик! С первых строк можно было догадаться, что и к кому он писал. Это было письмо к Наташе, к возлюбленной его Наташе. Он начинал горячо и нежно: он обращался к ней с прощением и звал ее к себе. Трудно было разобрать все письмо, написанное нескладно и порывисто, с бесчисленными помарками. Видно только было, что горячее чувство, заставившее его схватить перо и написать первые, задушевные строки, быстро, после этих первых строк, переродилось в другое: старик начинал укорять дочь, яркими красками описывал ей ее преступление, с негодованием напоминал ей о ее упорстве, упрекал в бесчувственности, в том, что она ни разу, может быть, и не подумала, что сделала с отцом и матерью. За ее гордость он грозил ей наказанием и проклятием и кончал требованием, чтоб она немедленно и покорно возвратилась домой, и тогда, только тогда, может быть, после покорной и примерной новой жизни «в недрах семейства», мы решимся простить тебя, писал он. Видно было, что первоначальное великодушное чувство свое он, после нескольких строк, принял за слабость, стал стыдиться ее и,

Ф. М. Достоевский

«УНИЖЕННЫЕ И ОСКОРБЛЕННЫЕ»

наконец, почувствовав муки оскорбленной гордости, кончал гневом и угрозами. Старушка стояла передо мной, сложа руки и в страхе ожидая, что я скажу по прочтении письма.

Я высказал ей все прямо, как мне казалось. Именно: что старик не в силах более жить без Наташи и что положительно можно сказать о необходимости скорого их примирения; но что, однако же, все зависит от обстоятельств. Я объяснил при этом мою догадку, что, во-первых, вероятно, дурной исход процесса сильно расстроил и потряс его, не говоря уже о том, насколько было уязвлено его самолюбие торжеством над ним князя и сколько негодования возродилось в нем при таком решении дела. В такие минуты душа не может не искать себе сочувствия, и он еще сильнее вспомнил о той, которую всегда любил больше всего на свете. Наконец, может быть и то: он, наверно, слышал (потому что он следит и все знает про Наташу), что Алеша скоро оставляет ее. Он мог понять, каково было ей теперь, и по себе почувствовал, как необходимо было ей утешение. Но все-таки он не мог преодолеть себя, считая себя оскорбленным и униженным дочерью. Ему, верно, приходило на мысль, что все-таки не она идет к нему первая; что, может быть, даже она и не думает об них и потребности не чувствует к примирению. Так он должен был думать, заключил я мое мнение, и вот почему не докончил письма, и, может быть, из всего этого произойдут еще новые оскорбления, которые еще сильнее почувствуются, чем первые, и, кто знает, примирение, может быть, еще надолго отложится...

Старушка плакала, меня слушая. Наконец, когда я сказал, что мне необходимо сейчас же к Наташе и что я опоздал к ней, она встрепенулась и объявила, что и забыла о *главном*. Вынимая письмо из-под бумаг, она нечаянно опрокинула на него чернильницу. Действительно, целый угол был залит чернилами, и старушка ужасно боялась, что старик по этому пятну узнает, что без него перерыли бумаги и что Анна Андреевна прочла письмо к Наташе. Ее страх был очень основателен: уж из одного того, что мы знаем его тайну, он со стыда и досады мог продлить свою злобу и из гордости упорствовать в прощении.

Но, рассмотрев дело, я уговорил старушку не беспокоиться. Он встал из-за письма в таком волнении, что мог и не помнить всех мелочей и теперь, вероятно, подумает, что сам запачкал письмо и забыл об этом. Утешив таким образом Анну Андреевну, мы осторожно положили письмо на прежнее место, а я вздумал, уходя, переговорить с нею серьезно о Нелли. Мне казалось, что бедная брошенная сиротка, у которой мать была тоже проклята своим отцом, могла бы грустным, трагическим рассказом о прежней своей жизни и о смерти своей матери тронуть старика и подвигнуть его на великодушные чувства. Все готово, все созрело в его сердце; тоска по дочери стала уже пересиливать

его гордость и оскорбленное самолюбие. Недоставало только толчка, последнего удобного случая, и этот удобный случай могла бы заменить Нелли. Старушка слушала меня с чрезвычайным вниманием: все лицо ее оживилось надеждой и восторгом. Она тотчас же стала меня упрекать: зачем я давно ей этого не сказал? нетерпеливо начала меня расспрашивать о Нелли и кончила торжественным обещанием, что сама теперь будет просить старика, чтоб взял в дом сиротку. Она уже начала искренно любить Нелли, жалела о том, что она больна, расспрашивала о ней, принудила меня взять для Нелли банку варенья, за которым сама побежала в чулан; принесла мне пять целковых, предполагая, что у меня нет денег для доктора, и, когда я их не взял, едва успокоилась и утешилась тем, что Нелли нуждается в платье и белье и что, стало быть, можно еще ей быть полезною, вследствие чего стала тотчас же перерывать свой сундук и раскладывать все свои платья, выбирая из них те, которые можно было подарить «сиротке».

А я пошел к Наташе. Подымаясь на последнюю лестницу, которая, как я уже сказал прежде, шла винтом, я заметил у ее дверей человека, который хотел уже было постучаться, но, заслышав мои шаги, приостановился. Наконец, вероятно после некоторого колебания, вдруг оставил свое намерение и пустился вниз. Я столкнулся с ним на последней забежной ступеньке, и каково было мое изумление, когда я узнал Ихменева. На лестнице и днем было очень темно. Он прислонился к стене, чтобы дать мне пройти, и помню странный блеск его глаз, пристально меня рассматривавших. Мне казалось, что он ужасно покраснел; по крайней мере, он ужасно смешался и даже потерялся.

— Эх, Ваня, да это ты! — проговорил он неровным голосом,— а я здесь к одному человеку... к писарю... все по делу... недавно переехал... куда-то сюда... да не здесь, кажется, живет. Я ошибся. Прощай.

И он быстро пустился вниз по лестнице.

Я решился до времени не говорить Наташе об этой встрече, но непременно сказать ей тотчас же, когда она останется одна, по отъезде Алеши. В настоящее же время она была так расстроена, что хотя бы и поняла и осмыслила вполне всю силу этого факта, но не могла бы его так принять и прочувствовать, как впоследствии, в минуту подавляющей последней тоски и отчаяния. Теперь же минута была не та.

В тот день я бы мог сходить к Ихменевым, и подмывало меня на это, но я не пошел. Мне казалось, что старику будет тяжело смотреть на меня; он даже мог подумать, что я нарочно прибежал вследствие встречи. Пошел я к ним уже на третий день; старик был грустен, но встретил меня довольно развязно и все говорил о делах.

— А что, к кому это ты тогда ходил, так высоко, вот помнишь, мы встретились,— когда бишь это? — третьего дня, кажется,— спросил он вдруг довольно небрежно, но все-таки как-то отводя от меня свои глаза в сторону.

— Приятель один живет,— отвечал я, тоже отводя глаза в сторону.

— А! А я писаря моего искал, Астафьева; на тот дом указали... да ошибся... Ну, так вот я тебе про дело-то говорил: в сенате решили...— и т. д., и т. д.

Он даже покраснел, когда начал говорить *о деле*.

Я рассказал все в тот же день Анне Андреевне, чтоб обрадовать старушку, умоляя ее, между прочим, не заглядывать ему теперь в лицо с особенным видом, не вздыхать, не делать намеков и, одним словом, ни под каким видом не показывать, что ей известна эта последняя его выходка. Старушка до того удивилась и обрадовалась, что даже сначала мне не поверила. С своей стороны, она рассказала мне, что уже намекала Николаю Сергеичу о сиротке, но что он промолчал, тогда как прежде сам все упрашивал взять в дом девочку. Мы решили, что завтра она попросит его об этом прямо, без всяких предисловий и намеков. Но назавтра оба мы были в ужасном испуге и беспокойстве.

Дело в том, что Ихменев виделся утром с чиновником, хлопотавшим по его делу. Чиновник объявил ему, что видел князя и что князь, хоть и оставляет Ихменевку за собой, но «*вследствие некоторых семейных обстоятельств*» решается вознаградить старика и выдать ему десять тысяч. От чиновника старик прямо прибежал ко мне, ужасно расстроенный; глаза его сверкали бешенством. Он вызвал меня, неизвестно зачем, из квартиры на лестницу и настоятельно стал требовать, чтоб я немедленно шел к князю и передал ему вызов на дуэль. Я был так поражен, что долго не мог ничего сообразить. Начал было его уговаривать. Но старик пришел в такое бешенство, что с ним сделалось дурно. Я бросился к себе за стаканом воды; но, воротясь, уже не застал Ихменева на лестнице.

На другой день я отправился к нему, но его уже не было дома; он исчез на целых три дня.

На третий день мы узнали все. От меня он кинулся прямо к князю, не застал его дома и оставил ему записку; в записке он писал, что знает о словах его, сказанных чиновнику, что считает их себе смертельным оскорблением, а князя низким человеком и вследствие всего этого вызывает его на дуэль, предупреждая при этом, чтоб князь не смел уклоняться от вызова, иначе будет обесчещен публично.

Анна Андреевна рассказывала мне, что он воротился домой в таком волнении и расстройстве, что даже слег. С ней был очень нежен, но на расспросы ее отвечал мало, и видно было, что он

чего-то ждал с лихорадочным нетерпением. На другое утро пришло по городской почте письмо; прочтя его, он вскрикнул и схватил себя за голову. Анна Андреевна обмерла от страха. Но он тотчас же схватил шляпу, палку и выбежал вон.

Письмо было от князя. Сухо, коротко и вежливо он извещал Ихменева, что в словах своих, сказанных чиновнику, он никому не обязан никаким отчетом. Что хотя он очень сожалеет Ихменева за проигранный процесс, но при всем своем сожалении никак не может найти справедливым, чтоб проигравший в тяжбе имел право, из мщения, вызывать своего соперника на дуэль. Что же касается до «публичного бесчестия», которым ему грозили, то князь просил Ихменева не беспокоиться об этом, потому что никакого публичного бесчестия не будет, да и быть не может; что письмо его немедленно будет передано куда следует и что предупрежденная полиция, наверно, в состоянии принять надлежащие меры к обеспечению порядка и спокойствия.

Ихменев с письмом в руке тотчас же бросился к князю. Князя опять не было дома; но старик успел узнать от лакея, что князь теперь, верно, у графа N. Долго не думая, он побежал к графу. Графский швейцар остановил его, когда уже он подымался на лестницу. Взбешенный до последней степени старик ударил его палкой. Тотчас же его схватили, вытащили на крыльцо и передали полицейским, которые препроводили его в часть. Доложили графу. Когда же случившийся тут князь объяснил сластолюбивому старичку, что этот самый Ихменев — отец той самой Натальи Николаевны (а князь не раз прислуживал графу по *этим делам*), то вельможный старичок только засмеялся и переменил гнев на милость: сделано было распоряжение отпустить Ихменева на все четыре стороны; но выпустили его только на третий день, причем (наверно, по распоряжению князя) объявили старику, что сам князь упросил графа его помиловать.

Старик воротился домой как безумный, бросился на постель и целый час лежал без движения; наконец приподнялся и, к ужасу Анны Андреевны, объявил торжественно, что *навеки* проклинает свою дочь и лишает ее своего родительского благословения.

Анна Андреевна пришла в ужас, но надо было помогать старику, и она, сама чуть не без памяти, весь этот день и почти всю ночь ухаживала за ним, примачивала ему голову уксусом, обкладывала льдом. С ним был жар и бред. Я оставил их уже в третьем часу ночи. Но наутро Ихменев встал и в тот же день пришел ко мне, чтоб окончательно взять к себе Нелли. Но о сцене его с Нелли я уже рассказывал; эта сцена потрясла его окончательно. Воротясь домой, он слег в постель. Все это происходило в страстную пятницу,— когда было назначено свидание

Кати и Наташи, накануне отъезда Алеши и Кати из Петербурга. На этом свидании я был: оно происходило рано утром, еще до прихода ко мне старика и до первого побега Нелли.

Глава VI

Алеша приехал еще за час до свидания предупредить Наташу. Я же пришел именно в то мгновение, когда коляска Кати остановилась у наших ворот. С Катей была старушка-француженка, которая, после долгих упрашиваний и колебаний, согласилась наконец сопровождать ее и даже отпустить ее наверх к Наташе одну, но не иначе, как с Алешей; сама же осталась дожидаться в коляске. Катя подозвала меня и, не выходя из коляски, просила вызвать к ней Алешу. Наташу я застал в слезах; и Алеша и она — оба плакали. Услышав, что Катя уже здесь, она встала со стула, отерла слезы и с волнением стала против дверей. Одета она была в это утро вся в белом. Темно-русые волосы ее были зачесаны гладко и назади связывались густым узлом. Эту прическу я очень любил. Увидав, что я остался с нею, Наташа попросила и меня пойти тоже навстречу гостям.

— До сих пор я не могла быть у Наташи,— говорила мне Катя, подымаясь на лестницу.— Меня так шпионили, что ужас. Madame Albert я уговаривала целых две недели, наконец-то согласилась. А вы, а вы, Иван Петрович, ни разу ко мне не зашли! Писать я вам тоже не могла, да и охоты не было, потому что письмом ничего не разъяснишь. А как мне надо было вас видеть... Боже мой, как у меня теперь сердце бьется...

— Лестница крутая,— отвечал я.

— Ну да... и лестница... а что, как вы думаете: не будет сердиться на меня Наташа?

— Нет, за что же?

— Ну да... конечно, за что же; сейчас сама увижу; к чему же и спрашивать?..

Я вел ее под руку. Она даже побледнела и, кажется, очень боялась. На последнем повороте она остановилась перевести дух, но взглянула на меня и решительно поднялась наверх.

Еще раз она остановилась в дверях и шепнула мне: «Я просто войду и скажу ей, что я так в нее верила, что приехала не опасаясь... впрочем, что ж я разговариваю; ведь я уверена, что Наташа благороднейшее существо. Не правда ли?»

Она вошла робко, как виноватая, и пристально взглянула на Наташу, которая тотчас же улыбнулась ей. Тогда Катя быстро подошла к ней, схватила ее за руки и прижалась к ее губам своими пухленькими губками. Затем, еще ни слова не сказав Наташе,

серьезно и даже строго обратилась к Алеше и попросила его оставить нас на полчаса одних.

— Ты не сердись, Алеша,— прибавила она,— это я потому, что мне много надо переговорить с Наташей, об очень важном и о серьезном, чего ты не должен слышать. Будь же умен, поди. А вы, Иван Петрович, останьтесь. Вы должны выслушать весь наш разговор.

— Сядем,— сказала она Наташе по уходе Алеши,— я так, против вас сяду. Мне хочется сначала на вас посмотреть.

Она села почти прямо против Наташи и несколько мгновений пристально на нее смотрела. Наташа отвечала ей невольной улыбкой.

— Я уже видела вашу фотографию,— сказала Катя,— мне показывал Алеша.

— Что ж, похожа я на портрете?

— Вы лучше,— ответила Катя решительно и серьезно.— Да я так и думала, что вы лучше.

— Право? А я вот засматриваюсь на вас. Какая вы хорошенькая!

— Что вы! Куды мне!.. голубчик вы мой! — прибавила она, дрожавшей рукой взяв руку Наташи, и обе опять примолкли, всматриваясь друг в друга.— Вот что, мой ангел,— прервала Катя,— нам всего полчаса быть вместе; madame Albert и на это едва согласилась, а нам много надо переговорить... Я хочу... я должна... ну я вас просто спрошу: очень вы любите Алешу?

— Да, очень.

— А если так... если вы очень любите Алешу... то... вы должны любить и его счастье...— прибавила она робко и шепотом.

— Да, я хочу, чтоб он был счастлив...

— Это так... но вот в чем вопрос: составлю ли я его счастье? Имею ли я право так говорить, потому что я его у вас отнимаю. Если вам кажется и мы решим теперь, что с вами он будет счастливее, то... то...

— Это уже решено, милая Катя, ведь вы же сами видите, что все решено,— отвечала тихо Наташа и склонила голову. Ей было, видимо, тяжело продолжать разговор.

Катя приготовилась, кажется, на длинное объяснение на тему: кто лучше составит счастье Алеши и кому из них придется уступить? Но после ответа Наташи тотчас же поняла, что все уже давно решено и говорить больше не об чем. Полураскрыв свои хорошенькие губки, она с недоумением и с печалью смотрела на Наташу, все еще держа ее руку в своей.

— А вы его очень любите? — спросила вдруг Наташа.

— Да; и вот я тоже хотела вас спросить и ехала с тем: скажите мне, за что именно вы его любите?

— Не знаю,— отвечала Наташа, и как будто горькое нетерпение послышалось в ее ответе.

— Умен он, как вы думаете? — спросила Катя.

— Нет, я так его, просто люблю.

— И я тоже. Мне его все как будто жалко.

— И мне тоже,— отвечала Наташа.

— Что с ним делать теперь! И как он мог оставить вас для меня, не понимаю! — воскликнула Катя.— Вот как теперь увидала вас и не понимаю! — Наташа не отвечала и смотрела в землю. Катя помолчала немного и вдруг, поднявшись со стула, тихо обняла ее. Обе, обняв одна другую, заплакали. Катя села на ручку кресел Наташи, не выпуская ее из своих объятий, и начала целовать ее руки.

— Если б вы знали, как я вас люблю! — проговорила она плача.— Будем сестрами, будем всегда писать друг другу... а я вас буду вечно любить... я вас буду так любить, так любить...

— Он вам о́ нашей свадьбе, в июне месяце, говорил? — спросила Наташа.

— Говорил. Он говорил, что и вы согласны. Ведь это все только *так*, чтоб его утешить, не правда ли?

— Конечно.

— Я так и поняла. Я буду его очень любить, Наташа, и вам обо всем писать. Кажется, он будет теперь скоро моим мужем; на то идет. И они все так говорят. Милая Наташечка, ведь вы пойдете теперь... в ваш дом?

Наташа не отвечала ей, но молча и крепко поцеловала ее.

— Будьте счастливы! — сказала она.

— И... и вы... и вы тоже,— проговорила Катя. В это мгновение отворилась дверь, и вошел Алеша. Он не мог, он не в силах был переждать эти полчаса и, увидя их обеих в объятиях друг у друга и плакавших, весь изнеможенный, страдающий, упал на колена перед Наташей и Катей.

— Чего же ты-то плачешь? — сказала ему Наташа,— что разлучаешься со мной? Да надолго ли? В июне приедешь?

— И свадьба ваша будет тогда,— поспешила сквозь слезы проговорить Катя, тоже в утешение Алеше.

— Но я не могу, я не могу тебя и на день оставить, Наташа. Я умру без тебя... ты не знаешь, как ты мне теперь дорога! Именно теперь!..

— Ну, так вот как ты сделай,— сказала, вдруг оживляясь, Наташа,— ведь графиня останется хоть сколько-нибудь в Москве?

— Да, почти неделю,— подхватила Катя.

— Неделю! Так чего ж лучше: ты завтра проводишь их до Москвы, это всего один день, и тотчас же приезжай сюда. Как им

надо будет выезжать из Москвы, мы уж тогда совсем на месяц простимся, и ты воротишься в Москву их провожать.

— Ну так, так... А вы все-таки лишних четыре дня пробудете вместе,— вскрикнула восхищенная Катя, обменявшись многозначительным взглядом с Наташей.

Не могу выразить восторга Алеши от этого нового проекта. Он вдруг совершенно утешился; его лицо засияло радостию, он обнимал Наташу, целовал руки Кати, обнимал меня. Наташа с грустною улыбкою смотрела на него, но Катя не могла вынести. Она переглянулась со мной горячим, сверкающим взглядом, обняла Наташу и встала со стула, чтоб ехать. Как нарочно, в эту минуту француженка прислала человека с просьбою окончить свидание поскорее и что условленные полчаса уже прошли.

Наташа встала. Обе стояли одна против другой, держась за руки и как будто силясь передать взглядом все, что скопилось в душе.

— Ведь мы уж больше никогда не увидимся,— сказала Катя.

— Никогда, Катя,— отвечала Наташа.

— Ну, так простимся.— Обе обнялись.

— Не проклинайте меня,— прошептала наскоро Катя,— а я... всегда... будьте уверены... он будет счастлив... Пойдем, Алеша, проводи меня! — быстро произнесла она, схватывая его руку.

— Ваня! — сказала мне Наташа, взволнованная и измученная, когда они вышли,— ступай за ними и ты, и... не приходи назад: у меня будет Алеша до вечера, до восьми часов; а вечером ему нельзя, он уйдет. Я останусь одна... Приходи часов в девять. Пожалуйста.

Когда в девять часов, оставив Нелли (после разбитой чашки) с Александрой Семеновной, я пришел к Наташе, она уже была одна и с нетерпением ждала меня. Мавра подала нам самовар; Наташа налила мне чаю, села на диван и подозвала меня поближе к себе.

— Вот и кончилось все,— сказала она, пристально взглянув на меня. Никогда не забуду я этого взгляда.

— Вот и кончилась наша любовь. Полгода жизни! И на всю жизнь,— прибавила она, сжимая мне руку. Ее рука горела. Я стал уговаривать ее одеться потеплее и лечь в постель.

— Сейчас, Ваня, сейчас, мой добрый друг. Дай мне поговорить и припомнить немного... Я теперь как разбитая... Завтра в последний раз его увижу, в десять часов... *в последний!*

— Наташа, у тебя лихорадка, сейчас будет озноб; пожалей себя...

— Что же? Ждала я тебя теперь, Ваня, эти полчаса, как он ушел, и как ты думаешь, о чем думала, о чем себя спрашивала? Спрашивала: любила я его иль не любила и что это такое была

наша любовь? Что, тебе смешно, Ваня, что я об этом только теперь себя спрашиваю?

— Не тревожь себя, Наташа...

— Видишь, Ваня: ведь я решила, что я его не любила как ровню, так, как обыкновенно женщина любит мужчину. Я любила его как... почти как мать. Мне даже кажется, что совсем и не бывает на свете такой любви, чтоб оба друг друга любили как ровные, а? Как ты думаешь?

Я с беспокойством смотрел на нее и боялся, не начинается ли с ней горячка. Как будто что-то увлекало ее; она чувствовала какую-то особенную потребность говорить; иные слова ее были как будто без связи, и даже иногда она плохо выговаривала их. Я очень боялся.

— Он был мой,— продолжала она.— Почти с первой встречи с ним у меня явилось тогда непреодолимое желание, чтоб он был *мой*, поскорей *мой*, и чтоб он ни на кого не глядел, никого не знал, кроме меня, одной меня... Катя давеча хорошо сказала: я именно любила его так, как будто мне все время было отчего-то его жалко... Было у меня всегда непреодолимое желание, даже мучение, когда я оставалась одна, о том, чтоб он был ужасно и вечно счастлив. На его лицо (ты ведь знаешь выражение его лица, Ваня) я спокойно смотреть не могла: такого выражения ни *у кого не бывает*, а засмеется он, так у меня холод и дрожь была... Право!..

— Наташа, послушай...

— Вот говорили,— перебила она,— да и ты, впрочем, говорил, что он без характера и... и умом недалек, как ребенок. Ну, а я это-то в нем и любила больше всего... веришь ли этому? Не знаю, впрочем, любила ли именно одно это: так, просто, всего его любила, и будь он хоть чем-нибудь другой, с характером иль умнее, я бы, может, и не любила его так. Знаешь, Ваня, я тебе признаюсь в одном: помнишь, у нас была ссора, три месяца назад, когда он был у той, как ее, у этой Минны... я узнала, выследила, и веришь ли: мне ужасно было больно, а в то же время как будто и приятно... не знаю, почему... одна уж мысль, что он тоже, как *большой* какой-нибудь, вместе с другими *большими* по красавицам разъезжает, тоже к Минне поехал! Я... Какое наслаждение было мне тогда в этой ссоре; а потом простить его... о милый!

Она взглянула мне в лицо и как-то странно рассмеялась. Потом как будто задумалась, как будто все еще припоминала. И долго сидела она так, с улыбкой на губах, вдумываясь в прошедшее.

— Я ужасно любила его прощать, Ваня,— продолжала она,— знаешь, что, когда он оставлял меня одну, я хожу, бывало, по комнате, мучаюсь, плачу, а сама иногда подумаю: чем виноватее

он передо мной, тем ведь лучше... да! И знаешь: мне всегда представлялось, что он как будто такой маленький мальчик; я сижу, а он положил ко мне на колени голову, заснул, а я его тихонько по голове глажу, ласкаю... Всегда так воображала о нем, когда его со мной не было... Послушай, Ваня,— прибавила она вдруг,— какая это прелесть Катя!

Мне показалось, что она сама нарочно растравляет свою рану, чувствуя в этом какую-то потребность,— потребность отчаяния, страданий... И так часто бывает это с сердцем, много потерявшим!

— Катя, мне кажется, может его сделать счастливым,— продолжала она.— Она с характером и говорит, как будто такая убежденная, и с ним она такая серьезная, важная,— все об умных вещах говорит, точно большая. А сама-то, сама-то — настоящий ребенок! Милочка, милочка! О! пусть они будут счастливы! Пусть, пусть, пусть!..

И слезы, рыдания вдруг разом так и хлынули из ее сердца. Целых полчаса она не могла прийти в себя и хоть сколько-нибудь успокоиться.

Милый ангел Наташа! Еще в этот же вечер, несмотря на свое горе, она смогла-таки принять участие и в моих заботах, когда я, видя, что она немножко успокоилась, или, лучше сказать, устала, и думая развлечь ее, рассказал ей о Нелли... Мы расстались в этот вечер поздно; я дождался, пока она заснула, и, уходя, просил Мавру не отходить от своей больной госпожи всю ночь.

— О, поскорее, поскорее! — восклицал я, возвращаясь домой,— поскорее конец этим мукам! Хоть чем-нибудь, хоть как-нибудь, но только скорее, скорее!

Наутро, ровно в десять часов, я уже был у нее. В одно время со мной приехал и Алеша... прощаться. Не буду говорить, не хочу вспоминать об этой сцене. Наташа как будто дала себе слово скрепить себя, казаться веселее, равнодушнее, но не могла. Она обняла Алешу судорожно, крепко. Мало говорила с ним, но глядела на него долго, пристально, мученическим и словно безумным взглядом. Жадно вслушивалась в каждое слово его и, кажется, ничего не понимала из того, что он ей говорил. Помню, он просил простить ему, простить ему и любовь эту и все, чем он оскорблял ее в это время, свои измены, свою любовь к Кате, отъезд... Он говорил бессвязно, слезы душили его. Иногда он вдруг принимался утешать ее, говорил, что едет только на месяц или много что на пять недель, что приедет летом, тогда будет их свадьба, и отец согласится, и, наконец, главное, что ведь он послезавтра приедет из Москвы, и тогда целых четыре дня они еще пробудут вместе, и что, стало быть, теперь расстаются на один только день...

Странное дело: сам он был вполне уверен, что говорит правду и что непременно послезавтра воротится из Москвы... Чего же сам он так плакал и мучился?

Наконец часы пробили одиннадцать. Я насилу мог уговорить его ехать. Московский поезд отправлялся ровно в двенадцать. Оставался один час. Наташа мне сама потом говорила, что не помнит, как последний раз взглянула на него. Помню, что она перекрестила его, поцеловала и, закрыв руками лицо, бросилась назад в комнату. Мне же надо было проводить Алешу до самого экипажа, иначе он непременно бы воротился и никогда бы не сошел с лестницы.

— Вся надежда на вас,— говорил он мне, сходя вниз.— Друг мой, Ваня! Я перед тобой виноват и никогда не мог заслужить твоей любви, но будь мне до конца братом: люби ее, не оставляй ее, пиши мне обо всем как можно подробнее и мельче, как можно мельче пиши, чтоб больше уписалось. Послезавтра я здесь опять, непременно, непременно! Но потом, когда я уеду, пиши!

Я посадил его на дрожки.

— До послезавтра! — закричал он мне с дороги.— Непременно!

С замиравшим сердцем воротился я наверх к Наташе. Она стояла посреди комнаты, скрестив руки, и в недоумении на меня посмотрела, точно не узнавала меня. Волосы ее сбились как-то на сторону; взгляд был мутный и блуждающий. Мавра, как потерянная, стояла в дверях, со страхом смотря на нее.

Вдруг глаза Наташи засверкали:

— А! Это ты! Ты! — вскричала она на меня.— Только ты один теперь остался. Ты его ненавидел! Ты никогда ему не мог простить, что я его полюбила... Теперь ты опять при мне! Что ж? Опять *утешать* пришел меня, уговаривать, чтоб я шла к отцу, который меня бросил и проклял. Я так и знала еще вчера, еще за два месяца!.. Не хочу, не хочу! Я сама проклинаю их!.. Поди прочь, я не могу тебя видеть! Прочь, прочь!

Я понял, что она в исступлении и что мой вид возбуждает в ней гнев до безумия, понял, что так и должно было быть, и рассудил лучше выйти. Я сел на лестнице, на первую ступеньку и — ждал. Иногда я подымался, отворял дверь, подзывал к себе Мавру и расспрашивал ее; Мавра плакала.

Так прошло часа полтора. Не могу изобразить, что я вынес в это время. Сердце замирало во мне и мучилось от беспредельной боли. Вдруг дверь отворилась, и Наташа выбежала на лестницу, в шляпке и бурнусе. Она была как в беспамятстве и сама потом говорила мне, что едва помнит это и не знает, куда и с каким намерением она хотела бежать.

Я не успел еще вскочить с своего места и куда-нибудь от

нее спрятаться, как вдруг она меня увидала и, как пораженная, остановилась передо мной без движения. «Мне вдруг припомнилось,— говорила она мне потом,— что я, безумная, жестокая, могла выгнать тебя, тебя, моего друга, моего брата, моего спасителя! И как увидела, что ты, бедный, обиженный мною, сидишь у меня на лестнице, не уходишь и ждешь, пока я тебя опять позову,— боже! — если б ты знал, Ваня, что тогда со мной сталось! Как будто в сердце мне что-то вонзили...

— Ваня! Ваня! — закричала она, протягивая мне руки,— ты здесь!..— и упала в мои объятия.

Я подхватил ее и понес в комнату. Она была в обмороке! «Что делать? — думал я.— С ней будет горячка, это наверно!»

Я решился бежать к доктору; надо было захватить болезнь. Съездить же можно было скоро; до двух часов мой старик-немец обыкновенно сидел дома. Я побежал к нему, умоляя Мавру ни на минуту, ни на секунду не уходить от Наташи и не пускать ее никуда. Бог мне помог: еще бы немного, и я бы не застал моего старика дома. Он встретился уже мне на улице, когда выходил из квартиры. Мигом я посадил его на моего извозчика, так что он еще не успел удивиться, и мы пустились обратно к Наташе.

Да, бог мне помог! В полчаса моего отсутствия случилось у Наташи такое происшествие, которое бы могло совсем убить ее, если б мы с доктором не подоспели вовремя. Не прошло и четверти часа после моего отъезда, как вошел князь. Он только что проводил своих и явился к Наташе прямо с железной дороги. Этот визит, вероятно, уже давно был решен и обдуман им. Наташа сама рассказывала мне потом, что в первое мгновение она даже и не удивилась князю. «Мой ум помешался»,— говорила она.

Он сел против нее, глядя на нее ласковым, соболезнующим взглядом.

— Милая моя,— сказал он, вздохнув,— я понимаю ваше горе; я знал, как будет тяжела вам эта минута, и положил себе за долг посетить вас. Утешьтесь, если можете, хоть тем, что, отказавшись от Алеши, вы составили его счастье. Но вы лучше меня это понимаете, потому что решились на великодушный подвиг...

«Я сидела и слушала,— рассказывала мне Наташа,— но я сначала, право, как будто не понимала его. Помню только, что пристально, пристально глядела на него. Он взял мою руку и начал пожимать ее в своей. Это ему, кажется, было очень приятно. Я же до того была не в себе, что и не подумала вырвать у него руку».

— Вы поняли,— продолжал он,— что, став женою Алеши, могли возбудить в нем впоследствии к себе ненависть, и у вас достало благородной гордости, чтоб сознать это и решиться... но — ведь не хвалить же я вас приехал. Я хотел только заявить

перед вами, что никогда и нигде не найдете вы лучшего друга, как я. Я вам сочувствую и жалею вас. Во всем этом деле я принимал невольное участие, но — я исполнял свой долг. Ваше прекрасное сердце поймет это и примирится с моим... А мне было тяжелее вашего, поверьте!

— Довольно, князь,— сказала Наташа.— Оставьте меня в покое.

— Непременно, я уйду скоро,— отвечал он,— но я люблю вас, как дочь свою, и вы позволите мне посещать себя. Смотрите на меня теперь как на вашего отца и позвольте мне быть вам полезным.

— Мне ничего не надо, оставьте меня,— прервала опять Наташа.

— Знаю, вы горды... Но я говорю искренно, от сердца. Что намерены вы теперь делать? Помириться с родителями? Доброе бы оно дело, но ваш отец несправедлив, горд и деспот; простите меня, но это так. В вашем доме вы встретите теперь одни попреки и новые мучения... Но, однако же, надо, чтоб вы были независимы, а моя обязанность, мой священный долг — заботиться теперь о вас и помогать вам. Алеша умолял меня не оставлять вас и быть вашим другом. Но и кроме меня есть люди, вам глубоко преданные. Вы мне, вероятно, позволите представить вам графа N. Он с превосходным сердцем, родственник наш и даже, можно сказать, благодетель всего нашего семейства; он многое делал для Алеши. Алеша очень уважал и любил его. Он очень сильный человек, с большим влиянием, уже старичок, и принимать его вам, девице, можно. Я уж говорил ему про вас. Он может пристроить вас и, если захотите, доставит вам превосходное место... у одной из своих родственниц. Я давно уже, прямо и откровенно, объяснил ему все *наше* дело, и он до того увлекся своим добрым и благороднейшим чувством, что даже сам упрашивает меня теперь как можно скорее представиться вам... Это человек сочувствующий всему прекрасному, поверьте мне,— щедрый, почтенный старичок, способный ценить достоинство и еще даже недавно благороднейшим образом обошелся с вашим отцом в одной истории.

Наташа приподнялась, как уязвленная. Теперь она уж понимала его.

— Оставьте меня, оставьте сейчас же! — закричала она.

— Но, мой друг, вы забываете: граф может быть полезен и вашему отцу...

— Мой отец ничего не возьмет от вас. Оставите ли вы меня! — закричала еще раз Наташа.

— О боже, как вы нетерпеливы и недоверчивы! Чем заслужил я это,— произнес князь, с некоторым беспокойством осматриваясь кругом,— во всяком случае, вы позволите мне,— продол-

жал он, вынимая большую пачку из кармана,— вы позволите мне оставить у вас это доказательство моего к вам участия и в особенности участия графа N, побудившего меня своим советом. Здесь, в этом пакете, десять тысяч рублей. Подождите, мой друг,— подхватил он, видя, что Наташа с гневом поднялась с своего места,— выслушайте терпеливо все: вы знаете, отец ваш проиграл мне тяжбу, и эти десять тысяч послужат вознаграждением, которое...

— Прочь,— закричала Наташа,— прочь с этими деньгами! Я вас вижу насквозь... о низкий, низкий, низкий человек!

Князь поднялся со стула, бледный от злости.

Вероятно, он приехал с тем, чтоб оглядеть местность, разузнать положение и, вероятно, крепко рассчитывал на действие этих десяти тысяч рублей перед нищею и оставленною всеми Наташей... Низкий и грубый, он не раз подслуживался графу N, сластолюбивому старику, в такого рода делах.

Но он ненавидел Наташу и, догадавшись, что дело не пошло на лад, тотчас же переменил тон и с злою радостию поспешил оскорбить ее, чтоб *не уходить, по крайней мере, даром.*

— Вот уж это и нехорошо, моя милая, что вы так горячитесь,— произнес он несколько дрожащим голосом от нетерпеливого наслаждения видеть поскорее эффект своей обиды,— вот уж это и нехорошо. Вам предлагают покровительство, а вы поднимаете носик... А того и не знаете, что должны быть мне благодарны; уже давно мог бы я посадить вас в смирительный дом, как отец развращаемого вами молодого человека, которого вы обирали, да ведь не сделал же этого... хе-хе-хе-хе!

Но мы уже входили. Услышав еще из кухни голоса, я остановил на одну секунду доктора и вслушался в последнюю фразу князя. Затем раздался отвратительный хохот его и отчаянное восклицание Наташи: «О боже мой!» В эту минуту я отворил дверь и бросился на князя.

Я плюнул ему в лицо и изо всей силы ударил его по щеке. Он хотел было броситься на меня, но, увидав, что нас двое, пустился бежать, схватив сначала со стола свою пачку с деньгами. Да, он сделал это; я сам видел. Я бросил ему вдогонку скалкой, которую схватил в кухне, на столе... Вбежав опять в комнату, я увидел, что доктор удерживал Наташу, которая билась и рвалась у него из рук, как в припадке. Долго мы не могли успокоить ее; наконец нам удалось уложить ее в постель; она была как в горячечном бреду.

— Доктор! Что с ней? — спросил я, замирая от страха.

— Подождите,— отвечал он,— надо еще приглядеться к болезни и потом уже сообразить... но, вообще говоря, дело очень нехорошо. Может кончиться даже горячкой... Впрочем, мы примем меры...

Но меня уже осенила другая мысль. Я умолил доктора остаться с Наташей еще на два или на три часа и взял с него слово не уходить от нее ни на одну минуту. Он дал мне слово, и я побежал домой.

Нелли сидела в углу, угрюмая и встревоженная, и странно поглядывала на меня. Должно быть, я и сам был странен.

Я схватил ее на руки, сел на диван, посадил к себе на колени и горячо поцеловал ее. Она вспыхнула.

— Нелли, ангел! — сказал я,— хочешь ли ты быть нашим спасением? Хочешь ли спасти всех нас?

Она с недоумением посмотрела на меня.

— Нелли! Вся надежда теперь на тебя! Есть один отец: ты его видела и знаешь; он проклял свою дочь и вчера приходил просить тебя к себе вместо дочери. Теперь ее, Наташу (а ты говорила, что любишь ее), оставил тот, которого она любила и для которого ушла от отца. Он сын того князя, который приезжал, помнишь, вечером, ко мне и застал еще тебя одну, а ты убежала от него и потом была больна... Ты ведь знаешь его? Он злой человек!

— Знаю,— отвечала Нелли, вздрогнула и побледнела.

— Да, он злой человек. Он ненавидел Наташу за то, что его сын, Алеша, хотел на ней жениться. Сегодня уехал Алеша, а через час его отец уже был у ней и оскорбил ее, и грозил ее посадить в смирительный дом, и смеялся над ней. Понимаешь меня, Нелли?

Черные глаза ее сверкнули, но она тотчас же их опустила.

— Понимаю,— прошептала она чуть слышно.

— Теперь Наташа одна, больная; я оставил ее с нашим доктором, а сам прибежал к тебе. Слушай, Нелли: пойдем к отцу Наташи; ты его не любишь, ты к нему не хотела идти, но теперь пойдем к нему вместе. Мы войдем, и я скажу, что ты теперь хочешь быть у них вместо дочери, вместо Наташи. Старик теперь болен, потому что проклял Наташу и потому что отец Алеши еще на днях смертельно оскорбил его. Он не хочет и слышать теперь про дочь, но он ее любит, любит, Нелли, и хочет с ней примириться; я знаю это, я все знаю! Это так!.. Слышишь ли, Нелли?

— Слышу,— произнесла она тем же шепотом. Я говорил ей, обливаясь слезами. Она робко взглядывала на меня.

— Веришь ли этому?

— Верю.

— Ну так я войду с тобой, посажу тебя, и тебя примут, обласкают и начнут расспрашивать. Тогда я сам так подведу разговор, что тебя начнут расспрашивать о том, как ты жила прежде: о твоей матери и о твоем дедушке. Расскажи им, Нелли, все так, как ты мне рассказывала. Все, все расскажи, просто и

ничего не утаивая. Расскажи им, как твою мать оставил злой человек, как она умирала в подвале у Бубновой, как вы с матерью вместе ходили по улицам и просили милостыню; что говорила она тебе и о чем просила тебя, умирая... Расскажи тут же и про дедушку. Расскажи, как он не хотел прощать твою мать, и как она посылала тебя к нему в свой предсмертный час, чтоб он пришел к ней простить ее, и как он не хотел... и как она умерла. Все, все расскажи! И как расскажешь все это, то старик почувствует все это и в своем сердце. Он ведь знает, что сегодня бросил ее Алеша и она осталась, униженная и поруганная, одна, без помощи и без защиты, на поругание своему врагу. Он все это знает... Нелли! спаси Наташу! Хочешь ли ехать?

— Да,— отвечала она, тяжело переводя дух и каким-то странным взглядом, пристально и долго, посмотрев на меня; что-то похожее на укор было в этом взгляде, и я почувствовал это в моем сердце.

Но я не мог оставить мою мысль. Я слишком верил в нее. Я схватил за руку Нелли, и мы вышли. Был уже третий час пополудни. Находила туча. Все последнее время погода стояла жаркая и удушливая, но теперь послышался где-то далеко первый, ранний весенний гром. Ветер пронесся по пыльным улицам.

Мы сели на извозчика. Всю дорогу Нелли молчала, изредка только взглядывала на меня все тем же странным и загадочным взглядом. Грудь ее волновалась, и, придерживая ее на дрожках, я слышал, как в моей ладони колотилось ее маленькое сердечко, как будто хотело выскочить вон.

Глава VII

Дорога мне казалась бесконечною. Наконец, мы приехали, и я вошел к моим старикам с замиранием сердца. Я не знал, как выйду из их дома, но знал, что мне во что бы то ни стало надо выйти с прощением и примирением.

Был уже четвертый час. Старики сидели одни, по обыкновению. Николай Сергеич был очень расстроен и болен и полулежал, протянувшись в своем покойном кресле, бледный и изнеможенный, с головой, обвязанной платком. Анна Андреевна сидела возле него, изредка примачивала ему виски уксусом и беспрестанно, с пытливым и страдальческим видом, заглядывала ему в лицо, что, кажется, очень беспокоило старика и даже досаждало ему. Он упорно молчал, она не смела говорить. Наш внезапный приезд поразил их обоих. Анна Андреевна чего-то вдруг испугалась, увидя меня с Нелли, и в первые минуты смотрела на нас так, как будто в чем-нибудь вдруг почувствовала себя виноватою.

— Вот я привез к вам мою Нелли,— сказал я, входя.— Она надумалась и теперь сама захотела к вам. Примите и полюбите...

Старик подозрительно взглянул на меня, и уже по одному взгляду можно было угадать, что ему все известно, то есть что Наташа теперь уже одна, оставлена, брошена и, может быть, уже оскорблена. Ему очень хотелось проникнуть в тайну нашего прибытия, и он вопросительно смотрел на меня и на Нелли. Нелли дрожала, крепко сжимая своей рукой мою, смотрела в землю и изредка только бросала кругом себя пугливый взгляд, как пойманный зверок. Но скоро Анна Андреевна опомнилась и догадалась: она так и кинулась к Нелли, поцеловала ее, приласкала, даже заплакала и с нежностью усадила ее возле себя, не выпуская из своей руки ее руку. Нелли с любопытством и с каким-то удивлением оглядела ее искоса.

Но, обласкав и усадив Нелли подле себя, старушка уже и не знала больше, что делать, и с наивным ожиданием стала смотреть на меня. Старик поморщился, чуть ли не догадавшись, для чего я привел Нелли. Увидев, что я замечаю его недовольную мину и нахмуренный лоб, он поднес к голове свою руку и сказал мне отрывисто:

— Голова болит, Ваня.

Мы все еще сидели и молчали; я обдумывал, что начать. В комнате было сумрачно; надвигалась черная туча, и вновь послышался отдаленный раскат грома.

— Гром-то как рано в эту весну,— сказал старик.— А вот в тридцать седьмом году, помню, в наших местах был еще раньше.

Анна Андреевна вздохнула.

— Не поставить ли самоварчик? — робко спросила она; но никто ей не ответил, и она опять обратилась к Нелли.

— Как тебя, моя голубушка, звать? — спросила она ее.

Нелли слабым голосом назвала себя и еще больше потупилась. Старик пристально поглядел на нее.

— Это Елена, что ли? — продолжала, оживляясь, старушка.

— Да,— отвечала Нелли, и опять последовало минутное молчание.

— У сестрицы Прасковьи Андреевны была племянница Елена,—проговорил Николай Сергеич,—тоже Нелли звали. Я помню.

— Что ж у тебя, голубушка, ни родных, ни отца, ни матери нету? — спросила опять Анна Андреевна.

— Нет,— отрывисто и пугливо прошептала Нелли.

— Слышала я это, слышала. А давно ли матушка твоя померла?

— Недавно.

— Голубчик ты мой, сироточка,— продолжала старушка, жалостливо на нее поглядывая. Николай Сергеич в нетерпении барабанил по столу пальцами.

— Матушка-то твоя из иностранок, что ли, была? Так, что ли, вы рассказывали, Иван Петрович? — продолжались робкие расспросы старушки.

Нелли бегло взглянула на меня своими черными глазами, как будто призывая меня на помощь. Она как-то неровно и тяжело дышала.

— У ней, Анна Андреевна,— начал я,— мать была дочь англичанина и русской, так что скорее была русская; Нелли же родилась за границей.

— Как же ее матушка-то с супругом своим за границу поехала?

Нелли вдруг вся вспыхнула. Старушка мигом догадалась, что обмолвилась, и вздрогнула под гневным взглядом старика. Он строго посмотрел на нее и отворотился было к окну.

— Ее мать была дурным и подлым человеком обманута,— произнес он, вдруг обращаясь к Анне Андреевне.— Она уехала с ним от отца и передала отцовские деньги любовнику; а тот выманил их у нее обманом, завез за границу, обокрал и бросил. Один добрый человек ее не оставил и помогал ей до самой своей смерти. А когда он умер, она два года тому назад воротилась назад к отцу. Так, что ли, ты рассказывал, Ваня? — спросил он отрывисто.

Нелли в величайшем волнении встала с места и хотела было идти к дверям.

— Поди сюда, Нелли,— сказал старик, протягивая наконец ей руку.— Сядь здесь, сядь возле меня, вот тут,— сядь! — Он нагнулся, поцеловал ее в лоб и тихо начал гладить ее по головке. Нелли так вся и затрепетала... но сдержала себя. Анна Андреевна в умилении, с радостною надеждою смотрела, как ее Николай Сергеич приголубил наконец сиротку.

— Я знаю, Нелли, что твою мать погубил злой человек, злой и безнравственный, но знаю тоже, что она отца своего любила и почитала,— с волнением произнес старик, продолжая гладить Нелли по головке и не стерпев, чтоб не бросить нам в эту минуту этот вызов. Легкая краска покрыла его бледные щеки; он старался не взглядывать на нас.

— Мамаша любила дедушку больше, чем ее дедушка любил,— робко, но твердо проговорила Нелли, тоже стараясь ни на кого не взглянуть.

— А ты почему знаешь? — резко спросил старик, не выдержав, как ребенок, и как будто сам стыдясь своего нетерпения.

— Знаю,— отрывисто отвечала Нелли.— Он не принял матушку и... прогнал ее...

Я видел, что Николаю Сергеичу хотелось было что-то сказать, возразить, сказать, например, что старик за дело не принял дочь, но он поглядел на нас и смолчал.

— Как же, где же вы жили-то, когда дедушка вас не принял? — спросила Анна Андреевна, в которой вдруг родилось упорство и желание продолжать именно на эту тему.

— Когда мы приехали, то долго отыскивали дедушку,— отвечала Нелли,— но никак не могли отыскать. Мамаша мне и сказала тогда, что дедушка был прежде очень богатый и фабрику хотел строить, а что теперь он очень бедный, потому что тот, с кем мамаша уехала, взял у ней все дедушкины деньги и не отдал ей. Она мне это сама сказала.

— Гм...— отозвался старик.

— И она говорила мне еще,— продолжала Нелли, все более и более оживляясь и как будто желая возразить Николаю Сергеичу, но обращаясь к Анне Андреевне,— она мне говорила, что дедушка на нее очень сердит, и что она сама во всем перед ним виновата, и что нет у ней теперь на всей земле никого, кроме дедушки. И когда говорила мне, то плакала... «Он меня не простит,— говорила она, еще когда мы сюда ехали,— но, может быть, тебя увидит и тебя полюбит, а за тебя и меня простит». Мамаша очень любила меня, и когда это говорила, то всегда меня целовала, а к дедушке идти очень боялась. Меня же учила молиться за дедушку, и сама молилась и много мне еще рассказывала, как она прежде жила с дедушкой и как дедушка ее очень любил, больше всех. Она ему на фортепьяно играла и книги читала по вечерам, а дедушка ее целовал и много ей дарил... все дарил, так что один раз они и поссорились, в мамашины именины; потому что дедушка думал, что мамаша еще не знает, какой будет подарок, а мамаша уже давно узнала какой. Мамаше хотелось серьги, а дедушка все нарочно обманывал ее и говорил, что подарит не серьги, а брошку; и когда он принес серьги и как увидел, что мамаша уж знает, что будут серьги, а не брошка, то рассердился за то, что мамаша узнала,и половину дня не говорил с ней, а потом сам пришел ее целовать и прощенья просить...

Нелли рассказывала с увлечением, и даже краска заиграла на ее бледных больных щечках.

Видно было, что ее *мамаша* не раз говорила с своей маленькой Нелли о своих прежних счастливых днях, сидя в своем угле, в подвале, обнимая и целуя свою девочку (все, что у ней осталось отрадного в жизни) и плача над ней, а в то же время и не подозревая, с какою силою отзовутся эти рассказы ее в болезненно впечатлительном и рано развившемся сердце больного ребенка.

Но увлекшаяся Нелли как будто вдруг опомнилась, недоверчиво осмотрелась кругом и притихла. Старик наморщил лоб и снова забарабанил по столу; у Анны Андреевны показалась на глазах слезинка, и она молча отерла ее платком.

— Мамаша приехала сюда очень больная,— прибавила Нелли тихим голосом,— у ней грудь очень болела. Мы долго искали

дедушку и не могли найти, а сами нанимали в подвале, в углу.

— В углу, больная-то! — вскричала Анна Андреевна.

— Да... в углу...— отвечала Нелли.— Мамаша была бедная. Мамаша мне говорила,— прибавила она, оживляясь,— что не грех быть бедной, а что грех быть богатым и обижать... и что ее бог наказывает.

— Что же вы на Васильевском нанимали? Это там у Бубновой, что ли? — спросил старик, обращаясь ко мне и стараясь выказать некоторую небрежность в своем вопросе. Спросил же, как будто ему неловко было сидеть молча.

— Нет, не там... а сперва в Мещанской,— отвечала Нелли.— Там было очень темно и сыро,— продолжала она, помолчав,— и матушка очень заболела, но еще тогда ходила. Я ей белье мыла, а она плакала. Там тоже жила одна старушка, капитанша, и жил отставной чиновник, и все приходил пьяный, и всякую ночь кричал и шумел. Я очень боялась его. Матушка брала меня к себе на постель и обнимала меня, а сама вся, бывало, дрожит, а чиновник кричит и бранится. Он хотел один раз прибить капитаншу, а та была старая старушка и ходила с палочкой. Мамаше стало жаль ее, и она за нее заступилась; чиновник и ударил мамашу, а я чиновника...

Нелли остановилась. Воспоминание взволновало ее; глазки ее засверкали.

— Господи боже мой! — вскричала Анна Андреевна, до последней степени заинтересованная рассказом и не спускавшая глаз с Нелли, которая преимущественно обращалась к ней.

— Тогда мамаша вышла,— продолжала Нелли,— и меня увела с собой. Это было днем. Мы всё ходили по улицам до самого вечера, и мамаша все плакала и все ходила, а меня вела за руку. Я очень устала; мы и не ели этот день. А мамаша все сама с собой говорила и мне все говорила: «Будь бедная, Нелли, и когда я умру, не слушай никого и ничего. Ни к кому не ходи; будь одна, бедная, и работай, а нет работы, так милостыню проси, а *к ним* не ходи». Только в сумерки мы переходили через одну большую улицу; вдруг мамаша закричала: «Азорка! Азорка!» — и вдруг большая собака, без шерсти, подбежала к мамаше, завизжала и бросилась к ней, а мамаша испугалась, стала бледная, закричала и бросилась на колени перед высоким стариком, который шел с палкой и смотрел в землю. А этот высокий старик и был дедушка, и такой сухощавый, в дурном платье. Тут-то я в первый раз и увидала дедушку. Дедушка тоже очень испугался и весь побледнел, и как увидал, что мамаша лежит подле него и обхватила его ноги,— он вырвался, толкнул мамашу, ударил по камню палкой и пошел скоро от нас. Азорка еще остался и все выл и лизал мамашу, потом побежал к дедушке, схватил его за полу и потащил назад, а дедушка его ударил палкой. Азорка

опять к нам было побежал, да дедушка кликнул его, он и побежал за дедушкой и все выл. А мамаша лежала как мертвая, кругом народ собрался, полицейские пришли. Я все кричала и подымала мамашу. Она и встала, огляделась кругом и пошла за мной. Я ее повела домой. Люди на нас долго смотрели и все головой качали...

Нелли приостановилась перевести дух и скрепить себя. Она была очень бледна, но решительность сверкала в ее взгляде. Видно было, что она решилась наконец *все* говорить. В ней было даже что-то вызывающее в эту минуту.

— Что ж,— заметил Николай Сергеич неровным голосом, с какою-то раздражительною резкостью,— что ж, твоя мать оскорбила своего отца, и он за дело отверг ее...

— Матушка мне то же говорила,— резко подхватила Нелли,— и, как мы шли домой, все говорила: это твой дедушка, Нелли, а я виновата перед ним, вот он и проклял меня, за это меня теперь бог и наказывает, и весь вечер этот, и все следующие дни все это же говорила. А говорила, как будто себя не помнила...

Старик смолчал.

— А потом как же вы на другую-то квартиру перебрались?— спросила Анна Андреевна, продолжавшая тихо плакать.

— Мамаша в ту же ночь заболела, а капитанша отыскала квартиру у Бубновой, а на третий день мы и переехали, и капитанша с нами; и как переехали, мамаша совсем слегла и три недели лежала больная, а я ходила за ней. Деньги у нас совсем все вышли, и нам помогла капитанша и Иван Александрыч.

— Гробовщик, хозяин,— сказал я в пояснение.

— А когда мамаша встала с постели и стала ходить, тогда мне про Азорку и рассказала.

Нелли приостановилась. Старик как будто обрадовался, что разговор перешел на Азорку.

— Что ж она про Азорку тебе рассказывала? — спросил он, еще более нагнувшись в своих креслах, точно чтоб еще больше скрыть свое лицо и смотреть вниз.

— Она все мне говорила про дедушку,— отвечала Нелли,— и больная все про него говорила, и когда в бреду была, тоже говорила. Вот она как стала выздоравливать, то и начала мне опять рассказывать, как она прежде жила... тут и про Азорку рассказала, потому что раз где-то на реке, за городом, мальчишки тащили Азорку на веревке топить, а мамаша дала им денег и купила у них Азорку. Дедушка, как увидел Азорку, стал над ним очень смеяться. Только Азорка и убежал. Мамаша стала плакать; дедушка испугался и сказал, что даст сто рублей тому, кто приведет Азорку. На третий день его и привели; дедушка сто рублей отдал и с этих пор стал любить Азорку. А мамаша так его стала любить, что даже на постель с собой брала. Она

мне рассказывала, что Азорка прежде с комедиантами по улицам ходил, и служить умел, и обезьяну на себе возил, и ружьем умел делать, и много еще умел... А когда мамаша уехала от дедушки, то дедушка и оставил Азорку у себя и все с ним ходил, так что на улице, как только мамаша увидала Азорку, тотчас же и догадалась, что тут же и дедушка...

Старик, видимо, ожидал не того об Азорке и все больше и больше хмурился. Он уж не расспрашивал более ничего.

— Так как же, вы так больше и не видали дедушку? — спросила Анна Андреевна.

— Нет, когда мамаша стала выздоравливать, тогда я встретила опять дедушку. Я ходила в лавочку за хлебом: вдруг увидела человека с Азоркой, посмотрела и узнала дедушку. Я посторонилась и прижалась к стене. Дедушка посмотрел на меня, долго смотрел и такой был страшный, что я его очень испугалась, и прошел мимо; Азорка же меня припомнил и начал скакать подле меня и мне руки лизать. Я поскорей пошла домой, посмотрела назад, а дедушка зашел в лавочку. Тут я подумала: верно, расспрашивает, и испугалась еще больше, и когда пришла домой, то мамаше ничего не сказала, чтоб мамаша опять не сделалась больна. Сама же в лавочку на другой день не ходила; сказала, что у меня голова болит; а когда пошла на третий день, то никого не встретила и ужасно боялась, так что бегом бежала. А еще через день вдруг я иду, только что за угол зашла, а дедушка передо мной и Азорка. Я побежала и поворотила в другую улицу и с другой стороны в лавочку зашла; только вдруг прямо на него опять и наткнулась и так испугалась, что тут же и остановилась и не могу идти. Дедушка стал передо мною и опять долго смотрел на меня, а потом погладил меня по головке, взял за руку и повел меня, а Азорка за нами и хвостом махает. Тут я и увидала, что дедушка и ходить прямо уж не может и все на палку упирается, а руки у него совсем дрожат. Он меня привел к разносчику, который на углу сидел и продавал пряники и яблоки. Дедушка купил пряничного петушка и рыбку, и одну конфетку, и яблоко, и когда вынимал деньги из кожаного кошелька, то руки у него очень тряслись, и он уронил пятак, а я подняла ему. Он мне этот пятак подарил, и пряники отдал, и погладил меня по голове, но опять ничего не сказал, а пошел от меня домой.

Тогда я пришла к мамаше и рассказала ей все про дедушку и как я сначала его боялась и пряталась от него. Мамаша мне сперва не поверила, а потом так обрадовалась, что весь вечер меня расспрашивала, целовала и плакала, и когда я уж ей все рассказала, то она мне вперед приказала: чтоб я никогда не боялась дедушку и что, стало быть, дедушка любит меня, коль нарочно приходил ко мне. И велела, чтоб я ласкалась к дедушке и говорила с ним. А на другой день все меня высылала несколько раз поутру, хотя я и сказала ей, что дедушка приходил всегда

только перед вечером. Сама же она за мной издали шла и за углом пряталась и на другой день также, но дедушка не пришел, а в эти дни шел дождь, и матушка очень простудилась, потому что все со мной выходила за ворота, и опять слегла.

Дедушка же пришел через неделю и опять мне купил одну рыбку и яблоко и опять ничего не сказал. А когда уж он пошел от меня, я тихонько пошла за ним, потому что заранее так вздумала, чтоб узнать, где живет дедушка, и сказать мамаше. Я шла издали по другой стороне улицы, так чтоб дедушка меня не видал. А жил он очень далеко, не там, где после жил и умер, а в Гороховой, тоже в большом доме, в четвертом этаже. Я все это узнала и поздно воротилась домой. Мамаша очень испугалась, потому что не знала, где я была. Когда же я рассказала, то мамаша опять очень обрадовалась и тотчас же хотела идти к дедушке, на другой же день; но на другой день стала думать и бояться и все боялась, целых три дня; так и не ходила. А потом позвала меня и сказала: вот что, Нелли, я теперь больна и не могу идти, а я написала письмо твоему дедушке, поди к нему и отдай письмо. И смотри, Нелли, как он его прочтет, что скажет и что будет делать; а ты стань на колени, целуй его и проси его, чтоб он простил твою мамашу... И мамаша очень плакала, и все меня целовала, и крестила в дорогу, и богу молилась, и меня с собой на колени перед образом поставила и хоть очень была больна, но вышла меня провожать к воротам, и когда я оглядывалась, она все стояла и глядела на меня, как я иду...

Я пришла к дедушке и отворила дверь, а дверь была без крючка. Дедушка сидел за столом и кушал хлеб с картофелем, а Азорка стоял перед ним, смотрел, как он ест, и хвостом махал. У дедушки тоже и в той квартире были окна низкие, темные и тоже только один стол и стул. А жил он один. Я вошла, и он так испугался, что весь побледнел и затрясся. Я тоже испугалась и ничего не сказала, а только подошла к столу и положила письмо. Дедушка как увидал письмо, то так рассердился, что вскочил, схватил палку и замахнулся на меня, но не ударил, а только вывел меня в сени и толкнул меня. Я еще не успела и с первой лестницы сойти, как он отворил опять дверь и выбросил мне назад письмо нераспечатанное. Я пришла домой и все рассказала. Тут матушка слегла опять...

Глава VIII

В эту минуту раздался довольно сильный удар грома, и дождь крупным ливнем застучал в стекло; в комнате стемнело. Старушка словно испугалась и перекрестилась. Мы все вдруг остановились.

— Сейчас пройдет,— сказал старик, поглядывая на окна; за-

тем встал и прошелся взад и вперед по комнате. Нелли искоса следила за ним взглядом. Она была в чрезвычайном, болезненном волнении. Я видел это; но на меня она как-то избегала глядеть.

— Ну, что ж дальше? — спросил старик, снова усевшись в свои кресла.

Нелли пугливо огляделась кругом.

— Так ты уж больше и не видала своего дедушку?

— Нет, видела...

— Да, да! Рассказывай, голубчик мой, рассказывай,— подхватила Анна Андреевна.

— Я его три недели не видела,— начала Нелли,— до самой зимы. Тут зима стала, и снег выпал. Когда же я встретила дедушку опять, на прежнем месте, то очень обрадовалась... потому что мамаша тосковала, что он не ходит. Я, как увидела его, нарочно побежала на другую сторону улицы, чтоб он видел, что я бегу от него. Только я оглянулась и вижу, что дедушка сначала скоро пошел за мной, а потом и побежал, чтоб меня догнать, и стал кричать мне: «Нелли, Нелли!» И Азорка бежал за ним. Мне жалко стало, я и остановилась. Дедушка подошел, и взял меня за руку, и повел, а когда увидел, что я плачу, остановился, посмотрел на меня, нагнулся и поцеловал. Тут он увидал, что у меня башмаки худые, и спросил: разве у меня нет других. Я тотчас же сказала ему поскорей, что у мамаши совсем нет денег и что нам хозяева из одной жалости есть дают. Дедушка ничего не сказал, но повел меня на рынок и купил мне башмаки и велел тут же их надеть, а потом повел меня к себе, в Гороховую, а прежде зашел в лавочку и купил пирог и две конфетки, и когда мы пришли, сказал, чтоб я ела пирог, и смотрел на меня, когда я ела, а потом дал мне конфетки. А Азорка положил лапы на стол и тоже просил пирога, я ему и дала, и дедушка засмеялся. Потом взял меня, поставил подле себя, начал по голове гладить и спрашивать: училась ли я чему-нибудь и что я знаю? Я ему сказала, а он велел мне, как только мне можно будет, каждый день в три часа ходить к нему, и что он сам будет учить меня. Потом сказал мне, чтоб я отвернулась и смотрела в окно, покамест он скажет, чтоб я опять повернулась к нему. Я так и стояла, но тихонько обернулась назад и увидела, что он распорол свою подушку, с нижнего уголка, и вынул четыре целковых. Когда вынул, принес их мне и сказал: «Это тебе одной». Я было взяла, но потом подумала и сказала: «Коли мне одной, так не возьму». Дедушка вдруг рассердился и сказал мне: «Ну, бери как знаешь, ступай». Я вышла, а он и не поцеловал меня.

Как я пришла домой, все мамаше и рассказала. А мамаше все становилось хуже и хуже. К гробовщику ходил один студент; он лечил мамашу и велел ей лекарства принимать.

А я ходила к дедушке часто; мамаша так приказывала. Де-

душка купил Новый завет и географию и стал меня учить; а иногда рассказывал, какие на свете есть земли, и какие люди живут, и какие моря, и что было прежде, и как Христос нас всех простил. Когда я его сама спрашивала, то он был очень рад; потому я и стала часто его спрашивать, и он все рассказывал и про бога много говорил. А иногда мы не учились и с Азоркой играли: Азорка меня очень стал любить, и я его выучила через палку скакать, и дедушка смеялся и все меня по головке гладил. Только дедушка редко смеялся. Один раз много говорит, а то вдруг замолчит и сидит, как будто заснул, а глаза открыты. Так и досидит до сумерек, а в сумерки он такой становится страшный, старый такой... А то, бывало, приду к нему, а он сидит на своем стуле, думает и ничего не слышит, и Азорка подле него лежит. Я жду, жду и кашляю; дедушка все не оглядывается. Я так и уйду. А дома мамаша так уж и ждет меня: она лежит, а я ей рассказываю все, все, так и ночь придет, а я все говорю, и она все слушает про дедушку: что он делал сегодня и что мне рассказывал, какие истории, и что на урок мне задал. А как начну про Азорку, что я его через палку заставляла скакать и что дедушка смеялся, то и она вдруг начнет смеяться и долго, бывало, смеется и радуется и опять заставляет повторить, а потом молиться начнет. А я все думала: что ж мамаша так любит дедушку, а он ее не любит, и когда пришла к дедушке, то нарочно стала ему рассказывать, как мамаша его любит. Он все слушал, такой сердитый, а все слушал и ни слова не говорил; тогда я и спросила, отчего мамаша его так любит, что все об нем спрашивает, а он никогда про мамашу не спрашивает. Дедушка рассердился и выгнал меня за дверь; я немножко постояла за дверью, а он вдруг опять отворил и позвал меня назад, и все сердился и молчал. А когда потом мы начали закон божий читать, я опять спросила: отчего же Иисус Христос сказал: любите друг друга и прощайте обиды, а он не хочет простить мамашу? Тогда он вскочил и закричал, что это мамаша меня научила, вытолкнул меня в другой раз вон и сказал, чтоб я никогда не смела теперь к нему приходить. А я сказала, что я и сама теперь к нему не приду, и ушла от него... А дедушка на другой день из квартиры переехал...

— Я сказал, что дождь скоро пройдет, вот и прошел, вот и солнышко... смотри, Ваня,— сказал Николай Сергеевич, оборотясь к окну.

Анна Андреевна поглядела на него в чрезвычайном недоумении, и вдруг негодование засверкало в глазах доселе смирной и напуганной старушки. Молча взяла она Нелли за руку и посадила к себе на колени.

— Рассказывай мне, ангел мой,— сказала она,— я буду тебя слушать. Пусть те, у кого жестокие сердца...

Она не договорила и заплакала. Нелли вопросительно взглянула на меня как бы в недоумении и в испуге. Старик посмотрел на меня, пожал было плечами, но тотчас же отвернулся.

— Продолжай, Нелли,— сказал я.

— Я три дня не ходила к дедушке,— начала опять Нелли,— а в это время мамаше стало худо. Деньги у нас все вышли, а лекарства не на что было купить, да и не ели мы ничего, потому что у хозяев тоже ничего не было, и они стали нас попрекать, что мы на их счет живем. Тогда я на третий день утром встала и начала одеваться. Мамаша спросила: куда я иду? Я и сказала: к дедушке, просить денег, и она обрадовалась, потому что я уже рассказала мамаше все, как он прогнал меня от себя, и сказала ей, что не хочу больше ходить к дедушке, хоть она и плакала и уговаривала меня идти. Я пришла и узнала, что дедушка переехал, и пошла искать его в новый дом. Как только я пришла к нему в новую квартиру, он вскочил, бросился на меня и затопал ногами, и я ему тотчас сказала, что мамаша очень больна, что на лекарство надо денег, пятьдесят копеек, а нам есть нечего. Дедушка закричал и вытолкал меня на лестницу и запер за мной дверь на крючок. Но когда он толкал меня, я ему сказала, что я на лестнице буду сидеть и до тех пор не уйду, покамест он денег не даст. Я и сидела на лестнице. Немного спустя он отворил дверь и увидел, что я сижу, и опять затворил. Потом долго прошло, он опять отворил, опять увидал меня и опять затворил. И потом много раз отворял и смотрел. Наконец вышел с Азоркой, запер дверь и прошел мимо меня со двора и ни слова мне не сказал. И я ни слова не сказала и так и осталась сидеть, и сидела до сумерек.

— Голубушка моя,— вскричала Анна Андреевна,— да ведь холодно, знать, на лестнице-то было!

— Я была в шубке,— отвечала Нелли.

— Да что ж в шубке... голубчик ты мой, сколько ты натерпелась! Что ж он, дедушка-то твой?

Губки у Нелли начало было потрогивать, но она сделала чрезвычайное усилие и скрепила себя.

— Он пришел, когда уже стало совсем темно, и, входя, наткнулся на меня и закричал: кто тут? Я сказала, что это я. А он, верно, думал, что я давно ушла, и как увидал, что я все еще тут, то очень удивился и долго стоял передо мной. Вдруг ударил по ступенькам палкой, побежал, отпер свою дверь и через минуту вынес мне медных денег, все пятаки, и бросил их в меня на лестницу. «Вот тебе, закричал, возьми, это у меня все, что было, и скажи твоей матери, что я ее проклинаю»,— а сам захлопнул дверь. А пятаки покатились по лестнице. Я начала подбирать их в темноте, и дедушка, видно, догадался, что он разбросал пятаки и что в темноте мне их трудно собрать, отворил дверь и вынес

свечу, и при свечке я скоро их собрала. И дедушка сам сбирал вместе со мной и сказал мне, что тут всего должно быть семь гривен, и сам ушел. Когда я пришла домой, я отдала деньги и все рассказала мамаше, и мамаше сделалось хуже; а сама я всю ночь была больна и на другой день тоже вся в жару была, но я только об одном думала, потому что сердилась на дедушку, и когда мамаша заснула, пошла на улицу, к дедушкиной квартире, и, не доходя, стала на мосту. Тут и прошел *тот*...

— Это Архипов,— сказал я,— тот, об котором я говорил, Николай Сергеич, вот что с купцом у Бубновой был и которого там отколотили. Это в первый раз Нелли его тогда увидала... Продолжай, Нелли.

Я остановила его и попросила денег, рубль серебром. Он посмотрел на меня и спросил: «Рубль серебром?» — я сказала: «Да». Тогда он засмеялся и сказал мне: «Пойдем со мной». Я не знала, идти ли, вдруг подошел один старичок в золотых очках,— а он слышал, как я спрашивала рубль серебром,— нагнулся ко мне и спросил: для чего я непременно столько хочу. Я сказала ему, что мамаша больна и что нужно столько на лекарство. Он спросил, где мы живем, и записал, и дал мне бумажку рубль серебром. А *тот*, как увидал старика в очках, ушел и не звал меня больше с собой. Я пошла в лавочку и разменяла рубль на медные; тридцать копеек завернула в бумажку и отложила мамаше, а семь гривен не завернула в бумажку, а нарочно зажала в руках и пошла к дедушке. Как пришла к нему, то отворила дверь, стала на пороге, размахнулась и бросила ему с размаху все деньги, так они и покатились по полу.

— Вот, возьмите ваши деньги! — сказала я ему.— Не надо их от вас мамаше, потому что вы ее проклинаете,— хлопнула дверью и тотчас же убежала прочь.

Ее глаза засверкали, и она с наивно вызывающим видом взглянула на старика.

— Так и надо,— сказала Анна Андреевна, не смотря на Николая Сергеича и крепко прижимая к себе Нелли,— так и надо с ним; твой дедушка был злой и жестокосердый...

— Гм! — отозвался Николай Сергеич.

— Ну, так как же, как же? — с нетерпением спрашивала Анна Андреевна.

— Я перестала ходить больше к дедушке, и он перестал ходить ко мне,— отвечала Нелли.

— Что ж, как же вы остались с мамашей-то? Ох, бедные вы, бедные!

— А мамаше стало еще хуже, и она уже редко вставала с постели,— продолжала Нелли, и голос ее задрожал и прервался.— Денег у нас уж ничего больше не было, я и стала ходить с капитаншей. А капитанша по домам ходила, тоже и на улице лю-

дей хороших останавливала и просила, тем и жила. Она говорила мне, что она не нищая, а что у ней бумаги есть, где ее чин написан и написано тоже, что она бедная. Эти бумаги она и показывала, и ей за это деньги давали. Она и говорила мне, что у всех просить не стыдно. Я и ходила с ней, и нам подавали, тем мы и жили. Мамаша узнала про это, потому жильцы стали попрекать, что она нищая, а Бубнова сама приходила к мамаше и говорила, что лучше б она меня к ней отпустила, а не просить милостыню. Она и прежде к мамаше приходила и ей денег носила; а когда мамаша не брала от нее, то Бубнова говорила: зачем вы такие гордые, и кушанье присылала. А как сказала она это теперь про меня, то мамаша заплакала, испугалась, а Бубнова начала ее бранить, потому что была пьяна, и сказала, что я и без того нищая и с капитаншей хожу, и в тот же вечер выгнала капитаншу из дому. Мамаша как узнала про все, то стала плакать, потом вдруг встала с постели, оделась, схватила меня за руку и повела за собой. Иван Александрыч стал ее останавливать, но она не слушала, и мы вышли. Мамаша едва могла ходить и каждую минуту садилась на улице, а я ее придерживала. Мамаша все говорила, что идет к дедушке и чтоб я вела ее, а уж давно стала ночь. Вдруг мы пришли в большую улицу; тут перед одним домом останавливались кареты, и много выходило народу, а в окнах везде был свет, и слышна была музыка. Мамаша остановилась, схватила меня и сказала мне тогда: «Нелли, будь бедная, будь всю жизнь бедная, не ходи к ним, кто бы тебя ни позвал, кто бы ни пришел. И ты бы могла там быть, богатая и в хорошем платье, да я этого не хочу. Они злые и жестокие, и вот тебе мое приказание: оставайся бедная, работай и милостыню проси, а если кто придет за тобой, скажи: не хочу к вам!..» Это мне говорила мамаша, когда больна была, и я всю жизнь хочу ее слушаться,— прибавила Нелли, дрожа от волнения, с разгоревшимся личиком,— и всю жизнь буду служить и работать, и к вам пришла тоже служить и работать, а не хочу быть как дочь...

— Полно, полно, голубка моя, полно! — вскрикнула старушка, крепко обнимая Нелли.— Ведь матушка твоя была в это время больна, когда говорила.

— Безумная была,— резко заметил старик.

— Пусть безумная! — подхватила Нелли, резко обращаясь к нему,— пусть безумная, но она мне так приказала, так я и буду всю жизнь. И когда она мне это сказала, то даже в обморок упала.

— Господи боже! — вскрикнула Анна Андреевна,— больная-то, на улице, зимой?..

— Нас хотели взять в полицию, но один господин вступился, расспросил у меня квартиру, дал мне десять рублей и велел отвезти мамашу к нам домой, на своих лошадях. После этого мамаша уж и не вставала, а через три недели умерла...

— А отец-то что ж? Так и не простил? — вскрикнула Анна Андреевна.

— Не простил! — отвечала Нелли, с мучением пересиливая себя.— За неделю до смерти мамаша подозвала меня и сказала: «Нелли, сходи еще раз к дедушке, в последний раз, и попроси, чтоб он пришел ко мне и простил меня; скажи ему, что я через несколько дней умру и тебя одну на свете оставляю. И скажи ему еще, что мне тяжело умирать...» Я и пошла, постучалась к дедушке, он отворил и, как увидел меня, тотчас хотел было передо мной дверь затворить, но я ухватилась за дверь обеими руками и закричала ему: «Мамаша умирает, вас зовет, идите!..» Но он оттолкнул меня и захлопнул дверь. Я воротилась к мамаше, легла подле нее, обняла ее и ничего не сказала... Мамаша тоже обняла меня и ничего не расспрашивала...

Тут Николай Сергеич тяжело оперся рукой на стол и встал, но, обведя нас всех каким-то странным, мутным взглядом, как бы в бессилии опустился в кресла. Анна Андреевна уже не глядела на него, но, рыдая, обнимала Нелли...

— Вот в последний день, перед тем как ей умереть, перед вечером, мамаша подозвала меня к себе, взяла меня за руку и сказала: «Я сегодня умру, Нелли», хотела было еще говорить, но уж не могла. Я смотрю на нее, а она уж как будто меня и не видит, только в руках мою руку крепко держит. Я тихонько вынула руку и побежала из дому, и всю дорогу бежала бегом и прибежала к дедушке. Как он увидел меня, то вскочил со стула и смотрит, и так испугался, что совсем стал такой бледный и весь задрожал. Я схватила его за руку и только одно выговорила: «Сейчас умрет». Тут он вдруг так и заметался; схватил свою палку и побежал за мной; даже и шляпу забыл, а было холодно. Я схватила шляпу и надела ее ему, и мы вместе выбежали. Я торопила его и говорила, чтоб он нанял извозчика, потому что мамаша сейчас умрет; но у дедушки было только семь копеек всех денег. Он останавливал извозчиков, торговался, но они только смеялись, и над Азоркой смеялись, а Азорка с нами бежал, и мы все дальше и дальше бежали. Дедушка устал и дышал трудно, но все торопился и бежал. Вдруг он упал, и шляпа с него соскочила. Я подняла его, надела ему опять шляпу и стала его рукой вести, и только перед самой ночью мы пришли домой... Но матушка уже лежала мертвая. Как увидел ее дедушка, всплеснул руками, задрожал и стал над ней, а сам ничего не говорит. Тогда я подошла к мертвой мамаше, схватила дедушку за руку и закричала ему: «Вот, жестокий и злой человек, вот, смотри!.. смотри!» — тут дедушка закричал и упал на пол как мертвый...

Нелли вскочила, высвободилась из объятий Анны Андреевны и стала посреди нас, бледная, измученная и испуганная. Но Анна

Андреевна бросилась к ней и, снова обняв ее, закричала как будто в каком-то вдохновении:

— Я, я буду тебе мать теперь, Нелли, а ты мое дитя! Да, Нелли, уйдем, бросим их всех, жестоких и злых! Пусть потешаются над людьми, бог, бог зачтет им... Пойдем, Нелли, пойдем отсюда, пойдем!..

Я никогда, ни прежде, ни после, не видал ее в таком состоянии, да и не думал, чтоб она могла быть когда-нибудь так взволнована. Николай Сергеич выпрямился в креслах, приподнялся и прерывающимся голосом спросил:

— Куда ты, Анна Андреевна?

— К ней, к дочери, к Наташе! — закричала она и потащила Нелли за собой к дверям.

— Постой, постой, подожди!..

— Нечего ждать, жестокосердый и злой человек! Я долго ждала, и она долго ждала, а теперь прощай!..

Ответив это, старушка обернулась, взглянула на мужа и остолбенела: Николай Сергеич стоял перед ней, захватив свою шляпу, и дрожавшими бессильными руками торопливо натягивал на себя свое пальто.

— И ты... и ты со мной! — вскрикнула она, с мольбою сложив руки и недоверчиво смотря на него, как будто не смея и поверить такому счастью.

— Наташа, где моя Наташа! Где она! Где дочь моя! — вырвалось наконец из груди старика.— Отдайте мне мою Наташу! Где, где она! — и, схватив костыль, который я ему подал, он бросился к дверям.

— Простил! Простил! — вскричала Анна Андреевна.

Но старик не дошел до порога. Дверь быстро отворилась, и в комнату вбежала Наташа, бледная, с сверкающими глазами, как будто в горячке. Платье ее было измято и смочено дождем. Платочек, которым она накрыла голову, сбился у ней на затылок, и на разбившихся густых прядях ее волос сверкали крупные капли дождя. Она вбежала, увидала отца и с криком бросилась перед ним на колена, простирая к нему руки.

Глава IX

Но он уже держал ее в своих объятиях!..

Он схватил ее и, подняв как ребенка, отнес в свои кресла, посадил ее, а сам упал перед ней на колена. Он целовал ее руки, ноги; он торопился целовать ее, торопился наглядеться на нее, как будто еще не веря, что она опять вместе с ним, что он опять ее видит и слышит,— ее, свою дочь, свою Наташу! Анна Андреевна, рыдая, охватила ее, прижала голову ее к своей груди

и так и замерла в этом объятии, не в силах произнесть слова.

— Друг мой!.. жизнь моя!.. радость моя!..— бессвязно восклицал старик, схватив руки Наташи и, как влюбленный, смотря в бледное, худенькое, но прекрасное личико ее, в глаза ее, в которых блистали слезы.— Радость моя, дитя мое! — повторял он и опять смолкал и с благоговейным упоением глядел на нее.— Что же, что же мне сказали, что она похудела! — проговорил он с торопливою, как будто детскою улыбкою, обращаясь к нам и все еще стоя перед ней на коленах.—Худенькая, правда, бледненькая, но посмотри на нее, какая хорошенькая! Еще лучше, чем прежде была, да, лучше! — прибавил он, невольно умолкая под душевной болью, радостною болью, от которой как будто душу ломит надвое.

— Встаньте, папаша! Да встаньте же,— говорила Наташа,— ведь мне тоже хочется вас целовать...

— О милая! Слышишь, слышишь, Аннушка, как она это хорошо сказала,— и он судорожно обнял ее.

— Нет, Наташа, мне, мне надо у твоих ног лежать до тех пор, пока сердце мое услышит, что ты простила меня, потому что никогда, никогда не могу заслужить я теперь от тебя прощения! Я отверг тебя, я проклинал тебя, слышишь, Наташа, я проклинал тебя,— и я мог это сделать!.. А ты, а ты, Наташа: и могла ты поверить, что я тебя проклял! И поверила — ведь поверила! Не надо было верить! Не верила бы, просто бы не верила! Жестокое сердечко! Что же ты не шла ко мне? Ведь ты знала, как я приму тебя!.. О Наташа, ведь ты помнишь, как я прежде тебя любил: ну, а теперь и во все это время я тебя вдвое, в тысячу раз больше любил, чем прежде! Я тебя с кровью любил! Душу бы из себя с кровью вынул, сердце свое располосовал да к ногам твоим положил бы!.. О радость моя!

— Да поцелуйте же меня, жестокий вы человек, в губы, в лицо поцелуйте, как мамаша целует! — воскликнула Наташа больным, расслабленным, полным слезами радости голосом.

— И в глазки тоже! И в глазки тоже! Помнишь, как прежде,— повторял старик после долгого, сладкого объятия с дочерью.— О Наташа! Снилось ли тебе когда про нас? А мне ты снилась чуть не каждую ночь, и каждую ночь ты ко мне приходила, и я над тобой плакал, а один раз ты, как маленькая, пришла, помнишь, когда еще тебе только десять лет было и ты на фортепьяно только что начинала учиться,— пришла в коротеньком платьице, в хорошеньких башмачках и с ручками красненькими... ведь у ней красненькие такие ручки были тогда, помнишь, Аннушка? — пришла ко мне, на колени села и обняла меня... И ты, и ты, девочка ты злая! И ты могла думать, что я проклял тебя, что я не приму тебя, если б ты пришла!.. Да ведь я... слушай, Наташа: да ведь я часто к тебе ходил, и мать не знала, и

никто не знал; то под окнами у тебя стою, то жду: полсутки иной раз жду где-нибудь на тротуаре у твоих ворот! Не выйдешь ли ты, чтоб издали только посмотреть на тебя! А то у тебя по вечерам свеча на окошке часто горела; так сколько раз я, Наташа, по вечерам к тебе ходил, хоть на свечку твою посмотреть, хоть тень твою в окне увидать, благословить тебя на ночь. А ты благословляла ли меня на ночь? Думала ли обо мне? Слышало ли твое сердечко, что я тут под окном? А сколько раз зимой я поздно ночью на твою лестницу подымусь и в темных сенях стою, сквозь дверь прислушиваюсь: не услышу ли твоего голоска? Не засмеешься ли ты? Проклял? Да ведь я в этот вечер к тебе приходил, простить тебя хотел и только от дверей воротился... О Наташа!

Он встал, он приподнял ее из кресел и крепко-крепко прижал ее к сердцу.

— Она здесь опять, у моего сердца! — вскричал он,— о, благодарю тебя, боже, за все, за все, и за гнев твой и за милость твою!.. И за солнце твое, которое просияло теперь, после грозы, на нас! За всю эту минуту благодарю! О! пусть мы униженные, пусть мы оскорбленные, но мы опять вместе, и пусть, пусть теперь торжествуют эти гордые и надменные, унизившие и оскорбившие нас! Путь они бросят в нас камень! Не бойся, Наташа... Мы пойдем рука в руку, и я скажу им: это моя дорогая, это возлюбленная дочь моя, это безгрешная дочь моя, которую вы оскорбили и унизили, но которую я, я люблю и которую благословляю во веки веков!..

— Ваня! Ваня!..— слабым голосом проговорила Наташа, протягивая мне из объятий отца свою руку.

О! никогда я не забуду, что в эту минуту она вспомнила обо мне и позвала меня!

— Где же Нелли? — спросил старик, озираясь.

— Ах, где же она? — вскрикнула старушка,— голубчик мой! Ведь мы так ее и ~~оставили~~!

Но ее не было в комнате; она незаметно проскользнула в спальню. Все пошли туда. Нелли стояла в углу за дверью и пугливо пряталась от нас.

— Нелли, что с тобой, дитя мое! — воскликнул старик, желая обнять ее. Но она как-то долго на него посмотрела...

— Мамаша, где мамаша? — проговорила она, как в беспамятстве,— где, где моя мамаша? — вскрикнула она еще раз, протягивая свои дрожащие руки к нам, и вдруг страшный, ужасный крик вырвался из ее груди; судороги пробежали по лицу ее, и она в страшном припадке упала на пол...

ЭПИЛОГ

Последние воспоминания

Половина июня. День жаркий и удушливый; в городе невозможно оставаться: пыль, известь, перестройки, раскаленные камни, отравленный испарениями воздух... Но вот, о радость! загремел где-то гром; мало-помалу небо нахмурилось; повеял ветер, гоня перед собою клубы городской пыли. Несколько крупных капель тяжело упало на землю, а за ними вдруг как будто разверзлось все небо, и целая река воды пролилась над

городом. Когда чрез полчаса снова просияло солнце, я отворил окно моей каморки и жадно, всею усталою грудью, дохнул свежим воздухом. В упоении я было хотел уже бросить перо, и все дела мои, и самого антрепренера, и бежать к *нашим* на Васильевский. Но хоть и велик был соблазн, я таки успел побороть себя и с какою-то яростию снова напал на бумагу: во что бы то ни стало нужно было кончить! Антрепренер велит и иначе не даст денег. Меня *там* ждут, но зато я вечером буду свободен, совершенно свободен, как ветер, и сегодняшний вечер вознаградит меня за эти последние два дня и две ночи, в которые я написал три печатных листа с половиною.

И вот наконец кончена и работа; бросаю перо и подымаюсь, ощущаю боль в спине и в груди и дурман в голове. Знаю, что в эту минуту нервы мои расстроены в сильной степени, и как будто слышу последние слова, сказанные мне моим старичком-доктором: «Нет, никакое здоровье не выдержит подобных напряжений, потому что это невозможно!» Однако ж покамест это возможно! Голова моя кружится; я едва стою на ногах, но радость, беспредельная радость наполняет мое сердце. Повесть моя совершенно кончена, и антрепренер, хотя я ему и много теперь должен, все-таки даст мне хоть сколько-нибудь, увидя в своих руках добычу,— хоть пятьдесят рублей, а я давным-давно не видал у себя в руках таких денег. Свобода и деньги!.. В восторге я схватил шляпу, рукопись под мышку и бегу стремглав, чтоб застать дома нашего драгоценнейшего Александра Петровича.

Я застаю его, но уже на выходе. Он в свою очередь только что кончил одну нелитературную, но зато очень выгодную спекуляцию и, выпроводив наконец какого-то черномазенького жидка, с которым просидел два часа сряду в своем кабинете, приветливо подает мне руку и своим мягким, милым баском спрашивает о моем здоровье. Это добрейший человек, и я, без шуток, многим ему обязан. Чем же он виноват, что в литературе он всю жизнь был *только* антрепренером? Он смекнул, что литературе надо антрепренера, и смекнул очень вовремя, честь ему и слава за это — антрепренерская, разумеется.

Он с приятной улыбкой узнаёт, что повесть кончена и что следующий номер книжки, таким образом, обеспечен в главном отделе, и удивляется, как это я мог хоть что-нибудь *кончить*, и при этом премило острит. Затем идет к своему железному сундуку, чтоб выдать мне обещанные пятьдесят рублей, а мне между тем протягивает другой, враждебный, толстый журнал и указывает на несколько строк в отделе критики, где говорится два слова и о последней моей повести.

Смотрю: это статья «переписчика». Меня не то чтоб ругают, но и не то чтоб хвалят, и я очень доволен. Но «переписчик» говорит, между прочим, что от сочинений моих вообще «пахнет

по́том», то есть я до того над ними потею, тружусь, до того их обделываю и отделываю, что становится приторно.

Мы с антрепренером хохочем. Я докладываю ему, что прошлая повесть моя была написана в две ночи, а теперь в два дня и две ночи написано мною три с половиной печатных листа,— и если б знал это «переписчик», упрекающий меня в излишней копотливости и в тугой медленности моей работы!

— Однако ж вы сами виноваты, Иван Петрович. Зачем же вы так запаздываете, что приходится вот работать по ночам?

Александр Петрович, конечно, милейший человек, хотя у него есть особенная слабость—похвастаться своим литературным суждением именно перед теми, которые, как и сам он подозревает, понимают его насквозь. Но мне не хочется рассуждать с ним об литературе, я получаю деньги и берусь за шляпу. Александр Петрович едет на Острова на свою дачу и, услышав, что я на Васильевский, благодушно предлагает довезти меня в своей карете.

— У меня ведь новая каретка; вы не видали? Премиленькая.

Мы сходим к подъезду. Карета действительно премиленькая, и Александр Петрович на первых порах своего владения ею ощущает чрезвычайное удовольствие и даже некоторую душевную потребность *подвозить* в ней своих знакомых.

В карете Александр Петрович опять несколько раз пускается в рассуждения о современной литературе. При мне он не конфузится и преспокойно повторяет разные чужие мысли, слышанные им на днях от кого-нибудь из литераторов, которым он верит и чье суждение уважает. При этом ему случается иногда уважать удивительные вещи. Случается ему тоже перевирать чужое мнение или вставлять его не туда, куда следует, так что выходит бурда. Я сижу, молча слушаю и дивлюсь разнообразию и прихотливости страстей человеческих. «Ну, вот человек,— думаю я про себя,— сколачивал бы себе деньги да сколачивал; нет, ему еще нужно славы, литературной славы, славы хорошего издателя, критика!»

В настоящую минуту он силится подробно изложить мне одну литературную мысль, слышанную им дня три тому назад от меня же, и против которой он, три дня тому назад, со мной же спорил, а теперь выдает ее за свою. Но с Александром Петровичем такая забывчивость поминутно случается, и он известен этой невинной слабостью между всеми своими знакомыми. Как он рад теперь, ораторствуя в *своей* карете, как доволен судьбой, как благодушен! Он ведет учено-литературный разговор, и даже мягкий, приличный его басок отзывается ученостью. Мало-помалу он *залиберальничался* и переходит к невинно-скептическому убеждению, что в литературе нашей, да и вообще ни в какой и никогда, не может быть ни у кого честности и скромности, а есть только одно «взаимное битье друг друга по мордасам» — особен-

но при начале подписки. Я думаю про себя, что Александр Петрович наклонен даже всякого честного и искреннего литератора за его честность и искренность считать если не дураком, то, по крайней мере, простофилей. Разумеется, такое суждение прямо выходит из чрезвычайной невинности Александра Петровича.

Но я уже его не слушаю. На Васильевском острове он выпускает меня из кареты, и я бегу к нашим. Вот и Тринадцатая линия, вот и их домик. Анна Андреевна, увидя меня, грозит мне пальцем, махает на меня руками и *шикает* на меня, чтоб я не шумел.

— Нелли только что заснула, бедняжка! — шепчет она мне поскорее,— ради бога, не разбудите! Только уж очень она, голубушка, слаба. Боимся мы за нее. Доктор говорит, что это покамест ничего. Да что от него путного-то добьешься, от *вашего* доктора! И не грех вам это, Иван Петрович? Ждали вас, ждали к обеду-то... ведь двое суток не были!..

— Но ведь я объявил еще третьего дня, что не буду двое суток,— шепчу я Анне Андреевне.— Надо было работу кончать...

— Да ведь к обеду сегодня обещался же прийти! Что ж не приходил? Нелли нарочно с постельки встала, ангельчик мой, в кресло покойное ее усадили, да и вывезли к обеду: «Хочу, дескать, с вами вместе Ваню ждать», а наш Ваня и не бывал. Ведь шесть часов скоро! Где протаскался-то? Греховодники вы эдакие! Ведь ее вы так расстроили, что уж я не знала, как и уговорить... благо, заснула, голубушка. А Николай Сергеич к тому же в город ушел (к чаю-то будет!); одна и бьюсь... Место-то ему, Иван Петрович, выходит; только как подумаю, что в Перми, так и захолонет у меня на душе...

— А где Наташа?

— В садике, голубка, в садике! Сходите к ней... Что-то она тоже у меня такая... Как-то и не соображу... Ох, Иван Петрович, тяжело мне душой! Уверяет, что весела и довольна, да не верю я ей... Сходи-ка к ней, Ваня, да мне и расскажи ужо потихоньку, что с ней... Слышишь?

Но я уже не слушаю Анну Андреевну, а бегу в садик. Этот садик принадлежит к дому; он шагов в двадцать пять длиною и столько же в ширину и весь зарос зеленью. В нем три высоких старых, раскидистых дерева, несколько молодых березок, несколько кустов сирени, жимолости, есть уголок малинника, две грядки с клубникой и две узеньких извилистых дорожки, вдоль и поперек садика. Старик от него в восторге и уверяет, что в нем скоро́ будут расти грибы. Главное же в том, что Нелли полюбила э́тот садик, и ее часто вывозят в креслах на садовую дорожку, а Нелли теперь идол всего дома. Но вот и Наташа: она с радостью встречает меня и протягивает мне руку. Как она худа, как бледна! Она тоже едва оправилась от болезни.

— Совсем ли кончил, Ваня? — спрашивает она меня.

— Совсем, совсем! И на весь вечер совершенно свободен.

— Ну, слава богу! Торопился? Портил?

— Что ж делать! Впрочем, это ничего. У меня вырабатывается, в такую напряженную работу, какое-то особенное раздражение нервов; я яснее соображаю, живее и глубже чувствую, и даже слог мне вполне подчиняется, так что в напряженной-то работе и лучше выходит. Все хорошо...

— Эх, Ваня, Ваня!

Я замечаю, что Наташа в последнее время стала страшно ревнива к моим литературным успехам, к моей славе. Она перечитывает все, что я в последний год напечатал, поминутно расспрашивает о дальнейших планах моих, интересуется каждой критикой, на меня написанной, сердится на иные и непременно хочет, чтоб я высоко поставил себя в литературе. Желания ее выражаются до того сильно и настойчиво, что я даже удивляюсь теперешнему ее направлению.

— Ты только испишешься, Ваня,— говорит она мне,— изнасилуешь себя и испишешься; а кроме того, и здоровье погубишь. Вон С***, тот в два года по одной повести пишет, а N* в десять лет всего только один роман написал. Зато как у них отчеканено, отделано! Ни одной небрежности не найдешь.

— Да, они обеспечены и пишут не на срок; а я — почтовая кляча! Ну, да это все вздор! Оставим это, друг мой. Что, нет ли нового?

— Много. Во-первых, от *него* письмо.

— Еще?

— Еще.— И она подала мне письмо от Алеши. Это уже третье после разлуки. Первое он написал еще из Москвы и написал точно в каком-то припадке. Он уведомлял, что обстоятельства так сошлись, что ему никак нельзя воротиться из Москвы в Петербург, как было проектировано при разлуке. Во втором письме он спешил известить, что приезжает к нам на днях, чтоб поскорей обвенчаться с Наташей, что это решено и никакими силами не может быть остановлено. А между тем по тону всего письма было ясно, что он в отчаянии, что посторонние влияния уже вполне отяготели над ним и что он уже сам себе не верил. Он упоминал, между прочим, что Катя — его провидение и что она одна утешает и поддерживает его. Я с жадностью раскрыл его теперешнее *третье* письмо.

Оно было на двух листах, написано отрывочно, беспорядочно, наскоро и неразборчиво, закапано чернилами и слезами. Начиналось тем, что Алеша отрекался от Наташи и уговаривал ее забыть его. Он силился доказать, что союз их невозможен, что посторонние, враждебные влияния сильнее всего и что, наконец, так и должно быть: и он и Наташа вместе будут несчастны,

потому что они неровня. Но он не выдержал и вдруг, бросив свои рассуждения и доказательства, тут же, прямо, не разорвав и не отбросив первой половины письма, признавался, что он преступник перед Наташей, что он погибший человек и не в силах восстать против желаний отца, приехавшего в деревню. Писал он, что не в силах выразить своих мучений; признавался, между прочим, что вполне сознает в себе возможность составить счастье Наташи, начинал вдруг доказывать, что они вполне ровня; с упорством, со злобою опровергал доводы отца; в отчаянии рисовал картину блаженства всей жизни, которое готовилось бы им обоим, ему и Наташе, в случае их брака, проклинал себя за свое малодушие и — прощался навеки! Письмо было написано с мучением; он, видимо, писал вне себя; у меня навернулись слезы... Наташа подала мне другое письмо, от Кати. Это письмо пришло в одном конверте с Алешиным, но особо запечатанное. Катя довольно кратко, в нескольких строках, уведомляла, что Алеша действительно очень грустит, много плачет и как будто в отчаянии, даже болен немного, но что *она* с ним и что он будет счастлив. Между прочим, Катя силилась растолковать Наташе, чтоб она не подумала, что Алеша так скоро мог утешиться и что будто грусть его не серьезна. «Он вас не забудет никогда,— прибавляла Катя,— да и не может забыть никогда, потому что у него не такое сердце; любит он вас беспредельно, будет всегда любить, так что если разлюбит вас хоть когда-нибудь, если хоть когда-нибудь перестанет тосковать при воспоминании о вас, то я сама разлюблю его за это тотчас же...»

Я возвратил Наташе оба письма; мы переглянулись с ней и не сказали ни слова. Так было и при первых двух письмах, да и вообще о прошлом мы теперь избегали говорить, как будто между нами это было условлено. Она страдала невыносимо, я это видел, но не хотела высказываться даже и передо мной. После возвращения в родительский дом она три недели вылежала в горячке и теперь едва оправилась. Мы даже мало говорили и о близкой перемене нашей, хотя она и знала, что старик получает место и что нам придется скоро расстаться. Несмотря на то, она до того была ко мне нежна, внимательна, до того занималась всем, что касалось до меня, во все это время; с таким настойчивым, упорным вниманием выслушивала все, что я должен был ей рассказывать о себе, что сначала мне это было даже тяжело: мне казалось, что она хотела меня вознаградить за прошлое. Но эта тягость быстро исчезла: я понял, что в ней совсем другое желание, что она *просто* любит меня, любит бесконечно, не может жить без меня и не заботиться о всем, что до меня касается, и я думаю, никогда сестра не любила до такой степени своего брата, как Наташа любила меня. Я очень хорошо знал, что предстоявшая нам разлука давила ее сердце, что Наташа мучи-

лась; она знала тоже, что и я не могу без нее жить; но мы об этом не говорили, хотя и подробно разговаривали о предстоящих событиях...

Я спросил о Николае Сергеиче.

— Он скоро, я думаю, воротится,— отвечала Наташа,— обещал к чаю.

— Это он все о месте хлопочет?

— Да; впрочем, место уж теперь без сомнения будет; да и уходить ему было сегодня, кажется, незачем,— прибавила она в раздумье,— мог бы и завтра.

— Зачем же он ушел?

— А потому, что я письмо получила...

— Он до того *болен* мной,— прибавила Наташа, помолчав,— что мне это даже тяжело, Ваня. Он, кажется, и во сне только одну меня видит. Я уверена, что он, кроме того: что со мной, как живу я, о чем теперь думаю? — ни о чем более и не помышляет. Всякая тоска моя отзывается в нем. Я ведь вижу, как он неловко иногда старается пересилить себя и показать вид, что обо мне не тоскует, напускает на себя веселость, старается смеяться и нас смешить. Маменька тоже в эти минуты сама не своя, и тоже не верит его смеху, и вздыхает... Такая она неловкая... Прямая душа! — прибавила она со смехом.— Вот как я получила сегодня письма, ему и понадобилось сейчас убежать, чтоб не встречаться со мной глазами... Я его больше себя, больше всех на свете люблю, Ваня,— прибавила она, потупив голову и сжав мою руку,— даже больше тебя...

Мы прошли два раза по саду, прежде чем она начала говорить.

— У нас сегодня Маслобоев был и вчера тоже был,— сказала она.

— Да, он в последнее время очень часто повадился к вам.

— И знаешь ли, зачем он здесь? Маменька в него верует, как не знаю во что. Она думает, что он до того все это знает (ну там законы и все это), что всякое дело может обделать. Как ты думаешь, какая у ней теперь мысль бродит? Ей, про себя, очень больно и жаль, что я не сделалась княгиней. Эта мысль ей жить не дает, и, кажется, она вполне открылась Маслобоеву. С отцом она боится говорить об этом и думает: не поможет ли ей в чем-нибудь Маслобоев, нельзя ли как хоть по законам? Маслобоев, кажется, ей не противоречит, а она его вином потчует,— прибавила с усмешкой Наташа.

— От этого проказника станется. Да почему же ты знаешь?

— Да ведь маменька мне сама проговорилась... намеками...

— Что Нелли? Как она? — спросил я.

— Я даже удивляюсь тебе, Ваня: до сих пор ты об ней не спросил! — с упреком сказала Наташа.

Нелли была идолом у всех в этом доме. Наташа ужасно полюбила ее, и Нелли отдалась ей наконец всем своим сердцем. Бедное дитя! Она и не ждала, что сыщет когда-нибудь таких людей, что найдет столько любви к себе, и я с радостию видел, что озлобленное сердце размягчилось и душа отворилась для нас всех. Она с каким-то болезненным жаром откликнулась на всеобщую любовь, которою была окружена, в противоположность всему своему прежнему, развившему в ней недоверие, злобу и упорство. Впрочем, и теперь Нелли долго упорствовала, долго намеренно таила от нас слезы примирения, накипавшие в ней, и наконец отдалась нам совсем. Она сильно полюбила Наташу, затем старика. Я же сделался ей чем-то до того необходимым, что болезнь ее усиливалась, если я долго не приходил. В последний раз, расставаясь на два дня, чтоб кончить наконец запущенную мною работу, я должен был много уговаривать ее... конечно, обиняками. Нелли все еще стыдилась слишком прямого, слишком беззаветного проявления своего чувства...

Она всех нас очень беспокоила. Молча и безо всяких разговоров решено было, что она останется навеки в доме Николая Сергеича, а между тем отъезд приближался, а ей становилось все хуже и хуже. Она заболела с того самого дня, как мы пришли с ней тогда к старикам, в день примирения их с Наташей. Впрочем, что ж я? Она и всегда была больна. Болезнь постепенно росла в ней и прежде, но теперь начала усиливаться с чрезвычайною быстротою. Я не знаю и не могу определить в точности ее болезни. Припадки, правда, повторялись с ней несколько чаще прежнего; но, главное, какое-то изнурение и упадок всех сил, беспрерывное лихорадочное и напряженное состояние — все это довело ее в последние дни до того, что она уже не вставала с постели. И странно: чем более одолевала ее болезнь, тем мягче, тем ласковее, тем открытее к нам становилась Нелли. Три дня тому назад она поймала меня за руку, когда я проходил мимо ее кроватки, и потянула меня к себе. В комнате никого не было. Лицо ее было в жару (она ужасно похудела), глаза сверкали огнем. Она судорожно-страстно потянулась ко мне, и когда я наклонился к ней, она крепко обхватила мою шею своими смуглыми худенькими ручками и крепко поцеловала меня, а потом тотчас же потребовала к себе Наташу; я позвал ее; Нелли непременно хотелось, чтоб Наташа присела к ней на кровать и смотрела на нее...

— Мне самой на вас смотреть хочется,— сказала она.— Я вас вчера во сне видела и сегодня ночью увижу... вы мне часто снитесь... всякую ночь...

Ей, очевидно, хотелось что-то высказать, чувство давило ее; но она и сама не понимала своих чувств и не знала, как их выразить...

Николая Сергеича она любила почти более всех, кроме меня. Надо сказать, что и Николай Сергеич чуть ли не так же любил ее, как и Наташу. Он имел удивительное свойство развеселять и смешить Нелли. Только что он, бывало, придет к ней, тотчас же и начинается смех и даже шалости. Больная девочка развеселялась как ребенок, кокетничала с стариком, подсмеивалась над ним, рассказывала ему свои сны и всегда что-нибудь выдумывала, заставляла рассказывать и его, и старик до того был рад, до того был доволен, смотря на свою «маленькую дочку Нелли», что каждый день все более и более приходил от нее в восторг.

— Ее нам всем бог послал в награду за наши страдания,— сказал он мне раз, уходя от Нелли и перекрестив ее, по обыкновению, на ночь.

Каждый день, по вечерам, когда мы все собирались вместе (Маслобоев тоже приходил почти каждый вечер), приезжал иногда и старик-доктор, привязавшийся всею душою к Ихменевым; вывозили и Нелли в ее кресле к нам за круглый стол. Дверь на балкон отворялась. Зеленый садик, освещенный заходящим солнцем, был весь на виду. Из него пахло свежей зеленью и только что распустившеюся сиренью. Нелли сидела в своем кресле, ласково на всех нас посматривала и прислушивалась к нашему разговору. Иногда же оживлялась и сама и неприметно начинала тоже что-нибудь говорить... Но в такие минуты мы все слушали ее обыкновенно даже с беспокойством, потому что в ее воспоминаниях были темы, которых нельзя было касаться. И я, и Наташа, и Ихменевы чувствовали и сознавали всю нашу вину перед ней, в тот день, когда она, трепещущая и измученная, *должна* была рассказать нам свою историю. Доктор особенно был против этих воспоминаний, и разговор обыкновенно старались переменить. В таких случаях Нелли старалась не показать нам, что понимает наши усилия, и начинала смеяться с доктором или с Николаем Сергеичем...

И, однако ж, ей делалось все хуже и хуже. Она стала чрезвычайно впечатлительна. Сердце ее билось неправильно. Доктор сказал мне даже, что она может умереть очень скоро.

Я не говорил этого Ихменевым, чтоб не растревожить их. Николай Сергеич был вполне уверен, что она выздоровеет к дороге.

— Вот и папенька воротился,— сказала Наташа, заслышав его голос.— Пойдем, Ваня.

Николай Сергеич, едва переступив за порог, по обыкновению своему, громко заговорил. Анна Андреевна так и замахала на него руками. Старик тотчас же присмирел и, увидя меня и Наташу, шепотом и с утороплeнным видом стал нам рассказывать о результате своих похождений: место, о котором он хлопотал, было за ним, и он очень был рад.

— Через две недели можно и ехать,— сказал он, потирая ру-

ки, и заботливо, искоса взглянул на Наташу. Но та ответила ему улыбкой и обняла его, так что сомнения его мигом рассеялись.

— Поедем, поедем, друзья мои, поедем! — заговорил он, обрадовавшись.— Вот только ты, Ваня, только с тобой расставаться больно... (Замечу, что он ни разу не предложил мне ехать с ними вместе, что, судя по его характеру, непременно бы сделал... при других обстоятельствах, то есть если б не знал моей любви к Наташе.)

— Ну, что ж делать, друзья, что ж делать! Больно мне, Ваня; но перемена места нас всех оживит... Перемена места — значит перемена *всего!* — прибавил он, еще раз взглянув на дочь.

Он верил в это и был рад своей вере.

— А Нелли? — сказала Анна Андреевна.

— Нелли? Что ж... она, голубчик мой, больна немножко, но к тому-то времени уж наверно выздоровеет. Ей и теперь лучше: как ты думаешь, Ваня? — проговорил он, как бы испугавшись, и с беспокойством смотрел на меня, точно я-то и должен был разрешить его недоумения.

— Что она? Как спала? Не было ли с ней чего? Не проснулась ли она теперь? Знаешь что, Анна Андреевна: мы столик-то придвинем поскорей на террасу, принесут самовар, придут наши, мы все усядемся, и Нелли к нам выйдет... Вот и прекрасно. Да уж не проснулась ли она? Пойду я к ней. Только посмотрю на нее... не разбужу, не беспокойся! — прибавил он, видя, что Анна Андреевна снова замахала на него руками.

Но Нелли уж проснулась. Через четверть часа мы все, по обыкновению, сидели вокруг стола за вечерним самоваром.

Нелли вывезли в креслах. Явился доктор, явился и Маслобоев. Он принес для Нелли большой букет сирени; но сам был чем-то озабочен и как будто раздосадован.

Кстати: Маслобоев ходил чуть не каждый день. Я уже говорил, что все, и особенно Анна Андреевна, чрезвычайно его полюбили, но никогда ни слова не упоминалось у нас вслух об Александре Семеновне; не упоминал о ней и сам Маслобоев. Анна Андреевна, узнав от меня, что Александра Семеновна еще не успела сделаться его *законной* супругой, решила про себя, что и принимать ее, и говорить об ней в доме нельзя. Так и наблюдалось, и этим очень обрисовывалась и сама Анна Андреевна. Впрочем, не будь у ней Наташи и, главное, не случись того, что случилось, она бы, может быть, и не была так разборчива.

Нелли в этот вечер была как-то особенно грустна и даже чем-то озабочена. Как будто она видела дурной сон и задумалась о нем. Но подарку Маслобоева она очень обрадовалась и с наслаждением поглядывала на цветы, которые поставили перед ней в стакане.

— Так ты очень любишь цветочки, Нелли? — сказал ста-

рик.— Постой же! — прибавил он с одушевлением,— завтра же... ну, да вот увидишь сама!..

— Люблю,— отвечала Нелли,— и помню, как мы мамашу с цветами встречали. Мамаша, еще когда мы были *там* (*там* значило теперь за границей), была один раз целый месяц очень больна. Я и Генрих сговорились, что когда она встанет и первый раз выйдет из своей спальни, откуда она целый месяц не выходила, то мы и уберем все комнаты цветами. Вот мы так и сделали. Мамаша сказала с вечера, что завтра утром она непременно выйдет вместе с нами завтракать. Мы встали рано-рано. Генрих принес много цветов, и мы всю комнату убрали зелеными листьями и гирляндами. И плющ был и еще такие широкие листья,— уж не знаю, как они называются,— и еще другие листья, которые за все цепляются, и белые цветы большие были, и нарциссы были, а я их больше всех цветов люблю, и розаны были, такие славные розаны, и много-много было цветов. Мы их все развесили в гирляндах и в горшках расставили, и такие цветы тут были, что как целые деревья, в больших кадках; их мы по углам расставили и у кресел мамаши, и как мамаша вышла, то удивилась и очень обрадовалась, а Генрих был рад... Я это теперь помню...

В этот вечер Нелли была как-то особенно слаба и слабонервна. Доктор с беспокойством взглядывал на нее. Но ей очень хотелось говорить. И долго, до самых сумерек, рассказывала она о своей прежней жизни *там;* мы ее не прерывали. *Там* с мамашей и с Генрихом они много ездили, и прежние воспоминания ярко восставали в ее памяти. Она с волнением рассказывала о голубых небесах, о высоких горах со снегом и льдами, которые она видела и проезжала, о горных водопадах; потом об озерах и долинах Италии, о цветах и деревьях, об сельских жителях, об их одежде и об их смуглых лицах и черных глазах; рассказывала про разные встречи и случаи, бывшие с ними. Потом о больших городах и дворцах, о высокой церкви с куполом, который весь вдруг иллюминовался разноцветными огнями; потом об жарком, южном городе с голубыми небесами и с голубым морем... Никогда еще Нелли не рассказывала нам так подробно воспоминаний своих. Мы слушали ее с напряженным вниманием. Мы все знали только до сих пор другие ее воспоминания — в мрачном, угрюмом городе, с давящей, одуряющей атмосферой, с зараженным воздухом, с драгоценными палатами, всегда запачканными грязью; с тусклым, бедным солнцем и с злыми, полусумасшедшими людьми, от которых так много и она, и мамаша ее вытерпели. И мне представилось, как они обе в грязном подвале, в сырой сумрачный вечер, обнявшись на бедной постели своей, вспоминали о своем прошедшем, о покойном Генрихе и о чудесах других земель... Представилась мне и Нелли, вспоминавшая все это уже одна, без мамаши своей, когда Бубнова

побоями и зверскою жестокостью хотела сломить ее и принудить на недоброе дело...

Но наконец с Нелли сделалось дурно, и ее отнесли назад. Старик очень испугался и досадовал, что ей дали так много говорить. С ней был какой-то припадок, вроде обмирания. Этот припадок повторялся с ней уже несколько раз. Когда он кончился, Нелли настоятельно потребовала меня видеть. Ей надо было что-то сказать мне одному. Она так упрашивала об этом, что в этот раз доктор сам настоял, чтоб исполнили ее желание, и все вышли из комнаты.

— Вот что, Ваня,— сказала Нелли, когда мы остались вдвоем,— я знаю, они думают, что я с ними поеду; но я не поеду, потому что не могу, и останусь пока у тебя, и мне это надо было сказать тебе.

Я стал было ее уговаривать; сказал, что у Ихменевых ее все так любят, что ее за родную дочь почитают. Что все будут очень жалеть о ней. Что у меня, напротив, ей тяжело будет жить и что хоть я и очень ее люблю, но что, нечего делать, расстаться надо.

— Нет, нельзя! — настойчиво ответила Нелли,— потому что я вижу часто мамашу во сне, и она говорит мне, чтоб я не ездила с ними и осталась здесь; она говорит, что я очень много согрешила, что дедушку одного оставила, и все плачет, когда это говорит. Я хочу остаться здесь и ходить за дедушкой, Ваня.

— Но ведь твой дедушка уж умер, Нелли,— сказал я, выслушав ее с удивлением.

Она подумала и пристально посмотрела на меня.

— Расскажи мне, Ваня, еще раз,— сказала она,— как дедушка умер. Все расскажи и ничего не пропускай.

Я был изумлен ее требованием, но, однако ж, принялся рассказывать во всей подробности. Я подозревал, что с нею бред или, по крайней мере, что после припадка голова ее еще не совсем свежа.

Она внимательно выслушала мой рассказ, и помню, как ее черные, сверкающие больным, лихорадочным блеском глаза пристально и неотступно следили за мной во все продолжение рассказа. В комнате было уже темно.

— Нет, Ваня, он не умер! — сказала она решительно, все выслушав и еще раз подумав.— Мамаша мне часто говорит о дедушке, и когда я вчера сказала ей: «Да ведь дедушка умер», она очень огорчилась, заплакала и сказала мне, что нет, что мне нарочно так сказали, а что он ходит теперь и милостыню просит, «так же как мы с тобой прежде просили,— говорила мамаша,— и все ходит по тому месту, где мы с тобой его в первый раз встретили, когда я упала перед ним и Азорка узнал меня...»

— Это сон, Нелли, сон больной, потому что ты теперь сама больна,— сказал я ей.

— Я и сама все думала, что это только сон,— сказала Нелли,— и не говорила никому. Только тебе одному все рассказать хотела. Но сегодня, когда я заснула после того, как ты не пришел, то увидела во сне и самого дедушку. Он сидел у себя дома и ждал меня, и был такой страшный, худой, и сказал, что он два дня ничего не ел и Азорка тоже, и очень на меня сердился и упрекал меня. Он мне тоже сказал, что у него совсем нет нюхательного табаку, а что без этого табаку он и жить не может. Он и в самом деле, Ваня, мне прежде это один раз говорил, уж после того как мамаша умерла, когда я приходила к нему. Тогда он был совсем больной и почти ничего уж не понимал. Вот как я услышала это от него сегодня, и думаю: пойду я, стану на мосту и буду милостыню просить, напрошу и куплю ему и хлеба, и вареного картофелю, и табаку. Вот будто я стою прошу и вижу, что дедушка около ходит, помедлит немного, и подойдет ко мне, и смотрит, сколько я набрала, и возьмет себе. Это, говорит, на хлеб, теперь на табак сбирай. Я сбираю, а он подойдет и отнимет у меня. Я ему и говорю, что и без того все отдам ему и ничего себе не спрячу. «Нет, говорит, ты у меня воруешь; мне и Бубнова говорила, что ты воровка, оттого-то я тебя к себе никогда не возьму. Куда ты еще пятак дела?» Я заплакала тому, что он мне не верит, а он меня не слушает и все кричит: «Ты украла один пятак!» — и стал бить меня, тут же на мосту, и больно бил. И я очень плакала... Вот я и подумала теперь, Ваня, что он непременно жив и где-нибудь один ходит и ждет, чтоб я к нему пришла...

Я снова начал ее уговаривать и разуверять и наконец, кажется, разуверил. Она отвечала, что боится теперь заснуть, потому что дедушку увидит. Наконец крепко обняла меня...

— А все-таки я не могу тебя покинуть, Ваня! — сказала она мне, прижимаясь к моему лицу своим личиком.— Если б и дедушки не было, я все с тобой не расстанусь.

В доме все были испуганы припадком Нелли. Я потихоньку пересказал доктору все ее грезы и спросил у него окончательно, как он думает о ее болезни?

— Ничего еще не известно,— отвечал он, соображая,— я покамест догадываюсь, размышляю, наблюдаю, но... ничего не известно. Вообще выздоровление невозможно. Она умрет. Я им не говорю, потому что вы так просили, но мне жаль, и я предложу завтра же консилиум. Может быть, болезнь примет после консилиума другой оборот. Но мне очень жаль эту девочку, как дочь мою... Милая, милая девочка! И с таким игривым умом!

Николай Сергеич был в особенном волнении.

— Вот что, Ваня, я придумал,— сказал он,— она очень любит цветы. Знаешь что? Устроим-ка ей завтра, как она проснется, такой же прием, с цветами, как она с этим Генрихом для своей

мамаши устроила, вот что сегодня рассказывала... Она это с таким волнением рассказывала...

— То-то с волнением,— отвечал я.— Волнения-то ей теперь вредны...

— Да, но приятные волнения другое дело! Уж поверь, голубчик, опытности моей поверь, приятные волнения ничего; приятные волнения даже излечить могут, на здоровье подействовать...

Одним словом, выдумка старика до того прельщала его самого, что он уже пришел от нее в восторг. Невозможно было и возражать ему. Я спросил совета у доктора, но прежде чем тот собрался сообразить, старик уже схватил свой картуз и побежал обделывать дело.

— Вот что,— сказал он мне, уходя,— тут неподалеку есть одна оранжерея; богатая оранжерея. Садовники распродают цветы, можно достать, и предешево!.. Удивительно даже, как дешево! Ты внуши это Анне Андреевне, а то она сейчас рассердится за расходы... Ну, так вот... Да! вот что еще, дружище: куда ты теперь? Ведь отделался, кончил работу, так чего ж тебе домой-то спешить? Ночуй у нас, наверху, в светелке: помнишь, как прежде бывало. И тюфяк твой и кровать — все там на прежнем месте стоит и не тронуто. Заснешь, как французский король. А? останься-ка. Завтра проснемся пораньше, принесут цветы, и к восьми часам мы вместе всю комнату уберем. И Наташа поможет: у ней вкусу-то ведь больше, чем у нас с тобой... Ну, соглашаешься? Ночуешь?

Решили, что я останусь ночевать. Старик обделал дело. Доктор и Маслобоев простились и ушли. У Ихменевых ложились спать рано, в одиннадцать часов. Уходя, Маслобоев был в задумчивости и хотел мне что-то сказать, но отложил до другого раза. Когда же я, простясь с стариками, поднялся в свою светелку, то, к удивлению моему, увидел его опять. Он сидел в ожидании меня за столиком и перелистывал какую-то книгу.

— Воротился с дороги, Ваня, потому лучше уж теперь рассказать. Садись-ка. Видишь, дело-то все такое глупое, досадно даже.

— Да что такое?

— Да подлец твой князь разозлил еще две недели тому назад; да так разозлил, что я до сих пор злюсь.

— Что, что такое? Разве ты все еще с князем в сношениях?

— Ну, вот уж ты сейчас: «что, что такое?», точно и бог знает что случилось. Ты, брат Ваня, ни дать ни взять, моя Александра Семеновна, и вообще все это несносное бабье... Терпеть не могу бабья!.. Ворона каркает — сейчас и «что, что такое?».

— Да ты не сердись.

— Да я вовсе не сержусь, а на всякое дело надо смотреть обыкновенными глазами, не преувеличивая... вот что.

Он немного помолчал, как будто все еще сердясь на меня. Я не прерывал его.

— Видишь, брат,— начал он опять,— напал я на один след... то есть, в сущности, вовсе не напал и не было никакого следа, а так мне показалось... то есть из некоторых соображений я было вывел, что Нелли... может быть... Ну, одним словом, князева законная дочь.

— Что ты!

— Ну, и заревел сейчас: «что ты!» То есть ровно ничего говорить нельзя с этими людьми! — вскричал он, неистово махнув рукой.— Я разве говорил тебе что-нибудь положительно, легкомысленная ты голова? Говорил я тебе, что она *доказанная законная* князева дочь? Говорил или нет?..

— Послушай, душа моя,— прервал я его в сильном волнении,— ради бога, не кричи и объясняйся точно и ясно. Ей-богу, пойму тебя. Пойми, до какой степени это важное дело и какие последствия...

— То-то последствия, а из чего? Где доказательства? Дела не так делаются, и я тебе под секретом теперь говорю. А зачем я об этом с тобой заговорил — потом объясню. Значит, так надо было. Молчи и слушай и знай, что все это секрет...

Видишь, как было дело. Еще зимой, еще прежде, чем Смит умер, только что князь воротился из Варшавы, и начал он это дело. То есть начато оно было и гораздо раньше, еще в прошлом году. Но тогда он одно разыскивал, а теперь начал разыскивать другое. Главное дело в том, что он нитку потерял. Тринадцать лет, как он расстался в Париже с Смитихой и бросил ее, но все эти тринадцать лет он неуклонно следил за нею, знал, что она живет с Генрихом, про которого сегодня рассказывали, знал, что у ней Нелли, знал, что сама она больна; ну, одним словом, все знал, только вдруг и потерял нитку. А случилось это, кажется, вскоре по смерти Генриха, когда Смитиха собралась в Петербург. В Петербурге он, разумеется, скоро бы ее отыскал, под каким бы именем она ни воротилась в Россию; да дело в том, что заграничные его агенты его ложным свидетельством обманули: уверили его, что она живет в одном каком-то заброшенном городишке в южной Германии; сами они обманулись по небрежности: одну приняли за другую. Так и продолжалось год или больше. По прошествии года князь начал сомневаться: по некоторым фактам ему еще прежде стало казаться, что это не та. Теперь вопрос: куда делась настоящая Смитиха? И пришло ему в голову (так, даже безо всяких данных): не в Петербурге ли она? Покамест за границей шла одна справка, он уже здесь затеял другую, но видно, не хотел употреблять слишком официального пути и познакомился со мной. Ему меня рекомендовали: так и так, дескать, занимается делами, любитель,—ну и так далее, и так далее...

Ну, так вот и разъяснил он мне дело; только темно, чертов сын, разъяснил, темно и двусмысленно. Ошибок было много, повторялся несколько раз, факты в различных видах в одно и то же время передавал... Ну, известно, как ни хитри, всех ниток не спрячешь. Я, разумеется, начал с подобострастия и простоты душевной, словом — рабски предан; а по правилу, раз навсегда мною принятому, а вместе с тем и по закону природы (потому что это закон природы) сообразил, во-первых: ту ли надобность мне высказали? Во-вторых: не скрывается ли под высказанной надобностью какой-нибудь другой, недосказанной? Ибо в последнем случае, как, вероятно, и ты, милый сын, можешь понять поэтической своей головой,— он меня обкрадывал: ибо одна надобность, положим, рубль стоит, а другая вчетверо стоит; так дурак же я буду, если за рубль передам ему то, что четырех стоит. Начал я вникать и догадываться и мало-помалу стал нападать на следы; одно у него самого выпытал, другое — кой от кого из посторонних, насчет третьего своим умом дошел. Спросишь ты неравно: почему именно я так вздумал действовать? Отвечу: хоть бы по тому одному, что князь слишком уж что-то захлопотал, чего-то уж очень испугался. Потому, в сущности,— чего бы, кажется, пугаться? Увез от отца любовницу, она забеременела, а он ее бросил. Ну, что тут удивительного? Милая, приятная шалость, и больше ничего. Не такому человеку, как князь, этого бояться! Ну, а он боялся... Вот мне и сомнительно стало. Я, брат, на некоторые прелюбопытные следы напал, между прочим через Генриха. Он, конечно, умер; но от одной из кузин его (теперь за одним булочником здесь, в Петербурге), страстно влюбленной в него прежде и продолжавшей любить его лет пятнадцать сряду, несмотря на толстого фатера-булочника, с которым невзначай прижила восьмерых детей,— от этой-то кузины, говорю, я и успел, через посредство разных многосложных маневров, узнать важную вещь: Генрих писал ей по-немецкому обыкновению письма и дневники, а перед смертью прислал ей кой-какие свои бумаги. Она, дура, важного-то в этих письмах не понимала, а понимала в них только те места, где говорится о луне, о мейн либер Августине и о Виланде* еще, кажется. Но я-то сведения нужные получил и через эти письма на новый след напал. Узнал я, например, о господине Смите, о капитале, у него похищенном дочкой, о князе, забравшем в свои руки капитал; наконец, среди разных восклицаний, обиняков и аллегорий проглянула мне в письмах и настоящая суть: то есть, Ваня, понимаешь! Ничего положительного. Дурачина Генрих нарочно об этом скрывал и только намекал, ну, а из этих намеков, из всего-то вместе взятого, стала выходить для меня небесная гармония: князь ведь был на Смитихе-то женат! Где женился, как, когда именно, за границей или здесь, где документы? — ничего

не известно. То есть, брат Ваня, я волосы рвал с досады и отыскивал-отыскивал, то есть дни и ночи разыскивал!

Разыскал я наконец и Смита, а он вдруг и умри. Я даже на него живого-то и не успел посмотреть. Тут, по одному случаю, узнаю я вдруг, что умерла одна подозрительная для меня женщина на Васильевском острове, справляюсь — и нападаю на след. Стремлюсь на Васильевский, и, помнишь, мы тогда встретились. Много я тогда почерпнул. Одним словом, помогла мне тут во многом и Нелли...

— Послушай,— прервал я его,— неужели ты думаешь, что Нелли знает...

— Что?

— Что она дочь князя?

— Да ведь ты сам знаешь, что она дочь князя,— отвечал он, глядя на меня с какою-то злобною укоризною,— ну, к чему такие праздные вопросы делать, пустой ты человек? Главное не в этом, а в том, что она знает, что она не просто дочь князя, а *законная* дочь князя,— понимаешь ты это?

— Быть не может! — вскричал я.

— Я и сам говорил себе «быть не может» сначала, даже и теперь иногда говорю себе «быть не может»! Но в том-то и дело, что это *быть может* и, по всей вероятности, *есть*.

— Нет, Маслобоев, это не так, ты увлекся,— вскричал я.— Она не только не знает этого, но она и в самом деле незаконная дочь. Неужели мать, имея хоть какие-нибудь документы в руках, могла выносить такую злую долю, как здесь в Петербурге, и, кроме того, оставить свое дитя на такое сиротство? Полно! Этого быть не может.

— Я и сам это думал, то есть это даже до сих пор стоит передо мной недоумением. Но опять-таки дело в том, что ведь Смитиха была сама по себе безумнейшая и сумасброднейшая женщина в мире. Необыкновенная она женщина была; ты сообрази только все обстоятельства: ведь это романтизм,— все это надзвездные глупости в самом диком и сумасшедшем размере. Возьми одно: с самого начала она мечтала только о чем-то вроде неба на земле и об ангелах, влюбилась беззаветно, поверила безгранично и, я уверен, с ума сошла потом не оттого, что он ее разлюбил и бросил, а оттого, что в нем она обманулась, что он *способен был* ее обмануть и бросить; оттого, что ее ангел превратился в грязь, оплевал и унизил ее. Ее романтическая и безумная душа не вынесла этого превращения. А сверх того и обида: понимаешь, какая обида! В ужасе и, главное, в гордости она отшатнулась от него с безграничным презрением. Она разорвала все связи, все документы; плюнула на деньги, даже забыла, что они не ее, а отцовы, и отказалась от них, как от грязи, как от пыли, чтоб подавить своего обманщика душевным величием,

чтоб считать его своим вором и иметь право всю жизнь презирать его, и тут же, вероятно, сказала, что бесчестием себе почитает называться и женой его. У нас развода нет, но de facto[1] они развелись, и ей ли было после умолять его о помощи! Вспомни, что она, сумасшедшая, говорила Нелли уже на смертном одре: не ходи к ним, работай, погибни, но не ходи к ним, кто бы *ни звал тебя* (то есть она и тут мечтала еще, что ее *позовут*, а следственно, будет случай отмстить еще раз, подавить презрением *зовущего*,— одним словом, кормила себя вместо хлеба злобной мечтой). Много, брат, я выпытал и у Нелли; даже и теперь иногда выпытываю. Конечно, мать ее была больна, в чахотке; эта болезнь особенно развивает озлобление и всякого рода раздражения; но, однако ж, я наверно знаю, через одну куму у Бубновой, что она писала к князю, да, к князю, к самому князю...

— Писала! И дошло письмо? — вскричал я с нетерпением.

— Вот то-то и есть, не знаю, дошло ли оно. Раз Смитиха сошлась с этой кумой (помнишь у Бубновой, девка-то набеленная? теперь она в смирительном доме), ну и посылала с ней это письмо и написала уж его, да и не отдала, назад взяла; это было за три недели до ее смерти... Факт значительный: если раз уж решалась послать, так все равно, хоть и взяла обратно: могла другой раз послать. Итак, посылала ли она письмо или не посылала — не знаю; но есть одно основание предположить, что не посылала, потому что князь узнал *наверно*, что она в Петербурге и где именно, кажется, уже после смерти ее. То-то, должно быть, обрадовался!

— Да, я помню, Алеша говорил о каком-то письме, которое его очень обрадовало, но это было очень недавно, всего каких-нибудь два месяца. Ну, что ж дальше, дальше, как же ты-то с князем?

— Да что я-то с князем? Пойми: полнейшая нравственная уверенность и ни одного положительного доказательства,— *ни одного*, как я ни бился. Положение критическое! Надо было за границей справки делать, а где за границей? — неизвестно. Я, разумеется, понял, что предстоит мне бой, что я только могу его испугать намеками, прикинуться, что знаю больше, чем в самом деле знаю...

— Ну, и что ж?

— Не дался в обман, а, впрочем, струсил, до того струсил, что трусит и теперь. У нас было несколько сходок; каким он Лазарем* было прикинулся! Раз, по дружбе, сам мне все принялся рассказывать. Это когда думал, что я *все* знаю. Хорошо рассказывал, с чувством, откровенно — разумеется, бессовестно лгал. Вот тут я и измерил, до какой степени он меня боялся. Прикидывался я перед ним одно время ужаснейшим простофи-

[1] Фактически *(лат.)*.

лей, а наружу показывал, что хитрю. Неловко его запугивал, то есть нарочно неловко; грубостей ему нарочно наделал, грозить ему было начал,— ну, все для того, чтоб он меня за простофилю принял и как-нибудь да проговорился. Догадался, подлец! Другой раз я пьяным прикинулся, тоже толку не вышло: хитер! Ты, брат, можешь ли это понять, Ваня, мне все надо было узнать, в какой степени он меня опасается, и второе: представить ему, что я больше знаю, чем знаю в самом деле...

— Ну, что ж наконец-то?

— Да ничего не вышло. Надо было доказательств, фактов, а их у меня не было. Одно только он понял, что я все-таки могу сделать скандал. Конечно, он только скандала одного и боялся, тем более что здесь связи начал заводить. Ведь ты знаешь, что он женится?

— Нет...

— В будущем году! Невесту он себе еще в прошлом году приглядел; ей было тогда всего четырнадцать лет, теперь ей уж пятнадцать, кажется еще в фартучке ходит, бедняжка. Родители рады! Понимаешь, как ему надо было, чтоб жена умерла? Генеральская дочка, денежная девочка — много денег! Мы, брат Ваня, с тобой никогда так не женимся... Только чего я себе во всю жизнь не прощу,— вскричал Маслобоев, крепко стукнув кулаком по столу,— это — что он оплел меня, две недели назад... подлец!

— Как так?

— Да так. Я вижу, он понял, что у меня нет ничего *положительного*, и, наконец, чувствую про себя, что чем больше дело тянуть, тем скорее, значит, поймет он мое бессилие. Ну, и согласился принять от него две тысячи.

— Ты взял две тысячи!..

— Серебром, Ваня; скрепя сердце взял. Ну, двух ли тысяч такое дело могло стоить! С унижением взял. Стою перед ним, как оплеванный; он говорит: я вам, Маслобоев, за ваши прежние труды еще не заплатил (а за прежние он давно заплатил сто пятьдесят рублей, по условию), ну, так вот я еду; тут две тысячи, и потому, надеюсь, *все наше* дело совершенно теперь кончено. Ну, я и отвечал ему: «Совершенно кончено, князь», а сам и взглянуть в его рожу не смею; думаю: так и написано теперь на ней: «Что, много взял? Так только, из благодушия одного дураку даю!» Не помню, как от него и вышел!

— Да ведь это подло, Маслобоев! — вскричал я,— что ж ты сделал с Нелли?

— Это не просто подло, это каторжно, это пакостно... Это... это... да тут и слов нет, чтобы выразить!

— Боже мой! Да ведь он по крайней мере должен бы хоть обеспечить Нелли!

— То-то должен. А чем принудить? Запугать? Небось не испугается: ведь я деньги взял. Сам, сам перед ним признался, что всего страху-то у меня на две тысячи рублей серебром, сам себя оценил в эту сумму! Чем его теперь напугаешь?

— И неужели, неужели дело Нелли так и пропало? — вскричал я почти в отчаянии.

— Ни за что! — вскричал с жаром Маслобоев и даже как-то весь встрепенулся.— Нет, я ему этого не спущу! Я опять начну новое дело, Ваня: я уж решился! Что ж, что я взял две тысячи? Наплевать. Я, выходит, за обиду взял, потому что он, бездельник, меня надул, стало быть насмеялся надо мною. Надул, да еще насмеялся! Нет, я не позволю над собой смеяться... Теперь я, Ваня, уж с самой Нелли начну. По некоторым наблюдениям, я вполне уверен, что в ней заключается вся развязка этого дела. Она *все* знает, *все*... Ей сама мать рассказала. В горячке, в тоске могла рассказать. Некому было жаловаться, подвернулась Нелли, она ей и рассказала. А может быть, и на документики какие-нибудь нападем,— прибавил он в сладком восторге, потирая руки.— Понимаешь теперь, Ваня, зачем я сюда шляюсь? Во-первых, из дружбы к тебе, это само собою; но главное — наблюдаю Нелли, а в-третьих, друг Ваня, хочешь не хочешь, а ты должен мне помогать, потому что ты имеешь влияние на Нелли!..

— Непременно, клянусь тебе,—вскричал я,—и надеюсь, Маслобоев, что ты, главное, для Нелли будешь стараться—для бедной, обиженной сироты, а не для одной только собственной выгоды...

— Да тебе-то какое дело, для чьей выгоды я буду стараться, блаженный ты человек? Только бы сделать — вот что главное! Конечно, главное для сиротки, это и человеколюбие велит. Но ты, Ванюша, не осуждай меня безвозвратно, если я и об себе позабочусь. Я человек бедный, а он бедных людей не смей обижать. Он у меня мое отнимает, да еще и надул, подлец, вдобавок. Так я, по-твоему, такому мошеннику должен в зубы смотреть? Морген-фри!*

Но цветочный праздник наш на другой день не удался. Нелли сделалось хуже, и она уже не могла выйти из комнаты.

И уж никогда больше она не выходила из этой комнаты.

Она умерла две недели спустя. В эти две недели своей агонии она уже ни разу не могла совершенно прийти в себя и избавиться от своих странных фантазий. Рассудок ее как будто помутился. Она твердо была уверена, до самой смерти своей, что дедушка зовет ее к себе и сердится на нее, что она не приходит, стучит на нее палкою и велит ей идти просить у добрых людей на хлеб и на табак. Часто она начинала плакать во сне и, просыпаясь, рассказывала, что видела мамашу.

Иногда только рассудок как будто возвращался к ней вполне. Однажды мы оставались одни: она потянулась ко мне и схватила

мою руку своей худенькой, воспаленной от горячечного жару ручкой.

— Ваня,— сказала она мне,— когда я умру, женись на Наташе!

Это, кажется, была постоянная и давнишняя ее идея. Я молча улыбнулся ей. Увидя мою улыбку, она улыбнулась сама, с шаловливым видом погрозила мне своим худеньким пальчиком и тотчас же начала меня целовать.

За три дня до своей смерти, в прелестный летний вечер, она попросила, чтоб подняли штору и отворили окно в ее спальне. Окно выходило в садик; она долго смотрела на густую зелень, на заходящее солнце и вдруг попросила, чтоб нас оставили одних.

— Ваня,— сказала она едва слышным голосом, потому что была уже очень слаба,— я скоро умру. Очень скоро, и хочу тебе сказать, чтоб ты меня помнил. На память я тебе оставлю вот это (и она показала мне большую ладонку, которая висела у ней на груди вместе с крестом). Это мне мамаша оставила, умирая. Так вот, когда я умру, ты и сними эту ладонку, возьми себе и прочти, что в ней есть. Я и всем им сегодня скажу, чтоб они одному тебе отдали эту ладонку. И когда ты прочтешь, что в ней написано, то поди к *нему* и скажи, что я умерла, а *его* не простила. Скажи ему тоже, что я Евангелие недавно читала. Там сказано: прощайте всем врагам своим. Ну, так я это читала, а *его* все-таки не простила, потому что когда мамаша умирала и еще могла говорить, то последнее, что она сказала, было: «*Проклинаю его*», ну так и я *его* проклинаю, не за себя, а за мамашу проклинаю... Расскажи же ему, как умирала мамаша, как я осталась одна у Бубновой, расскажи, как ты видел меня у Бубновой, все, все расскажи и скажи тут же, что я лучше хотела быть у Бубновой, а к нему не пошла...

Говоря это, Нелли побледнела, глаза ее сверкали и сердце начало стучать так сильно, что она опустилась на подушки и минуты две не могла проговорить слова.

— Позови их, Ваня,— сказала она наконец слабым голосом,— я хочу с ними со всеми проститься. Прощай, Ваня!..

Она крепко-крепко обняла меня в последний раз. Вошли все наши. Старик не мог понять, что она умирает; допустить этой мысли не мог. Он до последнего времени спорил со всеми нами и уверял, что она выздоровеет непременно. Он весь высох от заботы, он просиживал у кровати Нелли по целым дням и даже ночам... Последние ночи он буквально не спал. Он старался предупредить малейшую прихоть, малейшее желание Нелли и, выходя от нее к нам, горько плакал, но через минуту опять начинал надеяться и уверять нас, что она выздоровеет. Он заставил цветами всю ее комнату. Один раз купил он целый букет прелестнейших роз, белых и красных, куда-то далеко ходил

за ними и принес своей Нелличке... Всем этим он очень волновал ее. Она не могла не отзываться всем сердцем своим на такую всеобщую любовь. В этот вечер, в вечер прощанья ее с нами, старик никак не хотел прощаться с ней навсегда. Нелли улыбнулась ему и весь вечер старалась казаться веселою, шутила с ним, даже смеялась... Мы все вышли от нее почти в надежде, но на другой день она уже не могла говорить. Через два дня она умерла.

Помню, как старик убирал ее гробик цветами и с отчаянием смотрел на ее исхудалое мертвое личико, на ее мертвую улыбку, на руки ее, сложенные крестом на груди. Он плакал над ней, как над своим родным ребенком. Наташа, я, мы все утешали его, но он был неутешен и серьезно заболел после похорон Нелли.

Анна Андреевна сама отдала мне ладонку, которую сняла с ее груди. В этой ладонке было письмо матери Нелли к князю. Я прочитал его в день смерти Нелли. Она обращалась к князю с проклятием, говорила, что не может простить ему, описывала всю последнюю жизнь свою, все ужасы, на которые оставляет Нелли, и умоляла его сделать хоть что-нибудь для ребенка. «Он ваш,— писала она,— это дочь·*ваша*, и *вы сами знаете*, что она·*ваша*, *настоящая дочь*. Я велела ей идти к вам, когда я умру, и отдать вам в руки это письмо. Если вы не отвергнете Нелли, то, может быть, *там* я прощу вас, и в день суда сама стану перед престолом божиим и буду умолять Судию простить вам грехи ваши. Нелли знает содержание письма моего; я читала его ей; я разъяснила ей·*все*, она знает·*все*,·*все*...»

Но Нелли не исполнила завещания: она знала все, но не пошла к князю и умерла непримиренная.

Когда мы воротились с похорон Нелли, мы с Наташей пошли в сад. День был жаркий, сияющий светом. Через неделю они уезжали. Наташа взглянула на меня долгим, странным взглядом.

— Ваня,— сказала она,— Ваня, ведь это был сон!

— Что было сон? — спросил я.

— Все, все,— отвечала она,— все, за весь этот год. Ваня, зачем я разрушила твое счастье?

И в глазах ее я прочел:

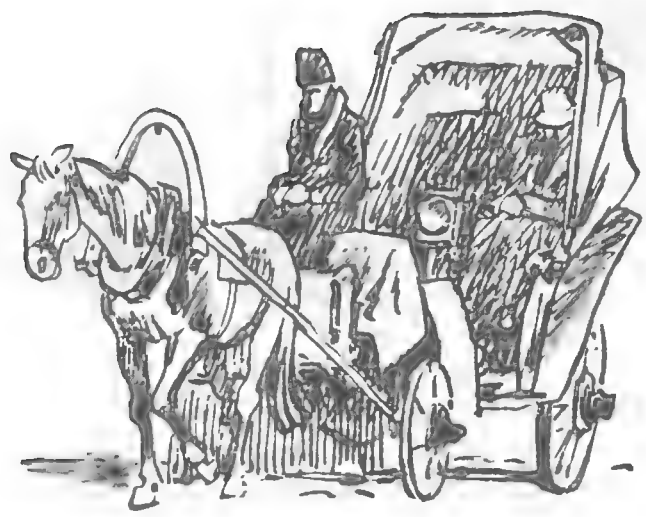
«Мы бы могли быть навеки счастливы вместе!»

А. П. ЧЕХОВ

Рассказы

Вишневый сад

Комедия



Текст печатается по изданию:
А. П. ЧЕХОВ,
Полное собрание сочинений и писем в тридцати томах.
Тт. 1 — 12, издательство «Наука», М., 1974 — 1978.

РАССКАЗЫ

СМЕРТЬ ЧИНОВНИКА

В один прекрасный вечер не менее прекрасный экзекутор, Иван Дмитрич Червяков, сидел во втором ряду кресел и глядел в бинокль на «Корневильские колокола». Он глядел и чувствовал себя на верху блаженства. Но вдруг... В рассказах часто встречается это «но вдруг». Авторы правы: жизнь так полна внезапностей! Но вдруг лицо его поморщилось, глаза подкатились, дыхание остановилось... он отвел от глаз бинокль, нагнул-

ся и... апчхи!!! Чихнул, как видите. Чихать никому и нигде не возбраняется. Чихают и мужики, и полицеймейстеры, и иногда даже и тайные советники. Все чихают. Червяков нисколько не сконфузился, утерся платочком и, как вежливый человек, поглядел вокруг себя: не обеспокоил ли он кого-нибудь своим чиханьем? Но тут уж пришлось сконфузиться. Он увидел, что старичок, сидевший впереди него, в первом ряду кресел, старательно вытирал свою лысину и шею перчаткой и бормотал что-то. В старичке Червяков узнал статского генерала Бризжалова, служащего по ведомству путей сообщения.

«Я его обрызгал! — подумал Червяков.— Не мой начальник, чужой, но все-таки неловко. Извиниться надо».

Червяков кашлянул, подался туловищем вперед и зашептал генералу на ухо:

— Извините, ваше-ство, я вас обрызгал... я нечаянно...

— Ничего, ничего...

— Ради бога, извините. Я ведь... я не желал!

— Ах, сидите, пожалуйста! Дайте слушать!

Червяков сконфузился, глупо улыбнулся и начал глядеть на сцену. Глядел он, но уж блаженства больше не чувствовал. Его начало помучивать беспокойство. В антракте он подошел к Бризжалову, походил возле него и, поборовши робость, пробормотал:

— Я вас обрызгал, ваше-ство... Простите... Я ведь... не то чтобы...

— Ах, полноте... Я уж забыл, а вы все о том же! — сказал генерал и нетерпеливо шевельнул нижней губой.

«Забыл, а у самого ехидство в глазах,— подумал Червяков, подозрительно поглядывая на генерала.— И говорить не хочет. Надо бы ему объяснить, что я вовсе не желал... что это закон природы, а то подумает, что я плюнуть хотел. Теперь не подумает, так после подумает!..»

Придя домой, Червяков рассказал жене о своем невежестве. Жена, как показалось ему, слишком легкомысленно отнеслась к происшедшему; она только испугалась, а потом, когда узнала, что Бризжалов «чужой», успокоилась.

— А все-таки ты сходи, извинись,— сказала она.— Подумает, что ты себя в публике держать не умеешь!

— То-то вот и есть! Я извинялся, да он как-то странно... Ни одного слова путного не сказал. Да и некогда было разговаривать.

На другой день Червяков надел новый вицмундир, подстригся и пошел к Бризжалову объяснить... Войдя в приемную генерала, он увидел там много просителей, а между просителями и самого генерала, который уже начал прием прошений. Опросив несколько просителей, генерал поднял глаза и на Червякова.

— Вчера в «Аркадии»*, ежели припомните, ваше-ство,— начал докладывать экзекутор,— я чихнул-с и... нечаянно обрызгал... Изв...

— Какие пустяки... Бог знает что! Вам что угодно? — обратился генерал к следующему просителю.

«Говорить не хочет! — подумал Червяков бледнея.— Сердится, значит... Нет, этого нельзя так оставить... Я ему объясню...»

Когда генерал кончил беседу с последним просителем и направился во внутренние апартаменты, Червяков шагнул за ним и забормотал:

— Ваше-ство! Ежели я осмеливаюсь беспокоить ваше-ство, то именно из чувства, могу сказать, раскаяния!.. Не нарочно, сами изволите знать-с!

Генерал состроил плаксивое лицо и махнул рукой.

— Да вы просто смеетесь, милостисдарь! — сказал он, скрываясь за дверью.

«Какие же тут насмешки? — подумал Червяков.— Вовсе тут нет никаких насмешек! Генерал, а не может понять! Когда так, не стану же я больше извиняться перед этим фанфароном! Черт с ним! Напишу ему письмо, а ходить не стану! Ей-богу, не стану!»

Так думал Червяков, идя домой. Письма генералу он не написал. Думал, думал, и никак не выдумал этого письма. Пришлось на другой день идти самому объяснять.

— Я вчера приходил беспокоить ваше-ство,— забормотал он, когда генерал поднял на него вопрошающие глаза,— не для того, чтобы смеяться, как вы изволили сказать. Я извинялся за то, что, чихая, брызнул-с... а смеяться я и не думал. Смею ли я смеяться? Ежели мы будем смеяться, так никакого тогда, значит, и уважения к персонам... не будет...

— Пошел вон!! — гаркнул вдруг посиневший и затрясшийся генерал.

— Что-с? — спросил шепотом Червяков, млея от ужаса.

— Пошел вон!! — повторил генерал, затопав ногами.

В животе у Червякова что-то оторвалось. Ничего не видя, ничего не слыша, он попятился к двери, вышел на улицу и поплелся... Придя машинально домой, не снимая вицмундира, он лег на диван и... помер.

1883

ТОЛСТЫЙ И ТОНКИЙ

На вокзале Николаевской железной дороги встретились два приятеля: один толстый, другой тонкий. Толстый только что пообедал на вокзале, и губы его, подернутые маслом, лоснились, как спелые вишни. Пахло от него хересом и флер-д'оранжем. Тонкий же только что вышел из вагона и был навьючен чемоданами, узлами и картонками. Пахло от него ветчиной и кофейной гущей. Из-за его спины выглядывала худенькая женщина с длинным подбородком — его жена, и высокий гимназист с прищуренным глазом — его сын.

— Порфирий! — воскликнул толстый, увидев тонкого.— Ты ли это? Голубчик мой! Сколько зим, сколько лет!

— Батюшки! — изумился тонкий.— Миша! Друг детства! Откуда ты взялся?

Приятели троекратно облобызались и устремили друг на друга глаза, полные слез. Оба были приятно ошеломлены.

— Милый мой! — начал тонкий после лобызания.— Вот не ожидал! Вот сюрприз! Ну, да погляди же на меня хорошенько! Такой же красавец, как и был! Такой же душонок и щеголь! Ах ты, господи! Ну, что же ты? Богат? Женат? Я уже женат, как видишь... Это вот моя жена, Луиза, урожденная Ванценбах... лютеранка... А это сын мой, Нафанаил, ученик третьего класса. Это, Нафаня, друг моего детства! В гимназии вместе учились!

Нафанаил немного подумал и снял шапку.

— В гимназии вместе учились! — продолжал тонкий.— Помнишь, как тебя дразнили? Тебя дразнили Геростратом* за то, что ты казенную книжку папироской прожег, а меня Эфиальтом* за то, что я ябедничать любил. Хо-хо... Детьми были! Не бойся, Нафаня! Подойди к нему поближе... А это моя жена, урожденная Ванценбах... лютеранка.

Нафанаил немного подумал и спрятался за спину отца.

— Ну, как живешь, друг? — спросил толстый, восторженно глядя на друга.— Служишь где? Дослужился?

— Служу, милый мой! Коллежским асессором уже второй год и Станислава имею. Жалованье плохое... ну, да бог с ним! Жена уроки музыки дает, я портсигары приватно из дерева делаю. Отличные портсигары! По рублю за штуку продаю. Если кто берет десять штук и более, тому, понимаешь, уступка. Пробавляемся кое-как. Служил, знаешь, в департаменте, а теперь сюда переведен столоначальником по тому же ведомству... Здесь буду служить. Ну, а ты как? Небось уже статский? А?

— Нет, милый мой, поднимай повыше,— сказал толстый.— Я уже до тайного дослужился... Две звезды имею.

Тонкий вдруг побледнел, окаменел, но скоро лицо его искривилось во все стороны широчайшей улыбкой; казалось, что от

лица и глаз его посыпались искры. Сам он съежился, сгорбился, сузился... Его чемоданы, узлы и картонки съежились, поморщились... Длинный подбородок жены стал еще длиннее; Нафанаил вытянулся во фрунт и застегнул все пуговки своего мундира...

— Я, ваше превосходительство... Очень приятно-с! Друг, можно сказать, детства и вдруг вышли в такие вельможи-с! Хи-хи-с.

— Ну, полно! — поморщился толстый.— Для чего этот тон? Мы с тобой друзья детства — и к чему тут это чинопочитание!

— Помилуйте... Что вы-с...— захихикал тонкий, еще более съеживаясь.— Милостивое внимание вашего превосходительства... вроде как бы живительной влаги... Это вот, ваше превосходительство, сын мой Нафанаил... жена Луиза, лютеранка, некоторым образом...

Толстый хотел было возразить что-то, но на лице у тонкого было написано столько благоговения, сладости и почтительной кислоты, что тайного советника стошнило. Он отвернулся от тонкого и подал ему на прощанье руку.

Тонкий пожал три пальца, поклонился всем туловищем и захихикал, как китаец: «Хи-хи-хи». Жена улыбнулась. Нафанаил шаркнул ногой и уронил фуражку. Все трое были приятно ошеломлены.

1883

ХИРУРГИЯ

Земская больница. За отсутствием доктора, уехавшего жениться, больных принимает фельдшер Курятин, толстый человек лет сорока, в поношенной чечунчовой жакетке и в истрепанных триковых брюках. На лице выражение чувства долга и приятности. Между указательным и средним пальцами левой руки — сигара, распространяющая зловоние.

В приемную входит дьячок Вонмигласов, высокий, коренастый старик в коричневой рясе и с широким кожаным поясом. Правый глаз с бельмом и полузакрыт, на носу бородавка, похожая издали на большую муху. Секунду дьячок ищет глазами икону и, не найдя таковой, крестится на бутыль с карболовым раствором, потом вынимает из красного платочка просфору* и с поклоном кладет ее перед фельдшером.

— Ааа... мое вам! — зевает фельдшер.— С чем пожаловали?

— С воскресным днем вас, Сергей Кузьмич... К вашей милости... Истинно и правдиво в псалтыри сказано, извините: «Питие мое с плачем растворях». Сел намедни со старухой чай

пить и — ни боже мой, ни капельки, ни синь-порох, хоть ложись да помирай... Хлебнешь чуточку — и силы моей нету! А кроме того, что в самом зубе, но и всю эту сторону... Так и ломит, так и ломит! В ухо отдает, извините, словно в нем гвоздик или другой какой предмет: так и стреляет, так и стреляет! Согрешихом и беззаконновахом... Студными бо окалях душу грехми и в лености житие мое иждих... За грехи, Сергей Кузьмич, за грехи! Отец иерей после литургии упрекает: «Косноязычен ты, Ефим, и гугнив стал. Поёшь, и ничего у тебя не разберешь». А какое, судите, тут пение, ежели рта раскрыть нельзя, все распухши, извините, и ночь не спавши...

— Мда... Садитесь... Раскройте рот!

Вонмигласов садится и раскрывает рот.

Курятин хмурится, глядит в рот и среди пожелтевших от времени и табаку зубов усматривает один зуб, украшенный зияющим дуплом.

— Отец диакон велели водку с хреном прикладывать — не помогло. Гликерия Анисимовна, дай бог им здоровья, дали на руку ниточку носить с Афонской горы* да велели теплым молоком зуб полоскать, а я, признаться, ниточку-то надел, а в отношении молока не соблюл: бога боюсь, пост...

— Предрассудок... (Пауза.) Вырвать его нужно, Ефим Михеич!

— Вам лучше знать, Сергей Кузьмич. На то вы и обучены, чтоб это дело понимать как оно есть, что́ вырвать, а что́ каплями или прочим чем... На то вы, благодетели, и поставлены, дай бог вам здоровья, чтоб мы за вас денно и нощно, отцы родные... по гроб жизни...

— Пустяки...— скромничает фельдшер, подходя к шкапу и роясь в инструментах.— Хирургия — пустяки... Тут во всем привычка, твердость руки... Раз плюнуть... Намедни тоже, вот как и вы, приезжает в больницу помещик Александр Иваныч Египетский... Тоже с зубом... Человек образованный, обо всем расспрашивает, во все входит, как и что. Руку пожимает, по имени и отчеству... В Петербурге семь лет жил, всех профессоров перенюхал... Долго мы с ним тут... Христом-богом молит: вырвите вы мне его, Сергей Кузьмич! Отчего же не вырвать? Вырвать можно. Только тут понимать надо, без понятия нельзя... Зубы разные бывают. Один рвешь щипцами, другой козьей ножкой, третий ключом... Кому как.

Фельдшер берет козью ножку, минуту смотрит на нее вопросительно, потом кладет и берет щипцы.

— Ну-с, раскройте рот пошире...— говорит он, подходя с щипцами к дьячку.— Сейчас мы его... тово... Раз плюнуть... Десну подрезать только... тракцию сделать по вертикальной оси... и все... (подрезывает десну) и все...

— Благодетели вы наши... Нам, дуракам, и невдомек, а вас господь просветил...

— Не рассуждайте, ежели у вас рот раскрыт... Этот легко рвать, а бывает так, что одни только корешки... Этот — раз плюнуть... (Накладывает щипцы.) Постойте, не дергайтесь... Сидите неподвижно... В мгновение ока... (Делает тракцию.) Главное, чтоб поглубже взять (тянет)... чтоб коронка не сломалась...

— Отцы наши... Мать пресвятая... Ввв...

— Не тово... не тово... как его? Не хватайте руками! Пустите руки! (Тянет.) Сейчас... Вот, вот... Дело-то ведь не легкое...

— Отцы... радетели... (Кричит.) Ангелы! Ого-го... Да дергай же, дергай! Чего пять лет тянешь!

— Дело-то ведь... хирургия... Сразу нельзя... Вот, вот...

Вонмигласов поднимает колени до локтей, шевелит пальцами, выпучивает глаза, прерывисто дышит... На багровом лице его выступает пот, на глазах слезы. Курятин сопит, топчется перед дьячком и тянет... Проходят мучительнейшие полминуты — и щипцы срываются с зуба. Дьячок вскакивает и лезет пальцами в рот. Во рту нащупывает он зуб на старом месте.

— Тянул! — говорит он плачущим и в то же время насмешливым голосом.— Чтоб тебя так на том свете потянуло! Благодарим покорно! Коли не умеешь рвать, так не берись! Света божьего не вижу...

— А ты зачем руками хватаешь? — сердится фельдшер.— Я тяну, а ты мне под руку толкаешь и разные глупые слова... Дура!

— Сам ты дура!

— Ты думаешь, мужик, легко зуб-то рвать? Возьмись-ка! Это не то, что на колокольню полез да в колокола отбарабанил! (Дразнит.) «Не умеешь, не умеешь!» Скажи, какой указчик нашелся! Ишь ты... Господину Египетскому, Александру Иванычу, рвал, да и тот ничего, никаких слов... Человек почище тебя, а не хватал руками... Садись! Садись, тебе говорю!

— Света не вижу... Дай дух перевести... Ох! (Садится.) Не тяни только долго, а дергай. Ты не тяни, а дергай... Сразу!

— Учи ученого! Экий, господи, народ необразованный! Живи вот с этакими... очумеешь! Раскрой рот... (Накладывает щипцы.) Хирургия, брат, не шутка... Это не на клиросе читать... (Делает тракцию.) Не дергайся... Зуб, выходит, застарелый, глубоко корни пустил... (Тянет.) Не шевелись... Так... так... Не шевелись... Ну, ну... (Слышен хрустящий звук.) Так и знал!

Вонмигласов сидит минуту неподвижно, словно без чувств. Он ошеломлен... Глаза его тупо глядят в пространство, на бледном лице пот.

— Было б мне козьей ножкой...— бормочет фельдшер.— Этакая оказия!

Придя в себя, дьячок сует в рот пальцы и на месте больного зуба находит два торчащих выступа.

— Паршивый черт...— выговаривает он.— Насажали вас здесь, иродов, на нашу погибель!

— Поругайся мне еще тут...— бормочет фельдшер, кладя в шкаф щипцы.— Невежа... Мало тебя в бурсе березой потчевали... Господин Египетский, Александр Иваныч, в Петербурге лет семь жил... образованность... один костюм рублей сто стоит... да и то не ругался... А ты что за пава такая? Ништо тебе, не околеешь!

Дьячок берет со стола свою просфору и, придерживая щеку рукой, уходит восвояси...

1884

ХАМЕЛЕОН

Через базарную площадь идет полицейский надзиратель Очумелов в новой шинели и с узелком в руке. За ним шагает рыжий городовой с решетом, доверху наполненным конфискованным крыжовником. Кругом тишина... На площади ни души... Открытые двери лавок и кабаков глядят на свет божий уныло, как голодные пасти; около них нет даже нищих.

— Так ты кусаться, окаянная? — слышит вдруг Очумелов.— Ребята, не пущай ее! Нынче не велено кусаться! Держи! А... а!

Слышен собачий визг. Очумелов глядит в сторону и видит: из дровяного склада купца Пичугина, прыгая на трех ногах и оглядываясь, бежит собака. За ней гонится человек в ситцевой крахмальной рубахе и расстегнутой жилетке. Он бежит за ней и, подавшись туловищем вперед, падает на землю и хватает собаку за задние лапы. Слышен вторично собачий визг и крик: «Не пущай!» Из лавок высовываются сонные физиономии, и скоро около дровяного склада, словно из земли выросши, собирается толпа.

— Никак беспорядок, ваше благородие!..— говорит городовой.

Очумелов делает полуоборот налево и шагает к сборищу. Около самых ворот склада, видит он, стоит вышеписанный человек в расстегнутой жилетке и, подняв вверх правую руку, показывает толпе окровавленный палец. На полупьяном лице его как бы написано: «Ужо я сорву с тебя, шельма!» да и самый палец имеет вид знамения победы. В этом человеке Очумелов узнает золотых дел мастера Хрюкина. В центре толпы, растопырив передние ноги и дрожа всем телом, сидит на земле сам виновник скандала — белый борзой щенок с острой мордой и

желтым пятном на спине. В слезящихся глазах его выражение тоски и ужаса.

— По какому это случаю тут? — спрашивает Очумелов, врезываясь в толпу.— Почему тут? Это ты зачем палец?.. Кто кричал?

— Иду я, ваше благородие, никого не трогаю...— начинает Хрюкин, кашляя в кулак.— Насчет дров с Митрий Митричем,— и вдруг эта подлая ни с того ни с сего за палец... Вы меня извините, я человек, который работающий... Работа у меня мелкая. Пущай мне заплатят, потому — я этим пальцем, может, неделю не пошевельну... Этого, ваше благородие, и в законе нет, чтоб от твари терпеть... Ежели каждый будет кусаться, то лучше и не жить на свете...

— Гм!.. Хорошо...— говорит Очумелов строго, кашляя и шевеля бровями.— Хорошо... Чья собака? Я этого так не оставлю. Я покажу вам, как собак распускать! Пора обратить внимание на подобных господ, не желающих подчиняться постановлениям! Как оштрафуют его, мерзавца, так он узнает у меня, что значит собака и прочий бродячий скот! Я ему покажу кузькину мать!.. Елдырин,— обращается надзиратель к городовому,— узнай, чья это собака, и составляй протокол! А собаку истребить надо. Не медля! Она наверное бешеная... Чья это собака, спрашиваю?

— Это, кажись, генерала Жигалова! — говорит кто-то из толпы.

— Генерала Жигалова? Гм!.. Сними-ка, Елдырин, с меня пальто... Ужас, как жарко! Должно полагать, перед дождем... Одного только я не понимаю: как она могла тебя укусить? — обращается Очумелов к Хрюкину.— Нешто она достанет до пальца? Она маленькая, а ты ведь вон какой здоровила! Ты, должно быть, расковырял палец гвоздиком, а потом и пришла в твою голову идея, чтоб сорвать. Ты ведь... известный народ! Знаю вас, чертей!

— Он, ваше благородие, цигаркой ей в харю для смеха, а она — не будь дура, и тяпни... Вздорный человек, ваше благородие!

— Врешь, кривой! Не видал, так, стало быть, зачем врать? Их благородие умный господин и понимают, ежели кто врет, а кто по совести, как перед богом... А ежели я вру, так пущай мировой рассудит. У него в законе сказано... Нынче все равны... У меня у самого брат в жандарах... ежели хотите знать...

— Не рассуждать!

— Нет, это не генеральская...— глубокомысленно замечает городовой.— У генерала таких нет. У него всё больше легавые...

— Ты это верно знаешь?

— Верно, ваше благородие...

— Я и сам знаю. У генерала собаки дорогие, породистые, а эта — черт знает что! Ни шерсти, ни вида... подлость одна только... И этакую собаку держат?! Где же у вас ум? Попадись этакая собака в Петербурге или Москве, то знаете, что было бы? Там не посмотрели бы в закон, а моментально — не дыши! Ты, Хрюкин, пострадал и дела этого так не оставляй... Нужно проучить! Пора...

— А может быть, и генеральская...— думает вслух городовой.— На морде у ней не написано.. Намедни во дворе у него такую видел.

— Вестимо, генеральская! — говорит голос из толпы.

— Гм!.. Надень-ка, брат Елдырин, на меня пальто... Что-то ветром подуло... Знобит... Ты отведешь ее к генералу и спросишь там. Скажешь, что я нашел и прислал... И скажи, чтобы ее не выпускали на улицу... Она, может быть, дорогая, а ежели каждый свинья будет ей в нос сигаркой тыкать, то долго ли испортить. Собака — нежная тварь... А ты, болван, опусти руку! Нечего свой дурацкий палец выставлять! Сам виноват!..

— Повар генеральский идет, его спросим... Эй, Прохор! Поди-ка, милый, сюда! Погляди на собаку... Ваша?

— Выдумал! Этаких у нас отродясь не бывало!

— И спрашивать тут долго нечего,— говорит Очумелов.— Она бродячая! Нечего тут долго разговаривать... Ежели сказал, что бродячая, стало быть, и бродячая... Истребить, вот и все.

— Это не наша,— продолжает Прохор.— Это генералова брата, что намеднись приехал. Наш не охотник до борзых. Брат ихний охоч...

— Да разве братец ихний приехали? Владимир Иваныч? — спрашивает Очумелов, и все лицо его заливается улыбкой умиления.— Ишь ты, господи! А я и не знал! Погостить приехали?

— В гости...

— Ишь ты, господи... Соскучились по братце... А я ведь и не знал! Так это ихняя собачка? Очень рад... Возьми ее... Собачонка ничего себе... Шустрая такая... Цап этого за палец! Ха-ха-ха... Ну, чего дрожишь? Ррр... Рр... Сердится, шельма... цуцык этакий...

Прохор зовет собаку и идет с ней от дровяного склада... Толпа хохочет над Хрюкиным.

— Я еще доберусь до тебя! — грозит ему Очумелов и, запахиваясь в шинель, продолжает свой путь по базарной площади.

1884

ЛОШАДИНАЯ ФАМИЛИЯ

У отставного генерал-майора Булдеева разболелись зубы. Он полоскал рот водкой, коньяком, прикладывал к больному зубу табачную копоть, опий, скипидар, керосин, мазал щеку йодом, в ушах у него была вата, смоченная в спирту, но все это или не помогало, или вызывало тошноту. Приезжал доктор. Он поковырял в зубе, прописал хину, но и это не помогло. На предложение вырвать больной зуб генерал ответил отказом. Все домашние: жена, дети, прислуга, даже поваренок Петька — предлагали каждый свое средство. Между прочим, и приказчик Булдеева, Иван Евсеич, пришел к нему и посоветовал полечиться заговором.

— Тут, в нашем уезде, ваше превосходительство,— сказал он,— лет десять назад служил акцизный* Яков Васильич. Заговаривал зубы — первый сорт. Бывало, отвернется к окошку, пошепчет, поплюет — как рукой! Сила ему такая дадена...

— Где же он теперь?

— А после того, как его из акцизных увольнили, в Саратове у тещи живет. Теперь только зубами и кормится. Ежели у которого человека заболит зуб, то и идут к нему, помогает... Тамошних саратовских на дому у себя пользует, а ежели которые из других городов, то по телеграфу. Пошлите ему, ваше превосходительство, депешу, что так, мол, вот и так... у раба божьего Алексия зубы болят, прошу выпользовать. А деньги за лечение почтой пошлете.

— Ерунда! Шарлатанство!

— А вы попытайте, ваше превосходительство. До водки очень охотник, живет не с женой, а с немкой, ругатель, но, можно сказать, чудодейственный господин!

— Пошли, Алеша! — взмолилась генеральша.— Ты вот не веришь в заговоры, а я на себе испытала. Хотя ты и не веришь, но отчего не послать? Руки ведь не отвалятся от этого.

— Ну, ладно,— согласился Булдеев.— Тут не только что к акцизному, но и к черту депешу пошлешь... Ох! Мочи нет! Ну, где твой акцизный живет? Как к нему писать?..

Генерал сел за стол и взял перо в руки.

— Его в Саратове каждая собака знает,— сказал приказчик.— Извольте писать, ваше превосходительство, в город Саратов, стало быть... Его благородию господину Якову Васильичу... Васильичу...

— Ну?

— Васильичу... Якову Васильичу... а по фамилии... А фамилию вот и забыл! Васильичу... Черт... Как же его фамилия? Давеча, как сюда шел, помнил... Позвольте-с...

Иван Евсеич поднял глаза к потолку и зашевелил губами. Булдеев и генеральша ожидали нетерпеливо.

— Ну, что же? Скорей думай!

— Сейчас... Васильичу... Якову Васильичу... Забыл! Такая еще простая фамилия... словно как бы лошадиная... Кобылин? Нет, не Кобылин. Постойте... Жеребцов нешто? Нет, и не Жеребцов. Помню, фамилия лошадиная, а какая — из головы вышибло...

— Жеребятников?

— Никак нет. Постойте... Кобылицын... Кобылятников... Кобелев...

— Это уж собачья, а не лошадиная. Жеребчиков?

— Нет, и не Жеребчиков... Лошадинин... Лошаков... Жеребкин... Все не то!

— Ну, так как же я буду ему писать? Ты подумай!

— Сейчас. Лошадкин... Кобылкин... Коренной...

— Коренников? — спросила генеральша.

— Никак нет. Пристяжкин... Нет, не то! Забыл!

— Так зачем же, черт тебя возьми, с советами лезешь, ежели забыл? — рассердился генерал.— Ступай отсюда вон!

Иван Евсеич медленно вышел, а генерал схватил себя за щеку и заходил по комнатам.

— Ой, батюшки! — вопил он.— Ой, матушки! Ох, света белого не вижу!

Приказчик вышел в сад и, подняв к небу глаза, стал припоминать фамилию акцизного:

— Жеребчиков... Жеребковский... Жеребенко... Нет, не то! Лошадинский... Лошадевич... Жеребкович... Кобылянский...

Немного погодя его позвали к господам.

— Вспомнил? — спросил генерал.

— Никак нет, ваше превосходительство.

— Может быть, Конявский? Лошадников? Нет?

И в доме, все наперерыв, стали изобретать фамилии. Перебрали все возрасты, полы и породы лошадей, вспомнили гриву, копыта, сбрую... В доме, в саду, в людской и кухне люди ходили из угла в угол и, почесывая лбы, искали фамилию...

Приказчика то и дело требовали в дом.

— Табунов? — спрашивали у него.— Копытин? Жеребовский?

— Никак нет,— отвечал Иван Евсеич и, подняв вверх глаза, продолжал думать вслух.— Коненко... Конченко... Жеребеев... Кобылеев...

— Папа! — кричали из детской: — Тройкин! Уздечкин!

Взбудоражилась вся усадьба. Нетерпеливый, замученный генерал пообещал дать пять рублей тому, кто вспомнит настоящую фамилию, и за Иваном Евсеичем стали ходить целыми толпами.

— Гнедов! — говорили ему.— Рысистый! Лошадицкий!

Но наступил вечер, а фамилия все еще не была найдена. Так и спать легли, не послав телеграммы.

Генерал не спал всю ночь, ходил из угла в угол и стонал... В третьем часу утра он вышел из дому и постучался в окно к приказчику.

— Не Меринов ли? — спросил он плачущим голосом.

— Нет, не Меринов, ваше превосходительство,— ответил Иван Евсеич и виновато вздохнул.

— Да, может быть, фамилия не лошадиная, а какая-нибудь другая?

— Истинно слово, ваше превосходительство, лошадиная... Это очень даже отлично помню.

— Экий ты какой, братец, беспамятный... Для меня теперь эта фамилия дороже, кажется, всего на свете. Замучился!

Утром генерал опять послал за доктором.

— Пускай рвет! — решил он.— Нет больше сил терпеть...

Приехал доктор и вырвал больной зуб. Боль утихла тотчас же, и генерал успокоился. Сделав свое дело и получив, что следует, за труд, доктор сел в свою бричку и поехал домой. За воротами в поле он встретил Ивана Евсеича... Приказчик стоял на краю дороги и, глядя сосредоточенно себе под ноги, о чем-то думал. Судя по морщинам, бороздившим его лоб, и по выражению глаз, думы его были напряженны, мучительны...

— Буланов... Чересседельников...— бормотал он.— Засупонин... Лошадский...

— Иван Евсеич! — обратился к нему доктор.— Не могу ли я, голубчик, купить у вас четвертей пять овса? Мне продают наши мужики овес, да уж больно плохой...

Иван Евсеич тупо поглядел на доктора, как-то дико улыбнулся и, не сказав в ответ ни одного слова, всплеснув руками, побежал к усадьбе с такой быстротой, точно за ним гналась бешеная собака.

— Надумал, ваше превосходительство! — закричал он радостно, не своим голосом, влетая в кабинет к генералу.— Надумал, дай бог здоровья доктору! Овсов! Овсов фамилия акцизного! Овсов, ваше превосходительство! Посылайте депешу Овсову!

— На-кося! — сказал генерал с презрением и поднес к лицу его два кукиша.— Не нужно мне теперь твоей лошадиной фамилии! На-кося!

1885

ЗЛОУМЫШЛЕННИК

Перед судебным следователем стоит маленький, чрезвычайно тощий мужичонка в пестрядинной рубахе и латаных портах. Его обросшее волосами и изъеденное рябинами лицо и глаза, едва видные из-за густых, нависших бровей, имеют выражение угрюмой суровости. На голове целая шапка давно уже не чесанных, путаных волос, что придает ему еще большую, паучью суровость. Он бос.

— Денис Григорьев! — начинает следователь.— Подойди поближе и отвечай на мои вопросы. Седьмого числа сего июля железнодорожный сторож Иван Семенов Акинфов, проходя утром по линии, на сто сорок первой версте, застал тебя за отвинчиванием гайки, коей рельсы прикрепляются к шпалам. Вот она, эта гайка!.. С каковою гайкой он и задержал тебя. Так ли это было?

— Чаво?

— Так ли все это было, как объясняет Акинфов?

— Знамо, было.

— Хорошо; ну, а для чего ты отвинчивал гайку?

— Чаво?

— Ты это свое «чаво» брось, а отвечай на вопрос: для чего ты отвинчивал гайку?

— Коли б не нужна была, не отвинчивал бы,— хрипит Денис, косясь на потолок.

— Для чего же тебе понадобилась эта гайка?

— Гайка-то? Мы из гаек грузила делаем...

— Кто это — мы?

— Мы, народ... Климовские мужики то есть.

— Послушай, братец, не прикидывайся ты мне идиотом, а говори толком. Нечего тут про грузила врать!

— Отродясь не врал, а тут вру...— бормочет Денис, мигая глазами.— Да нешто, ваше благородие, можно без грузила? Ежели ты живца или выползка на крючок сажаешь, то нешто он пойдет ко дну без грузила? Вру...— усмехается Денис.— Черт ли в нем, в живце-то, ежели поверху плавать будет! Окунь, щука, налим завсегда на донную идет, а которая ежели поверху плавает, то ту разве только шилишпер* схватит, да и то редко... В нашей реке не живет шилишпер... Эта рыба простор любит.

— Для чего ты мне про шилишпера рассказываешь?

— Чаво? Да ведь вы сами спрашиваете! У нас и господа так ловят. Самый последний мальчишка не станет тебе без грузила ловить. Конечно, который непонимающий, ну, тот и без грузила пойдет ловить. Дураку закон не писан...

— Так ты говоришь, что ты отвинтил эту гайку для того, чтобы сделать из нее грузило?

— А то что же? Не в бабки же играть!

— Но для грузила ты мог взять свинец, пулю... гвоздик какой-нибудь...

— Свинец на дороге не найдешь, купить надо, а гвоздик не годится. Лучше гайки и не найтить... И тяжелая и дыра есть.

— Дураком каким прикидывается! Точно вчера родился или с неба упал. Разве ты не понимаешь, глупая голова, к чему ведет это отвинчивание? Не догляди сторож, так ведь поезд мог бы сойти с рельсов, людей бы убило! Ты людей убил бы!

— Избави господи, ваше благородие! Зачем убивать? Нешто мы некрещеные или злодеи какие? Слава те господи, господин хороший, век свой прожили и не токмо что убивать, но и мыслей таких в голове не было... Спаси и помилуй, царица небесная... Что вы-с!

— А отчего, по-твоему, происходят крушения поездов? Отвинти две-три гайки, вот тебе и крушение!

Денис усмехается и недоверчиво щурит на следователя глаза.

— Ну! Уж сколько лет всей деревней гайки отвинчиваем и хранил господь, а тут крушение... людей убил... Ежели б я рельсу унес или, положим, бревно поперек ейного пути положил, ну, тогды, пожалуй, своротило бы поезд, а то... тьфу! гайка!

— Да пойми же, гайками прикрепляется рельса к шпалам!

— Это мы понимаем... Мы ведь не все отвинчиваем... оставляем... Не без ума делаем... понимаем...

Денис зевает и крестит рот.

— В прошлом году здесь сошел поезд с рельсов,— говорит следователь.— Теперь понятно почему...

— Чего изволите?

— Теперь, говорю, понятно, отчего в прошлом году сошел поезд с рельсов... Я понимаю!

— На то вы и образованные, чтобы понимать, милостивцы наши... Господь знал, кому понятие давал... Вы вот и рассудили, как и что, а сторож тот же мужик, без всякого понятия, хватает за шиворот и тащит... Ты рассуди, а потом и тащи! Сказано — мужик, мужицкий и ум... Запишите также, ваше благородие, что он меня два раза по зубам ударил и в груди.

— Когда у тебя делали обыск, то нашли еще одну гайку... Эту в каком месте ты отвинтил и когда?

— Это вы про ту гайку, что под красным сундучком лежала?

— Не знаю, где она у тебя лежала, но только нашли ее. Когда ты ее отвинтил?

— Я ее не отвинчивал, ее мне Игнашка, Семена кривого сын, дал. Это я про ту, что под сундучком, а ту, что на дворе в санях, мы вместе с Митрофаном вывинтили.

— С каким Митрофаном?

— С Митрофаном Петровым... Нешто не слыхали? Невода

у нас делает и господам продает. Ему много этих самых гаек требуется. На каждый невод, почитай, штук десять...

— Послушай... Тысяча восемьдесят первая статья Уложения о наказаниях* говорит, что за всякое с умыслом учиненное повреждение железной дороги, когда оно может подвергнуть опасности следующий по сей дороге транспорт и виновный знал, что последствием сего должно быть несчастье... понимаешь? знал! А ты не мог не знать, к чему ведет это отвинчивание... он приговаривается к ссылке в каторжные работы.

— Конечно, вы лучше знаете... Мы люди темные... нешто мы понимаем?

— Все ты понимаешь! Это ты врешь, прикидываешься!

— Зачем врать? Спросите на деревне, коли не верите... Без грузила только уклейку ловят, а на что хуже пескаря, да и тот не пойдет тебе без грузила.

— Ты еще про шилишпера расскажи! — улыбается следователь.

— Шилишпер у нас не водится... Пущаем леску без грузила поверх воды на бабочку, идет голавль, да и то редко.

— Ну, молчи...

Наступает молчание. Денис переминается с ноги на ногу, глядит на стол с зеленым сукном и усиленно мигает глазами, словно видит перед собой не сукно, а солнце. Следователь быстро пишет.

— Мне идтить? — спрашивает Денис после некоторого молчания.

— Нет. Я должен взять тебя под стражу и отослать в тюрьму.

Денис перестает мигать и, приподняв свои густые брови, вопросительно глядит на чиновника.

— То есть как же в тюрьму? Ваше благородие! Мне некогда, мне надо на ярмарку; с Егора три рубля за сало получить...

— Молчи, не мешай.

— В тюрьму... Было б за что, пошел бы, а то так... здорово живешь... За что? И не крал, кажись, и не дрался... А ежели вы насчет недоимки сомневаетесь, ваше благородие, то не верьте старосте... Вы господина непременного члена спросите... Креста на нем нет, на старосте-то...

— Молчи!

— Я и так молчу...— бормочет Денис.— А что староста набрехал в учете, это я хоть под присягой... Нас три брата: Кузьма Григорьев, стало быть, Егор Григорьев и я, Денис Григорьев...

— Ты мне мешаешь... Эй, Семен! — кричит следователь.— Увести его!

— Нас три брата,— бормочет Денис, когда два дюжих солдата берут и ведут его из камеры.— Брат за брата не ответчик...

Кузьма не платит, а ты, Денис, отвечай... Судьи! Помер покойник барин-генерал, царство небесное, а то показал бы он вам, судьям... Надо судить умеючи, не зря... Хоть и высеки, но чтоб за дело, по совести...

1885

УНТЕР ПРИШИБЕЕВ

— Унтер-офицер Пришибеев! Вы обвиняетесь в том, что третьего сего сентября оскорбили словами и действием урядника Жигина, волостного старшину Аляпова, сотского Ефимова, понятых Иванова и Гаврилова и еще шестерых крестьян, причем первым трем было нанесено вами оскорбление при исполнении ими служебных обязанностей. Признаете вы себя виновным?

Пришибеев, сморщенный унтер с колючим лицом, делает руки по швам и отвечает хриплым, придушенным голосом, отчеканивая каждое слово, точно командуя:

— Ваше высокородие, господин мировой судья! Стало быть, по всем статьям закона выходит причина аттестовать всякое обстоятельство во взаимности. Виновен не я, а все прочие. Все это дело вышло из-за, царствие ему небесное, мертвого трупа. Иду это я третьего числа с женой Анфисой тихо, благородно, смотрю — стоит на берегу куча разного народа людей. По какому полному праву тут народ собрался? — спрашиваю. Зачем? Нешто в законе сказано, чтоб народ табуном ходил? Кричу: разойдись! Стал расталкивать народ, чтоб расходились по домам, приказал сотскому гнать взашей...

— Позвольте, вы ведь не урядник, не староста,— разве это ваше дело народ разгонять?

— Не его! Не его! — слышатся голоса из разных углов камеры.— Житья от него нету, вашескородие! Пятнадцать лет от него терпим! Как пришел со службы, так с той поры хоть из села беги. Замучил всех!

— Именно так, вашескородие! — говорит свидетель староста.— Всем миром жалимся. Жить с ним никак невозможно! С образами ли ходим, свадьба ли, или, положим, случай какой, везде он кричит, шумит, всё порядки вводит. Ребятам уши дерет, за бабами подглядывает, чтоб чего не вышло, словно свекор какой... Намеднись по избам ходил, приказывал, чтоб песней не пели и чтоб огней не жгли. Закона, говорит, такого нет, чтоб песни петь.

— Погодите, вы еще успеете дать показание,— говорит мировой,— а теперь пусть Пришибеев продолжает. Продолжайте, Пришибеев!

— Слушаю-с! — хрипит унтер.— Вы, ваше высокородие,

изволите говорить, не мое это дело народ разгонять... Хорошо-с... А ежели беспорядки? Нешто можно дозволять, чтобы народ безобразил? Где это в законе написано, чтоб народу волю давать? Я не могу дозволять-с. Ежели я не стану их разгонять да взыскивать, то кто же станет? Никто порядков настоящих не знает, во всем селе только я один, можно сказать, ваше высокородие, знаю, как обходиться с людями простого звания, и, ваше высокородие, я могу все понимать. Я не мужик, я унтер-офицер, отставной каптенармус*, в Варшаве служил, в штабе-с, а после того, изволите знать, как в чистую вышел, был в пожарных-с, а после того по слабости болезни ушел из пожарных и два года в мужской классической прогимназии в швейцарах служил... Все порядки знаю-с. А мужик — простой человек, он ничего не понимает и должен меня слушать, потому — для его же пользы. Взять хоть это дело, к примеру... Разгоняю я народ, а на берегу на песочке утоплый труп мертвого человека. По какому такому основанию, спрашиваю, он тут лежит? Нешто это порядок? Что урядник глядит? Отчего ты, говорю, урядник, начальству знать не даешь? Может, этот утоплый покойник сам утоп, а может, тут дело Сибирью пахнет. Может, тут уголовное смертоубийство... А урядник Жигин никакого внимания, только папироску курит. «Что это, говорит, у вас за указчик такой? Откуда, говорит, он у вас такой взялся? Нешто мы без него, говорит, не знаем нашего поведения?» Стало быть, говорю, ты не знаешь, дурак этакой, коли тут стоишь и без внимания. «Я, говорит, еще вчера дал знать становому приставу». Зачем же, спрашиваю, становому приставу? По какой статье свода законов? Нешто в таких делах, когда утопшие или удавившие и прочее тому подобное,— нешто в таких делах становой может? Тут, говорю, дело уголовное, гражданское... Тут, говорю, скорей посылать эстафет господину следователю и судьям-с. И перво-наперво ты должен, говорю, составить акт и послать господину мировому судье. А он, урядник, все слушает и смеется. И мужики тоже. Все смеялись, ваше высокородие. Под присягой могу показать. И этот смеялся, и вот этот, и Жигин смеялся. Что, говорю, зубья скалите? А урядник и говорит: «Мировому, говорит, судье такие дела не подсудны». От этих самых слов меня даже в жар бросило. Урядник, ведь ты это сказывал? — обращается унтер к уряднику Жигину.

— Сказывал.

— Все слыхали, как ты это самое при всем простом народе: «Мировому судье такие дела не подсудны». Все слыхали, как ты это самое... Меня, ваше высокородие, в жар бросило, я даже сробел весь. Повтори, говорю, повтори, такой-сякой, что́ ты сказал! Он опять эти самые слова... Я к нему. Как же, говорю, ты можешь так объяснять про господина мирового судью? Ты, полицейский урядник, да против власти? А? Да ты, говорю, знаешь,

что господин мировой судья, ежели пожелают, могут тебя за такие слова в губернское жандармское управление по причине твоего неблагонадежного поведения? Да ты знаешь, говорю, куда за такие политические слова тебя угнать может господин мировой судья? А старшина говорит: «Мировой, говорит, дальше своих пределов ничего обозначить не может. Только малые дела ему подсудны». Так и сказал, все слышали... Как же, говорю, ты смеешь власть уничижать? Ну, говорю, со мной не шути шуток, а то дело, брат, плохо. Бывало, в Варшаве или когда в швейцарах был в мужской классической прогимназии, то как заслышу какие неподходящие слова, то гляжу на улицу, не видать ли жандарма: «Поди, говорю, сюда, кавалер»,— и все ему докладываю. А тут в деревне кому скажешь?.. Взяло меня зло. Обидно стало, что нынешний народ забылся в своеволии и неповиновении, я размахнулся и... конечно, не то чтобы сильно, а так, правильно, полегоньку, чтоб не смел про ваше высокородие такие слова говорить... За старшину урядник вступился. Я, стало быть, и урядника... И пошло... Погорячился, ваше высокородие, ну, да ведь без того нельзя, чтоб не побить. Ежели глупого человека не побьешь, то на твоей же душе грех. Особливо ежели за дело... ежели беспорядок...

— Позвольте! За непорядками есть кому глядеть. На это есть урядник, староста, сотский...

— Уряднику за всем не углядеть, да урядник и не понимает того, что я понимаю...

— Но поймите, что это не ваше дело!

— Чего-с? Как же это не мое? Чудно́-с... Люди безобразят, и не мое дело! Что ж мне хвалить их, что ли? Они вот жалятся вам, что я песни петь запрещаю... Да что хорошего в песнях-то? Вместо того, чтоб делом каким заниматься, они песни... А еще тоже моду взяли вечера с огнем сидеть. Нужно спать ложиться, а у них разговоры да смехи. У меня записано-с!

— Что у вас записано?

— Кто с огнем сидит.

Пришибеев вынимает из кармана засаленную бумажку, надевает очки и читает:

— «Которые крестьяне сидят с огнем: Иван Прохоров, Савва Микифоров, Петр Петров. Солдатка Шустрова вдова живет в развратном беззаконии с Семеном Кисловым. Игнат Сверчок занимается волшебством, и жена его Мавра есть ведьма, по ночам ходит доить чужих коров».

— Довольно! — говорит судья и начинает допрашивать свидетелей.

Унтер Пришибеев поднимает очки на лоб и с удивлением глядит на мирового, который, очевидно, не на его стороне. Его выпученные глаза блестят, нос становится ярко-красным. Глядит

он на мирового, на свидетелей и никак не может понять, отчего это мировой так взволнован и отчего из всех углов камеры слышится то ропот, то сдержанный смех. Непонятен ему и приговор: на месяц под арест!

— За что?! — говорит он, разводя в недоумении руками.— По какому закону?

И для него ясно, что мир изменился и что жить на свете уже никак невозможно. Мрачные, унылые мысли овладевают им. Но выйдя из камеры и увидев мужиков, которые толпятся и говорят о чем-то, он по привычке, с которой уже совладать не может, вытягивает руки по швам и кричит хриплым, сердитым голосом:

— Народ, расходись! Не толпись! По домам!

1885

ЕГЕРЬ

Знойный и душный полдень. На небе ни облачка... Выжженная солнцем трава глядит уныло, безнадежно: хоть и будет дождь, но уж не зеленеть ей... Лес стоит молча, неподвижно, словно всматривается куда-то своими верхушками или ждет чего-то.

По краю сечи лениво, вразвалку, плетется высокий, узкоплечий мужчина лет сорока, в красной рубахе, латаных господских штанах и в больших сапогах. Плетется он по дороге. Направо зеленеет сеча, налево, до самого горизонта, тянется золотистое море поспевшей ржи... Он красен и вспотел. На его красивой белокурой голове ухарски сидит белый картузик с прямым, жокейским козырьком, очевидно, подарок какого-нибудь расщедрившегося барича. Через плечо перекинут ягдташ*, в котором лежит скомканный петух-тетерев. Мужчина держит в руках двухстволку со взведенными курками и щурит глаза на своего старого, тощего пса, который бежит впереди и обнюхивает кустарник. Кругом тихо, ни звука... Все живое попряталось от зноя.

— Егор Власыч! — слышит вдруг охотник тихий голос.

Он вздрагивает и, оглядевшись, хмурит брови. Возле него, словно из земли выросши, стоит бледнолицая баба лет тридцати, с серпом в руке. Она старается заглянуть в его лицо и застенчиво улыбается.

— А, это ты, Пелагея! — говорит охотник, останавливаясь и медленно спуская курки.— Гм!.. Как же это ты сюда попала?

— Тут из нашей деревни бабы работают, так вот и я с ими... В работницах, Егор Власыч.

— Тэк...—мычит Егор Власыч и медленно идет дальше.

Пелагея за ним. Проходят молча шагов двадцать.

— Давно уж я вас не видала, Егор Власыч...— говорит Пелагея, нежно глядя на двигающиеся плечи и лопатки охотника.— Как заходили вы на Святой в нашу избу воды напиться, так с той поры вас и не видали... На Святой на минутку зашли, да и то бог знает как... в пьяном виде... Побранили, побили и ушли... Уж я ждала, ждала... глаза все проглядела, вас поджидаючи... Эх, Егор Власыч, Егор Власыч! Хоть бы разочек зашли!

— Что ж мне у тебя делать-то?

— Оно, конечно, делать нечего, да так... все-таки ж хозяйство... Поглядеть, как и что... Вы хозяин... Ишь ты, тетерьку подстрелили, Егор Власыч! Да вы бы сели, отдохнули...

Говоря все это, Пелагея смеется, как дурочка, и глядит вверх на лицо Егора... От лица ее так и дышит счастьем...

— Посидеть? Пожалуй...— говорит равнодушным тоном Егор и выбирает местечко между двумя рядом растущими елками.— Что ж ты стоишь? Садись и ты!

Пелагея садится поодаль на припеке и, стыдясь своей радости, закрывает рукой улыбающийся рот. Минуты две проходят в молчании.

— Хоть бы разочек зашли,— говорит тихо Пелагея.

— Зачем? — вздыхает Егор, снимая свой картузик и вытирая рукавом красный лоб.— Нет никакой надобности. Зайти на час-другой — канитель одна, только тебя взбаламутишь, а постоянно жить в деревне — душа не терпит... Сама знаешь, человек я балованный... Мне чтоб и кровать была, и чай хороший, и разговоры деликатные... чтоб все степени мне были, а у тебя там на деревне беднота, копоть... Я и дня не выживу. Ежели б указ такой, положим, вышел, чтоб беспременно мне у тебя жить, так я бы или избу сжег, или руки бы на себя наложил. Сызмалетства во мне это баловство сидит, ничего не поделаешь.

— Таперя вы где живете?

— У барина, Дмитрия Иваныча, в охотниках. К его столу дичь поставляю, а больше так... из-за удовольствия меня держит.

— Не степенное ваше дело, Егор Власыч... Для людей это баловство, а у вас оно, словно как бы и ремесло... занятие настоящее...

— Не понимаешь ты, глупая,— говорит Егор, мечтательно глядя на небо.— Ты отродясь не понимала и век тебе не понять, что я за человек... По-твоему, я шальной заблудящий человек, а который понимающий, для того я что ни на есть лучший стрелок во всем уезде. Господа это чувствуют и даже в журнале про меня печатали. Ни один человек не сравняется со мной по охотницкой части... А что я вашим деревенским занятием брезгаю, так это не из баловства, не из гордости. С самого младенчества, знаешь, я окромя ружья и собак никакого занятия не знал. Ружье отнимают, я за удочку, удочку отнимают, я руками промышляю. Ну,

и по лошадиной части барышничал, по ярмаркам рыскал, когда деньги водились, а сама знаешь, что ежели который мужик записался в охотники или в лошадники, то прощай соха. Раз сядет в человека вольный дух, то ничем его не выковыришь. Тоже вот ежели который барин пойдет в ахтеры или по другим каким художествам, то не быть ему ни в чиновниках, ни в помещиках. Ты баба, не понимаешь, а это понимать надо.

— Я понимаю, Егор Власыч.

— Стало быть, не понимаешь, коли плакать собираешься...

— Я... я не плачу...— говорит Пелагея, отворачиваясь.— Грех, Егор Власыч! Хоть бы денек со мной, несчастной, пожили. Уж двенадцать лет, как я за вас вышла, а... а промеж нас ни разу любови не было!.. Я... я не плачу...

— Любови...— бормочет Егор, почесывая руку.— Никакой любови не может быть. Одно только звание, что мы муж и жена, а нешто это так и есть? Я для тебя дикий человек есть, ты для меня простая баба, не понимающая. Нешто мы пара? Я вольный, балованный, гулящий, а ты работница, лапотница, в грязи живешь, спины не разгибаешь. О себе я так понимаю, что я по охотницкой части первый человек, а ты с жалостью на меня глядишь... Где же тут пара?

— Да ведь венчаны, Егор Власыч! — всхлипывает Пелагея.

— Не волей венчаны... Нешто забыла? Графа Сергея Павлыча благодари... и себя. Граф из зависти, что я лучше его стреляю, месяц целый вином меня спаивал, а пьяного не токмо что перевенчать, но и в другую веру совратить можно. Взял и в отместку пьяного на тебе женил... Егеря на скотнице! Ты видала, что я пьяный, зачем выходила? Не крепостная ведь, могла супротив пойти! Оно, конечно, скотнице счастье за егеря выйти, да ведь надо рассуждение иметь. Ну, вот теперь и мучайся, плачь. Графу смешки, а ты плачь... бейся об стену...

Наступает молчание. Над сечей пролетают три дикие утки. Егор глядит на них и провожает их глазами до тех пор, пока они, превратившись в три едва видные точки, не опускаются далеко за лесом.

— Чем живешь? — спрашивает он, переводя глаза с уток на Пелагею.

— Таперя на работу хожу, а зимой ребеночка из воспитательного дома беру, кормлю соской. Полтора рубля в месяц дают.

— Тэк...

Опять молчание. С сжатой полосы несется тихая песня, которая обрывается в самом начале. Жарко петь...

— Сказывают, что вы Акулине новую избу поставили,— говорит Пелагея.

Егор молчит.

— Стало быть, она вам по сердцу...

— Счастье уж твое такое, судьба! — говорит охотник, потягиваясь.— Терпи, сирота. Но, одначе, прощай, заболтался... К вечеру мне в Болтово поспеть нужно...

Егор поднимается, потягивается и перекидывает ружье через плечо. Пелагея встает.

— А когда же в деревню придете? — спрашивает она тихо.

— Незачем. Тверезый никогда не приду, а от пьяного тебе мало корысти. Злоблюсь я пьяный... Прощай!

— Прощайте, Егор Власыч...

Егор надевает картуз на затылок и, чмокнув собаке, продолжает свой путь. Пелагея стоит на месте и глядит ему вслед... Она видит его двигающиеся лопатки, молодецкий затылок, ленивую, небрежную поступь, и глаза ее наполняются грустью и нежной лаской... Взгляд ее бегает по тощей, высокой фигуре мужа и ласкает, нежит его... Он, словно чувствует этот взгляд, останавливается и оглядывается... Молчит он, но по его лицу, по приподнятым плечам Пелагее видно, что он хочет ей сказать что-то. Она робко подходит к нему и глядит на него умоляющими глазами.

— На тебе! — говорит он, отворачиваясь.

Он подает ей истрепанный рубль и быстро отходит.

— Прощайте, Егор Власыч! — говорит она, машинально принимая рубль.

Он идет по длинной, прямой, как вытянутый ремень, дороге... Она, бледная, неподвижная, как статуя, стоит и ловит взглядом каждый его шаг. Но вот красный цвет его рубахи сливается с темным цветом брюк, шаги не видимы, собаку не отличишь от сапог. Виден только один картузик, но... вдруг Егор круто поворачивает направо в сечу и картузик исчезает в зелени.

— Прощайте, Егор Власыч! — шепчет Пелагея и поднимается на цыпочки, чтобы хоть еще раз увидать белый картузик.

1885

ТОСКА

Кому повем печаль мою?..

Вечерние сумерки. Крупный мокрый снег лениво кружится около только что зажженных фонарей и тонким мягким пластом ложится на крыши, лошадиные спины, плечи, шапки. Извозчик Иона Потапов весь бел, как привидение. Он согнулся, насколько только возможно согнуться живому телу, сидит на козлах и не шевельнется. Упади на него целый сугроб, то и тогда бы, кажется, он не нашел нужным стряхивать с себя снег... Его лошаденка

тоже бела и неподвижна. Своею неподвижностью, угловатостью форм и палкообразной прямизною ног она даже вблизи похожа на копеечную пряничную лошадку. Она, по всей вероятности, погружена в мысль. Кого оторвали от плуга, от привычных серых картин и бросили сюда, в этот омут, полный чудовищных огней, неугомонного треска и бегущих людей, тому нельзя не думать...

Иона и его лошаденка не двигаются с места уже давно. Выехали они со двора еще до обеда, а почина все нет и нет. Но вот на город спускается вечерняя мгла. Бледность фонарных огней уступает свое место живой краске, и уличная суматоха становится шумнее.

— Извозчик, на Выборгскую! — слышит Иона.— Извозчик!

Иона вздрагивает и сквозь ресницы, облепленные снегом, видит военного в шинели и с капюшоном.

— На Выборгскую! — повторяет военный.— Да ты спишь, что ли? На Выборгскую!

В знак согласия Иона дергает вожжи, отчего со спины лошади и с его плеч сыплются пласты снега... Военный садится в сани. Извозчик чмокает губами, вытягивает по-лебединому шею, приподнимается и больше по привычке, чем по нужде, машет кнутом. Лошаденка тоже вытягивает шею, кривит свои палкообразные ноги и нерешительно двигается с места...

— Куда прешь, леший! — на первых же порах слышит Иона возгласы из темной движущейся взад и вперед массы.— Куда черти несут? Пррава держи!

— Ты ездить не умеешь! Права держи! — сердится военный.

Бранится кучер с кареты, злобно глядит и стряхивает с рукава снег прохожий, перебегавший дорогу и налетевший плечом на морду лошаденки. Иона ерзает на козлах, как на иголках, тыкает в стороны локтями и водит глазами, как угорелый, словно не понимает, где он и зачем он здесь.

— Какие все подлецы! — острит военный.— Так и норовят столкнуться с тобой или под лошадь попасть. Это они сговорились.

Иона оглядывается на седока и шевелит губами... Хочет он, по-видимому, что-то сказать, но из горла не выходит ничего, кроме сипенья.

— Что? — спрашивает военный.

Иона кривит улыбкой рот, напрягает свое горло и сипит:

— А у меня, барин, тово... сын на этой неделе помер.

— Гм... Отчего же он умер?

Иона оборачивается всем туловищем к седоку и говорит:

— А кто ж его знает! Должно, от горячки... Три дня полежал в больнице и помер... Божья воля.

— Сворачивай, дьявол! — раздается в потемках.— Повылазило, что ли, старый пес! Гляди глазами!

— Поезжай, поезжай...— говорит седок.— Этак мы и до завтра не доедем. Подгони-ка!

Извозчик опять вытягивает шею, приподнимается и с тяжелой грацией взмахивает кнутом. Несколько раз потом оглядывается он на седока, но тот закрыл глаза и, по-видимому, не расположен слушать. Высадив его на Выборгской, он останавливается у трактира, сгибается на козлах и опять не шевельнется... Мокрый снег опять красит набело его и лошаденку. Проходит час, другой...

По тротуару, громко стуча калошами и перебраниваясь, проходят трое молодых людей: двое из них высоки и тонки, третий мал и горбат.

— Извозчик, к Полицейскому мосту! — кричит дребезжащим голосом горбач.— Троих... двугривенный!

Иона дергает вожжами и чмокает. Двугривенный цена не сходная, но ему не до цены... Что рубль, что пятак — для него теперь все равно, были бы только седоки... Молодые люди, толкаясь и сквернословя, подходят к саням и все трое сразу лезут на сиденья. Начинается решение вопроса: кому двум сидеть, а кому третьему стоять? После долгой перебранки, капризничанья и попреков приходят к решению, что стоять должен горбач, как самый маленький.

— Ну, погоняй! — дребезжит горбач, устанавливаясь и дыша в затылок Ионы.— Лупи! Да и шапка же у тебя, братец! Хуже во всем Петербурге не найти...

— Гы-ы... гы-ы...— хохочет Иона.— Какая есть...

— Ну, ты, какая есть, погоняй! Этак ты всю дорогу будешь ехать? Да? А по шее?..

— Голова трещит...— говорит один из длинных.— Вчера у Дукмасовых мы вдвоем с Васькой четыре бутылки коньяку выпили.

— Не понимаю, зачем врать! — сердится другой длинный.— Врет, как скотина.

— Накажи меня бог, правда...

— Это такая же правда, как то, что вошь кашляет.

— Гы-ы! — ухмыляется Иона.— Ве-еселые господа!

— Тьфу, чтоб тебя черти!..— возмущается горбач.— Поедешь ты, старая холера, или нет? Разве так ездят? Хлобысни-ка ее кнутом! Но, черт! Но! Хорошенько ее!

Иона чувствует за своей спиной вертящееся тело и голосовую дрожь горбача. Он слышит обращенную к нему ругань, видит людей, и чувство одиночества начинает мало-помалу отлегать от груди. Горбач бранится до тех пор, пока не давится вычурным, шестиэтажным ругательством и не разражается кашлем. Длин-

ные начинают говорить о какой-то Надежде Петровне. Иона оглядывается на них. Дождавшись короткой паузы, он оглядывается еще раз и бормочет:

— А у меня на этой неделе... тово... сын помер!

— Все помрем...— вздыхает горбач, вытирая после кашля губы.— Ну, погоняй, погоняй! Господа, я решительно не могу дальше так ехать! Когда он нас довезет?

— А ты его легонечко подбодри... в шею!

— Старая холера, слышишь? Ведь шею накостыляю!.. С вашим братом церемониться, так пешком ходить!.. Ты слышишь, Змей Горыныч? Или тебе плевать на наши слова?

И Иона больше слышит, чем чувствует, звуки подзатыльника.

— Гы-ы...— смеется он.— Веселые господа... дай бог здоровья!

— Извозчик, ты женат? — спрашивает длинный.

— Я-то? Гы-ы... ве-еселые господа! Таперя у меня одна жена — сырая земля... Хи-хо-хо... Могила то есть!.. Сын-то вот помер, а я жив... Чудное дело, смерть дверью обозналась... Заместо того, чтоб ко мне идтить, она к сыну..

И Иона оборачивается, чтобы рассказать, как умер его сын, но тут горбач легко вздыхает и заявляет, что, слава богу, они, наконец, приехали. Получив двугривенный, Иона долго глядит вслед гулякам, исчезающим в темном подъезде. Опять он одинок, и опять наступает для него тишина... Утихшая ненадолго тоска появляется вновь и распирает грудь еще с большей силой. Глаза Ионы тревожно и мученически бегают по толпам, снующим по обе стороны улицы: не найдется ли из этих тысяч людей хоть один, который выслушал бы его? Но толпы бегут, не замечая ни его, ни тоски... Тоска громадная, не знающая границ. Лопни грудь Ионы и вылейся из нее тоска, так она бы, кажется, весь свет залила, но тем не менее ее не видно. Она сумела поместиться в такую ничтожную скорлупу, что ее не увидишь днем с огнем...

Иона видит дворника с кульком и решает заговорить с ним.

— Милый, который теперь час будет? — спрашивает он.

— Десятый... Чего же стал здесь? Проезжай!

Иона отъезжает на несколько шагов, изгибается и отдается тоске... Обращаться к людям он считает уже бесполезным. Но не проходит и пяти минут, как он выпрямляется, встряхивает головой, словно почувствовал острую боль, и дергает вожжи... Ему невмоготу.

«Ко двору,— думает он.— Ко двору!»

И лошаденка, точно поняв его мысль, начинает бежать рысцой. Спустя часа полтора Иона сидит уже около большой грязной печи. На печи, на полу, на скамьях храпит народ. В воз-

духе «спираль» и духота... Иона глядит на спящих, почесывается и жалеет, что так рано вернулся домой...

«И на овес не выездил,— думает он.— Оттого-то вот и тоска. Человек, который знающий свое дело... который и сам сыт и лошадь сыта, завсегда покоен...»

В одном из углов поднимается молодой извозчик, сонно крякает и тянется к ведру с водой.

— Пить захотел? — спрашивает Иона.

— Стало быть, пить!

— Так... На здоровье... А у меня, брат, сын помер... Слыхал? На этой неделе в больнице... История!

Иона смотрит, какой эффект произвели его слова, но не видит ничего. Молодой укрылся с головой и уже спит. Старик вздыхает и чешется... Как молодому хотелось пить, так ему хочется говорить. Скоро будет неделя, как умер сын, а он еще путем не говорил ни с кем... Нужно поговорить с толком, с расстановкой... Надо рассказать, как заболел сын, как он мучился, что́ говорил перед смертью, как умер... Нужно описать похороны и поездку в больницу за одеждой покойника. В деревне осталась дочка Анисья... И про нее нужно поговорить... Да мало ли о чем он может теперь поговорить? Слушатель должен охать, вздыхать, причитывать... А с бабами говорить еще лучше. Те хоть и дуры, но ревут от двух слов.

«Пойти лошадь поглядеть,— думает Иона.— Спать всегда успеешь... Небось, выспишься...»

Он одевается и идет в конюшню, где стоит его лошадь. Думает он об овсе, сене, о погоде... Про сына, когда один, думать он не может... Поговорить с кем-нибудь о нем можно, но самому думать и рисовать себе его образ невыносимо жутко...

— Жуешь? — спрашивает Иона свою лошадь, видя ее блестящие глаза.— Ну, жуй, жуй... Коли на овес не выездили, сено есть будем... Да... Стар уж стал я ездить... Сыну бы ездить, а не мне... То настоящий извозчик был... Жить бы только...

Иона молчит некоторое время и продолжает:

— Так-то, брат, кобылочка... Нету Кузьмы Ионыча... Приказал до́лго жить... Взял и помер зря... Таперя, скажем, у тебя жеребеночек, и ты этому жеребеночку родная мать... И вдруг, скажем, этот самый жеребеночек приказал долго жить... Ведь жалко?

Лошаденка жует, слушает и дышит на руки своего хозяина...

Иона увлекается и рассказывает ей всё...

1886

ВАНЬКА

Ванька Жуков, девятилетний мальчик, отданный три месяца тому назад в ученье к сапожнику Аляхину, в ночь под рождество не ложился спать. Дождавшись, когда хозяева и подмастерья ушли к заутрене, он достал из хозяйского шкапа пузырек с чернилами, ручку с заржавленным пером и, разложив перед собой измятый лист бумаги, стал писать. Прежде чем вывести первую букву, он несколько раз пугливо оглянулся на двери и окна, покосился на темный образ, по обе стороны которого тянулись полки с колодками, и прерывисто вздохнул. Бумага лежала на скамье, а сам он стоял перед скамьей на коленях.

«Милый дедушка, Константин Макарыч! — писал он.— И пишу тебе письмо. Поздравляю вас с рождеством и желаю тебе всего от господа бога. Нету у меня ни отца, ни маменьки, только ты у меня один остался».

Ванька перевел глаза на темное окно, в котором мелькало отражение его свечки, и живо вообразил себе своего деда Константина Макарыча, служащего ночным сторожем у господ Живаревых. Это маленький, тощенький, но необыкновенно юркий и подвижной старикашка, лет шестидесяти пяти, с вечно смеющимся лицом и пьяными глазами. Днем он спит в людской кухне или балагурит с кухарками, ночью же, окутанный в просторный тулуп, ходит вокруг усадьбы и стучит в свою колотушку. За ним, опустив головы, шагают старая Каштанка и кобелек Вьюн, прозванный так за свой черный цвет и тело, длинное, как у ласки. Этот Вьюн необыкновенно почтителен и ласков, одинаково умильно смотрит как на своих, так и на чужих, но кредитом не пользуется. Под его почтительностью и смирением скрывается самое иезуитское ехидство. Никто лучше его не умеет вовремя подкрасться и цапнуть за ногу, забраться в ледник или украсть у мужика курицу. Ему уж не раз отбивали задние ноги, раза два его вешали, каждую неделю пороли до полусмерти, но он всегда оживал.

Теперь, наверно, дед стоит у ворот, щурит глаза на ярко-красные окна деревенской церкви и, притопывая валенками, балагурит с дворней. Колотушка его подвязана к поясу. Он всплескивает руками, пожимается от холода и, старчески хихикая, щиплет то горничную, то кухарку.

— Табачку нешто нам понюхать? — говорит он, подставляя бабам свою табакерку.

Бабы нюхают и чихают. Дед приходит в неописанный восторг, заливается веселым смехом и кричит:

— Отдирай, примерзло!

Дают понюхать табаку и собакам. Каштанка чихает, крутит мордой и, обиженная, отходит в сторону. Вьюн же из почтитель-

ности не чихает и вертит хвостом. А погода великолепная. Воздух тих, прозрачен и свеж. Ночь темна, но видно всю деревню с ее белыми крышами и струйками дыма, идущими из труб, деревья, посребренные инеем, сугробы. Все небо усыпано весело мигающими звездами, и Млечный Путь вырисовывается так ясно, как будто его перед праздником помыли и потерли снегом...

Ванька вздохнул, умакнул перо и продолжал писать:

«А вчерась мне была выволочка. Хозяин выволок меня за волосья на двор и отчесал шпандырем* за то, что я качал ихнего ребятенка в люльке и по нечаянности заснул. А на неделе хозяйка велела мне почистить селедку, а я начал с хвоста, а она взяла селедку и ейной мордой начала меня в харю тыкать. Подмастерья надо мной насмехаются, посылают в кабак за водкой и велят красть у хозяев огурцы, а хозяин бьет чем попадя. А еды нету никакой. Утром дают хлеба, в обед каши и к вечеру тоже хлеба, а чтоб чаю или щей, то хозяева сами трескают. А спать мне велят в сенях, а когда ребятенок ихний плачет, я вовсе не сплю, а качаю люльку. Милый дедушка, сделай божецкую милость, возьми меня отсюда домой, на деревню, нету никакой моей возможности... Кланяюсь тебе в ножки и буду вечно бога молить, увези меня отсюда, а то помру...»

Ванька покривил рот, потер своим черным кулаком глаза и всхлипнул.

«Я буду тебе табак тереть,— продолжал он,— богу молиться, а если что, то секи меня, как сидорову козу. А ежели думаешь, должности мне нету, то я Христа ради попрошусь к приказчику сапоги чистить, али заместо Федьки в подпаски пойду. Дедушка милый, нету никакой возможности, просто смерть одна. Хотел было пешком на деревню бежать, да сапогов нету, морозу боюсь. А когда выросту большой, то за это самое буду тебя кормить и в обиду никому не дам, а помрешь, стану за упокой души молить, все равно как за мамку Пелагею.

А Москва город большой. Дома всё господские и лошадей много, а овец нету и собаки не злые. Со звездой тут ребята не ходят и на клирос петь никого не пущают, а раз я видал в одной лавке на окне крючки продаются прямо с леской и на всякую рыбу, очень стоющие, даже такой есть один крючок, что пудового сома удержит. И видал которые лавки, где ружья всякие на манер бариновых, так что небось рублей сто кажное... А в мясных лавках и тетерева, и рябцы, и зайцы, а в котором месте их стреляют, про то сидельцы не сказывают.

Милый дедушка, а когда у господ будет елка с гостинцами, возьми мне золоченый орех и в зеленый сундучок спрячь. Попроси у барышни Ольги Игнатьевны, скажи, для Ваньки».

Ванька судорожно вздохнул и опять уставился на окно. Он вспомнил, что за елкой для господ всегда ходил в лес дед и брал

с собою внука. Веселое было время! И дед крякал, и мороз крякал, а глядя на них, и Ванька крякал. Бывало, прежде чем вырубить елку, дед выкуривает трубку, долго нюхает табак, посмеивается над озябшим Ванюшкой... Молодые елки, окутанные инеем, стоят неподвижно и ждут, которой из них помирать? Откуда ни возьмись, по сугробам летит стрелой заяц... Дед не может, чтоб не крикнуть:

— Держи, держи... держи! Ах, куцый дьявол!

Срубленную елку дед тащил в господский дом, а там принимались убирать ее... Больше всех хлопотала барышня Ольга Игнатьевна, любимица Ваньки. Когда еще была жива Ванькина мать Пелагея и служила у господ в горничных, Ольга Игнатьевна кормила Ваньку леденцами и от нечего делать выучила его читать, писать, считать до ста и даже танцевать кадриль. Когда же Пелагея умерла, сироту Ваньку спровадили в людскую кухню к деду, а из кухни в Москву к сапожнику Аляхину...

«Приезжай, милый дедушка,— продолжал Ванька,— Христом-богом тебя молю, возьми меня отседа. Пожалей ты меня, сироту несчастную, а то меня все колотят и кушать страсть хочется, а скука такая, что и сказать нельзя, все плачу. А намедни хозяин колодкой по голове ударил, так что упал и насилу очухался. Пропащая моя жизнь, хуже собаки всякой... А еще кланяюсь Алене, кривому Егорке и кучеру, а гармонию мою никому не отдавай. Остаюсь твой внук Иван Жуков, милый дедушка, приезжай».

Ванька свернул вчетверо исписанный лист и вложил его в конверт, купленный накануне за копейку... Подумав немного, он умакнул перо и написал адрес:

На деревню дедушке.

Потом почесался, подумал и прибавил: «Константину Макарычу». Довольный тем, что ему не помешали писать, он надел шапку и, не набрасывая на себя шубейки, прямо в рубахе выбежал на улицу...

Сидельцы из мясной лавки, которых он расспрашивал накануне, сказали ему, что письма опускаются в почтовые ящики, а из ящиков развозятся по всей земле на почтовых тройках с пьяными ямщиками и звонкими колокольцами. Ванька добежал до первого почтового ящика и сунул драгоценное письмо в щель...

Убаюканный сладкими надеждами, он час спустя крепко спал... Ему снилась печка. На печи сидит дед, свесив босые ноги, и читает письмо кухаркам... Около печи ходит Вьюн и вертит хвостом...

1886

МАЛЬЧИКИ

— Володя приехал! — крикнул кто-то на дворе.

— Володичка приехали! — завопила Наталья, вбегая в столовую.— Ах, боже мой!

Вся семья Королевых, с часу на час поджидавшая своего Володю, бросилась к окнам. У подъезда стояли широкие розвальни, и от тройки белых лошадей шел густой туман. Сани были пусты, потому что Володя уже стоял в сенях и красными, озябшими пальцами развязывал башлык. Его гимназическое пальто, фуражка, калоши и волосы на висках были покрыты инеем, и весь он от головы до ног издавал такой вкусный морозный запах, что, глядя на него, хотелось озябнуть и сказать: «Брррр!» Мать и тетка бросились обнимать и целовать его, Наталья повалилась к его ногам и начала стаскивать с него валенки, сестры подняли визг, двери скрипели, хлопали, а отец Володи в одной жилетке и с ножницами в руках вбежал в переднюю и закричал испуганно:

— А мы тебя еще вчера ждали! Хорошо доехал? Благополучно? Господи боже мой, да дайте же ему с отцом поздороваться! Что я, не отец, что ли?

— Гав! Гав! — ревел басом Милорд, огромный черный пес, стуча хвостом по стенам и по мебели.

Все смешалось в один сплошной радостный звук, продолжавшийся минуты две. Когда первый порыв радости прошел, Королевы заметили, что, кроме Володи, в передней находился еще один маленький человек, окутанный в платки, шали и башлыки и покрытый инеем; он неподвижно стоял в углу в тени, бросаемой большой лисьей шубой.

— Володичка, а это же кто? — спросила шепотом мать.

— Ах! — спохватился Володя.— Это, честь имею представить, мой товарищ Чечевицын, ученик второго класса... Я привез его с собой погостить у нас.

— Очень приятно, милости просим! — сказал радостно отец.— Извините, я по-домашнему, без сюртука... Пожалуйте! Наталья, помоги господину Черепицыну раздеться! Господи боже мой, да прогоните эту собаку! Это наказание!

Немного погодя Володя и его друг Чечевицын, ошеломленные шумной встречей и все еще розовые от холода, сидели за столом и пили чай. Зимнее солнышко, проникая сквозь снег и узоры на окнах, дрожало на самоваре и купало свои чистые лучи в полоскательной чашке. В комнате было тепло, и мальчики чувствовали, как в их озябших телах, не желая уступать друг другу, щекотались тепло и мороз.

— Ну, вот скоро и рождество! — говорил нараспев отец, крутя из темно-рыжего табаку папиросу.— А давно ли было лето

и мать плакала, тебя провожаючи? Ан ты и приехал... Время, брат, идет быстро! Ахнуть не успеешь, как старость придет. Господин Чибисов, кушайте, прошу вас, не стесняйтесь! У нас попросту.

Три сестры Володи, Катя, Соня и Маша — самой старшей из них было одиннадцать лет,— сидели за столом и не отрывали глаз от нового знакомого. Чечевицын был такого же возраста и роста, как Володя, но не так пухл и бел, а худ, смугл, покрыт веснушками. Волосы у него были щетинистые, глаза узенькие, губы толстые, вообще был он очень некрасив, и если б на нем не было гимназической куртки, то по наружности его можно было бы принять за кухаркина сына. Он был угрюм, все время молчал и ни разу не улыбнулся. Девочки, глядя на него, сразу сообразили, что это, должно быть, очень умный и ученый человек. Он о чем-то все время думал и так был занят своими мыслями, что когда его спрашивали о чем-нибудь, то он вздрагивал, встряхивал головой и просил повторить вопрос.

Девочки заметили, что и Володя, всегда веселый и разговорчивый, на этот раз говорил мало, вовсе не улыбался и как будто даже не рад был тому, что приехал домой. Пока сидели за чаем, он обратился к сестрам только раз, да и то с какими-то странными словами. Он указал пальцем на самовар и сказал:

— А в Калифорнии вместо чаю пьют джин.

Он тоже был занят какими-то мыслями, и, судя по тем взглядам, какими он изредка обменивался с другом своим Чечевицыным, мысли у мальчиков были общие.

После чаю все пошли в детскую. Отец и девочки сели за стол и занялись работой, которая была прервана приездом мальчиков. Они делали из разноцветной бумаги цветы и бахрому для елки. Это была увлекательная и шумная работа. Каждый вновь сделанный цветок девочки встречали восторженными криками, даже криками ужаса, точно этот цветок падал с неба; папаша тоже восхищался и изредка бросал ножницы на пол, сердясь на них за то, что они тупы. Мамаша вбегала в детскую с очень озабоченным лицом и спрашивала:

— Кто взял мои ножницы? Опять ты, Иван Николаич, взял мои ножницы?

— Господи боже мой, даже ножниц не дают! — отвечал плачущим голосом Иван Николаич и, откинувшись на спинку стула, принимал позу оскорбленного человека, но через минуту опять восхищался.

В предыдущие свои приезды Володя тоже занимался приготовлениями для елки или бегал на двор поглядеть, как кучер и пастух делали снеговую гору, но теперь он и Чечевицын не обратили никакого внимания на разноцветную бумагу и ни разу даже не побывали в конюшне, а сели у окна и стали о чем-то

шептаться; потом они оба вместе раскрыли географический атлас и стали рассматривать какую-то карту.

— Сначала в Пермь...— тихо говорил Чечевицын...— оттуда в Тюмень... Потом Томск... потом... потом... в Камчатку... Отсюда самоеды перевезут на лодках через Берингов пролив... Вот тебе и Америка... Тут много пушных зверей.

— А Калифорния? — спросил Володя.

— Калифорния ниже... Лишь бы в Америку попасть, а Калифорния не за горами. Добывать же себе пропитание можно охотой и грабежом.

Чечевицын весь день сторонился девочек и глядел на них исподлобья. После вечернего чая случилось, что его минут на пять оставили одного с девочками. Неловко было молчать. Он сурово кашлянул, потер правой ладонью левую руку, поглядел угрюмо на Катю и спросил:

— Вы читали Майн-Рида?*

— Нет, не читала... Послушайте, вы умеете на коньках кататься?

Погруженный в свои мысли, Чечевицын ничего не ответил на этот вопрос, а только сильно надул щеки и сделал такой вздох, как будто ему было очень жарко. Он еще раз поднял глаза на Катю и сказал:

— Когда стадо бизонов бежит через пампасы, то дрожит земля, а в это время мустанги, испугавшись, брыкаются и ржут.

Чечевицын грустно улыбнулся и добавил:

— А также индейцы нападают на поезда. Но хуже всего это москиты и термиты.

— А что это такое?

— Это вроде муравчиков, только с крыльями. Очень сильно кусаются. Знаете, кто я?

— Господин Чечевицын.

— Нет. Я Монтигомо, Ястребиный Коготь, вождь непобедимых.

Маша, самая маленькая девочка, поглядела на него, потом на окно, за которым уже наступал вечер, и сказала в раздумье:

— А у нас чечевицу вчера готовили.

Совершенно непонятные слова Чечевицына и то, что он постоянно шептался с Володей, и то, что Володя не играл, а все думал о чем-то,— все это было загадочно и странно. И обе старшие девочки, Катя и Соня, стали зорко следить за мальчиками. Вечером, когда мальчики ложились спать, девочки подкрались к двери и подслушали их разговор. О, что они узнали! Мальчики собирались бежать куда-то в Америку добывать золото; у них для дороги было уже все готово: пистолет, два ножа, сухари, увеличительное стекло для добывания огня, компас и четыре рубля денег. Они узнали, что мальчикам придется

пройти пешком несколько тысяч верст, а по дороге сражаться с тиграми и дикарями, потом добывать золото и слоновую кость, убивать врагов, поступать в морские разбойники, пить джин и в конце концов жениться на красавицах и обрабатывать плантации. Володя и Чечевицын говорили и в увлечении перебивали друг друга. Себя Чечевицын называл при этом так: «Монтигомо Ястребиный Коготь», а Володю — «бледнолицый брат мой».

— Ты смотри же, не говори маме,— сказала Катя Соне, отправляясь с ней спать.— Володя привезет нам из Америки золота и слоновой кости, а если ты скажешь маме, то его не пустят.

Накануне сочельника Чечевицын целый день рассматривал карту Азии и что-то записывал, а Володя, томный, пухлый, как укушенный пчелой, угрюмо ходил по комнатам и ничего не ел. И раз даже в детской он остановился перед иконой, перекрестился и сказал:

— Господи, прости меня грешного! Господи, сохрани мою бедную, несчастную маму!

К вечеру он расплакался. Идя спать, он долго обнимал отца, мать и сестер. Катя и Соня понимали, в чем тут дело, а младшая, Маша, ничего не понимала, решительно ничего, и только при взгляде на Чечевицына задумывалась и говорила со вздохом:

— Когда пост, няня говорит, надо кушать горох и чечевицу.

Рано утром в сочельник Катя и Соня тихо поднялись с постелей и пошли посмотреть, как мальчики будут бежать в Америку. Подкрались к двери.

— Так ты не поедешь? — сердито спрашивал Чечевицын.— Говори: не поедешь?

— Господи! — тихо плакал Володя.— Как же я поеду? Мне маму жалко.

— Бледнолицый брат мой, я прошу тебя, поедем! Ты же уверял, что поедешь, сам меня сманил, а как ехать, так вот и струсил.

— Я... я не струсил, а мне... мне маму жалко.

— Ты говори: поедешь или нет?

— Я поеду, только... только погоди... Мне хочется дома пожить.

— В таком случае я сам поеду! — решил Чечевицын.— И без тебя обойдусь. А еще тоже хотел охотиться на тигров, сражаться! Когда так, отдай же мои пистоны!

Володя заплакал так горько, что сестры не выдержали и тоже тихо заплакали. Наступила тишина.

— Так ты не поедешь? — еще раз спросил Чечевицын.

— По... поеду.

— Так одевайся!

И Чечевицын, чтобы уговорить Володю, хвалил Америку,

рычал, как тигр, изображал пароход, бранился, обещал отдать Володе всю слоновую кость и все львиные и тигровые шкуры.

И этот худенький смуглый мальчик со щетинистыми волосами и веснушками казался девочкам необыкновенным, замечательным. Это был герой, решительный, неустрашимый человек, и рычал он так, что, стоя за дверями, в самом деле можно было подумать, что это тигр или лев.

Когда девочки вернулись к себе и одевались, Катя с глазами полными слез сказала:

— Ах, мне так страшно!

До двух часов, когда сели обедать, все было тихо, но за обедом вдруг оказалось, что мальчиков нет дома. Послали в людскую, в конюшню, во флигель к приказчику — там их не было. Послали в деревню — и там не нашли. И чай потом тоже пили без мальчиков, а когда садились ужинать, мамаша очень беспокоилась, даже плакала. А ночью опять ходили в деревню, искали, ходили с фонарями на реку. Боже, какая поднялась суматоха!

На другой день приезжал урядник, писали в столовой какую-то бумагу. Мамаша плакала.

Но вот у крыльца остановились розвальни, и от тройки белых лошадей валил пар.

— Володя приехал! — крикнул кто-то на дворе.

— Володичка приехали! — завопила Наталья, вбегая в столовую.

И Милорд залаял басом: «Гав! гав!» Оказалось, что мальчиков задержали в городе, в Гостином дворе (там они ходили и все спрашивали, где продается порох). Володя, как вошел в переднюю, так и зарыдал и бросился матери на шею. Девочки, дрожа, с ужасом думали о том, что теперь будет, слышали, как папаша повел Володю и Чечевицына к себе в кабинет и долго там говорил с ними; и мамаша тоже говорила и плакала.

— Разве это так можно? — убеждал папаша.— Не дай бог, узнают в гимназии, вас исключат. А вам стыдно, господин Чечевицын! Нехорошо-с! Вы зачинщик, и, надеюсь, вы будете наказаны вашими родителями. Разве это так можно? Вы где ночевали?

— На вокзале! — гордо ответил Чечевицын.

Володя потом лежал, и ему к голове прикладывали полотенце, смоченное в уксусе. Послали куда-то телеграмму, и на другой день приехала дама, мать Чечевицына, и увезла своего сына.

Когда уезжал Чечевицын, то лицо у него было суровое, надменное, и, прощаясь с девочками, он не сказал ни одного слова; только взял у Кати тетрадку и написал в знак памяти:

«Монтигомо Ястребиный Коготь».

1887

СПАТЬ ХОЧЕТСЯ

Ночь. Нянька Варька, девочка лет тринадцати, качает колыбель, в которой лежит ребенок, и чуть слышно мурлычет:

Баю-баюшки-баю,
А я песенку спою...

Перед образом горит зеленая лампадка; через всю комнату от угла до угла тянется веревка, на которой висят пеленки и большие черные панталоны. От лампадки ложится на потолок большое зеленое пятно, а пеленки и панталоны бросают длинные тени на печку, колыбель, на Варьку... Когда лампадка начинает мигать, пятно и тени оживают и приходят в движение, как от ветра. Душно. Пахнет щами и сапожным товаром.

Ребенок плачет. Он давно уже осип и изнемог от плача, но все еще кричит и неизвестно, когда он уймется. А Варьке хочется спать. Глаза ее слипаются, голову тянет вниз, шея болит. Она не может шевельнуть ни веками, ни губами, и ей кажется, что лицо ее высохло и одеревенело, что голова стала маленькой, как булавочная головка.

— Баю-баюшки-баю,— мурлычет она,— тебе кашки наварю...

В печке кричит сверчок. В соседней комнате, за дверью, похрапывает хозяин и подмастерье Афанасий... Колыбель жалобно скрипит, сама Варька мурлычет — и все это сливается в ночную, убаюкивающую музыку, которую так сладко слушать, когда ложишься в постель. Теперь же эта музыка только раздражает и гнетет, потому что она вгоняет в дремоту, а спать нельзя; если Варька, не дай бог, уснет, то хозяева прибьют ее.

Лампадка мигает. Зеленое пятно и тени приходят в движение, лезут в полуоткрытые, неподвижные глаза Варьки и в ее наполовину уснувшем мозгу складываются в туманные грезы. Она видит темные облака, которые гоняются друг за другом по небу и кричат, как ребенок. Но вот подул ветер, пропали облака, и Варька видит широкое шоссе, покрытое жидкою грязью; по шоссе тянутся обозы, плетутся люди с котомками на спинах, носятся взад и вперед какие-то тени; по обе стороны сквозь холодный, суровый туман видны леса. Вдруг люди с котомками и тени падают на землю в жидкую грязь. «Зачем это?» — спрашивает Варька. «Спать, спать!» — отвечают ей. И они засыпают крепко, спят сладко, а на телеграфных проволоках сидят вороны и сороки, кричат, как ребенок, и стараются разбудить их.

— Баю-баюшки-баю, а я песенку спою...— мурлычет Варька и уже видит себя в темной, душной избе.

На полу ворочается ее покойный отец Ефим Степанов. Она не видит его, но слышит, как он катается от боли по полу и стонет. У него, как он говорит, «разыгралась грыжа». Боль так

сильна, что он не может выговорить ни одного слова и только втягивает в себя воздух и отбивает зубами барабанную дробь:

— Бу-бу-бу-бу...

Мать Пелагея побежала в усадьбу к господам сказать, что Ефим помирает. Она давно уже ушла, и пора бы ей вернуться. Варька лежит на печи, не спит и прислушивается к отцовскому «бу-бу-бу». Но вот слышно, кто-то подъехал к избе. Это господа прислали молодого доктора, который приехал к ним из города в гости. Доктор входит в избу; его не видно в потемках, но слышно, как он кашляет и щелкает дверью.

— Засветите огонь,— говорит он.

— Бу-бу-бу...— отвечает Ефим.

Пелагея бросается к печке и начинает искать черепок со спичками. Проходит минута в молчании. Доктор, порывшись в карманах, зажигает свою спичку.

— Сейчас, батюшка, сейчас,— говорит Пелагея, бросается вон из избы и немного погодя возвращается с огарком.

Щеки у Ефима розовые, глаза блестят и взгляд как-то особенно остр, точно Ефим видит насквозь и избу и доктора.

— Ну, что? Что ты это вздумал? — говорит доктор, нагибаясь к нему.— Эге! Давно ли это у тебя?

— Чего-с? Помирать, ваше благородие, пришло время... Не быть мне в живых...

— Полно вздор говорить... Вылечим!

— Это как вам угодно, ваше благородие, благодарим покорно, а только мы понимаем... Коли смерть пришла, что уж тут.

Доктор с четверть часа возится с Ефимом; потом поднимается и говорит:

— Я ничего не могу поделать... Тебе нужно в больницу ехать, там тебе операцию сделают. Сейчас же поезжай... Непременно поезжай! Немножко поздно, в больнице все уже спят, но это ничего, я тебе записочку дам. Слышишь?

— Батюшка, да на чем же он поедет? — говорит Пелагея.— У нас нет лошади.

— Ничего, я попрошу господ, они дадут лошадь.

Доктор уходит, свеча тухнет, и опять слышится «бу-бу-бу»... Спустя полчаса к избе кто-то подъезжает. Это господа прислали тележку, чтобы ехать в больницу. Ефим собирается и едет...

Но вот наступает хорошее, ясное утро. Пелагеи нет дома: она пошла в больницу узнать, что делается с Ефимом. Где-то плачет ребенок, и Варька слышит, как кто-то ее голосом поет:

— Баю-баюшки-баю, а я песенку спою...

Возвращается Пелагея; она крестится и шепчет:

— Ночью вправили ему, а к утру богу душу отдал... Царство небесное, вечный покой... Сказывают, поздно захватили... Надо бы раньше...

Варька идет в лес и плачет там, но вдруг кто-то бьет ее по затылку с такой силой, что она стукается лбом о березу. Она поднимает глаза и видит перед собой хозяина-сапожника.

— Ты что же это, паршивая? — говорит он.— Дитё плачет, а ты спишь?

Он больно треплет ее за ухо, а она встряхивает головой, качает колыбель и мурлычет свою песню. Зеленое пятно и тени от панталон и пеленок колеблются, мигают ей и скоро опять овладевают ее мозгом. Опять она видит шоссе, покрытое жидкой грязью. Люди с котомками на спинах и тени разлеглись и крепко спят. Глядя на них, Варьке страстно хочется спать; она легла бы с наслаждением, но мать Пелагея идет рядом и торопит ее. Обе они спешат в город наниматься.

— Подайте милостынки Христа ради! — просит мать у встречных.— Явите божескую милость, господа милосердные!

— Подай сюда ребенка! — отвечает ей чей-то знакомый голос.— Подай сюда ребенка! — повторяет тот же голос, но уже сердито и резко.— Спишь, подлая?

Варька вскакивает и, оглядевшись, понимает, в чем дело: нет ни шоссе, ни Пелагеи, ни встречных, а стоит посреди комнатки одна только хозяйка, которая пришла покормить своего ребенка. Пока толстая, плечистая хозяйка кормит и унимает ребенка, Варька стоит, глядит на нее и ждет, когда она кончит. А за окнами уже синеет воздух, тени и зеленое пятно на потолке заметно бледнеют. Скоро утро.

— Возьми! — говорит хозяйка, застегивая на груди сорочку.— Плачет. Должно, сглазили.

Варька берет ребенка, кладет его в колыбель и опять начинает качать. Зеленое пятно и тени мало-помалу исчезают, и уж некому лезть в ее голову и туманить мозг. А спать хочется по-прежнему, ужасно хочется! Варька кладет голову на край колыбели и качается всем туловищем, чтобы пересилить сон, но глаза все-таки слипаются, и голова тяжела.

— Варька, затопи печку! — раздается за дверью голос хозяина.

Значит, уже пора вставать и приниматься за работу. Варька оставляет колыбель и бежит в сарай за дровами. Она рада. Когда бегаешь и ходишь, спать уже не так хочется, как в сидячем положении. Она приносит дрова, топит печь и чувствует, как расправляется ее одеревеневшее лицо и как проясняются мысли.

— Варька, поставь самовар! — кричит хозяйка.

Варька колет лучину, но едва успевает зажечь их и сунуть в самовар, как слышится новый приказ:

— Варька, почисть хозяину калоши!

Она садится на пол, чистит калоши и думает, что хорошо бы сунуть голову в большую, глубокую калошу и подремать в ней

немножко... И вдруг калоша растет, пухнет, наполняет собою всю комнату, Варька роняет щетку, но тотчас же встряхивает головой, пучит глаза и старается глядеть так, чтобы предметы не росли и не двигались в ее глазах.

— Варька, помой снаружи лестницу, а то от заказчиков совестно!

Варька моет лестницу, убирает комнаты, потом топит другую печь и бежит в лавочку. Работы много, нет ни одной минуты свободной.

Но ничто так не тяжело, как стоять на одном месте перед кухонным столом и чистить картошку. Голову тянет к столу, картошка рябит в глазах, нож валится из рук, а возле ходит толстая, сердитая хозяйка с засученными рукавами и говорит так громко, что звенит в ушах. Мучительно также прислуживать за обедом, стирать, шить. Бывают минуты, когда хочется, ни на что не глядя, повалиться на пол и спать.

День проходит. Глядя, как темнеют окна, Варька сжимает себе деревенеющие виски и улыбается, сама не зная чего ради. Вечерняя мгла ласкает ее слипающиеся глаза и обещает ей скорый, крепкий сон. Вечером к хозяевам приходят гости.

— Варька, ставь самовар! — кричит хозяйка.

Самовар у хозяев маленький, и прежде чем гости напиваются чаю, приходится подогревать его раз пять. После чаю Варька стоит целый час на одном месте, глядит на гостей и ждет приказаний.

— Варька, сбегай купи три бутылки пива!

Она срывается с места и старается бежать быстрее, чтобы прогнать сон.

— Варька, сбегай за водкой! Варька, где штопор? Варька, почисть селедку!

Но вот наконец гости ушли; огни тушатся, хозяева ложатся спать.

— Варька, покачай ребенка! — раздается последний приказ.

В печке кричит сверчок; зеленое пятно на потолке и тени от панталон и пеленок опять лезут в полуоткрытые глаза Варьки, мигают и туманят ей голову.

— Баю-баюшки-баю, — мурлычет она, — а я песенку спою...

А ребенок кричит и изнемогает от крика. Варька видит опять грязное шоссе, людей с котомками, Пелагею, отца Ефима. Она все понимает, всех узнает, но сквозь полусон она не может только никак понять той силы, которая сковывает ее по рукам и по ногам, давит ее и мешает ей жить. Она оглядывается, ищет эту силу, чтобы избавиться от нее, но не находит. Наконец, измучившись, она напрягает все свои силы и зрение, глядит вверх на мигающее зеленое пятно и, прислушавшись к крику, находит врага, мешающего ей жить.

Этот враг — ребенок.

Она смеется. Ей удивительно: как это раньше она не могла понять такого пустяка? Зеленое пятно, тени и сверчок тоже, кажется, смеются и удивляются.

Ложное представление овладевает Варькой. Она встает с табурета и, широко улыбаясь, не мигая глазами, прохаживается по комнате. Ей приятно и щекотно от мысли, что она сейчас избавится от ребенка, сковывающего ее по рукам и ногам... Убить ребенка, а потом спать, спать, спать...

Смеясь, подмигивая и грозя зеленому пятну пальцами, Варька подкрадывается к колыбели и наклоняется к ребенку. Задушив его, она быстро ложится на пол, смеется от радости, что ей можно спать, и через минуту спит уже крепко, как мертвая...

1888

ПОПРЫГУНЬЯ

I

На свадьбе у Ольги Ивановны были все ее друзья и добрые знакомые.

— Посмотрите на него: не правда ли, в нем что-то есть? — говорила она своим друзьям, кивая на мужа и как бы желая объяснить, почему это она вышла за простого, очень обыкновенного и ничем не замечательного человека.

Ее муж, Осип Степаныч Дымов, был врачом и имел чин титулярного советника. Служил он в двух больницах: в одной сверхштатным ординатором, а в другой — прозектором*. Ежедневно от девяти часов утра до полудня он принимал больных и занимался у себя в палате, а после полудня ехал на конке в другую больницу, где вскрывал умерших больных. Частная практика его была ничтожна, рублей на пятьсот в год. Вот и все. Что еще можно про него сказать? А между тем Ольга Ивановна и ее друзья и добрые знакомые были не совсем обыкновенные люди. Каждый из них был чем-нибудь замечателен и немножко известен, имел уже имя и считался знаменитостью или же хотя и не был еще знаменит, но зато подавал блестящие надежды. Артист из драматического театра, большой, давно признанный талант, изящный, умный и скромный человек и отличный чтец, учивший Ольгу Ивановну читать; певец из оперы, добродушный толстяк, со вздохом уверявший Ольгу Ивановну, что она губит себя: если бы она не ленилась и взяла себя в руки, то из нее вышла бы замечательная певица; затем несколько художников

и во главе их жанрист, анималист* и пейзажист Рябовский, очень красивый белокурый молодой человек, лет двадцати пяти, имевший успех на выставках и продавший свою последнюю картину за пятьсот рублей; он поправлял Ольге Ивановне ее этюды и говорил, что из нее, быть может, выйдет толк; затем виолончелист, у которого инструмент плакал и который откровенно сознавался, что из всех знакомых ему женщин умеет аккомпанировать одна только Ольга Ивановна; затем литератор, молодой, но уже известный, писавший повести, пьесы и рассказы. Еще кто? Ну, еще Василий Васильич, барин, помещик, дилетант-иллюстратор и виньетист, сильно чувствовавший старый русский стиль, былину и эпос; на бумаге, на фарфоре и на закопченных тарелках он производил буквально чудеса. Среди этой артистической, свободной и избалованной судьбою компании, правда деликатной и скромной, но вспоминавшей о существовании каких-то докторов только во время болезни и для которой имя Дымов звучало так же безразлично, как Сидоров или Тарасов,— среди этой компании Дымов казался чужим, лишним и маленьким, хотя был высок ростом и широк в плечах. Казалось, что на нем чужой фрак и что у него приказчицкая бородка. Впрочем, если бы он был писателем или художником, то сказали бы, что своей бородкой он напоминает Зола.

Артист говорил Ольге Ивановне, что со своими льняными волосами и в венчальном наряде она очень похожа на стройное вишневое деревцо, когда весною оно сплошь бывает покрыто нежными белыми цветами.

— Нет, вы послушайте! — говорила ему Ольга Ивановна, хватая его за руку.— Как это могло вдруг случиться? Вы слушайте, слушайте... Надо вам сказать, что отец служил вместе с Дымовым в одной больнице. Когда бедняжка-отец заболел, то Дымов по целым дням и ночам дежурил около его постели. Столько самопожертвования! Слушайте, Рябовский... И вы, писатель, слушайте, это очень интересно. Подойдите поближе. Сколько самопожертвования, искреннего участия! Я тоже не спала ночи и сидела около отца, и вдруг — здравствуйте, победила добра молодца! Мой Дымов врезался по самые уши. Право, судьба бывает так причудлива. Ну, после смерти отца он иногда бывал у меня, встречался на улице и в один прекрасный вечер вдруг — бац! — сделал предложение... как снег на голову... Я всю ночь проплакала и сама влюбилась адски. И вот, как видите, стала супругой. Не правда ли, в нем есть что-то сильное, могучее, медвежье? Теперь его лицо обращено к нам в три четверти, плохо освещено, но когда он обернется, вы посмотрите на его лоб. Рябовский, что вы скажете об этом лбе? Дымов, мы о тебе говорим! — крикнула она мужу.— Иди сюда. Протяни свою честную руку Рябовскому... Вот так. Будьте друзьями.

Дымов, добродушно и наивно улыбаясь, протянул Рябовскому руку и сказал:

— Очень рад. Со мной кончил курс тоже некто Рябовский. Это не родственник ваш?

II

Ольге Ивановне было двадцать два года, Дымову тридцать один. Зажили они после свадьбы превосходно. Ольга Ивановна в гостиной увешала все стены сплошь своими и чужими этюдами в рамах и без рам, а около рояля и мебели устроила красивую тесноту из китайских зонтов, мольбертов, разноцветных тряпочек, кинжалов, бюстиков, фотографий... В столовой она оклеила стены лубочными картинами, повесила лапти и серпы, поставила в углу косу и грабли, и получилась столовая в русском вкусе. В спальне она, чтобы похоже было на пещеру, задрапировала потолок и стены темным сукном, повесила над кроватями венецианский фонарь, а у дверей поставила фигуру с алебардой. И все находили, что у молодых супругов очень миленький уголок.

Ежедневно, вставши с постели часов в одиннадцать, Ольга Ивановна играла на рояли или же, если было солнце, писала что-нибудь масляными красками. Потом, в первом часу, она ехала к своей портнихе. Так как у нее и Дымова денег было очень немного, в обрез, то, чтобы часто появляться в новых платьях и поражать своими нарядами, ей и ее портнихе приходилось пускаться на хитрости. Очень часто из старого перекрашенного платья, из ничего не стоящих кусочков тюля, кружев, плюша и шелка выходили просто чудеса, нечто обворожительное, не платье, а мечта. От портнихи Ольга Ивановна обыкновенно ехала к какой-нибудь знакомой актрисе, чтобы узнать театральные новости и кстати похлопотать насчет билета к первому представлению новой пьесы или к бенефису*. От актрисы нужно было ехать в мастерскую художника или на картинную выставку, потом к кому-нибудь из знаменитостей — приглашать к себе, или отдать визит, или просто поболтать. И везде ее встречали весело и дружелюбно и уверяли ее, что она хорошая, милая, редкая... Те, которых она называла знаменитыми и великими, принимали ее, как свою, как ровню, и пророчили ей в один голос, что при ее талантах, вкусе и уме, если она не разбросается, выйдет большой толк. Она пела, играла на рояли, писала красками, лепила, участвовала в любительских спектаклях, но все это не как-нибудь, а с талантом; делала ли она фонарики для иллюминации, рядилась ли, завязывала ли кому галстук — все у нее выходило необыкновенно художественно, грациозно и мило. Но ни в чем

ее талантливость не сказывалась так ярко, как в ее уменье быстро знакомиться и коротко сходиться с знаменитыми людьми. Стоило кому-нибудь прославиться хоть немножко и заставить о себе говорить, как она уж знакомилась с ним, в тот же день дружилась и приглашала к себе. Всякое новое знакомство было для нее сущим праздником. Она боготворила знаменитых людей, гордилась ими и каждую ночь видела их во сне. Она жаждала их и никак не могла утолить своей жажды. Старые уходили и забывались, приходили на смену им новые, но и к этим она скоро привыкала или разочаровывалась в них и начинала жадно искать новых и новых великих людей, находила и опять искала. Для чего?

В пятом часу она обедала дома с мужем. Его простота, здравый смысл и добродушие приводили ее в умиление и восторг. Она то и дело вскакивала, порывисто обнимала его голову и осыпала ее поцелуями.

— Ты, Дымов, умный, благородный человек,— говорила она,— но у тебя есть один очень важный недостаток. Ты совсем не интересуешься искусством. Ты отрицаешь и музыку и живопись.

— Я не понимаю их,— говорил он кротко.— Я всю жизнь занимался естественными науками и медициной, и мне некогда было интересоваться искусствами.

— Но ведь это ужасно, Дымов!

— Почему же? Твои знакомые не знают естественных наук и медицины, однако же ты не ставишь им этого в упрек. У каждого свое. Я не понимаю пейзажей и опер, но думаю так: если одни умные люди посвящают им всю свою жизнь, а другие умные люди платят за них громадные деньги, то, значит, они нужны. Я не понимаю, но не понимать не значит отрицать.

— Дай я пожму твою честную руку!

После обеда Ольга Ивановна ехала к знакомым, потом в театр или на концерт и возвращалась домой после полуночи. Так каждый день.

По средам у нее бывали вечеринки. На этих вечеринках хозяйка и гости не играли в карты и не танцевали, а развлекали себя разными художествами. Актер из драматического театра читал, певец пел, художники рисовали в альбомы, которых у Ольги Ивановны было множество, виолончелист играл, и сама хозяйка тоже рисовала, лепила, пела и аккомпанировала. В промежутках между чтением, музыкой и пением говорили и спорили о литературе, театре и живописи. Дам не было, потому что Ольга Ивановна всех дам, кроме актрис и своей портнихи, считала скучными и пошлыми. Ни одна вечеринка не обходилась без того, чтобы хозяйка не вздрагавала при каждом звонке и не говорила с победным выражением лица: «Это он!», разумея под словом

«он» какую-нибудь новую приглашенную знаменитость. Дымова в гостиной не было, и никто не вспоминал об его существовании. Но ровно в половине двенадцатого отворялась дверь, ведущая в столовую, показывался Дымов со своею добродушною кроткою улыбкой и говорил, потирая руки:

— Пожалуйте, господа, закусить.

Все шли в столовую и всякий раз видели на столе одно и то же: блюдо с устрицами, кусок ветчины или телятины, сардины, сыр, икру, грибы, водку и два графина с вином.

— Милый мой метр-д'отель! — говорила Ольга Ивановна, всплескивая руками от восторга.— Ты просто очарователен! Господа, посмотрите на его лоб! Дымов, повернись в профиль. Господа, посмотрите: лицо бенгальского тигра, а выражение доброе и милое, как у оленя. У, милый!

Гости ели и, глядя на Дымова, думали: «В самом деле, славный малый», но скоро забывали о нем и продолжали говорить о театре, музыке и живописи.

Молодые супруги были счастливы, и жизнь их текла как по маслу. Впрочем, третья неделя их медового месяца была проведена не совсем счастливо, даже печально. Дымов заразился в больнице рожей, пролежал в постели шесть дней и должен был остричь догола свои красивые черные волосы. Ольга Ивановна сидела около него и горько плакала, но, когда ему полегчало, она надела на его стриженую голову беленький платок и стала писать с него бедуина. И обоим было весело. Дня через три после того, как он, выздоровевши, стал опять ходить в больницы, с ним произошло новое недоразумение.

— Мне не везет, мама! — сказал он однажды за обедом.— Сегодня у меня было четыре вскрытия, и я себе сразу два пальца порезал. И только дома я это заметил.

Ольга Ивановна испугалась. Он улыбнулся и сказал, что это пустяки и что ему часто приходится во время вскрытий делать себе порезы на руках.

— Я увлекаюсь, мама, и становлюсь рассеянным.

Ольга Ивановна с тревогой ожидала трупного заражения и по ночам молилась богу, но все обошлось благополучно. И опять потекла мирная счастливая жизнь без печалей и тревог. Настоящее было прекрасно, а на смену ему приближалась весна, уже улыбавшаяся издали и обещавшая тысячу радостей. Счастью не будет конца! В апреле, в мае и в июне дача далеко за городом, прогулки, этюды, рыбная ловля, соловьи, а потом, с июля до самой осени, поездка художников на Волгу, и в этой поездке, как непременный член сосьете[1], будет принимать участие и Ольга Ивановна. Она уже сшила себе два дорожных костюма из

---

[1] Общества (от *франц.* société).

холстинки, купила на дорогу красок, кистей, холста и новую палитру. Почти каждый день к ней приходил Рябовский, чтобы посмотреть, какие она сделала успехи по живописи. Когда она показывала ему свою живопись, он засовывал руки глубоко в карманы, крепко сжимал губы, сопел и говорил:

— Так-с... Это облако у вас кричит: оно освещено не по-вечернему. Передний план как-то сжеван и что-то, понимаете ли, не то... А избушка у вас подавилась чем-то и жалобно пищит... надо бы угол этот потемнее взять. А в общем недурственно... Хвалю.

И чем он непонятнее говорил, тем легче Ольга Ивановна его понимала.

III

На второй день троицы* после обеда Дымов купил закусок и конфет и поехал к жене на дачу. Он не виделся с нею уже две недели и сильно соскучился. Сидя в вагоне и потом отыскивая в большой роще свою дачу, он все время чувствовал голод и утомление и мечтал о том, как он на свободе поужинает вместе с женой и потом завалится спать. И ему весело было смотреть на свой сверток, в котором были завернуты икра, сыр и белорыбица.

Когда он отыскал свою дачу и узнал ее, уже заходило солнце. Старуха горничная сказала, что барыни нет дома и что, должно быть, они скоро придут. На даче, очень неприглядной на вид, с низкими потолками, оклеенными писчею бумагой, и с неровными щелистыми полами, было только три комнаты. В одной стояла кровать, в другой на стульях и окнах валялись холсты, кисти, засаленная бумага и мужские пальто и шляпы, а в третьей Дымов застал трех каких-то незнакомых мужчин. Двое были брюнеты с бородками, и третий, совсем бритый и толстый, по-видимому — актер. На столе кипел самовар.

— Что вам угодно? — спросил актер басом, нелюдимо оглядывая Дымова.— Вам Ольгу Ивановну нужно? Погодите, она сейчас придет.

Дымов сел и стал дожидаться. Один из брюнетов, сонно и вяло поглядывая на него, налил себе чаю и спросил:

— Может, чаю хотите?

Дымову хотелось и пить и есть, но, чтобы не портить себе аппетита, он отказался от чая. Скоро послышались шаги и знакомый смех; хлопнула дверь, и в комнату вбежала Ольга Ивановна в широкополой шляпе и с ящиком в руке, а вслед за нею с большим зонтом и со складным стулом вошел веселый, краснощекий Рябовский.

— Дымов! — вскрикнула Ольга Ивановна и вспыхнула от

радости.— Дымов! — повторила она, кладя ему на грудь голову и обе руки.— Это ты! Отчего ты так долго не приезжал? Отчего? Отчего?

— Когда же мне, мама? Я всегда занят, а когда бываю свободен, то все случается так, что расписание поездов не подходит.

— Но как я рада тебя видеть! Ты мне всю, всю ночь снился, и я боялась, как бы ты не заболел. Ах, если б ты знал, как ты мил, как ты кстати приехал! Ты будешь моим спасителем. Ты один только можешь спасти меня! Завтра будет здесь преоригинальная свадьба,— продолжала она, смеясь и завязывая мужу галстук.— Женится молодой телеграфист на станции, некто Чикельдеев. Красивый молодой человек, ну, неглупый и есть в лице, знаешь, что-то сильное, медвежье... Можно с него молодого варяга писать. Мы, все дачники, принимаем в нем участие и дали ему честное слово быть у него на свадьбе... Человек небогатый, одинокий, робкий, и, конечно, было бы грешно отказать ему в участии. Представь, после обедни венчанье, потом из церкви все пешком до квартиры невесты... понимаешь, роща, пение птиц, солнечные пятна на траве, и все мы разноцветными пятнами на ярко-зеленом фоне — преоригинально, во вкусе французских экспрессионистов. Но, Дымов, в чем я пойду в церковь? — сказала Ольга Ивановна и сделала плачущее лицо.— У меня здесь ничего нет, буквально ничего! Ни платья, ни цветов, ни перчаток... Ты должен меня спасти. Если приехал, то, значит, сама судьба велит тебе спасать меня. Возьми, мой дорогой, ключи, поезжай домой и возьми там в гардеробе мое розовое платье. Ты его помнишь, оно висит первое... Потом в кладовой с правой стороны на полу ты увидишь две картонки. Как откроешь верхнюю, так там все тюль, тюль, тюль и разные лоскутки, а под ними цветы. Цветы все вынь осторожно, постарайся, дуся, не помять, их потом я выберу... И перчатки купи.

— Хорошо,— сказал Дымов.— Я завтра поеду и пришлю.

— Когда же завтра? — спросила Ольга Ивановна и посмотрела на него с удивлением.— Когда же ты успеешь завтра? Завтра отходит первый поезд в девять часов, а венчание в одиннадцать. Нет, голубчик, надо сегодня, обязательно сегодня! Если завтра тебе нельзя будет приехать, то пришли с рассыльным. Ну, иди же... Сейчас должен прийти пассажирский поезд. Не опоздай, дуся.

— Хорошо.

— Ах, как мне жаль тебя отпускать,— сказала Ольга Ивановна, и слезы навернулись у нее на глазах.— И зачем я, дура, дала слово телеграфисту?

Дымов быстро выпил стакан чаю, взял баранку и, кротко улыбаясь, пошел на станцию. А икру, сыр и белорыбицу съели два брюнета и толстый актер.

IV

В тихую лунную июльскую ночь Ольга Ивановна стояла на палубе волжского парохода и смотрела то на воду, то на красивые берега. Рядом с нею стоял Рябовский и говорил ей, что черные тени на воде — не тени, а сон, что в виду этой колдовской воды с фантастическим блеском, в виду бездонного неба и грустных, задумчивых берегов, говорящих о суете нашей жизни и о существовании чего-то высшего, вечного, блаженного, хорошо бы забыться, умереть, стать воспоминанием. Прошедшее пошло и не интересно, будущее ничтожно, а эта чудная, единственная в жизни ночь скоро кончится, сольется с вечностью — зачем же жить?

А Ольга Ивановна прислушивалась то к голосу Рябовского, то к тишине ночи и думала о том, что она бессмертна и никогда не умрет. Бирюзовый цвет воды, какого она раньше никогда не видала, небо, берега, черные тени и безотчетная радость, наполнявшая ее душу, говорили ей, что из нее выйдет великая художница и что где-то там за далью, за лунной ночью, в бесконечном пространстве ожидают ее успех, слава, любовь народа... Когда она не мигая долго смотрела вдаль, ей чудились толпы людей, огни, торжественные звуки музыки, крики восторга, сама она в белом платье и цветы, которые сыпались на нее со всех сторон. Думала она также о том, что рядом с нею, облокотившись о борт, стоит настоящий великий человек, гений, божий избранник... Все, что он создал до сих пор, прекрасно, ново и необыкновенно, а то, что создаст он со временем, когда с возмужалостью окрепнет его редкий талант, будет поразительно, неизмеримо высоко, и это видно по его лицу, по манере выражаться и по его отношению к природе. О тенях, вечерних тонах, о лунном блеске он говорит как-то особенно, своим языком, так что невольно чувствуется обаяние его власти над природой. Сам он очень красив, оригинален, и жизнь его, независимая, свободная, чуждая всего житейского, похожа на жизнь птицы.

— Становится свежо,— сказала Ольга Ивановна и вздрогнула.

Рябовский окутал ее в свой плащ и сказал печально:

— Я чувствую себя в вашей власти. Я раб. Зачем вы сегодня так обворожительны?

Он все время глядел на нее не отрываясь, и глаза его были страшны, и она боялась взглянуть на него.

— Я безумно люблю вас...— шептал он, дыша ей на щеку.— Скажите мне одно слово, и я не буду жить, брошу искусство...— бормотал он в сильном волнении.— Любите меня, любите...

— Не говорите так,— сказала Ольга Ивановна, закрывая глаза.— Это страшно. А Дымов?

— Что Дымов? Почему Дымов? Какое мне дело до Дымова? Волга, луна, красота, моя любовь, мой восторг, а никакого нет Дымова... Ах, я ничего не знаю... Не нужно мне прошлого, мне дайте одно мгновение... один миг!

У Ольги Ивановны забилось сердце. Она хотела думать о муже, но все ее прошлое со свадьбой, с Дымовым и с вечеринками казалось ей маленьким, ничтожным, тусклым, ненужным и далеким-далеким... В самом деле: что Дымов? почему Дымов? какое ей дело до Дымова? Да существует ли он в природе, и не сон ли он только?

«Для него, простого и обыкновенного человека, достаточно и того счастья, которое он уже получил,— думала она, закрывая лицо руками.— Пусть осуждают *там*, проклинают, а я вот назло всем возьму и погибну, возьму вот и погибну... Надо испытать все в жизни. Боже, как жутко и как хорошо!»

— Ну что? Что? — бормотал художник, обнимая ее и жадно целуя руки, которыми она слабо пыталась отстранить его от себя.— Ты меня любишь? Да? Да? О, какая ночь! Чудная ночь!

— Да, какая ночь! — прошептала она, глядя ему в глаза, блестящие от слез, потом быстро оглянулась, обняла его и крепко поцеловала в губы.

— К Кинешме подходим! — сказал кто-то на другой стороне палубы.

Послышались тяжелые шаги. Это проходил мимо человек из буфета.

— Послушайте,— сказала ему Ольга Ивановна, смеясь и плача от счастья,— принесите нам вина.

Художник, бледный от волнения, сел на скамью, посмотрел на Ольгу Ивановну обожающими, благодарными глазами, потом закрыл глаза и сказал, томно улыбаясь:

— Я устал.

И прислонился головою к борту.

V

Второго сентября день был теплый и тихий, но пасмурный. Рано утром на Волге бродил легкий туман, а после девяти часов стал накрапывать дождь. И не было никакой надежды, что небо прояснится. За чаем Рябовский говорил Ольге Ивановне, что живопись — самое неблагодарное и самое скучное искусство, что он не художник, что одни только дураки думают, что у него есть талант, и вдруг, ни с того ни с сего, схватил нож и поцарапал им свой самый лучший этюд. После чая он, мрачный, сидел у окна и смотрел на Волгу. А Волга уже была без блеска, тусклая, матовая, холодная на вид. Все, все напоминало о приближе-

нии тоскливой, хмурой осени. И казалось, что роскошные зеленые ковры на берегах, алмазные отражения лучей, прозрачную синюю даль и все щегольское и парадное природа сняла теперь с Волги и уложила в сундуки до будущей весны, и вороны летали около Волги и дразнили ее: «Голая! Голая!» Рябовский слушал их карканье и думал о том, что он уже выдохся и потерял талант, что все на этом свете условно, относительно и глупо и что не следовало бы связывать себя с этой женщиной... Одним словом, он был не в духе и хандрил.

Ольга Ивановна сидела за перегородкой на кровати и, перебирая пальцами свои прекрасные льняные волосы, воображала себя то в гостиной, то в спальне, то в кабинете мужа; воображение уносило ее в театр, к портнихе и к знаменитым друзьям. Что-то они поделывают теперь? Вспоминают ли о ней? Сезон уже начался, и пора бы подумать о вечеринках. А Дымов? Милый Дымов! Как кротко и детски-жалобно он просит ее в своих письмах поскорее ехать домой! Каждый месяц он высылал ей по семьдесят пять рублей, а когда она написала ему, что задолжала художникам сто рублей, то он прислал ей и эти сто. Какой добрый, великодушный человек! Путешествие утомило Ольгу Ивановну, она скучала, и ей хотелось поскорее уйти от этих мужиков, от запаха речной сырости и сбросить с себя это чувство физической нечистоты, которое она испытывала все время, живя в крестьянских избах и кочуя из села в село. Если бы Рябовский не дал честного слова художникам, что он проживет с ними здесь до двадцатого сентября, то можно было бы уехать сегодня же. И как бы это было хорошо!

— Боже мой,— простонал Рябовский,— когда же наконец будет солнце? Не могу же я солнечный пейзаж продолжать без солнца!..

— А у тебя есть этюд при облачном небе,— сказала Ольга Ивановна, выходя из-за перегородки.— Помнишь, на правом плане лес, а на левом — стадо коров и гуси. Теперь ты мог бы его кончить.

— Э! — поморщился художник.— Кончить! Неужели вы думаете, что сам я так глуп, что не знаю, что мне нужно делать!

— Как ты ко мне переменился! — вздохнула Ольга Ивановна.

— Ну, и прекрасно.

У Ольги Ивановны задрожало лицо, она отошла к печке и заплакала.

— Да, недоставало только слез. Перестаньте! У меня тысячи причин плакать, однако же я не плачу.

— Тысячи причин! — всхлипнула Ольга Ивановна.— Самая главная причина, что вы уже тяготитесь мной. Да! — сказала она и зарыдала.— Если говорить правду, то вы стыдитесь нашей

любви. Вы все стараетесь, чтобы художники не заметили, хотя этого скрыть нельзя и им все давно уже известно.

— Ольга, я об одном прошу вас,— сказал художник умоляюще и приложив руку к сердцу,— об одном: не мучьте меня! Больше мне от вас ничего не нужно!

— Но поклянитесь, что вы меня все еще любите!

— Это мучительно! — процедил сквозь зубы художник и вскочил.— Кончится тем, что я брошусь в Волгу или сойду с ума! Оставьте меня!

— Ну, убейте, убейте меня! — крикнула Ольга Ивановна.— Убейте!

Она опять зарыдала и пошла за перегородку. На соломенной крыше избы зашуршал дождь. Рябовский схватил себя за голову и прошелся из угла в угол, потом с решительным лицом, как будто желая что-то кому-то доказать, надел фуражку, перекинул через плечо ружье и вышел из избы.

По уходе его Ольга Ивановна долго лежала на кровати и плакала. Сначала она думала о том, что хорошо бы отравиться, чтобы вернувшийся Рябовский застал ее мертвою, потом же она унеслась мыслями в гостиную, в кабинет мужа и вообразила, как она сидит неподвижно рядом с Дымовым и наслаждается физическим покоем и чистотой и как вечером сидит в театре и слушает Мазини*. И тоска по цивилизации, по городскому шуму и известным людям защемила ее сердце. В избу вошла баба и стала не спеша топить печь, чтобы готовить обед. Запахло гарью, и воздух посинел от дыма. Приходили художники в высоких грязных сапогах и с мокрыми от дождя лицами, рассматривали этюды и говорили себе в утешение, что Волга даже и в дурную погоду имеет свою прелесть. А дешевые часы на стенке: тик-тик-тик... Озябшие мухи столпились в переднем углу около образов и жужжат, и слышно, как под лавками в толстых папках возятся прусаки...

Рябовский вернулся домой, когда заходило солнце. Он бросил на стол фуражку и, бледный, замученный, в грязных сапогах, опустился на лавку и закрыл глаза.

— Я устал...— сказал он и задвигал бровями, силясь поднять веки.

Чтобы приласкаться к нему и показать, что она не сердится, Ольга Ивановна подошла к нему, молча поцеловала и провела гребенкой по его белокурым волосам. Ей захотелось причесать его.

— Что такое? — спросил он, вздрогнув, точно к нему прикоснулись чем-то холодным, и открыл глаза.— Что такое? Оставьте меня в покое, прошу вас.

Он отстранил ее руками и отошел, и ей показалось, что лицо его выражало отвращение и досаду. В это время баба осторожно

несла ему в обеих руках тарелку со щами, и Ольга Ивановна видела, как она обмочила во щах свои большие пальцы. И грязная баба с перетянутым животом, и щи, которые стал жадно есть Рябовский, и изба, и вся эта жизнь, которую вначале она так любила за простоту и художественный беспорядок, показались ей теперь ужасными. Она вдруг почувствовала себя оскорбленной и сказала холодно:

— Нам нужно расстаться на некоторое время, а то от скуки мы можем серьезно поссориться. Мне это надоело. Сегодня я уеду.

— На чем? На палочке верхом?

— Сегодня четверг, значит, в половине десятого придет пароход.

— А? Да, да... Ну что ж, поезжай...— сказал мягко Рябовский, утираясь вместо салфетки полотенцем.— Тебе здесь скучно и делать нечего, и надо быть большим эгоистом, чтобы удерживать тебя. Поезжай, а после двадцатого увидимся.

Ольга Ивановна укладывалась весело, и даже щеки у нее разгорелись от удовольствия. Неужели это правда,— спрашивала она себя,— что скоро она будет писать в гостиной, а спать в спальне и обедать со скатертью? У нее отлегло от сердца, и она уже не сердилась на художника.

— Краски и кисти я оставлю тебе, Рябуша,— говорила она.— Что останется, привезешь... Смотри же, без меня тут не ленись, не хандри, а работай. Ты у меня молодчина, Рябуша.

В девять часов Рябовский на прощанье поцеловал ее для того, как она думала, чтобы не целовать на пароходе при художниках, и проводил на пристань. Подошел скоро пароход и увез ее.

Приехала она домой через двое с половиной суток. Не снимая шляпы и ватерпруфа*, тяжело дыша от волнения, она прошла в гостиную, а оттуда в столовую. Дымов без сюртука, в расстегнутой жилетке сидел за столом и точил нож о вилку; перед ним на тарелке лежал рябчик. Когда Ольга Ивановна входила в квартиру, она была убеждена, что необходимо скрыть все от мужа и что на это хватит у нее уменья и силы, но теперь, когда она увидела широкую, кроткую, счастливую улыбку и блестящие, радостные глаза, она почувствовала, что скрывать от этого человека так же подло, отвратительно и так же невозможно и не под силу ей, как оклеветать, украсть или убить, и она в одно мгновение решила рассказать ему все, что было. Давши ему поцеловать себя и обнять, она опустилась перед ним на колени и закрыла лицо.

— Что? Что, мама? — спросил он нежно.— Соскучилась?

Она подняла лицо, красное от стыда, и поглядела на него виновато и умоляюще, но страх и стыд помешали ей говорить правду.

— Ничего...— сказала она.— Это я так...

— Сядем,— сказал он, поднимая ее и усаживая за стол.— Вот так... Кушай рябчика. Ты проголодалась, бедняжка.

Она жадно вдыхала в себя родной воздух и ела рябчика, а он с умилением глядел на нее и радостно смеялся.

VI

По-видимому, с середины зимы Дымов стал догадываться, что его обманывают. Он, как будто у него была совесть нечиста, не мог уже смотреть жене прямо в глаза, не улыбался радостно при встрече с нею и, чтобы меньше оставаться с нею наедине, часто приводил к себе обедать своего товарища Коростелева, маленького стриженого человечка с помятым лицом, который, когда разговаривал с Ольгой Ивановной, то от смущения расстегивал все пуговицы своего пиджака и опять их застегивал и потом начинал правой рукой щипать свой левый ус. За обедом оба доктора говорили о том, что при высоком стоянии диафрагмы иногда бывают перебои сердца, или что множественные невриты в последнее время наблюдаются очень часто, или что вчера Дымов, вскрывши труп с диагностикой «злокачественная анемия», нашел рак поджелудочной железы. И казалось, что оба они вели медицинский разговор только для того, чтобы дать Ольге Ивановне возможность молчать, то есть не лгать. После обеда Коростелев садился за рояль, а Дымов вздыхал и говорил ему:

— Эх, брат! Ну, да что! Сыграй-ка что-нибудь печальное.

Подняв плечи и широко расставив пальцы, Коростелев брал несколько аккордов и начинал петь тенором «Укажи мне такую обитель, где бы русский мужик не стонал», а Дымов еще раз вздыхал, подпирал голову кулаком и задумывался.

В последнее время Ольга Ивановна вела себя крайне неосторожно. Каждое утро она просыпалась в самом дурном настроении и с мыслью, что она Рябовского уже не любит и что, слава богу, все уже кончено. Но, напившись кофе, она соображала, что Рябовский отнял у нее мужа и что теперь она осталась без мужа и без Рябовского; потом она вспоминала разговоры своих знакомых о том, что Рябовский готовит к выставке нечто поразительное, смесь пейзажа с жанром, во вкусе Поленова*, отчего все, кто бывает в его мастерской, приходят в восторг; но ведь это, думала она, он создал под ее влиянием, и вообще благодаря ее влиянию он сильно изменился к лучшему. Влияние ее так благотворно и существенно, что если она оставит его, то он, пожалуй, может погибнуть. И вспоминала она также, что в последний раз он приходил к ней в каком-то сером сюртучке с

искрами и в новом галстуке и спрашивал томно: «Я красив?» И в самом деле, он, изящный, со своими длинными кудрями и с голубыми глазами, был очень красив (или, быть может, так показалось) и был ласков с ней.

Вспомнив про многое и сообразив, Ольга Ивановна одевалась и в сильном волнении ехала в мастерскую к Рябовскому. Она заставала его веселым и восхищенным своею в самом деле великолепною картиной; он прыгал, дурачился и на серьезные вопросы отвечал шутками. Ольга Ивановна ревновала Рябовского к картине и ненавидела ее, но из вежливости простаивала перед картиной молча минут пять и, вздохнув, как вздыхают перед святыней, говорила тихо:

— Да, ты никогда не писал еще ничего подобного. Знаешь, даже страшно.

Потом она начинала умолять его, чтобы он любил ее, не бросал, чтобы пожалел ее, бедную и несчастную. Она плакала, целовала ему руки, требовала, чтобы он клялся ей в любви, доказывала ему, что без ее хорошего влияния он собьется с пути и погибнет. И, испортив ему хорошее настроение духа и чувствуя себя униженной, она уезжала к портнихе или к знакомой актрисе похлопотать насчет билета.

Если она не заставала его в мастерской, то оставляла ему письмо, в котором клялась, что если он сегодня не придет к ней, то она непременно отравится. Он трусил, приходил к ней и оставался обедать. Не стесняясь присутствием мужа, он говорил ей дерзости, она отвечала ему тем же. Оба чувствовали, что они связывают друг друга, что они деспоты и враги, и злились, и от злости не замечали, что оба они неприличны и что даже стриженый Коростелев понимает все. После обеда Рябовский спешил проститься и уйти.

— Куда вы идете? — спрашивала его Ольга Ивановна в передней, глядя на него с ненавистью.

Он, морщась и щуря глаза, называл какую-нибудь даму, общую знакомую, и было видно, что это он смеется над ее ревностью и хочет досадить ей. Она шла к себе в спальню и ложилась в постель; от ревности, досады, чувства унижения и стыда она кусала подушку и начинала громко рыдать. Дымов оставлял Коростелева в гостиной, шел в спальню и, сконфуженный, растерянный, говорил тихо:

— Не плачь громко, мама... Зачем? Надо молчать об этом... Надо не подавать вида... Знаешь, что случилось, того уже не поправишь.

Не зная, как усмирить в себе тяжелую ревность, от которой даже в висках ломило, и думая, что еще можно поправить дело, она умывалась, пудрила заплаканное лицо и летела к знакомой даме. Не застав у нее Рябовского, она ехала к другой, потом к

третьей... Сначала ей было стыдно так ездить, но потом она привыкла, и случалось, что в один вечер она объезжала всех знакомых женщин, чтобы отыскать Рябовского, и все понимали это.

Однажды она сказала Рябовскому про мужа:

— Этот человек гнетет меня своим великодушием!

Эта фраза ей так понравилась, что, встречаясь с художниками, которые знали об ее романе с Рябовским, она всякий раз говорила про мужа, делая энергический жест рукой:

— Этот человек гнетет меня своим великодушием!

Порядок жизни был такой же, как в прошлом году. По средам бывали вечеринки. Артист читал, художники рисовали, виолончелист играл, певец пел, и неизменно в половине двенадцатого открывалась дверь, ведущая в столовую, и Дымов, улыбаясь, говорил:

— Пожалуйте, господа, закусить.

По-прежнему Ольга Ивановна искала великих людей, находила и не удовлетворялась и опять искала. По-прежнему она каждый день возвращалась поздно ночью, но Дымов уже не спал, как в прошлом году, а сидел у себя в кабинете и что-то работал. Ложился он часа в три, а вставал в восемь.

Однажды вечером, когда она, собираясь в театр, стояла перед трюмо, в спальню вошел Дымов во фраке и в белом галстуке. Он кротко улыбался и, как прежде, радостно смотрел жене прямо в глаза. Лицо его сияло.

— Я сейчас диссертацию защищал,— сказал он, садясь и поглаживая колена.

— Защитил? — спросила Ольга Ивановна.

— Ого! — засмеялся он и вытянул шею, чтобы увидеть в зеркале лицо жены, которая продолжала стоять к нему спиной и поправлять прическу.— Ого! — повторил он.— Знаешь, очень возможно, что мне предложат приват-доцентуру по общей патологии. Этим пахнет.

Видно было по его блаженному, сияющему лицу, что если бы Ольга Ивановна разделила с ним его радость и торжество, то он простил бы ей все, и настоящее и будущее, и все бы забыл, но она не понимала, что значит приват-доцентура и общая патология, к тому же боялась опоздать в театр и ничего не сказала.

Он посидел две минуты, виновато улыбнулся и вышел.

VII

Это был беспокойнейший день.

У Дымова сильно болела голова; он утром не пил чаю, не пошел в больницу и все время лежал у себя в кабинете на турецком диване. Ольга Ивановна, по обыкновению, в первом часу

отправилась к Рябовскому, чтобы показать ему свой этюд nature morte[1] и спросить его, почему он вчера не приходил. Этюд казался ей ничтожным, и написала она его только затем, чтобы иметь лишний предлог сходить к художнику.

Она вошла к нему без звонка, и когда в передней снимала калоши, ей послышалось, как будто в мастерской что-то тихо пробежало, по-женски шурша платьем, и когда она поспешила заглянуть в мастерскую, то увидела только кусок коричневой юбки, который мелькнул на мгновение и исчез за большою картиной, занавешенной вместе с мольбертом до пола черным коленкором. Сомневаться нельзя было, это пряталась женщина. Как часто сама Ольга Ивановна находила себе убежище за этой картиной! Рябовский, по-видимому очень смущенный, как бы удивился ее приходу, протянул к ней обе руки и сказал, натянуто улыбаясь:

— А-а-а-а! Очень рад вас видеть. Что скажете хорошенького?

Глаза у Ольги Ивановны наполнились слезами. Ей было стыдно, горько, и она за миллион не согласилась бы говорить в присутствии посторонней женщины, соперницы, лгуньи, которая стояла теперь за картиной и, вероятно, злорадно хихикала.

— Я принесла вам этюд...— сказала она робко, тонким голоском, и губы ее задрожали,— nature morte.

— А-а-а... этюд?

Художник взял в руки этюд и, рассматривая его, как бы машинально прошел в другую комнату.

Ольга Ивановна покорно шла за ним.

— Nature morte... первый сорт,— бормотал он, подбирая рифму,— курорт... черт... порт...

Из мастерской послышались торопливые шаги и шуршанье платья. Значит, *она* ушла. Ольге Ивановне хотелось громко крикнуть, ударить художника по голове чем-нибудь тяжелым и уйти, но она ничего не видела сквозь слезы, была подавлена своим стыдом и чувствовала себя уже не Ольгой Ивановной и не художницей, а маленькою козявкой.

— Я устал...— томно проговорил художник, глядя на этюд и встряхивая головой, чтобы побороть дремоту.— Это мило, конечно, но и сегодня этюд, и в прошлом году этюд, и через месяц будет этюд... Как вам не наскучит? Я бы на вашем месте бросил живопись и занялся серьезно музыкой или чем-нибудь. Ведь вы не художница, а музыкантша. Однако, знаете, как я устал! Я сейчас скажу, чтоб дали чаю... А?

Он вышел из комнаты, и Ольга Ивановна слышала, как он что-то приказывал своему лакею. Чтоб не прощаться, не объяс-

---

[1] Изображение неодушевленных предметов *(франц.)*.

няться, а главное, не зарыдать, она, пока не вернулся Рябовский, поскорее побежала в переднюю, надела калоши и вышла на улицу. Тут она легко вздохнула и почувствовала себя навсегда свободной и от Рябовского, и от живописи, и от тяжелого стыда, который так давил ее в мастерской. Все кончено!

Она поехала к портнихе, потом к Барнаю*, который только вчера приехал, от Барная — в нотный магазин, и все время она думала о том, как она напишет Рябовскому холодное, жесткое, полное собственного достоинства письмо и как весною или летом она поедет с Дымовым в Крым, осободится там окончательно от прошлого и начнет новую жизнь.

Вернувшись домой поздно вечером, она, не переодеваясь, села в гостиной сочинять письмо. Рябовский сказал ей, что она не художница, и она в отместку напишет ему теперь, что он каждый год пишет все одно и то же и каждый день говорит одно и то же, что он застыл и что из него не выйдет ничего, кроме того, что уже вышло. Ей хотелось написать также, что он многим обязан ее хорошему влиянию, а если он поступает дурно, то это только потому, что ее влияние парализуется разными двусмысленными особами, вроде той, которая сегодня пряталась за картину.

— Мама! — позвал из кабинета Дымов, не отворяя двери.— Мама!

— Что тебе?

— Мама, ты не входи ко мне, а только подойди к двери.— Вот что... Третьего дня я заразился в больнице дифтеритом, и теперь... мне нехорошо. Пошли поскорее за Коростелевым.

Ольга Ивановна всегда звала мужа, как всех знакомых мужчин, не по имени, а по фамилии; его имя Осип не нравилось ей, потому что напоминало гоголевского Осипа и каламбур: «Осип охрип, а Архип осип». Теперь же она вскрикнула:

— Осип, это не может быть!

— Пошли! Мне нехорошо...— сказал за дверью Дымов, и слышно было, как он подошел к дивану и лег.— Пошли,— глухо послышался его голос.

«Что же это такое? — подумала Ольга Ивановна, холодея от ужаса.— Ведь это опасно!»

Без всякой надобности она взяла свечу и пошла к себе в спальню и тут, соображая, что ей нужно делать, нечаянно поглядела на себя в трюмо. С бледным, испуганным лицом, в жакете с высокими рукавами, с желтыми воланами на груди и с необыкновенным направлением полос на юбке она показалась себе страшной и гадкой. Ей вдруг стало до боли жаль Дымова, его безграничной любви к ней, его молодой жизни и даже этой его осироте-

лой постели, на которой он давно уже не спал, и вспоминалась ей его обычная, кроткая, покорная улыбка. Она горько заплакала и написала Коростелеву умоляющее письмо. Было два часа ночи.

VIII

Когда в восьмом часу утра Ольга Ивановна, с тяжелой от бессонницы головой, непричесанная, некрасивая и с виноватым выражением вышла из спальни, мимо нее прошел в переднюю какой-то господин с черною бородой, по-видимому доктор. Пахло лекарствами. Около двери в кабинет стоял Коростелев и правою рукой крутил левый ус.

— К нему, извините, я вас не пущу,— угрюмо сказал он Ольге Ивановне.— Заразиться можно. Да и не к чему вам, в сущности. Он все равно в бреду.

— У него настоящий дифтерит? — спросила шепотом Ольга Ивановна.

— Тех, кто на рожон лезет, по-настоящему, под суд отдавать надо,— пробормотал Коростелев, не отвечая на вопрос Ольги Ивановны.— Знаете, отчего он заразился? Во вторник у мальчика высасывал через трубочку дифтеритные пленки. А к чему? Глупо... Так, сдуру...

— Опасно? Очень? — спросила Ольга Ивановна.

— Да, говорят, что форма тяжелая. Надо бы за Шреком послать, в сущности.

Приходил маленький, рыженький, с длинным носом и с еврейским акцентом, потом высокий, сутулый, лохматый, похожий на протодьякона; потом молодой, очень полный, с красным лицом и в очках. Это врачи приходили дежурить около своего товарища. Коростелев, отдежурив свое время, не уходил домой, а оставался и, как тень, бродил по всем комнатам. Горничная подавала дежурившим докторам чай и часто бегала в аптеку, и некому было убрать комнат. Было тихо и уныло.

Ольга Ивановна сидела у себя в спальне и думала о том, что это бог ее наказывает за то, что она обманывала мужа. Молчаливое, безропотное, непонятное существо, обезличенное своею кротостью, бесхарактерное, слабое от излишней доброты, глухо страдало где-то там у себя на диване и не жаловалось. А если бы оно пожаловалось, хотя бы в бреду, то дежурные доктора узнали бы, что виноват тут не один только дифтерит. Спросили бы они Коростелева: он знает все и недаром на жену своего друга смотрит такими глазами, как будто она-то и есть самая главная, настоящая злодейка, а дифтерит только ее сообщник. Она уже не помнила ни лунного вечера на Волге, ни объяснений в любви, ни поэтической жизни в избе, а помнила только, что

она из пустой прихоти, из баловства, вся, с руками и с ногами, вымазалась во что-то грязное, липкое, от чего никогда уж не отмоешься...

«Ах, как я страшно солгала! — думала она, вспоминая о беспокойной любви, какая у нее была с Рябовским.— Будь оно все проклято!..»

В четыре часа она обедала вместе с Коростелевым. Он ничего не ел, пил только красное вино и хмурился. Она тоже ничего не ела. То она мысленно молилась и давала обет богу, что если Дымов выздоровеет, то она полюбит его опять и будет верною женой. То, забывшись на минуту, она смотрела на Коростелева и думала: «Неужели не скучно быть простым, ничем не замечательным, неизвестным человеком, да еще с таким помятым лицом и с дурными манерами?» То ей казалось, что ее сию минуту убьет бог за то, что она, боясь заразиться, ни разу еще не была в кабинете у мужа. А в общем было тупое унылое чувство и уверенность, что жизнь уже испорчена и что ничем ее не исправишь...

После обеда наступили потемки. Когда Ольга Ивановна вышла в гостиную, Коростелев спал на кушетке, подложив под голову шелковую подушку, шитую золотом. «Кхи-пуа...— храпел он,— кхи-пуа».

И доктора, приходившие дежурить и уходившие, не замечали этого беспорядка. То, что чужой человек спал в гостиной и храпел, и этюды на стенах, причудливая обстановка, и то, что хозяйка была непричесана и неряшливо одета,— все это не возбуждало теперь ни малейшего интереса. Один из докторов нечаянно чему-то засмеялся, и как-то странно и робко прозвучал этот смех, даже жутко сделалось.

Когда Ольга Ивановна в другой раз вышла в гостиную, Коростелев уже не спал, а сидел и курил.

— У него дифтерит носовой полости,— сказал он вполголоса.— Уже и сердце неважно работает. В сущности, плохи дела.

— А вы пошлите за Шреком,— сказала Ольга Ивановна.

— Был уже. Он-то и заметил, что дифтерит перешел в нос. Э, да что Шрек! В сущности, ничего Шрек. Он Шрек, я Коростелев — и больше ничего.

Время тянулось ужасно долго. Ольга Ивановна лежала одетая в неубранной с утра постели и дремала. Ей чудилось, что вся квартира от полу до потолка занята громадным куском железа и что стоит только вынести вон железо, как всем станет весело и легко. Очнувшись, она вспомнила, что это не железо, а болезнь Дымова.

«Nature morte, порт...— думала она, опять впадая в забытье,— спорт... курорт... А как Шрек? Шрек, грек, врек... крек.

А где-то теперь мои друзья? Знают ли они, что у нас горе? Господи, спаси... избави! Шрек, грек...»

И опять железо... Время тянулось длинно, а часы в нижнем этаже били часто. И то и дело слышались звонки; приходили доктора... Вошла горничная с пустым стаканом на подносе и спросила:

— Барыня, постель прикажете постлать?

И, не получив ответа, вышла. Пробили внизу часы, приснился дождь на Волге, и опять кто-то вошел в спальню, кажется, посторонний. Ольга Ивановна вскочила и узнала Коростелева.

— Который час? — спросила она.

— Около трех.

— Ну что?

— Да что! Я пришел сказать: кончается...

Он всхлипнул, сел на кровать рядом с ней и вытер слезы рукавом. Она сразу не поняла, но вся похолодела и стала медленно креститься.

— Кончается...— повторил он тонким голоском и опять всхлипнул.— Умирает, потому что пожертвовал собой... Какая потеря для науки! — сказал он с горечью.— Это, если всех нас сравнить с ним, был великий, необыкновенный человек! Какие дарования! Какие надежды он подавал нам всем! — продолжал Коростелев, ломая руки.— Господи боже мой, это был бы такой ученый, какого теперь с огнем не найдешь. Оська Дымов, Оська Дымов, что ты наделал! Ай-ай, боже мой!

Коростелев в отчаянии закрыл обеими руками лицо и покачал головой.

— А какая нравственная сила! — продолжал он, все больше и больше озлобляясь на кого-то.— Добрая, чистая, любящая душа — не человек, а стекло! Служил науке и умер от науки. А работал, как вол, день и ночь, никто его не щадил, и молодой ученый, будущий профессор, должен был искать себе практику и по ночам заниматься переводами, чтобы платить вот за эти... подлые тряпки!

Коростелев поглядел с ненавистью на Ольгу Ивановну, ухватился за простыню обеими руками и сердито рванул, как будто она была виновата.

— И сам себя на щадил, и его не щадили. Э, да что, в сущности!

— Да, редкий человек! — сказал кто-то басом в гостиной.

Ольга Ивановна вспомнила всю свою жизнь с ним, от начала до конца, со всеми подробностями, и вдруг поняла, что это был в самом деле необыкновенный, редкий и, в сравнении с теми, кого она знала, великий человек. И, вспомнив, как к нему относились ее покойный отец и все товарищи-врачи, она поняла, что

все они видели в нем будущую знаменитость. Стены, потолок, лампа и ковер на полу замигали ей насмешливо, как бы желая сказать: «Прозевала! прозевала!» Она с плачем бросилась из спальни, шмыгнула в гостиной мимо какого-то незнакомого человека и вбежала в кабинет к мужу. Он лежал неподвижно на турецком диване, покрытый до пояса одеялом. Лицо его страшно осунулось, похудело и имело серовато-желтый цвет, какого никогда не бывает у живых; и только по лбу, по черным бровям да по знакомой улыбке можно было узнать, что это Дымов. Ольга Ивановна быстро ощупала его грудь, лоб и руки. Грудь еще была тепла, но лоб и руки были неприятно холодны. И полуоткрытые глаза смотрели не на Ольгу Ивановну, а на одеяло.

— Дымов! — позвала она громко.— Дымов!

Она хотела объяснить ему, что то была ошибка, что не все еще потеряно, что жизнь еще может быть прекрасной и счастливой, что он редкий, необыкновенный, великий человек и что она будет всю жизнь благоговеть перед ним, молиться и испытывать священный страх...

— Дымов! — звала она его, трепля его за плечо и не веря тому, что он уже никогда не проснется.— Дымов, Дымов же!

А в гостиной Коростелев говорил горничной:

— Да что тут спрашивать? Вы ступайте в церковную сторожку и спросите, где живут богаделки. Они и обмоют тело и уберут — все сделают, что нужно.

1891

В ССЫЛКЕ

Старый Семен, прозванный Толковым, и молодой татарин, которого никто не знал по имени, сидели на берегу около костра; остальные три перевозчика находились в избе. Семен, старик лет шестидесяти, худощавый и беззубый, но широкий в плечах и на вид еще здоровый, был пьян; он давно бы уже пошел спать, но в кармане у него был полуштоф, и он боялся, как бы в избе молодцы не попросили у него водки. Татарин был болен, томился и, кутаясь в свои лохмотья, рассказывал, как хорошо в Симбирской губернии и какая у него осталась дома красивая и умная жена. Ему было лет двадцать пять, не больше, а теперь, при свете костра, он, бледный, с печальным болезненным лицом, казался мальчиком.

— Оно, конечно, тут не рай,— говорил Толковый.— Сам видишь: вода, голые берега, кругом глина и больше ничего... Святая давно уже прошла, а на реке лед идет и утром нынче снег был.

— Худо! худо! — сказал татарин и огляделся с испугом. Шагах в десяти текла темная холодная река; она ворчала, хлюпала об изрытый глинистый берег и быстро неслась куда-то в далекое море. У самого берега темнела большая баржа, которую перевозчики называют «карбасом»*. Далеко на том берегу, потухая и переливаясь, змейками ползали огни: это жгли прошлогоднюю траву. А за змейками опять потемки. Слышно, как небольшие льдины стучат о баржу. Сыро, холодно...

Татарин взглянул на небо. Звезд так же много, как дома у него, такая же чернота кругом, но чего-то недостает. Дома, в Симбирской губернии, совсем не такие звезды и не такое небо.

— Худо! худо! — повторил он.

— Привыкнешь! — сказал Толковый и засмеялся.— Теперь ты еще молодой, глупый, молоко на губах не обсохло, и кажется тебе по глупости, что несчастней тебя человека нет, а придет время, сам скажешь: дай бог всякому такой жизни. Ты на меня погляди. Через неделю времени пройдет вода и поставим тут паром, вы все пойдете по Сибири гулять, а я останусь и зачну ходить от берега к берегу. Уж двадцать два года так хожу. День и ночь. Щука и нельма* под водой, а я над водой. И слава богу. Ничего мне не надо. Дай бог всякому такой жизни.

Татарин подложил в костер хворосту, лег поближе к огню и сказал:

— У меня отец хворый человек. Когда он помрет, мать и жена сюда приедут. Обещали.

— А на что тебе мать и жена? — спросил Толковый.— Одна глупость, брат. Это тебя бес смущает, язви его душу. Ты его не слушай, проклятого. Не давай ему воли. Он тебе насчет бабы, а ты ему назло: не желаю! Он тебе насчет воли, а ты упрись и — не желаю! Ничего не надо! Нету ни отца, ни матери, ни жены, ни воли, ни двора, ни кола! Ничего не надо, язви их душу!

Толковый потянул из бутылки и продолжал:

— Я, братуша, не мужик простой, не из хамского звания, а дьячковский сын и, когда на воле жил в Курске, в сюртуке ходил, а теперь довел себя до такой точки, что могу голый на земле спать и траву жрать. И дай бог всякому такой жизни. Ничего мне не надо, и никого я не боюсь, и так себя понимаю, что богаче и вольнее меня человека нет. Как прислали меня сюда из России, я с первого же дня уперся: ничего не хочу! Бес мне и про жену, и про родню, и про волю, а я ему: ничего мне не надо! Уперся на своем и вот, как видишь, хорошо живу, не жалуюсь. А ежели кто даст поблажку бесу и хоть раз послушается, тот пропал, нет ему спасения: завязнет в болоте по самую маковку и не вылезет. Не то, что ваш брат, глупый мужик, но и благородные и образованные пропадают. Лет

пятнадцать назад прислали сюда из России одного барина. С братьями что-то там не поделил и в завещании фальшь сделал какую-то. Сказывали, из князей или баронов, а может, и просто из чиновников — кто его знает! Ну, приехал сюда барин и первым делом купил себе в Мухортинском дом и землю. «Хочу, говорит, своим трудом жить, в поте лица, потому что, говорит, я теперь не господин, а поселенец». Что ж, говорю, помогай бог, дело хорошее. Человек он был тогда молодой, хлопотун, заботливый; сам и косил, бывало, и рыбу ловил, и верхом верст за шестьдесят ездил. Только вот беда: с первого же года стал ездить в Гырино, в почтовую контору. Стоит, бывало, у меня на пароме и вздыхает: «Эх, Семен, что-то долго не шлют мне из дому денег!» Не надо, говорю, Василий Сергеич, денег. К чему они? Вы старое-то бросьте, забудьте, как будто его вовсе не было, будто снилось оно только, а начинайте жить сызнова. Не слушайте, говорю, беса,— он до добра не доведет, в петлю затянет. Теперь вы денег желаете, говорю, а пройдет мало-мало времени, и, гляди, чего другого захотите, а потом и еще и еще. Ежели, говорю, желаете для себя счастья, то первее всего ничего не желайте. Да... Уж ежели, говорю ему, нас с вами судьба обидела горько, то нечего у ней милости просить и кланяться ей в ножки, а надо пренебрегать и смеяться над ней. А то она сама насмеется. Так и говорю ему... Года через два перевожу я его на эту сторону, а он потирает руки и смеется. «Еду, говорит, в Гырино жену встречать. Пожалела, говорит, меня, приехала. Хорошая она у меня, добрая». А сам от радости даже запыхался. Вот через день едет с женой. Дама молодая, красивая, в шляпке; на руках младенчик-девочка. И всякого багажу много. А Василий Сергеич мой вертится около нее, не наглядится и никак не нахвалится. «Да, брат Семен, и в Сибири люди живут!» Ну, думаю, ладно, не обрадуешься. И с той поры, почитай каждую неделю, стал он в Гырино наведываться: не пришли ли из России деньги. Денег-то понадобилось пропасть. «Она, говорит, ради меня тут в Сибири свою молодость и красоту губит и, говорит, со мной мою горькую долю делит, и через это, говорит, я должен предоставлять ей всякое удовольствие...» Чтоб барыне веселей было, завел он знакомство с чиновниками и с шушерой всякой. А всю эту компанию, известно, кормить и поить надо, да чтоб и фортепьян был, и собачка лохматенькая на диване,— чтоб она издохла... Роскошь, одним словом, баловство. Прожила с ним барыня недолго. Где ей? Глина, вода, холодно, ни тебе овоща, ни фрукта, кругом необразованные да пьяные, никакого обхождения, а она дама балованная, столичная... Известно, соскучилась. Да и муж, как ни говори, уже не барин, а поселенец — не та честь. Года через три, помню, ночью под самый успеньев день* кричат с того

берега. Пошел я туда на пароме, гляжу — барыня, вся окутавшись, а с ней молодой господин, из чиновников. Тройка... Перевез я их сюда, сели — и поминай как звали! Только их и видели! А под утро Василий Сергеич скачет на паре. «Не проезжала ли тут, Семен, моя жена с господином в очках?» Проезжала, говорю,— ищи ветра в поле! Поскакал он вдогонку, суток пять гнался. Когда после перевозил я его на ту сторону, он повалился на паром и давай головой биться о доски и выть. То-то вот, говорю, и есть. Смеюсь и припоминаю ему: «И в Сибири люди живут!» А он еще пуще бьется... Потом это захотелось ему воли. Жена в Россию подалась, и его, значит, туда потянуло, чтоб ее повидать и от любовника вызволить. И стал он, братец ты мой, чуть не каждый день скакать то на почту, то в город к начальству. Все прошения посылал и подавал, чтоб его помиловали и назад домой вернули, и сказывал он, на одни телеграммы у него рублей двести пошло. Землю продал, дом жидам заложил. Сам поседел, сгорбился, с лица желтый стал, словно чахоточный. Говорит с тобою, а сам: кхе-кхе-кхе... и слезы на глазах. Промаялся так с прошениями годов восемь, а теперь опять ожил и веселый стал: новое баловство придумал. Дочка, видишь, выросла. Глядит на нее и не надышится. А она, правду говорить, ничего себе: красивенькая, чернобровая и нрава бойкого. Каждое воскресенье он в Гырино ездит с ней в церковь. Стоят оба на пароме рядышком, она смеется, а он с нее глаз не сводит. «Да, говорит, Семен, и в Сибири люди живут. И в Сибири бывает счастье. Погляди-ка, говорит, какая у меня дочка! Чай, другой такой и за тысячу верст не сыщешь». Дочка, говорю, хорошая, это верно, действительно... А сам про себя думаю: «Ужо погоди... Девка она молодая, кровь играет, жить хочется, а какая тут жизнь?» И стала, брат, она тосковать... Чахла-чахла... извелась вся, заболела и теперь без задних ног. Чахотка. Вот тебе и сибирское счастье, язви его душу, вот тебе и в Сибири люди живут... Стал он все по докторам ездить и возить их к себе. Как заслышит, что верст за двести или за триста есть доктор или знахарь, так и едет за ним. Страсть сколько денег на докторов ушло, а уж, по-моему, лучше пропить эти деньги... Все равно помрет. Помрет она всенепременно, а он тогда совсем пропал. Повесится с тоски или в Россию убежит — дело известное. Убежит, а его поймают, потом суд, каторга, плетей попробует...

— Хорошо, хорошо,— пробормотал татарин, пожимаясь от озноба.

— Что хорошо? — спросил Толковый.

— Жена, дочка... Пускай каторга и пускай тоска, зато он видал и жену и дочку... Ты говоришь, ничего не надо. Но ничего — худо! Жена прожила с ним три года — это ему бог

подарил. Ничего — худо, а три года — хорошо. Как не понимай?

Дрожа, с напряжением подбирая русские слова, которых он знал немного, и заикаясь, татарин заговорил о том, что не приведи бог захворать на чужой стороне, умереть и быть зарытым в холодной ржавой земле, что если бы жена приехала к нему хотя на один день и даже на один час, то за такое счастье он согласился бы принять какие угодно муки и благодарил бы бога. Лучше один день счастья, чем ничего.

Затем он опять рассказал, какая у него осталась дома красивая и умная жена, потом, взявшись обеими руками за голову, он заплакал и стал уверять Семена, что он ни в чем не виноват и терпит напраслину. Его два брата и дядя увели у мужика лошадей и избили старика до полусмерти, а общество рассудило не по совести и составило приговор, по которому пошли в Сибирь все три брата, а дядя, богатый человек, остался дома.

— Привы-ыкнешь! — сказал Семен.

Татарин замолчал и уставился заплаканными глазами на огонь; лицо у него выражало недоумение и испуг, как будто он все еще не понимал, зачем он здесь в темноте и в сырости, около чужих людей, а не в Симбирской губернии. Толковый лег около огня, чему-то усмехнулся и затянул вполголоса песню.

— Что ей за радость с отцом-то? — проговорил он немного погодя.— Он ее любит, утешается, это точно; но, брат, тоже пальца в рот ему не клади: строгий старик, крутой старик. А молодым девкам не строгость нужна... Им нужна ласка, да ха-ха-ха, да хи-хо-хо, духи да помада. Да... Эх, дела, дела! — вздохнул Семен и тяжело поднялся.— Водка вся вышла, значит, спать пора. А? Пойду, брат...

Оставшись один, татарин подложил хворосту, лег и, глядя на огонь, стал думать о родной деревне и о своей жене; приехала бы жена хоть на месяц, хоть на день, а там, если хочет, пусть уезжает назад! Лучше месяц или даже день, чем ничего. Но если жена сдержит обещание и приедет, то чем ее придется кормить? Где она будет тут жить?

— Если нет чего-чего кушать, то как живи? — спросил вслух татарин.

За то, что он теперь день и ночь работал веслом, ему платили только десять копеек в сутки; правда, проезжие давали на чай и на водку, но ребята делили весь доход между собой, а татарину ничего не давали и только смеялись над ним. А от нужды голодно, холодно и страшно... Теперь бы, когда все тело болит и дрожит, пойти в избушку и лечь спать, но там укрыться нечем и холоднее, чем на берегу; здесь тоже нечем укрыться, но все же можно хоть костер развесть...

Через неделю, когда вода совсем спадет и поставят тут

паром, все перевозчики, кроме Семена, станут уже не нужны, и татарин начнет ходит из деревни в деревню и просить милостыни и работы. Жене только семнадцать лет; она красивая, избалованная, застенчивая,— неужели и она будет ходить по деревням с открытым лицом и просить милостыню? Нет, об этом даже подумать страшно...

Уже светало; ясно обозначились баржа, кусты тальника на воде и зыбь, а назад оглянуться — там глинистый обрыв, внизу избушка, крытая бурою соломой, а выше лепятся деревенские избы. На деревне уже пели петухи.

Рыжий глинистый обрыв, баржа, река, чужие, недобрые люди, голод, холод, болезни — быть может, всего этого нет на самом деле. Вероятно, все это только снится, думал татарин. Он чувствовал, что спит, и слышал свой храп... Конечно, он дома, в Симбирской губернии, и стоит ему только назвать жену по имени, как она откликнется; а в соседней комнате мать... Однако какие бывают страшные сны! К чему они? Татарин улыбнулся и открыл глаза. Какая это река? Волга?

Шел снег.

— Подава-ай! — кричал кто-то на той стороне.— Кар-ба-а-ас!

Татарин очнулся и пошел будить товарищей, чтобы плыть на ту сторону. Надевая на ходу рваные тулупы, бранясь хриплыми спросонок голосами и пожимаясь от холода, показались на берегу перевозчики. После сна река, от которой веяло пронизывающим холодом, по-видимому, казалась им отвратительной и жуткой. Не спеша попрыгали они в карбас... Татарин и три перевозчика взялись за длинные весла с широкими лопастями, похожие в потемках на рачьи клешни, Семен навалился животом на длинный руль. А на той стороне все еще продолжали кричать и два раза выстрелили из револьвера, думая, вероятно, что перевозчики спят или ушли на деревню, в кабак.

— Ладно, успеешь! — проговорил Толковый тоном человека, убежденного, что на этом свете нет надобности спешить,— все равно, мол, толку не выйдет.

Тяжелая неуклюжая баржа отделилась от берега и поплыла меж кустов тальника, и только по тому, что тальник медленно уходил назад, заметно было, что она не стояла на одном месте, а двигалась. Перевозчики мерно, враз, взмахивали веслами; Толковый лежал животом на руле и, описывая в воздухе дугу, летал с одного борта на другой. Было в потемках похоже на то, как будто люди сидели на каком-то допотопном животном с длинными лапами и уплывали на нем в холодную унылую страну, ту самую, которая иногда снится во время кошмара.

Миновали тальник, выплыли на простор. На том берегу уже заслышали стук и мерное плесканье весел и кричали: «Скорей!

скорей!» Прошло еще минут с десять, и баржа тяжело ударилась о пристань.

— И все оно сыплет, и все оно сыплет! — бормотал Семен, вытирая с лица снег.— И откуда оно берется, бог его знает!

На той стороне ждал худощавый, невысокого роста старик в полушубке на лисьем меху и в белой мерлушковой* шапке. Он стоял поодаль от лошадей и не двигался; у него было угрюмое, сосредоточенное выражение, как будто он старался что-то вспомнить и сердился на свою непослушную память. Когда Семен подошел к нему и, улыбаясь, снял шапку, то он сказал:

— Спешу в Анастасьевку. Дочери опять хуже, а в Анастасьевку, говорят, нового доктора назначили.

Втащили тарантас на баржу и поплыли назад. Человек, которого Семен назвал Василием Сергеичем, все время, пока плыли, стоял неподвижно, крепко сжав свои толстые губы и глядя в одну точку; когда ямщик попросил у него позволения покурить в его присутствии, он ничего не ответил, точно не слышал. А Семен, лежа животом на руле, насмешливо глядел на него и говорил:

— И в Сибири люди живут. Живу-ут!

На лице у Толкового было торжествующее выражение, как будто он что-то доказал и будто радовался, что вышло именно так, как он предполагал. Несчастный, беспомощный вид человека в полушубке на лисьем меху, по-видимому, доставлял ему большое удовольствие.

— Грязно теперь ехать, Василий Сергеич,— сказал он, когда на берегу запрягали лошадей.— Погодили бы ездить еще недельки с две, пока суше станет. А то и вовсе бы не ездили... Ежели бы толк какой от езды был, а то, сами изволите знать, люди веки вечные ездят, и днем и ночью, а все никакого толку. Право!

Василий Сергеич молча дал на водку, сел в тарантас и поехал дальше.

— Вот, за доктором поскакал! — сказал Семен, пожимаясь от холода.— Да, ищи настоящего доктора, догоняй ветра в поле, хватай черта за хвост, язви твою душу! Экие чудаки, господи, прости меня грешного!

Татарин подошел к Толковому и, глядя на него с ненавистью и с отвращением, дрожа и примешивая к своей ломаной речи татарские слова, заговорил:

— Он хорошо... хорошо, а ты — худо! Ты худо! Барин хорошая душа, отличный, а ты зверь, ты худо! Барин живой, а ты дохлый... Бог создал человека, чтоб живой был, чтоб и радость была, и тоска была, и горе было, а ты хочешь ничего, значит, ты не живой, а камень, глина! Камню надо ничего, и тебе ничего... Ты камень — и бог тебя не любит, а барина любит.

Все засмеялись; татарин брезгливо поморщился, махнул рукой и, кутаясь в свои лохмотья, пошел к костру. Перевозчики и Семен поплелись в избушку.

— Холодно! — прохрипел один перевозчик, растягиваясь на соломе, которою был покрыт сырой глинистый пол.

— Да, не тепло! — согласился другой.— Жизнь каторжная!..

Все улеглись. Дверь отворилась от ветра, и в избушку понесло снегом. Встать и затворить дверь никому не хотелось: было холодно и лень.

— А мне хорошо! — проговорил Семен, засыпая.— Дай бог всякому такой жизни.

— Ты, известно, семикаторжный. Тебя и черти не берут.

Со двора послышались звуки, похожие на собачий вой.

— Что это? Кто это там?

— Это татарин плачет.

— Ишь ты... Чудак!

— Привы-ыкнет! — сказал Семен и тотчас же заснул.

Скоро заснули и остальные. А дверь так и осталась незатворенной.

1892

ПАЛАТА № 6

I

В больничном дворе стоит небольшой флигель, окруженный целым лесом репейника, крапивы и дикой конопли. Крыша на нем ржа́вая, труба наполовину обвалилась, ступеньки у крыльца сгнили и поросли травой, а от штукатурки остались одни только следы. Передним фасадом обращен он к больнице, задним — глядит в поле, от которого отделяет его серый больничный забор с гвоздями. Эти гвозди, обращенные остриями кверху, и забор, и самый флигель имеют тот особый унылый, окаянный вид, какой у нас бывает только у больничных и тюремных построек.

Если вы не боитесь ожечься о крапиву, то пойдемте по узкой тропинке, ведущей к флигелю, и посмотрим, что делается внутри. Отворив первую дверь, мы входим в сени. Здесь у стен и около печки навалены целые горы больничного хлама. Матрацы, старые изодранные халаты, панталоны, рубахи с синими полосками, никуда не годная, истасканная обувь — вся эта рвань свалена в кучи, перемята, спуталась, гниет и издает удушливый запах.

На хламе всегда с трубкой в зубах лежит сторож Никита, старый отставной солдат с порыжелыми нашивками. У него суровое, испитое лицо, нависшие брови, придающие лицу выра-

жение степной овчарки, и красный нос; он невысок ростом, на вид сухощав и жилист, но осанка у него внушительная и кулаки здоровенные. Принадлежит он к числу тех простодушных, положительных, исполнительных и тупых людей, которые больше всего на свете любят порядок и потому убеждены, что *их* надо бить. Он бьет по лицу, по груди, по спине, по чем попало, и уверен, что без этого не было бы здесь порядка.

Далее вы входите в большую, просторную комнату, занимающую весь флигель, если не считать сеней. Стены здесь вымазаны грязно-голубою краской, потолок закопчен, как в курной избе*,— ясно, что здесь зимой дымят печи и бывает угарно. Окна изнутри обезображены железными решетками. Пол сер и занозист. Воняет кислою капустой, фитильною гарью, клопами и аммиаком, и эта вонь в первую минуту производит на вас такое впечатление, как будто вы входите в зверинец.

В комнате стоят кровати, привинченные к полу. На них сидят и лежат люди в синих больничных халатах и по-старинному в колпаках. Это — сумасшедшие.

Всех их здесь пять человек. Только один благородного звания, остальные же все мещане. Первый от двери, высокий, худощавый мещанин с рыжими, блестящими усами и с заплаканными глазами, сидит, подперев голову, и глядит в одну точку. День и ночь он грустит, покачивая головой, вздыхая и горько улыбаясь; в разговорах он редко принимает участие и на вопросы обыкновенно не отвечает. Ест и пьет он машинально, когда дают Судя по мучительному, бьющему кашлю, худобе и румянцу на щеках, у него начинается чахотка.

За ним следует маленький, живой, очень подвижной старик с острою бородкой и с черными, кудрявыми, как у негра, волосами. Днем он прогуливается по палате от окна к окну или сидит на своей постели, поджав по-турецки ноги, и неугомонно, как снегирь, насвистывает, тихо поет и хихикает. Детскую веселость и живой характер проявляет он и ночью, когда встает затем, чтобы помолиться богу, то есть постучать себя кулаками по груди и поковырять пальцем в дверях. Это жид Мойсейка, дурачок, помешавшийся лет двадцать назад, когда у него сгорела шапочная мастерская.

Из всех обитателей палаты № 6 только ему одному позволяется выходить из флигеля и даже из больничного двора на улицу. Такой привилегией он пользуется издавна, вероятно, как больничный старожил и как тихий, безвредный дурачок, городской шут, которого давно уже привыкли видеть на улицах, окруженным мальчишками и собаками. В халатишке, в смешном колпаке и в туфлях, иногда босиком и даже без панталон, он ходит по улицам, останавливаясь у ворот и лавочек, и просит копеечку. В одном месте дадут ему квасу, в другом — хлеба, в

третьем — копеечку, так что возвращается он во флигель обыкновенно сытым и богатым. Все, что он приносит с собой, отбирает у него Никита в свою пользу. Делает это солдат грубо, с сердцем, выворачивая карманы и призывая бога в свидетели, что он никогда уже больше не станет пускать жида на улицу и что беспорядки для него хуже всего на свете.

Мойсейка любит услуживать. Он подает товарищам воду, укрывает их, когда они спят, обещает каждому принести с улицы по копеечке и сшить по новой шапке; он же кормит с ложки своего соседа с левой стороны, паралитика. Поступает он так не из сострадания и не из каких-либо соображений гуманного свойства, а подражая и невольно подчиняясь своему соседу с правой стороны, Громову.

Иван Дмитрич Громов, мужчина лет тридцати трех, из благородных, бывший судебный пристав и губернский секретарь, страдает манией преследования. Он или лежит на постели, свернувшись калачиком, или же ходит из угла в угол, как бы для моциона, сидит же очень редко. Он всегда возбужден, взволнован и напряжен каким-то смутным, неопределенным ожиданием. Достаточно малейшего шороха в сенях или крика на дворе, чтобы он поднял голову и стал прислушиваться: не за ним ли это идут? Не его ли ищут? И лицо его при этом выражает крайнее беспокойство и отвращение.

Мне нравится его широкое, скуластое лицо, всегда бледное и несчастное, отражающее в себе, как в зеркале, замученную борьбой и продолжительным страхом душу. Гримасы его странны и болезненны, но тонкие черты, положенные на его лицо глубоким искренним страданием, разумны и интеллигентны, и в глазах теплый, здоровый блеск. Нравится мне он сам, вежливый, услужливый и необыкновенно деликатный в обращении со всеми, кроме Никиты. Когда кто-нибудь роняет пуговку или ложку, он быстро вскакивает с постели и поднимает. Каждое утро он поздравляет своих товарищей с добрым утром, ложась спать — желает им спокойной ночи.

Кроме постоянно напряженного состояния и гримасничанья, сумасшествие его выражается еще в следующем. Иногда по вечерам он запахивается в свой халатик и, дрожа всем телом, стуча зубами, начинает быстро ходить из угла в угол и между кроватей. Похоже на то, как будто у него сильная лихорадка. По тому, как он внезапно останавливается и взглядывает на товарищей, видно, что ему хочется сказать что-то очень важное, но, по-видимому, соображая, что его не будут слушать или не поймут, он нетерпеливо встряхивает головой и продолжает шагать. Но скоро желание говорить берет верх над всякими соображениями, и он дает себе волю и говорит горячо и страстно. Речь его беспорядочна, лихорадочна, как бред, порывиста и не

всегда понятна, но зато в ней слышится, и в словах и в голосе, что-то чрезвычайно хорошее. Когда он говорит, вы узнаете в нем сумасшедшего и человека. Трудно передать на бумаге его безумную речь. Говорит он о человеческой подлости, о насилии, попирающем правду, о прекрасной жизни, какая со временем будет на земле, об оконных решетках, напоминающих ему каждую минуту о тупости и жестокости насильников. Получается беспорядочное, нескладное попурри из старых, но еще не допетых песен.

II

Лет двенадцать — пятнадцать тому назад в городе, на самой главной улице, в собственном доме проживал чиновник Громов, человек солидный и зажиточный. У него было два сына: Сергей и Иван. Будучи уже студентом четвертого курса, Сергей заболел скоротечною чахоткой и умер, и эта смерть как бы послужила началом целого ряда несчастий, которые вдруг посыпались на семью Громовых. Через неделю после похорон Сергея старик отец был отдан под суд за подлоги и растраты и вскоре умер в тюремной больнице от тифа. Дом и вся движимость были проданы с молотка, и Иван Дмитрич с матерью остались без всяких средств.

Прежде, при отце, Иван Дмитрич, проживая в Петербурге, где он учился в университете, получал шестьдесят — семьдесят рублей в месяц и не имел никакого понятия о нужде, теперь же ему пришлось резко изменить свою жизнь. Он должен был от утра до ночи давать грошовые уроки, заниматься перепиской и все-таки голодать, так как весь заработок посылался матери на пропитание. Такой жизни не выдержал Иван Дмитрич; он пал духом, захирел и, бросив университет, уехал домой. Здесь, в городке, он по протекции получил место учителя в уездном училище, но не сошелся с товарищами, не понравился ученикам и скоро бросил место. Умерла мать. Он с полгода ходил без места, питаясь только хлебом и водой, затем поступил в судебные пристава. Эту должность занимал он до тех пор, пока не был уволен по болезни.

Он никогда, даже в молодые студенческие годы, не производил впечатления здорового. Всегда он был бледен, худ, подвержен простуде, мало ел, дурно спал. От одной рюмки вина у него кружилась голова, и делалась истерика. Его всегда тянуло к людям, но, благодаря своему раздражительному характеру и мнительности, он ни с кем близко не сходился и друзей не имел. О горожанах он всегда отзывался с презрением, говоря, что их грубое невежество и сонная животная жизнь кажутся ему

мерзкими и отвратительными. Говорил он тенором, громко, горячо и не иначе как негодуя и возмущаясь или с восторгом и удивлением, и всегда искренно. О чем, бывало, ни заговоришь с ним, он все сводит к одному: в городе душно и скучно жить, у общества нет высших интересов, оно ведет тусклую, бессмысленную жизнь, разнообразя ее насилием, грубым развратом и лицемерием; подлецы сыты и одеты, а честные питаются крохами; нужны школы, местная газета с честным направлением, театр, публичные чтения, сплоченность интеллигентных сил; нужно, чтоб общество сознало себя и ужаснулось. В своих суждениях о людях он клал густые краски, только белую и черную, не признавая никаких оттенков; человечество делилось у него на честных и подлецов; середины же не было. О женщинах и любви он всегда говорил страстно, с восторгом, но ни разу не был влюблен.

В городе, несмотря на резкость его суждений и нервность, его любили и за глаза ласково называли Ваней. Его врожденная деликатность, услужливость, порядочность, нравственная чистота и его поношенный сюртучок, болезненный вид и семейные несчастия внушали хорошее, теплое и грустное чувство; к тому же он был хорошо образован и начитан, знал, по мнению горожан, все и был в городе чем-то вроде ходячего справочного словаря.

Читал он очень много. Бывало, все сидит в клубе, нервно теребит бородку и перелистывает журналы и книги; и по лицу его видно, что он не читает, а глотает, едва успев разжевать. Надо думать, что чтение было одною из его болезненных привычек, так как он с одинаковою жадностью набрасывался на все, что попадало ему под руки, даже на прошлогодние газеты и календари. Дома у себя читал он всегда лежа.

III

Однажды осенним утром, подняв воротник своего пальто и шлепая по грязи, по переулкам и задворкам, пробирался Иван Дмитрич к какому-то мещанину, чтобы получить по исполнительному листу. Настроение у него было мрачное, как всегда по утрам. В одном из переулков встретились ему два арестанта в кандалах и с ними четыре конвойных с ружьями. Раньше Иван Дмитрич очень часто встречал арестантов, и всякий раз они возбуждали в нем чувства сострадания и неловкости, теперь же эта встреча произвела на него какое-то особенное, странное впечатление. Ему вдруг почему-то показалось, что его тоже могут заковать в кандалы и таким же образом вести по грязи в тюрьму. Побывав у мещанина и возвращаясь к себе домой, он

встретил около почты знакомого полицейского надзирателя, который поздоровался и прошел с ним по улице несколько шагов, и почему-то это показалось ему подозрительным. Дома целый день у него не выходили из головы арестанты и солдаты с ружьями, и непонятная душевная тревога мешала ему читать и сосредоточиться. Вечером он не зажигал у себя огня, а ночью не спал и все думал о том, что его могут арестовать, заковать и посадить в тюрьму. Он не знал за собой никакой вины и мог поручиться, что и в будущем никогда не убьет, не подожжет и не украдет; но разве трудно совершить преступление нечаянно, невольно, и разве не возможна клевета, наконец, судебная ошибка? Ведь недаром же вековой народный опыт учит от сумы да тюрьмы не зарекаться. А судебная ошибка при теперешнем судопроизводстве очень возможна, и ничего в ней нет мудреного. Люди, имеющие служебное, деловое отношение к чужому страданию, например судьи, полицейские, врачи, с течением времени, в силу привычки, закаляются до такой степени, что хотели бы, да не могут относиться к своим клиентам иначе, как формально; с этой стороны они ничем не отличаются от мужика, который на задворках режет баранов и телят и не замечает крови. При формальном же, бездушном отношении к личности, для того, чтобы невинного человека лишить всех прав состояния и присудить к каторге, судье нужно только одно: время. Только время на соблюдение кое-каких формальностей, за которые судье платят жалованье, а затем — все кончено. Ищи потом справедливости и защиты в этом маленьком, грязном городишке, за двести верст от железной дороги! Да и не смешно ли помышлять о справедливости, когда всякое насилие встречается обществом как разумная и целесообразная необходимость и всякий акт милосердия, например, оправдательный приговор, вызывает целый взрыв неудовлетворенного, мстительного чувства?

Утром Иван Дмитрич поднялся с постели в ужасе, с холодным потом на лбу, совсем уже уверенный, что его могут арестовать каждую минуту. Если вчерашние тяжелые мысли так долго не оставляют его, думал он, то, значит, в них есть доля правды. Не могли же они в самом деле прийти в голову безо всякого повода.

Городовой не спеша прошел мимо окон: это недаром. Вот два человека остановились около дома и молчат. Почему они молчат?

И для Ивана Дмитрича наступили мучительные дни и ночи. Все проходившие мимо окон и входившие во двор казались шпионами и сыщиками. В полдень обыкновенно исправник проезжал на паре по улице; это он ехал из своего подгородного имения в полицейское правление, но Ивану Дмитричу

казалось каждый раз, что он едет слишком быстро и с каким-то особенным выражением: очевидно, спешит объявить, что в городе проявился очень важный преступник. Иван Дмитрич вздрагивал при всяком звонке и стуке в ворота, томился, когда встречал у хозяйки нового человека; при встрече с полицейскими и жандармами улыбался и насвистывал, чтобы казаться равнодушным. Он не спал все ночи напролет, ожидая ареста, но громко храпел и вздыхал, как сонный, чтобы хозяйке казалось, что он спит; ведь если не спит, то, значит, его мучают угрызения совести — какая улика! Факты и здравая логика убеждали его, что все эти страхи — вздор и психопатия, что в аресте и тюрьме, если взглянуть на дело пошире, в сущности, нет ничего страшного — была бы совесть спокойна; но чем умнее и логичнее он рассуждал, тем сильнее и мучительнее становилась душевная тревога. Это было похоже на то, как один пустынник хотел вырубить себе местечко в девственном лесу; чем усерднее он работал топором, тем гуще и сильнее разрастался лес. Иван Дмитрич, в конце концов, видя, что это бесполезно, совсем бросил рассуждать и весь отдался отчаянию и страху.

Он стал уединяться и избегать людей. Служба и раньше была ему противна, теперь же она стала для него невыносима. Он боялся, что его как-нибудь подведут, положат ему незаметно в карман взятку и потом уличат, или он сам нечаянно сделает в казенных бумагах ошибку, равносильную подлогу, или потеряет чужие деньги. Странно, что никогда в другое время мысль его не была так гибка и изобретательна, как теперь, когда он каждый день выдумывал тысячи разнообразных поводов к тому, чтобы серьезно опасаться за свою свободу и честь. Но зато значительно ослабел интерес к внешнему миру, в частности к книгам, и стала сильно изменять память.

Весной, когда сошел снег, в овраге около кладбища нашли два полусгнившие трупа — старухи и мальчика, с признаками насильственной смерти. В городе только и разговора было, что об этих трупах и неизвестных убийцах. Иван Дмитрич, чтобы не подумали, что это он убил, ходил по улицам и улыбался, а при встрече со знакомыми бледнел, краснел и начинал уверять, что нет подлее преступления, как убийство слабых и беззащитных. Но эта ложь скоро утомила его, и, после некоторого размышления, он решил, что в его положении самое лучшее — это спрятаться в хозяйкин погреб. В погребе просидел он день, потом ночь и другой день, сильно озяб и, дождавшись потемок, тайком, как вор, пробрался к себе в комнату. До рассвета простоял он среди комнаты, не шевелясь и прислушиваясь. Рано утром до восхода солнца к хозяйке пришли печники. Иван Дмитрич хорошо знал, что они пришли затем, чтобы перекладывать в кухне печь, но страх подсказал ему, что это поли-

цейские, переодетые печниками. Он потихоньку вышел из квартиры и, охваченный ужасом, без шапки и сюртука, побежал по улице. За ним с лаем гнались собаки, кричал где-то позади мужик, в ушах свистел воздух, и Ивану Дмитричу казалось, что насилие всего мира скопилось за его спиной и гонится за ним.

Его задержали, привели домой и послали хозяйку за доктором. Доктор Андрей Ефимыч, о котором речь впереди, прописал холодные примочки на голову и лавровишневые капли, грустно покачал головой и ушел, сказав хозяйке, что уж больше он не придет, потому что не следует мешать людям сходить с ума. Так как дома не на что было жить и лечиться, то скоро Ивана Дмитрича отправили в больницу и положили его там в палате для венерических больных. Он не спал по ночам, капризничал и беспокоил больных и скоро, по распоряжению Андрея Ефимыча, был переведен в палату № 6.

Через год в городе уже совершенно забыли про Ивана Дмитрича, и книги его, сваленные хозяйкой в сани под навесом, были растасканы мальчишками.

IV

Сосед с левой стороны у Ивана Дмитрича, как я уже сказал, жид Мойсейка, сосед же с правой — оплывший жиром, почти круглый мужик с тупым, совершенно бессмысленным лицом. Это — неподвижное, обжорливое и нечистоплотное животное, давно уже потерявшее способность мыслить и чувствовать. От него постоянно идет острый удушливый смрад.

Никита, убирающий за ним, бьет его страшно, со всего размаха, не щадя своих кулаков; и страшно тут не то, что его бьют,— к этому можно привыкнуть,— а то, что это отупевшее животное не отвечает на побои ни звуком, ни движением, ни выражением глаз, а только слегка покачивается, как тяжелая бочка.

Пятый и последний обитатель палаты № 6 — мещанин, служивший когда-то сортировщиком на почте, маленький худощавый блондин с добрым, но несколько лукавым лицом. Судя по умным, покойным глазам, смотрящим ясно и весело, он себе на уме и имеет какую-то очень важную и приятную тайну. У него есть под подушкой и под матрацем что-то такое, чего он никому не показывает, но не из страха, что могут отнять или украсть, а из стыдливости. Иногда он подходит к окну и, обернувшись к товарищам спиной, надевает себе что-то на грудь и смотрит, нагнув голову; если в это время подойти к нему, то он сконфузится и сорвет что-то с груди. Но тайну его угадать нетрудно.

— Поздравьте меня,— говорит он часто Ивану Дмитричу,— я представлен к Станиславу второй степени со звездой. Вторую степень со звездой дают только иностранцам, но для меня почему-то хотят сделать исключение,— улыбается он, в недоумении пожимая плечами.— Вот уж, признаться, не ожидал!

— Я в этом ничего не понимаю,— угрюмо заявляет Иван Дмитрич.

— Но знаете, чего я рано или поздно добьюсь? — продолжает бывший сортировщик, лукаво щуря глаза.— Я непременно получу шведскую «Полярную звезду». Орден такой, что стоит похлопотать. Белый крест и черная лента. Это очень красиво.

Вероятно, нигде в другом месте так жизнь не однообразна, как во флигеле. Утром больные, кроме паралитика и толстого мужика, умываются в сенях из большого ушата и утираются фалдами халатов; после этого пьют из оловянных кружек чай, который приносит из главного корпуса Никита. Каждому полагается по одной кружке. В полдень едят щи из кислой капусты и кашу, вечером ужинают кашей, оставшеюся от обеда. В промежутках лежат, спят, глядят в окна и ходят из угла в угол. И так каждый день. Даже бывший сортировщик говорит все об одних и тех же орденах.

Свежих людей редко видят в палате № 6. Новых помешанных доктор давно уже не принимает, а любителей посещать сумасшедшие дома немного на этом свете. Раз в два месяца бывает во флигеле Семен Лазарич, цирюльник. Как он стрижет сумасшедших, и как Никита помогает ему делать это, и в какое смятение приходят больные всякий раз при появлении пьяного улыбающегося цирюльника, мы говорить не будем.

Кроме цирюльника никто не заглядывает во флигель. Больные осуждены видеть изо дня в день одного только Никиту.

Впрочем, недавно по больничному корпусу разнесся довольно странный слух.

Распустили слух, что палату № 6 будто бы стал посещать доктор.

V

Странный слух!

Доктор Андрей Ефимыч Рагин — замечательный человек в своем роде. Говорят, что в ранней молодости он был очень набожен и готовил себя к духовной карьере и что, кончив в 1863 году курс в гимназии, он намеревался поступить в духовную академию, но будто бы его отец, доктор медицины и хирург, едко посмеялся над ним и заявил категорически, что не будет считать его своим сыном, если он пойдет в попы.

Насколько это верно — не знаю, но сам Андрей Ефимыч не раз признавался, что он никогда не чувствовал призвания к медицине и вообще к специальным наукам.

Как бы то ни было, кончив курс по медицинскому факультету, он в священники не постригся. Набожности он не проявлял и на духовную особу в начале своей врачебной карьеры походил так же мало, как теперь.

Наружность у него тяжелая, грубая, мужицкая; своим лицом, бородой, плоскими волосами и крепким, неуклюжим сложением напоминает он трактирщика на большой дороге, разъевшегося, невоздержного и крутого. Лицо суровое, покрыто синими жилками, глаза маленькие, нос красный. При высоком росте и широких плечах у него громадные руки и ноги; кажется, хватит кулаком — дух вон. Но поступь у него тихая и походка осторожная, вкрадчивая; при встрече в узком коридоре он всегда первый останавливается, чтобы дать дорогу, и не басом, как ждешь, а тонким, мягким тенорком говорит: «Виноват!» У него на шее небольшая опухоль, которая мешает ему носить жесткие крахмальные воротнички, и потому он всегда ходит в мягкой полотняной или ситцевой сорочке. Вообще одевается он не по-докторски. Одну и ту же пару он таскает лет по десяти, а новая одежа, которую он обыкновенно покупает в жидовской лавке, кажется на нем такою же поношенною и помятою, как старая; в одном и том же сюртуке он и больных принимает, и обедает, и в гости ходит; но это не из скупости, а от полного невнимания к своей наружности.

Когда Андрей Ефимыч приехал в город, чтобы принять должность, «богоугодное заведение» находилось в ужасном состоянии. В палатах, коридорах и в больничном дворе тяжело было дышать от смрада. Больничные мужики, сиделки и их дети спали в палатах вместе с больными. Жаловались, что житья нет от тараканов, клопов и мышей. В хирургическом отделении не переводилась рожа. На всю больницу было только два скальпеля и ни одного термометра, в ваннах держали картофель. Смотритель, кастелянша* и фельдшер грабили больных, а про старого доктора, предшественника Андрея Ефимыча, рассказывали, будто он занимался тайною продажей больничного спирта и завел себе из сиделок и больных женщин целый гарем. В городе отлично знали про эти беспорядки и даже преувеличивали их, но относились к ним спокойно; одни оправдывали их тем, что в больницу ложатся только мещане и мужики, которые не могут быть недовольны, так как дома живут гораздо хуже, чем в больнице; не рябчиками же их кормить! Другие же в оправдание говорили, что одному городу без помощи земства не под силу содержать хорошую больницу; слава богу, что хоть плохая, да есть. А молодое земство не открывало лечеб-

ницы ни в городе, ни возле, ссылаясь на то, что город уже имеет свою больницу.

Осмотрев больницу, Андрей Ефимыч пришел к заключению, что это учреждение безнравственное и в высшей степени вредное для здоровья жителей. По его мнению, самое умное, что можно было сделать, это — выпустить больных на волю, а больницу закрыть. Но он рассудил, что для этого недостаточно одной только его воли и что это было бы бесполезно; если физическую и нравственную нечистоту прогнать с одного места, то она перейдет на другое; надо ждать, когда она сама выветрится. К тому же, если люди открывали больницу и терпят ее у себя, то, значит, она им нужна; предрассудки и все эти житейские гадости и мерзости нужны, так как они с течением времени перерабатываются во что-нибудь путное, как навоз в чернозем. На земле нет ничего такого хорошего, что в своем первоисточнике не имело бы гадости.

Приняв должность, Андрей Ефимыч отнесся к беспорядкам, по-видимому, довольно равнодушно. Он попросил только больничных мужиков и сиделок не ночевать в палатах и поставил два шкапа с инструментами; смотритель же, кастелянша, фельдшер и хирургическая рожа остались на своих местах.

Андрей Ефимыч чрезвычайно любит ум и честность, но чтобы устроить около себя жизнь умную и честную, у него не хватает характера и веры в свое право. Приказывать, запрещать и настаивать он положительно не умеет. Похоже на то, как будто он дал обет никогда не возвышать голоса и не употреблять повелительного наклонения. Сказать «дай» или «принеси» ему трудно; когда ему хочется есть, он нерешительно покашливает и говорит кухарке: «Как бы мне чаю...», или: «Как бы мне пообедать». Сказать же смотрителю, чтоб он перестал красть, или прогнать его, или совсем упразднить эту ненужную паразитную должность,— для него совершенно не под силу. Когда обманывают Андрея Ефимыча или льстят ему, или подносят для подписи заведомо подлый счет, то он краснеет как рак и чувствует себя виноватым, но счет все-таки подписывает; когда больные жалуются ему на голод или на грубых сиделок, он конфузится и виновато бормочет:

— Хорошо, хорошо, я разберу после... Вероятно, тут недоразумение...

В первое время Андрей Ефимыч работал очень усердно. Он принимал ежедневно с утра до обеда, делал операции и даже занимался акушерской практикой. Дамы говорили про него, что он внимателен и отлично угадывает болезни, особенно детские и женские. Но с течением времени дело заметно прискучило ему своим однообразием и очевидною бесполезностью. Сегодня примешь тридцать больных, а завтра, глядишь, привалило их

тридцать пять, послезавтра сорок, и так изо дня в день, из года в год, а смертность в городе не уменьшается, и больные не перестают ходить. Оказать серьезную помощь сорока приходящим больным от утра до обеда нет физической возможности, значит, поневоле выходит один обман. Принято в отчетном году двенадцать тысяч приходящих больных, значит, попросту рассуждая, обмануто двенадцать тысяч человек. Класть же серьезных больных в палаты и заниматься ими по правилам науки тоже нельзя, потому что правила есть, а науки нет; если же оставить философию и педантически следовать правилам, как прочие врачи, то для этого прежде всего нужны чистота и вентиляция, а не грязь, здоровая пища, а не щи из вонючей кислой капусты, и хорошие помощники, а не воры.

Да и к чему мешать людям умирать, если смерть есть нормальный и законный конец каждого? Что из того, если какой-нибудь торгаш или чиновник проживет лишних пять, десять лет? Если же видеть цель медицины в том, что лекарства облегчают страдания, то невольно напрашивается вопрос: зачем их облегчать? Во-первых, говорят, что страдания ведут человека к совершенству, и, во-вторых, если человечество в самом деле научится облегчать свои страдания пилюлями и каплями, то оно совершенно забросит религию и философию, в которых до сих пор находило не только защиту от всяких бед, но даже счастие. Пушкин перед смертью испытывал страшные мучения, бедняжка Гейне несколько лет лежал в параличе; почему же не поболеть какому-нибудь Андрею Ефимычу или Матрене Савишне, жизнь которых бессодержательна и была бы совершенно пуста и похожа на жизнь амебы, если бы не страдания?

Подавляемый такими рассуждениями, Андрей Ефимыч опустил руки и стал ходить в больницу не каждый день.

VI

Жизнь его проходит так. Обыкновено он встает утром часов в восемь, одевается и пьет чай. Потом садится у себя в кабинете читать или идет в больницу. Здесь, в больнице, в узком темном коридорчике сидят амбулаторные больные, ожидающие приемки. Мимо них, стуча сапогами по кирпичному полу, бегают мужики и сиделки, проходят тощие больные в халатах, проносят мертвецов и посуду с нечистотами, плачут дети, дует сквозной ветер. Андрей Ефимыч знает, что для лихорадящих, чахоточных и вообще впечатлительных больных такая обстановка мучительна, но что поделаешь? В приемной встречает его фельдшер Сергей Сергеич, маленький, толстый человек с бритым, чисто вымытым, пухлым лицом, с мягкими

плавными манерами и в новом просторном костюме, похожий больше на сенатора, чем на фельдшера. В городе он имеет громадную практику, носит белый галстук и считает себя более сведущим, чем доктор, который совсем не имеет практики. В углу, в приемной, стоит большой образ в киоте, с тяжелою лампадой, возле — ставник в белом чехле; на стенах висят портреты архиереев, вид Святогорского монастыря и венки из сухих васильков. Сергей Сергеич религиозен и любит благолепие. Образ поставлен его иждивением; по воскресеньям в приемной кто-нибудь из больных, по его приказанию, читает вслух акафист*, а после чтения сам Сергей Сергеич обходит все палаты с кадильницей* и кадит в них ладаном*.

Больных много, а времени мало, и потому дело ограничивается одним только коротким опросом и выдачей какого-нибудь лекарства, вроде летучей мази или касторки. Андрей Ефимыч сидит, подперев щеку кулаком, задумавшись, и машинально задает вопросы. Сергей Сергеич тоже сидит, потирает свои ручки и изредка вмешивается.

— Болеем и нужду терпим оттого,— говорит он,— что господу милосердному плохо молимся. Да!

Во время приемки Андрей Ефимыч не делает никаких операций; он давно уже отвык от них, и вид крови его неприятно волнует. Когда ему приходится раскрывать ребенку рот, чтобы заглянуть в горло, а ребенок кричит и защищается ручонками, то от шума в ушах у него кружится голова и выступают слезы на глазах. Он торопится прописать лекарство и машет руками, чтобы баба поскорее унесла ребенка.

На приемке скоро ему прискучают робость больных и их бестолковость, близость благолепного Сергея Сергеича, портреты на стенах и свои собственные вопросы, которые он задает неизменно уже более двадцати лет. И он уходит, приняв пять-шесть больных. Остальных без него принимает фельдшер.

С приятною мыслью, что, слава богу, частной практики у него давно уже нет и что ему никто не помешает, Андрей Ефимыч, придя домой, немедленно садится в кабинете за стол и начинает читать. Читает он очень много и всегда с большим удовольствием. Половина жалованья уходит у него на покупку книг, и из шести комнат его квартиры три завалены книгами и старыми журналами. Больше всего он любит сочинения по истории и философии; по медицине же выписывает одного только «Врача», которого всегда начинает читать с конца. Чтение всякий раз продолжается без перерыва по нескольку часов и его не утомляет. Читает он не так быстро и порывисто, как когда-то читал Иван Дмитрич, а медленно, с проникновением, часто останавливаясь на местах, которые ему нравятся или непонятны. Около книги всегда стоит графинчик с водкой и лежит соленый огурец

или моченое яблоко прямо на сукне, без тарелки. Через каждые полчаса он, не отрывая глаз от книги, наливает себе рюмку водки и выпивает, потом, не глядя, нащупывает огурец и откусывает кусочек.

В три часа он осторожно подходит к кухонной двери, кашляет и говорит:

— Дарьюшка, как бы мне пообедать...

После обеда, довольно плохого и неопрятного, Андрей Ефимыч ходит по своим комнатам, скрестив на груди руки, и думает. Бьет четыре часа, потом пять, а он все ходит и думает. Изредка поскрипывает кухонная дверь, и показывается из нее красное, заспанное лицо Дарьюшки.

— Андрей Ефимыч, вам не пора пиво пить? — спрашивает она озабоченно.

— Нет, еще не время...— отвечает он.— Я погожу... погожу...

К вечеру обыкновенно приходит почтмейстер, Михаил Аверьяныч, единственный во всем городе человек, общество которого для Андрея Ефимыча не тягостно. Михаил Аверьяныч когда-то был очень богатым помещиком и служил в кавалерии, но разорился и из нужды поступил под старость в почтовое ведомство. У него бодрый, здоровый вид, роскошные седые бакены, благовоспитанные манеры и громкий приятный голос. Он добр и чувствителен, но вспыльчив. Когда на почте кто-нибудь из посетителей протестует, не соглашается или просто начинает рассуждать, то Михаил Аверьяныч багровеет, трясется всем телом и кричит громовым голосом: «Замолчать!», так что за почтовым отделением давно уже установилась репутация учреждения, в котором страшно бывать. Михаил Аверьяныч уважает и любит Андрея Ефимыча за образованность и благородство души, к прочим же обывателям относится свысока, как к своим подчиненным.

— А вот и я! — говорит он, входя к Андрею Ефимычу.— Здравствуйте, мой дорогой! Небось я уже надоел вам, а?

— Напротив, очень рад,— отвечает ему доктор.— Я всегда рад вам.

Приятели садятся в кабинете на диван и некоторое время молча курят.

— Дарьюшка, как бы нам пива! — говорит Андрей Ефимыч.

Первую бутылку выпивают тоже молча: доктор — задумавшись, а Михаил Аверьяныч — с веселым, оживленным видом, как человек, который имеет рассказать что-то очень интересное. Разговор всегда начинает доктор.

— Как жаль,— говорит он медленно и тихо, покачивая головой и не глядя в глаза собеседнику (он никогда не смотрит

в глаза),— как глубоко жаль, уважаемый Михаил Аверьяныч, что в нашем городе совершенно нет людей, которые бы умели и любили вести умную и интересную беседу. Это громадное для нас лишение. Даже интеллигенция не возвышается над пошлостью; уровень ее развития, уверяю вас, нисколько не выше, чем у низшего сословия.

— Совершенно верно. Согласен.

— Вы сами изволите знать,— продолжает доктор тихо и с расстановкой,— что на этом свете все незначительно и неинтересно, кроме высших духовных проявлений человеческого ума. Ум проводит резкую грань между животным и человеком, намекает на божественность последнего и в некоторой степени даже заменяет ему бессмертие, которого нет. Исходя из этого, ум служит единственно возможным источником наслаждения. Мы же не видим и не слышим около себя ума,— значит, мы лишены наслаждения. Правда, у нас есть книги, но это совсем не то, что живая беседа и общение. Если позволите сделать не совсем удачное сравнение, то книги — это ноты, а беседа — пение.

— Совершенно верно.

Наступает молчание. Из кухни выходит Дарьюшка и с выражением тупой скорби, подперев кулачком лицо, останавливается в дверях, чтобы послушать.

— Эх! — вздыхает Михаил Аверьяныч.— Захотели от нынешних ума!

И он рассказывает, как жилось прежде здорово, весело и интересно, какая была в России умная интеллигенция и как высоко она ставила понятия о чести и дружбе. Давали деньги взаймы без векселя, и считалось позором не протянуть руку помощи нуждающемуся товарищу. А какие были походы, приключения, стычки, какие товарищи, какие женщины! А Кавказ — какой удивительный край! А жена одного батальонного командира, странная женщина, надевала офицерское платье и уезжала по вечерам в горы одна, без проводника. Говорят, что в аулах у нее был роман с каким-то князьком.

— Царица небесная, матушка...— вздыхает Дарьюшка.

— А как пили! Как ели! А какие были отчаянные либералы!

Андрей Ефимыч слушает и не слышит; он о чем-то думает и прихлебывает пиво.

— Мне часто снятся умные люди и беседы с ними,— говорит он неожиданно, перебивая Михаила Аверьяныча.— Мой отец дал мне прекрасное образование, но под влиянием идей шестидесятых годов заставил меня сделаться врачом. Мне кажется, что если б я тогда не послушался его, то теперь я находился бы в самом центре умственного движения. Вероятно, был бы членом какого-нибудь факультета. Конечно, ум тоже не вечен

и преходящ, но вы уже знаете, почему я питаю к нему склонность. Жизнь есть досадная ловушка. Когда мыслящий человек достигает возмужалости и приходит в зрелое сознание, то он невольно чувствует себя как бы в ловушке, из которой нет выхода. В самом деле, против его воли вызван он какими-то случайностями из небытия к жизни... Зачем? Хочет он узнать смысл и цель своего существования, ему не говорят или же говорят нелепости; он стучится — ему не отворяют; к нему приходит смерть — тоже против его воли. И вот, как в тюрьме люди, связанные общим несчастием, чувствуют себя легче, когда сходятся вместе, так и в жизни не замечаешь ловушки, когда люди, склонные к анализу и обобщениям, сходятся вместе и проводят время в обмене гордых, свободных идей. В этом смысле ум есть наслаждение незаменимое.

— Совершенно верно.

Не глядя собеседнику в глаза, тихо и с паузами, Андрей Ефимыч продолжает говорить об умных людях и беседах с ними, а Михаил Аверьяныч внимательно слушает его и соглашается: «Совершенно верно».

— А вы не верите в бессмертие души? — вдруг спрашивает почтмейстер.

— Нет, уважаемый Михаил Аверьяныч, не верю и не имею основания верить.

— Признаться, и я сомневаюсь. А хотя, впрочем, у меня такое чувство, как будто я никогда не умру. Ой, думаю себе, старый хрен, умирать пора! А в душе какой-то голосочек: не верь, не умрешь!..

В начале десятого часа Михаил Аверьяныч уходит. Надевая в передней шубу, он говорит со вздохом:

— Однако в какую глушь занесла нас судьба! Досаднее всего, что здесь и умирать придется. Эх!..

VII

Проводив приятеля, Андрей Ефимыч садится за стол и опять начинает читать. Тишина вечера и потом ночи не нарушается ни одним звуком, и время, кажется, останавливается и замирает вместе с доктором над книгой, и кажется, что ничего не существует, кроме этой книги и лампы с зеленым колпаком. Грубое, мужицкое лицо доктора мало-помалу озаряется улыбкой умиления и восторга перед движениями человеческого ума. О, зачем человек не бессмертен? — думает он.— Зачем мозговые центры и извилины, зачем зрение, речь, самочувствие, гений, если всему этому суждено уйти в почву и в конце концов охладеть вместе с земною корой, а потом миллионы лет без

смысла и без цели носиться с землей вокруг солнца? Для того, чтобы охладеть и потом носиться, совсем не нужно извлекать из небытия человека с его высоким, почти божеским, умом и потом, словно в насмешку, превращать его в глину.

Обмен веществ! Но какая трусость утешает себя этим суррогатом бессмертия! Бессознательные процессы, происходящие в природе, ниже даже человеческой глупости, так как в глупости есть все-таки сознание и воля, в процессах же ровно ничего. Только трус, у которого больше страха перед смертью, чем достоинства, может утешать себя тем, что тело его будет со временем жить в траве, в камне, в жабе... Видеть свое бессмертие в обмене веществ так же странно, как пророчить блестящую будущность футляру после того, как разбилась и стала негодною дорогая скрипка.

Когда бьют часы, Андрей Ефимыч откидывается на спинку кресла и закрывает глаза, чтобы немножко подумать. И невзначай, под влиянием хороших мыслей, вычитанных из книги, он бросает взгляд на свое прошедшее и на настоящее. Прошлое противно, лучше не вспоминать о нем. А в настоящем то же, что в прошлом. Он знает, что в то время, когда его мысли носятся вместе с охлажденною землей вокруг солнца, рядом с докторской квартирой, в большом корпусе томятся люди в болезнях и физической нечистоте; быть может, кто-нибудь не спит и воюет с насекомыми, кто-нибудь заражается рожей или стонет от туго положенной повязки; быть может, больные играют в карты с сиделками и пьют водку. В отчетном году было обмануто двенадцать тысяч человек; все больничное дело, как и двадцать лет назад, построено на воровстве, дрязгах, сплетнях, кумовстве, на грубом шарлатанстве, и больница по-прежнему представляет из себя учреждение безнравственное и в высшей степени вредное для здоровья жителей. Он знает, что в палате № 6 за решетками Никита колотит больных и что Мойсейка каждый день ходит по городу и собирает милостыню.

С другой же стороны, ему отлично известно, что за последние двадцать пять лет с медициной произошла сказочная перемена. Когда он учился в университете, ему казалось, что медицину скоро постигнет участь алхимии и метафизики, теперь же, когда он читает по ночам, медицина трогает его и возбуждает в нем удивление и даже восторг. В самом деле, какой неожиданный блеск, какая революция! Благодаря антисептике* делают операции, какие великий Пирогов* считал невозможными даже in spe[1]. Обыкновенные земские врачи решаются производить резекцию коленного сустава, на сто чревосечений один только смертный случай, а каменная болезнь считается таким пустяком,

---

[1] В будущем *(лат.)*.

что о ней даже не пишут. Радикально излечивается сифилис. А теория наследственности, гипнотизм, открытия Пастера* и Коха*, гигиена со статистикой, а наша русская земская медицина? Психиатрия с ее теперешнею классификацией болезней, методами распознавания и лечения — это в сравнении с тем, что было, целый Эльборус. Теперь помешанным не льют на голову холодную воду и не надевают на них горячечных рубах; их содержат по-человечески и даже, как пишут в газетах, устраивают для них спектакли и балы. Андрей Ефимыч знает, что при теперешних взглядах и вкусах такая мерзость, как палата № 6, возможна разве только в двухстах верстах от железной дороги, в городке, где городской голова и все гласные — полуграмотные мещане, видящие во враче жреца, которому нужно верить без всякой критики, хотя бы он вливал в рот расплавленное олово; в другом же месте публика и газеты давно бы уже расхватали в клочья эту маленькую Бастилию*.

«Но что же? — спрашивает себя Андрей Ефимыч, открывая глаза.— Что же из этого? И антисептика, и Кох, и Пастер, а сущность дела нисколько не изменилась. Болезненность и смертность все те же. Сумасшедшим устраивают балы и спектакли, а на волю их все-таки не выпускают. Значит, все вздор и суета, и разницы между лучшею венскою клиникой и моею больницей, в сущности, нет никакой».

Но скорбь и чувство, похожее на зависть, мешают ему быть равнодушным. Это, должно быть, от утомления. Тяжелая голова склоняется к книге, он кладет под лицо руки, чтобы мягче было, и думает:

«Я служу вредному делу и получаю жалованье от людей, которых обманываю; я нечестен. Но ведь сам по себе я ничто, я только частица необходимого социального зла: все уездные чиновники вредны и даром получают жалованье... Значит, в своей нечестности виноват не я, а время... Родись я двумястами лет позже, я был бы другим».

Когда бьет три часа, он тушит лампу и уходит в спальню. Спать ему не хочется.

VIII

Года два тому назад земство расщедрилось и постановило выдавать триста рублей ежегодно в качестве пособия на усиление медицинского персонала в городской больнице впредь до открытия земской больницы, и на помощь Андрею Ефимычу был приглашен городом уездный врач Евгений Федорыч Хоботов. Это еще очень молодой человек — ему нет и тридцати,— высокий брюнет с широкими скулами и маленькими глазками; вероятно, предки его были инородцами. Приехал он в город

без гроша денег, с небольшим чемоданчиком и с молодою некрасивою женщиной, которую он называет своею кухаркой. У этой женщины грудной младенец. Ходит Евгений Федорыч в фуражке с козырьком и в высоких сапогах, а зимой в полушубке. Он близко сошелся с фельдшером Сергеем Сергеичем и с казначеем, а остальных чиновников называет почему-то аристократами и сторонится их. Во всей квартире у него есть только одна книга — «Новейшие рецепты венской клиники за 1881 г.». Идя к больному, он всегда берет с собой и эту книжку. В клубе по вечерам играет он в бильярд, карт же не любит. Большой охотник употреблять в разговоре такие слова, как канитель, мантифолия с уксусом*, будет тебе тень наводить и т. п.

В больнице он бывает два раза в неделю, обходит палаты и делает приемку больных. Совершенное отсутствие антисептики и кровососные банки возмущают его, но новых порядков он не вводит, боясь оскорбить этим Андрея Ефимыча. Своего коллегу Андрея Ефимыча он считает старым плутом, подозревает у него большие средства и втайне завидует ему. Он охотно бы занял его место.

IX

В один из весенних вечеров, в конце марта, когда уже на земле не было снега и в больничном саду пели скворцы, доктор вышел проводить до ворот своего приятеля почтмейстера. Как раз в это время во двор входил жид Мойсейка, возвращавшийся с добычи. Он был без шапки и в мелких калошах на босую ногу и в руках держал небольшой мешочек с милостыней.

— Дай копеечку! — обратился он к доктору, дрожа от холода и улыбаясь.

Андрей Ефимыч, который никогда не умел отказывать, подал ему гривенник.

«Как это нехорошо,— подумал он, глядя на его босые ноги с красными тощими щиколками.— Ведь мокро».

И, побуждаемый чувством, похожим на жалость и на брезгливость, он пошел во флигель вслед за евреем, поглядывая то на его лысину, то на щиколки. При входе доктора с кучи хлама вскочил Никита и вытянулся.

— Здравствуй, Никита,— сказал мягко Андрей Ефимыч.— Как бы этому еврею выдать сапоги, что ли, а то простудится.

— Слушаю, ваше высокоблагородие. Я доложу смотрителю.

— Пожалуйста. Ты попроси его от моего имени. Скажи, что я просил.

Дверь из сеней в палату была отворена. Иван Дмитрич,

лежа на кровати и приподнявшись на локоть, с тревогой прислушивался к чужому голосу и вдруг узнал доктора. Он весь затрясся от гнева, вскочил и с красным, злым лицом, с глазами навыкате, выбежал на середину палаты.

— Доктор пришел! — крикнул он и захохотал.— Наконец-то! Господа, поздравляю, доктор удостоивает нас своим визитом! Проклятая гадина! — взвизгнул он и в исступлении, какого никогда еще не видели в палате, топнул ногой.— Убить эту гадину! Нет, мало убить! Утопить в отхожем месте!

Андрей Ефимыч, слышавший это, выглянул из сеней в палату и спросил мягко:

— За что?

— За что? — крикнул Иван Дмитрич, подходя к нему с угрожающим видом и судорожно запахиваясь в халат.— За что? Вор! — проговорил он с отвращением и делая губы так, как будто желая плюнуть.— Шарлатан! Палач!

— Успокойтесь,— сказал Андрей Ефимыч, виновато улыбаясь.— Уверяю вас, я никогда ничего не крал, в остальном же, вероятно, вы сильно преувеличиваете. Я вижу, что вы на меня сердиты. Успокойтесь, прошу вас, если можете, и скажите хладнокровно: за что вы сердиты?

— А за что вы меня здесь держите?

— За то, что вы больны.

— Да, болен. Но ведь десятки, сотни сумасшедших гуляют на свободе, потому что ваше невежество не способно отличить их от здоровых. Почему же я и вот эти несчастные должны сидеть тут за всех, как козлы отпущения? Вы, фельдшер, смотритель и вся ваша больничная сволочь в нравственном отношении неизмеримо ниже каждого из нас, почему же мы сидим, а вы нет? Где логика?

— Нравственное отношение и логика тут ни при чем. Все зависит от случая. Кого посадили, тот сидит, а кого не посадили, тот гуляет, вот и все. В том, что я доктор, а вы душевнобольной, нет ни нравственности, ни логики, а одна только пустая случайность.

— Этой ерунды я не понимаю...— глухо проговорил Иван Дмитрич и сел на свою кровать.

Мойсейка, которого Никита постеснился обыскивать в присутствии доктора, разложил у себя на постели кусочки хлеба, бумажки и косточки и, все еще дрожа от холода, что-то быстро и певуче заговорил по-еврейски. Вероятно, он вообразил, что открыл лавочку.

— Отпустите меня,— сказал Иван Дмитрич, и голос его дрогнул.

— Не могу.

— Но почему же? Почему?

— Потому что это не в моей власти. Посудите, какая польза вам оттого, если я отпущу вас? Идите. Вас задержат горожане или полиция и вернут назад.

— Да, да, это правда...— проговорил Иван Дмитрич и потер себе лоб.— Это ужасно! Но что же мне делать? Что?

Голос Ивана Дмитрича и его молодое умное лицо с гримасами понравились Андрею Ефимычу. Ему захотелось приласкать молодого человека и успокоить его. Он сел рядом с ним на постель, подумал и сказал:

— Вы спрашиваете, что делать? Самое лучшее в вашем положении — бежать отсюда. Но, к сожалению, это бесполезно. Вас задержат. Когда общество ограждает себя от преступников, психических больных и вообще неудобных людей, то оно непобедимо. Вам остается одно: успокоиться на мысли, что ваше пребывание здесь необходимо.

— Никому оно не нужно.

— Раз существуют тюрьмы и сумасшедшие дома, то должен же кто-нибудь сидеть в них. Не вы — так я, не я — так кто-нибудь третий. Погодите, когда в далеком будущем закончат свое существование тюрьмы и сумасшедшие дома, то не будет ни решеток на окнах, ни халатов. Конечно, такое время рано или поздно настанет.

Иван Дмитрич насмешливо улыбнулся.

— Вы шутите,— сказал он, щуря глаза.— Таким господам, как вы и ваш помощник Никита, нет никакого дела до будущего, но можете быть уверены, милостивый государь, настанут лучшие времена! Пусть я выражаюсь пошло, смейтесь, но воссияет заря новой жизни, восторжествует правда, и — на нашей улице будет праздник! Я не дождусь, издохну, но зато чьи-нибудь правнуки дождутся. Приветствую их от всей души и радуюсь, радуюсь за них! Вперед! Помогай вам бог, друзья!

Иван Дмитрич с блестящими глазами поднялся и, протягивая руки к окну, продолжал с волнением в голосе:

— Из-за этих решеток благословляю вас! Да здравствует правда! Радуюсь!

— Я не нахожу особенной причины радоваться,— сказал Андрей Ефимыч, которому движение Ивана Дмитрича показалось театральным и в то же время очень понравилось.— Тюрем и сумасшедших домов не будет, и правда, как вы изволили выразиться, восторжествует, но ведь сущность вещей не изменится, законы природы останутся всё те же. Люди будут болеть, стариться и умирать так же, как и теперь. Какая бы великолепная заря ни освещала вашу жизнь, все же в конце концов вас заколотят в гроб и бросят в яму.

— А бессмертие?

— Э, полноте!

— Вы не верите, ну, а я верю. У Достоевского или у Вольтера* кто-то говорит, что если бы не было бога, то его выдумали бы люди. А я глубоко верю, что если нет бессмертия, то его рано или поздно изобретет великий человеческий ум.

— Хорошо сказано,— проговорил Андрей Ефимыч, улыбаясь от удовольствия.— Это хорошо, что вы веруете. С такой верой можно жить припеваючи даже замуравленному в стене. Вы изволили где-нибудь получить образование?

— Да, я был в университете, но не кончил.

— Вы мыслящий и вдумчивый человек. При всякой обстановке вы можете находить успокоение в самом себе. Свободное и глубокое мышление, которое стремится к уразумению жизни, и полное презрение к глупой суете мира — вот два блага, выше которых никогда не знал человек. И вы можете обладать ими, хотя бы вы жили за тремя решетками. Диоген* жил в бочке, однако же был счастливее всех царей земных.

— Ваш Диоген был болван,— угрюмо проговорил Иван Дмитрич.— Что вы мне говорите про Диогена да про какое-то уразумение? — рассердился он вдруг и вскочил.— Я люблю жизнь, люблю страстно! У меня мания преследования, постоянный мучительный страх, но бывают минуты, когда меня охватывает жажда жизни, и тогда я боюсь сойти с ума. Ужасно хочу жить, ужасно!

Он в волнении прошелся по палате и сказал, понизив голос:

— Когда я мечтаю, меня посещают призраки. Ко мне ходят какие-то люди, я слышу голоса, музыку, и кажется мне, что я гуляю по каким-то лесам, по берегу моря, и мне так страстно хочется суеты, заботы... Скажите мне, ну что там нового? — спросил Иван Дмитрич.— Что там?

— Вы про город желаете знать или вообще?

— Ну, сначала расскажите мне про город, а потом вообще.

— Что ж? В городе томительно скучно... Не с кем слова сказать, некого послушать. Новых людей нет. Впрочем, приехал недавно молодой врач Хоботов.

— Он еще при мне приехал. Что, хам?

— Да, некультурный человек. Странно, знаете ли... Судя по всему, в наших столицах нет умственного застоя, есть движение,— значит, должны быть там и настоящие люди, но почему-то всякий раз оттуда присылают к нам таких людей, что не глядел бы. Несчастный город!

— Да, несчастный город! — вздохнул Иван Дмитрич и засмеялся.— А вообще как? Что пишут в газетах и журналах?

В палате было уже темно. Доктор поднялся и стоя начал рассказывать, что пишут за границей и в России и какое замечается теперь направление мысли. Иван Дмитрич внимательно

слушал и задавал вопросы, но вдруг, точно вспомнив что-то ужасное, схватил себя за голову и лег на постель спиной к доктору.

— Что с вами? — спросил Андрей Ефимыч.

— Вы от меня не услышите больше ни одного слова! — грубо проговорил Иван Дмитрич.— Оставьте меня!

— Отчего же?

— Говорю вам: оставьте! Какого дьявола?

Андрей Ефимыч пожал плечами, вздохнул и вышел. Проходя через сени, он сказал:

— Как бы здесь убрать, Никита... Ужасно тяжелый запах!

— Слушаю, ваше высокоблагородие!

«Какой приятный молодой человек! — думал Андрей Ефимыч, идя к себе на квартиру.— За все время, пока я тут живу, это, кажется, первый, с которым можно поговорить. Он умеет рассуждать и интересуется именно тем, чем нужно».

Читая и потом ложась спать, он все время думал об Иване Дмитриче, а проснувшись на другой день утром, вспомнил, что вчера познакомился с умным и интересным человеком, и решил сходить к нему еще раз при первой возможности.

X

Иван Дмитрич лежал в такой же позе, как вчера, обхватив голову руками и поджав ноги. Лица его не было видно.

— Здравствуйте, мой друг,— сказал Андрей Ефимыч.— Вы не спите?

— Во-первых, я вам не друг,— проговорил Иван Дмитрич в подушку,— а во-вторых, вы напрасно хлопочете: вы не добьетесь от меня ни одного слова.

— Странно...— пробормотал Андрей Ефимыч в смущении.— Вчера мы беседовали так мирно, но вдруг вы почему-то обиделись и сразу оборвали... Вероятно, я выразился как-нибудь неловко или, быть может, высказал мысль, не согласную с вашими убеждениями...

— Да, так я вам и поверю! — сказал Иван Дмитрич, приподнимаясь и глядя на доктора насмешливо и с тревогой; глаза у него были красны.— Можете идти шпионить и пытать в другое место, а тут вам нечего делать. Я еще вчера понял, зачем вы приходили.

— Странная фантазия!— усмехнулся доктор.— Значит, вы полагаете, что я шпион?

— Да, полагаю... Шпион или доктор, к которому положили меня на испытание,— это все равно.

— Ах, какой вы, право, извините... чудак!

Доктор сел на табурет возле постели и укоризненно покачал головой.

— Но допустим, что вы правы,— сказал он.— Допустим, что я предательски ловлю вас на слове, чтобы выдать полиции. Вас арестуют и потом судят. Но разве в суде и в тюрьме вам будет хуже, чем здесь? А если сошлют на поселение и даже на каторгу, то разве это хуже, чем сидеть в этом флигеле? Полагаю, не хуже... Чего же бояться?

Видимо, эти слова подействовали на Ивана Дмитрича. Он покойно сел.

Был пятый час вечера — время, когда обыкновенно Андрей Ефимыч ходит у себя по комнатам и Дарьюшка спрашивает его, не пора ли ему пиво пить. На дворе была тихая, ясная погода.

— А я после обеда вышел прогуляться, да вот и зашел, как видите,— сказал доктор.— Совсем весна.

— Теперь какой месяц? Март?— спросил Иван Дмитрич.

— Да, конец марта.

— Грязно на дворе?

— Нет, не очень. В саду уже тропинки.

— Теперь бы хорошо проехаться в коляске куда-нибудь за город,— сказал Иван Дмитрич, потирая свои красные глаза, точно спросонок,— потом вернуться бы домой в теплый, уютный кабинет и... полечиться у порядочного доктора от головной боли... Давно уже я не жил по-человечески. А здесь гадко! Нестерпимо гадко!

После вчерашнего возбуждения он был утомлен и вял и говорил неохотно. Пальцы у него дрожали, и по лицу видно было, что у него сильно болела голова.

— Между теплым, уютным кабинетом и этою палатой нет никакой разницы,— сказал Андрей Ефимыч.— Покой и довольство человека не вне его, а в нем самом.

— То есть как?

— Обыкновенный человек ждет хорошего или дурного извне, то есть от коляски и кабинета, а мыслящий — от самого себя.

— Идите проповедуйте эту философию в Греции, где тепло и пахнет померанцем, а здесь она не по климату. С кем это я говорил о Диогене? С вами, что ли?

— Да, вчера со мной.

— Диоген не нуждался в кабинете и в теплом помещении; там и без того жарко. Лежи себе в бочке да кушай апельсины и оливки. А доведись ему в России жить, так он не то что в декабре, а в мае запросился бы в комнату. Небось, скрючило бы от холода.

— Нет. Холод, как и вообще всякую боль, можно не чувст-

вовать. Марк Аврелий* сказал: «Боль есть живое представление о боли: сделай усилие воли, чтоб изменить это представление, откинь его, перестань жаловаться, и боль исчезнет». Это справедливо. Мудрец, или, попросту, мыслящий, вдумчивый человек, отличается именно тем, что презирает страдание; он всегда доволен и ничему не удивляется.

— Значит, я идиот, так как я страдаю, недоволен и удивляюсь человеческой подлости.

— Это вы напрасно. Если вы почаще будете вдумываться, то вы поймете, как ничтожно все то внешнее, что волнует нас. Нужно стремиться к уразумению жизни, а в нем — истинное благо.

— Уразумение...— поморщился Иван Дмитрич.— Внешнее, внутреннее... Извините, я этого не понимаю. Я знаю только,— сказал он, вставая и сердито глядя на доктора,— я знаю, что бог создал меня из теплой крови и нервов, да-с! А органическая ткань, если она жизнеспособна, должна реагировать на всякое раздражение. И я реагирую! На боль я отвечаю криком и слезами, на подлость — негодованием, на мерзость — отвращением. По-моему, это, собственно, и называется жизнью. Чем ниже организм, тем он менее чувствителен и тем слабее отвечает на раздражение, и чем выше, тем он восприимчивее и энергичнее реагирует на действительность. Как не знать этого? Доктор, а не знает таких пустяков! Чтобы презирать страдание, быть всегда довольным и ничему не удивляться, нужно дойти вот до этакого состояния,— и Иван Дмитрич указал на толстого, заплывшего жиром мужика,— или же закалить себя страданиями до такой степени, чтобы потерять всякую чувствительность к ним, то есть, другими словами, перестать жить. Извините, я не мудрец и не философ,— продолжал Иван Дмитрич с раздражением,— и ничего я в этом не понимаю. Я не в состоянии рассуждать.

— Напротив, вы прекрасно рассуждаете.

— Стоики, которых вы пародируете, были замечательные люди, но учение их застыло еще две тысячи лет назад и ни капли не подвинулось вперед и не будет двигаться, так как оно не практично и не жизненно. Оно имело успех только у меньшинства, которое проводит свою жизнь в штудировании и смаковании всяких учений, большинство же не понимало его. Учение, проповедующее равнодушие к богатству, к удобствам жизни, презрение к страданиям и смерти, совсем непонятно для громадного большинства, так как это большинство никогда не знало ни богатства, ни удобств в жизни; а презирать страдания значило бы для него презирать самую жизнь, так как все существо человека состоит из ощущений голода, холода, обид, потерь и гамлетовского страха перед смертью. В этих ощущениях

вся жизнь: ею можно тяготиться, ненавидеть ее, но не презирать. Да, так, повторяю, учение стоиков никогда не может иметь будущности; прогрессируют же, как видите, от начала века до сегодня борьба, чуткость к боли, способность отвечать на раздражение...

Иван Дмитрич вдруг потерял нить мыслей, остановился и досадливо потер лоб.

— Хотел сказать что-то важное, да сбился,— сказал он.— О чем я? Да! Так вот я и говорю: кто-то из стоиков продал себя в рабство затем, чтобы выкупить своего ближнего. Вот видите, значит, и стоик реагировал на раздражение, так как для такого великодушного акта, как уничтожение себя ради ближнего, нужна возмущенная, сострадающая душа. Я забыл тут в тюрьме все, что учил, а то бы еще что-нибудь вспомнил. А Христа взять? Христос отвечал на действительность тем, что плакал, улыбался, печалился, гневался, даже тосковал; он не с улыбкой шел навстречу страданиям и не презирал смерть, а молился в саду Гефсиманском*, чтобы его миновала чаша сия.

Иван Дмитрич засмеялся и сел.

— Положим, покой и довольство человека не вне его, а в нем самом,— сказал он.— Положим, нужно презирать страдания и ничему не удивляться. Но вы-то на каком основании проповедуете это? Вы мудрец? Философ?

— Нет, я не философ, но проповедовать это должен каждый, потому что это разумно.

— Нет, я хочу знать, почему вы в деле уразумения, презрения к страданиям и прочее считаете себя компетентным? Разве вы страдали когда-нибудь? Вы имеете понятие о страданиях? Позвольте: вас в детстве секли?

— Нет, мои родители питали отвращение к телесным наказаниям.

— А меня отец порол жестоко. Мой отец был крутой, геморроидальный чиновник, с длинным носом и с желтою шеей. Но будем говорить о вас. Во всю вашу жизнь до вас никто не дотронулся пальцем, никто вас не запугивал, не забивал; здоровы вы, как бык. Росли вы под крылышком отца и учились на его счет, а потом сразу захватили синекуру*. Больше двадцати лет вы жили на бесплатной квартире, с отоплением, с освещением, с прислугой, имея притом право работать, как и сколько вам угодно, хоть ничего не делать. От природы вы человек ленивый, рыхлый и потому старались складывать свою жизнь так, чтобы вас ничто не беспокоило и не двигало с места. Дела вы сдали фельдшеру и прочей сволочи, а сами сидели в тепле да в тишине, копили деньги, книжки почитывали, услаждали себя размышлениями о разной возвышенной чепухе и (Иван Дмитрич посмотрел на красный нос доктора) выпивахом. Одним словом, жизни вы не видели, не знаете ее совершен-

но, а с действительностью знакомы только теоретически. А презираете вы страдания и ничему не удивляетесь по очень простой причине: суета сует, внешнее и внутреннее презрение к жизни, страданиям и смерти, уразумение, истинное благо — все это философия, самая подходящая для российского лежебока. Видите вы, например, как мужик бьет жену. Зачем вступаться? Пускай бьет, все равно оба помрут рано или поздно; и бьющий к тому же оскорбляет побоями не того, кого бьет, а самого себя. Пьянствовать глупо, неприлично, но пить — умирать, и не пить — умирать. Приходит баба, зубы болят... Ну, что ж? Боль есть представление о боли, и к тому же без болезней не проживешь на этом свете, все помрем, а потому ступай, баба, прочь, не мешай мне мыслить и водку пить. Молодой человек просит совета, что делать, как жить; прежде чем ответить, другой бы задумался, а тут уж готов ответ: стремись к уразумению или к истинному благу. А что такое это фантастическое «истинное благо»? Ответа нет, конечно. Нас держат здесь за решеткой, гноят, истязуют, но это прекрасно и разумно, потому что между этою палатой и теплым, уютным кабинетом нет никакой разницы. Удобная философия: и делать нечего, и совесть чиста, и мудрецом себя чувствуешь... Нет, сударь, это не философия, не мышление, не широта взгляда, а лень, факирство, сонная одурь... Да!— опять рассердился Иван Дмитрич.— Страдание презираете, а небось прищеми вам дверью палец, так заорете во все горло!

— А может, и не заору,— сказал Андрей Ефимыч, кротко улыбаясь.

— Да, как же! А вот если бы вас трахнул паралич или, положим, какой-нибудь дурак и наглец, пользуясь своим положением и чином, оскорбил вас публично и вы знали бы, что это пройдет ему безнаказанно,— ну, тогда бы вы поняли, как это отсылать других к уразумению и истинному благу.

— Это оригинально,— сказал Андрей Ефимыч, смеясь от удовольствия и потирая руки.— Меня приятно поражает в вас склонность к обобщениям, а моя характеристика, которую вы только что изволили сделать, просто блестяща. Признаться, беседа с вами доставляет мне громадное удовольствие. Ну-с, я вас выслушал, теперь и вы благоволите выслушать меня...

XI

Этот разговор продолжался еще около часа и, по-видимому, произвел на Андрея Ефимыча глубокое впечатление. Он стал ходить во флигель каждый день. Ходил он туда по утрам и после обеда, и часто вечерняя темнота заставала его в беседе

с Иваном Дмитричем. В первое время Иван Дмитрич дичился его; подозревал в злом умысле и откровенно выражал свою неприязнь, потом же привык к нему и свое резкое обращение сменил на снисходительно-ироническое.

Скоро по больнице разнесся слух, что доктор Андрей Ефимыч стал посещать палату № 6. Никто — ни фельдшер, ни Никита, ни сиделки не могли понять, зачем он ходил туда, зачем просиживал там по целым часам, о чем разговаривал и почему не прописывал рецептов. Поступки его казались странными. Михаил Аверьяныч часто не заставал его дома, чего раньше никогда не случалось, и Дарьюшка была очень смущена, так как доктор пил пиво уже не в определенное время и иногда даже запаздывал к обеду.

Однажды, это было уже в конце июня, доктор Хоботов пришел по какому-то делу к Андрею Ефимычу; не застав его дома, он отправился искать его по двору; тут ему сказали, что старый доктор пошел к душевнобольным. Войдя во флигель и остановившись в сенях, Хоботов услышал такой разговор:

— Мы никогда не споемся, и обратить меня в свою веру вам не удастся,— говорил Иван Дмитрич с раздражением.— С действительностью вы совершенно незнакомы, и никогда вы не страдали, а только, как пьявица, кормились около чужих страданий, я же страдал непрерывно со дня рождения до сего-дня. Поэтому говорю откровенно: я считаю себя выше вас и компетентнее во всех отношениях. Не вам учить меня.

— Я совсем не имею претензии обращать вас в свою веру,— проговорил Андрей Ефимыч тихо и с сожалением, что его не хотят понять.— И не в этом дело, мой друг. Дело не в том, что вы страдали, а я нет. Страдания и радости преходящи; оставим их, бог с ними. А дело в том, что мы с вами мыслим; мы видим друг в друге людей, которые способны мыслить и рассуждать, и это делает нас солидарными, как бы различны ни были наши взгляды. Если бы вы знали, друг мой, как надоели мне всеобщее безумие, бездарность, тупость и с какою радостью я всякий раз беседую с вами! Вы умный человек, и я наслаждаюсь вами.

Хоботов отворил на вершок дверь и взглянул в палату; Иван Дмитрич в колпаке и доктор Андрей Ефимыч сидели рядом на постели. Сумасшедший гримасничал, вздрагивал и судорожно запахивался в халат, а доктор сидел неподвижно, опустив голову, и лицо у него было красное, беспомощное, грустное. Хоботов пожал плечами, усмехнулся и переглянулся с Никитой. Никита тоже пожал плечами.

На другой день Хоботов приходил во флигель вместе с фельдшером. Оба стояли в сенях и подслушивали.

— А наш дед, кажется, совсем сдрефил! — сказал Хоботов, выходя из флигеля.

— Господи, помилуй нас, грешных!— вздохнул благолепный Сергей Сергеич, старательно обходя лужицы, чтобы не запачкать своих ярко вычищенных сапогов.— Признаться, уважаемый Евгений Федорыч, я давно уже ожидал этого!

XII

После этого Андрей Ефимыч стал замечать кругом какую-то таинственность. Мужики, сиделки и больные при встрече с ним вопросительно взглядывали на него и потом шептались. Девочка Маша, дочь смотрителя, которую он любил встречать в больничном саду, теперь, когда он с улыбкой подходил к ней, чтобы погладить ее по головке, почему-то убегала от него. Почтмейстер Михаил Аверьяныч, слушая его, уже не говорил: «Совершенно верно», а в непонятном смущении бормотал: «Да, да, да...» и глядел на него задумчиво и печально; почему-то он стал советовать своему другу оставить водку и пиво, но при этом, как человек деликатный, говорил не прямо, а намеками, рассказывая то про одного батальонного командира, отличного человека, то про полкового священника, славного малого, которые пили и заболели, но, бросив пить, совершенно выздоровели. Два-три раза приходил к Андрею Ефимычу коллега Хоботов; он тоже советовал оставить спиртные напитки и без всякого видимого повода рекомендовал принимать бромистый калий.

В августе Андрей Ефимыч получил от городского головы письмо с просьбой пожаловать по очень важному делу. Придя в назначенное время в управу, Андрей Ефимыч застал там воинского начальника, штатного смотрителя уездного училища, члена управы, Хоботова и еще какого-то полного белокурого господина, которого представили ему как доктора. Этот доктор, с польскою, трудно выговариваемою фамилией, жил в тридцати верстах от города, на конском заводе, и был теперь в городе проездом.

— Тут заявленьице по вашей части-с,— обратился член управы к Андрею Ефимычу после того, как все поздоровались и сели за стол.— Вот Евгений Федорыч говорят, что аптеке тесновато в главном корпусе и что ее надо бы перевести в один из флигелей. Оно, конечно, это ничего, перевести можно, но главная причина — флигель ремонту захочет.

— Да, без ремонта не обойтись,— сказал Андрей Ефимыч, подумав.— Если, например, угловой флигель приспособить для аптеки, то на это, полагаю, понадобится minimum рублей пятьсот. Расход непроизводительный.

Немного помолчали.

— Я уже имел честь докладывать десять лет назад,— продолжал Андрей Ефимыч тихим голосом,— что эта больница в настоящем ее виде является для города роскошью не по средствам. Строилась она в сороковых годах, но ведь тогда были не те средства. Город слишком много затрачивает на ненужные постройки и лишние должности. Я думаю, на эти деньги можно было бы, при других порядках, содержать две образцовые больницы.

— Так вот и давайте заводить другие порядки!— живо сказал член управы.

— Я уже имел честь докладывать: передайте медицинскую часть в ведение земства.

— Да, передайте земству деньги, а оно украдет,— засмеялся белокурый доктор.

— Это как водится,— согласился член управы и тоже засмеялся.

Андрей Ефимыч вяло и тускло посмотрел на белокурого доктора и сказал:

— Надо быть справедливым.

Опять помолчали. Подали чай. Воинский начальник, почему-то очень смущенный, через стол дотронулся до руки Андрея Ефимыча и сказал:

— Совсем вы нас забыли, доктор. Впрочем, вы монах: в карты не играете, женщин не любите. Скучно вам с нашим братом.

Все заговорили о том, как скучно порядочному человеку жить в этом городе. Ни театра, ни музыки, а на последнем танцевальном вечере в клубе было около двадцати дам и только два кавалера. Молодежь не танцует, а все время толпится около буфета или играет в карты. Андрей Ефимыч медленно и тихо, ни на кого не глядя, стал говорить о том, как жаль, как глубоко жаль, что горожане тратят свою жизненную энергию, свое сердце и ум на карты и сплетни, а не умеют и не хотят проводить время в интересной беседе и в чтении, не хотят пользоваться наслаждениями, какие дает ум. Только один ум интересен и замечателен, все же остальное мелко и низменно. Хоботов внимательно слушал своего коллегу и вдруг спросил:

— Андрей Ефимыч, какое сегодня число?

Получив ответ, он и белокурый доктор тоном экзаменаторов, чувствующих свою неумелость, стали спрашивать у Андрея Ефимыча, какой сегодня день, сколько дней в году и правда ли, что в палате № 6 живет замечательный пророк.

В ответ на последний вопрос Андрей Ефимыч покраснел и сказал:

— Да, это больной, но интересный молодой человек.

Больше ему не задавали никаких вопросов.

Когда он в передней надевал пальто, воинский начальник положил руку ему на плечо и сказал со вздохом:

— Нам, старикам, на отдых пора!

Выйдя из управы, Андрей Ефимыч понял, что это была комиссия, назначенная для освидетельствования его умственных способностей. Он вспомнил вопросы, которые задавали ему, покраснел, и почему-то теперь первый раз в жизни ему стало горько жаль медицину.

«Боже мой,— думал он, вспоминая, как врачи только что исследовали его,— ведь они так недавно слушали психиатрию, держали экзамен,— откуда же это круглое невежество? Они понятия не имеют о психиатрии!»

И в первый раз в жизни он почувствовал себя оскорбленным и рассерженным.

В тот же день вечером у него был Михаил Аверьяныч. Не здороваясь, почтмейстер подошел к нему, взял его за обе руки и сказал взволнованным голосом:

— Дорогой мой, друг мой, докажите мне, что вы верите в мое искреннее расположение и считаете меня своим другом... Друг мой!— и, мешая говорить Андрею Ефимычу, он продолжал, волнуясь:— Я люблю вас за образованность и благородство души. Слушайте меня, мой дорогой. Правила науки обязывают докторов скрывать от вас правду, но я по-военному режу правду-матку: вы нездоровы! Извините меня, мой дорогой, но это правда, это давно уже заметили все окружающие. Сейчас мне доктор Евгений Федорыч говорил, что для пользы вашего здоровья вам необходимо отдохнуть и развлечься. Совершенно верно! Превосходно! На сих днях я беру отпуск и уезжаю понюхать другого воздуха. Докажите же, что вы мне друг, поедем вместе! Поедем, тряхнем стариной.

— Я чувствую себя совершенно здоровым,— сказал Андрей Ефимыч, подумав.— Ехать же не могу. Позвольте мне как-нибудь иначе доказать вам свою дружбу.

Ехать куда-то, неизвестно зачем, без книг, без Дарьюшки, без пива, резко нарушить порядок жизни, установившийся за двадцать лет,— такая идея в первую минуту показалась ему дикою и фантастическою. Но он вспомнил разговор, бывший в управе, и тяжелое настроение, какое он испытал, возвращаясь из управы домой, и мысль уехать ненадолго из города, где глупые люди считают его сумасшедшим, улыбнулась ему.

— А вы, собственно, куда намерены ехать?— спросил он.

— В Москву, в Петербург, в Варшаву... В Варшаве я провел пять счастливейших лет моей жизни. Что за город изумительный! Едемте, дорогой мой!

XIII

Через неделю Андрею Ефимычу предложили отдохнуть, то есть подать в отставку, к чему он отнесся равнодушно, а еще через неделю он и Михаил Аверьяныч уже сидели в почтовом тарантасе и ехали на ближайшую железнодорожную станцию. Дни были прохладные, ясные, с голубым небом и с прозрачною далью. Двести верст до станции проехали в двое суток и по пути два раза ночевали. Когда на почтовых станциях подавали к чаю дурно вымытые стаканы или долго запрягали лошадей, то Михаил Аверьяныч багровел, трясся всем телом и кричал: «Замолчать! не рассуждать!» А сидя в тарантасе, он, не переставая ни на минуту, рассказывал о своих поездках по Кавказу и Царству Польскому. Сколько было приключений, какие встречи! Он говорил громко и при этом делал такие удивленные глаза, что можно было подумать, что он лгал. Вдобавок, рассказывая, он дышал в лицо Андрею Ефимычу и хохотал ему в ухо. Это стесняло доктора и мешало ему думать и сосредоточиться.

По железной дороге ехали из экономии в третьем классе, в вагоне для некурящих. Публика наполовину была чистая. Михаил Аверьяныч скоро со всеми перезнакомился и, переходя от скамьи к скамье, громко говорил, что не следует ездить по этим возмутительным дорогам. Кругом мошенничество! То ли дело верхом на коне: отмахаешь в один день сто верст и потом чувствуешь себя здоровым и свежим. А неурожаи у нас оттого, что осушили Пинские болота. Вообще беспорядки страшные. Он горячился, говорил громко и не давал говорить другим. Эта бесконечная болтовня вперемежку с громким хохотом и выразительными жестами утомила Андрея Ефимыча.

«Кто из нас обоих сумасшедший?— думал он с досадой.— Я ли, который стараюсь ничем не обеспокоить пассажиров, или этот эгоист, который думает, что он здесь умнее и интереснее всех, и оттого никому не дает покоя?»

В Москве Михаил Аверьяныч надел военный сюртук без погонов и панталоны с красными кантами. На улице он ходил в военной фуражке и в шинели, и солдаты отдавали ему честь. Андрею Ефимычу теперь казалось, что это был человек, который из всего барского, которое у него когда-то было, промотал все хорошее и оставил себе одно только дурное. Он любил, чтобы ему услуживали, даже когда это было совершенно не нужно. Спички лежали перед ним на столе, и он их видел, но кричал человеку, чтобы тот подал ему спички; при горничной он не стеснялся ходить в одном нижнем белье; лакеям всем без разбора, даже старикам, говорил *ты* и, осердившись, величал их болванами и дураками. Это, как казалось Андрею Ефимычу, было барственно, но гадко.

Прежде всего Михаил Аверьяныч повел своего друга к Иверской*. Он молился горячо, с земными поклонами и со слезами, и когда кончил, глубоко вздохнул и сказал:

— Хоть и не веришь, но оно как-то покойнее, когда помолишься. Приложитесь, голубчик.

Андрей Ефимыч сконфузился и приложился к образу, а Михаил Аверьяныч вытянул губы и, покачивая головой, помолился шепотом, и опять у него на глазах навернулись слезы. Затем пошли в Кремль и посмотрели там на царь-пушку и царь-колокол, и даже пальцами их потрогали, полюбовались видом на Замоскворечье, побывали в храме Спасителя* и в Румянцевском музее*.

Обедали они у Тестова*. Михаил Аверьяныч долго смотрел в меню, разглаживая бакены, и сказал тоном гурмана*, привыкшего чувствовать себя в ресторанах как дома:

— Посмотрим, чем вы нас сегодня покормите, ангел!

XIV

Доктор ходил, смотрел, ел, пил, но чувство у него было одно: досада на Михаила Аверьяныча. Ему хотелось отдохнуть от друга, уйти от него, спрятаться, а друг считал своим долгом не отпускать его ни на шаг от себя и доставлять ему возможно больше развлечений. Когда не на что было смотреть, он развлекал его разговорами. Два дня терпел Андрей Ефимыч, но на третий объявил своему другу, что он болен, и хочет остаться на весь день дома. Друг сказал, что в таком случае и он остается. В самом деле, надо отдохнуть, а то этак ног не хватит. Андрей Ефимыч лег на диван, лицом к спинке, и, стиснув зубы, слушал своего друга, который горячо уверял его, что Франция рано или поздно непременно разобьет Германию, что в Москве очень много мошенников и что по наружному виду лошади нельзя судить о ее достоинствах. У доктора начались шум в ушах и сердцебиение, но попросить друга уйти или помолчать он из деликатности не решался. К счастию, Михаилу Аверьянычу наскучило сидеть в номере, и он после обеда ушел прогуляться.

Оставшись один, Андрей Ефимыч предался чувству отдыха. Как приятно лежать неподвижно на диване и сознавать, что ты один в комнате! Истинное счастие невозможно без одиночества. Падший ангел изменил богу, вероятно, потому, что захотел одиночества, которого не знают ангелы. Андрей Ефимыч хотел думать о том, что он видел и слышал в последние дни, но Михаил Аверьяныч не выходил у него из головы.

«А ведь он взял отпуск и поехал со мной из дружбы, из великодушия,— думал доктор с досадой.— Хуже нет ничего, как эта дружеская опека. Ведь вот, кажется, и добр, и великодушен, и весельчак, а скучен. Нестерпимо скучен. Так же вот бывают люди, которые всегда говорят одни только умные и хорошие слова, но чувствуешь, что они тупые люди».

В следующие затем дни Андрей Ефимыч сказывался больным и не выходил из номера. Он лежал лицом к спинке дивана и томился, когда друг развлекал его разговорами, или же отдыхал, когда друг отсутствовал. Он досадовал на себя за то, что поехал, и на друга, который с каждым днем становился все болтливее и развязнее; настроить свои мысли на серьезный, возвышенный лад ему никак не удавалось.

«Это меня пробирает действительность, о которой говорил Иван Дмитрич,— думал он, сердясь на свою мелочность.— Впрочем, вздор... Приеду домой, и все пойдет по-старому...»

И в Петербурге то же самое: он по целым дням не выходил из номера, лежал на диване и вставал только затем, чтобы выпить пива.

Михаил Аверьяныч все время торопил ехать в Варшаву.

— Дорогой мой, зачем я туда поеду?— говорил Андрей Ефимыч умоляющим голосом.— Поезжайте одни, а мне позвольте ехать домой! Прошу вас!

— Ни под каким видом!— протестовал Михаил Аверьяныч.— Это изумительный город. В нем я провел пять счастливейших лет моей жизни.

У Андрея Ефимыча не хватило характера настоять на своем, и он скрепя сердце поехал в Варшаву. Тут он не выходил из номера, лежал на диване и злился на себя, на друга и на лакеев, которые упорно отказывались понимать по-русски, а Михаил Аверьяныч, по обыкновению, здоровый, бодрый и веселый, с утра до вечера гулял по городу и разыскивал своих старых знакомых. Несколько раз он не ночевал дома. После одной ночи, проведенной неизвестно где, он вернулся домой рано утром в сильно возбужденном состоянии, красный и непричесанный. Он долго ходил из угла в угол, что-то бормоча про себя, потом остановился и сказал:

— Честь прежде всего!

Походив еще немного, он схватил себя за голову и произнес трагическим голосом:

— Да, честь прежде всего! Будь проклята минута, когда мне впервые пришло в голову ехать в этот Вавилон!* Дорогой мой,— обратился он к доктору,— презирайте меня: я проигрался! Дайте мне пятьсот рублей!

Андрей Ефимыч отсчитал пятьсот рублей и молча отдал их своему другу. Тот, все еще багровый от стыда и гнева, бессвязно

произнес какую-то ненужную клятву, надел фуражку и вышел. Вернувшись часа через два, он повалился в кресло, громко вздохнул и сказал:

— Честь спасена! Едемте, мой друг! Ни одной минуты я не желаю остаться в этом проклятом городе. Мошенники! Австрийские шпионы!

Когда приятели вернулись в свой город, был уже ноябрь и на улицах лежал глубокий снег. Место Андрея Ефимыча занимал доктор Хоботов; он жил еще на старой квартире в ожидании, когда Андрей Ефимыч приедет и очистит больничную квартиру. Некрасивая женщина, которую он называл своей кухаркой, уже жила в одном из флигелей.

По городу ходили новые больничные сплетни. Говорили, что некрасивая женщина поссорилась со смотрителем и этот будто бы ползал перед нею на коленях, прося прощения.

Андрею Ефимычу в первый же день по приезде пришлось отыскивать себе квартиру.

— Друг мой,— сказал ему робко почтмейстер,— извините за нескромный вопрос: какими средствами вы располагаете?

Андрей Ефимыч молча сосчитал свои деньги и сказал:

— Восемьдесят шесть рублей.

— Я не о том спрашиваю,— проговорил в смущении Михаил Аверьяныч, не поняв доктора.— Я спрашиваю, какие у вас средства вообще?

— Я же и говорю вам: восемьдесят шесть рублей... Больше у меня ничего нет.

Михаил Аверьяныч считал доктора честным и благородным человеком, но все-таки подозревал, что у него есть капитал, по крайней мере, тысяч в двадцать. Теперь же, узнав, что Андрей Ефимыч нищий, что ему нечем жить, он почему-то вдруг заплакал и обнял своего друга.

XV

Андрей Ефимыч жил в трехоконном домике мещанки Беловой. В этом домике было только три комнаты, не считая кухни. Две из них, с окнами на улицу, занимал доктор, а в третьей и в кухне жили Дарьюшка и мещанка с тремя детьми. Иногда к хозяйке приходил ночевать любовник, пьяный мужик, бушевавший по ночам и наводивший на детей и на Дарьюшку ужас. Когда он приходил и, усевшись на кухне, начинал требовать водки, всем становилось очень тесно, и доктор из жалости брал к себе плачущих детей, укладывал их у себя на полу, и это доставляло ему большое удовольствие.

Вставал он по-прежнему в восемь часов и после чаю садился

читать свои старые книги и журналы. На новые у него уже не было денег. Оттого ли, что книги были старые, или, быть может, от перемены обстановки, чтение уже не захватывало его глубоко и утомляло. Чтобы не проводить времени в праздности, он составлял подробный каталог своим книгам и приклеивал к их корешкам билетики, и эта механическая, кропотливая работа казалась ему интереснее, чем чтение. Однообразная кропотливая работа каким-то непонятным образом убаюкивала его мысли, он ни о чем не думал, и время проходило быстро. Даже сидеть в кухне и чистить с Дарьюшкой картофель или выбирать сор из гречневой крупы ему казалось интересно. По субботам и воскресеньям он ходил в церковь. Стоя около стены и зажмурив глаза, он слушал пение и думал об отце, о матери, об университете, о религиях; ему было покойно, грустно, и потом, уходя из церкви, он жалел, что служба так скоро кончилась.

Он два раза ходил в больницу к Ивану Дмитричу, чтобы поговорить с ним. Но в оба раза Иван Дмитрич был необыкновенно возбужден и зол; он просил оставить его в покое, так как ему давно уже надоела пустая болтовня, и говорил, что у проклятых подлых людей он за все страдания просит только одной награды — одиночного заключения. Неужели даже в этом ему отказывают? Когда Андрей Ефимыч прощался с ним в оба раза и желал покойной ночи, то он огрызался и говорил:

— К черту!

И Андрей Ефимыч не знал теперь, пойти ему в третий раз или нет. А пойти хотелось.

Прежде в послеобеденное время Андрей Ефимыч ходил по комнатам и думал, теперь же он от обеда до вечернего чая лежал на диване лицом к спинке и предавался мелочным мыслям, которых никак не мог побороть. Ему было обидно, что за его больше чем двадцатилетнюю службу ему не дали ни пенсии, ни единовременного пособия. Правда, он служил нечестно, но ведь пенсию получают все служащие без различия, честны они или нет. Современная справедливость и заключается именно в том, что чинами, орденами и пенсиями награждаются не нравственные качества и способности, а вообще служба, какая бы она ни была. Почему же он один должен составлять исключение? Денег у него совсем не было. Ему было стыдно проходить мимо лавочки и глядеть на хозяйку. За пиво должны уже тридцать два рубля. Мещанке Беловой тоже должны. Дарьюшка потихоньку продает старые платья и книги и лжет хозяйке, что скоро доктор получит очень много денег.

Он сердился на себя за то, что истратил на путешествие тысячу рублей, которая у него была скоплена. Как бы теперь пригодилась эта тысяча! Ему было досадно, что его не оставляют в покое люди. Хоботов считал своим долгом изредка навещать

больного коллегу. Все было в нем противно Андрею Ефимычу: и сытое лицо, и дурной, снисходительный тон, и слово «коллега», и высокие сапоги; самое же противное было то, что он считал своею обязанностью лечить Андрея Ефимыча и думал, что в самом деле лечит. В каждое свое посещение он приносил склянку с бромистым калием и пилюли из ревеня.

И Михаил Аверьяныч тоже считал своим долгом навещать друга и развлекать его. Всякий раз он входил к Андрею Ефимычу с напускной развязностью, принужденно хохотал и начинал уверять его, что он сегодня прекрасно выглядит и что дела, слава богу, идут на поправку, и из этого можно было заключить, что положение своего друга он считал безнадежным. Он не выплатил еще своего варшавского долга и был удручен тяжелым стыдом, был напряжен и потому старался хохотать громче и рассказывать смешнее. Его анекдоты и рассказы казались теперь бесконечными и были мучительны и для Андрея Ефимыча, и для него самого.

В его присутствии Андрей Ефимыч ложился обыкновенно на диван лицом к стене и слушал, стиснув зубы; на душу его пластами ложилась накипь, и после каждого посещения друга он чувствовал, что накипь эта становится все выше и словно подходит к горлу.

Чтобы заглушить мелочные чувства, он спешил думать о том, что и он сам, и Хоботов, и Михаил Аверьяныч должны рано или поздно погибнуть, не оставив в природе даже отпечатка. Если вообразить, что через миллион лет мимо земного шара пролетит в пространство какой-нибудь дух, то он увидит только глину и голые утесы. Все — и культура, и нравственный закон — пропадет и даже лопухом не порастет. Что же значат стыд перед лавочником, ничтожный Хоботов, тяжелая дружба Михаила Аверьяныча? Все это вздор и пустяки.

Но такие рассуждения уже не помогали. Едва он воображал земной шар через миллион лет, как из-за голого утеса показывался Хоботов в высоких сапогах или напряженно хохочущий Михаил Аверьяныч и даже слышался стыдливый шепот: «А варшавский долг, голубчик, возвращу на этих днях... Непременно».

XVI

Однажды Михаил Аверьяныч пришел после обеда, когда Андрей Ефимыч лежал на диване. Случилось так, что в это же время явился и Хоботов с бромистым калием. Андрей Ефимыч тяжело поднялся, сел и уперся обеими руками о диван.

— А сегодня, дорогой мой,— начал Михаил Аверьяныч,—

у вас цвет лица гораздо лучше, чем вчера. Да вы молодцом! Ей-богу, молодцом!

— Пора, пора поправляться, коллега,— сказал Хоботов, зевая.— Небось вам самим надоела эта канитель.

— И поправимся! — весело сказал Михаил Аверьяныч.— Еще лет сто жить будем! Так-тось!

— Сто не сто, а на двадцать еще хватит,— утешал Хоботов.— Ничего, ничего, коллега, не унывайте... Будет вам тень наводить.

— Мы еще покажем себя!— захохотал Михаил Аверьяныч и похлопал друга по колену.— Мы еще покажем! Будущим летом, бог даст, махнем на Кавказ и весь его верхом объедем — гоп! гоп! гоп! А с Кавказа вернемся, гляди, чего доброго, на свадьбе гулять будем.— Михаил Аверьяныч лукаво подмигнул глазом.— Женим вас, дружка милого... женим...

Андрей Ефимыч вдруг почувствовал, что накипь подходит к горлу; у него страшно забилось сердце.

— Это пошло!— сказал он, быстро вставая и отходя к окну.— Неужели вы не понимаете, что говорите пошлости?

Он хотел продолжать мягко и вежливо, но против воли вдруг сжал кулаки и поднял их выше головы.

— Оставьте меня!— крикнул он не своим голосом, багровея и дрожа всем телом.— Вон! Оба вон, оба!

Михаил Аверьяныч и Хоботов встали и уставились на него сначала с недоумением, потом со страхом.

— Оба вон!— продолжал кричать Андрей Ефимыч.— Тупые люди! Глупые люди! Не нужно мне ни дружбы, ни твоих лекарств, тупой человек! Пошлость! Гадость!

Хоботов и Михаил Аверьяныч, растерянно переглядываясь, попятились к двери и вышли в сени. Андрей Ефимыч схватил склянку с бромистым калием и швырнул им вслед; склянка со звоном разбилась о порог.

— Убирайтесь к черту!— крикнул он плачущим голосом, выбегая в сени.— К черту!

По уходе гостей Андрей Ефимыч, дрожа как в лихорадке, лег на диван и долго еще повторял:

— Тупые люди! Глупые люди!

Когда он успокоился, то прежде всего ему пришло на мысль, что бедному Михаилу Аверьянычу теперь, должно быть, страшно стыдно и тяжело на душе и что все это ужасно. Никогда раньше не случалось ничего подобного. Где же ум и такт? Где уразумение вещей и философское равнодушие?

Доктор всю ночь не мог уснуть от стыда и досады на себя, а утром, часов в десять, отправился в почтовую контору и извинился перед почтмейстером.

— Не будем вспоминать о том, что произошло,— сказал со вздохом растроганный Михаил Аверьяныч, крепко пожимая

ему руку.— Кто старое помянет, тому глаз вон. Любавкин!— вдруг крикнул он так громко, что все почтальоны и посетители вздрогнули.— Подай стул. А ты подожди!— крикнул он бабе, которая сквозь решетку протягивала к нему заказное письмо.— Разве не видишь, что я занят? Не будем вспоминать старое,— продолжал он нежно, обращаясь к Андрею Ефимычу.— Садитесь, покорнейше прошу, мой дорогой.

Он минуту молча поглаживал себе колени и потом сказал:

— У меня и в мыслях не было обижаться на вас. Болезнь не свой брат, я понимаю. Ваш припадок испугал нас вчера с доктором, и мы долго потом говорили о вас. Дорогой мой, отчего вы не хотите серьезно заняться вашей болезнью? Разве можно так? Извините за дружескую откровенность,— зашептал Михаил Аверьяныч,— вы живете в самой неблагоприятной обстановке: теснота, нечистота, ухода за вами нет, лечиться не на что... Дорогой мой друг, умоляем вас вместе с доктором всем сердцем, послушайтесь нашего совета: ложитесь в больницу! Там и пища здоровая, и уход, и лечение. Евгений Федорыч хотя и моветон[1], между нами говоря, но сведущий, на него вполне можно положиться. Он дал мне слово, что займется вами.

Андрей Ефимыч был тронут искренним участием и слезами, которые вдруг заблестели на щеках у почтмейстера.

— Уважаемый, не верьте!— зашептал он, прикладывая руку к сердцу.— Не верьте им! Это обман! Болезнь моя только в том, что за двадцать лет я нашел во всем городе одного только умного человека, да и тот сумасшедший. Болезни нет никакой, а просто я попал в заколдованный круг, из которого нет выхода. Мне все равно, я на все готов.

— Ложитесь в больницу, дорогой мой.

— Мне все равно, хоть в яму.

— Дайте, голубчик, слово, что вы будете слушаться во всем Евгения Федорыча.

— Извольте, даю слово. Но, повторяю, уважаемый, я попал в заколдованный круг. Теперь все, даже искреннее участие моих друзей, клонится к одному — к моей погибели. Я погибаю и имею мужество сознавать это.

— Голубчик, вы выздоровеете.

— К чему это говорить?— сказал Андрей Ефимыч с раздражением.— Редкий человек под конец жизни не испытывает того же, что я теперь. Когда вам скажут, что у вас что-нибудь вроде плохих почек и увеличенного сердца и вы станете лечиться, или скажут, что вы сумасшедший или преступник, то есть, одним словом, когда люди вдруг обратят на вас внимание, то знайте, что вы пюпали в заколдованный круг, из которого уже не выйде-

---

[1] Человек дурного тона (от *франц.* mauvais ton).

те. Будете стараться выйти и еще больше заблудитесь. Сдавайтесь, потому что никакие человеческие усилия уже не спасут вас. Так мне кажется.

Между тем у решетки толпилась публика. Андрей Ефимыч, чтобы не мешать, встал и начал прощаться. Михаил Аверьяныч еще раз взял с него честное слово и проводил его до наружной двери.

В тот же день, перед вечером, к Андрею Ефимычу неожиданно явился Хоботов в полушубке и в высоких сапогах и сказал таким тоном, как будто вчера ничего не случилось:

— А я к вам по делу, коллега. Пришел приглашать вас: не хотите ли со мной на консилиум, а?

Думая, что Хоботов хочет развлечь его прогулкой или в самом деле дать ему заработать, Андрей Ефимыч оделся и вышел с ним на улицу. Он рад был случаю загладить вчерашнюю вину и помириться и в душе благодарил Хоботова, который даже не заикнулся о вчерашнем и, по-видимому, щадил его. От этого некультурного человека трудно было ожидать такой деликатности.

— А где ваш больной?— спросил Андрей Ефимыч.

— У меня в больнице. Мне уж давно хотелось показать вам... Интереснейший случай.

Вошли в больничный двор и, обойдя главный корпус, направились к флигелю, где помещались умалишенные. И все это почему-то молча. Когда вошли во флигель, Никита, по обыкновению, вскочил и вытянулся.

— Тут у одного произошло осложнение со стороны легких,— сказал вполголоса Хоботов, входя с Андреем Ефимычем в палату.— Вы погодите здесь, а я сейчас. Схожу только за стетоскопом*.

И вышел.

XVII

Уже смеркалось. Иван Дмитрич лежал на своей постели, уткнувшись лицом в подушку; паралитик сидел неподвижно, тихо плакал и шевелил губами. Толстый мужик и бывший сортировщик спали. Было тихо.

Андрей Ефимыч сидел на кровати Ивана Дмитрича и ждал. Но прошло с полчаса, и вместо Хоботова вошел в палату Никита, держа в охапке халат, чье-то белье и туфли.

— Пожалуйте одеваться, ваше высокоблагородие,— сказал он тихо.— Вот ваша постелька, пожалуйте сюда,— добавил он, указывая на пустую, очевидно недавно принесенную, кровать.— Ничего, бог даст, выздоровеете.

Андрей Ефимыч все понял. Он, ни слова не говоря, перешел к кровати, на которую указал Никита, и сел; видя, что Никита стоит и ждет, он разделся догола, и ему стало стыдно. Потом он надел больничное платье; кальсоны были очень коротки, рубаха длинна, а от халата пахло копченою рыбой.

— Выздоровеете, бог даст,— повторил Никита.

Он забрал в охапку платье Андрея Ефимыча, вышел и затворил за собой дверь.

«Все равно...— думал Андрей Ефимыч, стыдливо запахиваясь в халат и чувствуя, что в своем новом костюме он похож на арестанта.— Все равно... Все равно, что фрак, что мундир, что этот халат...»

Но как же часы? А записная книжка, что в боковом кармане? А папиросы? Куда Никита унес платье? Теперь, пожалуй, до самой смерти уже не придется надевать брюк, жилета и сапогов. Все это как-то странно и даже непонятно в первое время. Андрей Ефимыч и теперь был убежден, что между домом мещанки Беловой и палатой № 6 нет никакой разницы, что все на этом свете вздор и суета сует, а между тем у него дрожали руки, ноги холодели и было жутко от мысли, что скоро Иван Дмитрич встанет и увидит, что он в халате. Он встал, прошелся и опять сел.

Вот он просидел уже полчаса, час, и ему надоело до тоски; неужели здесь можно прожить день, неделю и даже годы, как эти люди? Ну, вот он сидел, прошелся и опять сел; можно пойти и посмотреть в окно и опять пройтись из угла в угол. А потом что? Так и сидеть все время, как истукан, и думать? Нет, это едва ли возможно.

Андрей Ефимыч лéг, но тотчас же встал, вытер рукавом со лба холодный пот и почувствовал, что все лицо его запахло копченою рыбой. Он опять прошелся.

— Это какое-то недоразумение...— проговорил он, разводя руками в недоумении.— Надо объясниться, тут недоразумение...

В это время проснулся Иван Дмитрич. Он сел и подпер щеки кулаками. Сплюнул. Потом он лениво взглянул на доктора и, по-видимому, в первую минуту ничего не понял; но скоро сонное лицо его стало злым и насмешливым.

— Ага, и вас засадили сюда, голубчик!— проговорил он сиплым спросонок голосом, зажмурив один глаз.— Очень рад. То вы пили из людей кровь, а теперь из вас будут пить. Превосходно!

— Это какое-то недоразумение...— проговорил Андрей Ефимыч, пугаясь слов Ивана Дмитрича; он пожал плечами и повторил:— Недоразумение какое-то...

Иван Дмитрич опять сплюнул и лег.

— Проклятая жизнь!— проворчал он.— И что горько и обидно, ведь эта жизнь кончится не наградой за страдания, не апофеозом, как в опере, а смертью; придут мужики и потащат мертвого за руки и за ноги в подвал. Брр! Ну, ничего... Зато на том свете будет наш праздник... Я с того света буду являться сюда тенью и пугать этих гадин. Я их поседеть заставлю.

Вернулся Мойсейка и, увидев доктора, протянул руку.

— Дай копеечку!— сказал он.

XVIII

Андрей Ефимыч отошел к окну и посмотрел в поле. Уже становилось темно, и на горизонте с правой стороны восходила холодная, багровая луна. Недалеко от больничного забора, в ста саженях, не больше, стоял высокий белый дом, обнесенный каменною стеной. Это была тюрьма.

«Вот она действительность!»— подумал Андрей Ефимыч, и ему стало страшно.

Были страшны и луна, и тюрьма, и гвозди на заборе, и далекий пламень в костопальном заводе. Сзади послышался вздох. Андрей Ефимыч оглянулся и увидел человека с блестящими звездами и с орденами на груди, который улыбался и лукаво подмигивал глазом. И это показалось страшным.

Андрей Ефимыч уверял себя, что в луне и в тюрьме нет ничего особенного, что и психически здоровые люди носят ордена и что все со временем сгинет и обратится в глину, но отчаяние вдруг овладело им, он ухватился обеими руками за решетку и изо всей силы потряс ее. Крепкая решетка не поддавалась.

Потом, чтобы не так было страшно, он пошел к постели Ивана Дмитрича и сел.

— Я пал духом, дорогой мой,— пробормотал он, дрожа и утирая холодный пот.— Пал духом.

— А вы пофилософствуйте,— сказал насмешливо Иван Дмитрич.

— Боже мой, боже мой... Да, да... Вы как-то изволили говорить, что в России нет философии, но философствуют все, даже мелюзга. Но ведь от философствования мелюзги никому нет вреда,— сказал Андрей Ефимыч таким тоном, как будто хотел заплакать и разжалобить.— Зачем же, дорогой мой, этот злорадный смех? И как не философствовать этой мелюзге, если она не удовлетворена? Умному, образованному, гордому, свободолюбивому человеку, подобию божию, нет другого выхода, как идти лекарем в грязный, глупый городишко, и всю жизнь банки, пиявки, горчишники! Шарлатанство, узость, пошлость! О боже мой!

— Вы болтаете глупости. Если в лекаря противно, шли бы в министры.

— Никуда, никуда нельзя. Слабы мы, дорогой... Был я равнодушен, бодро и здраво рассуждал, а стоило только жизни грубо прикоснуться ко мне, как я пал духом... прострация... Слабы мы, дрянные мы... И вы тоже, дорогой мой. Вы умны, благородны, с молоком матери всосали благие порывы, но едва вступили в жизнь, как утомились и заболели... Слабы, слабы!

Что-то еще неотвязчивое, кроме страха и чувства обиды, томило Андрея Ефимыча все время с наступления вечера. Наконец он сообразил, что это ему хочется пива и курить.

— Я выйду отсюда, дорогой мой,— сказал он.— Скажу, чтобы сюда огня дали... Не могу так... не в состоянии...

Андрей Ефимыч пошел к двери и отворил ее, но тотчас же Никита вскочил и загородил ему дорогу.

— Куда вы? Нельзя, нельзя! — сказал он.— Пора спать!

— Но я только на минуту, по двору пройтись! — оторопел Андрей Ефимыч.

— Нельзя, нельзя, не приказано. Сами знаете.

Никита захлопнул дверь и прислонился к ней спиной.

— Но если я выйду отсюда, что кому сделается от этого? — спросил Андрей Ефимыч, пожимая плечами.— Не понимаю! Никита, я должен выйти! — сказал он дрогнувшим голосом.— Мне нужно!

— Не заводите беспорядков, нехорошо! — сказал наставительно Никита.

— Это черт знает что такое! — вскрикнул вдруг Иван Дмитрич и вскочил.— Какое он имеет право не пускать? Как они смеют держать нас здесь? В законе, кажется, ясно сказано, что никто не может быть лишен свободы без суда! Это насилие! Произвол!

— Конечно, произвол! — сказал Андрей Ефимыч, подбодряемый криком Ивана Дмитрича.— Мне нужно, я должен выйти. Он не имеет права! Отпусти, тебе говорят!

— Слышишь, тупая скотина? — крикнул Иван Дмитрич и постучал кулаком в дверь.— Отвори, а то я дверь выломаю! Живодер!

— Отвори! — крикнул Андрей Ефимыч, дрожа всем телом.— Я требую!

— Поговори еще! — ответил за дверью Никита.— Поговори!

— По крайней мере, поди позови сюда Евгения Федорыча! Скажи, что я прошу его пожаловать... на минуту!

— Завтра они сами придут.

— Никогда нас не выпустят! — продолжал между тем Иван Дмитрич.— Сгноят нас здесь! О господи, неужели же в самом деле на том свете нет ада и эти негодяи будут прощены? Где же

справедливость? Отвори, негодяй, я задыхаюсь! — крикнул он сиплым голосом и навалился на дверь.— Я размозжу себе голову! Убийцы!

Никита быстро отворил дверь, грубо, обеими руками и коленом отпихнул Андрея Ефимыча, потом размахнулся и ударил его кулаком по лицу. Андрею Ефимычу показалось, что громадная соленая волна накрыла его с головой и потащила к кровати; в самом деле, во рту было солоно: вероятно, из зубов пошла кровь. Он, точно желая выплыть, замахал руками и ухватился за чью-то кровать, и в это время почувствовал, что Никита два раза ударил его в спину.

Громко вскрикнул Иван Дмитрич. Должно быть, и его били.

Затем все стихло. Жидкий лунный свет шел сквозь решетки, и на полу лежала тень, похожая на сеть. Было страшно. Андрей Ефимыч лег и притаил дыхание; он с ужасом ждал, что его ударят еще раз. Точно кто взял серп, воткнул в него и несколько раз повернул в груди и в кишках. От боли он укусил подушку и стиснул зубы, и вдруг в голове его, среди хаоса, ясно мелькнула страшная, невыносимая мысль, что такую же точно боль должны были испытывать годами, изо дня в день эти люди, казавшиеся теперь при лунном свете черными тенями. Как могло случиться, что в продолжение больше чем двадцати лет он не знал и не хотел знать этого? Он не знал, не имел понятия о боли, значит, он не виноват, но совесть, такая же несговорчивая и грубая, как Никита, заставила его похолодеть от затылка до пят. Он вскочил, хотел крикнуть изо всех сил и бежать скорее, чтоб убить Никиту, потом Хоботова, смотрителя и фельдшера, потом себя, но из груди не вышло ни одного звука и ноги не повиновались; задыхаясь, он рванул на груди халат и рубаху, порвал и без чувств повалился на кровать.

XIX

Утром на другой день у него болела голова, гудело в ушах и во всем теле чувствовалось недомогание. Вспоминать о вчерашней своей слабости ему не было стыдно. Он был вчера малодушен, боялся даже луны, искренне высказывал чувства и мысли, каких раньше и не подозревал у себя. Например, мысли о неудовлетворенности философствующей мелюзги. Но теперь ему было все равно.

Он не ел, не пил, лежал неподвижно и молчал.

«Мне все равно,— думал он, когда ему задавали вопросы.— Отвечать не стану... Мне все равно».

После обеда пришел Михаил Аверьяныч и принес четвертку чаю и фунт мармеладу. Дарьюшка тоже приходила и целый

час стояла около кровати с выражением тупой скорби на лице. Посетил его и доктор Хоботов. Он принес склянку с бромистым калием и приказал Никите покурить в палате чем-нибудь.

Под вечер Андрей Ефимыч умер от апоплексического удара. Сначала он почувствовал потрясающий озноб и тошноту; что-то отвратительное, как казалось, проникая во все тело, даже в пальцы, потянуло от желудка к голове и залило глаза и уши. Позеленело в глазах. Андрей Ефимыч понял, что ему пришел конец, и вспомнил, что Иван Дмитрич, Михаил Аверьяныч и миллионы людей верят в бессмертие. А вдруг оно есть? Но бессмертия ему не хотелось, и он думал о нем только одно мгновение. Стадо оленей, необыкновенно красивых и грациозных, о которых он читал вчера, пробежало мимо него; потом баба протянула к нему руку с заказным письмом... Сказал что-то Михаил Аверьяныч. Потом все исчезло, и Андрей Ефимыч забылся навеки.

Пришли мужики, взяли его за руки и за ноги и отнесли в часовню. Там он лежал на столе с открытыми глазами, и луна ночью освещала его. Утром пришел Сергей Сергеич, набожно помолился на распятие и закрыл своему бывшему начальнику глаза.

Через день Андрея Ефимыча хоронили. На похоронах были только Михаил Аверьяныч и Дарьюшка.

1892

СТУДЕНТ

Погода вначале была хорошая, тихая. Кричали дрозды, и по соседству в болотах что-то живое жалобно гудело, точно дуло в пустую бутылку. Протянул один вальдшнеп, и выстрел по нем прозвучал в весеннем воздухе раскатисто и весело. Но, когда стемнело в лесу, некстати подул с востока холодный, пронизывающий ветер, все смолкло. По лужам протянулись ледяные иглы, и стало в лесу неуютно, глухо и нелюдимо. Запахло зимой.

Иван Великопольский, студент духовной академии, сын дьячка, возвращаясь с тяги* домой, шел все время заливным лугом по тропинке. У него закоченели пальцы и разгорелось от ветра лицо. Ему казалось, что этот внезапно наступивший холод нарушил во всем порядок и согласие, что самой природе жутко, и оттого вечерние потемки сгустились быстрей, чем надо. Кругом было пустынно и как-то особенно мрачно. Только на вдовьих огородах около реки светился огонь; далеко же кругом и там, где была деревня, версты за четыре, все сплошь утопало в холодной вечерней мгле. Студент вспомнил, что, когда он уходил из дому, его мать, сидя в сенях на полу, босая, чистила самовар, а отец лежал на печи и кашлял; по случаю страстной пятницы

дома ничего не варили, и мучительно хотелось есть. И теперь, пожимаясь от холода, студент думал о том, что точно такой же ветер дул и при Рюрике, и при Иоанне Грозном, и при Петре и что при них была точно такая же лютая бедность, голод; такие же дырявые соломенные крыши, невежество, тоска, такая же пустыня кругом, мрак, чувство гнета — все эти ужасы были, есть и будут, и оттого, что пройдет еще тысяча лет, жизнь не станет лучше. И ему не хотелось домой.

Огороды назывались вдовьими потому, что их содержали две вдовы, мать и дочь. Костер горел жарко, с треском, освещая далеко кругом вспаханную землю. Вдова Василиса, высокая пухлая старуха в мужском полушубке, стояла возле и в раздумье глядела на огонь; ее дочь Лукерья, маленькая, рябая, с глуповатым лицом, сидела на земле и мыла котел и ложки. Очевидно, только что отужинали. Слышались мужские голоса; это здешние работники на реке поили лошадей.

— Вот вам и зима пришла назад,— сказал студент, подходя к костру.— Здравствуйте!

Василиса вздрогнула, но тотчас же узнала его и улыбнулась приветливо.

— Не узнала, бог с тобой,— сказала она.— Богатым быть.

Поговорили. Василиса, женщина бывалая, служившая когда-то у господ в мамках, а потом няньках, выражалась деликатно, и с лица ее все время не сходила мягкая, степенная улыбка; дочь же ее Лукерья, деревенская баба, забитая мужем, только щурилась на студента и молчала, и выражение у нее было странное, как у глухонемой.

— Точно так же в холодную ночь грелся у костра апостол Петр,— сказал студент, протягивая к огню руки.— Значит, и тогда было холодно. Ах, какая то была страшная ночь, бабушка! До чрезвычайности унылая, длинная ночь!

Он посмотрел кругом на потемки, судорожно встряхнул головой и спросил:

— Небось, была на двенадцати Евангелиях?

— Была,— ответила Василиса.

— Если помнишь, во время тайной вечери Петр сказал Иисусу: «С тобою я готов и в темницу, и на смерть». А господь ему на это: «Говорю тебе, Петр, не пропоет сегодня петел, то есть петух, как ты трижды отречешься, что не знаешь меня». После вечери Иисус смертельно тосковал в саду и молился, а бедный Петр истомился душой, ослабел, веки у него отяжелели, и он никак не мог побороть сна. Спал. Потом, ты слышала, Иуда в ту же ночь поцеловал Иисуса и предал его мучителям. Его связанного вели к первосвященнику и били, а Петр, изнеможенный, замученный тоской и тревогой, понимаешь ли, не выспавшийся, предчувствуя, что вот-вот на земле произойдет что-то ужасное,

шел вслед... Он страстно, без памяти любил Иисуса и теперь видел издали, как его били...

Лукерья оставила ложки и устремила неподвижный взгляд на студента.

— Пришли к первосвященнику,— продолжал он,— Иисуса стали допрашивать, а работники тем временем развели среди двора огонь, потому что было холодно, и грелись. С ними около костра стоял Петр и тоже грелся, как вот я теперь. Одна женщина, увидев его, сказала: «И этот был с Иисусом», то есть что и его, мол, нужно вести к допросу. И все работники, что находились около огня, должно быть, подозрительно и сурово поглядели на него, потому что он смутился и сказал: «Я не знаю его». Немного погодя опять кто-то узнал в нем одного из учеников Иисуса и сказал: «И ты из них». Но он опять отрекся. И в третий раз кто-то обратился к нему: «Да не тебя ли сегодня я видел с ним в саду?» Он третий раз отрекся. И после этого раза тотчас же запел петух, и Петр, взглянув издали на Иисуса, вспомнил слова, которые он сказал ему на вечери... Вспомнил, очнулся, пошел со двора и горько-горько заплакал. В Евангелии сказано: «И исшед вон, плакася горько». Воображаю: тихий-тихий, темный-темный сад, и в тишине едва слышатся глухие рыдания...

Студент вздохнул и задумался. Продолжая улыбаться, Василиса вдруг всхлипнула, слезы, крупные, изобильные, потекли у нее по щекам, и она заслонила рукавом лицо от огня, как бы стыдясь своих слез, а Лукерья, глядя неподвижно на студента, покраснела, и выражение у нее стало тяжелым, напряженным, как у человека, который сдерживает сильную боль.

Работники возвращались с реки, и один из них верхом на лошади был уже близко, и свет от костра дрожал на нем. Студент пожелал вдовам спокойной ночи и пошел дальше. И опять наступили потемки, и стали зябнуть руки. Дул жестокий ветер, в самом деле возвращалась зима, и не было похоже, что послезавтра пасха.

Теперь студент думал о Василисе: если она заплакала, то, значит, все, происходившее в ту страшную ночь с Петром, имеет к ней какое-то отношение...

Он оглянулся. Одинокий огонь спокойно мигал в темноте, и возле него уже не было видно людей. Студент опять подумал, что если Василиса заплакала, а ее дочь смутилась, то, очевидно, то, о чем он только что рассказывал, что происходило девятнадцать веков назад, имеет отношение к настоящему — к обеим женщинам и, вероятно, к этой пустынной деревне, к нему самому, ко всем людям. Если старуха заплакала, то не потому, что он умеет трогательно рассказывать, а потому, что Петр ей близок, и потому, что она всем своим существом заинтересована в том, что́ происходило в душе Петра.

И радость вдруг заволновалась в его душе, и он даже остановился на минуту, чтобы перевести дух. Прошлое,— думал он,— связано с настоящим непрерывною цепью событий, вытекавших одно из другого. И ему казалось, что он только что видел оба конца этой цепи: дотронулся до одного конца, как дрогнул другой.

А когда он переправлялся на пароме через реку и потом, поднимаясь на гору, глядел на свою родную деревню и на запад, где узкою полосой светилась холодная багровая заря, то думал о том, что правда и красота, направлявшие человеческую жизнь там, в саду и во дворе первосвященника, продолжались непрерывно до сего дня и, по-видимому, всегда составляли главное в человеческой жизни и вообще на земле; и чувство молодости, здоровья, силы,— ему было только двадцать два года,— и невыразимо сладкое ожидание счастья, неведомого, таинственного счастья овладевали им мало-помалу, и жизнь казалась ему восхитительной, чудесной и полной высокого смысла.

1894

УЧИТЕЛЬ СЛОВЕСНОСТИ

I

Послышался стук лошадиных копыт о бревенчатый пол; вывели из конюшни сначала вороного Графа Нулина, потом белого Великана, потом сестру его Майку. Все это были превосходные и дорогие лошади. Старик Шелестов оседлал Великана и сказал, обращаясь к своей дочери Маше:

— Ну, Мария Годфруа*, иди садись. Опля!

Маша Шелестова была самой младшей в семье; ей было уже 18 лет, но в семье еще не отвыкли считать ее маленькой и потому все звали ее Маней и Манюсей; а после того, как в городе побывал цирк, который она усердно посещала, ее все стали звать Марией Годфруа.

— Опля! — крикнула она, садясь на Великана.

Сестра ее Варя села на Майку, Никитин — на Графа Нулина, офицеры — на своих лошадей, и длинная красивая кавалькада, пестрея белыми офицерскими кителями и черными амазонками, шагом потянулась со двора.

Никитин заметил, что, когда садились на лошадей и потом выехали на улицу, Манюся почему-то обращала внимание только на него одного. Она озабоченно оглядывала его и Графа Нулина и говорила:

— Вы, Сергей Васильич, держите его все время на мундштуке*. Не давайте ему пугаться. Он притворяется.

И оттого ли, что ее Великан был в большой дружбе с Графом Нулиным, или выходило это случайно, она, как вчера и третьего дня, ехала все время рядом с Никитиным. А он глядел на ее маленькое стройное тело, сидевшее на белом гордом животном, на ее тонкий профиль, на цилиндр, который вовсе не шел к ней и делал ее старее, чем она была, глядел с радостью, с умилением, с восторгом, слушал ее, мало понимал и думал:

«Даю себе честное слово, клянусь богом, что не буду робеть и сегодня же объяснюсь с ней...»

Был седьмой час вечера — время, когда белая акация и сирень пахнут так сильно, что кажется, воздух и сами деревья стынут от своего запаха. В городском саду уже играла музыка. Лошади звонко стучали по мостовой; со всех сторон слышались смех, говор, хлопанье калиток. Встречные солдаты козыряли офицерам, гимназисты кланялись Никитину; и, видимо, всем гуляющим, спешившим в сад на музыку, было очень приятно глядеть на кавалькаду. А как тепло, как мягки на вид облака, разбросанные в беспорядке по небу, как кротки и уютны тени тополей и акаций,— тени, которые тянутся через всю широкую улицу и захватывают на другой стороне дома до самых балконов и вторых этажей!

Выехали за город и побежали рысью по большой дороге. Здесь уже не пахло акацией и сиренью, не слышно было музыки, но зато пахло полем, зеленели молодые рожь и пшеница, пищали суслики, каркали грачи. Куда ни взглянешь, везде зелено, только кое-где чернеют бахчи да далеко влево на кладбище белеет полоса отцветающих яблонь.

Проехали мимо боен, потом мимо пивоваренного завода, обогнали толпу солдат-музыкантов, спешивших в загородный сад.

— У Полянского очень хорошая лошадь, я не спорю,— говорила Манюся Никитину, указывая глазами на офицера, ехавшего рядом с Варей.— Но она бракованная. Совсем уж некстати это белое пятно на левой ноге и, поглядите, головой закидывает. Теперь уж ее ничем не отучишь, так и будет закидывать, пока не издохнет.

Манюся была такой же страстной лошадницей, как и ее отец. Она страдала, когда видела у кого-нибудь хорошую лошадь, и была рада, когда находила недостатки у чужих лошадей. Никитин же ничего не понимал в лошадях, для него было решительно все равно, держать ли лошадь на поводьях или на мундштуке, скакать ли рысью или галопом; он только чувствовал, что поза у него была неестественная, напряженная и что поэтому офицеры, которые умеют держаться на седле, должны нравиться Манюсе больше, чем он. И он ревновал ее к офицерам.

Когда ехали мимо загородного сада, кто-то предложил за-

ехать и выпить сельтерской воды. Заехали. В саду росли одни только дубы; они стали распускаться только недавно, так что теперь сквозь молодую листву виден был весь сад с его эстрадой, столиками, качелями, видны были все вороньи гнезда, похожие на большие шапки. Всадники и их дамы спешились около одного из столиков и потребовали сельтерской воды. К ним стали подходить знакомые, гулявшие в саду. Между прочим подошли военный доктор в высоких сапогах и капельмейстер, дожидавшийся своих музыкантов. Должно быть, доктор принял Никитина за студента, потому что спросил:

— Вы изволили на каникулы приехать?

— Нет, я здесь постоянно живу,— ответил Никитин.— Я служу преподавателем в гимназии.

— Неужели? — удивился доктор.— Так молоды и уже учительствуете?

— Где же молод? Мне двадцать шесть лет... Слава тебе господи.

— У вас и борода и усы, но все же на вид вам нельзя дать больше двадцати двух — двадцати трех лет. Как вы моложавы!

«Что за свинство! — подумал Никитин.— И этот считает меня молокососом!»

Ему чрезвычайно не нравилось, когда кто-нибудь заводил речь об его молодости, особенно в присутствии женщин или гимназистов. С тех пор как он приехал в этот город и поступил на службу, он стал ненавидеть свою моложавость. Гимназисты его не боялись, старики величали молодым человеком, женщины охотнее танцевали с ним, чем слушали его длинные рассуждения. И он дорого дал бы за то, чтобы постареть теперь лет на десять.

Из сада поехали дальше, на ферму Шелестовых. Здесь остановились около ворот, вызвали жену приказчика Прасковью и потребовали парного молока. Молока никто не стал пить, все переглянулись, засмеялись и поскакали назад. Когда ехали обратно, в загородном саду уже играла музыка; солнце спряталось за кладбище, и половина неба была багрова от зари.

Манюся опять ехала рядом с Никитиным. Ему хотелось заговорить о том, как страстно он ее любит, но он боялся, что его услышат офицеры и Варя, и молчал. Манюся тоже молчала, и он чувствовал, отчего она молчит и почему едет рядом с ним, и был так счастлив, что земля, небо, городские огни, черный силуэт пивоваренного завода — все сливалось у него в глазах во что-то очень хорошее и ласковое, и ему казалось, что его Граф Нулин едет по воздуху и хочет вскарабкаться на багровое небо.

Приехали домой. На столе в саду уже кипел самовар, и на одном краю стола со своими приятелями, чиновниками окружного суда, сидел старик Шелестов и, по обыкновению, что-то критиковал.

— Это хамство! — говорил он.— Хамство, и больше ничего. Да-с, хамство-с!

Никитину с тех пор, как он влюбился в Манюсю, все нравилось у Шелестовых: и дом, и сад при доме, и вечерний час, и плетеные стулья, и старая нянька, и даже слово «хамство», которое любил часто произносить старик. Не нравилось ему только изобилие собак и кошек, да египетские голуби, которые уныло стонали в большой клетке на террасе. Собак дворовых и комнатных было так много, что за все время знакомства с Шелестовыми он научился узнавать только двух: Мушку и Сома. Мушка была маленькая облезлая собачонка с мохнатою мордой, злая и избалованная. Никитина она ненавидела; увидев его, она всякий раз склоняла голову набок, скалила зубы и начинала: «Ррр... нга-нга-нга-нга... ррр...»

Потом садилась под стул. Когда же он пытался прогнать ее из-под своего стула, она заливалась пронзительным лаем, а хозяева говорили:

— Не бойтесь, она не кусается. Она у нас добрая.

Сом же представлял из себя огромного черного пса на длинных ногах и с хвостом жестким, как палка. За обедом и за чаем он обыкновенно ходил молча под столом и стучал хвостом по сапогам и по ножкам стола. Это был добрый глупый пес, но Никитин терпеть его не мог за то, что он имел привычку класть свою морду на колени обедающим и пачкать слюною брюки. Никитин не раз пробовал бить его по большому лбу колодкой ножа, щелкал по носу, бранился, жаловался, но ничто не спасало его брюк от пятен.

После прогулки верхом чай, варенье, сухари и масло показались очень вкусными. Первый стакан все выпили с большим аппетитом и молча, перед вторым же принялись спорить. Споры всякий раз за чаем и за обедом начинала Варя. Ей было уже двадцать три года, она была хороша собой, красивее Манюси, считалась самою умной и образованной в доме и держала себя солидно, строго, как это и подобало старшей дочери, занявшей в доме место покойной матери. На правах хозяйки она ходила при гостях в блузе, офицеров величала по фамилии, на Манюсю глядела как на девочку и говорила с нею тоном классной дамы. Называла она себя старою девой — значит, была уверена, что выйдет замуж.

Всякий разговор, даже о погоде, она непрерывно сводила на спор. У нее была какая-то страсть — ловить всех на слове, уличать в противоречии, придираться к фразе. Вы начинаете говорить с ней о чем-нибудь, а она уже пристально смотрит вам в лицо и вдруг перебивает: «Позвольте, позвольте, Петров, третьего дня вы говорили совсем противоположное!»

Или же она насмешливо улыбается и говорит: «Однако, я за-

мечаю, вы начинаете проповедовать принципы Третьего отделения*. Поздравляю вас».

Если вы сострили или сказали каламбур, тотчас же вы слышите ее голос: «Это старо!» Или: «Это плоско!» Если же острит офицер, то она делает презрительную гри́масу и говорит: «Арррмейская острота!»

И это «ррр...» выходило у нее так внушительно, что Мушка непременно отвечала ей из-под стула: «Ррр... нга-нга-нга...»

Теперь за чаем спор начался с того, что Никитин заговорил о гимназических экзаменах.

— Позвольте, Сергей Васильич,— перебила его Варя.— Вот вы говорите, что ученикам трудно. А кто виноват, позвольте вас спросить? Например, вы задали ученикам восьмого класса сочинение на тему: «Пушкин как психолог». Во-первых, нельзя задавать таких трудных тем, а во-вторых, какой же Пушкин психолог? Ну, Щедрин или, положим, Достоевский — другое дело, а Пушкин великий поэт и больше ничего.

— Щедрин сам по себе, а Пушкин сам по себе,— угрюмо ответил Никитин.

— Я знаю, у вас в гимназии не признают Щедрина, но не в этом дело. Вы скажите мне, какой же Пушкин психолог?

— А то разве не психолог? Извольте, я приведу вам примеры.

И Никитин продекламировал несколько мест из «Онегина», потом из «Бориса Годунова».

— Никакой не вижу тут психологии,— вздохнула Варя.— Психологом называется тот, кто описывает изгибы человеческой души, а это прекрасные стихи и больше ничего.

— Я знаю, какой вам нужно психологии! — обиделся Никитин.— Вам нужно, чтобы кто-нибудь пилил мне тупой пилою палец и чтобы я орал во все горло,— это, по-вашему, психология.

— Плоско! Однако вы все-таки не доказали мне: почему же Пушкин психолог?

Когда Никитину приходилось оспаривать то, что казалось ему рутиной, узостью или чем-нибудь вроде этого, то обыкновенно он вскакивал с места, хватал себя обеими руками за голову и начинал со стоном бегать из угла в угол. И теперь то же самое: он вскочил, схватил себя за голову и со стоном прошелся вокруг стола, потом сел́ поодаль.

За него вступились офицеры. Штабс-капитан Полянский стал уверять Варю, что Пушкин в самом деле психолог, и в доказательство привел два стиха из Лермонтова, поручик Гернет сказал, что если бы Пушкин не был психологом, то ему не поставили бы в Москве памятника.

— Это хамство! — доносилось с другого конца стола.— Я так и губернатору сказал: это, ваше превосходительство, хамство!

— Я больше не спорю! — крикнул Никитин.— Это его же царствию не будет конца! Баста! Ах, да поди ты прочь, поганая собака! — крикнул он на Сома, который положил ему на колени голову и лапу.

«Ррр... нга-нга-нга...» — послышалось из-под стула.

— Сознайтесь, что вы не правы! — крикнула Варя.— Сознайтесь!

Но пришли гостьи-барышни, и спор прекратился сам собой. Все отправились в зал. Варя села за рояль и стала играть танцы. Протанцевали сначала вальс, потом польку, потом кадриль с grand-rond[1], которое провел по всем комнатам штабс-капитан Полянский, потом опять стали танцевать вальс.

Старики во время танцев сидели в зале, курили и смотрели на молодежь. Между ними находился и Шебалдин, директор городского кредитного общества, славившийся своей любовью к литературе и сценическому искусству. Он положил начало местному «Музыкально-драматическому кружку» и сам принимал участие в спектаклях, играя почему-то всегда только одних смешных лакеев или читая нараспев «Грешницу»*. Звали его в городе мумией, так как он был высок, очень тощ, жилист и имел всегда торжественное выражение лица и тусклые неподвижные глаза. Сценическое искусство он любил так искренно, что даже брил себе усы и бороду, а это еще больше делало его похожим на мумию.

После grand-rond он нерешительно, как-то боком подошел к Никитину, кашлянул и сказал:

— Я имел удовольствие присутствовать за чаем во время спора. Вполне разделяю ваше мнение. Мы с вами единомышленники, и мне было бы очень приятно поговорить с вами. Вы изволили читать «Гамбургскую драматургию» Лессинга?*

— Нет, не читал.

Шебалдин ужаснулся и замахал руками так, как будто ожег себе пальцы, и, ничего не говоря, попятился от Никитина. Фигура Шебалдина, его вопрос и удивление показались Никитину смешными, но он все-таки подумал:

«В самом деле неловко. Я — учитель словесности, а до сих пор еще не читал Лессинга. Надо будет прочесть».

Перед ужином все, молодые и старые, сели играть в «судьбу». Взяли две колоды карт: одну сдали всем поровну, другую положили на стол рубашкой вверх.

— У кого на руках эта карта,— начал торжественно старик Шелестов, поднимая верхнюю карту второй колоды,— тому судьба пойти сейчас в детскую и поцеловаться там с няней.

Удовольствие целоваться с няней выпало на долю Шебалди-

---

[1] Большой круг *(франц.)*.

на. Все гурьбой окружили его, повели в детскую и со смехом, хлопая в ладоши, заставили поцеловаться с няней. Поднялся шум, крик...

— Не так страстно! — кричал Шелестов, плача от смеха.— Не так страстно!

Никитину вышла судьба исповедовать всех. Он сел на стул среди залы. Принесли шаль и накрыли его с головой. Первой пришла к нему исповедоваться Варя.

— Я знаю ваши грехи,— начал Никитин, глядя в потемках на ее строгий профиль.— Скажите мне, сударыня, с какой это стати вы каждый день гуляете с Полянским? Ох, недаром, недаром она с гусаром!*

— Это плоско,— сказала Варя и ушла.

Затем под шалью заблестели большие неподвижные глаза, обозначился в потемках милый профиль и запахло чем-то дорогим, давно знакомым, что напоминало Никитину комнату Манюси.

— Мария Годфруа,— сказал он и не узнал своего голоса,— так он был нежен и мягок,— в чем вы грешны?

Манюся прищурила глаза и показала ему кончик языка, потом засмеялась и ушла. А через минуту она уже стояла среди залы, хлопала в ладоши и кричала:

— Ужинать, ужинать, ужинать!

И все повалили в столовую.

За ужином Варя опять спорила и на этот раз с отцом. Полянский солидно ел, пил красное вино и рассказывал Никитину, как он раз зимою, будучи на войне, всю ночь простоял по колено в болоте; неприятель был близко, так что не позволялось ни говорить, ни курить, ночь была холодная, темная, дул пронзительный ветер. Никитин слушал и косился на Манюсю. Она глядела на него неподвижно, не мигая, точно задумалась о чем-то или забылась... Для него это было и приятно, и мучительно.

«Зачем она на меня так смотрит? — мучился он.— Это неловко. Могут заметить. Ах, как она еще молода, как наивна!»

Гости стали расходиться в полночь. Когда Никитин вышел за ворота, во втором этаже дома хлопнуло окошко и показалась Манюся.

— Сергей Васильич! — окликнула она.

— Что прикажете?

— Вот что...— проговорила Манюся, видимо придумывая, что бы сказать.— Вот что... Полянский обещал прийти на днях со своей фотографией и снять всех нас. Надо будет собраться.

— Хорошо.

Манюся скрылась, окно хлопнуло, и тотчас же в доме кто-то заиграл на рояле.

«Ну, дом! — думал Никитин, переходя через улицу.— Дом, в котором стонут одни только египетские голуби, да и те потому, что иначе не умеют выражать своей радости!»

Но не у одних только Шелестовых жилось весело. Не прошел Никитин и двухсот шагов, как и из другого дома послышались звуки рояля. Прошел он еще немного и увидел у ворот мужика, играющего на балалайке. В саду оркестр грянул попурри из русских песен...

Никитин жил в полуверсте от Шелестовых, в квартире из восьми комнат, которую он нанимал за триста рублей в год вместе со своим товарищем, учителем географии и истории Ипполитом Ипполитычем. Этот Ипполит Ипполитыч, еще не старый человек, с рыжею бородкой, курносый, с лицом грубоватым и неинтеллигентным, как у мастерового, но добродушным, когда вернулся домой Никитин, сидел у себя за столом и поправлял ученические карты. Самым нужным и самым важным считалось у него по географии черчение карт, а по истории — знание хронологии; по целым ночам сидел он и синим карандашом поправлял карты своих учеников и учениц или же составлял хронологические таблички.

— Какая сегодня великолепная погода! — сказал Никитин, входя к нему.— Удивляюсь вам, как это вы можете сидеть в комнате.

Ипполит Ипполитыч был человек неразговорчивый; он или молчал, или же говорил только о том, что всем давно уже известно. Теперь он ответил так:

— Да, прекрасная погода. Теперь май, скоро будет настоящее лето. А лето не то, что зима. Зимою нужно печи топить, а летом и без печей тепло. Летом откроешь ночью окна, и все-таки тепло, а зимою — двойные рамы, и все-таки холодно.

Никитин посидел около стола не больше минуты и соскучился.

— Спокойной ночи! — сказал он, поднимаясь и зевая.— Хотел было я рассказать вам нечто романическое, меня касающееся, но ведь вы — география! Начнешь вам о любви, а вы сейчас: «В каком году была битва при Калке?»* Ну вас к черту с вашими битвами и Чукотскими носами!

— Что же вы сердитесь?

— Да досадно!

И, досадуя, что он не объяснился еще с Манюсей и что ему не с кем теперь поговорить о своей любви, он пошел к себе в кабинет и лег на диван. В кабинете было темно и тихо. Лежа и глядя в потемки, Никитин стал почему-то думать о том, как через два или три года он поедет за чем-нибудь в Петербург, как Манюся будет провожать его на вокзал и плакать; в Петербурге он получит от нее длинное письмо, в котором она будет

умолять его скорее вернуться домой. И он напишет ей... Свое письмо начнет так: «Милая моя крыса...»

— Именно, милая моя крыса,— сказал он и засмеялся.

Ему было неудобно лежать. Он подложил руку под голову и задрал левую ногу на спинку дивана. Стало удобно. Между тем окно начало заметно бледнеть, на дворе заголосили сонные петухи. Никитин продолжал думать о том, как он вернется из Петербурга, как встретит его на вокзале Манюся и, вскрикнув от радости, бросится ему на шею; или, еще лучше, он схитрит: приедет ночью потихоньку, кухарка отворит ему, потом на цыпочках пройдет он в спальню, бесшумно разденется и — бултых в постель! А она проснется и — о радость!

Воздух совсем побелел. Кабинета и окна уж не было. На крылечке пивоваренного завода, того самого, мимо которого сегодня проезжали, сидела Манюся и что-то говорила. Потом она взяла Никитина под руку и пошла с ним в загородный сад. Тут он увидел дубы и вороньи гнезда, похожие на шапки. Одно гнездо закачалось, выглянул из него Шебалдин и громко крикнул: «Вы не читали Лессинга!»

Никитин вздрогнул всем телом и открыл глаза. Перед диваном стоял Ипполит Ипполитыч и, откинув назад голову, надевал галстук.

— Вставайте, пора на службу,— говорил он.— А в одежде спать нельзя. От этого одежда портится. Спать надо в постели, раздевшись...

И он, по обыкновению, стал длинно и с расстановкой говорить о том, что всем давно уже известно.

Первый урок у Никитина был по русскому языку, во втором классе. Когда он ровно в девять часов вошел в этот класс, то здесь, на черной доске, были написаны мелом две большие буквы: М. Ш. Это, вероятно, значило: Маша Шелестова.

«Уж пронюхали, подлецы...— подумал Никитин.— И откуда они все знают?»

Второй урок по словесности был в пятом классе. И тут на доске было написано М. Ш., а когда он, кончив урок, выходил из этого класса, сзади него раздался крик, точно в театральном райке:

— Ура-а-а! Шелестова!!

От спанья в одежде было нехорошо в голове, тело изнемогало от лени. Ученики, каждый день ждавшие роспуска перед экзаменами, ничего не делали, томились, шалили от скуки. Никитин тоже томился, не замечал шалостей и то и дело подходил к окну. Ему была видна улица, ярко освещенная солнцем. Над домами прозрачное голубое небо, птицы, а далеко-далеко, за зелеными садами и домами, просторная, бесконечная даль с синеющими рощами, с дымком от бегущего поезда...

Вот по улице в тени акаций, играя хлыстиками, прошли два офицера в белых кителях. Вот на линейке проехала куча евреев с седыми бородами и в картузах. Гувернантка гуляет с директорскою внучкой... Пробежал куда-то Сом с двумя дворняжками... А вот, в простеньком сером платье и в красных чулочках, держа в руке «Вестник Европы», прошла Варя. Была, должно быть, в городской библиотеке...

А уроки кончатся еще не скоро — в три часа! После же уроков нужно идти не домой и не к Шелестовым, а к Вольфу на урок. Этот Вольф, богатый еврей, принявший лютеранство, не отдавал своих детей в гимназию, а приглашал к ним гимназических учителей и платил по пяти рублей за урок...

«Скучно, скучно, скучно!»

В три часа он пошел к Вольфу и высидел у него, как ему показалось, целую вечность. Вышел от него в пять часов, а в седьмом уже должен был идти в гимназию, на педагогический совет — составлять расписание устных экзаменов для четвертого и шестого классов!

Когда, поздно вечером, шел он из гимназии к Шелестовым, сердце у него билось и лицо горело. Неделю и месяц тому назад всякий раз, собираясь объясниться, он приготовлял целую речь с предисловием и с заключением, теперь же у него не было наготове ни одного слова, в голове все перепуталось, и он только знал, что сегодня он *наверное* объяснится и что дольше ждать нет никакой возможности.

«Я приглашу ее в сад,— обдумывал он,— немножко погуляю и объяснюсь...»

В передней не было ни души; он вошел в залу, потом в гостиную... Тут тоже никого не было. Слышно было, как наверху, во втором этаже, с кем-то спорила Варя и как в детской стучала ножницами наемная швея.

Была в доме комнатка, которая носила три названия: маленькая, проходная и темная. В ней стоял большой старый шкап с медикаментами, с порохом и охотничьими принадлежностями. Отсюда вела во второй этаж узкая деревянная лестничка, на которой всегда спали кошки. Были тут двери: одна — в детскую, другая — в гостиную. Когда вошел сюда Никитин, чтобы отправиться наверх, дверь из детской отворилась и хлопнула так, что задрожали и лестница и шкап; вбежала Манюся в темном платье, с куском синей материи в руках и, не замечая Никитина, шмыгнула к лестнице.

— Постойте...— остановил ее Никитин.— Здравствуйте, Годфруа... Позвольте...

Он запыхался, не знал, что говорить; одною рукой держал ее за руку, а другою — за синюю материю. А она не то испугалась, не то удивилась и глядела на него большими глазами.

— Позвольте...— продолжал Никитин, боясь, чтоб она не ушла.— Мне нужно вам кое-что сказать... Только... здесь неудобно. Я не могу, не в состоянии... Понимаете ли, Годфруа, я не могу... вот и все...

Синяя материя упала на пол, и Никитин взял Манюсю за другую руку. Она побледнела, зашевелила губами, потом попятилась назад от Никитина и очутилась в углу между стеной и шкапом.

— Честное слово, уверяю вас...— сказал он тихо.— Манюся, честное слово...

Она откинула назад голову, а он поцеловал ее в губы и, чтоб этот поцелуй продолжался дольше, он взял ее за щеки пальцами; и как-то так вышло, что сам он очутился в углу между шкапом и стеной, а она обвила руками его шею и прижалась к его подбородку головой.

Потом оба побежали в сад.

Сад у Шелестовых был большой, на четырех десятинах. Тут росло с два десятка старых кленов и лип, была одна ель, все же остальное составляли фруктовые деревья: черешни, яблони, груши, дикий каштан, серебристая маслина... Много было и цветов.

Никитин и Манюся молча бегали по аллеям, смеялись, задавали изредка друг другу отрывистые вопросы, на которые не отвечали, а над садом светил полумесяц, и на земле из темной травы, слабо освещенной этим полумесяцем, тянулись сонные тюльпаны и ирисы, точно прося, чтобы и с ними объяснились в любви.

Когда Никитин и Манюся вернулись в дом, офицеры и барышни были уже в сборе и танцевали мазурку. Опять Полянский водил по всем комнатам grand-rond, опять после танцев играли в судьбу. Перед ужином, когда гости пошли из залы в столовую, Манюся, оставшись одна с Никитиным, прижалась к нему и сказала:

— Ты сам поговори с папой и Варей. Мне стыдно...

После ужина он говорил со стариком. Выслушав его, Шелестов подумал и сказал:

— Очень вам благодарен за честь, которую вы оказываете мне и дочери, но позвольте мне поговорить с вами по-дружески. Буду говорить с вами не как отец, а как джентльмен с джентльменом. Скажите, пожалуйста, что вам за охота так рано жениться? Это только мужики женятся рано, но там, известно, хамство, а вы-то с чего? Что за удовольствие в такие молодые годы надевать на себя кандалы?

— Я вовсе не молод! — обиделся Никитин.— Мне двадцать седьмой год.

— Папа, коновал пришел! — крикнула из другой комнаты Варя.

И разговор прекратился. Домой провожали Никитина Варя,

Манюся и Полянский. Когда подошли к его калитке, Варя сказала:

— Что это ваш таинственный Митрополит Митрополитыч никуда не показывается? Пусть бы к нам пришел.

Таинственный Ипполит Ипполитыч, когда вошел к нему Никитин, сидел у себя на постели и снимал панталоны.

— Не ложитесь, голубчик! — сказал ему Никитин, зады-хаясь.— Постойте, не ложитесь!

Ипполит Ипполитыч быстро надел панталоны и спросил встревоженно:

— Что такое?

— Я женюсь!

Никитин сел рядом с товарищем и, глядя на него удивленно, точно удивляясь самому себе, сказал:

— Представьте, женюсь! На Маше Шелестовой! Сегодня предложение сделал.

— Что ж? Она девушка, кажется, хорошая. Только молода очень.

— Да, молода! — вздохнул Никитин и озабоченно пожал плечами.— Очень, очень молода!

— Она у меня в гимназии училась. Я ее знаю. По географии училась ничего себе, а по истории — плохо. И в классе была невнимательна.

Никитину вдруг почему-то стало жаль своего товарища и захотелось сказать ему что-нибудь ласковое, утешительное.

— Голубчик, отчего вы не женитесь? — спросил он.— Ипполит Ипполитыч, отчего бы вам, например, на Варе не жениться? Это чудная, превосходная девушка! Правда, она очень любит спорить, но зато сердце... какое сердце! Она сейчас про вас спрашивала. Женитесь на ней, голубчик! А?

Он отлично знал, что Варя не пойдет за этого скучного курносого человека, но все-таки убеждал его жениться на ней. Зачем?

— Женитьба — шаг серьезный,— сказал Ипполит Ипполитыч, подумав.— Надо обсудить все, взвесить, а так нельзя. Благоразумие никогда не мешает, а в особенности в женитьбе, когда человек, перестав быть холостым, начинает новую жизнь.

И он заговорил о том, что всем давно уже известно. Никитин не стал слушать его, простился и пошел к себе. Он быстро разделся и быстро лег, чтобы поскорее начать думать о своем счастье, о Манюсе, о будущем, улыбнулся и вдруг вспомнил, что он не читал еще Лессинга.

«Надо будет прочесть...— подумал он.— Впрочем, зачем мне его читать? Ну его к черту!»

И утомленный своим счастьем, он тотчас же уснул и улыбался до самого утра.

Снился ему стук лошадиных копыт о бревенчатый пол; снилось, как из конюшни вывели сначала вороного Графа Нулина, потом белого Великана, потом сестру его Майку...

II

«В церкви было очень тесно и шумно, и раз даже кто-то вскрикнул, и протоиерей, венчавший меня и Манюсю, взглянул через очки на толпу и сказал сурово:

— Не ходите по церкви и не шумите, а стойте тихо и молитесь. Надо страх божий иметь.

Шаферами у меня были два моих товарища, а у Мани — штабс-капитан Полянский и поручик Гернет. Архиерейский хор пел великолепно. Треск свечей, блеск, наряды, офицеры, множество веселых, довольных лиц и какой-то особенный, воздушный вид у Мани, и вся вообще обстановка и слова венчальных молитв трогали меня до слез, наполняли торжеством. Я думал: как расцвела, как поэтически красиво сложилась в последнее время моя жизнь! Два года назад я был еще студентом, жил в дешевых номерах на Неглинном, без денег, без родных, и, как казалось мне тогда, без будущего. Теперь же я — учитель гимназии в одном из лучших губернских городов, обеспечен, любим, избалован. Для меня вот, думал я, собралась теперь эта толпа, для меня горят три паникадила, ревет протодьякон, стараются певчие, и для меня так молодо, изящно и радостно это молодое существо, которое немного погодя будет называться моею женой. Я вспомнил первые встречи, наши поездки за город, объяснение в любви и погоду, которая, как нарочно, все лето была дивно хороша; и то счастье, которое когда-то на Неглинном представлялось мне возможным только в романах и повестях, теперь я испытывал на самом деле, казалось, брал его руками.

После венчания все в беспорядке толпились около меня и Мани и выражали свое искреннее удовольствие, поздравляли и желали счастья. Бригадный генерал, старик лет под семьдесят, поздравил одну только Манюсю и сказал ей старческим, скрипучим голосом так громко, что пронеслось по всей церкви:

— Надеюсь, милая, и после свадьбы вы останетесь все таким же роза́ном.

Офицеры, директор и все учителя улыбнулись из приличия, и я тоже почувствовал на своем лице приятную неискреннюю улыбку. Милейший Ипполит Ипполитыч, учитель истории и географии, всегда говорящий то, что всем давно известно, крепко пожал мне руку и сказал с чувством:

— До сих пор вы были не женаты и жили одни, а теперь вы женаты и будете жить вдвоем.

Из церкви поехали в двухэтажный нештукатуренный дом, который я получаю теперь в приданое. Кроме этого дома, за Маней деньгами тысяч двадцать и еще какая-то Мелитоновская пустошь со сторожкой, где, как говорят, множество кур и уток, которые без надзора становятся дикими. По приезде из церкви я потягивался, развалясь у себя в новом кабинете на турецком диване, и курил; мне было мягко, удобно и уютно, как никогда в жизни, а в это время гости кричали «ура», и в передней плохая музыка играла туши и всякий вздор. Варя, сестра Мани, вбежала в кабинет с бокалом в руке и с каким-то странным, напряженным выражением, точно у нее рот был полон воды; она, по-видимому, хотела бежать дальше, но вдруг захохотала и зарыдала, и бокал со звоном покатился по полу. Мы подхватили ее под руки и увели.

— Никто не может понять! — бормотала она потом в самой дальней комнате, лежа на постели у кормилицы.— Никто, никто! Боже мой, никто не может понять!

Но все отлично понимали, что она старше своей сестры Мани на четыре года и все еще не замужем и что плакала она не из зависти, а из грустного сознания, что время ее уходит и, быть может, даже ушло. Когда танцевали кадриль, она была уже в зале, с заплаканным, сильно напудренным лицом, и я видел, как штабс-капитан Полянский держал перед ней блюдечко с мороженым, а она кушала ложечкой...

Уже шестой час утра. Я взялся за дневник, чтобы описать свое полное, разнообразное счастье, и думал, что напишу листов шесть и завтра прочту Мане, но, странное дело, у меня в голове все перепуталось, стало неясно, как сон, и мне припоминается резко только этот эпизод с Варей и хочется написать: бедная Варя! Вот так бы все сидел и писал: бедная Варя! Кстати же зашумели деревья: будет дождь; каркают вороны, и у моей Мани, которая только что уснула, почему-то грустное лицо».

Потом Никитин долго не трогал своего дневника. В первых числах августа начались у него переэкзаменовки и приемные экзамены, а после успеньева дня — классные занятия. Обыкновенно в девятом часу утра он уходил на службу и уже в десятом начинал тосковать по Мане и по своем новом доме и посматривал на часы. В низших классах он заставлял кого-нибудь из мальчиков диктовать и, пока дети писали, сидел на подоконнике с закрытыми глазами и мечтал; мечтал ли он о будущем, вспоминал ли о прошлом,— все у него выходило одинаково прекрасно, похоже на сказку. В старших классах читали вслух Гоголя или прозу Пушкина, и это нагоняло на него дремоту, в воображении вырастали люди, деревья, поля, верховые лошади, и он говорил со вздохом, как бы восхищаясь автором:

— Как хорошо!

Во время большой перемены Маня присылала ему завтрак в белой, как снег, салфеточке, и он съедал его медленно, с расстановкой, чтобы продлить наслаждение, а Ипполит Ипполитыч, обыкновенно завтракавший одною только булкой, смотрел на него с уважением и с завистью и говорил что-нибудь известное, вроде:

— Без пищи люди не могут существовать.

Из гимназии Никитин шел на частные уроки, и когда, наконец, в шестом часу возвращался домой, то чувствовал и радость и тревогу, как будто не был дома целый год. Он вбегал по лестнице, запыхавшись, находил Маню, обнимал ее, целовал и клялся, что любит ее, жить без нее не может, уверял, что страшно соскучился, и со страхом спрашивал ее, здорова ли она и отчего у нее такое невеселое лицо. Потом вдвоем обедали. После обеда он ложился в кабинете на диван и курил, а она садилась возле и рассказывала вполголоса.

Самыми счастливыми днями у него были теперь воскресенья и праздники, когда он с утра до вечера оставался дома. В эти дни он принимал участие в наивной, но необыкновенно приятной жизни, напоминавшей ему пастушеские идиллии. Он, не переставая, наблюдал, как его разумная и положительная Маня устраивала гнездо, и сам тоже, желая показать, что он не лишний в доме, делал что-нибудь бесполезное, например, выкатывал из сарая шарабан и оглядывал его со всех сторон. Манюся завела от трех коров настоящее молочное хозяйство, и у нее в погребе и на погребице было много кувшинов с молоком и горшочков со сметаной, и все это она берегла для масла. Иногда ради шутки Никитин просил у нее стакан молока; она пугалась, так как это был непорядок, но он со смехом обнимал ее и говорил:

— Ну, ну, я пошутил, золото мое! Пошутил!

Или же он посмеивался над ее педантизмом, когда она, например, найдя в шкапу завалящий, твердый, как камень, кусочек колбасы или сыру, говорила с важностью:

— Это съедят в кухне.

Он замечал ей, что такой маленький кусочек годится только в мышеловку, а она начинала горячо доказывать, что мужчины ничего не понимают в хозяйстве и что прислугу ничем не удивишь, пошли ей в кухню хоть три пуда закусок, и он соглашался и в восторге обнимал ее. То, что в ее словах было справедливо, казалось ему необыкновенным, изумительным; то же, что расходилось с его убеждениями, было, по его мнению, наивно и умилительно.

Иногда на него находил философский стих, и он начинал рассуждать на какую-нибудь отвлеченную тему, а она слушала и смотрела ему в лицо с любопытством.

— Я бесконечно счастлив с тобой, моя радость,— говорил он,

перебирая ей пальчики или распуская и опять заплетая ей косу.— Но на это свое счастье я не смотрю как на нечто такое, что свалилось на меня случайно, точно с неба. Это счастье — явление вполне естественное, последовательное, логически верное. Я верю в то, что человек есть творец своего счастья, и теперь я беру именно то, что я сам создал. Да, говорю без жеманства, это счастье создал я сам и владею им по праву. Тебе известно мое прошлое. Сиротство, бедность, несчастное детство, тоскливая юность — все это борьба, это путь, который я прокладывал к счастью...

В октябре гимназия понесла тяжелую потерю: Ипполит Ипполитыч заболел рожей головы и скончался. Два последних дня перед смертью он был в бессознательном состоянии и бредил, но и в бреду говорил только то, что всем известно:

— Волга впадает в Каспийское море... Лошади кушают овес и сено...

В тот день, когда его хоронили, учения в гимназии не было. Товарищи и ученики несли крышку и гроб, и гимназический хор всю дорогу до кладбища пел «Святый боже». В процессии участвовало три священника, два дьякона, вся мужская гимназия и архиерейский хор в парадных кафтанах. И, глядя на торжественные похороны, встречные прохожие крестились и говорили:

— Дай бог всякому так помереть.

Вернувшись с кладбища домой, растроганный Никитин отыскал в столе свой дневник и написал:

«Сейчас опустили в могилу Ипполита Ипполитовича Рыжицкого.

Мир праху твоему, скромный труженик! Маня, Варя и все женщины, бывшие на похоронах, искренно плакали, быть может, оттого, что знали, что этого неинтересного, забитого человека не любила никогда ни одна женщина. Я хотел сказать на могиле товарища теплое слово, но меня предупредили, что это может не понравиться директору, так как он не любил покойного. После свадьбы это, кажется, первый день, когда у меня не легко на душе...»

Затем во весь учебный сезон не было никаких особенных событий.

Зима была вялая, без морозов, с мокрым снегом; под Крещенье, например, всю ночь ветер жалобно выл по-осеннему, и текло с крыш, а утром во время водосвятия полиция не пускала никого на реку, так как, говорили, лед надулся и потемнел. Но, несмотря на дурную погоду, Никитину жилось так же счастливо, как и летом. Даже еще прибавилось одно лишнее развлечение: он научился играть в винт. Только одно иногда волновало и сердило его и, казалось, мешало ему быть вполне счастливым: это кошки и собаки, которых он получил в приданое. В комнатах всегда, особенно по утрам, пахло как в зверинце, и этого запаха

ничем нельзя было заглушить; кошки часто дрались с собаками. Злую Мушку кормили по десяти раз в день, она по-прежнему не признавала Никитина и ворчала на него:

«Ррр... нга-нга-нга...»

Как-то великим постом в полночь возвращался он домой из клуба, где играл в карты. Шел дождь, было темно и грязно. Никитин чувствовал на душе неприятный осадок и никак не мог понять, отчего это: оттого ли, что он проиграл в клубе двенадцать рублей, или оттого, что один из партнеров, когда расплачивались, сказал, что у Никитина куры денег не клюют, очевидно намекая на приданое? Двенадцати рублей было не жалко, и слова партнера не содержали в себе ничего обидного, но все-таки было неприятно. Даже домой не хотелось.

— Фуй, как нехорошо! — проговорил он, останавливаясь около фонаря.

Ему пришло в голову, что двенадцати рублей ему оттого не жалко, что они достались ему даром. Вот если бы он был работником, то знал бы цену каждой копейке и не был бы равнодушен к выигрышу и проигрышу. Да и все счастье, рассуждал он, досталось ему даром, понапрасну и в сущности было для него такою же роскошью, как лекарство для здорового; если бы он, подобно громадному большинству людей, был угнетен заботой о куске хлеба, боролся за существование, если бы у него болели спина и грудь от работы, то ужин, теплая уютная квартира и семейное счастье были бы потребностью, наградой и украшением его жизни; теперь же все это имело какое-то странное, неопределенное значение.

— Фуй, как нехорошо! — повторил он, отлично понимая, что эти рассуждения сами по себе уже дурной знак.

Когда он пришел домой, Маня была в постели. Она ровно дышала и улыбалась и, по-видимому, спала с большим удовольствием. Возле нее, свернувшись клубочком, лежал белый кот и мурлыкал. Пока Никитин зажигал свечу и закуривал, Маня проснулась и с жадностью выпила стакан воды.

— Мармеладу наелась,— сказала она и засмеялась.— Ты у наших был? — спросила она, помолчав.

— Нет, не был.

Никитин уже знал, что штабс-капитан Полянский, на которого в последнее время сильно рассчитывала Варя, получил перевод в одну из западных губерний и уже делал в городе прощальные визиты, и поэтому в доме тестя было скучно.

— Вечером заходила Варя,— сказала Маня, садясь.— Она ничего не говорила, но по лицу видно, как ей тяжело, бедняжке. Терпеть не могу Полянского. Толстый, обрюзг, а когда ходит или танцует, щеки трясутся... Не моего романа. Но все-таки я считала его порядочным человеком.

— Я и теперь считаю его порядочным.

— А зачем он так дурно поступил с Варей?

— Почему же дурно? — спросил Никитин, начиная чувствовать раздражение против белого кота, который потягивался, выгнув спину.— Насколько мне известно, он предложения не делал и обещаний никаких не давал.

— А зачем он часто бывал в доме? Если не намерен жениться, то не ходи.

Никитин потушил свечу и лег. Но не хотелось ни спать, ни лежать. Ему казалось, что голова у него громадная и пустая, как амбар, и что в ней бродят новые, какие-то особенные мысли в виде длинных теней. Он думал о том, что кроме мягкого лампадного света, улыбающегося тихому семейному счастью, кроме этого мирка, в котором так спокойно и сладко живется ему и вот этому коту, есть ведь еще другой мир... И ему страстно, до тоски вдруг захотелось в этот другой мир, чтобы самому работать где-нибудь на заводе или в большой мастерской, говорить с кафедры, сочинять, печатать, шуметь, утомляться, страдать... Ему захотелось чего-нибудь такого, что захватило бы его до забвения самого себя, до равнодушия к личному счастью, ощущения которого так однообразны. И в воображении вдруг, как живой, вырос бритый Шебалдин и проговорил с ужасом:

— Вы не читали даже Лессинга! Как вы отстали! Боже, как вы опустились!

Маня опять стала пить воду. Он взглянул на ее шею, полные плечи и грудь и вспомнил слово, которое когда-то в церкви сказал бригадный генерал: розáн.

— Розáн,— пробормотал он и засмеялся.

В ответ ему под кроватью заворчала сонная Мушка:

«Ррр... нга-нга-нга...»

Тяжелая злоба, точно холодный молоток, повернулась в его душе, и ему захотелось сказать Мане что-нибудь грубое и даже вскочить и ударить ее. Началось сердцебиение.

— Так значит,— спросил он, сдерживая себя,— если я ходил к вам в дом, то непременно должен был жениться на тебе?

— Конечно. Ты сам это отлично понимаешь.

— Мило.

И через минуту опять повторил:

— Мило.

Чтобы не сказать лишнего и успокоить сердце, Никитин пошел к себе в кабинет и лег на диван без подушки, потом полежал на полу, на ковре.

«Какой вздор! — успокаивал он себя.— Ты — педагог, работаешь на благороднейшем поприще... Какого же тебе еще нужно другого мира! Что за чепуха!»

Но тотчас же он с уверенностью говорил себе, что он вовсе

не педагог, а чиновник, такой же бездарный и безличный, как чех, преподаватель греческого языка; никогда у него не было призвания к учительской деятельности, с педагогией он знаком не был и ею никогда не интересовался, обращаться с детьми не умеет; значение того, что он преподавал, было ему неизвестно, и, быть может, даже он учил тому, что не нужно. Покойный Ипполит Ипполитыч был откровенно туп, и все товарищи и ученики знали, кто он и чего можно ждать от него; он же, Никитин, подобно чеху, умеет скрывать свою тупость и ловко обманывает всех, делая вид, что у него, слава богу, все идет хорошо. Эти новые мысли пугали Никитина, он отказывался от них, называл их глупыми и верил, что все это от нервов, что сам же он будет смеяться над собой...

И в самом деле, под утро он уже смеялся над своею нервностью и называл себя бабой, но для него уже было ясно, что покой потерян, вероятно, навсегда и что в двухэтажном нештукатуренном доме счастье для него уже невозможно. Он догадывался, что иллюзия иссякла и уже начиналась новая, нервная, сознательная жизнь, которая не в ладу с покоем и личным счастьем.

На другой день, в воскресенье, он был в гимназической церкви и виделся там с директором и товарищами. Ему казалось, что все они были заняты только тем, что тщательно скрывали свое невежество и недовольство жизнью, и сам он, чтобы не выдать им своего беспокойства, приятно улыбался и говорил о пустяках. Потом он ходил на вокзал и видел там, как пришел и ушел почтовый поезд, и ему приятно было, что он один и что ему не нужно ни с кем разговаривать.

Дома застал он тестя и Варю, которые пришли к нему обедать. Варя была с заплаканными глазами и жаловалась на головную боль, а Шелестов ел очень много и говорил о том, как теперешние молодые люди ненадежны и как мало в них джентльменства.

— Это хамство! — говорил он.— Так я ему прямо и скажу: это хамство, милостивый государь!

Никитин приятно улыбался и помогал Мане угощать гостей, но после обеда пошел к себе в кабинет и заперся.

Мартовское солнце светило ярко, и сквозь оконные стекла падали на стол горячие лучи. Было еще только двадцатое число, но уже ездили на колесах, и в саду шумели скворцы. Похоже было на то, что сейчас вот войдет Манюся, обнимет одною рукой за шею и скажет, что подали к крыльцу верховых лошадей или шарабан, и спросит, что ей надеть, чтобы не озябнуть. Начиналась весна, такая же чудесная, как и в прошлом году, и обещала те же радости... Но Никитин думал о том, что хорошо бы взять теперь отпуск и уехать в Москву и остановиться там на Неглин-

ном в знакомых номерах. В соседней комнате пили кофе и говорили о штабс-капитане Полянском, а он старался не слушать и писал в своем дневнике: «Где я, боже мой?! Меня окружает пошлость и пошлость. Скучные, ничтожные люди, горшочки со сметаной, кувшины с молоком, тараканы, глупые женщины... Нет ничего страшнее, оскорбительнее, тоскливее пошлости. Бежать отсюда, бежать сегодня же, иначе я сойду с ума!»

1894

АННА НА ШЕЕ

I

После венчания не было даже легкой закуски; молодые выпили по бокалу, переоделись и поехали на вокзал. Вместо веселого свадебного бала и ужина, вместо музыки и танцев — поездка на богомолье за двести верст. Многие одобряли это, говоря, что Модест Алексеич уже в чинах и не молод и шумная свадьба могла бы, пожалуй, показаться не совсем приличной; да и скучно слушать музыку, когда чиновник пятидесяти двух лет женится на девушке, которой едва минуло восемнадцать. Говорили также, что эту поездку в монастырь Модест Алексеич, как человек с правилами, затеял, собственно, для того, чтобы дать понять своей молодой жене, что и в браке он отдает первое место религии и нравственности.

Молодых провожали. Толпа сослуживцев и родных стояла с бокалами и ждала, когда пойдет поезд, чтобы крикнуть «ура», и Петр Леонтьич, отец, в цилиндре, в учительском фраке, уже пьяный и уже очень бледный, все тянулся к окну со своим бокалом и говорил умоляюще:

— Анюта! Аня! Аня, на одно слово!

Аня наклонялась к нему из окна, и он шептал ей что-то, обдавая ее запахом винного перегара, дул в ухо — ничего нельзя было понять — и крестил ей лицо, грудь, руки; при этом дыхание у него дрожало и на глазах блестели слезы. А братья Ани, Петя и Андрюша, гимназисты, дергали его сзади за фрак и шептали сконфуженно:

— Папочка, будет... Папочка, не надо...

Когда поезд тронулся, Аня видела, как ее отец побежал немножко за вагоном, пошатываясь и расплескивая свое вино, и какое у него было жалкое, доброе, виноватое лицо.

— Ура-а-а! — кричал он.

Молодые остались одни. Модест Алексеич осмотрелся в купе, разложил вещи по полкам и сел против своей молодой жены улыбаясь. Это был чиновник среднего роста, довольно полный,

пухлый, очень сытый, с длинными бакенами и без усов, и его бритый, круглый, резко очерченный подбородок походил на пятку. Самое характерное в его лице было отсутствие усов, это свежевыбритое, голое место, которое постепенно переходило в жирные, дрожащие, как желе, щеки. Держался он солидно, движения у него были не быстрые, манеры мягкие.

— Не могу не припомнить теперь одного обстоятельства,— сказал он улыбаясь.— Пять лет назад, когда Косоротов получил орден святыя Анны второй степени и пришел благодарить, то его сиятельство выразился так: «Значит, у вас теперь три Анны: одна в петлице, две на шее». А надо сказать, что в то время к Косоротову только что вернулась его жена, особа сварливая и легкомысленная, которую звали Анной. Надеюсь, что когда я получу Анну второй степени, то его сиятельство не будет иметь повода сказать мне то же самое.

Он улыбался своими маленькими глазками. И она тоже улыбалась, волнуясь от мысли, что этот человек может каждую минуту поцеловать ее своими полными, влажными губами и что она уже не имеет права отказать ему в этом. Мягкие движения его пухлого тела пугали ее, ей было и страшно, и гадко. Он встал, не спеша снял с шеи орден, снял фрак и жилет и надел халат.

— Вот так,— сказал он, садясь рядом с Аней.

Она вспоминала, как мучительно было венчание, когда казалось ей, что и священник, и гости, и все в церкви глядели на нее печально: зачем, зачем она, такая милая, хорошая, выходит за этого пожилого, неинтересного господина? Еще утром сегодня она была в восторге, что все так хорошо устроилось, во время же венчания и теперь в вагоне чувствовала себя виноватой, обманутой и смешной. Вот она вышла за богатого, а денег у нее все-таки не было, венчальное платье шили в долг, и, когда сегодня ее провожали отец и братья, она по их лицам видела, что у них не было ни копейки. Будут ли они сегодня ужинать? А завтра? И ей почему-то казалось, что отец и мальчики сидят теперь без нее голодные и испытывают точно такую же тоску, какая была в первый вечер после похорон матери.

«О, как я несчастна! — думала она.— Зачем я так несчастна?»

С неловкостью человека солидного, не привыкшего обращаться с женщинами, Модест Алексеич трогал ее за талию и похлопывал по плечу, а она думала о деньгах, о матери, об ее смерти. Когда умерла мать, отец, Петр Леонтьич, учитель чистописания и рисования в гимназии, запил, наступила нужда; у мальчиков не было сапог и калош, отца таскали к мировому, приходил судебный пристав и описывал мебель... Какой стыд! Аня должна была ухаживать за пьяным отцом, штопать братьям чулки, ходить на рынок, и, когда хвалили ее красоту, молодость и изящные мане-

ры, ей казалось, что весь свет видит ее дешевую шляпку и дырочки на ботинках, замазанные чернилами. А по ночам слезы и неотвязчивая, беспокойная мысль, что скоро-скоро отца уволят из гимназии за слабость и что он не перенесет этого и тоже умрет, как мать. Но вот знакомые дамы засуетились и стали искать для Ани хорошего человека. Скоро нашелся вот этот самый Модест Алексеич, не молодой и не красивый, но с деньгами. У него в банке тысяч сто и есть родовое имение, которое он отдает в аренду. Это человек с правилами и на хорошем счету у его сиятельства; ему ничего не стоит, как говорили Ане, взять у его сиятельства записочку к директору гимназии и даже к попечителю, чтобы Петра Леонтьича не увольняли...

Пока она вспоминала эти подробности, послышалась вдруг музыка, ворвавшаяся в окно вместе с шумом голосов. Это поезд остановился на полустанке. За платформой в толпе бойко играли на гармонике и на дешевой визгливой скрипке, а из-за высоких берез и тополей, из-за дач, залитых лунным светом, доносились звуки военного оркестра: должно быть, на дачах был танцевальный вечер. На платформе гуляли дачники и горожане, приезжавшие сюда в хорошую погоду подышать чистым воздухом. Был тут и Артынов, владелец всего этого дачного места, богач, высокий, полный брюнет, похожий лицом на армянина, с глазами навыкате и в странном костюме. На нем была рубаха, расстегнутая на груди, и высокие сапоги со шпорами, и с плеч спускался черный плащ, тащившийся по земле, как шлейф. За ним, опустив свои острые морды, ходили две борзые.

У Ани еще блестели на глазах слезы, но она уже не помнила ни о матери, ни о деньгах, ни о своей свадьбе, а пожимала руки знакомым гимназистам и офицерам, весело смеялась и говорила быстро:

— Здравствуйте! Как поживаете?

Она вышла на площадку, под лунный свет, и стала так, чтобы видели ее всю в новом великолепном платье и в шляпке.

— Зачем мы здесь стоим? — спросила она.

— Здесь разъезд,— ответили ей,— ожидают почтового поезда.

Заметив, что на нее смотрит Артынов, она кокетливо прищурила глаза и заговорила громко по-французски, и оттого, что ее собственный голос звучал так прекрасно и что слышалась музыка и луна отражалась в пруде, и оттого, что на нее жадно и с любопытством смотрел Артынов, этот известный донжуан и баловник, и оттого, что всем было весело, она вдруг почувствовала радость, и, когда поезд тронулся и знакомые офицеры на прощанье сделали ей под козырек, она уже напевала польку, звуки которой посылал ей вдогонку военный оркестр, гремевший где-то там за деревьями; и вернулась она в свое купе с таким чувством,

как будто на полустанке ее убедили, что она будет счастлива непременно, несмотря ни на что.

Молодые пробыли в монастыре два дня, потом вернулись в город. Жили они на казенной квартире. Когда Модест Алексеич уходил на службу, Аня играла на рояле, или плакала от скуки, или ложилась на кушетку и читала романы и рассматривала модный журнал. За обедом Модест Алексеич ел очень много и говорил о политике, о назначениях, переводах и наградах, о том, что надо трудиться, что семейная жизнь есть не удовольствие, а долг, что копейка рубль бережет и что выше всего на свете он ставит религию и нравственность. И, держа нож в кулаке, как меч, он говорил:

— Каждый человек должен иметь свои обязанности!

А Аня слушала его, боялась и не могла есть и обыкновенно вставала из-за стола голодной. После обеда муж отдыхал и громко храпел, а она уходила к своим. Отец и мальчики посматривали на нее как-то особенно, как будто только что до ее прихода осуждали ее за то, что она вышла из-за денег, за нелюбимого, нудного, скучного человека; ее шуршащее платье, браслетки и вообще дамский вид стесняли, оскорбляли их; в ее присутствии они немножко конфузились и не знали, о чем говорить с ней; но все же любили они ее по-прежнему и еще не привыкли обедать без нее. Она садилась и кушала с ними щи, кашу и картошку, жаренную на бараньем сале, от которого пахло свечкой. Петр Леонтьич дрожащей рукой наливал из графинчика и выпивал быстро, с жадностью, с отвращением, потом выпивал другую рюмку, потом третью... Петя и Андрюша, худенькие, бледные мальчики с большими глазами, брали графинчик и говорили растерянно:

— Не надо, папочка... Довольно, папочка...

И Аня тоже тревожилась и умоляла его больше не пить, а он вдруг вспыхивал и стучал кулаком по столу.

— Я никому не позволю надзирать за мной! — кричал он.— Мальчишки! Девчонка! Я вас всех выгоню вон!

Но в голосе его слышались слабость, доброта, и никто его не боялся. После обеда обыкновенно он наряжался; бледный, с порезанным от бритья подбородком, вытягивая тощую шею, он целых полчаса стоял перед зеркалом и прихорашивался, то причесываясь, то закручивая свои черные усы, прыскался духами, завязывал бантом галстук, потом надевал перчатки, цилиндр и уходил на частные уроки. А если был праздник, то он оставался дома и писал красками или играл на фисгармонии, которая шипела и рычала; он старался выдавить из нее стройные, гармоничные звуки и подпевал или же сердился на мальчиков:

— Мерзавцы! Негодяи! Испортили инструмент!

По вечерам муж Ани играл в карты со своими сослуживцами,

А. П. Чехов

«ВАНЬКА»

жившими с ним под одной крышей в казенном доме. Сходились во время карт жены чиновников, некрасивые, безвкусно наряженные, грубые, как кухарки, и в квартире начинались сплетни, такие же некрасивые и безвкусные, как сами чиновницы. Случалось, что Модест Алексеич ходил с Аней в театр. В антрактах он не отпускал ее от себя ни на шаг, а ходил с ней под руку по коридорам и по фойе. Раскланявшись с кем-нибудь, он тотчас уже шептал Ане: «Статский советник... принят у его сиятельства...», или: «Со средствами... имеет свой дом... Когда проходили мимо буфета, Ане очень хотелось чего-нибудь сладкого; она любила шоколад и яблочное пирожное, но денег у нее не было, а спросить у мужа она стеснялась. Он брал грушу, мял ее пальцами и спрашивал нерешительно:

— Сколько стоит?

— Двадцать пять копеек.

— Однако! — говорил он и клал грушу на место; но так как было неловко отойти от буфета, ничего не купивши, то он требовал сельтерской воды и выпивал один всю бутылку, и слезы выступали у него на глазах, и Аня ненавидела его в это время.

Или он, вдруг весь покраснев, говорил ей быстро:

— Поклонись этой старой даме!

— Но я с ней незнакома.

— Все равно. Это супруга управляющего казенной палатой! Поклонись же, тебе говорю! — ворчал он настойчиво.— Голова у тебя не отвалится.

Аня кланялась, и голова у нее в самом деле не отваливалась, но было мучительно. Она делала все, что хотел муж, и злилась на себя за то, что он обманул ее, как последнюю дурочку. Выходила она за него только из-за денег, а между тем денег у нее теперь было меньше, чем до замужества. Прежде хоть отец давал двугривенные, а теперь — ни гроша. Брать тайно или просить она не могла, она боялась мужа, трепетала его. Ей казалось, что страх к этому человеку она носит в своей душе уже давно. Когда-то в детстве самой внушительной и страшной силой, надвигающейся как туча или локомотив, готовый задавить, ей всегда представлялся директор гимназии; другой такою же силой, о которой в семье всегда говорили и которую почему-то боялись, был его сиятельство; и был еще десяток сил помельче, и между ними учителя гимназии с бритыми усами, строгие, неумолимые и теперь вот, наконец, Модест Алексеич, человек с правилами, который даже лицом походил на директора. И в воображении Ани все эти силы сливались в одно и в виде одного страшного, громадного белого медведя надвигались на слабых и виноватых, таких, как ее отец, и она боялась сказать что-нибудь против, и натянуто улыбалась, и выражала притворное удовольствие, когда ее грубо ласкали и оскверняли объятиями, наводившими на нее ужас.

Только один раз Петр Леонтьич осмелился попросить у него пятьдесят рублей взаймы, чтобы заплатить какой-то очень неприятный долг, но какое это было страдание!

— Хорошо, я вам дам,— сказал Модест Алексеич, подумав,— но предупреждаю, что больше уже не буду помогать вам, пока вы не бросите пить. Для человека, состоящего на государственной службе, постыдна такая слабость. Не могу не напомнить вам общеизвестного факта, что многих способных людей погубила эта страсть, между тем как при воздержании они, быть может, могли бы со временем сделаться высокопоставленными людьми.

И потянулись длинные периоды: «по мере того...», «исходя из того положения...», «ввиду только что сказанного», а бедный Петр Леонтьич страдал от унижения и испытывал сильное желание выпить.

И мальчики, приходившие к Ане в гости, обыкновенно в рваных сапогах и в поношенных брюках, тоже должны были выслушивать наставления.

— Каждый человек должен иметь свои обязанности! — говорил им Модест Алексеич.

А денег не давал. Но зато он дарил Ане кольца, браслеты и броши, говоря, что эти вещи хорошо иметь про черный день. И часто он отпирал ее комод и делал ревизию: все ли вещи целы.

II

Наступила между тем зима. Еще задолго до рождества в местной газете было объявлено, что 29 декабря в дворянском собрании «имеет быть» обычный зимний бал. Каждый вечер после карт Модест Алексеич, взволнованный, шептался с чиновницами, озабоченно поглядывая на Аню, и потом долго ходил из угла в угол, о чем-то думая. Наконец, как-то поздно вечером, он остановился перед Аней и сказал:

— Ты должна сшить себе бальное платье. Понимаешь? Только, пожалуйста, посоветуйся с Марьей Григорьевной и с Натальей Кузьминишной.

И дал ей сто рублей. Она взяла; но, заказывая бальное платье, ни с кем не советовалась, а поговорила только с отцом и постаралась вообразить себе, как бы оделась на бал ее мать. Ее покойная мать сама одевалась всегда по последней моде и всегда возилась с Аней и одевала ее изящно, как куклу, и научила ее говорить по-французски и превосходно танцевать мазурку (до замужества она пять лет прослужила в гувернантках). Аня так же, как мать, могла из старого платья сделать новое, мыть в

бензине перчатки, брать напрокат bijoux[1] и так же, как мать, умела щурить глаза, картавить, принимать красивые позы, приходить, когда нужно, в восторг, глядеть печально и загадочно. А от отца она унаследовала темный цвет волос и глаз, нервность и эту манеру всегда прихорашиваться.

Когда за полчаса до отъезда на бал Модест Алексеич вошел к ней без сюртука, чтобы перед ее трюмо надеть себе на шею орден, то, очарованный ее красотой и блеском ее свежего, воздушного наряда, самодовольно расчесал себе бакены и сказал:

— Вот ты у меня какая... вот ты какая! Анюта! — продолжал он, вдруг впадая в торжественный тон.— Я тебя осчастливил, а сегодня ты можешь осчастливить меня. Прошу тебя, представься супруге его сиятельства! Ради бога! Через нее я могу получить старшего докладчика!

Поехали на бал. Вот и дворянское собрание, и подъезд со швейцаром. Передняя с вешалками, шубы, снующие лакеи и декольтированные дамы, закрывающиеся веерами от сквозного ветра; пахнет светильным газом и солдатами. Когда Аня, идя вверх по лестнице под руку с мужем, услышала музыку и увидала в громадном зеркале всю себя, освещенную множеством огней, то в душе ее проснулась радость и то самое предчувствие счастья, какое испытала она в лунный вечер на полустанке. Она шла гордая, самоуверенная, в первый раз чувствуя себя не девочкой, а дамой, и невольно походкою и манерами подражая своей покойной матери. И в первый раз в жизни она чувствовала себя богатой и свободной. Даже присутствие мужа не стесняло ее, так как, перейдя порог собрания, она уже угадала инстинктом, что близость старого мужа нисколько не унижает ее, а, наоборот, кладет на нее печать пикантной таинственности, которая так нравится мужчинам. В большой зале уже гремел оркестр и начались танцы. После казенной квартиры, охваченная впечатлениями света, пестроты, музыки, шума, Аня окинула взглядом залу и подумала: «Ах, как хорошо!» — и сразу отличила в толпе всех своих знакомых, всех, кого она раньше встречала на вечерах или на гуляньях, всех этих офицеров, учителей, адвокатов, чиновников, помещиков, его сиятельство, Артынова и дам высшего общества, разодетых, сильно декольтированных, красивых и безобразных, которые уже занимали свои позиции в избушках и павильонах благотворительного базара, чтобы начать торговлю в пользу бедных. Громадный офицер в эполетах — она познакомилась с ним на Старо-Киевской улице, когда была гимназисткой, а теперь не помнила его фамилии — точно из-под земли вырос и пригласил на вальс, и она отлетела от мужа, и ей уж казалось, будто она плыла на парусной лодке, в сильную бурю,

---

[1] Драгоценности *(франц.)*.

а муж остался далеко на берегу... Она танцевала страстно, с увлечением и вальс, и польку, и кадриль, переходя с рук на руки, угорая от музыки и шума. мешая русский язык с французским, картавя, смеясь и не думая ни о муже, ни о ком и ни о чем. Она имела успех у мужчин, это было ясно, да иначе и быть не могло, она задыхалась от волнения, судорожно тискала в руках веер и хотела пить. Отец, Петр Леонтьич, в помятом фраке, от которого пахло бензином, подошел к ней, протягивая блюдечко с красным мороженым.

— Ты очаровательна сегодня,— говорил он, глядя на нее с восторгом,— и никогда еще я так не жалел, что ты поспешила замуж... Зачем? Я знаю, ты сделала это ради нас, но...— Он дрожащими руками вытащил пачечку денег и сказал: — Я сегодня получил с урока и могу отдать долг твоему мужу.

Она сунула ему в руки блюдечко и, подхваченная кем-то, унеслась далеко и мельком, через плечо своего кавалера, видела, как отец, скользя по паркету, обнял даму и понесся с ней по зале.

«Как он мил, когда трезв!» — думала она.

Мазурку она танцевала с тем же громадным офицером; он важно и тяжело, словно туша в мундире, ходил, поводил плечами и грудью, притоптывал ногами еле-еле — ему страшно не хотелось танцевать, а она порхала около, дразня его своей красотой, своей открытой шеей; глаза ее горели задором, движения были страстные, а он становился все равнодушнее и протягивал к ней руки милостиво, как король.

— Браво, браво!..— говорили в публике.

Но мало-помалу и громадного офицера прорвало; он оживился, заволновался и, уже поддавшись очарованию, вошел в азарт и двигался легко, молодо, а она только поводила плечами и глядела лукаво, точно она уже была королева, а он раб, и в это время ей казалось, что на них смотрит вся зала, что все эти люди млеют и завидуют им. Едва громадный офицер успел поблагодарить ее, как публика вдруг расступилась и мужчины вытянулись как-то странно, опустив руки... Это шел к ней его сиятельство, во фраке с двумя звездами. Да, его сиятельство шел именно к ней, потому что глядел прямо на нее в упор и слащаво улыбался и при этом жевал губами, что делал он всегда, когда видел хорошеньких женщин.

— Очень рад, очень рад...— начал он.— А я прикажу посадить вашего мужа на гауптвахту за то, что он до сих пор скрывал от нас такое сокровище. Я к вам с поручением от жены,— продолжал он, подавая ей руку.— Вы должны помочь нам... М-да... Нужно назначить вам премию за красоту... как в Америке... М-да... Американцы... Моя жена ждет вас с нетерпением.

Он привел ее в избушку, к пожилой даме, у которой нижняя

часть лица была несоразмерно велика, так что казалось, будто она во рту держала большой камень.

— Помогите нам,— сказала она в нос, нараспев.— Все хорошенькие женщины работают на благотворительном базаре, и только одна вы почему-то гуляете. Отчего вы не хотите нам помочь?

Она ушла, и Аня заняла ее место около серебряного самовара с чашками. Тотчас же началась бойкая торговля. За чашку чаю Аня брала не меньше рубля, а громадного офицера заставила выпить три чашки. Подошел Артынов, богач, с выпуклыми глазами, страдающий одышкой, но уже не в том странном костюме, в каком видела его Аня летом, а во фраке, как все. Не отрывая глаз с Ани, он выпил бокал шампанского и заплатил сто рублей, потом выпил чаю и дал еще сто — и все это молча, страдая астмой... Аня зазывала покупателей и брала с них деньги, уже глубоко убежденная, что ее улыбки и взгляды не доставляют этим людям ничего, кроме большого удовольствия. Она уже поняла, что она создана исключительно для этой шумной, блестящей, смеющейся жизни с музыкой, танцами, поклонниками, и давнишний страх ее перед силой, которая надвигается и грозит задавить, казался ей смешным; никого она уже не боялась и только жалела, что нет матери, которая порадовалась бы теперь вместе с ней ее успехам.

Петр Леонтьич, уже бледный, но еще крепко держась на ногах, подошел к избушке и попросил рюмку коньяку. Аня покраснела, ожидая, что он скажет что-нибудь неподобающее (ей уже было стыдно, что у нее такой бедный, такой обыкновенный отец), но он выпил, выбросил из своей пачечки десять рублей и важно отошел, не сказав ни слова. Немного погодя она видела, как он шел в паре в grand-rond, и в этот раз он уже пошатывался и что-то выкрикивал, к великому конфузу своей дамы, и Аня вспомнила, как года три назад на балу он так же вот пошатывался и выкрикивал — и кончилось тем, что околоточный увез его домой спать, а на другой день директор грозил уволить со службы. Как некстати было это воспоминание!

Когда в избушках потухли самовары и утомленные благотворительницы сдали выручку пожилой даме с камнем во рту, Артынов повел Аню под руку в залу, где был сервирован ужин для всех участвовавших в благотворительном базаре. Ужинало человек двадцать, не больше, но было очень шумно. Его сиятельство провозгласил тост: «В этой роскошной столовой будет уместно выпить за процветание дешевых столовых, служивших предметом сегодняшнего базара». Бригадный генерал предложил выпить «за силу, перед которой пасует даже артиллерия», и все потянулись чокаться с дамами. Было очень, очень весело!

Когда Аню провожали домой, то уже светало и кухарки шли на рынок. Радостная, пьяная, полная новых впечатлений, заму-

ченная, она разделась, повалилась в постель и тотчас же уснула...

Во втором часу дня ее разбудила горничная и доложила, что приехал господин Артынов с визитом. Она быстро оделась и пошла в гостиную. Вскоре после Артынова приезжал его сиятельство благодарить за участие в благотворительном базаре. Он, глядя на нее слащаво и жуя, поцеловал ей ручку и попросил позволения бывать еще и уехал, а она стояла среди гостиной, изумленная, очарованная, не веря, что перемена в ее жизни, удивительная перемена, произошла так скоро; и в это самое время вошел ее муж, Модест Алексеич... И перед ней также стоял он теперь с тем же заискивающим, сладким, холопски-почтительным выражением, какое она привыкла видеть у него в присутствии сильных и знатных; и с восторгом, с негодованием, с презрением, уже уверенная, что ей за это ничего не будет, она сказала, отчетливо выговаривая каждое слово:

— Подите прочь, болван!

После этого у Ани не было уже ни одного свободного дня, так как она принимала участие то в пикнике, то в прогулке, то в спектакле. Возвращалась она домой каждый день под утро и ложилась в гостиной на полу и потом рассказывала всем трогательно, как она спит под цветами. Денег нужно было очень много, но она уже не боялась Модеста Алексеича и тратила его деньги, как свои; и она не просила, не требовала, а только посылала ему счета или записки: «выдать подателю сего 200 р.» или: «немедленно уплатить 100 р.».

На пасхе Модест Алексеич получил Анну второй степени. Когда он пришел благодарить, его сиятельство отложил в сторону газету и сел поглубже в кресло.

— Значит, у вас теперь три Анны,— сказал он, осматривая свои белые руки с розовыми ногтями,— одна в петлице, две на шее.

Модест Алексеич приложил два пальца к губам из осторожности, чтобы не рассмеяться громко, и сказал:

— Теперь остается ожидать появления на свет маленького Владимира. Осмелюсь просить ваше сиятельство в восприемники.

Он намекал на Владимира IV степени и уже воображал, как он будет всюду рассказывать об этом своем каламбуре, удачном по находчивости и смелости, и хотел сказать еще что-нибудь такое же удачное, но его сиятельство вновь углубился в газету и кивнул головой...

А Аня все каталась на тройках, ездила с Артыновым на охоту, играла в одноактных пьесах, ужинала и все реже и реже бывала у своих. Они обедали уже одни. Петр Леонтьич запивал сильнее прежнего, денег не было, и фисгармонию давно уже продали за долг. Мальчики теперь не отпускали его одного на улицу и всё следили за ним, чтобы он не упал; и когда во время катанья

на Старо-Киевской им встречалась Аня на паре с пристяжной на отлете и с Артыновым на козлах вместо кучера, Петр Леонтьич снимал цилиндр и собирался что-то крикнуть, а Петя и Андрюша брали его под руки и говорили умоляюще:

— Не надо, папочка... Будет, папочка...

1895

ДОМ С МЕЗОНИНОМ

Рассказ художника

I

Это было шесть-семь лет тому назад, когда я жил в одном из уездов Т — ой губернии, в имении помещика Белокурова, молодого человека, который вставал очень рано, ходил в поддевке, по вечерам пил пиво и все жаловался мне, что он нигде и ни в ком не встречает сочувствия. Он жил в саду во флигеле, а я в старом барском доме, в громадной зале с колоннами, где не было никакой мебели, кроме широкого дивана, на котором я спал, да еще стола, на котором я раскладывал пасьянс. Тут всегда, даже в тихую погоду, что-то гудело в старых амосовских печах, а во время грозы весь дом дрожал и, казалось, трескался на части, и было немножко страшно, особенно ночью, когда все десять больших окон вдруг освещались молнией.

Обреченный судьбой на постоянную праздность, я не делал решительно ничего. По целым часам я смотрел в свои окна на небо, на птиц, на аллеи, читал все, что привозили мне с почты, спал. Иногда я уходил из дому и до позднего вечера бродил где-нибудь.

Однажды, возвращаясь домой, я нечаянно забрел в какую-то незнакомую усадьбу. Солнце уже пряталось, и на цветущей ржи растянулись вечерние тени. Два ряда старых, тесно посаженных, очень высоких елей стояли, как две сплошные стены, образуя мрачную красивую аллею. Я легко перелез через изгородь и пошел по этой аллее, скользя по еловым иглам, которые тут на вершок покрывали землю. Было тихо, темно, и только высоко на вершинах кое-где дрожал яркий золотой свет и переливал радугой в сетях паука. Сильно, до духоты пахло хвоем. Потом я повернул на длинную липовую аллею. И тут тоже запустение и старость; прошлогодняя листва печально шелестела под ногами, и в сумерках между деревьями прятались тени. Направо, в старом фруктовом саду, нехотя, слабым голосом пела иволга, должно быть тоже старушка. Но вот и липы кончились; я прошел мимо белого дома с террасой и с мезонином, и передо мною

неожиданно развернулся вид на барский двор и на широкий пруд с купальней, с толпой зеленых ив, с деревней на том берегу, с высокой узкой колокольней, на которой горел крест, отражая в себе заходившее солнце. На миг на меня повеяло очарованием чего-то родного, очень знакомого, будто я уже видел эту самую панораму когда-то в детстве.

А у белых каменных ворот, которые вели со двора в поле, у старинных крепких ворот со львами, стояли две девушки. Одна из них, постарше, тонкая, бледная, очень красивая, с целой копной каштановых волос на голове, с маленьким упрямым ртом, имела строгое выражение и на меня едва обратила внимание; другая же, совсем еще молоденькая — ей было семнадцать — восемнадцать лет, не больше,— тоже тонкая и бледная, с большим ртом и с большими глазами, с удивлением посмотрела на меня, когда я проходил мимо, сказала что-то по-английски и сконфузилась, и мне показалось, что и эти два милых лица мне давно уже знакомы. И я вернулся домой с таким чувством, как будто видел хороший сон.

Вскоре после этого, как-то в полдень, когда я и Белокуров гуляли около дома, неожиданно, шурша по траве, въехала во двор рессорная коляска, в которой сидела одна из тех девушек. Эта была старшая. Она приехала с подписным листом просить на погорельцев. Не глядя на нас, она очень серьезно и обстоятельно рассказала нам, сколько сгорело домов в селе Сиянове, сколько мужчин, женщин и детей осталось без крова и что́ намерен предпринять на первых порах погорельческий комитет, членом которого она теперь была. Давши нам подписаться, она спрятала лист и тотчас же стала прощаться.

— Вы совсем забыли нас, Петр Петрович,— сказала она Белокурову, подавая ему руку.— Приезжайте, и если monsieur[1] N. (она назвала мою фамилию) захочет взглянуть, как живут почитатели его таланта, и пожалует к нам, то мама и я будем очень рады.

Я поклонился.

Когда она уехала, Петр Петрович стал рассказывать. Эта девушка, по его словам, была из хорошей семьи, и звали ее Лидией Волчаниновой, а имение, в котором она жила с матерью и сестрой, так же как и село на другом берегу пруда, называлось Шелковкой. Отец ее когда-то занимал видное место в Москве и умер в чине тайного советника. Несмотря на хорошие средства, Волчаниновы жили в деревне безвыездно, лето и зиму, и Лидия была учительницей в земской школе у себя в Шелковке и получала двадцать пять рублей в месяц. Она

---

[1] Господин *(франц.)*.

тратила на себя только эти деньги и гордилась, что живет на собственный счет.

— Интересная семья,— сказал Белокуров.— Пожалуй, сходим к ним как-нибудь. Они будут вам очень рады.

Как-то после обеда, в один из праздников, мы вспомнили про Волчаниновых и отправились к ним в Шелковку. Они, мать и обе дочери, были дома. Мать, Екатерина Павловна, когда-то, по-видимому, красивая, теперь же сырая не по летам, больная одышкой, грустная, рассеянная, старалась занять меня разговором о живописи. Узнав от дочери, что я, быть может, приеду в Шелковку, она торопливо припомнила два-три моих пейзажа, какие видела на выставках в Москве, и теперь спрашивала, что́ я хотел в них выразить. Лидия, или, как ее звали дома, Лида, говорила больше с Белокуровым, чем со мной. Серьезная, не улыбаясь, она спрашивала его, почему он не служит в земстве и почему до сих пор не был ни на одном земском собрании.

— Нехорошо, Петр Петрович,— говорила она укоризненно.— Нехорошо. Стыдно.

— Правда, Лида, правда,— соглашалась мать.— Нехорошо.

— Весь наш уезд находится в руках Балагина,— продолжала Лида,— обращаясь ко мне.— Сам он председатель управы, и все должности в уезде роздал своим племянникам и зятьям и делает, что хочет. Надо бороться. Молодежь должна составить из себя сильную партию, но вы видите, какая у нас молодежь. Стыдно, Петр Петрович!

Младшая сестра, Женя, пока говорили о земстве, молчала. Она не принимала участия в серьезных разговорах, ее в семье еще не считали взрослой и, как маленькую, называли Мисюсь, потому что в детстве она называла так *мисс*, свою гувернантку. Все время она смотрела на меня с любопытством и, когда я осматривал в альбоме фотографии, объясняла мне: «Это дядя... Это крестный папа»,— и водила пальчиком по портретам и в это время по-детски касалась меня своим плечом, и я близко видел ее слабую, неразвитую грудь, тонкие плечи, косу и худенькое тело, туго стянутое поясом.

Мы играли в крокет и lown-tennis[1], гуляли по саду, пили чай, потом долго ужинали. После громадной пустой залы с колоннами мне было как-то по себе в этом небольшом уютном доме, в котором не было на стенах олеографий* и прислуге говорили «вы», и все мне казалось молодым и чистым благодаря присутствию Лиды и Мисюсь, и все дышало порядочностью. За ужином Лида опять говорила с Белокуровым о земстве, о

---

[1] Теннис *(англ.)*.

Балагине, о школьных библиотеках. Это была живая, искренняя, убежденная девушка, и слушать ее было интересно, хотя говорила она много и громко,— быть может, оттого, что привыкла говорить в школе. Зато мой Петр Петрович, у которого еще со студенчества осталась манера всякий разговор сводить на спор, говорил скучно, вяло и длинно, с явным желанием казаться умным и передовым человеком. Жестикулируя, он опрокинул рукавом соусник, и на скатерти образовалась большая лужа, но, кроме меня, казалось, никто не заметил этого.

Когда мы возвращались домой, было темно и тихо.

— Хорошее воспитание не в том, что ты не прольешь соуса на скатерть, а в том, что ты не заметишь, если это сделает кто-нибудь другой,— сказал Белокуров и вздохнул.— Да, прекрасная, интеллигентная семья. Отстал я от хороших людей, ах как отстал! А все дела, дела! Дела!

Он говорил о том, как много приходится работать, когда хочешь стать образцовым сельским хозяином. А я думал: какой это тяжелый и ленивый малый! Он когда говорил о чем-нибудь серьезно, то с напряжением тянул «э-э-э-э» и работал так же, как говорил,— медленно, всегда опаздывая, пропуская сроки. В его деловитость я плохо верил уже потому, что письма, которые я поручал ему отправлять на почту, он по целым неделям таскал у себя в кармане.

— Тяжелее всего,— бормотал он, идя рядом со мной,— тяжелее всего, что работаешь и ни в ком не встречаешь сочувствия. Никакого сочувствия!

II

Я стал бывать у Волчаниновых. Обыкновенно я сидел на нижней ступени террасы, меня томило недовольство собой, было жаль своей жизни, которая протекала так быстро и неинтересно, и я все думал о том, как хорошо было бы вырвать из своей груди сердце, которое стало у меня таким тяжелым. А в это время на террасе говорили, слышался шорох платьев, перелистывали книгу. Я скоро привык к тому, что днем Лида принимала больных, раздавала книжки и часто уходила в деревню с непокрытой головой, под зонтиком, а вечером громко говорила о земстве, о школах. Эта тонкая, красивая, неизменно строгая девушка с маленьким, изящно очерченным ртом всякий раз, когда начинался деловой разговор, говорила мне сухо:

— Это для вас неинтересно.

Я был ей несимпатичен. Она не любила меня за то, что я пейзажист и в своих картинах не изображаю народных нужд и что я, как ей казалось, был равнодушен к тому, во что она

крепко верила. Помнится, когда я ехал по берегу Байкала, мне встретилась девушка-бурятка в рубахе и в штанах из синей дабы, верхом на лошади; я спросил у нее, не продаст ли она мне свою трубку, и, пока мы говорили, она с презрением смотрела на мое европейское лицо и на мою шляпу, и в одну минуту ей надоело говорить со мной, она гикнула и поскакала прочь. И Лида точно так же презирала во мне чужого. Внешним образом она никак не выражала своего нерасположения ко мне, но я чувствовал его и, сидя на нижней ступени террасы, испытывал раздражение и говорил, что лечить мужиков, не будучи врачом, значит обманывать их и что легко быть благодетелем, когда имеешь две тысячи десятин.

А ее сестра, Мисюсь, не имела никаких забот и проводила свою жизнь в полной праздности, как я. Вставши утром, она тотчас же бралась за книгу и читала, сидя на террасе в глубоком кресле, так что ножки ее едва касались земли, или пряталась с книгой в липовой аллее, или шла за ворота в поле. Она читала целый день, с жадностью глядя в книгу, и только потому, что взгляд ее иногда становился усталым, ошеломленным и лицо сильно бледнело, можно было догадаться, как это чтение утомляло ее мозг. Когда я приходил, она, увидев меня, слегка краснела, оставляла книгу и с оживлением, глядя мне в лицо своими большими глазами, рассказывала о том, что случалось: например, о том, что в людской загорелась сажа, или что работник поймал в пруде большую рыбу. В будни она ходила обыкновенно в светлой рубашечке и в темно-синей юбке. Мы гуляли вместе, рвали вишни для варенья, катались в лодке, и, когда она прыгала, чтобы достать вишню, или работала веслами, сквозь широкие рукава просвечивали ее тонкие, слабые руки. Или я писал этюд, а она стояла возле и смотрела с восхищением.

В одно из воскресений, в конце июля, я пришел к Волчаниновым утром, часов в девять. Я ходил по парку, держась подальше от дома, и отыскивал белые грибы, которых в то лето было очень много, и ставил около них метки, чтобы потом подобрать их вместе с Женей. Дул теплый ветер. Я видел, как Женя и ее мать, обе в светлых праздничных платьях, прошли из церкви домой и Женя придерживала от ветра шляпу. Потом я слышал, как на террасе пили чай.

Для меня, человека беззаботного, ищущего оправдания для своей постоянной праздности, эти летние праздничные утра в наших усадьбах всегда были необыкновенно привлекательны. Когда зеленый сад, еще влажный от росы, весь сияет от солнца и кажется счастливым, когда около дома пахнет резедой и олеандром, молодежь только что вернулась из церкви и пьет чай в саду, и когда все так мило одеты и веселы, и когда знаешь, что все эти здоровые, сытые, красивые люди весь

длинный день ничего не будут делать, то хочется, чтобы вся жизнь была такою. И теперь я думал то же самое и ходил по саду, готовый ходить так без дела и без цели весь день, все лето.

Пришла Женя с корзиной; у нее было такое выражение, как будто она знала или предчувствовала, что найдет меня в саду. Мы подбирали грибы и говорили, и когда она спрашивала о чем-нибудь, то заходила вперед, чтобы видеть мое лицо.

— Вчера у нас в деревне произошло чудо,— сказала она.— Хромая Пелагея была больна целый год, никакие доктора и лекарства не помогали, а вчера старуха пошептала, и прошло.

— Это неважно,— сказал я.— Не следует искать чудес только около больных и старух. Разве здоровье не чудо? А сама жизнь? Что непонятно, то и есть чудо.

— А вам не страшно то, что непонятно?

— Нет. К явлениям, которых я не понимаю, я подхожу бодро и не подчиняюсь им. Я выше их. Человек должен сознавать себя выше львов, тигров, звезд, выше всего в природе, даже выше того, что непонятно и кажется чудесным, иначе он не человек, а мышь, которая всего боится.

Женя думала, что я, как художник, знаю очень многое и могу верно угадывать то, чего не знаю. Ей хотелось, чтобы я ввел ее в область вечного и прекрасного, в этот высший свет, в котором, по ее мнению, я был своим человеком, и она говорила со мной о боге, о вечной жизни, о чудесном. И я, не допускавший, что я и мое воображение после смерти погибнем навеки, отвечал: «Да, люди бессмертны», «Да, нас ожидает вечная жизнь». А она слушала, верила и не требовала доказательств.

Когда мы шли к дому, она вдруг остановилась и сказала:

— Наша Лида замечательный человек. Не правда ли? Я ее горячо люблю и могла бы каждую минуту пожертвовать для нее жизнью. Но скажите,— Женя дотронулась до моего рукава пальцем,— скажите, почему вы с ней все спорите? Почему вы раздражены?

— Потому что она не права.

Женя отрицательно покачала головой, и слезы показались у нее на глазах!

— Как это непонятно! — проговорила она.

В это время Лида только что вернулась откуда-то и, стоя около крыльца с хлыстом в руках, стройная, красивая, освещенная солнцем, приказывала что-то работнику. Торопясь и громко разговаривая, она приняла двух-трех больных, потом с деловым, озабоченным видом ходила по комнатам, отворяя то один шкап, то другой, уходила в мезонин; ее долго искали и звали обедать, и пришла она, когда мы уже съели суп. Все

эти мелкие подробности я почему-то помню и люблю, и весь этот день живо помню, хотя не произошло ничего особенного. После обеда Женя читала, лежа в глубоком кресле, а я сидел на нижней ступени террасы. Мы молчали. Все небо заволокло облаками, и стал накрапывать редкий, мелкий дождь. Было жарко, ветер давно уже стих, и казалось, что этот день никогда не кончится. К нам на террасу вышла Екатерина Павловна, заспанная, с веером.

— О мама,— сказала Женя, целуя у нее руку,— тебе вредно спать днем.

Они обожали друг друга. Когда одна уходила в сад, то другая уже стояла на террасе и, глядя на деревья, окликала: «Ау, Женя!» или: «Мамочка, где ты?» Они всегда вместе молились, и обе одинаково верили и хорошо понимали друг друга, даже когда молчали. И к людям они относились одинаково. Екатерина Павловна также скоро привыкла и привязалась ко мне и, когда я не появлялся два-три дня, присылала узнать, здоров ли я. На мои этюды она смотрела тоже с восхищением, и с такою же болтливостью и так же откровенно, как Мисюсь, рассказывала мне, что́ случилось, и часто поверяла мне свои домашние тайны.

Она благоговела перед своей старшей дочерью. Лида никогда не ласкалась, говорила только о серьезном; она жила своею особенною жизнью и для матери и для сестры была такою же священной, немного загадочной особой, как для матросов адмирал, который все сидит у себя в каюте.

— Наша Лида замечательный человек,— говорила часто мать.— Не правда ли?

И теперь, пока накрапывал дождь, мы говорили о Лиде.

— Она замечательный человек,— сказала мать и прибавила вполголоса тоном заговорщицы, испуганно оглядываясь: — Таких днем с огнем поискать, хотя, знаете ли, я начинаю немножко беспокоиться. Школа, аптечки, книжки — все это хорошо, но зачем крайности? Ведь ей уже двадцать четвертый год, пора о себе серьезно подумать. Этак за книжками и аптечками и не увидишь, как жизнь пройдет... Замуж нужно.

Женя, бледная от чтения, с помятою прической, приподняла голову и сказала как бы про себя, глядя на мать:

— Мамочка, все зависит от воли божией!

И опять погрузилась в чтение.

Пришел Белокуров в поддевке и в вышитой сорочке. Мы играли в крокет и lown-tennis, потом, когда потемнело, долго ужинали, и Лида опять говорила о школах и о Балагине, который забрал в свои руки весь уезд. Уходя в этот вечер от Волчаниновых, я уносил впечатление длинного-длинного, праздного дня, с грустным сознанием, что все кончается на этом

свете, как бы ни было длинно. Нас до ворот провожала Женя, и оттого, быть может, что она провела со мной весь день от утра до вечера, я почувствовал, что без нее мне как будто скучно и что вся эта милая семья близка мне; и в первый раз за все лето мне захотелось писать.

— Скажите, отчего вы живете так скучно, так не колоритно? — спросил я у Белокурова, идя с ним домой.— Моя жизнь скучна, тяжела, однообразна, потому что я художник, я странный человек, я издерган с юных дней завистью, недовольством собой, неверием в свое дело, я всегда беден, я бродяга, но вы-то, вы, здоровый, нормальный человек, помещик, барин,— отчего вы живете так неинтересно, так мало берете от жизни? Отчего, например, вы до сих пор не влюбились в Лиду или Женю?

— Вы забываете, что я люблю другую женщину,— ответил Белокуров.

Это он говорил про свою подругу, Любовь Ивановну, жившую с ним вместе во флигеле. Я каждый день видел, как эта дама, очень полная, пухлая, важная, похожая на откормленную гусыню, гуляла по саду, в русском костюме с бусами, всегда под зонтиком, и прислуга то и дело звала ее то кушать, то чай пить. Года три назад она наняла один из флигелей под дачу, да так и осталась жить у Белокурова, по-видимому, навсегда. Она была старше его лет на десять и управляла им строго, так что, отлучаясь из дому, он должен был спрашивать у нее позволения. Она часто рыдала мужским голосом, и тогда я посылал сказать ей, что если она не перестанет, то я съеду с квартиры; и она переставала.

Когда мы пришли домой, Белокуров сел на диван и нахмурился в раздумье, а я стал ходить по зале, испытывая тихое волнение, точно влюбленный. Мне хотелось говорить про Волчаниновых.

— Лида может полюбить только земца, увлеченного так же, как она, больницами и школами,— сказал я.— О, ради такой девушки можно не только стать земцем, но даже истаскать, как в сказке, железные башмаки. А Мисюсь? Какая прелесть эта Мисюсь!

Белокуров длинно, растягивая «э-э-э-э...», заговорил о болезни века — пессимизме. Говорил он уверенно и таким тоном, как будто я спорил с ним. Сотни верст пустынной, однообразной, выгоревшей степи не могут нагнать такого уныния, как один человек, когда он сидит, говорит и неизвестно, когда он уйдет.

— Дело не в пессимизме и не в оптимизме,— сказал я раздраженно,— а в том, что у девяноста девяти из ста нет ума.

Белокуров принял это на свой счет, обиделся и ушел.

III

— В Малозёмове гостит князь, тебе кланяется,— говорила Лида матери, вернувшись откуда-то и снимая перчатки.— Рассказывал много интересного... Обещал опять поднять в губернском собрании вопрос о медицинском пункте в Малозёмове, но говорит: мало надежды.— И, обратясь ко мне, она сказала: — Извините, я все забываю, что для вас это не может быть интересно.

Я почувствовал раздражение.

— Почему же не интересно? — спросил я и пожал плечами.— Вам неугодно знать мое мнение, но уверяю вас, этот вопрос меня живо интересует.

— Да?

— Да. По моему мнению, медицинский пункт в Малозёмове вовсе не нужен.

Мое раздражение передалось и ей; она посмотрела на меня, прищурив глаза, и спросила:

— Что же нужно? Пейзажи?

— И пейзажи не нужны. Ничего там не нужно.

Она кончила снимать перчатки и развернула газету, которую только что привезли с почты; через минуту она сказала тихо, очевидно сдерживая себя:

— На прошлой неделе умерла от родов Анна, а если бы поблизости был медицинский пункт, то она осталась бы жива. И господа пейзажисты, мне кажется, должны бы иметь какие-нибудь убеждения на этот счет.

— Я имею на этот счет очень определенное убеждение, уверяю вас,— ответил я, а она закрылась от меня газетой, как бы не желая слушать.— По-моему, медицинские пункты, школы, библиотечки, аптечки, при существующих условиях, служат только порабощению. Народ опутан цепью великой, и вы не рубите этой цепи, а лишь прибавляете новые звенья — вот вам мое убеждение.

Она подняла на меня глаза и насмешливо улыбнулась, а я продолжал, стараясь уловить свою главную мысль:

— Не то важно, что Анна умерла от родов, а то, что все эти Анны, Мавры, Пелагеи с раннего утра до потемок гнут спины, болеют от непосильного труда, всю жизнь дрожат за голодных и больных детей, всю жизнь боятся смерти и болезней, всю жизнь лечатся, рано блекнут, рано старятся и умирают в грязи и в вони; их дети, подрастая, начинают ту же музыку, и так проходят сотни лет, и миллиарды людей живут хуже животных — только ради куска хлеба, испытывая постоянный страх. Весь ужас их положения в том, что им некогда о душе подумать, некогда вспомнить о своем образе и подобии; голод,

холод, животный страх, масса труда, точно снеговые обвалы, загородили им все пути к духовной деятельности, именно к тому самому, что отличает человека от животного и составляет единственное, ради чего стоит жить. Вы приходите к ним на помощь с больницами и школами, но этим не освобождаете их от пут, а, напротив, еще больше порабощаете, так как, внося в их жизнь новые предрассудки, вы увеличиваете число их потребностей, не говоря уже о том, что за мушки и за книжки они должны платить земству и, значит, сильнее гнуть спину.

— Я спорить с вами не стану,— сказала Лида, опуская газету.— Я уже это слышала. Скажу вам только одно: нельзя сидеть сложа руки. Правда, мы не спасаем человечества и, быть может, во многом ошибаемся, но мы делаем то, что можем, и мы — правы. Самая высокая и святая задача культурного человека — это служить ближним, и мы пытаемся служить, как умеем. Вам не нравится, но ведь на всех не угодишь.

— Правда, Лида, правда,— сказала мать.

В присутствии Лиды она всегда робела и, разговаривая, тревожно поглядывала на нее, боясь сказать что-нибудь лишнее или неуместное; и никогда она не противоречила ей, а всегда соглашалась: правда, Лида, правда.

— Мужицкая грамотность, книжки с жалкими наставлениями и прибаутками и медицинские пункты не могут уменьшить ни невежества, ни смертности так же, как свет из ваших окон не может осветить этого громадного сада,— сказал я.— Вы не даете ничего, вы своим вмешательством в жизнь этих людей создаете лишь новые потребности, новый повод к труду.

— Ах, боже мой, но ведь нужно же делать что-нибудь! — сказала Лида с досадой, и по ее тону было заметно, что мои рассуждения она считает ничтожными и презирает их.

— Нужно освободить людей от тяжкого физического труда,— сказал я.— Нужно облегчить их ярмо, дать им передышку, чтобы они не всю свою жизнь проводили у печей, корыт и в поле, но имели бы также время подумать о душе, о боге, могли бы пошире проявить свои духовные способности. Призвание всякого человека в духовной деятельности — в постоянном искании правды и смысла жизни. Сделайте же для них ненужным грубый, животный труд, дайте им почувствовать себя на свободе, и тогда увидите, какая, в сущности, насмешка эти книжки и аптечки. Раз человек сознает свое истинное призвание, то удовлетворять его могут только религия, науки, искусства, а не эти пустяки.

— Освободить от труда! — усмехнулась Лида.— Разве это возможно?

— Да. Возьмите на себя долю их труда. Если бы все мы, городские и деревенские жители, все без исключения, согласи-

лись поделить между собою труд, который затрачивается вообще человечеством на удовлетворение физических потребностей, то на каждого из нас, быть может, пришлось бы не более двух-трех часов в день. Представьте, что все мы, богатые и бедные, работаем только три часа в день, а остальное время у нас свободно. Представьте еще, что мы, чтобы еще менее зависеть от своего тела и менее трудиться, изобретаем машины, заменяющие труд, мы стараемся сократить число наших потребностей до минимума. Мы закаляем себя, наших детей, чтобы они не боялись голода, холода и мы не дрожали бы постоянно за их здоровье, как дрожат Анна, Мавра и Пелагея. Представьте, что мы не лечимся, не держим аптек, табачных фабрик, винокуренных заводов,— сколько свободного времени у нас остается в конце концов! Все мы сообща отдаем этот досуг наукам и искусствам. Как иногда мужики миром починяют дорогу, так и все мы сообща, миром, искали бы правды и смысла жизни, и — я уверен в этом — правда была бы открыта очень скоро, человек избавился бы от этого постоянного мучительного, угнетающего страха смерти, и даже от самой смерти.

— Вы, однако, себе противоречите,— сказала Лида.— Вы говорите — наука, наука, а сами отрицаете грамотность.

— Грамотность, когда человек имеет возможность читать только вывески на кабаках да изредка книжки, которых не понимает,— такая грамотность держится у нас со времен Рюрика, гоголевский Петрушка давно уже читает, между тем деревня, какая была при Рюрике, такая и осталась до сих пор. Не грамотность нужна, а свобода для широкого проявления духовных способностей. Нужны не школы, а университеты.

— Вы и медицину отрицаете.

— Да. Она была бы нужна только для изучения болезней, как явлений природы, а не для лечения их. Если уж ~~лечить~~, то не болезни, а причины их. Устраните главную причину — физический труд, и тогда не будет болезней. Не признаю я науки, которая лечит,— продолжал я возбужденно.— Науки и искусства, когда они настоящие, стремятся не к временным, не к частным целям, а к вечному и общему,— они ищут правды и смысла жизни, ищут бога, душу, а когда их пристегивают к нуждам и злобам дня, к аптечкам и библиотечкам, то они только осложняют, загромождают жизнь. У нас много медиков, фармацевтов, юристов, стало много грамотных, но совсем нет биологов, математиков, философов, поэтов. Весь ум, вся душевная энергия ушли на удовлетворение временных, преходящих нужд... У ученых, писателей и художников кипит работа, по их милости удобства жизни растут с каждым днем, потребности тела множатся, между тем до правды еще далеко, и человек по-прежнему остается самым хищным и самым нечистоплотным животным, и все кло-

нится к тому, чтобы человечество в своем большинстве выродилось и утеряло навсегда всякую жизнеспособность. При таких условиях жизнь художника не имеет смысла, и чем он талантливее, тем страннее и непонятнее его роль, так как на поверку выходит, что работает он для забавы хищного нечистоплотного животного, поддерживая существующий порядок. И я не хочу работать и не буду... Ничего не нужно, пусть земля провалится в тартарары!

— Мисюська, выйди,— сказала Лида сестре, очевидно находя мои слова вредными для такой молодой девушки.

Женя грустно посмотрела на сестру и на мать и вышла.

— Подобные милые вещи говорят обыкновенно, когда хотят оправдать свое равнодушие,— сказала Лида.— Отрицать больницы и школы легче, чем лечить и учить.

— Правда, Лида, правда,— согласилась мать.

— Вы угрожаете, что не станете работать,— продолжала Лида.— Очевидно, вы высоко цените ваши работы. Перестанем же спорить, мы никогда не споемся, так как самую несовершенную из всех библиотечек и аптечек, о которых вы только что отзывались так презрительно, я ставлю выше всех пейзажей в свете.— И тотчас же, обратясь к матери, она заговорила совсем другим тоном: — Князь очень похудел и сильно изменился с тех пор, как был у нас. Его посылают в Виши*.

Она рассказывала матери про князя, чтобы не говорить со мной. Лицо у нее горело, и, чтобы скрыть свое волнение, она низко, точно близорукая, нагнулась к столу и делала вид, что читает газету. Мое присутствие было неприятно. Я простился и пошел домой.

IV

На дворе было тихо; деревня по ту сторону пруда уже спала, не было видно ни одного огонька, и только на пруде едва светились бледные отражения звезд. У ворот со львами стояла Женя неподвижно, поджидая меня, чтобы проводить.

— В деревне все спят,— сказал я ей, стараясь разглядеть в темноте ее лицо, и увидел устремленные на меня темные печальные глаза.— И кабатчик и конокрады спокойно спят, а мы, порядочные люди, раздражаем друг друга и спорим.

Была грустная августовская ночь,— грустная потому, что уже пахло осенью; покрытая багровым облаком, восходила луна и еле-еле освещала дорогу и по сторонам ее темные озимые поля. Часто падали звезды. Женя шла со мной рядом по дороге и старалась не глядеть на небо, чтобы не видеть падающих звезд, которые почему-то пугали ее.

— Мне кажется, вы правы,— сказала она, дрожа от ночной сырости.— Если бы люди, все сообща, могли отдаться духовной деятельности, то они скоро узнали бы все.

— Конечно. Мы высшие существа, и если бы в самом деле мы сознали всю силу человеческого гения и жили бы только для высших целей, то в конце концов мы стали бы как боги. Но этого никогда не будет — человечество выродится и от гения не останется и следа.

Когда не стало видно ворот, Женя остановилась и торопливо пожала мне руку.

— Спокойной ночи,— проговорила она дрожа; плечи ее были покрыты только одною рубашечкой, и она сжалась от холода.— Приходите завтра.

Мне стало жутко от мыслей, что я останусь один, раздраженный, недовольный собой и людьми; и я сам уже старался не глядеть на падающие звезды.

— Побудьте со мной еще минуту,— сказал я.— Прошу вас.

Я любил Женю. Должно быть, я любил ее за то, что она встречала и провожала меня, за то, что смотрела на меня нежно и с восхищением. Как трогательно прекрасны были ее бледное лицо, тонкая шея, тонкие руки, ее слабость, праздность, ее книги! А ум? Я подозревал у нее недюжинный ум, меня восхищала широта ее воззрений, быть может, потому, что она мыслила иначе, чем строгая, красивая Лида, которая не любила меня. Я нравился Жене как художник, я победил ее сердце своим талантом, и мне страстно хотелось писать только для нее, и я мечтал о ней, как о своей маленькой королеве, которая вместе со мною будет владеть этими деревьями, полями, туманом, зарею, этою природой, чудесной, очаровательной, но среди которой я до сих пор чувствовал себя безнадежно одиноким и ненужным.

— Останьтесь еще минуту,— попросил я.— Умоляю вас.

Я снял с себя пальто и прикрыл ее озябшие плечи; она, боясь показаться в мужском пальто смешной и некрасивой, засмеялась и сбросила его, и в это время я обнял ее и стал осыпать поцелуями ее лицо, плечи, руки.

— До завтра! — прошептала она и осторожно, точно боясь нарушить ночную тишину, обняла меня.— Мы не имеем тайн друг от друга, я должна сейчас рассказать все маме и сестре... Это так страшно! Мама ничего, мама любит вас, но Лида!

Она побежала к воротам.

— Прощайте! — крикнула она.

И потом минуты две я слышал, как она бежала. Мне не хотелось домой, да и незачем было идти туда. Я постоял немного в раздумье и тихо поплелся назад, чтобы еще взглянуть на дом, в котором она жила, милый, наивный, старый дом, который, ка-

залось, окнами своего мезонина глядел на меня, как глазами, и понимал все. Я прошел мимо террасы, сел на скамье около площадки для lown-tennis, в темноте под старым вязом, и отсюда смотрел на дом. В окнах мезонина, в котором жила Мисюсь, блеснул яркий свет, потом покойный зеленый — это лампу накрыли абажуром. Задвигались тени... Я был полон нежности, тишины и довольства собою, довольства, что сумел увлечься и полюбить, и в то же время я чувствовал неудобство от мысли, что в это же самое время, в нескольких шагах от меня, в одной из комнат этого дома живет Лида, которая не любит, быть может, ненавидит меня. Я сидел и все ждал, не выйдет ли Женя, прислушивался, и мне казалось, будто в мезонине говорят.

Прошло около часа. Зеленый огонь погас, и не стало видно теней. Луна уже стояла высоко над домом и освещала спящий сад, дорожки; георгины и розы в цветнике перед домом были отчетливо видны и казались все одного цвета. Становилось очень холодно. Я вышел из сада, подобрал на дороге свое пальто и не спеша побрел домой.

Когда на другой день после обеда я пришел к Волчаниновым, стеклянная дверь в сад была открыта настежь. Я посидел на террасе, поджидая, что вот-вот за цветником на площадке или на одной из аллей покажется Женя или донесется ее голос из комнат; потом я прошел в гостиную, в столовую. Не было ни души. Из столовой я прошел длинным коридором в переднюю, потом назад. Тут в коридоре было несколько дверей, и за одной из них раздавался голос Лиды.

— Вороне где-то... бог...— говорила она громко и протяжно, вероятно, диктуя.— Бог послал кусочек сыру... Вороне... Где-то... Кто там? — окликнула она вдруг, услышав мои шаги.

— Это я.

— А! Простите, я не могу сейчас выйти к вам, я занимаюсь с Дашей.

— Екатерина Павловна в саду?

— Нет, она с сестрой уехала сегодня утром к тете, в Пензенскую губернию. А зимой, вероятно, они поедут за границу...— добавила она, помолчав.— Вороне где-то... бо-ог послал ку-усочек сыру... Написала?

Я вышел в переднюю и, ни о чем не думая, стоял и смотрел оттуда на пруд и на деревню, а до меня доносилось:

— Кусочек сыру... Вороне где-то бог послал кусочек сыру...

И я ушел из усадьбы тою же дорогой, какой пришел сюда в первый раз, только в обратном порядке: сначала со двора в сад, мимо дома, потом по липовой аллее... Тут догнал меня мальчишка и подал записку. «Я рассказала все сестре, и она требует, чтобы я рассталась с вами,— прочел я.— Я была бы не в силах огорчить ее своим неповиновением. Бог даст вам сча-

стья, простите меня. Если бы вы знали, как я и мама горько плачем!»

Потом темная еловая аллея, обвалившаяся изгородь... На том поле, где тогда цвела рожь и кричали перепела, теперь бродили коровы и спутанные лошади. Кое-где на холмах ярко зеленела озимь. Трезвое, будничное настроение овладело мной, и мне стало стыдно всего, что я говорил у Волчаниновых, и по-прежнему стало скучно жить. Придя домой, я уложился и вечером уехал в Петербург.

Больше я уже не видел Волчаниновых. Как-то недавно, едучи в Крым, я встретил в вагоне Белокурова. Он по-прежнему был в поддевке и в вышитой сорочке и, когда я спросил его о здоровье, ответил: «Вашими молитвами». Мы разговорились. Имение свое он продал и купил другое, поменьше, на имя Любови Ивановны. Про Волчаниновых сообщил он немного. Лида, по его словам, жила по-прежнему в Шелковке и учила в школе детей; мало-помалу ей удалось собрать около себя кружок симпатичных ей людей, которые составили из себя сильную партию и на последних земских выборах «прокатили» Балагина, державшего до того времени в своих руках весь уезд. Про Женю же Белокуров сообщил только, что она не жила дома и была неизвестно где.

Я уже начинаю забывать про дом с мезонином, и лишь изредка, когда пишу или читаю, вдруг ни с того ни с сего припомнится мне то зеленый огонь в окне, то звук моих шагов, раздававшихся в поле ночью, когда я, влюбленный, возвращался домой и потирал руки от холода. А еще реже, в минуты, когда меня томит одиночество и мне грустно, я вспоминаю смутно, и мало-помалу мне почему-то начинает казаться, что обо мне тоже вспоминают, меня ждут и что мы встретимся...

Мисюсь, где ты?

1896

ЧЕЛОВЕК В ФУТЛЯРЕ

На самом краю села Мироносицкого, в сарае старосты Прокофия, расположились на ночлег запоздавшие охотники. Их было только двое: ветеринарный врач Иван Иваныч и учитель гимназии Буркин. У Ивана Иваныча была довольно странная, двойная фамилия — Чимша-Гималайский, которая совсем не шла ему, и его во всей губернии звали просто по имени и отчеству; он жил около города на конском заводе и приехал теперь на охоту, чтобы подышать чистым воздухом. Учитель же гимназии Буркин каж-

дое лето гостил у графов П. и в этой местности давно уже был своим человеком.

Не спали. Иван Иваныч, высокий, худощавый старик с длинными усами, сидел снаружи у входа и курил трубку; его освещала луна. Буркин лежал внутри на сене, и его не было видно в потемках.

Рассказывали разные истории. Между прочим говорили о том, что жена старосты, Мавра, женщина здоровая и неглупая, во всю свою жизнь нигде не была дальше своего родного села, никогда не видела ни города, ни железной дороги, а в последние десять лет все сидела за печью и только по ночам выходила на улицу.

— Что же тут удивительного! — сказал Буркин.— Людей, одиноких по натуре, которые, как рак-отшельник или улитка, стараются уйти в свою скорлупу, на этом свете немало. Быть может, тут явление атавизма, возвращение к тому времени, когда предок человека не был еще общественным животным и жил одиноко в своей берлоге, а может быть, это просто одна из разновидностей человеческого характера,— кто знает? Я не естественник, и не мое дело касаться подобных вопросов; я только хочу сказать, что такие люди, как Мавра, явление не редкое. Да вот, недалеко искать, месяца два назад умер у нас в городе некий Беликов, учитель греческого языка, мой товарищ. Вы о нем слышали, конечно. Он был замечателен тем, что всегда, даже в очень хорошую погоду, выходил в калошах и с зонтиком и непременно в теплом пальто на вате. И зонтик у него был в чехле, и часы в чехле из серой замши, и когда вынимал перочинный нож, чтобы очинить карандаш, то и нож у него был в чехольчике; и лицо, казалось, тоже было в чехле, так как он все время прятал его в поднятый воротник. Он носил темные очки, фуфайку, уши закладывал ватой, и когда садился на извозчика, то приказывал поднимать верх. Одним словом, у этого человека наблюдалось постоянное и непреодолимое стремление окружить себя оболочкой, создать себе, так сказать, футляр, который уединил бы его, защитил бы от внешних влияний. Действительность раздражала его, пугала, держала в постоянной тревоге, и, быть может, для того, чтобы оправдать эту свою робость, свое отвращение к настоящему, он всегда хвалил прошлое и то, чего никогда не было; и древние языки, которые он преподавал, были для него, в сущности, те же калоши и зонтик, куда он прятался от действительной жизни.

— О, как звучен, как прекрасен греческий язык! — говорил он со сладким выражением; и, как бы в доказательство своих слов, прищурив глаз и подняв палец, произносил: — Антропос!

И мысль свою Беликов также старался запрятать в футляр.

Для него были ясны только циркуляры и газетные статьи, в которых запрещалось что-нибудь. Когда в циркуляре запрещалось ученикам выходить на улицу после девяти часов вечера или в какой-нибудь статье запрещалась плотская любовь, то это было для него ясно, определенно; запрещено — и баста. В разрешении же и позволении скрывался для него всегда элемент сомнительный, что-то недосказанное и смутное. Когда в городе разрешали драматический кружок, или читальню, или чайную, то он покачивал головой и говорил тихо:

— Оно, конечно, так-то так, все это прекрасно, да как бы чего не вышло.

Всякого рода нарушения, уклонения, отступления от правил приводили его в уныние, хотя, казалось бы, какое ему дело? Если кто из товарищей опаздывал на молебен, или доходили слухи о какой-нибудь проказе гимназистов, или видели классную даму поздно вечером с офицером, то он очень волновался и все говорил, как бы чего не вышло. А на педагогических советах он просто угнетал нас своею осторожностью, мнительностью и своими чисто футлярными соображениями насчет того, что вот-де в мужской и женской гимназиях молодежь ведет себя дурно, очень шумит в классах,— ах, как бы не дошло до начальства, ах, как бы чего не вышло,— и что если б из второго класса исключить Петрова, а из четвертого — Егорова, то было бы очень хорошо. И что же? Своими вздохами, нытьем, своими темными очками на бледном, маленьком лице,— знаете, маленьком лице, как у хорька,— он давил нас всех, и мы уступали, сбавляли Петрову и Егорову балл по поведению, сажали их под арест и в конце концов исключали и Петрова и Егорова. Было у него странное обыкновение — ходить по нашим квартирам. Придет к учителю, сядет и молчит и как будто что-то высматривает. Посидит этак, молча, час-другой и уйдет. Это называлось у него «поддерживать добрые отношения с товарищами», и, очевидно, ходить к нам и сидеть было для него тяжело, и ходил он к нам только потому, что считал своею товарищескою обязанностью. Мы, учителя, боялись его. И даже директор боялся. Вот подите же, наши учителя народ все мыслящий, глубоко порядочный, воспитанный на Тургеневе и Щедрине, однако же этот человечек, ходивший всегда в калошах и с зонтиком, держал в руках всю гимназию целых пятнадцать лет! Да что гимназию? Весь город! Наши дамы по субботам домашних спектаклей не устраивали, боялись, как бы он не узнал; и духовенство стеснялось при нем кушать скоромное и играть в карты. Под влиянием таких людей, как Беликов, за последние десять — пятнадцать лет в нашем городе стали бояться всего. Боятся громко говорить, посылать письма, знакомиться, читать книги, боятся помогать бедным, учить грамоте...

Иван Иваныч, желая что-то сказать, кашлянул, но сначала закурил трубку, поглядел на луну и потом уже сказал с расстановкой:

— Да. Мыслящие, порядочные, читают и Щедрина, и Тургенева, разных там Боклей* и прочее, а вот подчинились же, терпели... То-то вот оно и есть.

— Беликов жил в том же доме, где и я,— продолжал Буркин,— в том же этаже, дверь против двери, мы часто виделись, и я знал его домашнюю жизнь. И дома та же история: халат, колпак, ставни, задвижки, целый ряд всяких запрещений, ограничений, и — ах, как бы чего не вышло! Постное есть вредно, а скоромное нельзя, так как, пожалуй, скажут, что Беликов не исполняет постов, и он ел судака на коровьем масле,— пища не постная, но и нельзя сказать, чтобы скоромная. Женской прислуги он не держал из страха, чтобы о нем не думали дурно, а держал повара Афанасия, старика лет шестидесяти, нетрезвого и полоумного, который когда-то служил в денщиках и умел кое-как стряпать. Этот Афанасий стоял обыкновенно у двери, скрестив руки, и всегда бормотал одно и то же с глубоким вздохом:

— Много уж *их* нынче развелось!

Спальня у Беликова была маленькая, точно ящик, кровать была с пологом. Ложась спать, он укрывался с головой; было жарко, душно, в закрытые двери стучался ветер, в печке гудело; слышались вздохи из кухни, вздохи зловещие...

И ему было страшно под одеялом. Он боялся, как бы чего не вышло, как бы его не зарезал Афанасий, как бы не забрались воры, и потом всю ночь видел тревожные сны, а утром, когда мы вместе шли в гимназию, был скучен, бледен, и было видно, что многолюдная гимназия, в которую он шел, была страшна, противна всему существу его и что идти рядом со мной ему, человеку по натуре одинокому, было тяжко.

— Очень уж шумят у нас в классах,— говорил он, как бы стараясь отыскать объяснение своему тяжелому чувству.— Ни на что не похоже.

И этот учитель греческого языка, этот человек в футляре, можете себе представить, едва не женился.

Иван Иваныч быстро оглянулся в сарай и сказал:

— Шутите!

— Да, едва не женился, как это ни странно. Назначили к нам нового учителя истории и географии, некоего Коваленка, Михаила Саввича, из хохлов. Приехал он не один, а с сестрой Варенькой. Он молодой, высокий, смуглый, с громадными руками, и по лицу видно, что говорит басом, и в самом деле, голос как из бочки: бу-бу-бу... А она уже не молодая, лет тридцати, но тоже высокая, стройная, чернобровая, краснощекая,— одним словом, не девица, а мармелад, и такая разбитная, шумная, все поет мало-

российские романсы и хохочет. Чуть что, так и зальется голосистым смехом: ха-ха-ха! Первое, основательное знакомство с Коваленками у нас, помню, произошло на именинах у директора. Среди суровых, напряженно скучных педагогов, которые и на именины-то ходят по обязанности, вдруг видим, новая Афродита возродилась из пены: ходит подбоченясь, хохочет, поет, пляшет... Она спела с чувством «Виют витры», потом еще романс, и еще, и всех нас очаровала,— всех, даже Беликова. Он подсел к ней и сказал, сладко улыбаясь:

— Малороссийский язык своею нежностью и приятною звучностью напоминает древнегреческий.

Это польстило ей, и она стала рассказывать ему с чувством, и убедительно, что в Гадячском уезде у нее есть хутор, а на хуторе живет мамочка, и там такие груши, такие дыни, такие кабаки! У хохлов тыквы называются кабаками, а кабаки шинками, и варят у них борщ с красненькими и с синенькими «такой вкусный, такой вкусный, и что просто — ужас!».

Слушали мы, слушали, и вдруг всех нас осенила одна и та же мысль.

— А хорошо бы их поженить,— тихо сказала мне директорша.

Мы все почему-то вспомнили, что наш Беликов не женат, и нам теперь казалось странным, что мы до сих пор как-то не замечали, совершенно упускали из виду такую важную подробность в его жизни. Как вообще он относится к женщине, как он решает для себя этот насущный вопрос? Раньше это не интересовало нас вовсе; быть может, мы не допускали даже и мысли, что человек, который во всякую погоду ходит в калошах и спит под пологом, может любить.

— Ему давно уже за сорок, а ей тридцать...— пояснила свою мысль директорша.— Мне кажется, она бы за него пошла.

Чего только не делается у нас в провинции от скуки, сколько ненужного, вздорного! И это потому, что совсем не делается то, что нужно. Ну вот к чему нам вдруг понадобилось женить этого Беликова, которого даже и вообразить нельзя было женатым? Директорша, инспекторша и все наши гимназические дамы ожили, даже похорошели, точно вдруг увидели цель жизни. Директорша берет в театре ложу, и смотрим — в ее ложе сидит Варенька с этаким веером, сияющая, счастливая, и рядом с ней Беликов, маленький, скрюченный, точно его из дому клещами вытащили. Я даю вечеринку, и дамы требуют, чтобы я непременно пригласил и Беликова и Вареньку. Одним словом, заработала машина. Оказалось, что Варенька не прочь была замуж. Жить ей у брата было не очень-то весело, только и знали, что по целым дням спорили и ругались. Вот вам сцена: идет Коваленко по улице, высокий, здоровый верзила, в вышитой сорочке, чуб из-под фу-

ражки падает на лоб; в одной руке пачка книг, в другой толстая суковатая палка. За ним идет сестра, тоже с книгами.

— Да ты же, Михайлик, этого не читал! — спорит она громко.— Я же тебе говорю, клянусь, ты не читал же этого вовсе!

— А я тебе говорю, что читал! — кричит Коваленко, гремя палкой по тротуару.

— Ах же, боже ж мой, Минчик! Чего же ты сердишься, ведь у нас же разговор принципиальный.

— А я тебе говорю, что я читал! — кричит еще громче Коваленко.

А дома, как кто посторонний, так и перепалка. Такая жизнь, вероятно, наскучила, хотелось своего угла, да и возраст принять во внимание; тут уж перебирать некогда, выйдешь за кого угодно, даже за учителя греческого языка. И то сказать, для большинства наших барышень за кого ни выйти, лишь бы выйти. Как бы ни было, Варенька стала оказывать нашему Беликову явную благосклонность.

А Беликов? Он и к Коваленку ходил так же, как к нам. Придет к нему, сядет и молчит. Он молчит, а Варенька поет ему «Виют витры», или глядит на него задумчиво своими темными глазами, или вдруг зальется:

— Ха-ха-ха!

В любовных делах, а особенно в женитьбе, внушение играет большую роль. Все — и товарищи и дамы — стали уверять Беликова, что он должен жениться, что ему ничего больше не остается в жизни, как жениться; все мы поздравляли его, говорили с важными лицами разные пошлости, вроде того-де, что брак есть шаг серьезный; к тому же Варенька была не дурна собой, интересна, она была дочь статского советника и имела хутор, а главное, это была первая женщина, которая отнеслась к нему ласково, сердечно,— голова у него закружилась, и он решил, что ему в самом деле нужно жениться.

— Вот тут бы и отобрать у него калоши и зонтик,— проговорил Иван Иваныч.

— Представьте, это оказалось невозможным. Он поставил у себя на столе портрет Вареньки и все ходил ко мне и говорил о Вареньке, о семейной жизни, о том, что брак есть шаг серьезный, часто бывал у Коваленков, но образа жизни не изменил нисколько. Даже наоборот, решение жениться подействовало на него как-то болезненно, он похудел, побледнел и, казалось, еще глубже ушел в свой футляр.

— Варвара Саввишна мне нравится,— говорил он мне со слабой кривой улыбочкой,— и я знаю, жениться необходимо каждому человеку, но... все это, знаете ли, произошло как-то вдруг... Надо подумать.

— Что же тут думать? — говорю ему.— Женитесь, вот и все.

— Нет, женитьба — шаг серьезный, надо сначала взвесить предстоящие обязанности, ответственность... чтобы потом чего не вышло. Это меня так беспокоит, я теперь все ночи не сплю. И, признаться, я боюсь: у нее с братом какой-то странный образ мыслей, рассуждают они как-то, знаете ли, странно, и характер очень бойкий. Женишься, а потом, чего доброго, попадешь в какую-нибудь историю.

И он не делал предложения, все откладывал, к великой досаде директорши и всех наших дам; все взвешивал предстоящие обязанности и ответственность и между тем почти каждый день гулял с Варенькой, быть может думал, что это так нужно в его положении, и приходил ко мне, чтобы поговорить о семейной жизни. И, по всей вероятности, в конце концов он сделал бы предложение и совершился бы один из тех ненужных, глупых браков, каких у нас от скуки и от нечего делать совершаются тысячи, если бы вдруг не произошел kolossalische Scandal[1]. Нужно сказать, что брат Вареньки, Коваленко, возненавидел Беликова с первого же дня знакомства и терпеть его не мог.

— Не понимаю,— говорил он нам, пожимая плечами,— не понимаю, как вы переваривaете этого фискала, эту мерзкую рожу. Эх, господа, как вы можете тут жить! Атмосфера у вас удушающая, поганая. Разве вы педагоги, учителя? Вы чинодралы, у вас не храм науки, а управа благочиния, и кислятиной воняет, как в полицейской будке. Нет, братцы, поживу с вами еще немного и уеду к себе на хутор, и буду там раков ловить и хохлят учить. Уеду, а вы оставайтесь тут со своим Иудой, нехай вин лопне.

Или он хохотал, хохотал до слез то басом, то тонким писклявым голосом и спрашивал меня, разводя руками:

— Шо он у меня сидить? Шо ему надо? Сидить и смотрить.

Он даже название дал Беликову «глитай абож паук»*. И, понятно, мы избегали говорить с ним о том, что сестра его Варенька собирается за «абож паука». И когда однажды директорша намекнула ему, что хорошо бы пристроить его сестру за такого солидного, всеми уважаемого человека, как Беликов, то он нахмурился и проворчал:

— Не мое это дело. Пускай она выходит хоть за гадюку, а я не люблю в чужие дела мешаться.

Теперь слушайте, что дальше. Какой-то проказник нарисовал карикатуру: идет Беликов в калошах, в подсученных брюках, под зонтом, и с ним под руку Варенька; внизу подпись: «Влюбленный антропос». Выражение схвачено, понимаете ли, удивительно. Художник, должно быть, проработал не одну ночь, так как все учителя мужской и женской гимназии, учителя семи-

---

[1] Колоссальный скандал *(нем.)*.

нарии, чиновники — все получили по экземпляру. Получил и Беликов. Карикатура произвела на него самое тяжелое впечатление.

Выходим мы вместе из дому,— это было как раз первое мая, воскресенье, и мы все, учителя и гимназисты, условились сойтись у гимназии и потом вместе идти пешком за город в рощу,— выходим мы, а он зеленый, мрачнее тучи.

— Какие есть нехорошие, злые люди! — проговорил он, и губы у него задрожали.

Мне даже жалко его стало. Идем, и вдруг, можете себе представить, катит на велосипеде Коваленко, а за ним Варенька, тоже на велосипеде, красная, замоpенная, но веселая, радостная.

— А мы,— кричит она,— вперед едем! Уже ж такая хорошая погода, такая хорошая, что просто ужас!

И скрылись оба. Мой Беликов из зеленого стал белым и точно оцепенел. Остановился и смотрит на меня.

— Позвольте, что же это такое? — спросил он.— Или, быть может, меня обманывает зрение? Разве преподавателям гимназии и женщинам прилично ездить на велосипеде?

— Что же тут неприличного? — сказал я.— И пусть катаются себе на здоровье.

— Да как же можно? — крикнул он, изумляясь моему спокойствию.— Что вы говорите?!

И он был так поражен, что не захотел идти дальше и вернулся домой.

На другой день он все время нервно потирал руки и вздрагивал, и было видно по лицу, что ему нехорошо. И с занятий ушел, что случилось с ним первый раз в жизни. И не обедал. А под вечер оделся потеплее, хотя на дворе стояла совсем летняя погода, и поплелся к Коваленкам. Вареньки не было дома, застал он только брата.

— Садитесь, покорнейше прошу,— проговорил Коваленко холодно и нахмурил брови; лицо у него было заспанное, он только что отдыхал после обеда и был сильно не в духе.

Беликов посидел молча минут десять и начал:

— Я к вам пришел, чтоб облегчить душу. Мне очень, очень тяжело. Какой-то пасквилянт нарисовал в смешном виде меня и еще одну особу, нам обоим близкую. Считаю долгом уверить вас, что я тут ни при чем... Я не подавал никакого повода к такой насмешке,— напротив же, все время вел себя как вполне порядочный человек.

Коваленко сидел, надувшись, и молчал. Беликов подождал немного и продолжал тихо, печальным голосом:

— И еще я имею кое-что сказать вам. Я давно служу, вы же только еще начинаете службу, и я считаю долгом, как старший товарищ, предостеречь вас. Вы катаетесь на велосипеде, а эта

забава совершенно неприлична для воспитателя юношества.

— Почему же? — спросил Коваленко басом.

— Да разве тут надо еще объяснять, Михаил Саввич, разве это не понятно? Если учитель едет на велосипеде, то что же остается ученикам? Им остается только ходить на головах! И раз это не разрешено циркулярно, то и нельзя. Я вчера ужаснулся! Когда я увидел вашу сестрицу, то у меня помутилось в глазах. Женщина или девушка на велосипеде — это ужасно!

— Что же, собственно, вам угодно?

— Мне угодно только одно — предостеречь вас, Михаил Саввич. Вы — человек молодой, у вас впереди будущее, надо вести себя очень, очень осторожно, вы же так манкируете*, ох, как манкируете! Вы ходите в вышитой сорочке, постоянно на улице с какими-то книгами, а теперь вот еще велосипед. О том, что вы и ваша сестрица катаетесь на велосипеде, узнает директор, потом дойдет до попечителя... Что ж хорошего?

— Что я и сестра катаемся на велосипеде, никому нет до этого дела! — сказал Коваленко и побагровел.— А кто будет вмешиваться в мои домашние и семейные дела, того я пошлю к чертям собачьим.

Беликов побледнел и встал.

— Если вы говорите со мной таким тоном, то я не могу продолжать,— сказал он.— И прошу вас никогда так не выражаться в моем присутствии о начальниках. Вы должны с уважением относиться к властям.

— А разве я говорил что дурное про властей? — спросил Коваленко, глядя на него со злобой.— Пожалуйста, оставьте меня в покое. Я честный человек и с таким господином, как вы, не желаю разговаривать. Я не люблю фискалов.

Беликов нервно засуетился и стал одеваться быстро, с выражением ужаса на лице. Ведь это первый раз в жизни он слышал такие грубости.

— Можете говорить, что вам угодно,— сказал он, выходя из передней на площадку лестницы.— Я должен только предупредить вас: быть может, нас слышал кто-нибудь, и, чтобы не перетолковали нашего разговора и чего-нибудь не вышло, я должен буду доложить господину директору содержание нашего разговора... в главных чертах. Я обязан это сделать.

— Доложить? Ступай докладывай!

Коваленко схватил его сзади за воротник и пихнул, и Беликов покатился вниз по лестнице, гремя своими калошами. Лестница была высокая, крутая, но он докатился донизу благополучно, встал и потрогал себя за нос: целы ли очки? Но как раз в то время, когда он катился по лестнице, вошла Варенька и с нею две дамы; они стояли внизу и глядели — и для Беликова это было ужаснее всего. Лучше бы, кажется, сломать себе шею, обе

ноги, чем стать посмешищем: ведь теперь узнает весь город, дойдет до директора, попечителя,— ах, как бы чего не вышло! — нарисуют новую карикатуру, и кончится все это тем, что прикажут подать в отставку...

Когда он поднялся, Варенька узнала его и, глядя на его смешное лицо, помятое пальто, калоши, не понимая, в чем дело, полагая, что это он упал сам нечаянно, не удержалась и захохотала на весь дом:

— Ха-ха-ха!

И этим раскатистым, заливчатым «ха-ха-ха» завершилось все: и сватовство, и земное существование Беликова. Уже он не слышал, что говорила Варенька, и ничего не видел. Вернувшись к себе домой, он прежде всего убрал со стола портрет, а потом лег и уже больше не вставал.

Дня через три пришел ко мне Афанасий и спросил, не надо ли послать за доктором, так как-де с барином что-то делается. Я пошел к Беликову. Он лежал под пологом, укрытый одеялом, и молчал; спросишь его, а он только да или нет — и больше ни звука. Он лежит, а возле бродит Афанасий, мрачный, нахмуренный, и вздыхает глубоко; а от него водкой, как из кабака.

Через месяц Беликов умер. Хоронили мы его все, то есть обе гимназии и семинария. Теперь, когда он лежал в гробу, выражение у него было кроткое, приятное, даже веселое, точно он был рад, что наконец его положили в футляр, из которого он уже никогда не выйдет. Да, он достиг своего идеала! И как бы в честь его, во время похорон была пасмурная, дождливая погода, и все мы были в калошах и с зонтами. Варенька тоже была на похоронах и, когда гроб опускали в могилу, всплакнула. Я заметил, что хохлушки только плачут или хохочут, среднего же настроения у них не бывает.

Признаюсь, хоронить таких людей, как Беликов, это большое удовольствие. Когда мы возвращались с кладбища, то у нас были скромные, постные физиономии; никому не хотелось обнаружить этого чувства удовольствия,— чувства, похожего на то, какое мы испытывали давно-давно, еще в детстве, когда старшие уезжали из дому, и мы бегали по саду час-другой, наслаждаясь полною свободой. Ах, свобода, свобода! Даже намек, даже слабая надежда на ее возможность дает душе крылья, не правда ли?

Вернулись мы с кладбища в добром расположении. Но прошло не больше недели, и жизнь потекла по-прежнему, такая же суровая, утомительная, бестолковая, жизнь, не запрещенная циркулярно, но и не разрешенная вполне; не стало лучше. И в самом деле, Беликова похоронили, а сколько еще таких человеков в футляре осталось, сколько их еще будет!

— То-то вот оно и есть,— сказал Иван Иваныч и закурил трубку.

— Сколько их еще будет! — повторил Буркин.

Учитель гимназии вышел из сарая. Это был человек небольшого роста, толстый, совершенно лысый, с черной бородой чуть не по пояс; и с ним вышли две собаки.

— Луна-то, луна! — сказал он, глядя вверх.

Была уже полночь. Направо видно было все село, длинная улица тянулась далеко, верст на пять. Все было погружено в тихий, глубокий сон; ни движения, ни звука, даже не верится, что в природе может быть так тихо. Когда в лунную ночь видишь широкую сельскую улицу с ее избами, стогами, уснувшими ивами, то на душе становится тихо; в этом своем покое, укрывшись в ночных тенях от трудов, забот и горя, она кротка, печальна, прекрасна, и кажется, что и звезды смотрят на нее ласково и с умилением и что зла уже нет на земле и все благополучно. Налево с края села начиналось поле; оно было видно далеко, до горизонта, и во всю ширь этого поля, залитого лунным светом, тоже ни движения, ни звука.

— То-то вот оно и есть,— повторил Иван Иваныч.— А разве то, что мы живем в городе в духоте, в тесноте, пишем ненужные бумаги, играем в винт — разве это не футляр? А то, что мы проводим всю жизнь среди бездельников, сутяг, глупых, праздных женщин, говорим и слушаем разный вздор — разве это не футляр? Вот если желаете, то я расскажу вам одну очень поучительную историю.

— Нет, уж пора спать,— сказал Буркин.— До завтра.

Оба пошли в сарай и легли на сене. И уже оба укрылись и задремали, как вдруг послышались легкие шаги: туп, туп... Кто-то ходил недалеко от сарая; пройдет немного и остановится, а через минуту опять: туп, туп... Собаки заворчали.

— Это Мавра ходит,— сказал Буркин.

Шаги затихли.

— Видеть и слышать, как лгут,— проговорил Иван Иваныч, поворачиваясь на другой бок,— и тебя же называют дураком за то, что ты терпишь эту ложь; сносить обиды, унижения, не сметь открыто заявить, что ты на стороне честных, свободных людей, и самому лгать, улыбаться, и все это из-за куска хлеба, из-за теплого угла, из-за какого-нибудь чинишка, которому грош цена,— нет, больше жить так невозможно!

— Ну, уж это вы из другой оперы, Иван Иваныч,— сказал учитель.— Давайте спать.

И минут через десять Буркин уже спал. А Иван Иваныч все ворочался с боку на бок и вздыхал, а потом встал, опять вышел наружу и, севши у дверей, закурил трубочку.

1898

КРЫЖОВНИК

Еще с раннего утра все небо обложили дождевые тучи; было тихо, не жарко и скучно, как бывает в серые пасмурные дни, когда над полем давно уже нависли тучи, ждешь дождя, а его нет. Ветеринарный врач Иван Иваныч и учитель гимназии Буркин уже утомились идти, и поле представлялось им бесконечным. Далеко впереди еле были видны ветряные мельницы села Мироносицкого, справа тянулся и потом исчезал далеко за селом ряд холмов, и оба они знали, что это берег реки, там луга, зеленые ивы, усадьбы, и если стать на один из холмов, то оттуда видно такое же громадное поле, телеграф и поезд, который издали похож на ползущую гусеницу, а в ясную погоду оттуда бывает виден даже город. Теперь, в тихую погоду, когда вся природа казалась кроткой и задумчивой, Иван Иваныч и Буркин были проникнуты любовью к этому полю и оба думали о том, как велика, как прекрасна эта страна.

— В прошлый раз, когда мы были в сарае у старосты Прокофия,— сказал Буркин,— вы собирались рассказать какую-то историю.

— Да, я хотел тогда рассказать про своего брата.

Иван Иваныч протяжно вздохнул и закурил трубочку, чтобы начать рассказывать, но как раз в это время пошел дождь. И минут через пять лил уже сильный дождь, обложной, и трудно было предвидеть, когда он кончится. Иван Иваныч и Буркин остановились в раздумье; собаки, уже мокрые, стояли, поджав хвосты, и смотрели на них с умилением.

— Нам нужно укрыться куда-нибудь,— сказал Буркин.— Пойдемте к Алехину. Тут близко.

— Пойдемте.

Они свернули в сторону и шли все по скошенному полю, то прямо, то забирая направо, пока не вышли на дорогу. Скоро показались тополи, сад, потом красные крыши амбаров; заблестела река, и открылся вид на широкий плес с мельницей и белою купальней. Это было Софьино, где жил Алехин.

Мельница работала, заглушая шум дождя; плотина дрожала. Тут около телег стояли мокрые лошади, понурив головы, и ходили люди, накрывшись мешками. Было сыро, грязно, неуютно, и вид у плеса был холодный, злой. Иван Иваныч и Буркин испытывали уже чувство мокроты, нечистоты, неудобства во всем теле, ноги отяжелели от грязи, и когда, пройдя плотину, они поднимались к господским амбарам, то молчали, точно сердились друг на друга.

В одном из амбаров шумела веялка; дверь была открыта, и из нее валила пыль. На пороге стоял сам Алехин, мужчина лет сорока, высокий, полный, с длинными волосами, похожий больше

А. П. Чехов

«ДОМ С МЕЗОНИНОМ»

на профессора или художника, чем на помещика. На нем была белая, давно не мытая рубаха с веревочным пояском, вместо брюк кальсоны, и на сапогах тоже налипли грязь и солома. Нос и глаза были черны от пыли. Он узнал Ивана Иваныча и Буркина и, по-видимому, очень обрадовался.

— Пожалуйте, господа, в дом,— сказал он улыбаясь.— Я сейчас, сию минуту.

Дом был большой, двухэтажный. Алехин жил внизу, в двух комнатах со сводами и с маленькими окнами, где когда-то жили приказчики; тут была обстановка простая, и пахло ржаным хлебом, дешевою водкой и сбруей. Наверху же, в парадных комнатах, он бывал редко, только когда приезжали гости. Ивана Иваныча и Буркина встретила в доме горничная, молодая женщина, такая красивая, что они оба разом остановились и поглядели друг на друга.

— Вы не можете себе представить, как я рад видеть вас, господа,— говорил Алехин, входя за ними в переднюю.— Вот не ожидал! Пелагея,— обратился он к горничной,— дайте гостям переодеться во что-нибудь. Да кстати и я переоденусь. Только надо сначала пойти помыться, а то я, кажется, с весны не мылся. Не хотите ли, господа, пойти в купальню, а тут пока приготовят.

Красивая Пелагея, такая деликатная и на вид такая мягкая, принесла простыни и мыло, и Алехин с гостями пошел в купальню.

— Да, давно я уже не мылся,— говорил он, раздеваясь.— Купальня у меня, как видите, хорошая, отец еще строил, но мыться как-то все некогда.

Он сел на ступеньке и намылил свои длинные волосы и шею, и вода около него стала коричневой.

— Да, признаюсь...— проговорил Иван Иваныч, значительно глядя на его голову.

— Давно я уже не мылся...— повторил Алехин конфузливо и еще раз намылился, и вода около него стала темно-синей, как чернила.

Иван Иваныч вышел наружу, бросился в воду с шумом и поплыл под дождем, широко взмахивая руками, и от него шли волны, и на волнах качались белые лилии; он доплыл до самой середины плеса и нырнул, и через минуту показался на другом месте и поплыл дальше, и все нырял, стараясь достать дна. «Ах, боже мой...— повторял он наслаждаясь.— Ах, боже мой...» Доплыл до мельницы, о чем-то поговорил там с мужиками и повернул назад, и на середине плеса лег, подставляя свое лицо под дождь. Буркин и Алехин уже оделись и собрались уходить, а он все плавал и нырял.

— Ах, боже мой...— говорил он.— Ах, господи помилуй.

— Будет вам! — крикнул ему Буркин.

Вернулись в дом. И только когда в большой гостиной наверху зажгли лампу, и Буркин и Иван Иваныч, одетые в шелковые халаты и теплые туфли, сидели в креслах, а сам Алехин, умытый, причесанный, в новом сюртуке, ходил по гостиной, видимо с наслаждением ощущая тепло, чистоту, сухое платье, легкую обувь, и когда красивая Пелагея, бесшумно ступая по ковру и мягко улыбаясь, подавала на подносе чай с вареньем, только тогда Иван Иваныч приступил к рассказу, и казалось, что его слушали не один только Буркин и Алехин, но также старые и молодые дамы и военные, спокойно и строго глядевшие из золотых рам.

— Нас два брата,— начал он,— я, Иван Иваныч, и другой — Николай Иваныч, года на два помоложе. Я пошел по ученой части, стал ветеринаром, а Николай уже с девятнадцати лет сидел в казенной палате. Наш отец Чимша-Гималайский был из кантонистов*, но, выслужив офицерский чин, оставил нам потомственное дворянство и именьишко. После его смерти именьишко у нас оттягали за долги, но, как бы ни было, детство мы провели в деревне на воле. Мы, все равно как крестьянские дети, дни и ночи проводили в поле, в лесу, стерегли лошадей, драли лыко, ловили рыбу, и прочее тому подобное... А вы знаете, кто хоть раз в жизни поймал ерша или видел осенью перелетных дроздов, как они в ясные, прохладные дни носятся стаями над деревней, тот уже не городской житель, и его до самой смерти будет потягивать на волю. Мой брат тосковал в казенной палате. Годы проходили, а он все сидел на одном месте, писал все те же бумаги и думал все об одном и том же, как бы в деревню. И эта тоска у него мало-помалу вылилась в определенное желание, в мечту купить себе маленькую усадебку где-нибудь на берегу реки или озера.

Он был добрый, кроткий человек, я любил его, но этому желанию запереть себя на всю жизнь в собственную усадьбу я никогда не сочувствовал. Принято говорить, что человеку нужно только три аршина земли. Но ведь три аршина нужны трупу, а не человеку. И говорят также теперь, что если наша интеллигенция имеет тяготение к земле и стремится в усадьбы, то это хорошо. Но ведь эти усадьбы те же три аршина земли. Уходить из города, от борьбы, от житейского шума, уходить и прятаться у себя в усадьбе — это не жизнь, это эгоизм, лень, это своего рода монашество, но монашество без подвига. Человеку нужно не три аршина земли, не усадьба, а весь земной шар, вся природа, где на просторе он мог бы проявить все свойства и особенности своего свободного духа.

Брат мой Николай, сидя у себя в канцелярии, мечтал о том, как он будет есть свои собственные щи, от которых идет такой вкусный запах по всему двору, есть на зеленой травке, спать на солнышке, сидеть по целым часам за воротами на лавочке и

глядеть на поле и лес. Сельскохозяйственные книжки и всякие эти советы в календарях составляли его радость, любимую духовную пищу; он любил читать и газеты, но читал в них одни только объявления о том, что продаются столько-то десятин пашни и луга с усадьбой, рекой, садом, мельницей, с проточными прудами. И рисовались у него в голове дорожки в саду, цветы, фрукты, скворечни, караси в прудах и, знаете, всякая эта штука. Эти воображаемые картины были различны, смотря по объявлениям, которые попадались ему, но почему-то в каждой из них непременно был крыжовник. Ни одной усадьбы, ни одного поэтического угла он не мог себе представить без того, чтобы там не было крыжовника.

— Деревенская жизнь имеет свои удобства,— говорил он, бывало.— Сидишь на балконе, пьешь чай, а на пруде твои уточки плавают, пахнет так хорошо, и... и крыжовник растет.

Он чертил план своего имения, и всякий раз у него на плане выходило одно и то же: a) барский дом, b) людская, c) огород, d) крыжовник. Жил он скупо: недоедал, недопивал, одевался бог знает как, словно нищий, и все копил и клал в банк. Страшно жадничал. Мне было больно глядеть на него, и я кое-что давал ему и посылал на праздниках, но он и это прятал. Уж коли задался человек идеей, то ничего не поделаешь.

Годы шли, перевели его в другую губернию, минуло ему уже сорок лет, а он все читал объявления в газетах и копил. Потом, слышу, женился. Все с тою же целью, чтобы купить себе усадьбу с крыжовником, он женился на старой, некрасивой вдове, без всякого чувства, а только потому, что у нее водились деньжонки. Он и с ней тоже жил скупо, держал ее впроголодь, а деньги ее положил в банк на свое имя. Раньше она была за почтмейстером и привыкла у него к пирогам и к наливкам, а у второго мужа и хлеба черного не видала вдоволь; стала чахнуть от такой жизни, да года через три взяла и отдала богу душу. И, конечно, брат мой ни одной минуты не подумал, что он виноват в ее смерти. Деньги, как водка, делают человека чудаком. У нас в городе умирал купец. Перед смертью приказал подать себе тарелку меду и съел все свои деньги и выигрышные билеты вместе с медом, чтобы никому не досталось. Как-то на вокзале я осматривал гурты, и в это время один барышник попал под локомотив, и ему отрезало ногу. Несем мы его в приемный покой, кровь льет — страшное дело, а он все просит, чтобы ногу его отыскали, и все беспокоится: в сапоге на отрезанной ноге двадцать рублей, как бы не пропали.

— Это вы уж из другой оперы,— сказал Буркин.

— После смерти жены,— продолжал Иван Иваныч, подумав полминуты,— брат мой стал высматривать себе имение. Конечно, хоть пять лет высматривай, но все же в конце концов ошибешься

и купишь совсем не то, о чем мечтал. Брат Николай через комиссионера, с переводом долга, купил сто двенадцать десятин с барским домом, с людской, с парком, но ни фруктового сада, ни крыжовника, ни прудов с уточками; была река, но вода в ней цветом как кофе, потому что по одну сторону имения кирпичный завод, а по другую — костопальный. Но мой Николай Иваныч мало печалился; он выписал себе двадцать кустов крыжовника, посадил и зажил помещиком.

В прошлом году я поехал к нему проведать. Поеду, думаю, посмотрю, как и что там. В письмах своих брат называл свое имение так: Чумбароклова пустошь, Гималайское тож. Приехал я в «Гималайское тож» после полудня. Было жарко. Везде канавы, заборы, изгороди, понасажены рядами елки,— и не знаешь, как проехать во двор, куда поставить лошадь. Иду к дому, а навстречу мне рыжая собака, толстая, похожая на свинью. Хочется ей лаять, да лень. Вышла из кухни кухарка, голоногая, толстая, тоже похожая на свинью, и сказала, что барин отдыхает после обеда. Вхожу к брату, он сидит в постели, колени покрыты одеялом; постарел, располнел, обрюзг; щеки, нос и губы тянутся вперед,— того и гляди, хрюкнет в одеяло.

Мы обнялись и всплакнули от радости и от грустной мысли, что когда-то были молоды, а теперь оба седы и умирать пора. Он оделся и повел меня показывать свое имение.

— Ну, как ты тут поживаешь? — спросил я.

— Да ничего, слава богу, живу хорошо.

Это уж был не прежний робкий бедняга-чиновник, а настоящий помещик, барин. Он уже обжился тут, привык и вошел во вкус; кушал много, в бане мылся, полнел, уже судился с обществом и с обоими заводами и очень обижался, когда мужики не называли его «ваше высокоблагородие». И о душе своей заботился солидно, по-барски, и добрые дела творил не просто, а с важностью. А какие добрые дела? Лечил мужиков от всех болезней содой и касторкой и в день своих именин служил среди деревни благодарственный молебен, а потом ставил полведра, думал, что так нужно. Ах, эти ужасные полведра! Сегодня толстый помещик тащит мужиков к земскому начальнику за потраву, а завтра, в торжественный день, ставит им полведра, а они пьют и кричат «ура», и пьяные кланяются ему в ноги. Перемена жизни к лучшему, сытость, праздность развивают в русском человеке самомнение, самое наглое. Николай Иваныч, который когда-то в казенной палате боялся даже для себя лично иметь собственные взгляды, теперь говорил одни только истины, и таким тоном, точно министр: «Образование необходимо, но для народа оно преждевременно», «телесные наказания вообще вредны, но в некоторых случаях они полезны и незаменимы».

— Я знаю народ и умею с ним обращаться,— говорил он.—

Меня народ любит. Сто́ит мне только пальцем шевельнуть, и для меня народ сделает все, что́ захочу.

И все это, заметьте, говорилось с умной, доброю улыбкой. Он раз двадцать повторил: «мы, дворяне», «я, как дворянин»; очевидно, уже не помнил, что дед наш был мужик, а отец — солдат. Даже наша фамилия Чимша-Гималайский, в сущности несообразная, казалась ему теперь звучной, знатной и очень приятной.

Но дело не в нем, а во мне самом. Я хочу вам рассказать, какая перемена произошла во мне в эти немногие часы, пока я был в его усадьбе. Вечером, когда мы пили чай, кухарка подала к столу полную тарелку крыжовнику. Это был не купленный, а свой собственный крыжовник, собранный в первый раз с тех пор, как были посажены кусты. Николай Иваныч засмеялся и минуту глядел на крыжовник, молча, со слезами,— он не мог говорить от волнения, потом положил в рот одну ягоду, поглядел на меня с торжеством ребенка, который наконец получил свою любимую игрушку, и сказал:

— Как вкусно!

И он с жадностью ел и все повторял:

— Ах, как вкусно! Ты попробуй!

Было жестко и кисло, но, как сказал Пушкин, «тьмы истин нам дороже нас возвышающий обман». Я видел счастливого человека, заветная мечта которого осуществилась так очевидно, который достиг цели в жизни, получил то, что хотел, который был доволен своею судьбой, самим собой. К моим мыслям о человеческом счастье всегда почему-то примешивалось что-то грустное, теперь же, при виде счастливого человека, мною овладело тяжелое чувство, близкое к отчаянию. Особенно тяжело было ночью. Мне постлали постель в комнате рядом с спальней брата, и мне было слышно, как он не спал и как вставал и подходил к тарелке с крыжовником и брал по ягодке. Я соображал: как, в сущности, много довольных, счастливых людей! Какая это подавляющая сила! Вы взгляните на эту жизнь: наглость и праздность сильных, невежество и скотоподобие слабых, кругом бедность невозможная, теснота, вырождение, пьянство, лицемерие, вранье... Между тем во всех домах и на улицах тишина, спокойствие; из пятидесяти тысяч живущих в городе, ни одного, который бы вскрикнул, громко возмутился. Мы видим тех, которые ходят на рынок за провизией, днем едят, ночью спят, которые говорят свою чепуху, женятся, старятся, благодушно тащат на кладбище своих покойников; но мы не видим и не слышим тех, которые страдают, и то, что страшно в жизни, происходит где-то за кулисами. Все тихо, спокойно, и протестует одна только немая статистика: столько-то с ума сошло, столько-то ведер выпито, столько-то детей погибло от недоедания... И такой

порядок, очевидно, нужен; очевидно, счастливый чувствует себя хорошо только потому, что несчастные несут свое бремя молча, и без этого молчания счастье было бы невозможно. Это общий гипноз. Надо, чтобы за дверью каждого довольного, счастливого человека стоял кто-нибудь с молоточком и постоянно напоминал бы стуком, что есть несчастные, что как бы он ни был счастлив, жизнь рано или поздно покажет ему свои когти, стрясется беда — болезнь, бедность, потери, и его никто не увидит и не услышит, как теперь он не видит и не слышит других. Но человека с молоточком нет, счастливый живет себе, и мелкие житейские заботы волнуют его слегка, как ветер осину,— и все обстоит благополучно.

— В ту ночь мне стало понятно, как я тоже был доволен и счастлив,— продолжал Иван Иваныч, вставая.— Я тоже за обедом и на охоте поучал, как жить, как веровать, как управлять народом. Я тоже говорил, что ученье свет, что образование необходимо, но для простых людей пока довольно одной грамоты. Свобода есть благо, говорил я, без нее нельзя, как без воздуха, но надо подождать. Да, я говорил так, а теперь спрашиваю: во имя чего ждать? — спросил Иван Иваныч, сердито глядя на Буркина.— Во имя чего ждать, я вас спрашиваю? Во имя каких соображений? Мне говорят, что не все сразу, всякая идея осуществляется в жизни постепенно, в свое время. Но кто это говорит? Где доказательства, что это справедливо? Вы ссылаетесь на естественный порядок вещей, на законность явлений, но есть ли порядок и законность в том, что я, живой, мыслящий человек, стою надо рвом и жду, когда он зарастет сам или затянет его илом, в то время как, быть может, я мог бы перескочить через него или построить через него мост? И опять-таки, во имя чего ждать? Ждать, когда нет сил жить, а между тем жить нужно и хочется жить!

Я уехал тогда от брата рано утром, и с тех пор для меня стало невыносимо бывать в городе. Меня угнетают тишина и спокойствие, я боюсь смотреть на окна, так как для меня теперь нет более тяжелого зрелища, как счастливое семейство, сидящее вокруг стола и пьющее чай. Я уже стар и не гожусь для борьбы, я не способен даже ненавидеть. Я только скорблю душевно, раздражаюсь, досадую, по ночам у меня горит голова от наплыва мыслей, и я не могу спать... Ах, если б я был молод!

Иван Иваныч прошелся в волнении из угла в угол и повторил:

— Если б я был молод!

Он вдруг подошел к Алехину и стал пожимать ему то одну руку, то другую.

— Павел Константинович! — проговорил он умоляющим голосом,— не успокаивайтесь, не давайте усыплять себя! Пока

молоды, сильны, бодры, не уставайте делать добро! Счастья нет и не должно его быть, а если в жизни есть смысл и цель, то смысл этот и цель вовсе не в нашем счастье, а в чем-то более разумном и великом. Делайте добро!

И все это Иван Иваныч проговорил с жалкой, просящей улыбкой, как будто просил лично для себя.

Потом все трое сидели в креслах, в разных концах гостиной, и молчали. Рассказ Ивана Иваныча не удовлетворил ни Буркина, ни Алехина. Когда из золотых рам глядели генералы и дамы, которые в сумерках казались живыми, слушать рассказ про беднягу-чиновника, который ел крыжовник, было скучно. Хотелось почему-то говорить и слушать про изящных людей, про женщин. И то, что они сидели в гостиной, где все — и люстра в чехле, и кресла, и ковры под ногами — говорило, что здесь когда-то ходили, сидели, пили чай вот эти самые люди, которые глядели теперь из рам, и то, что здесь теперь бесшумно ходила красивая Пелагея,— это было лучше всяких рассказов.

Алехину сильно хотелось спать; он встал по хозяйству рано, в третьем часу утра, и теперь у него слипались глаза, но он боялся, как бы гости не стали без него рассказывать что-нибудь интересное, и не уходил. Умно ли, справедливо ли было то, что́ только что говорил Иван Иваныч, он не вникал; гости говорили не о крупе, не о сене, не о дегте, а о чем-то, что не имело прямого отношения к его жизни, и он был рад и хотел, чтобы они продолжали...

— Однако пора спать,— сказал Буркин, поднимаясь.— Позвольте пожелать вам спокойной ночи.

Алехин простился и ушел к себе вниз, а гости остались наверху. Им обоим отвели на ночь большую комнату, где стояли две старые деревянные кровати с резными украшениями и в углу было распятие из слоновой кости; от их постелей, широких, прохладных, которые постилала красивая Пелагея, приятно пахло свежим бельем.

Иван Иваныч молча разделся и лег.

— Господи, прости нас, грешных! — проговорил он и укрылся с головой.

От его трубочки, лежавшей на столе, сильно пахло табачным перегаром, и Буркин долго не спал и все никак не мог понять, откуда этот тяжелый запах.

Дождь стучал в окна всю ночь.

1898

ИОНЫЧ

I

Когда в губернском городе С. приезжие жаловались на скуку и однообразие жизни, то местные жители, как бы оправдываясь, говорили, что, напротив, в С. очень хорошо, что в С. есть библиотека, театр, клуб, бывают балы, что, наконец, есть умные, интересные, приятные семьи, с которыми можно завести знакомства. И указывали на семью Туркиных как на самую образованную и талантливую.

Эта семья жила на главной улице, возле губернатора, в собственном доме. Сам Туркин, Иван Петрович, полный, красивый брюнет с бакенами, устраивал любительские спектакли с благотворительною целью, сам играл старых генералов и при этом кашлял очень смешно. Он знал много анекдотов, шарад, поговорок, любил шутить и острить, и всегда у него было такое выражение, что нельзя было понять, шутит он или говорит серьезно. Жена его, Вера Иосифовна, худощавая, миловидная дама в pince-nez[1], писала повести и романы и охотно читала их вслух своим гостям. Дочь, Екатерина Ивановна, молодая девушка, играла на рояле. Одним словом, у каждого члена семьи был какой-нибудь свой талант. Туркины принимали гостей радушно и показывали им свои таланты весело, с сердечной простотой. В их большом каменном доме было просторно и летом прохладно, половина окон выходила в старый тенистый сад, где весной пели соловьи; когда в доме сидели гости, то в кухне стучали ножами, во дворе пахло жареным луком — и это всякий раз предвещало обильный и вкусный ужин.

И доктору Старцеву, Дмитрию Ионычу, когда он был только что назначен земским врачом и поселился в Дялиже, в девяти верстах от С., тоже говорили, что ему, как интеллигентному человеку, необходимо познакомиться с Туркиными. Как-то зимой на улице его представили Ивану Петровичу; поговорили о погоде, о театре, о холере, последовало приглашение. Весной, в праздник — это было вознесение,— после приема больных, Старцев отправился в город, чтобы развлечься немножко и кстати купить себе кое-что. Он шел пешком, не спеша (своих лошадей у него еще не было), и все время напевал:

Когда еще я не пил слез из чаши бытия...*

В городе он пообедал, погулял в саду, потом как-то само собой пришло ему на память приглашение Ивана Петровича, и он решил сходить к Туркиным, посмотреть, что́ это за люди.

---

[1] Пенсне *(франц.)*.

— Здравствуйте пожалуйста, — сказал Иван Петрович. встречая его на крыльце.— Очень, очень рад видеть такого приятного гостя. Пойдемте, я представлю вас своей благоверной. Я говорю ему, Верочка,— продолжал он, представляя доктора жене,— я ему говорю, что он не имеет никакого римского права сидеть у себя в больнице, он должен отдавать свой досуг обществу. Не правда ли, душенька?

— Садитесь здесь,— говорила Вера Иосифовна, сажая гостя возле себя.— Вы можете ухаживать за мной. Мой муж ревнив, это Отелло, но ведь мы постараемся вести себя так, что он ничего не заметит.

— Ах ты, цыпка, баловница...— нежно пробормотал Иван Петрович и поцеловал ее в лоб.— Вы очень кстати пожаловали,— обратился он опять к гостю,— моя благоверная написала большинский роман и сегодня будет читать его вслух.

— Жанчик,— сказала Вера Иосифовна мужу,— dites que l'on nous donne du the[1].

Старцеву представили Екатерину Ивановну, восемнадцатилетнюю девушку, очень похожую на мать, такую же худощавую и миловидную. Выражение у нее было еще детское и талия тонкая, нежная; и девственная, уже развитая грудь, красивая, здоровая, говорила о весне, настоящей весне. Потом пили чай с вареньем, с медом, с конфетами и с очень вкусными печеньями, которые таяли во рту. С наступлением вечера мало-помалу сходились гости, и к каждому из них Иван Петрович обращал свои смеющиеся глаза и говорил:

— Здравствуйте пожалуйста.

Потом все сидели в гостиной с очень серьезными лицами, и Вера Иосифовна читала свой роман. Она начала так: «Мороз крепчал...» Окна были отворены настежь, слышно было, как на кухне стучали ножами, и доносился запах жареного лука... В мягких, глубоких креслах было покойно, огни мигали так ласково в сумерках гостиной; и теперь, в летний вечер, когда долетали с улицы голоса, смех и потягивало со двора сиренью, трудно было понять, как это крепчал мороз и как заходившее солнце освещало своими холодными лучами снежную равнину и путника, одиноко шедшего по дороге; Вера Иосифовна читала о том, как молодая, красивая графиня устраивала у себя в деревне школы, больницы, библиотеки и как она полюбила странствующего художника,— читала о том, чего никогда не бывает в жизни, и все-таки слушать было приятно, удобно, и в голову шли все такие хорошие, покойные мысли,— не хотелось вставать...

— Недурственно...— тихо проговорил Иван Петрович.

---

[1] Скажи, чтобы нам дали чаю *(франц.)*.

А один из гостей, слушая и уносясь мыслями куда-то очень, очень далеко, сказал едва слышно:

— Да... действительно...

Прошел час, другой. В городском саду по соседству играл оркестр и пел хор песенников. Когда Вера Иосифовна закрыла свою тетрадь, то минут пять молчали и слушали «Лучинушку», которую пел хор, и эта песня передавала то, чего не было в романе и что бывает в жизни.

— Вы печатаете свои произведения в журналах? — спросил у Веры Иосифовны Старцев.

— Нет,— отвечала она,— я нигде не печатаю. Напишу и спрячу у себя в шкапу. Для чего печатать? — пояснила она.— Ведь мы имеем средства.

И все почему-то вздохнули.

— А теперь ты, Котик, сыграй что-нибудь,— сказал Иван Петрович дочери.

Подняли у рояля крышку, раскрыли ноты, лежавшие уже наготове. Екатерина Ивановна села и обеими руками ударила по клавишам; и потом тотчас же опять ударила изо всей силы, и опять, и опять; плечи и грудь у нее содрогались, она упрямо ударяла все по одному месту, и казалось, что она не перестанет, пока не вобьет клавишей внутрь рояля. Гостиная наполнилась громом; гремело все: и пол, и потолок, и мебель... Екатерина Ивановна играла трудный пассаж, интересный именно своею трудностью, длинный и однообразный, и Старцев, слушая, рисовал себе, как с высокой горы сыплются камни, сыплются и все сыплются, и ему хотелось, чтобы они поскорее перестали сыпаться, и в то же время Екатерина Ивановна, розовая от напряжения, сильная, энергичная, с локоном, упавшим на лоб, очень нравилась ему. После зимы, проведенной в Дялиже, среди больных и мужиков, сидеть в гостиной, смотреть на это молодое, изящное и, вероятно, чистое существо и слушать эти шумные, надоедливые, но все же культурные звуки,— было так приятно, так ново...

— Ну, Котик, сегодня ты играла, как никогда,— сказал Иван Петрович со слезами на глазах, когда его дочь кончила и встала.— Умри, Денис, лучше не напишешь*.

Все окружили ее, поздравляли, изумлялись, уверяли, что давно уже не слыхали такой музыки, а она слушала молча, чуть улыбаясь, и на всей ее фигуре было написано торжество.

— Прекрасно! превосходно!

— Прекрасно! — сказал и Старцев, поддаваясь общему увлечению.— Вы где учились музыке? — спросил он у Екатерины Ивановны.— В консерватории?

— Нет, в консерваторию я еще только собираюсь, а пока училась здесь, у мадам Завловской.

— Вы кончили курс в здешней гимназии?

— О нет! — ответила за нее Вера Иосифовна.— Мы приглашали учителей на дом, в гимназии же или в институте, согласитесь, могли быть дурные влияния; пока девушка растет, она должна находиться под влиянием одной только матери.

— А все-таки в консерваторию я поеду,— сказала Екатерина Ивановна.

— Нет, Котик любит свою маму. Котик не станет огорчать папу и маму.

— Нет, поеду! Поеду! — сказала Екатерина Ивановна, шутя и капризничая, топнула ножкой.

А за ужином уже Иван Петрович показывал свои таланты. Он, смеясь одними только глазами, рассказывал анекдоты, острил, предлагал смешные задачи и сам же решал их, и все время говорил на своем необыкновенном языке, выработанном долгими упражнениями в остроумии и, очевидно, давно уже вошедшем у него в привычку: большинский, недурственно, покорчило вас благодарю...

Но это было не все. Когда гости, сытые и довольные, толпились в передней, разбирая свои пальто и трости, около них суетился лакей Павлуша, или, как его звали здесь, Пава, мальчик лет четырнадцати, стриженый, с полными щеками.

— А ну-ка, Пава, изобрази! — сказал ему Иван Петрович.

Пава стал в позу, поднял вверх руку и проговорил трагическим тоном:

— Умри, несчастная!

И все захохотали.

«Занятно»,— подумал Старцев, выходя на улицу.

Он зашел еще в ресторан и выпил пива, потом отправился пешком к себе в Дялиж. Шел он и всю дорогу напевал:

Твой голос для меня, и ласковый и томный...*

Пройдя девять верст и потом ложась спать, он не чувствовал ни малейшей усталости, а напротив, ему казалось, что он с удовольствием прошел бы еще верст двадцать.

«Недурственно...» — вспомнил он, засыпая, и засмеялся.

II

Старцев все собирался к Туркиным, но в больнице было очень много работы, и он никак не мог выбрать свободного часа. Прошло больше года таким образом в трудах и одиночестве; но вот из города принесли письмо в голубом конверте...

Вера Иосифовна давно уже страдала мигренью, но в последнее время, когда Котик каждый день пугала, что уедет в консер-

ваторию, припадки стали повторяться все чаще. У Туркиных перебывали все городские врачи; дошла наконец очередь и до земского. Вера Иосифовна написала ему трогательное письмо, в котором просила его приехать и облегчить ее страдания. Старцев приехал и после этого стал бывать у Туркиных часто, очень часто... Он в самом деле немножко помог Вере Иосифовне, и она всем гостям уже говорила, что это необыкновенный, удивительный доктор. Но ездил он к Туркиным уже не ради ее мигрени...

Праздничный день. Екатерина Ивановна кончила свои длинные, томительные экзерсисы на рояле. Потом долго сидели в столовой и пили чай, и Иван Петрович рассказывал что-то смешное. Но вот звонок; нужно было идти в переднюю встречать какого-то гостя; Старцев воспользовался минутой замешательства и сказал Екатерине Ивановне шепотом, сильно волнуясь:

— Ради бога, умоляю вас, не мучайте меня, пойдемте в сад!

Она пожала плечами, как бы недоумевая и не понимая, что́ ему нужно от нее, но встала и пошла.

— Вы по три, по четыре часа играете на рояле,— говорил он, идя за ней,— потом сидите с мамой, и нет никакой возможности поговорить с вами. Дайте мне хоть четверть часа, умоляю вас.

Приближалась осень, и в старом саду было тихо, грустно и на аллеях лежали темные листья. Уже рано смеркалось.

— Я не видел вас целую неделю,— продолжал Старцев,— а если бы вы знали, какое это страдание! Сядемте. Выслушайте меня.

У обоих было любимое место в саду: скамья под старым широким кленом. И теперь сели на эту скамью.

— Что вам угодно? — спросила Екатерина Ивановна сухо, деловым тоном.

— Я не видел вас целую неделю, я не слышал вас так долго. Я страстно хочу, я жажду вашего голоса. Говорите.

Она восхищала его своею свежестью, наивным выражением глаз и щек. Даже в том, как сидело на ней платье, он видел что-то необыкновенно милое, трогательное своей простой и наивной грацией. И в то же время, несмотря на эту наивность, она казалась ему очень умной и развитой не по летам. С ней он мог говорить о литературе, об искусстве, о чем угодно, мог жаловаться ей на жизнь, на людей, хотя во время серьезного разговора, случалось, она вдруг некстати начинала смеяться или убегала в дом. Она, как почти все с — ие девушки, много читала (вообще же в С. читали очень мало, и в здешней библиотеке так и говорили, что если бы не девушки и не молодые евреи, то хоть закрывай библиотеку); это бесконечно нравилось Старцеву, он с волнением спрашивал у нее всякий раз, о чем она читала в последние дни, и, очарованный, слушал, когда она рассказывала.

— Что вы читали на этой неделе, пока мы не виделись? — спросил он теперь.— Говорите, прошу вас.

— Я читала Писемского.

— Что именно?

— «Тысяча душ»,— ответила Котик.— А как смешно звали Писемского: Алексей Феофилактыч!

— Куда же вы? — ужаснулся Старцев, когда она вдруг встала и пошла к дому.— Мне необходимо поговорить с вами, я должен объясниться... Побудьте со мной хоть пять минут! Заклинаю вас!

Она остановилась, как бы желая что-то сказать, потом неловко сунула ему в руку записку и побежала в дом и там опять села за рояль.

«Сегодня, в одиннадцать часов вечера,— прочел Старцев,— будьте на кладбище возле памятника Деметти».

«Ну, уж это совсем не умно,— подумал он, придя в себя.— При чем тут кладбище? Для чего?»

Было ясно: Котик дурачилась. Кому в самом деле придет серьезно в голову назначать свидание ночью, далеко за городом, на кладбище, когда это легко можно устроить на улице, в городском саду? И к лицу ли ему, земскому доктору, умному, солидному человеку, вздыхать, получать записочки, таскаться по кладбищам, делать глупости, над которыми смеются теперь даже гимназисты? К чему поведет этот роман? Что скажут товарищи, когда узнают? Так думал Старцев, бродя в клубе около столов, а в половине одиннадцатого вдруг взял и поехал на кладбище.

У него уже была своя пара лошадей и кучер Пантелеймон в бархатной жилетке. Светила луна. Было тихо, тепло, но тепло по-осеннему. В предместье, около боен, выли собаки. Старцев оставил лошадей на краю города, в одном из переулков, а сам пошел на кладбище пешком. «У всякого свои странности,— думал он.— Котик тоже странная и — кто знает? быть может, она не шутит, придет»,— и он отдался этой слабой, пустой надежде, и она опьянила его.

С полверсты он прошел полем. Кладбище обозначалось вдали темной полосой, как лес или большой сад. Показалась ограда из белого камня, ворота... При лунном свете на воротах можно было прочесть: «Грядет час в онь же...» Старцев вошел в калитку, и первое, что он увидел, это белые кресты и памятники по обе стороны широкой аллеи и черные тени от них и от тополей; и кругом далеко было видно белое и черное, и сонные деревья склоняли свои ветви над белым. Казалось, что здесь было светлей, чем в поле; листья кленов, похожие на лапы, резко выделялись на желтом песке аллей и на плитах, и надписи на памятниках были ясны. На первых порах Старцева поразило то, что он видел теперь первый раз в жизни и чего, вероятно, больше уже

не случится видеть: мир, не похожий ни на что другое,— мир, где так хорош и мягок лунный свет, точно здесь его колыбель, где нет жизни, нет и нет, но в каждом темном тополе, в каждой могиле чувствуется присутствие тайны, обещающей жизнь тихую, прекрасную, вечную. От плит и увядших цветов, вместе с осенним запахом листьев, веет прощением, печалью и покоем.

Кругом безмолвие; в глубоком смирении с неба смотрели звезды, и шаги Старцева раздавались так резко и некстати. И только когда в церкви стали бить часы и он вообразил самого себя мертвым, зарытым здесь навеки, то ему показалось, что кто-то смотрит на него, и он на минуту подумал, что это не покой и не тишина, а глухая тоска небытия, подавленное отчаяние...

Памятник Деметти в виде часовни, с ангелом наверху; когда-то в С. была проездом итальянская опера, одна из певиц умерла, ее похоронили и поставили этот памятник. В городе уже никто не помнил о ней, но лампадка над входом отражала лунный свет и, казалось, горела.

Никого не было. Да и кто пойдет сюда в полночь? Но Старцев ждал, и точно лунный свет подогревал в нем страсть, ждал страстно и рисовал в воображении поцелуи, объятия. Он посидел около памятника с полчаса, потом прошелся по боковым аллеям, со шляпой в руке, поджидая и думая о том, сколько здесь, в этих могилах, зарыто женщин и девушек, которые были красивы, очаровательны, которые любили, сгорали по ночам страстью, отдаваясь ласке. Как, в сущности, нехорошо шутит над человеком мать-природа, как обидно сознавать это! Старцев думал так, и в то же время ему хотелось закричать, что он хочет, что он ждет любви во что бы то ни стало; перед ним белели уже не куски мрамора, а прекрасные тела, он видел формы, которые стыдливо прятались в тени деревьев, ощущал тепло, и это томление становилось тягостным...

И точно опустился занавес, луна ушла под облака, и вдруг все потемнело кругом. Старцев едва нашел ворота,— уже было темно, как в осеннюю ночь,— потом часа полтора бродил, отыскивая переулок, где оставил своих лошадей.

— Я устал, едва держусь на ногах,— сказал он Пантелеймону.

И, садясь с наслаждением в коляску, он подумал: «Ох, не надо бы полнеть!»

III

На другой день вечером он поехал к Туркиным, делать предложение. Но это оказалось неудобным, так как Екатерину Ивановну в ее комнате причесывал парикмахер. Она собиралась в клуб на танцевальный вечер.

Пришлось опять долго сидеть в столовой и пить чай. Иван Петрович, видя, что гость задумчив и скучает, вынул из жилетного кармана записочки, прочел смешное письмо немца-управляющего о том, как в имении испортились все запирательства и обвалилась застенчивость.

«А приданого они дадут, должно быть, немало»,— думал Старцев, рассеянно слушая.

После бессонной ночи он находился в состоянии ошеломления, точно его опоили чем-то сладким и усыпляющим; на душе было туманно, но радостно, тепло, и в то же время в голове какой-то холодный, тяжелый кусочек рассуждал:

«Остановись, пока не поздно! Пара ли она тебе? Она избалована, капризна, спит до двух часов, а ты дьячковский сын, земской врач...»

«Ну что ж? — думал он.— И пусть».

«К тому же, если ты женишься на ней,— продолжал кусочек,— то ее родня заставит тебя бросить земскую службу и жить в городе».

«Ну что ж? — думал он.— В городе, так в городе. Дадут приданое, заведем обстановку...»

Наконец вошла Екатерина Ивановна в бальном платье, декольте, хорошенькая, чистенькая, и Старцев залюбовался и пришел в такой восторг, что не мог выговорить ни одного слова, а только смотрел на нее и смеялся.

Она стала прощаться, и он — оставаться тут ему было уже незачем — поднялся, говоря что ему пора домой: ждут больные.

— Делать нечего,— сказал Иван Петрович,— поезжайте, кстати же подвезете Котика в клуб.

На дворе накрапывал дождь, было очень темно, и только по хриплому кашлю Пантелеймона можно было угадать, где лошади. Подняли у коляски верх.

— Я иду по ковру, ты идешь, пока врешь,— говорил Иван Петрович, усаживая дочь в коляску,— он идет, пока врет... Трогай! Прощайте пожалуйста!

Поехали.

— А я вчера был на кладбище,— начал Старцев.— Как это невеликодушно и немилосердно с вашей стороны...

— Вы были на кладбище?

— Да, я был там и ждал вас почти до двух часов. Я страдал...

— И страдайте, если вы не понимаете шуток.

Екатерина Ивановна, довольная, что так хитро подшутила над влюбленным и что ее так сильно любят, захохотала и вдруг вскрикнула от испуга, так как в это самое время лошади круто поворачивали в ворота клуба и коляска накренилась. Старцев обнял Екатерину Ивановну за талию; она, испуганная, прижалась

к нему, и он не удержался и страстно поцеловал ее в губы, в подбородок и сильнее обнял.

— Довольно,— сказала она сухо.

И чрез мгновение ее уже не было в коляске, и городовой около освещенного подъезда клуба кричал отвратительным голосом на Пантелеймона:

— Чего стал, ворона? Проезжай дальше!

Старцев поехал домой, но скоро вернулся. Одетый в чужой фрак и белый жесткий галстук, который как-то все топорщился и хотел сползти с воротничка, он в полночь сидел в клубе в гостиной и говорил Екатерине Ивановне с увлечением:

— О, как мало знают те, которые никогда не любили! Мне кажется, никто еще не описал верно любви, и едва ли можно описать это нежное, радостное, мучительное чувство, и кто испытал его хоть раз, тот не станет передавать его на словах. К чему предисловия, описания? К чему ненужное красноречие? Любовь моя безгранична... Прошу, умоляю вас,— выговорил наконец Старцев,— будьте моей женой!

— Дмитрий Ионыч,— сказала Екатерина Ивановна с очень серьезным выражением, подумав.— Дмитрий Ионыч, я очень вам благодарна за честь, я вас уважаю, но...— она встала и продолжала стоя,— но, извините, быть вашей женой я не могу. Будем говорить серьезно. Дмитрий Ионыч, вы знаете, больше всего в жизни я люблю искусство, я безумно люблю, обожаю музыку, ей я посвятила всю свою жизнь. Я хочу быть артисткой, я хочу славы, успехов, свободы, а вы хотите, чтобы я продолжала жить в этом городе, продолжала эту пустую, бесполезную жизнь, которая стала для меня невыносима. Сделаться женой — о нет, простите! Человек должен стремиться к высшей, блестящей цели, а семейная жизнь связала бы меня навеки. Дмитрий Ионыч (она чуть-чуть улыбнулась, так как, произнеся «Дмитрий Ионыч», вспомнила «Алексей Феофилактыч»), Дмитрий Ионыч, вы добрый, благородный, умный человек, вы лучше всех...— у нее слезы навернулись на глазах,— я сочувствую вам всей душой, но... но вы поймете...

И, чтобы не заплакать, она отвернулась и вышла из гостиной.

У Старцева перестало беспокойно биться сердце. Выйдя из клуба на улицу, он прежде всего сорвал с себя жесткий галстук и вздохнул всей грудью. Ему было немножко стыдно, и самолюбие его было оскорблено,— он не ожидал отказа,— и не верилось, что все его мечты, томления и надежды привели его к такому глупенькому концу, точно в маленькой пьесе на любительском спектакле. И жаль было своего чувства, этой своей любви, так жаль, что, кажется, взял бы и зарыдал или изо всей силы хватил бы зонтиком по широкой спине Пантелеймона.

Дня три у него дело валилось из рук, он не ел, не спал, но,

когда до него дошел слух, что Екатерина Ивановна уехала в Москву поступать в консерваторию, он успокоился и зажил по-прежнему.

Потом, иногда вспоминая, как он бродил по кладбищу или как ездил по всему городу и отыскивал фрак, он лениво потягивался и говорил:

— Сколько хлопот, однако!

IV

Прошло четыре года. В городе у Старцева была уже большая практика. Каждое утро он спешно принимал больных у себя в Дялиже, потом уезжал к городским больным, уезжал уже не на паре, а на тройке с бубенчиками и возвращался домой поздно ночью. Он пополнел, раздобрел и неохотно ходил пешком, так как страдал одышкой. И Пантелеймон тоже пополнел, и чем он больше рос в ширину, тем печальнее вздыхал и жаловался на свою горькую участь: езда одолела!

Старцев бывал в разных домах и встречал много людей, но ни с кем не сходился близко. Обыватели своими разговорами, взглядами на жизнь и даже своим видом раздражали его. Опыт научил его мало-помалу, что пока с обывателем играешь в карты или закусываешь с ним, то это мирный, благодушный и даже неглупый человек, но стоит только заговорить с ним о чем-нибудь несъедобном, например, о политике или науке, как он становится в тупик или заводит такую философию, тупую и злую, что остается только рукой махнуть и отойти. Когда Старцев пробовал заговорить даже с либеральным обывателем, например, о том, что человечество, слава богу, идет вперед и что со временем оно будет обходиться без паспортов и без смертной казни, то обыватель глядел на него искоса и недоверчиво и спрашивал: «Значит, тогда всякий может резать на улице кого угодно?» А когда Старцев в обществе, за ужином или чаем, говорил о том, что нужно трудиться, что без труда жить нельзя, то всякий принимал это за упрек и начинал сердиться и назойливо спорить. При всем том обыватели не делали ничего, решительно ничего, и не интересовались ничем, и никак нельзя было придумать, о чем говорить с ними. И Старцев избегал разговоров, а только закусывал и играл в винт, и когда заставал в каком-нибудь доме семейный праздник и его приглашали откушать, то он садился и ел молча, глядя в тарелку; и все, что в это время говорили, было неинтересно, несправедливо, глупо, он чувствовал раздражение, волновался, но молчал, и за то, что он всегда сурово молчал и глядел в тарелку, его прозвали в городе «поляк надутый», хотя он никогда поляком не был.

От таких развлечений, как театр и концерты, он уклонялся, но зато в винт играл каждый вечер, часа по три, с наслаждением. Было у него еще одно развлечение, в которое он втянулся незаметно, мало-помалу, это — по вечерам вынимать из карманов бумажки, добытые практикой, и, случалось, бумажек — желтых и зеленых, от которых пахло духами, и уксусом, и ладаном, и ворванью,— было понапихано во все карманы рублей на семьдесят; и когда собиралось несколько сот, он отвозил в Общество взаимного кредита и клал там на текущий счет.

За все четыре года после отъезда Екатерины Ивановны он был у Туркиных только два раза, по приглашению Веры Иосифовны, которая все еще лечилась от мигрени. Каждое лето Екатерина Ивановна приезжала к родителям погостить, но он не видел ее ни разу; как-то не случалось.

Но вот прошло четыре года. В одно тихое, теплое утро в больницу принесли письмо. Вера Иосифовна писала Дмитрию Ионычу, что очень соскучилась по нем, и просила его непременно пожаловать к ней и облегчить ее страдания, и кстати же сегодня день ее рождения. Внизу была приписка: «К просьбе мамы присоединяюсь и я. К.».

Старцев подумал и вечером поехал к Туркиным.

— А, здравствуйте пожалуйста! — встретил его Иван Петрович, улыбаясь одними глазами.— Бонжурте*.

Вера Иосифовна, уже сильно постаревшая, с белыми волосами, пожала Старцеву руку, манерно вздохнула и сказала:

— Вы, доктор, не хотите ухаживать за мной, никогда у нас не бываете, я уже стара для вас. Но вот приехала молодая, быть может, она будет счастливее.

А Котик? Она похудела, побледнела, стала красивее и стройнее; но уже это была Екатерина Ивановна, а не Котик; уже не было прежней свежести и выражения детской наивности. И во взгляде и в манерах было что-то новое — несмелое и виноватое, точно здесь. в доме Туркиных, она уже не чувствовала себя дома.

— Сколько лет, сколько зим! — сказала она, подавая Старцеву руку, и было видно, что у нее тревожно билось сердце; и пристально, с любопытством глядя ему в лицо, она продолжала: — Как вы пополнели! Вы загорели, возмужали, но в общем вы мало изменились.

И теперь она ему нравилась, очень нравилась, но чего-то уже недоставало в ней, или что-то было лишнее,— он и сам не мог бы сказать, что́ именно, но что-то уже мешало ему чувствовать, как прежде. Ему не нравилась ее бледность, новое выражение, слабая улыбка, голос, а немного погодя уже не нравилось платье, кресло, в котором она сидела, не нравилось что-то в прошлом, когда он едва не женился на ней. Он вспомнил о своей

любви, о мечтах и надеждах, которые волновали его четыре года назад,— и ему стало неловко.

Пили чай со сладким пирогом. Потом Вера Иосифовна читала вслух роман, читала о том, чего никогда не бывает в жизни, а Старцев слушал, глядел на ее седую, красивую голову и ждал, когда она кончит.

«Бездарен,— думал он,— не тот, кто не умеет писать повестей, а тот, кто их пишет и не умеет скрыть этого».

— Недурственно,— сказал Иван Петрович.

Потом Екатерина Ивановна играла на рояле шумно и долго, и, когда кончила, ее долго благодарили и восхищались ею.

«А хорошо, что я на ней не женился»,— подумал Старцев.

Она смотрела на него и, по-видимому, ждала, что он предложит ей пойти в сад, но он молчал.

— Давайте же поговорим,— сказала она, подходя к нему.— Как вы живете? Что у вас? Как? Я все эти дни думала о вас,— продолжала она нервно,— я хотела послать вам письмо, хотела сама поехать к вам в Дялиж, и я уже решила поехать, но потом раздумала,— бог знает как вы теперь ко мне относитесь. Я с таким волнением ожидала вас сегодня. Ради бога, пойдемте в сад.

Они пошли в сад и сели там на скамью под старым кленом, как четыре года назад. Было темно.

— Как же вы поживаете? — спросила Екатерина Ивановна.

— Ничего, живем понемножку,— ответил Старцев.

И ничего не мог больше придумать. Помолчали.

— Я волнуюсь,— сказала Екатерина Ивановна и закрыла руками лицо,— но вы не обращайте внимания. Мне так хорошо дома, я так рада видеть всех и не могу привыкнуть. Сколько воспоминаний! Мне казалось, что мы будем говорить с вами без умолку, до утра.

Теперь он видел близко ее лицо, блестящие глаза, и здесь, в темноте, она казалась моложе, чем в комнате, и даже как будто вернулось к ней ее прежнее детское выражение. И в самом деле, она с наивным любопытством смотрела на него, точно хотела поближе разглядеть и понять человека, который когда-то любил ее так пламенно, с такой нежностью и так несчастливо; ее глаза благодарили его за эту любовь. И он вспомнил все, что было, все малейшие подробности, как он бродил по кладбищу, как потом под утро, утомленный, возвращался к себе домой, и ему вдруг стало грустно и жаль прошлого. В душе затеплился огонек.

— А помните, как я провожал вас на вечер в клуб? — сказал он.— Тогда шел дождь, было темно...

Огонек все разгорался в душе, и уже хотелось говорить, жаловаться на жизнь...

— Эх! — сказал он со вздохом.— Вы вот спрашиваете, как я поживаю. Как мы поживаем тут? Да никак. Старимся, полнеем,

опускаемся. День да ночь — сутки прочь, жизнь проходит тускло, без впечатлений, без мыслей... Днем нажива, а вечером клуб, общество картежников, алкоголиков, хрипунов, которых я терпеть не могу. Что хорошего?

— Но у вас работа, благородная цель в жизни. Вы так любили говорить о своей больнице. Я тогда была какая-то странная, воображала себя великой пианисткой. Теперь все барышни играют на рояле, и я тоже играла, как все, и ничего во мне не было особенного; я такая же пианистка, как мама писательница. И, конечно, я вас не понимала тогда, но потом, в Москве, я часто думала о вас. Я только о вас и думала. Какое это счастье быть земским врачом, помогать страдальцам, служить народу. Какое счастье!— повторила Екатерина Ивановна с увлечением.— Когда я думала о вас в Москве, вы представлялись мне таким идеальным, возвышенным...

Старцев вспомнил про бумажки, которые он по вечерам вынимал из карманов с таким удовольствием, и огонек в душе погас.

Он встал, чтобы идти к дому. Она взяла его под руку.

— Вы лучший из людей, которых я знала в своей жизни,— продолжала она.— Мы будем видеться, говорить, не правда ли? Обещайте мне. Я не пианистка, на свой счет я уже не заблуждаюсь и не буду при вас ни играть, ни говорить о музыке.

Когда вошли в дом и Старцев увидел при вечернем освещении ее лицо и грустные, благодарные, испытующие глаза, обращенные на него, то почувствовал беспокойство и подумал опять: «А хорошо, что я тогда не женился».

Он стал прощаться.

— Вы не имеете никакого римского права уезжать без ужина,— говорил Иван Петрович, провожая его.— Это с вашей стороны весьма перпендикулярно. А ну-ка, изобрази! — сказал он, обращаясь в передней к Паве.

Пава, уже не мальчик, а молодой человек с усами, стал в позу, поднял вверх руку и сказал трагическим голосом:

— Умри, несчастная!

Все это раздражало Старцева. Садясь в коляску и глядя на темный дом и сад, которые были ему так милы и дороги когда-то, он вспомнил все сразу — и романы Веры Иосифовны, и шумную игру Котика, и остроумие Ивана Петровича, и трагическую позу Павы, и подумал, что если самые талантливые люди во всем городе так бездарны, то каков же должен быть город.

Через три дня Пава принес письмо от Екатерины Ивановны.

«Вы не едете к нам. Почему? — писала она.— Я боюсь, что вы изменились к нам; я боюсь, и мне страшно от одной мысли об этом. Успокойте же меня, приезжайте и скажите, что все хорошо.

Мне необходимо поговорить с вами. Ваша Е. Т.».

Он прочел это письмо, подумал и сказал Паве:

— Скажи, любезный, что сегодня я не могу приехать, я очень занят. Приеду, скажи, так дня через три.

Но прошло три дня, прошла неделя, а он все не ехал. Как-то, проезжая мимо дома Туркиных, он вспомнил, что надо бы заехать хоть на минутку, но подумал и... не заехал.

И больше уж он никогда не бывал у Туркиных.

V

Прошло еще несколько лет. Старцев еще больше пополнел, ожирел, тяжело дышит и уже ходит, откинув назад голову. Когда он, пухлый, красный, едет на тройке с бубенчиками и Пантелеймон, тоже пухлый и красный, с мясистым затылком, сидит на козлах, протянув вперед прямые, точно деревянные, руки и кричит встречным «Прррава держи!» — то картина бывает внушительная, и кажется, что едет не человек, а языческий бог. У него в городе громадная практика, некогда вздохнуть, и уже есть имение и два дома в городе, и он облюбовывает себе еще третий, повыгоднее, и когда ему в Обществе взаимного кредита говорят про какой-нибудь дом, назначенный к торгам, то он без церемоний идет в этот дом и, проходя через все комнаты, не обращая внимания на неодетых женщин и детей, которые глядят на него с изумлением и страхом, тычет во все двери палкой и говорит:

— Это кабинет? Это спальня? А тут что?

И при этом тяжело дышит и вытирает со лба пот.

У него много хлопот, но все же он не бросает земского места; жадность одолела, хочется поспеть и здесь и там. В Дялиже и в городе его зовут уже просто Ионычем. «Куда это Ионыч едет?» или: «Не пригласить ли на консилиум Ионыча?»

Вероятно оттого, что горло заплыло жиром, голос у него изменился, стал тонким и резким. Характер у него тоже изменился: стал тяжелым, раздражительным. Принимая больных, он обыкновенно сердится, нетерпеливо стучит палкой о́ пол и кричит своим неприятным голосом:

— Извольте отвечать только на вопросы! Не разговаривать!

Он одинок. Живется ему скучно, ничто его не интересует.

За все время, пока он живет в Дялиже, любовь к Котику была его единственной радостью, и, вероятно, последней. По вечерам он играет в клубе в винт и потом сидит один за большим столом и ужинает. Ему прислуживает лакей Иван, самый старый и почтенный, подает ему лафит № 17, и уже все — и старшины клуба, и повар, и лакей — знают, что́ он любит и чего не любит,

стараются изо всех сил угодить ему, а то, чего доброго, рассердится вдруг и станет стучать палкой о́ пол.

Ужиная, он изредка оборачивается и вмешивается в какой-нибудь разговор:

— Это вы про что? А? Кого?

И когда, случается, по соседству за каким-нибудь столом заходит речь о Туркиных, то он спрашивает:

— Это вы про каких Туркиных? Это про тех, что дочка играет на фортепьянах?

Вот и все, что можно сказать про него.

А Туркины? Иван Петрович не постарел, нисколько не изменился и по-прежнему все острит и рассказывает анекдоты; Вера Иосифовна читает гостям свои романы по-прежнему охотно, с сердечной простотой. А Котик играет на рояле каждый день, часа по четыре. Она заметно постарела, похварывает и каждую осень уезжает с матерью в Крым. Провожая их на вокзале, Иван Петрович, когда трогается поезд, утирает слезы и кричит:

— Прощайте пожалуйста!

И машет платком.

1898

СЛУЧАЙ ИЗ ПРАКТИКИ

Профессор получил телеграмму из фабрики Ляликовых: его просили поскорее приехать. Была больна дочь какой-то госпожи Ляликовой, по-видимому, владелицы фабрики, и больше ничего нельзя было понять из этой длинной, бестолково составленной телеграммы. И профессор сам не поехал, а вместо себя послал своего ординатора Королева.

Нужно было проехать от Москвы две станции и потом на лошадях версты четыре. За Королевым выслали на станцию тройку; кучер был в шляпе с павлиньим пером и на все вопросы отвечал громко, по-солдатски: «Никак нет!», «Точно так!» Был субботний вечер, заходило солнце. От фабрики к станции толпами шли рабочие и кланялись лошадям, на которых ехал Королев. И его пленял вечер, и усадьбы, и дачи по сторонам, и березы, и это тихое настроение кругом, когда, казалось, вместе с рабочими теперь, накануне праздника, собирались отдыхать и поле, и лес, и солнце,— отдыхать и, быть может, молиться...

Он родился и вырос в Москве, деревни не знал и фабриками никогда не интересовался и не бывал на них. Но ему случалось читать про фабрики и бывать в гостях у фабрикантов и разговаривать с ними; и когда он видел какую-нибудь фабрику издали или вблизи, то всякий раз думал о том, что вот снаружи все тихо и смирно, а внутри, должно быть, непроходимое невежество и

тупой эгоизм хозяев, скучный, нездоровый труд рабочих, дрязги, водка, насекомые. И теперь, когда рабочие почтительно и пугливо сторонились коляски, он в их лицах, картузах, в походке угадывал физическую нечистоту, пьянство, нервность, растерянность.

Въехали в фабричные ворота. По обе стороны мелькали домики рабочих, лица женщин, белье и одеяла на крыльцах. «Берегись!» — кричал кучер, не сдерживая лошадей. Вот широкий двор без травы, на нем пять громадных корпусов с трубами, друг от друга поодаль, товарные склады, бараки, и на всем какой-то серый налет, точно от пыли. Там и сям, как оазисы в пустыне, жалкие садики и зеленые или красные крыши домов, в которых живет администрация. Кучер вдруг осадил лошадей, и коляска остановилась у дома, выкрашенного заново в серый цвет; тут был палисадник с сиренью, покрытой пылью, и на желтом крыльце сильно пахло краской.

— Пожалуйте, господин доктор,— говорили женские голоса в сенях и в передней; и при этом слышались вздохи и шепот.— Пожалуйте, заждались... чистое горе. Вот сюда пожалуйте.

Госпожа Ляликова, полная пожилая дама, в черном шелковом платье с модными рукавами, но, судя по лицу, простая, малограмотная, смотрела на доктора с тревогой и не решалась подать ему руку, не смела. Рядом с ней стояла особа с короткими волосами в pince-nez, в пестрой цветной кофточке, тощая и уже не молодая. Прислуга называла ее Христиной Дмитриевной, и Королев догадался, что это гувернантка. Вероятно, ей, как самой образованной в доме, было поручено встретить и принять доктора, потому что она тотчас же, торопясь, стала излагать причины болезни, с мелкими, назойливыми подробностями, но не говоря, кто болен и в чем дело.

Доктор и гувернантка сидели и говорили, а хозяйка стояла неподвижно у двери, ожидая. Из разговора Королев понял, что больная Лиза, девушка двадцати лет, единственная дочь госпожи Ляликовой, наследница; она давно уже болела и лечилась у разных докторов, а в последнюю ночь, с вечера до утра, у нее было такое сердцебиение, что все в доме не спали; боялись, как бы не умерла.

— Она у нас, можно сказать, с малолетства была хворенькая,— рассказывала Христина Дмитриевна певучим голосом, то и дело вытирая губы рукой.— Доктора говорят — нервы, но когда она была маленькой, доктора ей золотуху внутрь вогнали, так вот, думаю, может, от этого.

Пошли к больной. Совсем уже взрослая, большая, хорошего роста, но некрасивая, похожая на мать, с такими же маленькими глазами и с широкой, неумеренно развитой нижней частью лица, непричесанная, укрытая до подбородка, она в первую минуту

произвела на Королева впечатление существа несчастного, убогого, которое из жалости пригрели здесь и укрыли, и не верилось, что это была наследница пяти громадных корпусов.

— А мы к вам,— начал Королев,— пришли вас лечить. Здравствуйте.

Он назвал себя и пожал ей руку,— большую, холодную, некрасивую руку. Она села и, очевидно, давно уже привыкшая к докторам, равнодушная к тому, что у нее были открыты плечи и грудь, дала себя выслушать.

— У меня сердцебиение,— сказала она.— Всю ночь был такой ужас... я едва не умерла от ужаса! Дайте мне чего-нибудь.

— Дам, дам! Успокойтесь.

Королев осмотрел ее и пожал плечами.

— Сердце как следует,— сказал он,— все обстоит благополучно, все в порядке. Нервы, должно быть, подгуляли немножко, но это так обыкновенно. Припадок, надо думать, уже кончился, ложитесь себе спать.

В это время принесли в спальню лампу. Больная прищурилась на свет и вдруг охватила голову руками и зарыдала. И впечатление существа убогого и некрасивого вдруг исчезло, и Королев уже не замечал ни маленьких глаз, ни грубо развитой нижней части лица; он видел мягкое страдальческое выражение, которое было так разумно и трогательно, и вся она казалась ему стройной, женственной, простой, и хотелось уже успокоить ее не лекарствами, не советом, а простым ласковым словом. Мать обняла ее голову и прижала к себе. Сколько отчаяния, сколько скорби на лице у старухи! Она, мать, вскормила, вырастила дочь, не жалела ничего, всю жизнь отдала на то, чтоб обучить ее французскому языку, танцам, музыке, приглашала для нее десяток учителей, самых лучших докторов, держала гувернантку и теперь не понимала, откуда эти слезы, зачем столько мук, не понимала и терялась, и у нее было виноватое, тревожное, отчаянное выражение, точно она упустила что-то еще очень важное, чего-то еще не сделала, кого-то еще не пригласила, а кого — неизвестно.

— Лизанька, ты опять... ты опять,— говорила она, прижимая к себе дочь.— Родная моя, голубушка, деточка моя, скажи, что с тобой? Пожалей меня, скажи.

Обе горько плакали. Королев сел на край постели и взял Лизу за руку.

— Полноте, сто́ит ли плакать? — сказал он ласково.— Ведь на свете нет ничего такого, что заслуживало бы этих слез. Ну, не будем плакать, не нужно это...

А сам подумал:

«Замуж бы ее пора...»

— Наш фабричный доктор давал ей кали-бромáти,— сказала гувернантка,— но ей от этого, я замечаю, только хуже. По-моему,

уж если давать от сердца, то капли... забыла, как они называются... Ландышевые, что ли.

И опять пошли всякие подробности. Она перебивала доктора, мешала ему говорить, и на лице у нее было написано старание, точно она полагала, что, как самая образованная женщина в доме, она была обязана вести с доктором непрерывный разговор и непременно о медицине.

Королеву стало скучно.

— Я не нахожу ничего особенного,— сказал он, выходя из спальни и обращаясь к матери.— Если вашу дочь лечил фабричный врач, то пусть и продолжает лечить. Лечение до сих пор было правильное, и я не вижу необходимости менять врача. Для чего менять? Болезнь такая обыкновенная, ничего серьезного...

Он говорил не спеша, надевая перчатки, а госпожа Ляликова стояла неподвижно и смотрела на него заплаканными глазами.

— До десятичасового поезда осталось полчаса,— сказал он,— надеюсь, я не опоздаю.

— А вы не можете у нас остаться? — спросила она, и опять слезы потекли у нее по щекам.— Совестно вас беспокоить, но будьте так добры... ради бога,— продолжала она вполголоса, оглядываясь на дверь,— переночуйте у нас. Она у меня одна... единственная дочь... Напугала прошлую ночь, опомниться не могу... Не уезжайте, бога ради...

Он хотел сказать ей, что у него в Москве много работы, что дома его ждет семья; ему было тяжело провести в чужом доме без надобности весь вечер и всю ночь, но он поглядел на ее лицо, вздохнул и стал молча снимать перчатки.

В зале и гостиной для него зажгли все лампы и свечи. Он сидел у рояля и перелистывал ноты, потом осматривал картины на стенах, портреты. На картинах, написанных масляными красками, в золотых рамах, были виды Крыма, бурное море с корабликом, католический монах с рюмкой, и все это сухо, зализано, бездарно... На портретах ни одного красивого, интересного лица, все широкие скулы, удивленные глаза; у Ляликова, отца Лизы, маленький лоб и самодовольное лицо, мундир мешком сидит на его большом непородистом теле, на груди медаль и знак Красного Креста. Культура бедная, роскошь случайная, неосмысленная, неудобная, как этот мундир; полы раздражают своим блеском, раздражает люстра, и вспоминается почему-то рассказ про купца, ходившего в баню с медалью на шее...

Из передней доносился шепот, кто-то тихо храпел. И вдруг со двора послышались резкие, отрывистые, металлические звуки, каких Королев раньше никогда не слышал и каких не понял теперь; они отозвались в его душе странно и неприятно.

«Кажется, ни за что не остался бы тут жить...» — подумал он и опять принялся за ноты.

— Доктор, пожалуйте закусить! — позвала вполголоса гувернантка.

Он пошел ужинать. Стол был большой, со множеством закусок и вин, но ужинали только двое: он да Христина Дмитриевна. Она пила мадеру, быстро кушала и говорила, поглядывая на него через pince-nez.

— Рабочие нами очень довольны. На фабрике у нас каждую зиму спектакли, сами рабочие играют, ну чтения с волшебным фонарем, великолепная чайная и, кажется, чего уж. Они нам очень приверженные и, когда узнали, что Лизаньке хуже стало, заказали молебен. Необразованные, а ведь тоже чувствуют.

— Похоже, у вас в доме нет ни одного мужчины,— сказал Королев.

— Ни одного. Петр Никанорыч помер полтора года назад, и мы одни остались. Так и живем втроем. Летом здесь, а зимой в Москве на Полянке. Я у них уже одиннадцать лет живу. Как своя.

К ужину подавали стерлядь, куриные котлеты и компот; вина были дорогие, французские.

— Вы, доктор, пожалуйста, без церемонии,— говорила Христина Дмитриевна, кушая, утирая рот кулачком, и видно было, что она жила здесь в свое полное удовольствие.— Пожалуйста, кушайте.

После ужина доктора отвели в комнату, где для него была приготовлена постель. Но ему не хотелось спать, было душно, и в комнате пахло краской; он надел пальто и вышел.

На дворе было прохладно; уже брезжил рассвет и в сыром воздухе обозначались все пять корпусов с их длинными трубами, бараки и склады. По случаю праздника не работали, было в окнах темно, и только в одном из корпусов горела еще печь, два окна были багровы, и из трубы вместе с дымом изредка выходил огонь. Далеко за двором кричали лягушки и пел соловей.

Глядя на корпуса и на бараки, где спали рабочие, он опять думал о том, о чем думал всегда, когда видел фабрики. Пусть спектакли для рабочих, волшебные фонари, фабричные доктора, разные улучшения, но все же рабочие, которых он встретил сегодня по дороге со станции, ничем не отличаются по виду от тех рабочих, которых он видел давно в детстве, когда еще не было фабричных спектаклей и улучшений. Он, как медик, правильно судивший о хронических страданиях, коренная причина которых была непонятна и неизлечима, и на фабрики смотрел, как на недоразумение, причина которого была тоже неясна и неустранима, и все улучшения в жизни фабричных он не считал лишними, но приравнивал их к лечению неизлечимых болезней.

«Тут недоразумение, конечно...— думал он, глядя на багровые окна.— Тысячи полторы-две фабричных работают без отды-

ха, в нездоровой обстановке, делая плохой ситец, живут впроголодь и только изредка в кабаке отрезвляются от этого кошмара; сотня людей надзирает за работой, и вся жизнь этой сотни уходит на записывание штрафов, на брань, несправедливости, и только двое-трое, так называемые хозяева, пользуются выгодами, хотя совсем не работают и презирают плохой ситец. Но какие выгоды, как пользуются ими? Ляликова и ее дочь несчастны, на них жалко смотреть, живет в свое удовольствие только одна Христина Дмитриевна, пожилая, глуповатая девица в pince-nez. И выходит так, значит, что работают все эти пять корпусов и на восточных рынках продается плохой ситец для того только, чтобы Христина Дмитриевна могла кушать стерлядь и пить мадеру».

Вдруг раздались странные звуки, те самые, которые Королев слышал до ужина. Около одного из корпусов кто-то бил в металлическую доску, бил и тотчас же задерживал звук, так что получались короткие, резкие, нечистые звуки, похожие на «дер... дер... дер...». Затем полминуты тишины, и у другого корпуса раздались звуки, такие же отрывистые и неприятные, уже более низкие, басовые — «дрын... дрын... дрын...». Одиннадцать раз. Очевидно, это сторожа били одиннадцать часов.

Послышалось около третьего корпуса: «жак... жак... жак...». И так около всех корпусов и потом за бараками и за воротами. И похоже было, как будто среди ночной тишины издавало эти звуки само чудовище с багровыми глазами, сам дьявол, который владел тут и хозяевами, и рабочими, и обманывал и тех и других.

Королев вышел со двора в поле.

— Кто идет? — окликнули его у ворот грубым голосом.

«Точно в остроге...» — подумал он и ничего не ответил.

Здесь соловьи и лягушки были слышнее, чувствовалась майская ночь. Со станции доносился шум поезда; кричали где-то сонные петухи, но все же ночь была тиха, мир покойно спал. В поле, недалеко от фабрики, стоял сруб, тут был сложен материал для постройки. Королев сел на доски и продолжал думать:

«Хорошо чувствует себя здесь только одна гувернантка, и фабрика работает для ее удовольствия. Но это так кажется, она здесь только подставное лицо. Главный же, для кого здесь все делается,— это дьявол».

И он думал о дьяволе, в которого не верил, и оглядывался на два окна, в которых светился огонь. Ему казалось, что этими багровыми глазами смотрел на него сам дьявол, та неведомая сила, которая создала отношения между сильными и слабыми, эту грубую ошибку, которую теперь ничем не исправишь. Нужно, чтобы сильный мешал жить слабому, таков закон природы, но это понятно и легко укладывается в мысль только в газетной статье или в учебнике, в той же каше, какую представляет из себя

обыденная жизнь, в путанице всех мелочей, из которых сотканы человеческие отношения, это уже не закон, а логическая несообразность, когда и сильный, и слабый одинаково падают жертвой своих взаимных отношений, невольно покоряясь какой-то направляющей силе, неизвестной, стоящей вне жизни, посторонней человеку. Так думал Королев, сидя на досках, и мало-помалу им овладело настроение, как будто эта неизвестная, таинственная сила в самом деле была близко и смотрела. Между тем восток становился все бледнее, время шло быстро. Пять корпусов и трубы на сером фоне рассвета, когда кругом не было ни души, точно вымерло все, имели особенный вид, не такой, как днем; совсем вышло из памяти, что тут внутри паровые двигатели, электричество, телефоны, но как-то все думалось о свайных постройках, о каменном веке, чувствовалось присутствие грубой, бессознательной силы...

И опять послышалось:

— Дер... дер... дер... дер...

Двенадцать раз. Потом тихо, тихо полминуты, и — раздается в другом конце двора:

— Дрын... дрын... дрын...

«Ужасно неприятно!» — подумал Королев.

— Жак... жак...— раздалось в третьем месте отрывисто, резко, точно с досадой,— жак... жак...

И чтобы пробить двенадцать часов, понадобилось минуты четыре. Потом затихло; и опять такое впечатление, будто вымерло все кругом.

Королев посидел еще немного и вернулся в дом, но еще долго не ложился. В соседних комнатах шептались, слышалось шлепанье туфель и босых ног.

«Уж не опять ли с ней припадок?» — подумал Королев.

Он вышел, чтобы взглянуть на больную. В комнатах было уже совсем светло, и в зале на стене и на полу дрожал слабый солнечный свет, проникший сюда сквозь утренний туман. Дверь в комнату Лизы была отворена, и сама она сидела в кресле около постели, в капоте, окутанная в шаль, непричесанная. Шторы на окнах были опущены.

— Как вы себя чувствуете? — спросил Королев.

— Благодарю вас.

Он потрогал пульс, потом поправил ей волосы, упавшие на лоб.

— Вы не спите,— сказал он.— На дворе прекрасная погода, весна, поют соловьи, а вы сидите в потемках и о чем-то думаете.

Она слушала и глядела ему в лицо; глаза у нее были грустные, умные, и было видно, что она хочет что-то сказать ему.

— Часто это с вами бывает? — спросил он.

Она пошевелила губами и ответила:

— Часто. Мне почти каждую ночь тяжело.

В это время на дворе сторожа начали бить два часа. Послышалось «дер... дер...», и она вздрогнула.

— Вас беспокоят эти стуки? — спросил он.

— Не знаю. Меня все тут беспокоит,— ответила она и задумалась.— Все беспокоит. В вашем голосе мне слышится участие, мне с первого взгляда на вас почему-то показалось, что с вами можно говорить обо всем.

— Говорите, прошу вас.

— Я хочу сказать вам свое мнение. Мне кажется, что у меня не болезнь, а беспокоюсь я и мне страшно, потому что так должно и иначе быть не может. Даже самый здоровый человек не может не беспокоиться, если у него, например, под окном ходит разбойник. Меня часто лечат,— продолжала она, глядя себе в колени, и улыбнулась застенчиво,— я, конечно, очень благодарна и не отрицаю пользы лечения, но мне хотелось бы поговорить не с доктором, а с близким человеком, с другом, который бы понял меня, убедил бы меня, что я права или неправа.

— Разве у вас нет друзей? — спросил Королев.

— Я одинока. У меня есть мать, я люблю ее, но все же я одинока. Так жизнь сложилась... Одинокие много читают, но мало говорят и мало слышат, жизнь для них таинственная; они мистики и часто видят дьявола там, где его нет. Тамара у Лермонтова была одинока и видела дьявола.

— А вы много читаете?

— Много. Ведь у меня все время свободно, от утра до вечера. Днем читаю, а по ночам — пустая голова, вместо мыслей какие-то тени.

— Вы что-нибудь видите по ночам? — спросил Королев.

— Нет, но я чувствую...

Она опять улыбнулась и подняла глаза на доктора и смотрела так грустно, так умно; и ему казалось, что она верит ему, хочет говорить с ним искренно и что она думает так же, как он. Но она молчала и, быть может, ждала, не заговорит ли он.

И он знал, что сказать ей; для него было ясно, что ей нужно поскорее оставить пять корпусов и миллион, если он у нее есть, оставить этого дьявола, который по ночам смотрит; для него было ясно также, что так думала и она сама и только ждала, чтобы кто-нибудь, кому она верит, подтвердил это.

Но он не знал, как это сказать. Как? У приговоренных людей стесняются спрашивать, за что они приговорены; так и у очень богатых людей неловко бывает спрашивать, для чего им так много денег, отчего они так дурно распоряжаются своим богатством, отчего не бросают его, даже когда видят в нем свое несчастье; и если начинают разговор об этом, то выходит он обыкновенно стыдливый, неловкий, длинный.

«Как сказать? — раздумывал Королев.— Да и нужно ли говорить?»

И он сказал то, что хотел, не прямо, а окольным путем:

— Вы в положении владелицы фабрики и богатой наследницы недовольны, не верите в свое право и теперь вот не спите, это, конечно, лучше, чем если бы вы были довольны, крепко спали и думали, что все обстоит благополучно. У вас почтенная бессонница; как бы ни было, она хороший признак. В самом деле, у родителей наших был бы немыслим такой разговор, как вот у нас теперь; по ночам они не разговаривали, а крепко спали, мы же, наше поколение, дурно спим, томимся, много говорим и все решаем, правы мы или нет. А для наших детей или внуков вопрос этот,— правы они или нет,— будет уже решен. Им будет виднее, чем нам. Хорошая будет жизнь лет через пятьдесят, жаль только, что мы не дотянем. Интересно было бы взглянуть.

— Что же будут делать дети и внуки? — спросила Лиза.

— Не знаю... Должно быть, побросают все и уйдут.

— Куда уйдут?

— Куда?.. Да куда угодно,— сказал Королев и засмеялся.— Мало ли куда можно уйти хорошему, умному человеку.

Он взглянул на часы.

— Уже солнце взошло, однако,— сказал он.— Вам пора спать. Раздевайтесь и спите себе во здравие. Очень рад, что познакомился с вами,— продолжал он, пожимая ей руку.— Вы славный, интересный человек. Спокойной ночи!

Он пошел к себе и лег спать.

На другой день утром, когда подали экипаж, все вышли на крыльцо проводить его. Лиза была по-праздничному в белом платье, с цветком в волосах, бледная, томная; она смотрела на него, как вчера, грустно и умно, улыбалась, говорила, и все с таким выражением, как будто хотела сказать ему что-то особенное, важное,— только ему одному. Было слышно, как пели жаворонки, как звонили в церкви. Окна в фабричных корпусах весело сияли, и, проезжая через двор и потом по дороге к станции, Королев уже не помнил ни о рабочих, ни о свайных постройках, ни о дьяволе, а думал о том времени, быть может, уже близком, когда жизнь будет такою же светлою и радостной, как это тихое, воскресное утро; и думал о том, как это приятно в такое утро, весной, ехать на тройке, в хорошей коляске и греться на солнышке.

1898

ДУШЕЧКА

Оленька, дочь отставного коллежского асессора Племянникова, сидела у себя во дворе на крылечке, задумавшись. Было жарко, назойливо приставали мухи, и было так приятно думать, что скоро уже вечер. С востока надвигались темные дождевые тучи, и оттуда изредка потягивало влагой.

Среди двора стоял Кукин, антрепренер и содержатель увеселительного сада «Тиволи», квартировавший тут же во дворе, во флигеле, и глядел на небо.

— Опять! — говорил он с отчаянием.— Опять будет дождь! Каждый день дожди, каждый день дожди — точно нарочно! Ведь это петля! Это разоренье! Каждый день страшные убытки!

Он всплеснул руками и продолжал, обращаясь к Оленьке:

— Вот вам, Ольга Семеновна, наша жизнь. Хоть плачь! Работаешь, стараешься, мучишься, ночей не спишь, все думаешь, как бы лучше,— и что же? С одной стороны, публика невежественная, дикая. Даю ей самую лучшую оперетку, феерию, великолепных куплетистов, но разве ей это нужно? Разве она в этом понимает что-нибудь? Ей нужен балаган! Ей подавай пошлость! С другой стороны, взгляните на погоду. Почти каждый вечер дождь. Как зарядило с десятого мая, так потом весь май и июнь, просто ужас! Публика не ходит, но ведь я за аренду плачу? Артистам плачу?

На другой день под вечер опять надвигались тучи, и Кукин говорил с истерическим хохотом:

— Ну что ж? И пускай! Пускай хоть весь сад зальет, хоть меня самого! Чтоб мне не было счастья ни на этом, ни на том свете! Пускай артисты подают на меня в суд! Что суд? Хоть на каторгу в Сибирь! Хоть на эшафот! Ха-ха-ха!

И на третий день то же...

Оленька слушала Кукина молча, серьезно, и, случалось, слезы выступали у нее на глазах. В конце концов несчастья Кукина тронули ее, она его полюбила. Он был мал ростом, тощ, с желтым лицом, с зачесанными височками, говорил жидким тенорком и когда говорил, то кривил рот; и на лице у него всегда было написано отчаяние, но все же он возбудил в ней настоящее, глубокое чувство. Она постоянно любила кого-нибудь и не могла без этого. Раньше она любила своего папашу, который теперь сидел больной, в темной комнате, в кресле, и тяжело дышал; любила свою тетю, которая иногда, раз в два года, приезжала из Брянска; а еще раньше, когда училась в прогимназии, любила своего учителя французского языка. Это была тихая, добродушная, жалостливая барышня с кротким, мягким взглядом, очень здоровая. Глядя на ее полные розовые щеки, на мягкую белую

шею с темной родинкой, на добрую наивную улыбку, которая бывала на ее лице, когда она слушала что-нибудь приятное, мужчины думали: «Да, ничего себе...» — и тоже улыбались, а гостьи-дамы не могли удержаться, чтобы вдруг среди разговора не схватить ее за руку и не проговорить в порыве удовольствия:

— Душечка!

Дом, в котором она жила со дня рождения и который в завещании был записан на ее имя, находился на окраине города, в Цыганской слободке, недалеко от сада «Тиволи»; по вечерам и по ночам ей слышно было, как в саду играла музыка, как лопались с треском ракеты, и ей казалось, что это Кукин воюет со своей судьбой и берет приступом своего главного врага — равнодушную публику; сердце у нее сладко замирало, спать совсем не хотелось, и, когда под утро он возвращался домой, она тихо стучала в окошко из своей спальни и, показывая ему сквозь занавески только лицо и одно плечо, ласково улыбалась...

Он сделал предложение, и они повенчались. И когда он увидал как следует ее шею и полные здоровые плечи, то всплеснул руками и проговорил:

— Душечка!

Он был счастлив, но так как в день свадьбы и потом ночью шел дождь, то с его лица не сходило выражение отчаяния.

После свадьбы жили хорошо. Она сидела у него в кассе, смотрела за порядками в саду, записывала расходы, выдавала жалованье, и ее розовые щеки, милая, наивная, похожая на сияние улыбка мелькали то в окошечке кассы, то за кулисами, то в буфете. И она уже говорила своим знакомым, что самое замечательное, самое важное и нужное на свете — это театр и что получить истинное наслаждение и стать образованным и гуманным можно только в театре.

— Но разве публика понимает это? — говорила она.— Ей нужен балаган! Вчера у нас шел «Фауст наизнанку»*, и почти все ложи были пусты, а если бы мы с Ваничкой поставили какую-нибудь пошлость, то, поверьте, театр был бы битком набит. Завтра мы с Ваничкой ставим «Орфея в аду»*, приходите.

И что говорил о театре и об актерах Кукин, то повторяла и она. Публику она так же, как и он, презирала за равнодушие к искусству и за невежество, на репетициях вмешивалась, поправляла актеров, смотрела за поведением музыкантов, и когда в местной газете неодобрительно отзывались о театре, то она плакала и потом ходила в редакцию объясняться.

Актеры любили ее и называли «мы с Ваничкой» и «душечкой»; она жалела их и давала им понемножку взаймы, и если, случалось, ее обманывали, то она только потихоньку плакала, но мужу не жаловалась.

И зимой жили хорошо. Сняли городской театр на всю зиму и

А. П. Чехов

«ИОНЫЧ»

сдавали его на короткие сроки то малороссийской труппе, то фокуснику, то местным любителям. Оленька полнела и вся сияла от удовольствия, а Кукин худел и желтел и жаловался на страшные убытки, хотя всю зиму дела шли недурно. По ночам он кашлял, а она поила его малиной и липовым цветом, натирала одеколоном, кутала в свои мягкие шали.

— Какой ты у меня славненький! — говорила она совершенно искренно, приглаживая ему волосы.— Какой ты у меня хорошенький.

В великом посту он уехал в Москву набирать труппу, а она без него не могла спать, все сидела у окна и смотрела на звезды. И в это время она сравнивала себя с курами, которые тоже всю ночь не спят и испытывают беспокойство, когда в курятнике нет петуха. Кукин задержался в Москве и писал, что вернется к святой, и в письмах уже делал распоряжения насчет «Тиволи». Но под страстной понедельник, поздно вечером, вдруг раздался зловещий стук в ворота; кто-то бил в калитку, как в бочку: бум! бум! бум! Сонная кухарка, шлепая босыми ногами по лужам, побежала отворять.

— Отворите, сделайте милость! — говорил кто-то за воротами глухим басом.— Вам телеграмма!

Оленька и раньше получала телеграммы от мужа, но теперь почему-то так и обомлела. Дрожащими руками она распечатала телеграмму и прочла следующее:

«Иван Петрович скончался сегодня скоропостижно сючала ждем распоряжений хохороны вторник».

Так и было напечатано в телеграмме «хохороны» и какое-то еще непонятное слово «сючала»; подпись была режиссера опереточной труппы.

— Голубчик мой! — зарыдала Оленька.— Ваничка мой миленький, голубчик мой! Зачем же я с тобой повстречалася? Зачем я тебя узнала и полюбила! На кого ты покинул свою бедную Оленьку, бедную, несчастную?..

Кукина похоронили во вторник, в Москве, на Ваганькове; Оленька вернулась домой в среду и как только вошла к себе, то повалилась на постель и зарыдала так громко, что слышно было на улице и в соседних дворах.

— Душечка! — говорили соседки, крестясь.— Душечка Ольга Семеновна, матушка, как убивается!

Три месяца спустя как-то Оленька возвращалась от обедни, печальная, в глубоком трауре. Случилось, что с нею шел рядом тоже возвращавшийся из церкви один из ее соседей Василий Андреич Пустовалов, управляющий лесным складом купца Бабакаева. Он был в соломенной шляпе и в белом жилете с золотой цепочкой и походил больше на помещика, чем на торговца.

— Всякая вещь имеет свой порядок, Ольга Семеновна,— говорил он степенно, с сочувствием в голосе,— и если кто из наших ближних умирает, то, значит, так богу угодно, и в этом случае мы должны себя помнить и переносить с покорностью.

Доведя Оленьку до калитки, он простился и пошел далее. После этого весь день слышался ей его степенный голос, и едва она закрывала глаза, как мерещилась его темная борода. Он ей очень понравился. И, по-видимому, она тоже произвела на него впечатление, потому что немного погодя к ней пришла пить кофе одна пожилая дама, мало ей знакомая, которая как только села за стол, то немедля заговорила о Пустовалове, о том, что он хороший, солидный человек и что за него с удовольствием пойдет всякая невеста. Через три дня пришел с визитом и сам Пустовалов; он сидел недолго, минут десять, и говорил мало, но Оленька его полюбила, так полюбила, что всю ночь не спала и горела, как в лихорадке, а утром послала за пожилой дамой. Скоро ее просватали, потом была свадьба.

Пустовалов и Оленька, поженившись, жили хорошо. Обыкновенно он сидел в лесном складе до обеда, потом уходил по делам, и его сменяла Оленька, которая сидела в конторе до вечера и писала там счета и отпускала товар.

— Теперь лес с каждым годом дорожает на двадцать процентов,— говорила она покупателям и знакомым.— Помилуйте, прежде мы торговали местным лесом, теперь же Васичка должен каждый год ездить за лесом в Могилевскую губернию. А какой тариф! — говорила она, в ужасе закрывая обе щеки руками.— Какой тариф!

Ей казалось, что она торгует лесом уже давно-давно, что в жизни самое важное и нужное это лес, и что-то родное, трогательное слышалось ей в словах: балка, кругляк, тес, шелевка, безымянка, решетник, лафет, горбыль... По ночам, когда она спала, ей снились целые горы досок и теса, длинные, бесконечные вереницы подвод, везущих лес куда-то далеко за город; снилось ей, как целый полк двенадцатиаршинных, пятивершковых бревен стоймя шел войной на лесной склад, как бревна, балки и горбыли стукались, издавая гулкий звук сухого дерева, все падало и опять вставало, громоздясь друг на друга; Оленька вскрикивала во сне, и Пустовалов говорил ей нежно:

— Оленька, что с тобой, милая? Перекрестись!

Какие мысли были у мужа, такие и у нее. Если он думал, что в комнате жарко или что дела теперь стали тихие, то так думала и она. Муж ее не любил никаких развлечений и в праздники сидел дома, и она тоже.

— И все вы дома или в конторе,— говорили знакомые.— Вы бы сходили в театр, душечка, или в цирк.

— Нам с Васичкой некогда по театрам ходить,— отвечала

она степенно.— Мы люди труда, нам не до пустяков. В театрах этих что́ хорошего?

По субботам Пустовалов и она ходили ко всенощной, в праздники к ранней обедне и, возвращаясь из церкви, шли рядышком, с умиленными лицами, от обоих хорошо пахло, и ее шелковое платье приятно шумело; а дома пили чай со сдобным хлебом и с разными вареньями, потом кушали пирог. Каждый день в полдень во дворе и за воротами на улице вкусно пахло борщом и жареной бараниной или уткой, а в постные дни — рыбой, и мимо ворот нельзя было пройти без того, чтобы не захотелось есть. В конторе всегда́ кипел самовар, и покупателей угощали чаем с бубликами. Раз в неделю супруги ходили в баню и возвращались оттуда рядышком, оба красные.

— Ничего, живем хорошо,— говорила Оленька знакомым,— слава богу. Дай бог всякому жить, как мы с Васичкой.

Когда Пустовалов уезжал в Могилевскую губернию за лесом, она сильно скучала и по ночам не спала, плакала. Иногда по вечерам приходил к ней полковой ветеринарный врач Смирнин, молодой человек, квартировавший у нее во флигеле. Он рассказывал ей что-нибудь или играл с нею в карты, и это ее развлекало. Особенно интересны были рассказы из его собственной семейной жизни; он был женат и имел сына, но с женой разошелся, так как она ему изменила, и теперь он ее ненавидел и высылал ей ежемесячно по сорока рублей на содержание сына. И, слушая об этом, Оленька вздыхала и покачивала головой, и ей было жаль его.

— Ну, спаси вас господи,— говорила она, прощаясь с ним и провожая его со свечой до лестницы.— Спасибо, что поскучали со мной, дай бог вам здоровья, царица небесная.

И все она выражалась так степенно, так рассудительно, подражая мужу; ветеринар уже скрывался внизу за дверью, а она окликала его и говорила:

— Знаете, Владимир Платоныч, вы бы помирились с вашей женой. Простили бы ее хоть ради сына!.. Мальчишечка-то небось все понимает.

А когда возвращался Пустовалов, она рассказывала ему вполголоса про ветеринара и его несчастную семейную жизнь, и оба вздыхали и покачивали головами, и говорили о мальчике, который, вероятно, скучает по отце, потом, по какому-то странному течению мыслей, оба становились перед образами, клали земные поклоны и молились, чтобы бог послал им детей.

И так прожили Пустоваловы тихо и смирно, в любви и полном согласии шесть лет. Но вот как-то зимой Василий Андреич в складе, напившись горячего чаю, вышел без шапки отпускать лес, простудился и занемог. Его лечили лучшие доктора, но бо-

лезнь взяла свое, и он умер, проболев четыре месяца. И Оленька опять овдовела.

— На кого же ты меня покинул, голубчик мой? — рыдала она, похоронив мужа.— Как же я теперь буду жить без тебя, горькая я и несчастная? Люди добрые, пожалейте меня, сироту круглую...

Она ходила в черном платье с плерезами и уже отказалась навсегда от шляпки и перчаток, выходила из дому редко, только в церковь или на могилку мужа, и жила дома, как монашенка. И только когда прошло шесть месяцев, она сняла плерезы и стала открывать на окнах ставни. Иногда уже видели по утрам, как она ходила за провизией на базар со своей кухаркой, но о том, как она жила у себя теперь и что делалось у нее в доме, можно было только догадываться. По тому, например, догадывались, что видели, как она в своем садике пила чай с ветеринаром, а он читал ей вслух газету, и еще по тому, что, встретясь на почте с одной знакомой дамой, она сказала:

— У нас в городе нет правильного ветеринарного надзора, и от этого много болезней. То и дело слышишь, люди заболевают от молока и заражаются от лошадей и коров. О здоровье домашних животных, в сущности, надо заботиться так же, как о здоровье людей.

Она повторяла мысли ветеринара и теперь была обо всем такого же мнения, как он. Было ясно, что она не могла прожить без привязанности и одного года и нашла свое новое счастье у себя во флигеле. Другую бы осудили за это, но об Оленьке никто не мог подумать дурно, и все было так понятно в ее жизни. Она и ветеринар никому не говорили о перемене, какая произошла в их отношениях, и старались скрыть, но это им не удавалось, потому что у Оленьки не могло быть тайн. Когда к нему приходили гости, его сослуживцы по полку, то она, наливая им чай или подавая ужинать, начинала говорить о чуме на рогатом скоте, о жемчужной болезни, о городских бойнях, а он страшно конфузился и, когда уходили гости, хватал ее за руку и шипел сердито:

— Я ведь просил тебя не говорить о том, чего ты не понимаешь! Когда мы, ветеринары, говорим между собой, то, пожалуйста, не вмешивайся. Это, наконец, скучно!

А она смотрела на него с изумлением и с тревогой и спрашивала:

— Володичка, о чем же мне говорить?

И она со слезами на глазах обнимала его, умоляла не сердиться, и оба были счастливы.

Но, однако, это счастье продолжалось недолго. Ветеринар уехал вместе с полком, уехал навсегда, так как полк перевели куда-то очень далеко, чуть ли не в Сибирь. И Оленька осталась одна.

Теперь уже она была совершенно одна. Отец давно уже умер, и кресло его валялось на чердаке, запыленное, без одной ножки. Она похудела и подурнела, и на улице встречные уже не глядели на нее, как прежде, и не улыбались ей; очевидно, лучшие годы уже прошли, остались позади, и теперь начиналась какая-то новая жизнь, неизвестная, о которой лучше не думать. По вечерам Оленька сидела на крылечке, и ей слышно было, как в «Тиволи» играла музыка и лопались ракеты, но это уже не вызывало никаких мыслей. Глядела она безучастно на свой пустой двор, ни о чем не думала, ничего не хотела, а потом, когда наступала ночь, шла спать и видела во сне свой пустой двор. Ела и пила она точно поневоле.

А главное, что хуже всего, у нее уже не было никаких мнений. Она видела кругом себя предметы и понимала все, что происходило кругом, но ни о чем не могла составить мнения и не знала, о чем ей говорить. А как это ужасно не иметь никакого мнения! Видишь, например, как стоит бутылка, или идет дождь, или едет мужик на телеге, но для чего эта бутылка, или дождь, или мужик, какой в них смысл, сказать не можешь и даже за тысячу рублей ничего не сказал бы. При Кукине и Пустовалове и потом при ветеринаре Оленька могла объяснить все и сказала бы свое мнение о чем угодно, теперь же и среди мыслей и в сердце у нее была такая же пустота, как на дворе. И так жутко и так горько, как будто объелась полыни.

Город мало-помалу расширялся во все стороны; Цыганскую слободку уже называли улицей, и там, где были сад «Тиволи» и лесные склады, выросли уже дома и образовался ряд переулков. Как быстро бежит время! Дом у Оленьки потемнел, крыша заржавела, сарай покосился, и весь двор порос бурьяном и колючей крапивой. Сама Оленька постарела, подурнела; летом она сидит на крылечке, и на душе у нее по-прежнему и пусто, и нудно, и отдает полынью, а зимой сидит она у окна и глядит на снег. Повеет ли весной, донесет ли ветер звон соборных колоколов, и вдруг нахлынут воспоминания о прошлом, сладко сожмется сердце, и из глаз польются обильные слезы, но это только на минуту, а там опять пустота, и неизвестно, зачем живешь. Черная кошечка Брыска ласкается и мягко мурлычет, но не трогают Оленьку эти кошачьи ласки. Это ли ей нужно? Ей бы такую любовь, которая захватила бы все ее существо, всю душу, разум, дала бы ей мысли, направление жизни, согрела бы ее стареющую кровь. И она стряхивает с подола черную Брыску и говорит ей с досадой:

— Поди, поди... Нечего тут!

И так день за днем, год за годом,— и ни одной радости, и нет никакого мнения. Что сказала Мавра-кухарка, то и хорошо.

В один жаркий июльский день, под вечер, когда по улице гнали городское стадо и весь двор наполнился облаками пыли, вдруг кто-то постучал в калитку. Оленька пошла сама отворять и, как взглянула, так и обомлела: за воротами стоял ветеринар Смирнин, уже седой и в штатском платье. Ей вдруг вспомнилось все, она не удержалась, заплакала и положила ему голову на грудь, не сказавши ни одного слова, и в сильном волнении не заметила, как оба потом вошли в дом, как сели чай пить.

— Голубчик мой! — бормотала она, дрожа от радости.— Владимир Платоныч! Откуда бог принес?

— Хочу здесь совсем поселиться,— рассказывал он.— Подал в отставку и вот приехал попробовать счастья на воле, пожить оседлой жизнью. Да и сына пора уж отдавать в гимназию. Вырос. Я-то, знаете ли, помирился с женой.

— А где же она? — спросила Оленька.

— Она с сыном в гостинице, а я вот хожу и квартиру ищу.

— Господи, батюшка, да возьмите у меня дом! Чем не квартира? Ах, господи, да я с вас ничего и не возьму,— заволновалась Оленька и опять заплакала.— Живите тут, а с меня и флигеля довольно. Радость-то, господи!

На другой день уже красили на доме крышу и белили стены, и Оленька, подбоченясь, ходила по двору и распоряжалась. На лице ее засветилась прежняя улыбка, и вся она ожила, посвежела, точно очнулась от долгого сна. Приехала жена ветеринара, худая, некрасивая дама с короткими волосами и с капризным выражением, и с нею мальчик, Саша, маленький не по летам (ему шел уже десятый год), полный, с ясными голубыми глазами и с ямочками на щеках. И едва мальчик вошел во двор, как побежал за кошкой, и тотчас же послышался его веселый, радостный смех.

— Тетенька, это ваша кошка? — спросил он у Оленьки.— Когда она у вас ощенится, то, пожалуйста, подарите нам одного котеночка. Мама очень боится мышей.

Оленька поговорила с ним, напоила его чаем, и сердце у нее в груди стало вдруг теплым и сладко сжалось, точно этот мальчик был ее родной сын. И когда вечером он, сидя в столовой, повторял уроки, она смотрела на него с умилением и с жалостью и шептала:

— Голубчик мой, красавчик... Деточка моя, и уродился же ты такой умненький, такой беленький.

— Островом называется,— прочел он,— часть суши, со всех сторон окруженная водою.

— Островом называется часть суши...— повторила она, и это было ее первое мнение, которое она высказала с уверенностью после стольких лет молчания и пустоты в мыслях.

И она уже имела свои мнения и за ужином говорила с родителями Саши о том, как теперь детям трудно учиться в гимназиях, но что все-таки классическое образование лучше реального, так как из гимназии всюду открыта дорога: хочешь — иди в доктора, хочешь — в инженеры.

Саша стал ходить в гимназию. Его мать уехала в Харьков к сестре и не возвращалась; отец его каждый день уезжал куда-то осматривать гурты и, случалось, не живал дома дня по три, и Оленьке казалось, что Сашу совсем забросили, что он лишний в доме, что он умирает с голоду; и она перевела его к себе во флигель и устроила его там в маленькой комнате.

И вот уже прошло полгода, как Саша живет у нее во флигеле. Каждое утро Оленька входит в его комнату; он крепко спит, подложив руку под щеку, не дышит. Ей жаль будить его.

— Сашенька,— говорит она печально,— вставай, голубчик! В гимназию пора.

Он встает, одевается, молится богу, потом садится чай пить; выпивает три стакана чаю и съедает два больших бублика и полфранцузского хлеба с маслом. Он еще не совсем очнулся от сна и потому не в духе.

— А ты, Сашенька, нетвердо выучил басню,— говорит Оленька и глядит на него так, будто провожает его в дальнюю дорогу.— Забота мне с тобой. Уж ты старайся, голубчик, учись... Слушайся учителей.

— Ах, оставьте, пожалуйста! — говорит Саша.

Затем он идет по улице в гимназию, сам маленький, но в большом картузе, с ранцем на спине. За ним бесшумно идет Оленька.

— Сашенька-а! — окликает она.

Он оглядывается, а она сует ему в руку финик или карамельку. Когда поворачивают в тот переулок, где стоит гимназия, ему становится совестно, что за ним идет высокая, полная женщина; он оглядывается и говорит:

— Вы, тетя, идите домой, а теперь уже я сам дойду.

Она останавливается и смотрит ему вслед не мигая, пока он не скрывается в подъезде гимназии. Ах, как она его любит! Из ее прежних привязанностей ни одна не была такою глубокой, никогда еще раньше ее душа не покорялась так беззаветно, бескорыстно и с такой отрадой, как теперь, когда в ней все более и более разгоралось материнское чувство. За этого чужого ей мальчика, за его ямочки на щеках, за картуз, она отдала бы всю свою жизнь, отдала бы с радостью, со слезами умиления. Почему? А кто ж его знает — почему?

Проводив Сашу в гимназию, она возвращается домой тихо, такая довольная, покойная, любвеобильная; ее лицо, помолодев-

шее за последние полгода, улыбается, сияет; встречные, глядя на нее, испытывают удовольствие и говорят ей:

— Здравствуйте, душечка Ольга Семеновна! Как поживаете, душечка?

— Трудно теперь стало в гимназии учиться,— рассказывает она на базаре.— Шутка ли, вчера в первом классе задали басню наизусть, да перевод латинский, да задачу... Ну, где тут маленькому?

И она начинает говорить об учителях, об уроках, об учебниках,— то же самое, что говорит о них Саша.

В третьем часу вместе обедают, вечером вместе готовят уроки и плачут. Укладывая его в постель, она долго крестит его и шепчет молитву, потом, ложась спать, грезит о том будущем, далеком и туманном, когда Саша, кончив курс, станет доктором или инженером, будет иметь собственный большой дом, лошадей, коляску, женится и у него родятся дети... Она засыпает и все думает о том же, и слезы текут у нее по щекам из закрытых глаз. И черная кошечка лежит у нее под боком и мурлычет:

— Мур... мур... мур...

Вдруг сильный стук в калитку. Оленька просыпается и не дышит от страха; сердце у нее сильно бьется. Проходит полминуты, и опять стук.

«Это телеграмма из Харькова,— думает она, начиная дрожать всем телом.— Мать требует Сашу к себе в Харьков... О господи!»

Она в отчаянии; у нее холодеют голова, ноги, руки, и кажется, что несчастнее ее нет человека во всем свете. Но проходит еще минута, слышатся голоса: это ветеринар вернулся домой из клуба.

«Ну, слава богу»,— думает она.

От сердца мало-помалу отстает тяжесть, опять становится легко; она ложится и думает о Саше, который спит крепко в соседней комнате и изредка говорит в бреду:

— Я ттебе! Пошел вон! Не дерись!

1899

ДАМА С СОБАЧКОЙ

I

Говорили, что на набережной появилось новое лицо: дама с собачкой. Дмитрий Дмитрич Гуров, проживший в Ялте уже две недели и привыкший тут, тоже стал интересоваться новыми лицами. Сидя в павильоне у Верне, он видел, как по набережной

прошла молодая дама, невысокого роста блондинка, в берете; за нею бежал белый шпиц.

И потом он встречал ее в городском саду и на сквере, по нескольку раз в день. Она гуляла одна, все в том же берете, с белым шпицем; никто не знал, кто она, и называли ее просто так: дама с собачкой.

«Если она здесь без мужа и без знакомых,— соображал Гуров,— то было бы не лишнее познакомиться с ней».

Ему не было еще сорока, но у него была уже дочь двенадцати лет и два сына-гимназиста. Его женили рано, когда он был еще студентом второго курса, и теперь жена казалась в полтора раза старше его. Это была женщина высокая, с темными бровями, прямая, важная, солидная и, как она сама себя называла, мыслящая. Она много читала, не писала в письмах ъ, называла мужа не Дмитрием, а Димитрием, а он втайне считал ее недалекой, узкой, неизящной, боялся ее и не любил бывать дома. Изменять ей он начал уже давно, изменял часто и, вероятно, поэтому о женщинах отзывался почти всегда дурно, и когда в его присутствии говорили о них, то он называл их так:

— Низшая раса!

Ему казалось, что он достаточно научен горьким опытом, чтобы называть их как угодно, но все же без «низшей расы» он не мог бы прожить и двух дней. В обществе мужчин ему было скучно, не по себе, с ними он был неразговорчив, холоден, но когда находился среди женщин, то чувствовал себя свободно и знал, о чем говорить с ними и как держать себя; и даже молчать с ними ему было легко. В его наружности, в характере, во всей его натуре было что-то привлекательное, неуловимое, что располагало к нему женщин, манило их; он знал об этом, и самого его тоже какая-то сила влекла к ним.

Опыт многократный, в самом деле горький опыт, научил его давно, что всякое сближение, которое вначале так приятно разнообразит жизнь и представляется милым и легким приключением, у порядочных людей, особенно у москвичей, тяжелых на подъем, нерешительных, неизбежно вырастает в целую задачу, сложную чрезвычайно, и положение в конце концов становится тягостным. Но при всякой новой встрече с интересною женщиной этот опыт как-то ускользал из памяти, и хотелось жить, и все казалось так просто и забавно.

И вот однажды под вечер он обедал в саду, а дама в берете подходила не спеша, чтобы занять соседний стол. Ее выражение, походка, платье, прическа говорили ему, что она из порядочного общества, замужем, в Ялте в первый раз и одна, что ей скучно здесь... В рассказах о нечистоте местных нравов много неправды, он презирал их и знал, что такие рассказы в большинстве сочиняются людьми, которые сами бы охотно грешили, если б умели,

но, когда дама села за соседний стол в трех шагах от него, ему вспомнились эти рассказы о легких победах, о поездках в горы, и соблазнительная мысль о скорой, мимолетной связи, о романе с неизвестною женщиной, которой не знаешь по имени и фамилии, вдруг овладела им.

Он ласково поманил к себе шпица и, когда тот подошел, погрозил ему пальцем. Шпиц заворчал. Гуров опять погрозил.

Дама взглянула на него и тотчас же опустила глаза.

— Он не кусается,— сказала она и покраснела.

— Можно дать ему кость? — И когда она утвердительно кивнула головой, он спросил приветливо: — Вы давно изволили приехать в Ялту?

— Дней пять.

— А я уже дотягиваю здесь вторую неделю.

Помолчали немного.

— Время идет быстро, а между тем здесь такая скука! — сказала она, не глядя на него.

— Это только принято говорить, что здесь скучно. Обыватель живет у себя где-нибудь в Белеве или Жиздре — и ему не скучно, а приедет сюда: «Ах, скучно! ах, пыль!» Подумаешь, что он из Гренады приехал.

Она засмеялась. Потом оба продолжали есть молча, как незнакомые; но после обеда пошли рядом — и начался шутливый, легкий разговор людей свободных, довольных, которым все равно, куда бы ни идти, о чем ни говорить. Они гуляли и говорили о том, как странно освещено море; вода была сиреневого цвета, такого мягкого и теплого, и по ней от луны шла золотая полоса. Говорили о том, как душно после жаркого дня. Гуров рассказал, что он москвич, по образованию филолог, но служит в банке; готовился когда-то петь в частной опере, но бросил, имеет в Москве два дома... А от нее он узнал, что она выросла в Петербурге, но вышла замуж в С., где живет уже два года, что пробудет она в Ялте еще с месяц и за ней, быть может, приедет ее муж, которому тоже хочется отдохнуть. Она никак не могла объяснить, где служит ее муж,— в губернском правлении или в губернской земской управе, и это ей самой было смешно. И узнал еще Гуров, что ее зовут Анной Сергеевной.

Потом у себя в номере он думал о ней, о том, что завтра она, наверное, встретится с ним. Так должно быть. Ложась спать, он вспомнил, что она еще так недавно была институткой, училась, все равно как теперь его дочь, вспомнил, сколько еще несмелости, угловатости было в ее смехе, в разговоре с незнакомым,— должно быть, это первый раз в жизни она была одна, в такой обстановке, когда за ней ходят, и на нее смотрят, и говорят с ней только с одною тайною целью, о которой она не может

не догадываться. Вспомнил он ее тонкую, слабую шею, красивые, серые глаза.

«Что-то в ней есть жалкое все-таки»,— подумал он и стал засыпать.

II

Прошла неделя после знакомства. Был праздничный день. В комнатах было душно, а на улицах вихрем носилась пыль, срывало шляпы. Весь день хотелось пить, и Гуров часто заходил в павильон и предлагал Анне Сергеевне то воды с сиропом, то мороженого. Некуда было деваться.

Вечером, когда немного утихло, они пошли на мол, чтобы посмотреть, как придет пароход. На пристани было много гуляющих; собрались встречать кого-то, держали букеты. И тут отчетливо бросались в глаза две особенности нарядной ялтинской толпы: пожилые дамы были одеты, как молодые, и было много генералов.

По случаю волнения на море пароход пришел поздно, когда уже село солнце, и, прежде чем пристать к молу, долго поворачивался. Анна Сергеевна смотрела в лорнетку на пароход и на пассажиров, как бы отыскивая знакомых, и когда обращалась к Гурову, то глаза у нее блестели. Она много говорила, и вопросы у нее были отрывисты, и она сама тотчас же забывала, о чем спрашивала; потом потеряла в толпе лорнетку.

Нарядная толпа расходилась, уже не было видно лиц, ветер стих совсем, а Гуров и Анна Сергеевна стояли, точно ожидая, не сойдет ли еще кто с парохода. Анна Сергеевна уже молчала и нюхала цветы, не глядя на Гурова.

— Погода к вечеру стала получше,— сказал он.— Куда же мы теперь пойдем? Не поехать ли нам куда-нибудь?

Она ничего не ответила.

Тогда он пристально поглядел на нее и вдруг обнял ее и поцеловал в губы, и его обдало запахом и влагой цветов, и тотчас же он пугливо огляделся: не видел ли кто?

— Пойдемте к вам...— проговорил он тихо.

И оба пошли быстро.

У нее в номере было душно, пахло духами, которые она купила в японском магазине. Гуров, глядя на нее теперь, думал: «Каких только не бывает в жизни встреч!» От прошлого у него сохранилось воспоминание о беззаботных, добродушных женщинах, веселых от любви, благодарных ему за счастье, хотя бы очень короткое; и о таких,— как, например, его жена,— которые любили без искренности, с излишними разговорами, манерно, с истерией, с таким выражением, как будто то была не любовь,

не страсть, а что́-то более значительное; и о таких двух-трех, очень красивых, холодных, у которых вдруг промелькало на лице хищное выражение, упрямое желание взять, выхватить у жизни больше, чем она может дать, и это были не первой молодости, капризные, не рассуждающие, властные, не умные женщины, и когда Гуров охладевал к ним, то красота их возбуждала в нем ненависть, и кружева на их белье казались ему тогда похожими на чешую.

Но тут все та же несмелость, угловатость неопытной молодости, неловкое чувство; и было впечатление растерянности, как будто кто вдруг постучал в дверь. Анна Сергеевна, эта «дама с собачкой», к тому, что произошло, отнеслась как-то особенно, очень серьезно, точно к своему падению,— так казалось, и это было странно и некстати. У нее опустились, завяли черты и по сторонам лица печально висели длинные волосы, она задумалась в унылой позе, точно грешница на старинной картине.

— Нехорошо,— сказала она.— Вы же первый меня не уважаете теперь.

На столе в номере был арбуз. Гуров отрезал себе ломоть и стал есть не спеша. Прошло по крайней мере полчаса в молчании.

Анна Сергеевна была трогательна, от нее веяло чистотой порядочной, наивной, мало жившей женщины; одинокая свеча, горевшая на столе, едва освещала ее лицо, но было видно, что у нее нехорошо на душе.

— Отчего бы я мог перестать уважать тебя? — спросил Гуров.— Ты сама не знаешь, что́ говоришь.

— Пусть бог меня простит! — сказала она, и глаза у нее наполнились слезами.— Это ужасно.

— Ты точно оправдываешься.

— Чем мне оправдаться? Я дурная, низкая женщина, я себя презираю и об оправдании не думаю. Я не мужа обманула, а самое себя. И не сейчас только, а уже давно обманываю. Мой муж, быть может, честный, хороший человек, но ведь он лакей! Я не знаю, что он делает там, как служит, а знаю только, что он лакей. Мне, когда я вышла за него, было двадцать лет, меня томило любопытство, мне хотелось чего-нибудь получше; ведь есть же,— говорила я себе,— другая жизнь. Хотелось пожить! Пожить и пожить... Любопытство меня жгло... вы этого не понимаете, но, клянусь богом, я уже не могла владеть собой, со мной что-то делалось, меня нельзя было удержать, я сказала мужу, что больна, и поехала сюда... И здесь все ходила, как в угаре, как безумная... и вот я стала пошлой, дрянной женщиной, которую всякий может презирать.

Гурову было уже скучно слушать, его раздражал наивный тон, это покаяние, такое неожиданное и неуместное; если бы не

слезы на глазах, то можно было бы подумать, что она шутит или играет роль.

— Я не понимаю,— сказал он тихо,— что́ же ты хочешь?

Она спрятала лицо у него на груди и прижалась к нему.

— Верьте, верьте мне, умоляю вас...— говорила она.— Я люблю честную, чистую жизнь, а грех мне гадок, я сама не знаю, что делаю. Простые люди говорят: нечистый попутал. И я могу теперь про себя сказать, что меня попутал нечистый.

— Полно, полно...— бормотал он.

Он смотрел ей в неподвижные, испуганные глаза, целовал ее, говорил тихо и ласково, и она понемногу успокоилась, и веселость вернулась к ней; стали оба смеяться.

Потом, когда они вышли, на набережной не было ни души, город со своими кипарисами имел совсем мертвый вид, но море еще шумело и билось о берег; один баркас качался на волнах, и на нем сонно мерцал фонарик.

Нашли извозчика и поехали в Ореанду.

— Я сейчас внизу в передней узнал твою фамилию: на доске написано фон Дидериц,— сказал Гуров.— Твой муж немец?

— Нет, у него, кажется, дед был немец, но сам он православный.

В Ореанде сидели на скамье, недалеко от церкви, смотрели вниз на море и молчали. Ялта была едва видна сквозь утренний туман, на вершинах гор неподвижно стояли белые облака. Листва не шевелилась на деревьях, кричали цикады, и однообразный, глухой шум моря, доносившийся снизу, говорил о покое, о вечном сне, какой ожидает нас. Так шумело внизу, когда еще тут не было ни Ялты, ни Ореанды, теперь шумит и будет шуметь так же равнодушно и глухо, когда нас не будет. И в этом постоянстве, в полном равнодушии к жизни и смерти каждого из нас кроется, быть может, залог нашего вечного спасения, непрерывного движения жизни на земле, непрерывного совершенства. Сидя рядом с молодой женщиной, которая на рассвете казалась такой красивой, успокоенный и очарованный в виду этой сказочной обстановки — моря, гор, облаков, широкого неба, Гуров думал о том, как, в сущности, если вдуматься, все прекрасно на этом свете, все, кроме того, что мы сами мыслим и делаем, когда забываем о высших целях бытия, о своем человеческом достоинстве.

Подошел какой-то человек — должно быть, сторож,— посмотрел на них и ушел. И эта подробность показалась такой таинственной и тоже красивой. Видно было, как пришел пароход из Феодосии, освещенный утренней зарей, уже без огней.

— Роса на траве,— сказала Анна Сергеевна после молчания.

— Да. Пора домой.

Они вернулись в город.

Потом каждый полдень они встречались на набережной, завтракали вместе, обедали, гуляли, восхищались морем. Она жаловалась, что дурно спит и что у нее тревожно бьется сердце, задавала все одни и те же вопросы, волнуемая то ревностью, то страхом, что он недостаточно ее уважает. И часто на сквере или в саду, когда вблизи их никого не было, он вдруг привлекал ее к себе и целовал страстно. Совершенная праздность, эти поцелуи среди белого дня, с оглядкой и страхом, как бы кто не увидел, жара, запах моря и постоянное мелькание перед глазами праздных, нарядных, сытых людей точно переродили его; он говорил Анне Сергеевне о том, как она хороша, как соблазнительна, был нетерпеливо страстен, не отходил от нее ни на шаг, а она часто задумывалась и все просила его сознаться, что он ее не уважает, нисколько не любит, а только видит в ней пошлую женщину. Почти каждый вечер попозже они уезжали куда-нибудь за город, в Ореанду или на водопад; и прогулка удавалась, впечатления неизменно всякий раз были прекрасны, величавы.

Ждали, что приедет муж. Но пришло от него письмо, в котором он извещал, что у него разболелись глаза, и умолял жену поскорее вернуться домой. Анна Сергеевна заторопилась.

— Это хорошо, что я уезжаю,— говорила она Гурову.— Это сама судьба.

Она поехала на лошадях, и он провожал ее. Ехали целый день. Когда она садилась в вагон курьерского поезда и когда пробил второй звонок, она говорила:

— Дайте, я погляжу на вас еще... Погляжу еще раз. Вот так.

Она не плакала, но была грустна, точно больна, и лицо у нее дрожало.

— Я буду о вас думать... вспоминать,— говорила она.— Господь с вами, оставайтесь. Не поминайте лихом. Мы навсегда прощаемся, это так нужно, потому что не следовало бы вовсе встречаться. Ну, господь с вами.

Поезд ушел быстро, его огни скоро исчезли, и через минуту уже не было слышно шума, точно все сговорилось нарочно, чтобы прекратить поскорее это сладкое забытье, это безумие. И, оставшись один на платформе и глядя в темную даль, Гуров слушал крик кузнечиков и гудение телеграфных проволок с таким чувством, как будто только что проснулся. И он думал о том, что вот в его жизни было еще одно похождение или приключение, и оно тоже уже кончилось, и осталось теперь воспоминание... Он был растроган, грустен и испытывал легкое раскаяние; ведь эта молодая женщина, с которой он больше уже никогда не увидится, не была с ним счастлива; он был приветлив с ней и сердечен, но все же в обращении с ней, в его тоне и ласках

сквозила тенью легкая насмешка, грубоватое высокомерие счастливого мужчины, который к тому же почти вдвое старше ее. Все время она называла его добрым, необыкновенным, возвышенным; очевидно, он казался ей не тем, чем был на самом деле, значит, невольно обманывал ее...

Здесь на станции уже пахло осенью, вечер был прохладный.

«Пора и мне на север,— думал Гуров, уходя с платформы.— Пора!»

III

Дома в Москве уже все было по-зимнему, топили печи, и по утрам, когда дети собирались в гимназию и пили чай, было темно, и няня ненадолго зажигала огонь. Уже начались морозы. Когда идет первый снег, в первый день езды на санях, приятно видеть белую землю, белые крыши, дышится мягко, славно, и в это время вспоминаются юные годы. У старых лип и берез, белых от инея, добродушное выражение, они ближе к сердцу, чем кипарисы и пальмы, и вблизи них уже не хочется думать о горах и море.

Гуров был москвич, вернулся он в Москву в хороший, морозный день, и когда надел шубу и теплые перчатки и прошелся по Петровке, и когда в субботу вечером услышал звон колоколов, то недавняя поездка́ и места, в которых он был, утеряли для него все очарование. Мало-помалу он окунулся в московскую жизнь, уже с жадностью прочитывал по три газеты в день и говорил, что не читает московских газет из принципа. Его уже тянуло в рестораны, клубы, на званые обеды, юбилеи, и уже ему было лестно, что у него бывают известные адвокаты и артисты и что в Докторском клубе он играет в карты с профессором. Уже он мог съесть целую порцию селянки на сковородке...

Пройдет какой-нибудь месяц, и Анна Сергеевна, казалось ему, покроется в памя́ти туманом и только изредка будет сниться с трогательной улыбкой, как снились другие. Но прошло больше месяца, наступила глубокая зима, а в памяти все было ясно, точно расстался он с Анной Сергеевной только вчера. И воспоминания разгорались все сильнее. Доносились ли в вечерней тишине в его кабинет голоса детей, приготовлявших уроки, слышал ли он романс или орган в ресторане, или завывала в камине метель, как вдруг воскресало в памяти все: и то, что было на молу, и раннее утро с туманом на горах, и пароход из Феодосии, и поцелуи. Он долго ходил по комнате и вспоминал, и улыбался, и потом воспоминания переходили в мечты, и прошедшее в воображении мешалось с тем, что́ будет. Анна Сергеев-

на не снилась ему, а шла за ним всюду, как тень, и следила за ним. Закрывши глаза, он видел ее, как живую, и она казалась красивее, моложе, нежнее, чем была; и сам он казался себе лучше, чем был тогда, в Ялте. Она по вечерам глядела на него из книжного шкапа, из камина, из угла, он слышал ее дыхание, ласковый шорох ее одежды. На улице он провожал взглядом женщин, искал, нет ли похожей на нее...

И уже томило сильное желание поделиться с кем-нибудь своими воспоминаниями. Но дома нельзя было говорить о своей любви, а вне дома — не с кем. Не с жильцами же и не в банке. И о чем говорить? Разве он любил тогда? Разве было что-нибудь красивое, поэтическое, или поучительное, или просто интересное в его отношениях к Анне Сергеевне? И приходилось говорить неопределенно о любви, о женщинах, и никто не догадывался, в чем дело, и только жена шевелила своими темными бровями и говорила:

— Тебе, Димитрий, совсем не идет роль фата.

Однажды ночью, выходя из Докторского клуба со своим партнером, чиновником, он не удержался и сказал:

— Если бы вы знали, с какой очаровательной женщиной я познакомился в Ялте!

Чиновник сел в сани и поехал, но вдруг обернулся и окликнул:

— Дмитрий Дмитрич!

— Что?

— А давеча вы были правы: осетрина-то с душком!

Эти слова, такие обычные, почему-то вдруг возмутили Гурова, показались ему унизительными, нечистыми. Какие дикие нравы, какие лица! Что за бестолковые ночи, какие неинтересные, незаметные дни! Неистовая игра в карты, обжорство, пьянство, постоянные разговоры все об одном. Ненужные дела и разговоры все об одном отхватывают на свою долю лучшую часть времени, лучшие силы, и в конце концов остается какая-то куцая, бескрылая жизнь, какая-то чепуха, и уйти и бежать нельзя, точно сидишь в сумасшедшем доме или в арестантских ротах!

Гуров не спал всю ночь и возмущался и затем весь день провел с головной болью. И в следующие ночи он спал дурно, все сидел в постели и думал или ходил из угла в угол. Дети ему надоели, банк надоел, не хотелось никуда идти, ни о чем говорить.

В декабре на праздниках он собрался в дорогу и сказал жене, что уезжает в Петербург хлопотать за одного молодого человека — и уехал в С. Зачем? Он и сам не знал хорошо. Ему хотелось повидаться с Анной Сергеевной и поговорить, устроить свидание, если можно.

Приехал он в С. утром и занял в гостинице лучший номер, где весь пол был обтянут серым солдатским сукном и была на столе чернильница, серая от пыли, со всадником на лошади, у которого была поднята рука со шляпой, а голова отбита. Швейцар дал ему нужные сведения: фон Дидериц живет на Старо-Гончарной улице в собственном доме — это недалеко от гостиницы, живет хорошо, богато, имеет своих лошадей, его все знают в городе. Швейцар выговаривал так: Дрыдыриц.

Гуров не спеша пошел на Старо-Гончарную, отыскал дом. Как раз против дома тянулся забор, серый, длинный, с гвоздями.

«От такого забора убежишь»,— думал Гуров, поглядывая то на окна, то на забор.

Он соображал: сегодня день неприсутственный, и муж, вероятно, дома. Да и все равно, было бы бестактно войти в дом и смутить. Если же послать записку, то она, пожалуй, попадет в руки мужу, и тогда все можно испортить. Лучше всего положиться на случай. И он все ходил по улице и около забора и поджидал этого случая. Он видел, как в ворота вошел нищий и на него напали собаки, потом, час спустя, слышал игру на рояле, и звуки доносились слабые, неясные. Должно быть, Анна Сергеевна играла. Парадная дверь вдруг отворилась, и из нее вышла какая-то старушка, а за нею бежал знакомый белый шпиц. Гуров хотел позвать собаку, но у него вдруг забилось сердце, и он от волнения не мог вспомнить, как зовут шпица.

Он ходил и все больше и больше ненавидел серый забор, и уже думал с раздражением, что Анна Сергеевна забыла о нем и, быть может, уже развлекается с другим, и это так естественно в положении молодой женщины, которая вынуждена с утра до вечера видеть этот проклятый забор. Он вернулся к себе в номер и долго сидел на диване, не зная, что делать, потом обедал, потом долго спал.

«Как все это глупо и беспокойно,— думал он, проснувшись и глядя на темные окна: был уже вечер.— Вот и выспался зачем-то. Что же я теперь ночью буду делать?»

Он сидел на постели, покрытой дешевым серым, точно больничным одеялом, и дразнил себя с досадой:

«Вот тебе и дама с собачкой... Вот тебе и приключение... Вот и сиди тут».

Еще утром, на вокзале, ему бросилась в глаза афиша с очень крупными буквами: шла в первый раз «Гейша»*. Он вспомнил об этом и поехал в театр.

«Очень возможно, что она бывает на первых представлениях»,— думал он.

Театр был полон. И тут, как вообще во всех губернских театрах, был туман повыше люстры, шумно беспокоилась галерка; в первом ряду перед началом представления стояли местные

франты, заложив руки назад; и тут, в губернаторской ложе, на первом месте сидела губернаторская дочь в боа*, а сам губернатор скромно прятался за портьерой, и видны были только его руки; качался занавес, оркестр долго настраивался. Все время, пока публика входила и занимала места, Гуров жадно искал глазами.

Вошла и Анна Сергеевна. Она села в третьем ряду, и когда Гуров взглянул на нее, то сердце у него сжалось, и он понял ясно, что для него теперь на всем свете нет ближе, дороже и важнее человека; она, затерявшаяся в провинциальной толпе, эта маленькая женщина, ничем не замечательная, с вульгарною лорнеткой в руках, наполняла теперь всю его жизнь, была его горем, радостью, единственным счастьем, какого он теперь желал для себя; и под звуки плохого оркестра, дрянных обывательских скрипок он думал о том, как она хороша. Думал и мечтал.

Вместе с Анной Сергеевной вошел и сел рядом молодой человек с небольшими бакенами, очень высокий, сутулый; он при каждом шаге покачивал головой и, казалось, постоянно кланялся. Вероятно, это был муж, которого она тогда в Ялте, в порыве горького чувства, обозвала лакеем. И в самом деле, в его длинной фигуре, в бакенах, в небольшой лысине было что-то лакейски-скромное, улыбался он сладко, и в петлице у него блестел какой-то ученый значок, точно лакейский номер.

В первом антракте муж ушел курить, она осталась в кресле. Гуров, сидевший тоже в партере, подошел к ней и сказал дрожащим голосом, улыбаясь насильно:

— Здравствуйте.

Она взглянула на него и побледнела, потом еще раз взглянула с ужасом, не веря глазам, и крепко сжала в руках вместе веер и лорнетку, очевидно борясь с собой, чтобы не упасть в обморок. Оба молчали. Она сидела, он стоял, испуганный ее смущением, не решаясь сесть рядом. Запели настраиваемые скрипки и флейта, стало вдруг страшно, казалось, что из всех лож смотрят. Но вот она встала и быстро пошла к выходу; он — за ней, и оба шли бестолково, по коридорам, по лестницам, то поднимаясь, то спускаясь, и мелькали у них перед глазами какие-то люди в судейских, учительских и удельных мундирах, и все со значками; мелькали дамы, шубы на вешалках, дул сквозной ветер, обдавая запахом табачных окурков. И Гуров, у которого сильно билось сердце, думал: «О господи! И к чему эти люди, этот оркестр...»

И в эту минуту он вдруг вспомнил, как тогда вечером на станции, проводив Анну Сергеевну, говорил себе, что все кончилось и они уже никогда не увидятся. Но как еще далеко было до конца!

На узкой, мрачной лестнице, где было написано «ход в амфитеатр», она остановилась.

— Как вы меня испугали! — сказала она, тяжело дыша, все еще бледная, ошеломленная.— О, как вы меня испугали! Я едва жива. Зачем вы приехали? Зачем?

— Но поймите, Анна, поймите...— проговорил он вполголоса, торопясь.— Умоляю вас, поймите...

Она глядела на него со страхом, с мольбой, с любовью, глядела пристально, чтобы покрепче задержать в памяти его черты.

— Я так страдаю! — продолжала она, не слушая его.— Я все время думала только о вас, я жила мыслями о вас. И мне хотелось забыть, забыть, но зачем, зачем вы приехали?

Повыше, на площадке, два гимназиста курили и смотрели вниз, но Гурову было все равно, он привлек к себе Анну Сергеевну и стал целовать ее лицо, щеки, руки.

— Что вы делаете, что вы делаете! — говорила она в ужасе, отстраняя его от себя.— Мы с вами обезумели. Уезжайте сегодня же, уезжайте сейчас... Заклинаю вас всем святым, умоляю... Сюда идут!

По лестнице снизу вверх кто-то шел.

— Вы должны уехать...— продолжала Анна Сергеевна шепотом.— Слышите, Дмитрий Дмитрич? Я приеду к вам в Москву. Я никогда не была счастлива, я теперь несчастна и никогда, никогда не буду счастлива, никогда! Не заставляйте же меня страдать еще больше! Клянусь, я приеду в Москву. А теперь расстанемся! Мой милый, добрый, дорогой мой, расстанемся!

Она пожала ему руку и стала быстро спускаться вниз, все оглядываясь на него, и по глазам ее было видно, что она в самом деле не была счастлива. Гуров постоял немного, прислушался, потом, когда все утихло, отыскал свою вешалку и ушел из театра.

IV

И Анна Сергеевна стала приезжать к нему в Москву. Раз в два-три месяца она уезжала из С. и говорила мужу, что едет посоветоваться с профессором насчет своей женской болезни,— и муж верил и не верил. Приехав в Москву, она останавливалась в «Славянском базаре» и тотчас же посылала к Гурову человека в красной шапке. Гуров ходил к ней, и никто в Москве не знал об этом.

Однажды он шел к ней таким образом в зимнее утро (посыльный был у него накануне вечером и не застал). С ним шла его дочь, которую хотелось ему проводить в гимназию, это было по дороге. Валил крупный мокрый снег.

— Теперь три градуса тепла, а между тем идет снег,— говорил Гуров дочери.— Но ведь это тепло только на поверхности земли, в верхних же слоях атмосферы совсем другая температура.

— Папа, а почему зимой не бывает грома?

Он объяснил и это. Он говорил и думал о том, что вот он идет на свидание и ни одна живая душа не знает об этом и, вероятно, никогда не будет знать. У него были две жизни: одна явная, которую видели и знали все, кому это нужно было, полная условной правды и условного обмана, похожая совершенно на жизнь его знакомых и друзей, и другая — протекавшая тайно. И по какому-то странному стечению обстоятельств, быть может, случайному, все, что было для него важно, интересно, необходимо, в чем он был искренен и не обманывал себя, что составляло зерно его жизни, происходило тайно от других, все же, что было его ложью, его оболочкой, в которую он прятался, чтобы скрыть правду, как, например, его служба в банке, споры в клубе, его «низшая раса», хождение с женой на юбилеи,— все это было явно. И по себе он судил о других, не верил тому, что видел, и всегда предполагал, что у каждого человека под покровом тайны, как под покровом ночи, проходит его настоящая, самая интересная жизнь. Каждое личное существование держится на тайне, и, быть может, отчасти поэтому культурный человек так нервно хлопочет о том, чтобы уважалась личная тайна.

Проводив дочь в гимназию, Гуров отправился в «Славянский базар». Он снял шубу внизу, поднялся наверх и тихо постучал в дверь. Анна Сергеевна, одетая в его любимое серое платье, утомленная дорогой и ожиданием, поджидала его со вчерашнего вечера; она была бледна, глядела на него и не улыбалась, и едва он вошел, как она уже припала к его груди. Точно они не виделись года два, поцелуй их был долгий, длительный.

— Ну, как живешь там? — спросил он.— Что нового?

— Погоди, сейчас скажу... Не могу.

Она не могла говорить, так как плакала. Отвернулась от него и прижала платок к глазам.

«Ну, пускай поплачет, а я пока посижу»,— подумал он и сел в кресло.

Потом он позвонил и сказал, чтобы ему принесли чаю; и потом, когда пил чай, она все стояла, отвернувшись к окну... Она плакала от волнения, от скорбного сознания, что их жизнь так печально сложилась; они видятся только тайно, скрываются от людей, как воры! Разве жизнь их не разбита?

— Ну, перестань! — сказал он.

Для него было очевидно, что эта их любовь кончится еще не скоро, неизвестно когда. Анна Сергеевна привязывалась к нему все сильнее, обожала его, и было бы немыслимо сказать ей, что

все это должно же иметь когда-нибудь конец; да она бы и не поверила этому.

Он подошел к ней и взял ее за плечи, чтобы приласкать, пошутить, и в это время увидел себя в зеркале.

Голова его уже начинала седеть. И ему показалось странным, что он так постарел за последние годы, так подурнел. Плечи, на которых лежали его руки, были теплы и вздрагивали. Он почувствовал сострадание к этой жизни, еще такой теплой и красивой, но, вероятно, уже близкой к тому, чтобы начать блекнуть и вянуть, как его жизнь. За что она его любит так? Он всегда казался женщинам не тем, кем был, и любили они в нем не его самого, а человека, которого создавало их воображение и которого они в своей жизни жадно искали; и потом, когда замечали свою ошибку, то все-таки любили. И ни одна из них не была с ним счастлива. Время шло, он знакомился, сходился, расставался, но ни разу не любил; было все, что угодно, но только не любовь.

И только теперь, когда у него голова стала седой, он полюбил, как следует, по-настоящему — первый раз в жизни.

Анна Сергеевна и он любили друг друга, как очень близкие, родные люди, как муж и жена, как нежные друзья; им казалось, что сама судьба предназначила их друг для друга, и было непонятно, для чего он женат, а она замужем; и точно это были две перелетные птицы, самец и самка, которых поймали и заставили жить в отдельных клетках. Они простили друг другу то, чего стыдились в своем прошлом, прощали все в настоящем и чувствовали, что эта их любовь изменила их обоих.

Прежде, в грустные минуты, он успокаивал себя всякими рассуждениями, какие только приходили ему в голову, теперь же ему было не до рассуждений, он чувствовал глубокое сострадание, хотелось быть искренним, нежным...

— Перестань, моя хорошая,— говорил он.— Поплакала — и будет... Теперь давай поговорим, что-нибудь придумаем.

Потом они долго советовались, говорили о том, как избавить себя от необходимости прятаться, обманывать, жить в разных городах, не видеться подолгу. Как освободиться от этих невыносимых пут?

— Как? Как? — спрашивал он, хватая себя за голову.— Как?

И казалось, что еще немного — и решение будет найдено, и тогда начнется новая, прекрасная жизнь; и обоим было ясно, что до конца еще далеко-далеко и что самое сложное и трудное только еще начинается.

1899

НЕВЕСТА

I

Было уже часов десять вечера, и над садом светила полная луна. В доме Шуминых только что кончилась всенощная, которую заказывала бабушка Марфа Михайловна, и теперь Наде — она вышла в сад на минутку — видно было, как в зале накрывали на стол для закуски, как в своем пышном шелковом платье суетилась бабушка; отец Андрей, соборный протоиерей, говорил о чем-то с матерью Нади, Ниной Ивановной, и теперь мать при вечернем освещении сквозь окно почему-то казалась очень молодой; возле стоял сын отца Андрея, Андрей Андреич, и внимательно слушал.

В саду было тихо, прохладно, и темные покойные тени лежали на земле. Слышно было, как где-то далеко, очень далеко, должно быть, за городом, кричали лягушки. Чувствовался май, милый май! Дышалось глубоко и хотелось думать, что не здесь, а где-то под небом, над деревьями, далеко за городом, в полях и лесах, развернулась теперь своя весенняя жизнь, таинственная, прекрасная, богатая и святая, недоступная пониманию слабого, грешного человека. И хотелось почему-то плакать.

Ей, Наде, было уже двадцать три года; с шестнадцати лет она страстно мечтала о замужестве, и теперь, наконец, она была невестой Андрея Андреича, того самого, который стоял за окном; он ей нравился, свадьба была уже назначена на седьмое июля, а между тем радости не было, ночи спала она плохо, веселье пропало... Из подвального этажа, где была кухня, в открытое окно слышно было, как там спешили, как стучали ножами, как хлопали дверью на блоке; пахло жареной индейкой и маринованными вишнями. И почему-то казалось, что так теперь будет всю жизнь, без перемены, без конца!

Вот кто-то вышел из дома и остановился на крыльце: это Александр Тимофеич, или, попросту, Саша, гость, приехавший из Москвы дней десять назад. Когда-то давно к бабушке хаживала за подаяньем ее дальняя родственница, Марья Петровна, обедневшая дворянка-вдова, маленькая, худенькая, больная. У нее был сын Саша. Почему-то про него говорили, что он прекрасный художник, и, когда у него умерла мать, бабушка, ради спасения души, отправила его в Москву в Комиссаровское училище; года через два перешел он в Училище живописи, пробыл здесь чуть ли не пятнадцать лет и кончил по архитектурному отделению, с грехом пополам, но архитектурой все-таки не занимался, а служил в одной из московских литографий. Почти каждое лето приезжал он, обыкновенно очень больной, к бабушке, чтобы отдохнуть и поправиться.

На нем был теперь застегнутый сюртук и поношенные парусинковые брюки, стоптанные внизу. И сорочка была неглаженая, и весь он имел какой-то несвежий вид. Очень худой, с большими глазами, с длинными, худыми пальцами, бородатый, темный и все-таки красивый. К Шуминым он привык, как к родным, и у них чувствовал себя, как дома. И комната, в которой он жил здесь, называлась уже давно Сашиной комнатой.

Стоя на крыльце, он увидел Надю и пошел к ней.

— Хорошо у вас здесь,— сказал он.

— Конечно, хорошо. Вам бы здесь до осени пожить.

— Да, должно, так придется. Пожалуй, до сентября у вас тут проживу.

Он засмеялся без причины и сел рядом.

— А я вот сижу и смотрю отсюда на маму,— сказала Надя.— Она кажется отсюда такой молодой! У моей мамы, конечно, есть слабости,— добавила она, помолчав,— но все же она необыкновенная женщина.

— Да, хорошая...— согласился Саша.— Ваша мама по-своему, конечно, и очень добрая и милая женщина, но... как вам сказать? Сегодня утром рано зашел я к вам в кухню, а там четыре прислуги спят прямо на полу, кроватей нет, вместо постелей лохмотья, вонь, клопы, тараканы... То же самое, что было двадцать лет назад, никакой перемены. Ну, бабушка, бог с ней, на то она и бабушка; а ведь мама небось по-французски говорит, в спектаклях участвует. Можно бы, кажется, понимать.

Когда Саша говорил, то вытягивал перед слушателем два длинных, тощих пальца.

— Мне все здесь как-то дико с непривычки,— продолжал он.— Черт знает, никто ничего не делает. Мамаша целый день только гуляет, как герцогиня какая-нибудь, бабушка тоже ничего не делает, вы — тоже. И жених, Андрей Андреич, тоже ничего не делает.

Надя слышала это и в прошлом году и, кажется, в позапрошлом году и знала, что Саша иначе рассуждать не может, и это прежде смешило ее, теперь же почему-то ей стало досадно.

— Все это старо и давно надоело,— сказала она и встала.— Вы бы придумали что-нибудь поновее.

Он засмеялся и тоже встал, и оба пошли к дому. Она, высокая, красивая, стройная, казалась теперь рядом с ним очень здоровой и нарядной; она чувствовала это, и ей было жаль его и почему-то неловко.

— И говорите вы много лишнего,— сказала она.— Вот вы только что говорили про моего Андрея, но ведь вы его не знаете.

— Моего Андрея... Бог с ним, с вашим Андреем! Мне вот молодости вашей жалко.

Когда вошли в залу, там уже садились ужинать. Бабушка, или, как ее называли в доме, бабуля, очень полная, некрасивая, с густыми бровями и с усиками, говорила громко, и уже по ее голосу и манере говорить было заметно, что она здесь старшая в доме. Ей принадлежали торговые ряды на ярмарке и старинный дом с колоннами и садом, но она каждое утро молилась, чтобы бог спас ее от разорения, и при этом плакала. И ее невестка, мать Нади, Нина Ивановна, белокурая, сильно затянутая, в pince-nez и с бриллиантами на каждом пальце; и отец Андрей, старик, худощавый, беззубый и с таким выражением, будто собирался рассказать что-то очень смешное; и его сын Андрей Андреич, жених Нади, полный и красивый, с вьющимися волосами, похожий на артиста или художника,— все трое говорили о гипнотизме.

— Ты у меня в неделю поправишься,— сказала бабуля, обращаясь к Саше,— только вот кушай побольше. И на что ты похож! — вздохнула она.— Страшный ты стал! Вот уж подлинно, как есть, блудный сын.

— Отеческого дара расточив богатство,— проговорил отец Андрей медленно, со смеющимися глазами,— с бессмысленными скоты пасохся окаянный...

— Люблю я своего батьку,— сказал Андрей Андреич и потрогал отца за плечо.— Славный старик. Добрый старик.

Все помолчали. Саша вдруг засмеялся и прижал ко рту салфетку.

— Стало быть, вы верите в гипнотизм? — спросил отец Андрей у Нины Ивановны.

— Я не могу, конечно, утверждать, что я верю,— ответила Нина Ивановна, придавая своему лицу очень серьезное, даже строгое выражение,— но должна сознаться, что в природе есть много таинственного и непонятного.

— Совершенно с вами согласен, хотя должен прибавить от себя, что вера значительно сокращает нам область таинственного.

Подали большую, очень жирную индейку. Отец Андрей и Нина Ивановна продолжали свой разговор. У Нины Ивановны блестели бриллианты на пальцах, потом на глазах заблестели слезы, она заволновалась.

— Хотя я и не смею спорить с вами,— сказала она,— но, согласитесь, в жизни так много неразрешимых загадок!

— Ни одной, смею вас уверить.

После ужина Андрей Андреич играл на скрипке, а Нина Ивановна аккомпанировала на рояле. Он десять лет назад кончил в университете по филологическому факультету, но нигде не служил, определенного дела не имел и лишь изредка принимал участие в концертах с благотворительною целью; и в городе называли его артистом.

Андрей Андреич играл; все слушали молча. На столе тихо кипел самовар, и только один Саша пил чай. Потом, когда пробило двенадцать, лопнула вдруг струна на скрипке; все засмеялись, засуетились и стали прощаться.

Проводив жениха, Надя пошла к себе наверх, где жила с матерью (нижний этаж занимала бабушка). Внизу, в зале, стали тушить огни, а Саша все еще сидел и пил чай. Пил он чай всегда подолгу, по-московски, стаканов по семи в один раз. Наде, когда она разделась и легла в постель, долго еще было слышно, как внизу убирала прислуга, как сердилась бабуля. Наконец все затихло, и только слышалось изредка, как в своей комнате, внизу, покашливал басом Саша.

II

Когда Надя проснулась, было, должно быть, часа два, начинался рассвет. Где-то далеко стучал сторож. Спать не хотелось, лежать было очень мягко, неловко. Надя, как и во все прошлые майские ночи, села в постели и стала думать. А мысли были все те же, что и в прошлую ночь, однообразные, ненужные, неотвязчивые, мысли о том, как Андрей Андреич стал ухаживать за ней и сделал ей предложение, как она согласилась и потом мало-помалу оценила этого доброго, умного человека. Но почему-то теперь, когда до свадьбы осталось не больше месяца, она стала испытывать страх, беспокойство, как будто ожидало ее что-то неопределенное, тяжелое.

«Тик-ток, тик-ток...— лениво стучал сторож.— Тик-ток...

В большое старое окно виден сад, дальние кусты густо цветущей сирени, сонной и вялой от холода; и туман, белый, густой, тихо подплывает к сирени, хочет закрыть ее. На дальних деревьях кричат сонные грачи.

— Боже мой, отчего мне так тяжело!

Быть может, то же самое испытывает перед свадьбой каждая невеста. Кто знает! Или тут влияние Саши? Но ведь Саша уже несколько лет подряд говорит все одно и то же, как по-писаному, и когда говорит, то кажется наивным и странным. Но отчего же все-таки Саша не выходит из головы? отчего?

Сторож уже давно не стучит. Под окном и в саду зашумели птицы, туман ушел из сада, все кругом озарилось весенним светом, точно улыбкой. Скоро весь сад, согретый солнцем, обласканный, ожил, и капли росы, как алмаз, засверкали на листьях; и старый, давно запущенный сад в это утро казался таким молодым, нарядным.

Уже проснулась бабуля. Закашлял грубым басом Саша. Слышно было, как внизу подали самовар, как двигали стульями.

Часы идут медленно. Надя давно уже встала и давно уже гуляла в саду, а все еще тянется утро.

Вот Нина Ивановна, заплаканная, со стаканом минеральной воды. Она занималась спиритизмом, гомеопатией, много читала, любила поговорить о сомнениях, которым была подвержена, и все это, казалось Наде, заключало в себе глубокий, таинственный смысл. Теперь Надя поцеловала мать и пошла с ней рядом.

— О чем ты плакала, мама? — спросила она.

— Вчера на ночь стала я читать повесть, в которой описывается один старик и его дочь. Старик служит где-то, ну, и в дочь его влюбился начальник. Я не дочитала, но там есть такое одно место, что трудно было удержаться от слез,— сказала Нина Ивановна и отхлебнула из стакана.— Сегодня утром вспомнила и тоже всплакнула.

— А мне все эти дни так невесело,— сказала Надя, помолчав.— Отчего я не сплю по ночам?

— Не знаю, милая. А когда я не сплю по ночам, то закрываю глаза крепко-крепко, вот этак, и рисую себе Анну Каренину, как она ходит и как говорит, или рисую что-нибудь историческое, из древнего мира...

Надя почувствовала, что мать не понимает ее и не может понять. Почувствовала это первый раз в жизни, и ей даже страшно стало, захотелось спрятаться; и она ушла к себе в комнату.

А в два часа сели обедать. Была среда, день постный, и потому бабушке подали постный борщ и леща с кашей.

Чтобы подразнить бабушку, Саша ел и свой скоромный суп, и постный борщ. Он шутил все время, пока обедали, но шутки у него выходили громоздкие, непременно с расчетом на мораль, и выходило совсем не смешно, когда он перед тем, как сострить, поднимал вверх свои очень длинные, исхудалые, точно мертвые, пальцы, и когда приходило на мысль, что он очень болен и, пожалуй, недолго еще протянет на этом свете, тогда становилось жаль его до слез.

После обеда бабушка ушла к себе в комнату отдыхать. Нина Ивановна недолго поиграла на рояле и потом тоже ушла.

— Ах, милая Надя,— начал Саша свой обычный послеобеденный разговор,— если бы вы послушались меня! если бы!

Она сидела глубоко в старинном кресле, закрыв глаза, а он тихо ходил по комнате, из угла в угол.

— Если бы вы поехали учиться! — говорил он.— Только просвещенные и святые люди интересны, только они и нужны. Ведь чем больше будет таких людей, тем скорее настанет царствие божие на земле. От вашего города тогда мало-помалу не останется камня на камне,— все полетит вверх дном, все изменится, точно по волшебству. И будут тогда здесь громадные, великолепнейшие дома, чудесные сады, фонтаны необыкновенные,

замечательные люди... Но главное не это. Главное то, что толпы в нашем смысле, в каком она есть теперь, этого зла тогда не будет, потому что каждый человек будет веровать и каждый будет знать, для чего он живет, и ни один не будет искать опоры в толпе. Милая, голубушка, поезжайте! Покажите всем, что эта неподвижная, серая, грешная жизнь надоела вам. Покажите это хоть себе самой!

— Нельзя, Саша. Я выхожу замуж.

— Э, полно! Кому это нужно?

Вышли в сад, прошлись немного.

— И как бы там ни было, милая моя, надо вдуматься, надо понять, как нечиста, как безнравственна эта ваша праздная жизнь,— продолжал Саша.— Поймите же, ведь если, например, вы, и ваша мать, и ваша бабулька ничего не делаете, то, значит, за вас работает кто-то другой, вы заедаете чью-то чужую жизнь, а разве это чисто, не грязно?

Надя хотела сказать: «Да, это правда»; хотела сказать, что она понимает; но слезы показались у нее на глазах, она вдруг притихла, сжалась вся и ушла к себе.

Перед вечером приходил Андрей Андреич и, по обыкновению, долго играл на скрипке. Вообще он был неразговорчив и любил скрипку, быть может, потому, что во время игры можно было молчать. В одиннадцатом часу, уходя домой, уже в пальто, он обнял Надю и стал жадно целовать ее лицо, плечи, руки.

— Дорогая, милая моя, прекрасная!..— бормотал он.— О, как я счастлив! Я безумствую от восторга!

И ей казалось, что это она уже давно слышала, очень давно, или читала где-то... в романе, в старом, оборванном, давно уже заброшенном.

В зале Саша сидел у стола и пил чай, поставив блюдечко на свои длинные пять пальцев; бабуля раскладывала пасьянс, Нина Ивановна читала. Трещал огонек в лампадке, и все, казалось, было тихо, благополучно. Надя простилась и пошла к себе наверх, легла и тотчас же уснула. Но, как и в прошлую ночь, едва забрезжил свет, она уже проснулась. Спать не хотелось, на душе было непокойно, тяжело. Она сидела, положив голову на колени, и думала о женихе, о свадьбе... Вспомнила она почему-то, что ее мать не любила своего покойного мужа и теперь ничего не имела, жила в полной зависимости от своей свекрови, бабули. И Надя, как ни думала, не могла сообразить, почему до сих пор она видела в своей матери что-то особенное, необыкновенное, почему не замечала простой, обыкновенной, несчастной женщины.

И Саша не спал внизу,— слышно было, как он кашлял. Это странный, наивный человек, думала Надя, и в его мечтах, во всех этих чудесных садах, фонтанах необыкновенных чувствуется что-то нелепое; но почему-то в его наивности, даже в этой нелепости

столько прекрасного, что едва она только вот подумала о том, не поехать ли ей учиться, как все сердце, всю грудь обдало холодком, залило чувством радости, восторга.

— Но лучше не думать, лучше не думать...— шептала она.— Не надо думать об этом.

«Тик-ток...— стучал сторож где-то далеко.— Тик-ток... тик-ток...

III

Саша в середине июня стал вдруг скучать и засобирался в Москву.

— Не могу я жить в этом городе,— говорил он мрачно.— Ни водопровода, ни канализации! Я есть за обедом брезгаю: в кухне грязь невозможнейшая...

— Да погоди, блудный сын! — убеждала бабушка почему-то шепотом,— седьмого числа свадьба!

— Не желаю.

— Хотел ведь у нас до сентября прожить!

— А теперь вот не желаю. Мне работать нужно!

Лето выдалось сырое и холодное, деревья были мокрые, все в саду глядело неприветливо, уныло, хотелось в самом деле работать. В комнатах, внизу и наверху, слышались незнакомые женские голоса, стучала у бабушки швейная машина: это спешили с приданым. Одних шуб за Надей давали шесть, и самая дешевая из них, по словам бабушки, стоила триста рублей! Суета раздражала Сашу; он сидел у себя в комнате и сердился; но все же его уговорили остаться, и он дал слово, что уедет первого июля, не раньше.

Время шло быстро. На Петров день после обеда Андрей Андреич пошел с Надей на Московскую улицу, чтобы еще раз осмотреть дом, который наняли и давно уже приготовили для молодых. Дом двухэтажный, но убран был пока только верхний этаж. В зале блестящий пол, выкрашенный под паркет, венские стулья, рояль, пюпитр для скрипки. Пахло краской. На стене в золотой раме висела большая картина, написанная красками: нагая дама и около нее лиловая ваза с отбитой ручкой.

— Чудесная картина,— проговорил Андрей Андреич и из уважения вздохнул.— Это художника Шишмачевского.

Дальше была гостиная с круглым столом, диваном и креслами, обитыми ярко-голубой материей. Над диваном большой фотографический портрет отца Андрея в камилавке* и в орденах. Потом вошли в столовую с буфетом, потом в спальню; здесь в полумраке стояли рядом две кровати, и похоже было, что когда обставляли спальню, то имели в виду, что всегда тут будет очень хорошо и иначе быть не может. Андрей Андреич водил Надю по

комнатам и все время держал ее за талию; а она чувствовала себя слабой, виноватой, ненавидела все эти комнаты, кровати, кресла, ее мутило от нагой дамы. Для нее уже ясно было, что она разлюбила Андрея Андреича или, быть может, не любила его никогда; но как это сказать, кому сказать и для чего, она не понимала и не могла понять, хотя думала об этом все дни, все ночи... Он держал ее за талию, говорил так ласково, скромно, так был счастлив, расхаживая по этой своей квартире; а она видела во всем одну только пошлость, глупую, наивную, невыносимую пошлость, и его рука, обнимавшая ее талию, казалась ей жесткой и холодной, как обруч. И каждую минуту она готова была убежать, зарыдать, броситься в окно. Андрей Андреич привел ее в ванную и здесь дотронулся до крана, вделанного в стену, и вдруг потекла вода.

— Каково? — сказал он и засмеялся.— Я велел сделать на чердаке бак на сто ведер, и вот мы с тобой теперь будем иметь воду.

Прошлись по двору, потом вышли на улицу, взяли извозчика. Пыль носилась густыми тучами, и казалось, вот-вот пойдет дождь.

— Тебе не холодно? — спросил Андрей Андреич, щурясь от пыли.

Она промолчала.

— Вчера Саша, ты помнишь, упрекнул меня в том, что я ничего не делаю,— сказал он, помолчав немного.— Что же, он прав! бесконечно прав! Я ничего не делаю и не могу делать. Дорогая моя, отчего это? Отчего мне так противна даже мысль о том, что я когда-нибудь нацеплю на лоб кокарду и пойду служить? Отчего мне так не по себе, когда я вижу адвоката, или учителя латинского языка, или члена управы? О матушка Русь! О матушка Русь, как еще много ты носишь на себе праздных и бесполезных! Как много на тебе таких, как я, многострадальная!

И то, что он ничего не делал, он обобщал, видел в этом знамение времени.

— Когда женимся,— продолжал он,— то пойдем вместе в деревню, дорогая моя, будем там работать! Мы купим себе небольшой клочок земли с садом, рекой, будем трудиться, наблюдать жизнь... О, как это будет хорошо!

Он снял шляпу, и волосы развевались у него от ветра, а она слушала его и думала: «Боже, домой хочу! Боже!» Почти около самого дома они обогнали отца Андрея.

— А вот и отец идет! — обрадовался Андрей Андреич и замахал шляпой.— Люблю я своего батьку, право,— сказал он, расплачиваясь с извозчиком.— Славный старик. Добрый старик.

Вошла Надя в дом сердитая, нездоровая, думая о том, что весь вечер будут гости, что надо занимать их, улыбаться, слушать скрипку, слушать всякий вздор и говорить только о свадьбе. Бабушка, важная, пышная в своем шелковом платье, надменная, какою она всегда казалась при гостях, сидела у самовара. Вошел отец Андрей со своей хитрой улыбкой.

— Имею удовольствие и благодатное утешение видеть вас в добром здоровье,— сказал он бабушке, и трудно было понять, шутит это он или говорит серьезно.

IV

Ветер стучал в окна, в крышу; слышался свист, и в печи домовой жалобно и угрюмо напевал свою песенку. Был первый час ночи. В доме все уже легли, но никто не спал, и Наде все чуялось, что внизу играют на скрипке. Послышался резкий стук, должно быть, сорвалась ставня. Через минуту вошла Нина Ивановна в одной сорочке, со свечой.

— Что это застучало, Надя? — спросила она.

Мать, с волосами, заплетенными в одну косу, с робкой улыбкой, в эту бурную ночь казалась старше, некрасивее, меньше ростом. Наде вспомнилось, как еще недавно она считала свою мать необыкновенной и с гордостью слушала слова, какие она говорила; а теперь никак не могла вспомнить этих слов; все, что приходило на память, было так слабо, ненужно.

В печке раздалось пение нескольких басов и даже послышалось: «А-ах, бо-о-же мой!» Надя села в постели и вдруг схватила себя крепко за волосы и зарыдала.

— Мама, мама,— проговорила она,— родная моя, если б ты знала, что́ со мной делается! Прошу тебя, умоляю, позволь мне уехать! Умоляю!

— Куда? — спросила Нина Ивановна, не понимая, и села на кровать.— Куда уехать?

Надя долго плакала и не могла выговорить ни слова.

— Позволь мне уехать из города! — сказала она наконец.— Свадьбы не должно быть и не будет, пойми! Я не люблю этого человека... И говорить о нем не могу.

— Нет, родная моя, нет,— заговорила Нина Ивановна быстро, страшно испугавшись.— Ты успокойся,— это у тебя от нерасположения духа. Это пройдет. Это бывает. Вероятно, ты повздорила с Андреем, но милые бранятся — только тешатся.

— Ну, уйди, мама, уйди! — зарыдала Надя.

— Да,— сказала Нина Ивановна, помолчав.— Давно ли ты была ребенком, девочкой, а теперь уже невеста. В природе постоянный обмен веществ. И не заметишь, как сама станешь матерью

и старухой, и будет у тебя такая же строптивая дочка, как у меня.

— Милая, добрая моя, ты ведь умна, ты несчастна,— сказала Надя,— ты очень несчастна,— зачем же ты говоришь пошлости? Бога ради, зачем?

Нина Ивановна хотела что-то сказать, но не могла выговорить ни слова, всхлипнула и ушла к себе. Басы опять загудели в печке, стало вдруг страшно. Надя вскочила с постели и быстро пошла к матери. Нина Ивановна, заплаканная, лежала в постели, укрывшись голубым одеялом, и держала в руках книгу.

— Мама, выслушай меня! — проговорила Надя.— Умоляю тебя, вдумайся и пойми! Ты только пойми, до какой степени мелка и унизительна наша жизнь. У меня открылись глаза, я теперь все вижу. И что такое твой Андрей Андреич? Ведь он же не умен, мама! Господи боже мой! Пойми, мама, он глуп!

Нина Ивановна порывисто села.

— Ты и твоя бабка мучаете меня! — сказала она, вспыхнув.— Я жить хочу! Жить! — повторила она и раза два ударила кулачком по груди.— Дайте же мне свободу! Я еще молода, я жить хочу, а вы из меня старуху сделали!..

Она горько заплакала, легла и свернулась под одеялом калачиком, и показалась такой маленькой, жалкой, глупенькой. Надя пошла к себе, оделась и, севши у окна, стала поджидать утра. Она всю ночь сидела и думала, а кто-то со двора все стучал в ставню и насвистывал.

Утром бабушка жаловалась, что в саду ночью ветром посбивало все яблоки и сломало одну старую сливу. Было серо, тускло, безотрадно, хоть огонь зажигай; все жаловались на холод, и дождь стучал в окна. После чаю Надя вошла к Саше и, не сказав ни слова, стала на колени в углу у кресла и закрыла лицо руками.

— Что? — спросил Саша.

— Не могу...— проговорила она.— Как я могла жить здесь раньше, не понимаю, не постигаю! Жениха я презираю, себя презираю, презираю всю эту праздную, бессмысленную жизнь...

— Ну, ну...— проговорил Саша, не понимая еще, в чем дело.— Это ничего... Это хорошо.

— Эта жизнь опостылела мне,— продолжала Надя,— я не вынесу здесь и одного дня. Завтра же я уеду отсюда. Возьмите меня с собой, бога ради!

Саша минуту смотрел на нее с удивлением; наконец он понял и обрадовался, как ребенок. Он взмахнул руками и начал притоптывать туфлями, как бы танцуя от радости.

— Великолепно! — говорил он, потирая руки.— Боже, как это хорошо!

А она глядела на него, не мигая, большими, влюбленными

глазами, как очарованная, ожидая, что он тотчас же скажет ей что-нибудь значительное, безграничное по своей важности; он еще ничего не сказал ей, но уже ей казалось, что перед нею открывается нечто новое и широкое, чего она раньше не знала, и уже она смотрела на него, полная ожиданий, готовая на все, хотя бы на смерть.

— Завтра я уезжаю,— сказал он, подумав,— и вы поедете на вокзал провожать меня... Ваш багаж я заберу в свой чемодан и билет вам возьму; а во время третьего звонка вы войдете в вагон,— мы и поедем. Проводите меня до Москвы, а там вы одни поедете в Петербург. Паспорт у вас есть?

— Есть.

— Клянусь вам, вы не пожалеете и не раскаетесь,— сказал Саша с увлечением.— Поедете, будете учиться, а там пусть вас носит судьба. Когда перевернете вашу жизнь, то все изменится. Главное — перевернуть жизнь, а все остальное не важно. Итак, значит, завтра поедем?

— О да! Бога ради!

Наде казалось, что она очень взволнована, что на душе у нее тяжело, как никогда, что теперь до самого отъезда придется страдать и мучительно думать; но едва она пришла к себе наверх и прилегла на постель, как тотчас же уснула и спала крепко, с заплаканным лицом, с улыбкой, до самого вечера.

V

Послали за извозчиком. Надя, уже в шляпе и пальто, пошла наверх, чтобы еще раз взглянуть на мать, на все свое; она постояла в своей комнате около постели, еще теплой, осмотрелась, потом пошла тихо к матери. Нина Ивановна спала, в комнате было тихо. Надя поцеловала мать и поправила ей волосы, постояла минуты две... Потом не спеша вернулась вниз.

На дворе шел сильный дождь. Извозчик с крытым верхом, весь мокрый, стоял у подъезда.

— Не поместишься с ним, Надя,— сказала бабушка, когда прислуга стала укладывать чемоданы.— И охота в такую погоду провожать! Оставалась бы дома. Ишь ведь дождь какой!

Надя хотела сказать что-то и не могла. Вот Саша подсадил Надю, укрыл ей ноги пледом. Вот и сам он поместился рядом.

— В добрый час! Господь благословит! — кричала с крыльца бабушка.— Ты же, Саша, пиши нам из Москвы!

— Ладно. Прощайте, бабуля!

— Сохрани тебя царица небесная!

— Ну, погодка! — проговорил Саша.

Надя теперь только заплакала. Теперь уже для нее ясно

А. П. Чехов

«ВИШНЕВЫЙ САД»

было, что она уедет непременно, чему она все-таки не верила, когда прощалась с бабушкой, когда глядела на мать. Прощай, город! И все ей вдруг припомнилось: и Андрей, и его отец, и новая квартира, и нагая дама с вазой; и все это уже не пугало, не тяготило, а было наивно, мелко и уходило все назад и назад. А когда сели в вагон и поезд тронулся, то все это прошлое, такое большое и серьезное, сжалось в комочек, и разворачивалось громадное, широкое будущее, которое до сих пор было так мало заметно. Дождь стучал в окна вагона, было видно только зеленое поле, мелькали телеграфные столбы да птицы на проволоках, и радость вдруг перехватила ей дыхание: она вспомнила, что она едет на волю, едет учиться, а это все равно, что когда-то очень давно называлось уходить в казачество. Она и смеялась, и плакала, и молилась.

— Ничего-о! — говорил Саша ухмыляясь.— Ничего-о!

VI

Прошла осень, за ней прошла зима. Надя уже сильно тосковала и каждый день думала о матери и о бабушке, думала о Саше. Письма из дому приходили тихие, добрые, и, казалось, все уже было прощено и забыто. В мае после экзаменов она, здоровая, веселая, поехала домой и на пути остановилась в Москве, чтобы повидаться с Сашей. Он был все такой же, как и прошлым летом: бородатый, со всклокоченной головой, все в том же сюртуке и парусинковых брюках, все с теми же большими, прекрасными глазами; но вид у него был нездоровый, замученный, он и постарел, и похудел, и все покашливал. И почему-то показался он Наде серым, провинциальным.

— Боже мой, Надя приехала! — сказал он и весело рассмеялся.— Родная моя, голубушка!

Посидели в литографии, где было накурено и сильно, до духоты, пахло тушью и красками; потом пошли в его комнату, где было накурено, наплевано; на столе возле остывшего самовара лежала разбитая тарелка с темной бумажкой, и на столе и на полу было множество мертвых мух. И тут было видно по всему, что личную жизнь свою Саша устроил неряшливо, жил как придется, с полным презрением к удобствам, и если бы кто-нибудь заговорил с ним об его личном счастье, об его личной жизни, о любви к нему, то он бы ничего не понял и только бы засмеялся.

— Ничего, все обошлось благополучно,— рассказывала Надя торопливо.— Мама приезжала ко мне осенью в Петербург, говорила, что бабушка не сердится, а только все ходит в мою комнату и крестит стены.

Саша глядел весело, но покашливал и говорил надтреснутым голосом, и Надя все вглядывалась в него и не понимала, болен ли он на самом деле серьезно или ей это только так кажется.

— Саша, дорогой мой,— сказала она,— а ведь вы больны!

— Нет, ничего: Болен, но не очень...

— Ах, боже мой,— заволновалась Надя,— отчего вы не лечитесь, отчего не бережете своего здоровья? Дорогой мой, милый Саша,— проговорила она, и слезы брызнули у нее из глаз, и почему-то в воображении ее выросли и Андрей Андреич, и голая дама с вазой, и все ее прошлое, которое казалось теперь таким же далеким, как детство; и заплакала она оттого, что Саша уже не казался ей таким новым, интеллигентным, интересным, как был в прошлом году.— Милый Саша, вы очень, очень больны. Я бы не знаю что сделала, чтобы вы не были так бледны и худы. Я вам так обязана! Вы не можете даже представить себе, как много вы сделали для меня, мой хороший Саша! В сущности, для меня вы теперь самый близкий, самый родной человек.

Они посидели, поговорили; и теперь, после того как Надя провела зиму в Петербурге, от Саши, от его слов, от улыбки и от всей его фигуры веяло чем-то отжитым, старомодным, давно спетым и, быть может, уже ушедшим в могилу.

— Я послезавтра на Волгу поеду,— сказал Саша,— ну, а потом на кумыс. Хочу кумыса попить. А со мной едет один приятель с женой. Жена удивительный человек; все сбиваю ее, уговариваю, чтоб она учиться пошла. Хочу, чтобы жизнь свою перевернула.

Поговоривши, поехали на вокзал. Саша угощал чаем, яблоками; а когда поезд тронулся и он, улыбаясь, помахивал платком, то даже по ногам его видно было, что он очень болен и едва ли проживет долго.

Приехала Надя в свой город в полдень. Когда она ехала с вокзала домой, то улицы казались ей очень широкими, а дома маленькими, приплюснутыми; людей не было, и только встретился немец-настройщик в рыжем пальто. И все дома точно пылью покрыты. Бабушка, совсем уже старая, по-прежнему полная и некрасивая, охватила Надю руками и долго плакала, прижавшись лицом к ее плечу, и не могла оторваться. Нина Ивановна тоже сильно постарела и подурнела, как-то осунулась вся, но все еще по-прежнему была затянута, и бриллианты блестели у нее на пальцах.

— Милая моя! — говорила она, дрожа всем телом.— Милая моя!

Потом сидели и молча плакали. Видно было, что и бабушка и мать чувствовали, что прошлое потеряно навсегда и безвозвратно: нет уже ни положения в обществе, ни прежней чести, ни

права приглашать к себе в гости; так бывает, когда среди легкой, беззаботной жизни вдруг нагрянет ночью полиция, сделает обыск, и хозяин дома, окажется, растратил, подделал,— и прощай тогда навеки легкая, беззаботная жизнь!

Надя пошла наверх и увидела ту же постель, те же окна с белыми, наивными занавесками, а в окнах тот же сад, залитый солнцем, веселый, шумный. Она потрогала свой стол, постель, посидела, подумала. И обедала хорошо, и пила чай со вкусными, жирными сливками, но чего-то уже не хватало, чувствовалась пустота в комнатах, и потолки были низки. Вечером она легла спать, укрылась, и почему-то было смешно лежать в этой теплой, очень мягкой постели.

Пришла на минутку Нина Ивановна, села, как садятся виноватые, робко и с оглядкой.

— Ну, как, Надя? — спросила она, помолчав.— Ты довольна? Очень довольна?

— Довольна, мама.

Нина Ивановна встала и перекрестила Надю и окна.

— А я, как видишь, стала религиозной,— сказала она.— Знаешь, я теперь занимаюсь философией и все думаю, думаю... И для меня теперь многое стало ясно, как день. Прежде всего надо, мне кажется, чтобы вся жизнь проходила как сквозь призму.

— Скажи, мама, как здоровье бабушки?

— Как будто бы ничего. Когда ты уехала тогда с Сашей и пришла от тебя телеграмма, то бабушка, как прочла, так и упала; три дня лежала без движения. Потом все богу молилась и плакала. А теперь ничего.

Она встала и прошлась по комнате.

«Тик-ток...— стучал сторож.— Тик-ток, тик-ток...»

— Прежде всего надо, чтобы вся жизнь проходила как бы сквозь призму,— сказала она,— то есть, другими словами, надо, чтобы жизнь в сознании делилась на простейшие элементы, как бы на семь основных цветов, и каждый элемент надо изучать в отдельности.

Что еще сказала Нина Ивановна и когда она ушла, Надя не слышала, так как скоро уснула.

Прошел май, настал июнь. Надя уже привыкла к дому. Бабушка хлопотала за самоваром, глубоко вздыхала; Нина Ивановна рассказывала по вечерам про свою философию; она по-прежнему проживала в доме, как приживалка, и должна была обращаться к бабушке за каждым двугривенным. Было много мух в доме, и потолки в комнатах, казалось, становились все ниже и ниже. Бабуля и Нина Ивановна не выходили на улицу из страха, чтобы им не встретились отец Андрей и Андрей Андреич. Надя ходила по саду, по улице, глядела на дома, на серые заборы, и ей

казалось, что в городе все давно уже состарилось, отжило и все только ждет не то конца, не то начала чего-то молодого, свежего. О, если бы поскорее наступила эта новая, ясная жизнь, когда можно будет прямо и смело смотреть в глаза своей судьбе, сознавать себя правым, быть веселым, свободным! А такая жизнь рано или поздно настанет! Ведь будет же время, когда от бабушкина дома, где все так устроено, что четыре прислуги иначе жить не могут, как только в одной комнате, в подвальном этаже, в нечистоте,— будет же время, когда от этого дома не останется и следа, и о нем забудут, никто не будет помнить. И Надю развлекали только мальчишки из соседнего двора; когда она гуляла по саду, они стучали в забор и дразнили ее со смехом:

— Невеста! Невеста!

Пришло из Саратова письмо от Саши. Своим веселым, танцующим почерком он писал, что путешествие по Волге ему удалось вполне, но что в Саратове он прихворнул немного, потерял голос и уже две недели лежит в больнице. Она поняла, что́ это значит, и предчувствие, похожее на уверенность, овладело ею. И ей было неприятно, что это предчувствие и мысли о Саше не волновали ее так, как раньше. Ей страстно хотелось жить, хотелось в Петербург, и знакомство с Сашей представлялось уже милым, но далеким, далеким прошлым! Она не спала всю ночь и утром сидела у окна, прислушивалась. И в самом деле, послышались голоса внизу; встревоженная бабушка стала о чем-то быстро спрашивать. Потом заплакал кто-то... Когда Надя сошла вниз, то бабушка стояла в углу и молилась, и лицо у нее было заплакано. На столе лежала телеграмма.

Надя долго ходила по комнате, слушая, как плачет бабушка, потом взяла телеграмму, прочла. Сообщалось, что вчера утром в Саратове от чахотки скончался Александр Тимофеич, или, попросту, Саша.

Бабушка и Нина Ивановна пошли в церковь заказывать панихиду, а Надя долго еще ходила по комнатам и думала. Она ясно сознавала, что жизнь ее перевернута, как хотел того Саша, что она здесь одинокая, чужая, ненужная и что все ей тут ненужно, все прежнее оторвано от нее и исчезло, точно сгорело и пепел разнесся по ветру. Она вошла в Сашину комнату, постояла тут.

«Прощай, милый Саша!» — думала она, и впереди ей рисовалась жизнь новая, широкая, просторная, и эта жизнь, еще неясная, полная тайн, увлекала и манила ее.

Она пошла к себе наверх укладываться, а на другой день утром простилась со своими и, живая, веселая, покинула город — как полагала, навсегда.

1903

ВИШНЕВЫЙ САД

Комедия в четырех действиях

ДЕЙСТВУЮЩИЕ ЛИЦА:

Раневская Любовь Андреевна, *помещица.*
Аня, *ее дочь, 17 лет.*
Варя, *ее приемная дочь, 24 лет.*
Гаев Леонид Андреевич, *брат Раневской.*
Лопахин Ермолай Алексеевич, *купец.*
Трофимов Петр Сергеевич, *студент.*
Симеонов-Пищик Борис Борисович, *помещик.*
Шарлотта Ивановна, *гувернантка.*
Епиходов Семен Пантелеевич, *конторщик.*
Дуняша, *горничная.*
Фирс, *лакей, старик 87 лет.*
Яша, *молодой лакей.*
Прохожий.
Начальник станции.
Почтовый чиновник.
Гости, прислуга.

Действие происходит в имении Л. А. Раневской.

ДЕЙСТВИЕ ПЕРВОЕ

Комната, которая до сих пор называется детскою. Одна из дверей ведет в комнату Ани. Рассвет, скоро взойдет солнце. Уже май, цветут вишневые деревья, но в саду холодно, утренник. Окна в комнате закрыты. Входят Дуняша со свечой и Лопахин с книгой в руке.

Лопахин. Пришел поезд, слава богу. Который час?

Дуняша. Скоро два. *(Тушит свечу.)* Уже светло.

Лопахин. На сколько же это опоздал поезд? Часа на два, по крайней мере. *(Зевает и потягивается.)* Я-то хорош, какого

дурака свалял! Нарочно приехал сюда, чтобы на станции встретить, и вдруг проспал... Сидя уснул. Досада... Хоть бы ты меня разбудила.

Дуняша. Я думала, что вы уехали. *(Прислушивается.)* Вот, кажется, уже едут.

Лопахин *(прислушивается)*. Нет... Багаж получить, то да се.

Пауза.

Любовь Андреевна прожила за границей пять лет, не знаю, какая она теперь стала... Хороший она человек. Легкий, простой человек. Помню, когда я был мальчонком лет пятнадцати, отец мой покойный — он тогда здесь на деревне в лавке торговал — ударил меня по лицу кулаком, кровь пошла из носу... Мы тогды вместе пришли зачем-то во двор, и он выпивши был. Любовь Андреевна, как сейчас помню, еще молоденькая, такая худенькая, подвела меня к рукомойнику, вот в этой самой комнате, в детской. «Не плачь, говорит, мужичок, до свадьбы заживет...»

Пауза.

Мужичок... Отец мой, правда, мужик был, а я вот в белой жилетке, желтых башмаках. Со свиным рылом в калашный ряд... Только что вот богатый, денег много, а ежели подумать и разобраться, то мужик мужиком... *(Перелистывает книгу.)* Читал вот книгу и ничего не понял. Читал и заснул.

Пауза.

Дуняша. А собаки всю ночь не спали, чуют, что хозяева едут.

Лопахин. Что ты, Дуняша, такая...

Дуняша. Руки трясутся. Я в обморок упаду.

Лопахин. Очень уж ты нежная, Дуняша. И одеваешься как барышня, и прическа тоже. Так нельзя. Надо себя помнить.

Входит Епиходов с букетом; он в пиджаке и в ярко вычищенных сапогах, которые сильно скрипят; войдя, он роняет букет.

Епиходов *(поднимает букет)*. Вот садовник прислал, говорит, в столовой поставить. *(Отдает Дуняше букет.)*

Лопахин. И квасу мне принесешь.

Дуняша. Слушаю. *(Уходит.)*

Епиходов. Сейчас утренник, мороз в три градуса, а вишня вся в цвету. Не могу одобрить нашего климата. *(Вздыхает.)* Не могу. Наш климат не может способствовать в самый раз. Вот,

Ермолай Алексеич, позвольте вам присовокупить, купил я себе третьего дня сапоги, а они, смею вас уверить, скрипят так, что нет никакой возможности. Чем бы смазать?

Лопахин. Отстань. Надоел.

Епиходов. Каждый день случается со мной какое-нибудь несчастье. И я не ропщу, привык и даже улыбаюсь.

Дуняша входит, подает Лопахину квас.

Я пойду. *(Натыкается на стул, который падает.)* Вот... *(Как бы торжествуя.)* Вот видите, извините за выражение, какое обстоятельство, между прочим... Это просто даже замечательно! *(Уходит.)*

Дуняша. А мне, Ермолай Алексеич, признаться, Епиходов предложение сделал.

Лопахин. А!

Дуняша. Не знаю уж как... Человек он смирный, а только иной раз как начнет говорить, ничего не поймешь. И хорошо, и чувствительно, только непонятно. Мне он как будто и нравится. Он меня любит безумно. Человек он несчастливый, каждый день что-нибудь. Его так и дразнят у нас: двадцать два несчастья...

Лопахин *(прислушивается)*. Вот, кажется, едут...

Дуняша. Едут! Что ж это со мной... похолодела вся.

Лопахин. Едут, в самом деле. Пойдем встречать. Узнает ли она меня? Пять лет не видались.

Дуняша *(в волнении)*. Я сейчас упаду... Ах, упаду!

Слышно, как к дому подъезжают два экипажа. Лопахин и Дуняша быстро уходят. Сцена пуста. В соседних комнатах начинается шум. Через сцену, опираясь на палочку, торопливо проходит Фирс, ездивший встречать Любовь Андреевну; он в старинной ливрее и в высокой шляпе; что-то говорит сам с собой, но нельзя разобрать ни одного слова. Шум за сценой все усиливается. Голос: «Вот пройдемте здесь...» Любовь Андреевна, Аня и Шарлотта Ивановна с собачкой на цепочке, одетые по-дорожному, Варя в пальто и платке, Гаев, Симеонов-Пищик, Лопахин, Дуняша с узлом и зонтиком, прислуга с вещами — все идут через комнату.

Аня. Пройдемте здесь. Ты, мама, помнишь, какая это комната?

Любовь Андреевна *(радостно, сквозь слезы)*. Детская!

Варя. Как холодно, у меня руки закоченели. *(Любови Андреевне.)* Ваши комнаты, белая и фиолетовая, такими же и остались, мамочка.

Любовь Андреевна. Детская, милая моя, прекрасная комната... Я тут спала, когда была маленькой... *(Плачет.)* И теперь я как маленькая... *(Целует брата, Варю, потом опять брата.)* А Варя по-прежнему все такая же, на монашку похожа. И Дуняшу я узнала... *(Целует Дуняшу.)*

Гаев. Поезд опоздал на два часа. Каково? Каковы порядки?

Шарлотта *(Пищику)*. Моя собака и орехи кушает.

Пищик *(удивленно)*. Вы подумайте!

Уходят все, кроме Ани и Дуняши.

Дуняша. Заждались мы... *(Снимает с Ани пальто, шляпу.)*

Аня. Я не спала в дороге четыре ночи... теперь озябла очень.

Дуняша. Вы уехали в великом посту, тогда был снег, был мороз, а теперь? Милая моя! *(Смеется, целует ее.)* Заждалась вас, радость моя, светик... Я скажу вам сейчас, одной минутки не могу утерпеть...

Аня *(вяло)*. Опять что-нибудь...

Дуняша. Конторщик Епиходов после святой мне предложение сделал.

Аня. Ты все об одном... *(Поправляет волосы.)* Я растеряла все шпильки... *(Она очень утомлена, даже пошатывается.)*

Дуняша. Уж я не знаю, что и думать. Он меня любит, так любит!

Аня *(глядит в свою дверь, нежно)*. Моя комната, мои окна, как будто я не уезжала. Я дома! Завтра утром встану, побегу в сад... О, если бы я могла уснуть! Я не спала всю дорогу, томило меня беспокойство.

Дуняша. Третьего дня Петр Сергеич приехали.

Аня *(радостно)*. Петя!

Дуняша. В бане спят, там и живут. Боюсь, говорят, стеснить. *(Взглянув на свои карманные часы.)* Надо бы их разбудить, да Варвара Михайловна не велела. Ты, говорит, его не буди.

Входит Варя, на поясе у нее вязка ключей.

Варя. Дуняша, кофе поскорей... Мамочка кофе просит.

Дуняша. Сию минуточку. *(Уходит.)*

Варя. Ну, слава богу, приехали. Опять ты дома. *(Ласкаясь.)* Душечка моя приехала! Красавица приехала!

Аня. Натерпелась я.

Варя. Воображаю!

Аня. Выехала на страстной неделе, тогда было холодно. Шарлотта всю дорогу говорит, представляет фокусы. И зачем ты навязала мне Шарлотту...

Варя. Нельзя же тебе одной ехать, душечка. В семнадцать лет!

Аня. Приезжаем в Париж, там холодно, снег. По-французски говорю я ужасно. Мама живет на пятом этаже, прихожу к ней, у нее какие-то французы, дамы, старый патер с книжкой, и накурено, неуютно. Мне вдруг стало жаль мамы, так жаль, я обняла ее голову, сжала руками и не могу выпустить. Мама потом все ласкалась, плакала...

Варя *(сквозь слезы)*. Не говори, не говори...

Аня. Дачу свою около Ментоны она уже продала, у нее ничего не осталось, ничего. У меня тоже не осталось ни копейки, едва доехали. И мама не понимает! Сядем на вокзале обедать, и она требует самое дорогое и на чай лакеям дает по рублю. Шарлотта тоже. Яша тоже требует себе порцию, просто ужасно. Ведь у мамы лакей Яша, мы привезли его сюда...

Варя. Видела подлеца.

Аня. Ну что, как? Заплатили проценты?

Варя. Где там.

Аня. Боже мой, боже мой...

Варя. В августе будут продавать имение...

Аня. Боже мой...

Лопахин *(заглядывает в дверь и мычит)*. Ме-е-е... *(Уходит.)*

Варя *(сквозь слезы)*. Вот так бы и дала ему... *(Грозит кулаком.)*

Аня *(обнимает Варю, тихо)*. Варя, он сделал предложение? *(Варя отрицательно качает головой.)* Ведь он же тебя любит... Отчего вы не объяснитесь, чего вы ждете?

Варя. Я так думаю, ничего у нас не выйдет. У него дела много, ему не до меня... и внимания не обращает. Бог с ним совсем, тяжело мне его видеть... Все говорят о нашей свадьбе, все поздравляют, а на самом деле ничего нет, все как сон... *(Другим тоном.)* У тебя брошка вроде как пчелка.

Аня *(печально)*. Это мама купила. *(Идет в свою комнату, говорит весело, по-детски.)* А в Париже я на воздушном шаре летала!

Варя. Душечка моя приехала! Красавица приехала!

Дуняша уже вернулась с кофейником и варит кофе.

(Стоит около двери.) Хожу я, душечка, цельный день по хозяйству и все мечтаю. Выдать бы тебя за богатого человека, и я бы тогда была покойной, пошла бы себе в пустынь, потом в Киев...* в Москву, и так бы все ходила по святым местам... Ходила бы и ходила. Благолепие!..

Аня. Птицы поют в саду. Который теперь час?

Варя. Должно, третий. Тебе пора спать, душечка. *(Входя в комнату к Ане.)* Благолепие!

Входит Яша с пледом, дорожной сумочкой.

Яша *(идет через сцену, деликатно)*. Тут можно пройти-с?

Дуняша. И не узнаешь вас, Яша. Какой вы стали за границей.

Яша. Гм... А вы кто?

Дуняша. Когда вы уезжали отсюда, я была этакой...

(Показывает от пола.) Дуняша, Федора Козоедова дочь. Вы не помните!

Яша. Гм... Огурчик! *(Оглядывается и обнимает ее; она вскрикивает и роняет блюдечко.)*

Яша быстро уходит.

Варя *(в дверях, недовольным голосом)*. Что еще тут?

Дуняша *(сквозь слезы)*. Блюдечко разбила...

Варя. Это к добру.

Аня *(выйдя из своей комнаты)*. Надо бы маму предупредить: Петя здесь...

Варя. Я приказала его не будить.

Аня *(задумчиво)*. Шесть лет тому назад умер отец, через месяц утонул в реке брат Гриша, хорошенький семилетний мальчик. Мама не перенесла, ушла, ушла без оглядки... *(Вздрагивает.)* Как я ее понимаю, если бы она знала!

Пауза.

А Петя Трофимов был учителем Гриши, он может напомнить...

Входит Фирс, он в пиджаке и белом жилете.

Фирс *(идет к кофейнику, озабоченно)*. Барыня здесь будут кушать... *(Надевает белые перчатки.)* Готов кофий? *(Строго, Дуняше.)* Ты! А сливки?

Дуняша. Ах, боже мой... *(Быстро уходит.)*

Фирс *(хлопочет около кофейника)*. Эх ты, недотепа... *(Бормочет про себя.)* Приехали из Парижа... И барин когда-то ездил в Париж... на лошадях... *(Смеется.)*

Варя. Фирс, ты о чем?

Фирс. Чего изволите? *(Радостно.)* Барыня моя приехала! Дождался! Теперь хоть и помереть... *(Плачет от радости.)*

Входят Любовь Андреевна, Гаев, Лопахин и Симеонов-Пищик; Симеонов-Пищик в поддевке из тонкого сукна и шароварах. Гаев, входя, руками и туловищем делает движение, как будто играет на бильярде.

Любовь Андреевна. Как это? Дай-ка вспомнить... Желтого в угол! Дуплет в середину!*

Гаев. Режу в угол! Когда-то мы с тобой, сестра, спали вот в этой самой комнате, а теперь мне уже пятьдесят один год, как это ни странно...

Лопахин. Да, время идет.

Гаев. Кого?

Лопахин. Время, говорю, идет.

Гаев. А здесь пачулями* пахнет.

Аня. Я спать пойду. Спокойной ночи, мама. *(Целует мать.)*

Любовь Андреевна. Ненаглядная дитюся моя. *(Целует ей руки.)* Ты рада, что ты дома? Я никак в себя не приду.

Аня. Прощай, дядя.

Гаев (*целует ей лицо, руки*). Господь с тобой. Как ты похожа на свою мать! (*Сестре.*) Ты, Люба, в ее годы была точно такая.

Аня подает руку Лопахину и Пищику, уходит и затворяет за собой дверь.

Любовь Андреевна. Она утомилась очень.

Пищик. Дорога небось длинная.

Варя (*Лопахину и Пищику*). Что ж, господа? Третий час, пора и честь знать.

Любовь Андреевна (*смеется*). Ты все такая же, Варя. (*Привлекает ее к себе и целует.*) Вот выпью кофе, тогда все уйдем.

Фирс кладет ей под ноги подушечку.

Спасибо, родной. Я привыкла к кофе. Пью его и днем и ночью. Спасибо, мой старичок. (*Целует Фирса.*)

Варя. Поглядеть, все ли вещи привезли... (*Уходит.*)

Любовь Андреевна. Неужели это я сижу? (*Смеется.*) Мне хочется прыгать, размахивать руками. (*Закрывает лицо руками.*) А вдруг я сплю! Видит бог, я люблю родину, люблю нежно, я не могла смотреть из вагона, все плакала. (*Сквозь слезы.*) Однако же надо пить кофе. Спасибо тебе, Фирс, спасибо, мой старичок. Я так рада, что ты еще жив.

Фирс. Позавчера.

Гаев. Он плохо слышит.

Лопахин. Мне сейчас, в пятом часу утра, в Харьков ехать. Такая досада! Хотелось поглядеть на вас, поговорить... Вы все такая же великолепная.

Пищик (*тяжело дышит*). Даже похорошела... Одета по-парижскому... пропадай моя телега, все четыре колеса...

Лопахин. Ваш брат, вот Леонид Андреич, говорит про меня, что я хам, я кулак, но это мне решительно все равно. Пускай говорит. Хотелось бы только, чтобы вы мне верили по-прежнему, чтобы ваши удивительные, трогательные глаза глядели на меня, как прежде. Боже милосердный! Мой отец был крепостным у вашего деда и отца, но вы, собственно вы, сделали для меня когда-то так много, что я забыл все и люблю вас, как родную... больше, чем родную.

Любовь Андреевна. Я не могу усидеть, не в состоянии... (*Вскакивает и ходит в сильном волнении.*) Я не переживу этой радости... Смейтесь надо мной, я глупая... Шкафик мой родной... (*Целует шкаф.*) Столик мой.

Гаев. А без тебя тут няня умерла.

Любовь Андреевна (*садится и пьет кофе*). Да, царство небесное. Мне писали.

Гаев. И Анастасий умер. Петрушка Косой от меня ушел и

теперь в городе у пристава живет. *(Вынимает из кармана коробку с леденцами, сосет.)*

Пищик. Дочка моя, Дашенька... вам кланяется...

Лопахин. Мне хочется сказать вам что-нибудь очень приятное, веселое. *(Взглянув на часы.)* Сейчас уеду, некогда разговаривать... ну, да я в двух-трех словах. Вам уже известно, вишневый сад ваш продается за долги, на двадцать второе августа назначены торги, но вы не беспокойтесь, моя дорогая, спите себе спокойно, выход есть... Вот мой проект. Прошу внимания! Ваше имение находится только в двадцати верстах от города, возле прошла железная дорога, и если вишневый сад и землю по реке разбить на дачные участки и отдавать потом в аренду под дачи, то вы будете иметь самое малое двадцать пять тысяч в год дохода.

Гаев. Извините, какая чепуха!

Любовь Андреевна. Я вас не совсем понимаю, Ермолай Алексеич.

Лопахин. Вы будете брать с дачников самое малое по двадцать пять рублей в год за десятину, и если теперь же объявите, то, я ручаюсь чем угодно, у вас до осени не останется ни одного свободного клочка, все разберут. Одним словом, поздравляю, вы спасены. Местоположение чудесное, река глубокая. Только, конечно, нужно поубрать, почистить... например, скажем, снести все старые постройки, вот этот дом, который уже никуда не годится, вырубить старый вишневый сад...

Любовь Андреевна. Вырубить? Милый мой, простите, вы ничего не понимаете. Если во всей губернии есть что-нибудь интересное, даже замечательное, так это только наш вишневый сад.

Лопахин. Замечательного в этом саду только то, что он очень большой. Вишня родится раз в два года, да и ту девать некуда, никто не покупает.

Гаев. И в «Энциклопедическом словаре» упоминается про этот сад.

Лопахин *(взглянув на часы)*. Если ничего не придумаем и ни к чему не придем, то двадцать второго августа и вишневый сад и все имение будут продавать с аукциона*. Решайтесь же! Другого выхода нет, клянусь вам. Нет и нет.

Фирс. В прежнее время, лет сорок — пятьдесят назад, вишню сушили, мочили, мариновали, варенье варили, и, бывало...

Гаев. Помолчи, Фирс.

Фирс. И, бывало, сушеную вишню возами отправляли в Москву и в Харьков. Денег было! И сушеная вишня тогда была мягкая, сочная, сладкая, душистая... Способ тогда знали...

Любовь Андреевна. А где же теперь этот способ?

Фирс. Забыли. Никто не помнит.

Пищик (*Любови Андреевне*). Что в Париже? Как? Ели лягушек?

Любовь Андреевна. Крокодилов ела.

Пищик. Вы подумайте...

Лопахин. До сих пор в деревне были только господа и мужики, а теперь появились еще дачники. Все города, даже самые небольшие, окружены теперь дачами. И можно сказать, дачник лет через двадцать размножится до необычайности. Теперь он только чай пьет на балконе, но ведь может случиться, что на своей одной десятине он займется хозяйством, и тогда ваш вишневый сад станет счастливым, богатым, роскошным...

Гаев (*возмущаясь*). Какая чепуха!

Входят Варя и Яша.

Варя. Тут, мамочка, вам две телеграммы. (*Выбирает ключ и со звоном отпирает старинный шкаф.*) Вот они.

Любовь Андреевна. Это из Парижа. (*Рвет телеграммы, не прочитав.*) С Парижем кончено...

Гаев. А ты знаешь, Люба, сколько этому шкафу лет? Неделю назад я выдвинул нижний ящик, гляжу, а там выжжены цифры. Шкаф сделан ровно сто лет тому назад. Каково? Можно было бы юбилей отпраздновать. Предмет неодушевленный, а все-таки как-никак книжный шкаф.

Пищик (*удивленно*). Сто лет... Вы подумайте!..

Гаев. Да... Это вещь... (*Ощупав шкаф.*) Дорогой, многоуважаемый шкаф! Приветствую твое существование, которое вот уже больше ста лет было направлено к светлым идеалам добра и справедливости; твой молчаливый призыв к плодотворной работе не ослабевал в течение ста лет, поддерживая (*сквозь слезы*) в поколениях нашего рода бодрость, веру в лучшее будущее и воспитывая в нас идеалы добра и общественного самосознания.

Пауза.

Лопахин. Да...

Любовь Андреевна. Ты все такой же, Леня.

Гаев (*немного сконфуженный*). От шара направо в угол! Режу в среднюю!

Лопахин (*поглядев на часы*). Ну, мне пора.

Яша (*подает Любови Андреевне лекарства*). Может, примете сейчас пилюли...

Пищик. Не надо принимать медикаменты, милейшая... от них ни вреда, ни пользы... Дайте-ка сюда... многоуважаемая. (*Берет пилюли, высыпает их себе на ладонь, дует на них, кладет в рот и запивает квасом.*) Вот!

Любовь Андреевна (*испуганно*). Да вы с ума сошли!

Пищик. Все пилюли принял.

Лопахин. Экая прорва.

Все смеются.

Фирс. Они были у нас на святой, полведра огурцов скушали... *(Бормочет.)*

Любовь Андреевна. О чем это он?

Варя. Уж три года так бормочет. Мы привыкли.

Яша. Преклонный возраст.

Шарлотта Ивановна в белом платье, очень худая, стянутая, с лорнеткой на поясе проходит через сцену.

Лопахин. Простите, Шарлотта Ивановна, я не успел еще поздороваться с вами. *(Хочет поцеловать у нее руку.)*

Шарлотта *(отнимая руку)*. Если позволить вам поцеловать руку, то вы потом пожелаете в локоть, потом в плечо...

Лопахин. Не везет мне сегодня.

Все смеются.

Шарлотта Ивановна, покажите фокус!

Любовь Андреевна. Шарлотта, покажите фокус!

Шарлотта. Не надо. Я спать желаю. *(Уходит.)*

Лопахин. Через три недели увидимся. *(Целует Любови Андреевне руку.)* Пока прощайте. Пора. *(Гаеву.)* До свиданция. *(Целуется с Пищиком.)* До свиданция. *(Подает руку Варе, потом Фирсу и Яше.)* Не хочется уезжать. *(Любови Андреевне.)* Ежели надумаете насчет дач и решите, тогда дайте знать, я взаймы тысяч пятьдесят достану. Серьезно подумайте.

Варя *(сердито)*. Да уходите же, наконец!

Лопахин. Ухожу, ухожу... *(Уходит.)*

Гаев. Хам. Впрочем, пардон... Варя выходит за него замуж, это Варин женишок.

Варя. Не говорите, дядечка, лишнего.

Любовь Андреевна. Что ж, Варя, я буду очень рада. Он хороший человек.

Пищик. Человек, надо правду говорить... достойнейший... И моя Дашенька... тоже говорит, что... разные слова говорит. *(Храпит, но тотчас же просыпается.)* А все-таки, многоуважаемая, одолжите мне... взаймы двести сорок рублей... завтра по закладной проценты платить...

Варя *(испуганно)*. Нету, нету!

Любовь Андреевна. У меня в самом деле нет ничего.

Пищик. Найдутся. *(Смеется.)* Не теряю никогда надежды. Вот, думаю, уж все пропало, погиб, ан глядь,— железная дорога по моей земле прошла, и... мне заплатили. А там, гляди, еще что-нибудь случится не сегодня-завтра... Двести тысяч выиграет Дашенька... у нее билет есть.

Любовь Андреевна. Кофе выпит, можно на покой.

Фирс (*чистит щеткой Гаева, наставительно*). Опять не те брючки надели. И что мне с вами делать!

Варя (*тихо*). Аня спит. (*Тихо отворяет окно.*) Уже взошло солнце, не холодно. Взгляните, мамочка: какие чудесные деревья! Боже мой, воздух! Скворцы поют!

Гаев (*отворяет другое окно*). Сад весь белый. Ты не забыла, Люба? Вот эта длинная аллея идет прямо, прямо, точно протянутый ремень, она блестит в лунные ночи. Ты помнишь? Не забыла?

Любовь Андреевна (*глядит в окно на сад*). О мое детство, чистота моя! В этой детской я спала, глядела отсюда на сад, счастье просыпалось вместе со мною каждое утро, и тогда он был точно таким, ничто не изменилось. (*Смеется от радости.*) Весь, весь белый! О, сад мой! После темной ненастной осени и холодной зимы опять ты молод, полон счастья, ангелы небесные не покинули тебя... Если бы снять с груди и с плеч моих тяжелый камень, если бы я могла забыть мое прошлое!

Гаев. Да и сад продадут за долги, как это ни странно...

Любовь Андреевна. Посмотрите, покойная мама идет по саду... в белом платье! (*Смеется от радости.*) Это она.

Гаев. Где?

Варя. Господь с вами, мамочка.

Любовь Андреевна. Никого нет, мне показалось. Направо, на повороте к беседке, белое деревцо склонилось, похоже на женщину...

Входит Трофимов в поношенном студенческом мундире, в очках.

Какой изумительный сад! Белые массы цветов, голубое небо...

Трофимов. Любовь Андреевна!

Она оглянулась на него.

Я только поклонюсь вам и тотчас же уйду. (*Горячо целует руку.*) Мне приказано было ждать до утра, но у меня не хватило терпения...

Любовь Андреевна глядит с недоумением.

Варя (*сквозь слезы*). Это Петя Трофимов...

Трофимов. Петя Трофимов, бывший учитель вашего Гриши... Неужели я так изменился?

Любовь Андреевна обнимает его и тихо плачет.

Гаев (*смущенно*). Полно, полно, Люба.

Варя (*плачет*). Говорила ведь, Петя, чтобы погодили до завтра.

Любовь Андреевна. Гриша мой... мой мальчик... Гриша... сын...

Варя. Что же делать, мамочка. Воля божья.

Трофимов *(мягко, сквозь слезы)*. Будет, будет...

Любовь Андреевна *(тихо плачет)*. Мальчик погиб, утонул... Для чего? Для чего, мой друг? *(Тише.)* Там Аня спит, а я громко говорю... поднимаю шум... Что же, Петя? Отчего вы так подурнели? Отчего постарели?

Трофимов. Меня в вагоне одна баба назвала так: облезлый барин.

Любовь Андреевна. Вы были тогда совсем мальчиком, милым студентиком, а теперь волосы негустые, очки. Неужели вы все еще студент? *(Идет к двери.)*

Трофимов. Должно быть, я буду вечным студентом.

Любовь Андреевна *(целует брата, потом Варю)*. Ну, идите спать. Постарел и ты, Леонид.

Пищик *(идет за ней.)* Значит, теперь спать... Ох, подагра моя. Я у вас останусь. Мне бы, Любовь Андреевна, душа моя, завтра утречком... двести сорок рублей...

Гаев. А этот все свое.

Пищик. Двести сорок рублей... проценты по закладной платить.

Любовь Андреевна. Нет у меня денег, голубчик.

Пищик. Отдам, милая... Сумма пустяшная...

Любовь Андреевна. Ну, хорошо, Леонид даст... Ты дай, Леонид.

Гаев. Дам я ему, держи карман.

Любовь Андреевна. Что же делать, дай... Ему нужно... Он отдаст.

Любовь Андреевна, Трофимов, Пищик и Фирс уходят. Остаются Гаев, Варя и Яша.

Гаев. Сестра не отвыкла еще сорить деньгами. *(Яше.)* Отойди, любезный, от тебя курицей пахнет.

Яша *(с усмешкой)*. А вы, Леонид Андреич, все такой же, как были.

Гаев. Кого? *(Варе.)* Что он сказал?

Варя *(Яше)*. Твоя мать пришла из деревни, со вчерашнего дня сидит в людской, хочет повидаться...

Яша. Бог с ней совсем!

Варя. Ах, бесстыдник!

Яша. Очень нужно. Могла бы и завтра прийти. *(Уходит.)*

Варя. Мамочка такая же, как была, нисколько не изменилась. Если бы ей волю, она бы все раздала.

Гаев. Да...

Пауза.

Если против какой-нибудь болезни предлагается очень много средств, то это значит, что болезнь неизлечима. Я думаю, напря-

гаю мозги, у меня много средств, очень много и, значит, в сущности, ни одного. Хорошо бы получить от кого-нибудь наследство, хорошо бы выдать нашу Аню за очень богатого человека, хорошо бы поехать в Ярославль и попытать счастья у тетушки-графини. Тетка ведь очень, очень богата.

Варя *(плачет)*. Если бы бог помог.

Гаев. Не реви. Тетка очень богата, но нас она не любит. Сестра, во-первых, вышла замуж за присяжного поверенного*, недворянина...

Аня показывается в дверях.

Вышла за недворянина и вела себя нельзя сказать чтобы очень добродетельно. Она хорошая, добрая, славная, я ее очень люблю, но, как там ни придумывай смягчающие обстоятельства, все же, надо сознаться, она порочна. Это чувствуется в ее малейшем движении.

Варя *(шепотом)*. Аня стоит в дверях.

Гаев. Кого?

Пауза.

Удивительно, мне что-то в правый глаз попало... плохо стал видеть. И в четверг, когда я был в окружном суде...

Входит Аня.

Варя. Что же ты не спишь, Аня?

Аня. Не спится. Не могу.

Гаев. Крошка моя. *(Целует Ане лицо, руки.)* Дитя мое... *(Сквозь слезы.)* Ты не племянница, ты мой ангел, ты для меня все. Верь мне, верь...

Аня. Я верю тебе, дядя. Тебя все любят, уважают... но, милый дядя, тебе надо молчать, только молчать. Что ты говорил только что про мою маму, про свою сестру? Для чего ты это говорил?

Гаев. Да, да... *(Ее рукой закрывает себе лицо.)* В самом деле, это ужасно! Боже мой! Боже, спаси меня! И сегодня я речь говорил перед шкафом... так глупо! И только когда кончил, понял, что глупо.

Варя. Правда, дядечка, вам надо бы молчать. Молчите себе, и всё.

Аня. Если будешь молчать, то тебе же самому будет покойнее.

Гаев. Молчу. *(Целует Ане и Варе руки.)* Молчу. Только вот о деле. В четверг я был в окружном суде, ну, сошлась компания, начался разговор о том о сем, пятое-десятое, и, кажется, вот можно будет устроить заем под векселя*, чтобы заплатить проценты в банк.

Варя. Если бы господь помог!

Гаев. Во вторник поеду, еще раз поговорю. *(Варе.)* Не реви. *(Ане.)* Твоя мама поговорит с Лопахиным; он, конечно, ей не откажет... А ты, как отдохнешь, поедешь в Ярославль к графине, твоей бабушке. Вот так и будем действовать с трех концов — и дело наше в шляпе. Проценты мы заплатим, я убежден... *(Кладет в рот леденец.)* Честью моей, чем хочешь, клянусь, имение не будет продано! *(Возбужденно.)* Счастьем моим клянусь! Вот тебе моя рука, назови меня тогда дрянным, бесчестным человеком, если я допущу до аукциона! Всем существом моим клянусь!

Аня *(спокойное настроение вернулось к ней, она счастлива).* Какой ты хороший, дядя, какой умный! *(Обнимает дядю.)* Я теперь покойна! Я покойна! Я счастлива!

Входит Фирс.

Фирс *(укоризненно).* Леонид Андреич, бога вы не боитесь! Когда же спать?

Гаев. Сейчас, сейчас. Ты уходи, Фирс. Я уж, так и быть, сам разденусь. Ну, детки, бай-бай... Подробности завтра, а теперь идите спать. *(Целует Аню и Варю.)* Я человек восьмидесятых годов... Не хвалят это время, но все же могу сказать, за убеждения мне доставалось немало в жизни. Недаром меня мужик любит. Мужика надо знать! Надо знать, с какой...

Аня. Опять ты, дядя!

Варя. Вы, дядечка, молчите.

Фирс *(сердито).* Леонид Андреич!

Гаев. Иду, иду... Ложитесь. От двух бортов в середину! Кладу чистого...* *(Уходит, за ним семенит Фирс.)*

Аня. Я теперь покойна. В Ярославль ехать не хочется, я не люблю бабушку, но все же я покойна. Спасибо дяде. *(Садится.)*

Варя. Надо спать. Пойду. А тут без тебя было неудовольствие. В старой людской, как тебе известно, живут одни старые слуги: Ефимьюшка, Поля, Евстигней, ну и Карп. Стали они пускать к себе ночевать каких-то проходимцев — я промолчала. Только вот, слышу, распустили слух, будто я велела кормить их одним только горохом. От скупости, видишь ли... И это все Евстигней... Хорошо, думаю. Коли так, думаю, то погоди же. Зову я Евстигнея... *(Зевает.)* Приходит... Как же ты, говорю, Евстигней... дурак ты этакой... *(Поглядев на Аню.)* Анечка!..

Пауза.

Заснула!.. *(Берет Аню под руку.)* Пойдем в постельку... Пойдем!.. *(Ведет ее.)* Душечка моя уснула! Пойдем...

Идут.

Далеко за садом пастух играет на свирели. Трофимов идет через сцену и, увидев Варю и Аню, останавливается.

Тсс... Она спит... спит... Пойдем, родная.

Аня (*тихо, в полусне*). Я так устала... все колокольчики... Дядя... милый... и мама и дядя...

Варя. Пойдем, родная, пойдем... (*Уходит в комнату Ани.*)

Трофимов (*в умилении*). Солнышко мое! Весна моя!

Занавес

ДЕЙСТВИЕ ВТОРОЕ

Поле. Старая, покривившаяся, давно заброшенная часовенка, возле нее колодец, большие камни, когда-то бывшие, по-видимому, могильными плитами, и старая скамья. Видна дорога в усадьбу Гаева. В стороне, возвышаясь, темнеют тополи: там начинается вишневый сад. Вдали ряд телеграфных столбов, и далеко-далеко на горизонте неясно обозначается большой город, который бывает виден только в очень хорошую, ясную погоду. Скоро сядет солнце. Шарлотта, Яша и Дуняша сидят на скамье; Епиходов стоит возле и играет на гитаре; все сидят задумавшись. Шарлотта в старой фуражке; она сняла с плеч ружье и поправляет пряжку на ремне.

Шарлотта (*в раздумье*). У меня нет настоящего паспорта, я не знаю, сколько мне лет, и мне все кажется, что я молоденькая. Когда я была маленькой девочкой, то мой отец и мамаша ездили по ярмаркам и давали представления, очень хорошие. А я прыгала salto mortale[1] и разные штучки. И когда папаша и мамаша умерли, меня взяла к себе одна немецкая госпожа и стала меня учить. Хорошо. Я выросла, потом пошла в гувернантки. А откуда я и кто я — не знаю. Кто мои родители, может, они не венчались... не знаю. (*Достает из кармана огурец и ест.*) Ничего не знаю.

Пауза.

Так хочется поговорить, а не с кем... Никого у меня нет.

Епиходов (*играет на гитаре и поет*). «Что мне до шумного света, что мне друзья и враги...» Как приятно играть на мандолине!

Дуняша. Это гитара, а не мандолина. (*Глядится в зеркальце и пудрится.*)

Епиходов. Для безумца, который влюблен, это мандолина... (*Напевает.*) «Было бы сердце согрето жаром взаимной любви...»

Яша подпевает.

Шарлотта. Ужасно поют эти люди... фуй! Как шакалы.

Дуняша (*Яше*). Все-таки какое счастье побывать за границей.

Яша. Да, конечно. Не могу с вами не согласиться. (*Зевает, потом закуривает сигару.*)

---

[1] Сальто-мортале (*итал.*); буквально: смертельный прыжок, сложный прыжок акробата, при котором его тело описывает в воздухе круг.

Епиходов. Понятное дело. За границей все давно уж в полной комплекции.

Яша. Само собой.

Епиходов. Я развитой человек, читаю разные замечательные книги, но никак не могу понять направления, чего мне, собственно, хочется, жить мне или застрелиться, собственно говоря, но тем не менее я всегда ношу при себе револьвер. Вот он... *(Показывает револьвер.)*

Шарлотта. Кончила. Теперь пойду. *(Надевает ружье.)* Ты, Епиходов, очень умный человек и очень страшный; тебя должны безумно любить женщины. Брррр! *(Идет.)* Эти умники все такие глупые, не с кем мне поговорить... Все одна, одна, никого у меня нет и... и кто я, зачем я, неизвестно... *(Уходит не спеша.)*

Епиходов. Собственно говоря, не касаясь других предметов, я должен выразиться о себе, между прочим, что судьба относится ко мне без сожаления, как буря к небольшому кораблю. Если, допустим, я ошибаюсь, тогда зачем же сегодня утром я просыпаюсь, к примеру сказать, гляжу, а у меня на груди страшной величины паук... Вот такой. *(Показывает обеими руками.)* И тоже квасу возьмешь, чтобы напиться, а там, глядишь, что-нибудь в высшей степени неприличное, вроде таракана.

Пауза.

Вы читали Бокля?

Пауза.

Я желаю побеспокоить вас, Авдотья Федоровна, на пару слов.

Дуняша. Говорите.

Епиходов. Мне бы желательно с вами наедине... *(Вздыхает.)*

Дуняша *(смущенно)*. Хорошо... только сначала принесите мне мою тальмочку...* Она около шкапа... Тут немножко сыро...

Епиходов. Хорошо-с... принесу-с... Теперь я знаю, что мне делать с моим револьвером... *(Берет гитару и уходит наигрывая.)*

Яша. Двадцать два несчастья! Глупый человек, между нами говоря. *(Зевает.)*

Дуняша. Не дай бог, застрелится.

Пауза.

Я стала тревожная, все беспокоюсь. Меня еще девочкой взяли к господам, я теперь отвыкла от простой жизни, и вот руки белые-белые, как у барышни. Нежная стала, такая деликатная, благородная, всего боюсь... Страшно так. И если вы, Яша, обманете меня, то я не знаю, что будет с моими нервами.

Яша *(целует ее)*. Огурчик! Конечно, каждая девушка должна себя помнить, и я больше всего не люблю, ежели девушка дурного поведения.

Дуняша. Я страстно полюбила вас, вы образованный, можете обо всем рассуждать.

Пауза.

Яша *(зевает)*. Да-с... По-моему, так: ежели девушка кого любит, то она, значит, безнравственная.

Пауза.

Приятно выкурить сигару на чистом воздухе... *(Прислушивается.)* Сюда идут... Это господа...

Дуняша порывисто обнимает его.

Идите домой, будто ходили на реку купаться, идите этой дорожкой, а то встретятся и подумают про меня, будто я с вами на свидании. Терпеть этого не могу.

Дуняша *(тихо кашляет)*. У меня от сигары голова разболелась... *(Уходит.)*

Яша остается, сидит возле часовни. Входит Любовь Андреевна, Гаев и Лопахин.

Лопахин. Надо окончательно решить,— время не ждет. Вопрос ведь совсем пустой. Согласны вы отдать землю под дачи или нет? Ответьте одно слово: да или нет? Только одно слово!

Любовь Андреевна. Кто это здесь курит отвратительные сигары... *(Садится.)*

Гаев. Вот железную дорогу построили, и стало удобно. *(Садится.)* Съездили в город и позавтракали... желтого в середину! Мне бы сначала пойти в дом, сыграть одну партию...

Любовь Андреевна. Успеешь.

Лопахин. Только одно слово! *(Умоляюще.)* Дайте же мне ответ!

Гаев *(зевая)*. Кого?

Любовь Андреевна *(глядит в свое портмоне)*. Вчера было много денег, а сегодня совсем мало. Бедная моя Варя из экономии кормит всех молочным супом, на кухне старикам дают один горох, а я трачу как-то бессмысленно. *(Уронила портмоне, рассыпала золотые.)* Ну, посыпались... *(Ей досадно.)*

Яша. Позвольте, я сейчас подберу. *(Собирает монеты.)*

Любовь Андреевна. Будьте добры, Яша. И зачем я поехала завтракать... Дрянной ваш ресторан с музыкой, скатерти пахнут мылом... Зачем так много пить, Леня? Зачем так много есть? Зачем так много говорить? Сегодня в ресторане ты говорил опять много и все некстати. О семидесятых годах, о декадентах. И кому? Половым* говорить о декадентах!

Лопахин. Да.

Гаев (*машет рукой*). Я неисправим, это очевидно... (*Раздраженно, Яше.*) Что такое, постоянно вертишься перед глазами...

Яша (*смеется*). Я не мог без смеха вашего голоса слышать.

Гаев (*сестре*). Или я, или он...

Любовь Андреевна. Уходите, Яша, ступайте...

Яша (*отдает Любови Андреевне кошелек*). Сейчас уйду. (*Едва удерживается от смеха.*) Сию минуту. (*Уходит.*)

Лопахин. Ваше имение собирается купить богач Дериганов. На торги, говорят, приедет сам лично.

Любовь Андреевна. А вы откуда слышали?

Лопахин. В городе говорят.

Гаев. Ярославская тетушка обещала прислать, а когда и сколько пришлет, неизвестно...

Лопахин. Сколько она пришлет? Тысяч сто? Двести?

Любовь Андреевна. Ну... Тысяч десять — пятнадцать, и на том спасибо.

Лопахин. Простите, таких легкомысленных людей, как вы, господа, таких неделовых, странных, я еще не встречал. Вам говорят русским языком, имение ваше продается, а вы точно не понимаете.

Любовь Андреевна. Что же нам делать? Научите, что?

Лопахин. Я вас каждый день учу. Каждый день я говорю все одно и то же. И вишневый сад и землю необходимо отдать в аренду под дачи, сделать это теперь же, поскорее,— аукцион на носу! Поймите! Раз окончательно решите, чтобы были дачи, так денег вам дадут сколько угодно, и вы тогда спасены.

Любовь Андреевна. Дачи и дачники — это так пошло, простите.

Гаев. Совершенно с тобой согласен.

Лопахин. Я или зарыдаю, или закричу, или в обморок упаду. Не могу! Вы меня замучили! (*Гаеву.*) Баба вы!

Гаев. Кого?

Лопахин. Баба! (*Хочет уйти.*)

Любовь Андреевна (*испуганно*). Нет, не уходите, останьтесь, голубчик. Прошу вас. Может быть, надумаем что-нибудь!

Лопахин. О чём тут думать!

Любовь Андреевна. Не уходите, прошу вас. С вами все-таки веселее.

Пауза.

Я все жду чего-то, как будто над нами должен обвалиться дом.

Гаев (*в глубоком раздумье*). Дуплет в угол... Круазе в середину...*

Любовь Андреевна. Уж очень много мы грешили...

Лопахин. Какие у вас грехи...

Гаев (*кладет в рот леденец*). Говорят, что я все свое состояние проел на леденцах... (*Смеется.*)

Любовь Андреевна. О, мои грехи... Я всегда сорила деньгами без удержу, как сумасшедшая, и вышла замуж за человека, который делал одни только долги. Муж мой умер от шампанского,— он страшно пил,— и, на несчастье, я полюбила другого, сошлась, и как раз в это время,— это было первое наказание, удар прямо в голову,— вот тут на реке... утонул мой мальчик, и я уехала за границу, совсем уехала, чтобы никогда не возвращаться, не видеть этой реки... Я закрыла глаза, бежала, себя не помня, а *он* за мной... безжалостно, грубо. Купила я дачу возле Ментоны, так как *он* заболел там, и три года я не знала отдыха ни днем, ни ночью; больной измучил меня, душа моя высохла. А в прошлом году, когда дачу продали за долги, я уехала в Париж, и там *он* обобрал меня, бросил, сошелся с другой, я пробовала отравиться... Так глупо, так стыдно... И потянуло вдруг в Россию, на родину, к девочке моей... (*Утирает слезы.*) Господи, господи, будь милостив, прости мне грехи мои! Не наказывай меня больше!.. (*Достает из кармана телеграмму.*) Получила сегодня из Парижа... Просит прощения, умоляет вернуться... (*Рвет телеграмму.*) Словно где-то музыка. (*Прислушивается.*)

Гаев. Это наш знаменитый еврейский оркестр. Помнишь, четыре скрипки, флейта и контрабас.

Любовь Андреевна. Он еще существует? Его бы к нам зазвать как-нибудь, устроить вечерок.

Лопахин (*прислушивается*). Не слыхать... (*Тихо напевает.*) «И за деньги русака немцы офранцузят*. (*Смеется.*) Какую я вчера пьесу смотрел в театре, очень смешно.

Любовь Андреевна. И, наверное, ничего нет смешного. Вам не пьесы смотреть, а смотреть бы почаще на самих себя. Как вы все серо живете, как много говорите ненужного.

Лопахин. Это правда. Надо прямо говорить, жизнь у нас дурацкая...

Пауза.

Мой папаша был мужик, идиот, ничего не понимал, меня не учил, а только бил спьяна, и все палкой. В сущности, и я такой же болван и идиот. Ничему не обучался, почерк у меня скверный, пишу я так, что от людей совестно, как свинья.

Любовь Андреевна. Жениться вам нужно, мой друг.

Лопахин. Да... Это правда.

Любовь Андреевна. На нашей бы Варе. Она хорошая девушка.

Лопахин. Да.

Любовь Андреевна. Она у меня из простых, работает целый день, а главное, вас любит. Да и вам-то давно нравится.

Лопахин. Что же? Я не прочь... Она хорошая девушка.

Пауза.

Гаев. Мне предлагают место в банке. Шесть тысяч в год... Слыхала?

Любовь Андреевна. Где тебе! Сиди уж...

Фирс входит; он принес пальто.

Фирс *(Гаеву)*. Извольте, сударь, надеть, а то сыро.

Гаев *(надевает пальто)*. Надоел ты, брат.

Фирс. Нечего там... Утром уехали, не сказавшись. *(Оглядывает его.)*

Любовь Андреевна. Как ты постарел, Фирс!

Фирс. Чего изволите?

Лопахин. Говорят, ты постарел очень!

Фирс. Живу давно. Меня женить собирались, а вашего папаши еще на свете не было... *(Смеется.)* А воля вышла, я уже старшим камердинером был. Тогда я не согласился на волю, остался при господах...

Пауза.

И помню, все рады, а чему рады, и сами не знают.

Лопахин. Прежде очень хорошо было. По крайней мере, драли.

Фирс *(не расслышав)*. А еще бы. Мужики при господах, господа при мужиках, а теперь все враздробь, не поймешь ничего.

Гаев. Помолчи, Фирс. Завтра мне нужно в город. Обещали познакомить с одним генералом, который может дать под вексель.

Лопахин. Ничего у вас не выйдет. И не заплатите вы процентов, будьте покойны.

Любовь Андреевна. Это он бредит. Никаких генералов нет.

Входят Трофимов, Аня и Варя.

Гаев. А вот и наши идут.

Аня. Мама сидит.

Любовь Андреевна *(нежно)*. Иди, иди... Родные мои... *(Обнимая Аню и Варю.)* Если бы вы обе знали, как я вас люблю. Садитесь рядом, вот так.

Все усаживаются.

Лопахин. Наш вечный студент все с барышнями ходит.

Трофимов. Не ваше дело.

Лопахин. Ему пятьдесят лет скоро, а он все еще студент.

Трофимов. Оставьте ваши дурацкие шутки.

Лопахин. Что же ты, чудак, сердишься?

Трофимов. А ты не приставай.

Лопахин *(смеется)*. Позвольте вас спросить, как вы обо мне понимаете?

Трофимов. Я, Ермолай Алексеич, так понимаю: вы богатый человек, будете скоро миллионером. Вот как в смысле обмена веществ нужен хищный зверь, который съедает все, что попадается ему на пути, так и ты нужен.

Все смеются.

Варя. Вы, Петя, расскажите лучше о планетах.

Любовь Андреевна. Нет, давайте продолжим вчерашний разговор.

Трофимов. О чем это?

Гаев. О гордом человеке.

Трофимов. Мы вчера говорили долго, но ни к чему не пришли. В гордом человеке, в вашем смысле, есть что-то мистическое. Быть может, вы и правы по-своему, но если рассуждать попросту, без затей, то какая там гордость, есть ли в ней смысл, если человек физиологически устроен неважно, если в своем громадном большинстве он груб, неумен, глубоко несчастлив. Надо перестать восхищаться собой. Надо бы только работать.

Гаев. Все равно умрешь.

Трофимов. Кто знает? И что значит — умрешь? Быть может, у человека сто чувств и со смертью погибают только пять, известных нам, а остальные девяносто пять остаются живы.

Любовь Андреевна. Какой вы умный, Петя!..

Лопахин *(иронически)*. Страсть!

Трофимов. Человечество идет вперед, совершенствуя свои силы. Все, что недосягаемо для него теперь, когда-нибудь станет близким, понятным, только вот надо работать, помогать всеми силами тем, кто ищет истину. У нас, в России, работают пока очень немногие. Громадное большинство той интеллигенции, какую я знаю, ничего не ищет, ничего не делает и к труду пока не способно. Называют себя интеллигенцией, а прислуге говорят «ты», с мужиками обращаются, как с животными, учатся плохо, серьезно ничего не читают, ровно ничего не делают, о науках только говорят. в искусстве понимают мало. Все серьезны, у всех строгие лица, все говорят только о важном, философствуют, а между тем у всех на глазах рабочие едят отвратительно, спят без подушек, по тридцати, по сорока в одной комнате, везде клопы, смрад, сырость, нравственная нечистота... И, очевидно, все хорошие разговоры у нас для того только, чтобы

отвести глаза себе и другим. Укажите мне, где у нас ясли, о которых говорят так много и часто, где читальни? О них только в романах пишут, на деле же их нет совсем. Есть только грязь, пошлость, азиатчина... Я боюсь и не люблю очень серьезных физиономий, боюсь серьезных разговоров. Лучше помолчим!

Лопахин. Знаете, я встаю в пятом часу утра, работаю с утра до вечера, ну, у меня постоянно деньги свои и чужие, и я вижу, какие кругом люди. Надо только начать делать что-нибудь, чтобы понять, как мало честных, порядочных людей. Иной раз, когда не спится, я думаю: «Господи, ты дал нам громадные леса, необъятные поля, глубочайшие горизонты, и, живя тут, мы сами должны бы по-настоящему быть великанами...»

Любовь Андреевна. Вам понадобились великаны... Они только в сказках хороши, а так они пугают.

В глубине сцены проходит Епиходов и играет на гитаре.

(Задумчиво.) Епиходов идет...

Аня *(задумчиво)*. Епиходов идет...

Гаев. Солнце село, господа.

Трофимов. Да.

Гаев *(негромко, как бы декламируя)*. О природа, дивная, ты блещешь вечным сиянием, прекрасная и равнодушная, ты, которую мы называем матерью, сочетаешь в себе бытие и смерть, ты живишь и разрушаешь...

Варя *(умоляюще)*. Дядечка!

Аня. Дядя, ты опять!

Трофимов. Вы лучше желтого в середину дуплетом.

Гаев. Я молчу, молчу.

Все сидят, задумались. Тишина. Слышно только, как тихо бормочет Фирс. Вдруг раздается отдаленный звук, точно с неба, звук лопнувшей струны, замирающий, печальный.

Любовь Андреевна. Это что?

Лопахин. Не знаю. Где-нибудь далеко в шахтах сорвалась бадья. Но где-нибудь очень далеко.

Гаев. А может быть, птица какая-нибудь... вроде цапли.

Трофимов. Или филин...

Любовь Андреевна *(вздрагивает)*. Неприятно почему-то.

Пауза.

Фирс. Перед несчастьем то же было: и сова кричала, и самовар гудел бесперечь.

Гаев. Перед каким несчастьем?

Фирс. Перед волей.

Пауза.

Любовь Андреевна. Знаете, друзья, пойдемте, уже вечереет. *(Ане.)* У тебя на глазах слезы... Что ты, девочка? *(Обнимает ее.)*

Аня. Это так, мама. Ничего.

Трофимов. Кто-то идет.

Показывается прохожий в белой потасканной фуражке, в пальто; пьян.

Прохожий. Позвольте вас спросить, могу ли я пройти здесь прямо на станцию?

Гаев. Можете. Идите по этой дороге.

Прохожий. Чувствительно вам благодарен. *(Кашлянув.)* Погода превосходная... *(Декламирует.)* Брат мой, страдающий брат...* выдь на Волгу, чей стон...* *(Варе.)* Мадемуазель, позвольте голодному россиянину копеек тридцать...

Варя испугалась, вскрикивает.

Лопахин *(сердито)*. Всякому безобразию есть свое приличие!

Любовь Андреевна *(оторопев)*. Возьмите... вот вам... *(Ищет в портмоне.)* Серебра нет... Все равно, вот вам золотой...

Прохожий. Чувствительно вам благодарен! *(Уходит.)*

Смех.

Варя *(испуганная)*. Я уйду... я уйду... Ах, мамочка, дома людям есть нечего, а вы ему отдали золотой.

Любовь Андреевна. Что же со мной, глупой, делать! Я тебе дома отдам все, что у меня есть. Ермолай Алексеич, дадите мне еще взаймы!..

Лопахин. Слушаю.

Любовь Андреевна. Пойдемте, господа, пора. А тут, Варя, мы тебя совсем просватали, поздравляю.

Варя *(сквозь слезы)*. Этим, мама, шутить нельзя.

Лопахин. Охмелия, иди в монастырь...*

Гаев. А у меня дрожат руки: давно не играл на бильярде.

Лопахин. Охмелия, о нимфа, помяни меня в твоих молитвах!

Любовь Андреевна. Идемте, господа. Скоро ужинать.

Варя. Напугал он меня. Сердце так и стучит.

Лопахин. Напоминаю вам, господа: двадцать второго августа будет продаваться вишневый сад. Думайте об этом!.. Думайте!..

Уходят все, кроме Трофимова и Ани.

Аня *(смеясь)*. Спасибо прохожему, напугал Варю, теперь мы одни.

Трофимов. Варя боится, а вдруг мы полюбим друг друга, и целые дни не отходит от нас. Она своей узкой головой не может понять, что мы выше любви. Обойти то мелкое и призрачное, что мешает быть свободным и счастливым, вот цель и смысл нашей жизни. Вперед! Мы идем неудержимо к яркой звезде, которая горит там вдали! Вперед! Не отставай, друзья!

Аня *(всплескивая руками)*. Как хорошо вы говорите!

Пауза.

Сегодня здесь дивно!

Трофимов. Да, погода удивительная.

Аня. Что вы со мной сделали, Петя, отчего я уже не люблю вишневого сада, как прежде. Я любила его так нежно, мне казалось, на земле нет лучше места, как наш сад.

Трофимов. Вся Россия наш сад. Земля велика и прекрасна, есть на ней много чудесных мест.

Пауза.

Подумайте, Аня: ваш дед, прадед и все ваши предки были крепостники, владевшие живыми душами, и неужели с каждой вишни в саду, с каждого листка, с каждого ствола не глядят на вас человеческие существа, неужели вы не слышите голосов... Владеть живыми душами — ведь это переродило всех вас, живших раньше и теперь живущих, так что ваша мать, вы, дядя уже не замечаете, что вы живете в долг, на чужой счет, на счет тех людей, которых вы не пускаете дальше передней... Мы отстали по крайней мере лет на двести, у нас нет еще ровно ничего, нет определенного отношения к прошлому, мы только философствуем, жалуемся на тоску или пьем водку. Ведь так ясно, чтобы начать жить в настоящем, надо сначала искупить наше прошлое, покончить с ним, а искупить его можно только страданием, только необычайным, непрерывным трудом. Поймите это, Аня.

Аня. Дом, в котором мы живем, давно уже не наш дом, и я уйду, даю вам слово.

Трофимов. Если у вас есть ключи от хозяйства, то бросьте их в колодец и уходите. Будьте свободны как ветер.

Аня *(в восторге)*. Как хорошо вы сказали!

Трофимов. Верьте мне, Аня, верьте! Мне еще нет тридцати, я молод, я еще студент, но я уже столько вынес! Как зима, так я голоден, болен, встревожен, беден, как нищий, и — куда только судьба не гоняла меня, где я только не был! И все же душа моя всегда, во всякую минуту, и днем и ночью, была полна

неизъяснимых предчувствий. Я предчувствую счастье, Аня, я уже вижу его...

Аня (*задумчиво*). Восходит луна.

Слышно, как Епиходов играет на гитаре все ту же грустную песню. Восходит луна. Где-то около тополей Варя ищет Аню и зовет: «Аня! Где ты?»

Трофимов. Да, восходит луна.

Пауза.

Вот оно, счастье, вот оно идет, подходит все ближе и ближе, я уже слышу его шаги. И если мы не увидим, не узна́ем его, то что за беда? Его увидят другие!

Голос Вари: «Аня! Где ты?»

Опять эта Варя! (*Сердито.*) Возмутительно!

Аня. Что ж? Пойдемте к реке. Там хорошо.

Трофимов. Пойдемте.

Идут.

Голос Вари: «Аня! Аня!»

Занавес

ДЕЙСТВИЕ ТРЕТЬЕ

Гостиная, отделенная аркой от залы. Горит люстра. Слышно, как в передней играет еврейский оркестр, тот самый, о котором упоминается во втором акте. Вечер. В зале танцуют grand-rond. Голос Симеонова-Пищика: «Promenade à une paire!» Выходят в гостиную: в первой паре Пищик и Шарлотта Ивановна, во второй — Трофимов и Любовь Андреевна, в третьей — Аня с почтовым чиновником, в четвертой — Варя с начальником станции и т. д. Варя тихо плачет и, танцуя, утирает слезы. В последней паре Дуняша. Идут по гостиной, Пищик кричит: «Grand-rond balancez!» и «Les cavaliers à genoux et remerciez vos dames»[1]. Фирс во фраке проносит на подносе сельтерскую воду. Входят в гостиную Пищик и Трофимов.

---

[1] Grand-rond (*франц.*) — большой круг — фигура в бальных танцах; promenade à une paire! — пройдитесь парами! grand-rond balancez! — большой круг, балансируйте, то есть делайте «балансе́» — особую фигуру в танце; les cavaliers à genoux et remerciez vos dames — кавалеры на колено и благодарите ваших дам. Все эти французские выражения — названия танцевальных фигур и принятые обращения распорядителя к танцующим.

Пищик. Я полнокровный, со мной уже два раза удар был, танцевать трудно, но, как говорится, попал в стаю, лай не лай, а хвостом виляй. Здоровье-то у меня лошадиное. Мой покойный родитель, шутник, царство небесное, насчет нашего происхождения говорил так, будто древний род наш Симеоновых-Пищиков происходит будто бы от той самой лошади*, которую Калигула посадил в сенате... *(Садится.)* Но вот беда; денег нет! Голодная собака верует только в мясо... *(Храпит и тотчас же просыпается.)* Так и я... могу только про деньги...

Трофимов. А у вас в фигуре в самом деле есть что-то лошадиное.

Пищик. Что ж... лошадь хороший зверь... лошадь продать можно...

Слышно, как в соседней комнате играют на бильярде. В зале под аркой показывается Варя.

Трофимов *(дразнит)*. Мадам Лопахина! Мадам Лопахина!..

Варя *(сердито)*. Облезлый барин!

Трофимов. Да, я облезлый барин и горжусь этим!

Варя *(в горьком раздумье)*. Вот наняли музыкантов, а чем платить? *(Уходит.)*

Трофимов *(Пищику)*. Если бы энергия, которую вы в течение всей вашей жизни затратили на поиски денег для уплаты процентов, пошла у вас на что-нибудь другое, то, вероятно, в конце концов вы могли бы перевернуть землю.

Пищик. Ницше*... философ... величайший, знаменитейший... громадного ума человек, говорит в своих сочинениях, будто фальшивые бумажки делать можно.

Трофимов. А вы читали Ницше?

Пищик. Ну... Мне Дашенька говорила. А я теперь в таком положении, что хоть фальшивые бумажки делай... Послезавтра триста десять рублей платить... Сто тридцать уже достал... *(Ощупывает карманы, встревоженно.)* Деньги пропали! Потерял деньги! *(Сквозь слезы.)* Где деньги? *(Радостно.)* Вот они, за подкладкой... Даже в пот ударило...

Входят Любовь Андреевна и Шарлотта Ивановна.

Любовь Андреевна *(напевает лезгинку)*. Отчего так долго нет Леонида? Что он делает в городе? *(Дуняше)*. Дуняша, предложите музыкантам чаю...

Трофимов. Торги не состоялись, по всей вероятности.

Любовь Андреевна. И музыканты пришли некстати, и бал мы затеяли некстати... Ну, ничего... *(Садится и тихо напевает.)*

Шарлотта (*подает Пищику колоду карт*). Вот вам колода карт, задумайте какую-нибудь одну карту.

Пищик. Задумал.

Шарлотта. Тасуйте теперь колоду. Очень хорошо. Дайте сюда, о мой милый господин Пищик. Ein, zwei, drei![1] Теперь поищите, она у вас в боковом кармане...

Пищик (*достает из бокового кармана карту*). Восьмерка пик, совершенно верно! (*Удивляясь.*) Вы подумайте!

Шарлотта (*держит на ладони колоду карт, Трофимову*). Говорите скорее, какая карта сверху?

Трофимов. Что ж? Ну, дама пик.

Шарлотта. Есть! (*Пищику.*) Ну, какая карта сверху?

Пищик. Туз червовый.

Шарлотта. Есть! (*Бьет по ладони, колода карт исчезает.*) А какая сегодня хорошая погода!

Ей отвечает таинственный женский голос, точно из-под пола: «О да, погода великолепная, сударыня».

Вы такой хороший мой идеал...

Голос: «Вы, сударыня, мне тоже очень понравился».

Начальник станции (*аплодирует*). Госпожа чревовещательница, браво!

Пищик (*удивляясь*). Вы подумайте! Очаровательнейшая Шарлотта Ивановна... я просто влюблен...

Шарлотта. Влюблен? (*Пожав плечами.*) Разве вы можете любить? Guter Mensch, aber schlechter Musikant[2].

Трофимов (*хлопает Пищика по плечу*). Лошадь вы этакая...

Шарлотта. Прошу внимания, еще один фокус. (*Берет со стула плед.*) Вот очень хороший плед, я желаю продавать... (*Встряхивает*). Не желает ли кто покупать?

Пищик (*удивляясь*). Вы подумайте!

Шарлотта. Ein, zwei, drei! (*Быстро поднимает опущенный плед.*)

За пледом стоит Аня; она делает реверанс, бежит к матери, обнимает ее и убегает назад в залу при общем восторге.

Любовь Андреевна (*аплодирует*). Браво, браво!..

Шарлотта. Теперь еще! Ein, zwei, drei. (*Поднимает плед.*)

За пледом стоит Варя и кланяется.

---

[1] Раз, два, три! (*нем.*)

[2] Хороший человек, но плохой музыкант (*нем.*).

Пищик *(удивляясь)*. Вы подумайте!

Шарлотта. Конец! *(Бросает плед на Пищика, делает реверанс и убегает в залу.)*

Пищик *(спешит за ней)*. Злодейка... какова? Какова? *(Уходит.)*

Любовь Андреевна. А Леонида все нет. Что он делает в городе так долго, не понимаю! Ведь все уже кончено там, имение продано или торги не состоялись, зачем же так долго держать в неведении!

Варя *(стараясь ее утешить)*. Дядечка купил, я в этом уверена.

Трофимов *(насмешливо)*. Да.

Варя. Бабушка прислала ему доверенность, чтобы он купил на ее имя с переводом долга. Это она для Ани. И я уверена, бог поможет, дядечка купит.

Любовь Андреевна. Ярославская бабушка прислала пятнадцать тысяч, чтобы купить имение на ее имя,— нам она не верит,— а этих денег не хватило бы даже проценты заплатить. *(Закрывает лицо руками.)* Сегодня судьба моя решается, судьба...

Трофимов *(дразнит Варю)*. Мадам Лопахина!

Варя *(сердито)*. Вечный студент! Уже два раза увольняли из университета.

Любовь Андреевна. Что же ты сердишься, Варя? Он дразнит тебя Лопахиным, ну что ж? Хочешь — выходи за Лопахина, он хороший, интересный человек. Не хочешь — не выходи; тебя, дуся, никто не неволит...

Варя. Я смотрю на это дело серьезно, мамочка, надо прямо говорить. Он хороший человек, мне нравится.

Любовь Андреевна. И выходи. Что же ждать, не понимаю!

Варя. Мамочка, не могу же я сама делать ему предложение. Вот уже два года все мне говорят про него, все говорят, а он или молчит, или шутит. Я понимаю. Он богатеет, занят делом, ему не до меня. Если бы были деньги, хоть немного, хоть бы сто рублей, бросила бы я все, ушла бы подальше. В монастырь бы ушла.

Трофимов. Благолепие!

Варя *(Трофимову)*. Студенту надо быть умным! *(Мягким тоном, со слезами.)* Какой вы стали некрасивый, Петя, как постарели! *(Любови Андреевне, уже не плача.)* Только вот без дела не могу, мамочка. Мне каждую минуту надо что-нибудь делать.

Входит Яша.

Яша *(едва удерживаясь от смеха)*. Епиходов бильярдный кий сломал!.. *(Уходит.)*

Варя. Зачем же Епиходов здесь? Кто ему позволил на бильярде играть? Не понимаю этих людей... *(Уходит.)*

Любовь Андреевна. Не дразните ее, Петя, вы видите, она и без того в горе.

Трофимов. Уж очень она усердная, не в свое дело суется. Все лето не давала покоя ни мне, ни Ане, боялась, как бы у нас романа не вышло. Какое ей дело? И к тому же я вида не подавал, я так далек от пошлости. Мы выше любви!

Любовь Андреевна. А я вот, должно быть, ниже любви. *(В сильном беспокойстве.)* Отчего нет Леонида? Только бы знать: продано имение или нет? Несчастье представляется мне до такой степени невероятным, что даже как-то не знаю, что́ думать, теряюсь... Я могу сейчас крикнуть... могу глупость сделать. Спасите меня, Петя. Говорите же что-нибудь, говорите...

Трофимов. Продано ли сегодня имение или не продано — не все ли равно? С ним давно уже покончено, нет поворота назад, заросла дорожка. Успокойтесь, дорогая. Не надо обманывать себя, надо хоть раз в жизни взглянуть правде прямо в глаза.

Любовь Андреевна. Какой правде? Вы видите, где правда и где неправда, а я точно потеряла зрение, ничего не вижу. Вы смело решаете все важные вопросы, но скажите, голубчик, не потому ли это, что вы молоды, что вы не успели перестрадать ни одного вашего вопроса? Вы смело смотрите вперед, и не потому ли, что не видите и не ждете ничего страшного, так как жизнь еще скрыта от ваших молодых глаз? Вы смелее, честнее, глубже нас, но вдумайтесь, будьте великодушны хоть на кончике пальца, пощадите меня. Ведь я родилась здесь, здесь жили мои отец и мать, мой дед, я люблю этот дом, без вишневого сада я не понимаю своей жизни, и если уж так нужно продавать, то продавайте и меня вместе с садом... *(Обнимает Трофимова, целует его в лоб.)* Ведь мой сын утонул здесь... *(Плачет.)* Пожалейте меня, хороший, добрый человек.

Трофимов. Вы знаете, я сочувствую всей душой.

Любовь Андреевна. Но надо иначе, иначе это сказать... *(Вынимает платок, на пол падает телеграмма.)* У меня сегодня тяжело на душе, вы не можете себе представить. Здесь мне шумно, дрожит душа от каждого звука, я вся дрожу, а уйти к себе не могу, мне одной в тишине страшно. Не осуждайте меня, Петя... Я вас люблю, как родного. Я охотно бы отдала за вас Аню, клянусь вам, только, голубчик, надо же учиться, надо курс кончить. Вы ничего не делаете, только судьба бросает вас с места на место, так это странно... Не правда ли? Да? И надо же что-нибудь с бородой сделать, чтобы она росла как-нибудь... *(Смеется.)* Смешной вы!

Трофимов *(поднимает телеграмму)*. Я не желаю быть красавцем.

Любовь Андреевна. Это из Парижа телеграмма. Каждый день получаю. И вчера и сегодня. Этот дикий человек опять

заболел, опять с ним нехорошо... Он просит прощения, умоляет приехать, и по-настоящему мне следовало бы съездить в Париж, побыть возле него. У вас, Петя, строгое лицо, но что же делать, голубчик мой, что мне делать, он болен, он одинок, несчастлив, а кто там поглядит за ним, кто удержит его от ошибок, кто даст ему вовремя лекарство? И что ж тут скрывать или молчать, я люблю его, это ясно. Люблю, люблю... Это камень на моей шее, я иду с ним на дно, но я люблю этот камень и жить без него не могу. *(Жмет Трофимову руку.)* Не думайте дурно, Петя, не говорите мне ничего, не говорите...

Трофимов *(сквозь слезы)*. Простите за откровенность, бога ради: ведь он обобрал вас!

Любовь Андреевна. Нет, нет, нет, не надо говорить так... *(Закрывает уши.)*

Трофимов. Ведь он негодяй, только вы одна не знаете этого! Он мелкий негодяй, ничтожество...

Любовь Андреевна *(рассердившись, но сдержанно)*. Вам двадцать шесть лет или двадцать семь, а вы все еще гимназист второго класса!

Трофимов. Пусть!

Любовь Андреевна. Надо быть мужчиной, в ваши годы надо понимать тех, кто любит. И надо самому любить... надо влюбляться! *(Сердито.)* Да, да! И у вас нет чистоты, а вы просто чистюлька, смешной чудак, урод...

Трофимов *(в ужасе)*. Что она говорит!

Любовь Андреевна. «Я выше любви»! Вы не выше любви, а просто, как вот говорит наш Фирс, вы недотепа. В ваши годы не иметь любовницы!..

Трофимов *(в ужасе)*. Это ужасно! Что она говорит?! *(Идет быстро в залу, схватив себя за голову.)* Это ужасно... Не могу, я уйду... *(Уходит, но тотчас же возвращается.)* Между нами все кончено! *(Уходит в переднюю.)*

Любовь Андреевна *(кричит вслед.)* Петя, погодите! Смешной человек, я пошутила! Петя!

Слышно, как в передней кто-то быстро идет по лестнице и вдруг с грохотом падает вниз. Аня и Варя вскрикивают, но тотчас же слышится смех.

Что там такое?

Вбегает Аня.

Аня *(смеясь)*. Петя с лестницы упал! *(Убегает.)*

Любовь Андреевна. Какой чудак этот Петя...

Начальник станции останавливается среди залы и читает «Грешницу» А. Толстого. Его слушают, но едва он прочел несколько строк, как из передней доносятся звуки вальса, и чтение обрывается. Все танцуют. Проходят из передней Трофимов, Аня, Варя и Любовь Андреевна.

Ну, Петя... ну, чистая душа... я прощения прошу... Пойдемте танцевать... *(Танцует с Петей.)*

Аня и Варя танцуют.

Фирс входит, ставит свою палку около боковой двери. Яша тоже вошел из гостиной, смотрит на танцы.

Яша. Что, дедушка?

Фирс. Нездоровится. Прежде у нас на балах танцевали генералы, бароны, адмиралы, а теперь посылаем за почтовым чиновником и начальником станции, да и те не в охотку идут. Что-то ослабел я. Барин покойный, дедушка, всех сургучом пользовал, от всех болезней. Я сургуч принимаю каждый день уже лет двадцать, а то и больше; может, я от него и жив.

Яша. Надоел ты, дед. *(Зевает.)* Хоть бы ты поскорее подох.

Фирс. Эх ты... недотепа! *(Бормочет.)*

Трофимов и Любовь Андреевна танцуют в зале, потом в гостиной.

Любовь Андреевна. Merci[1]. Я посижу... *(Садится.)* Устала.

Входит Аня.

Аня *(взволнованно)*. А сейчас на кухне какой-то человек говорил, что вишневый сад уже продан сегодня.

Любовь Андреевна. Кому продан?

Аня. Не сказал, кому. Ушел. *(Танцует с Трофимовым.)*

Оба уходят в зал.

Яша. Это там какой-то старик болтал. Чужой.

Фирс. А Леонида Андреича еще нет, не приехал. Пальто на нем легкое, демисезон, того гляди, простудится. Эх, молодо-зелено!

Любовь Андреевна. Я сейчас умру. Подите, Яша, узнайте, кому продано.

Яша. Да он давно ушел, старик-то. *(Смеется.)*

Любовь Андреевна *(с легкой досадой)*. Ну, чему вы смеетесь? Чему рады?

Яша. Очень уж Епиходов смешной. Пустой человек. Двадцать два несчастья.

Любовь Андреевна. Фирс, если продадут имение, то куда ты пойдешь?

Фирс. Куда прикажете, туда и пойду.

Любовь Андреевна. Отчего у тебя лицо такое? Ты нездоров? Шел бы, знаешь, спать...

Фирс. Да... *(С усмешкой.)* Я уйду спать, а без меня тут кто подаст, кто распорядится? Один на весь дом.

---

[1] Спасибо *(франц.)*.

Яша *(Любови Андреевне)*. Любовь Андреевна! Позвольте обратиться к вам с просьбой, будьте так добры! Если опять поедете в Париж, то возьмите меня с собой, сделайте милость. Здесь мне оставаться положительно невозможно. *(Оглядываясь, вполголоса.)* Что ж там говорить, вы сами видите, страна необразованная, народ безнравственный, притом скука, на кухне кормят безобразно, а тут еще Фирс этот ходит, бормочет разные неподходящие слова. Возьмите меня с собой, будьте так добры!

Входит Пищик.

Пищик. Позвольте просить вас... на вальсишку, прекраснейшая... *(Любовь Андреевна идет с ним.)* Очаровательная, все-таки сто восемьдесят рубликов я возьму у вас... Возьму... *(Танцует.)* Сто восемьдесят рубликов...

Перешли в зал.

Яша *(тихо напевает)*. «Поймешь ли ты души моей волненье...»

В зале фигура в сером цилиндре и в клетчатых панталонах машет руками и прыгает; крики: «Браво, Шарлотта Ивановна!»

Дуняша *(остановилась, чтобы попудриться)*. Барышня велит мне танцевать — кавалеров много, а дам мало,— а у меня от танцев кружится голова, сердце бьется. Фирс Николаевич, а сейчас чиновник с почты такое мне сказал, что у меня дыхание захватило.

Музыка стихает.

Фирс. Что же он тебе сказал?

Дуняша. Вы, говорит, как цветок.

Яша *(зевает)*. Невежество... *(Уходит.)*

Дуняша. Как цветок... Я такая деликатная девушка, ужасно люблю нежные слова.

Фирс. Закрутишься ты.

Входит Епиходов.

Епиходов. Вы, Авдотья Федоровна, не желаете меня видеть... как будто я какое насекомое. *(Вздыхает.)* Эх, жизнь!

Дуняша. Что вам угодно?

Епиходов. Несомненно, может, вы и правы. *(Вздыхает.)* Но, конечно, если взглянуть с точки зрения, то вы, позволю себе так выразиться, извините за откровенность, совершенно привели меня в состояние духа. Я знаю свою фортуну, каждый день со мной случается какое-нибудь несчастье, и к этому я давно уже привык, так что с улыбкой гляжу на свою судьбу. Вы дали мне слово, и хотя я...

Дуняша. Прошу вас, после поговорим, а теперь оставьте меня в покое. Теперь я мечтаю. *(Играет веером.)*

Епиходов. У меня несчастье каждый день, и я, позволю себе так выразиться, только улыбаюсь, даже смеюсь.

Входит из залы Варя.

Варя. Ты все еще не ушел, Семен? Какой же ты, право, неуважительный человек. *(Дуняше.)* Ступай отсюда, Дуняша. *(Епиходову.)* То на бильярде играешь и кий сломал, то по гостиной расхаживаешь, как гость.

Епиходов. С меня взыскивать, позвольте вам выразиться, вы не можете.

Варя. Я не взыскиваю с тебя, а говорю. Только и знаешь что ходишь с места на место, а делом не занимаешься. Конторщика держим, а неизвестно — для чего.

Епиходов *(обиженно)*. Работаю ли я, хожу ли, кушаю ли, играю ли на бильярде, про то могут рассуждать только люди понимающие и старшие.

Варя. Ты смеешь мне говорить это! *(Вспылив.)* Ты смеешь? Значит, я ничего не понимаю? Убирайся же вон отсюда! Сию минуту!

Епиходов *(струсив)*. Прошу вас выражаться деликатным способом.

Варя *(выйдя из себя)*. Сию же минуту вон отсюда! Вон!

Он идет к двери, она за ним.

Двадцать два несчастья! Чтобы духу твоего здесь не было! Чтобы глаза мои тебя не видели!

Епиходов вышел; за дверью его голос: «Я на вас буду жаловаться».

А, ты назад идешь? *(Хватает палку, поставленную около двери Фирсом.)* Иди... Иди... Иди, я тебе покажу... А, ты идешь? Идешь? Так вот же тебе... *(Замахивается.)*

В это время входит Лопахин.

Лопахин. Покорнейше благодарю.

Варя *(сердито и насмешливо)*. Виновата!

Лопахин. Ничего-с. Покорно благодарю за приятное угощение.

Варя. Не стоит благодарности. *(Отходит, потом оглядывается и спрашивает мягко.)* Я вас не ушибла?

Лопахин. Нет, ничего. Шишка, однако, вскочит огромадная.

Голоса в зале: «Лопахин приехал! Ермолай Алексеич!»

Пищик. Видом видать, слыхом слыхать... *(Целуется с Ло-*

пахиным.) Коньячком от тебя попахивает, милый мой, душа моя. А мы тут тоже веселимся.

Входит Любовь Андреевна.

Любовь Андреевна. Это вы, Ермолай Алексеич? Отчего так долго? Где Леонид?

Лопахин. Леонид Андреич со мной приехал, он идет...

Любовь Андреевна *(волнуясь)*. Ну что? Были торги? Говорите же!

Лопахин *(сконфуженно, боясь обнаружить свою радость)*. Торги кончились к четырем часам... Мы к поезду опоздали, пришлось ждать до половины десятого. *(Тяжело вздохнув.)* Уф! У меня немножко голова кружится...

Входит Гаев; в правой руке у него покупки, левой он утирает слезы.

Любовь Андреевна. Леня, что? Леня, ну? *(Нетерпеливо, со слезами.)* Скорей же, бога ради...

Гаев *(ничего ей не отвечает, только машет рукой; Фирсу, плача)*. Вот возьми... Тут анчоусы*, керченские сельди... Я сегодня ничего не ел... Столько я выстрадал!

Дверь в бильярдную открыта; слышен стук шаров и голос Яши: «Семь и восемнадцать!» У Гаева меняется выражение, он уже не плачет.

Устал я ужасно. Дашь мне, Фирс, переодеться. *(Уходит к себе через залу, за ним Фирс.)*

Пищик. Что на торгах? Рассказывай же!

Любовь Андреевна. Продан вишневый сад?

Лопахин. Продан.

Любовь Андреевна. Кто купил?

Лопахин. Я купил.

Пауза.

Любовь Андреевна угнетена; она упала бы, если бы не стояла возле кресла и стола. Варя снимает с пояса ключи, бросает их на пол, посреди гостиной, и уходит.

Я купил! Погодите, господа, сделайте милость, у меня в голове помутилось, говорить не могу... *(Смеется.)* Пришли мы на торги, там уже Дериганов. У Леонида Андреича было только пятнадцать тысяч, а Дериганов сверх долга сразу надавал тридцать. Вижу, дело такое, я схватился с ним, надавал сорок. Он сорок пять. Я пятьдесят пять. Он, значит, по пяти надбавляет, я по десяти... Ну, кончилось. Сверх долга я надавал девяносто, осталось за мной. Вишневый сад теперь мой! Мой! *(Хохочет.)* Боже мой, господи, вишневый сад мой! Скажите мне, что я пьян, не в своем уме, что все это мне представляется... *(Топочет ногами.)* Не смейтесь надо мной! Если бы отец мой и дед встали из гробов

и посмотрели на все происшествие, как их Ермолай, битый, малограмотный Ермолай, который зимой босиком бегал, как этот самый Ермолай купил имение, прекрасней которого ничего нет на свете. Я купил имение, где дед и отец были рабами, где их не пускали даже в кухню. Я сплю, это только мерещится мне, это только кажется... Это плод вашего воображения, покрытый мраком неизвестности... *(Поднимает ключи, ласково улыбаясь.)* Бросила ключи, хочет показать, что она уж не хозяйка здесь... *(Звенит ключами.)* Ну, да все равно.

Слышно, как настраивается оркестр.

Эй, музыканты, играйте, я желаю вас слушать! Приходите все смотреть, как Ермолай Лопахин хватит топором по вишневому саду, как упадут на землю деревья! Настроим мы дач, и наши внуки и правнуки увидят тут новую жизнь... Музыка, играй!

Играет музыка. Любовь Андреевна опустилась на стул и горько плачет.

(С укором.) Отчего же, отчего вы меня не послушали? Бедная моя, хорошая, не вернешь теперь. *(Со слезами.)* О, скорее бы все это прошло, скорее бы изменилась как-нибудь наша нескладная, несчастливая жизнь.

Пищик *(берет его под руку, вполголоса)*. Она плачет. Пойдем в залу, пусть она одна... Пойдем... *(Берет его под руку и уводит в залу.)*

Лопахин. Что ж такое? Музыка, играй отчетливо! Пускай всё, как я желаю! *(С иронией.)* Идет новый помещик, владелец вишневого сада! *(Толкнул нечаянно столик, едва не опрокинул канделябры.)* За все могу заплатить! *(Уходит с Пищиком.)*

В зале и гостиной нет никого, кроме Любови Андреевны, которая сидит, сжалась вся и горько плачет. Тихо играет музыка. Быстро входят Аня и Трофимов. Аня подходит к матери и становится перед ней на колени. Трофимов остается у входа в залу.

Аня. Мама!.. Мама, ты плачешь? Милая, добрая, хорошая моя мама, моя прекрасная, я люблю тебя... я благословляю тебя. Вишневый сад продан, его уже нет, это правда, правда, но не плачь, мама, у тебя осталась жизнь впереди, осталась твоя хорошая, чистая душа... Пойдем со мной, пойдем, милая, отсюда, пойдем!.. Мы насадим новый сад, роскошнее этого, ты увидишь его, поймешь, и радость, тихая, глубокая радость опустится на твою душу, как солнце в вечерний час, и ты улыбнешься, мама! Пойдем, милая! Пойдем!..

Занавес

ДЕЙСТВИЕ ЧЕТВЕРТОЕ

Декорация первого акта. Нет ни занавесей на окнах, ни картин, осталось немного мебели, которая сложена в один угол, точно для продажи. Чувствуется пустота. Около выходной двери и в глубине сцены сложены чемоданы, дорожные узлы и т. п. Налево дверь открыта, оттуда слышны голоса Вари и Ани. Лопахин стоит, ждет. Яша держит поднос со стаканчиками, налитыми шампанским. В передней Епиходов увязывает ящик. За сценой в глубине гул. Это пришли прощаться мужики. Голос Гаева: «Спасибо, братцы, спасибо вам».

Яша. Простой народ прощаться пришел. Я такого мнения, Ермолай Алексеич: народ добрый, но мало понимает.

Гул стихает.

Входят через переднюю Любовь Андреевна и Гаев; она не плачет, но бледна, лицо ее дрожит, она не может говорить.

Гаев. Ты отдала им свой кошелек, Люба. Так нельзя! Так нельзя!

Любовь Андреевна. Я не смогла! Я не смогла!

Оба уходят.

Лопахин *(в дверь, им вслед)*. Пожалуйте, покорнейше прошу! По стаканчику на прощанье. Из города не догадался привезть, а на станции нашел только одну бутылку. Пожалуйте!

Пауза.

Что ж, господа! Не желаете? *(Отходит от двери.)* Знал бы — не покупал. Ну, и я пить не стану.

Яша осторожно ставит поднос на стул.

Выпей, Яша, хоть ты.

Яша. С отъезжающими! Счастливо оставаться! *(Пьет.)* Это шампанское не настоящее, могу вас уверить.

Лопахин. Восемь рублей бутылка.

Пауза.

Холодно здесь чертовски.

Яша. Не топили сегодня, все равно уезжаем. *(Смеется.)*

Лопахин. Что ты?

Яша. От удовольствия.

Лопахин. На дворе октябрь, а солнечно и тихо, как летом. Строиться хорошо. *(Поглядев на часы, в дверь.)* Господа, имейте в виду, до поезда осталось всего сорок шесть минут! Значит, через двадцать минут на станцию ехать. Поторапливайтесь.

Трофимов в пальто входит со двора.

Трофимов. Мне кажется, ехать уже пора. Лошади поданы. Черт его знает, где мои калоши. Пропали. *(В дверь.)* Аня, нет моих калош! Не нашел!

Лопахин. А мне в Харьков надо. Поеду с вами в одном поезде. В Харькове проживу всю зиму. Я все болтался с вами, замучился без дела. Не могу без работы, не знаю, что вот делать с руками; болтаются как-то странно, точно чужие.

Трофимов. Сейчас уедем, и вы опять приметесь за свой полезный труд.

Лопахин. Выпей-ка стаканчик.

Трофимов. Не стану.

Лопахин. Значит, в Москву теперь?

Трофимов. Да, провожу их в город, а завтра в Москву.

Лопахин. Да... Что ж, профессора не читают лекций, небось все ждут, когда приедешь?

Трофимов. Не твое дело.

Лопахин. Сколько лет, как ты в университете учишься?

Трофимов. Придумай что-нибудь поновее. Это старо и плоско. *(Ищет калоши.)* Знаешь, мы, пожалуй, не увидимся больше, так вот позволь мне дать тебе на прощанье один совет: не размахивай руками! Отвыкни от этой привычки — размахивать. И тоже вот строить дачи, рассчитывать, что из дачников со временем выйдут отдельные хозяева, рассчитывать так — это тоже значит размахивать... Как-никак все-таки я тебя люблю. У тебя тонкие, нежные пальцы, как у артиста, у тебя тонкая, нежная душа...

Лопахин *(обнимает его)*. Прощай, голубчик. Спасибо за все. Ежели нужно, возьми у меня денег на дорогу.

Трофимов. Для чего мне? Не нужно.

Лопахин. Ведь у вас нет!

Трофимов. Есть. Благодарю вас. Я за перевод получил. Вот они тут, в кармане. *(Тревожно.)* А калош моих нет!

Варя *(из другой комнаты)*. Возьмите вашу гадость! *(Выбрасывает на сцену пару резиновых калош.)*

Трофимов. Что же вы сердитесь, Варя? Гм... Да это не мои калоши!

Лопахин. Я весной посеял маку тысячу десятин и теперь заработал сорок тысяч чистого. А когда мой мак цвел, что это была за картина! Так вот я, говорю, заработал сорок тысяч и, значит, предлагаю тебе взаймы, потому что могу. Зачем же нос драть? Я мужик... попросту.

Трофимов. Твой отец был мужик, мой — аптекарь, и из этого не следует решительно ничего.

Лопахин вынимает бумажник.

Оставь, оставь... Дай мне хоть двести тысяч, не возьму. Я сво-

бодный человек. И все, что так высоко и дорого цените вы все, богатые и нищие, не имеет надо мной ни малейшей власти, вот как пух, который носится по воздуху. Я могу обходиться без вас, я могу проходить мимо вас, я силен и горд. Человечество идет к высшей правде, к высшему счастью, какое только возможно на земле, и я в первых рядах!

Лопахин. Дойдешь?

Трофимов. Дойду.

Пауза.

Дойду или укажу другим путь, как дойти.

Слышно, как вдали стучат топором по дереву.

Лопахин. Ну, прощай, голубчик. Пора ехать. Мы друг перед другом нос дерем, а жизнь знай себе проходит. Когда я работаю подолгу, без устали, тогда мысли полегче, и кажется, будто мне тоже известно, для чего я существую. А сколько, брат, в России людей, которые существуют неизвестно для чего. Ну, все равно, циркуляция дела не в этом. Леонид Андреич, говорят, принял место, будет в банке, шесть тысяч в год. Только ведь не усидит, ленив очень...

Аня *(в дверях)*. Мама вас просит: пока она не уехала, чтоб не рубили сада.

Трофимов. В самом деле, неужели не хватает такта... *(Уходит через переднюю.)*

Лопахин. Сейчас, сейчас... Экие, право. *(Уходит за ним.)*

Аня. Фирса отправили в больницу?

Яша. Я утром говорил. Отправили, надо думать.

Аня *(Епиходову, который проходит через залу)*. Семен Пантелеич, справьтесь, пожалуйста, отвезли ли Фирса в больницу.

Яша *(обиженно)*. Утром я говорил Егору. Что ж спрашивать по десяти раз!

Епиходов. Долголетний Фирс, по моему окончательному мнению, в починку не годится, ему надо к праотцам. А я могу ему только завидовать. *(Положил чемодан на картонку со шляпой и раздавил.)* Ну, вот, конечно. Так и знал. *(Уходит.)*

Яша *(насмешливо)*. Двадцать два несчастья...

Варя *(за дверью)*. Фирса отвезли в больницу?

Аня. Отвезли.

Варя. Отчего же письмо не взяли к доктору?

Аня. Так надо послать вдогонку... *(Уходит.)*

Варя *(из соседней комнаты)*. Где Яша? Скажите, мать его пришла, хочет проститься с ним.

Яша *(машет рукой)*. Выводят только из терпения.

Дуняша все время хлопочет около вещей; теперь, когда Яша остался один, она подошла к нему.

Дуняша. Хоть бы взглянули разочек, Яша. Вы уезжаете... меня покидаете. *(Плачет и бросается ему на шею.)*

Яша. Что ж плакать? *(Пьет шампанское.)* Через шесть дней я опять в Париже. Завтра сядем в курьерский поезд и закатим, только нас и видели. Даже как-то не верится. Вив ла Франс!..[1] Здесь не по мне, не могу жить... ничего не поделаешь. Насмотрелся на невежество — будет с меня. *(Пьет шампанское.)* Что ж плакать? Ведите себя прилично, тогда не будете плакать.

Дуняша *(пудрится, глядясь в зеркальце)*. Пришлите из Парижа письмо. Ведь я вас любила, Яша, так любила! Я нежное существо, Яша!

Яша. Идут сюда. *(Хлопочет около чемоданов, тихо напевает.)*

Входят Любовь Андреевна, Гаев, Аня и Шарлотта Ивановна.

Гаев. Ехать бы нам. Уже немного осталось. *(Глядя на Яшу.)* От кого это селедкой пахнет?

Любовь Андреевна. Минут через десять давайте уже в экипажи садиться... *(Окидывает взглядом комнату.)* Прощай, милый дом, старый дедушка. Пройдет зима, настанет весна, а там тебя уже не будет, тебя сломают. Сколько видели эти стены! *(Целует горячо дочь.)* Сокровище мое, ты сияешь, твои глазки играют, как два алмаза. Ты довольна? Очень?

Аня. Очень! Начинается новая жизнь, мама!

Гаев *(весело)*. В самом деле, теперь все хорошо. До продажи вишневого сада мы все волновались, страдали, а потом, когда вопрос был решен окончательно, бесповоротно, все успокоились, повеселели даже... Я банковский служака, теперь я финансист... желтого в середину, и ты, Люба, как-никак выглядишь лучше, это несомненно.

Любовь Андреевна. Да. Нервы мои лучше, это правда.

Ей подают шляпу и пальто.

Я сплю хорошо. Выносите мои вещи, Яша. Пора. *(Ане.)* Девочка моя, скоро мы увидимся... Я уезжаю в Париж, буду жить там на те деньги, которые прислала твоя ярославская бабушка на покупку имения — да здравствует бабушка! — а денег этих хватит ненадолго.

Аня. Ты, мама, вернешься скоро, скоро... не правда ли? Я подготовлюсь, выдержу экзамен в гимназии и потом буду работать, тебе помогать. Мы, мама, будем вместе читать разные

---

[1] Да здравствует Франция!.. *(франц.* — vive la France!)

книги... Не правда ли? *(Целует матери руки.)* Мы будем читать в осенние вечера, прочтем много книг, и перед нами откроется новый, чудесный мир... *(Мечтает.)* Мама, приезжай...

Любовь Андреевна. Приеду, мое золото. *(Обнимает дочь.)*

Входит Лопахин, Шарлотта тихо напевает песенку.

Гаев. Счастливая Шарлотта: поет!

Шарлотта *(берет узел, похожий на свернутого ребенка)*. Мой ребеночек, бай, бай...

Слышится плач ребенка: «Уа, уа!..

Замолчи, мой хороший, мой милый мальчик.

«Уа!.. Уа!..

Мне тебя так жалко! *(Бросает узел на место.)* Так вы, пожалуйста, найдите мне место. Я не могу так.

Лопахин. Найдем, Шарлотта Ивановна, не беспокойтесь.

Гаев. Все нас бросают, Варя уходит... мы стали вдруг не нужны.

Шарлотта. В городе мне жить негде. Надо уходить... *(Напевает.)* Все равно...

Входит Пищик.

Лопахин. Чудо природы!..

Пищик *(запыхавшись)*. Ой, дайте отдышаться... замучился... Мои почтеннейшие... Воды дайте...

Гаев. За деньгами небось? Слуга покорный, ухожу от греха... *(Уходит.)*

Пищик. Давненько не был у вас... прекраснейшая... *(Лопахину.)* Ты здесь... рад тебя видеть... громаднейшего ума человек... возьми... получи... *(Подает Лопахину деньги.)* Четыреста рублей... За мной остается восемьсот сорок...

Лопахин *(в недоумении пожимает плечами)*. Точно во сне... Ты где же взял?

Пищик. Постой... Жарко... Событие необычайнейшее. Приехали ко мне англичане и нашли в земле какую-то белую глину... *(Любови Андреевне.)* И вам четыреста... прекрасная... удивительная... *(Подает деньги.)* Остальные потом. *(Пьет воду.)* Сейчас один молодой человек рассказывал в вагоне, будто какой-то... великий философ советует прыгать с крыш... «Прыгай!», говорит, и в этом вся задача. *(Удивленно.)* Вы подумайте! Воды!..

Лопахин. Какие же это англичане?

Пищик. Сдал им участок с глиной на двадцать четыре года... А теперь, извините, некогда... надо скакать дальше... Поеду к Знойкову... к Кардамонову... Всем должен... *(Пьет.)* Желаю здравствовать... В четверг заеду...

Любовь Андреевна. Мы сейчас переезжаем в город, а завтра я за границу.

Пищик. Как? *(Встревоженно.)* Почему в город? То-то я гляжу на мебель... чемоданы... Ну, ничего... *(Сквозь слезы.)* Ничего... Величайшего ума люди... эти англичане... Ничего... Будьте счастливы... Бог поможет вам... Ничего... Всему на этом свете бывает конец... *(Целует руку Любови Андреевне.)* А дойдет до вас слух, что мне конец пришел, вспомните вот эту самую... лошадь и скажите: «Был на свете такой, сякой... Симеонов-Пищик... царство ему небесное»... Замечательнейшая погода... Да... *(Уходит в сильном смущении, но тотчас же возвращается и говорит в дверях.)* Кланялась вам Дашенька! *(Уходит.)*

Любовь Андреевна. Теперь можно и ехать. Уезжаю я с двумя заботами. Первая — это больной Фирс. *(Взглянув на часы.)* Еще минут пять можно...

Аня. Мама, Фирса уже отправили в больницу. Яша отправил утром.

Любовь Андреевна. Вторая моя печаль — Варя. Она привыкла рано вставать и работать, и теперь без труда она как рыба без воды. Похудела, побледнела и плачет, бедняжка...

Пауза.

Вы это очень хорошо знаете, Ермолай Алексеич; я мечтала... выдать ее за вас, да и по всему видно было, что вы женитесь. *(Шепчет Ане, та кивает Шарлотте, и обе уходят.)* Она вас любит, вам она по душе, и не знаю, не знаю, почему это вы точно сторонитесь друг друга. Не понимаю!

Лопахин. Я сам тоже не понимаю, признаться. Как-то странно все... Если есть еще время, то я хоть сейчас готов... Покончим сразу — и баста, а без вас я, чувствую, не сделаю предложения.

Любовь Андреевна. И превосходно. Ведь одна минута нужна, только. Я ее сейчас позову...

Лопахин. Кстати и шампанское есть. *(Поглядев на стаканчики.)* Пустые, кто-то уже выпил.

Яша кашляет.

Это называется вылакать...

Любовь Андреевна *(оживленно)*. Прекрасно. Мы выйдем... Яша, allez![1] Я ее позову... *(В дверь.)* Варя, оставь все, поди сюда. Иди! *(Уходит с Яшей.)*

Лопахин *(поглядев на часы)*. Да...

Пауза.

За дверью сдержанный смех, шепот, наконец входит Варя.

---

[1] Идите! *(франц.)*

Варя (*долго осматривает вещи*). Странно, никак не найду...

Лопахин. Что вы ищете?

Варя. Сама уложила и не помню.

Пауза.

Лопахин. Вы куда же теперь, Варвара Михайловна?

Варя. Я? К Рагулиным... Договорилась к ним смотреть за хозяйством... в экономки, что ли.

Лопахин. Это в Яшнево? Верст семьдесят будет.

Пауза.

Вот и кончилась жизнь в этом доме...

Варя (*оглядывая вещи*). Где же это... Или, может, я в сундук уложила... Да, жизнь в этом доме кончилась... больше уже не будет...

Лопахин. А я в Харьков уезжаю сейчас... вот с этим поездом. Дела много. А тут во дворе оставляю Епиходова... Я его нанял.

Варя. Что ж!

Лопахин. В прошлом году об эту пору уже снег шел, если припомните, а теперь тихо, солнечно. Только что вот холодно... Градуса три мороза.

Варя. Я не поглядела.

Пауза.

Да и разбит у нас градусник...

Пауза.

Голос в дверь со двора: «Ермолай Алексеич!..

Лопахин (*точно давно ждал этого зова*). Сию минуту! (*Быстро уходит.*)

Варя, сидя на полу, положив голову на узел с платьем, тихо рыдает. Отворяется дверь, осторожно входит Любовь Андреевна.

Любовь Андреевна. Что?

Пауза.

Надо ехать.

Варя (*уже не плачет, вытерла глаза*). Да, пора, мамочка. Я к Рагулиным поспею сегодня, не опоздать бы только к поезду...

Любовь Андреевна (*в дверь*). Аня, одевайся!

Входит Аня, потом Гаев, Шарлотта Ивановна. На Гаеве теплое пальто с башлыком. Сходится прислуга, извозчики. Около вещей хлопочет Епиходов.

Теперь можно и в дорогу.

Аня (*радостно*). В дорогу!

Гаев. Друзья мои, милые, дорогие друзья мои! Покидая

этот дом навсегда, могу ли я умолчать, могу ли удержаться, чтобы не высказать на прощанье те чувства, которые наполняют теперь все мое существо...

Аня *(умоляюще)*. Дядя!

Варя. Дядечка, не нужно!

Гаев *(уныло)*. Дуплетом желтого в середину... Молчу...

Входит Трофимов, потом Лопахин.

Трофимов. Что же, господа, пора ехать!

Лопахин. Епиходов, мое пальто!

Любовь Андреевна. Я посижу еще одну минутку. Точно раньше я никогда не видела, какие в этом доме стены, какие потолки, и теперь я гляжу на них с жадностью, с такой нежной любовью...

Гаев. Помню, когда мне было шесть лет, в Троицын день я сидел на этом окне и смотрел, как мой отец шел в церковь...

Любовь Андреевна. Все вещи забрали?

Лопахин. Кажется, все. *(Епиходову, надевая пальто.)* Ты же, Епиходов, смотри, чтобы все было в порядке.

Епиходов *(говорит сиплым голосом)*. Будьте покойны, Ермолай Алексеич!

Лопахин. Что это у тебя голос такой?

Епиходов. Сейчас воду пил, что-то проглотил.

Яша *(с презрением)*. Невежество...

Любовь Андреевна. Уедем — и здесь не останется ни души...

Лопахин. До самой весны.

Варя *(выдергивает из угла зонтик, похоже, как будто она замахнулась; Лопахин делает вид, что испугался)*. Что вы, что вы... Я и не думала.

Трофимов. Господа, идемте садиться в экипажи... Уже пора! Сейчас поезд придет!

Варя. Петя, вот они, ваши калоши, возле чемодана. *(Со слезами.)* И какие они у вас грязные, старые...

Трофимов *(надевая калоши)*. Идем, господа!..

Гаев *(сильно смущен, боится заплакать)*. Поезд... станция... Круазе в середину, белого дуплетом в угол...

Любовь Андреевна. Идем!

Лопахин. Все здесь? Никого там нет? *(Запирает боковую дверь налево.)* Здесь вещи сложены, надо запереть. Идем!..

Аня. Прощай, дом! Прощай, старая жизнь!

Трофимов. Здравствуй, новая жизнь!.. *(Уходит с Аней.)*

Варя окидывает взглядом комнату и не спеша уходит. Уходят Яша и Шарлотта с собачкой.

Лопахин. Значит, до весны. Выходите, господа... До свиданция!.. *(Уходит.)*

Любовь Андреевна и Гаев остались вдвоем. Они точно ждали этого, бросаются на шею друг другу и рыдают сдержанно, тихо, боясь, чтобы их не услышали.

Гаев *(в отчаянии)*. Сестра моя, сестра моя...

Любовь Андреевна. О мой милый, мой нежный, прекрасный сад!.. Моя жизнь, моя молодость, счастье мое, прощай!.. Прощай!..

Голос Ани весело, призывающе: «Мама!..»
Голос Трофимова весело, возбужденно: «Ау!..»

Любовь Андреевна. В последний раз взглянуть на стены, на окна... По этой комнате любила ходить покойная мать...

Гаев. Сестра моя, сестра моя!..

Голос Ани: «Мама!..»
Голос Трофимова: «Ау!..

Любовь Андреевна. Мы идем!..

Уходят.

Сцена пуста. Слышно, как на ключ запирают все двери, как потом отъезжают экипажи. Становится тихо. Среди тишины раздается глухой стук топора по дереву, звучащий одиноко и грустно. Слышатся шаги. Из двери, что направо, показывается Фирс. Он одет, как всегда, в пиджаке и белой жилетке, на ногах туфли. Он болен.

Фирс *(подходит к двери, трогает за ручку)*. Заперто. Уехали... *(Садится на диван.)* Про меня забыли... Ничего... я тут посижу... А Леонид Андреич небось шубы не надел, в пальто поехал... *(Озабоченно вздыхает.)* Я-то не поглядел... Молодо-зелено! *(Бормочет что-то, чего понять нельзя.)* Жизнь-то прошла, словно и не жил. *(Ложится.)* Я полежу... Силушки-то у тебя нету, ничего не осталось, ничего... Эх ты... недотепа!.. *(Лежит неподвижно.)*

Слышится отдаленный звук, точно с неба, звук лопнувшей струны, замирающий, печальный. Наступает тишина, и только слышно, как далеко в саду топором стучат по дереву.

Занавес

1903—1904

Комментарии

Ф. М. ДОСТОЕВСКИЙ

«УНИЖЕННЫЕ И ОСКОРБЛЕННЫЕ»

Опубликован роман в журнале «Время», 1861, № 1—7.

Первоначально имел подзаголовок «Из записок неудавшегося литератора» и посвящался М. М. Достоевскому. В отдельном издании, вышедшем осенью того же 1861 года, подзаголовок был снят.

Стр. 31. Мефистофель в собачьем виде...— Мефистофель — герой произведения Гёте «Фауст»; черт, дьявол. В первых сценах появляется в виде черного пуделя.

Стр. 32. Гофман Эрнст Теодор Амадей (1776—1822) — немецкий романтик, автор фантастических повестей.

Гаварни Поль (1804—1866) — французский художник-иллюстратор повестей Гофмана.

Стр. 33. ...трещал августин...— «Ах, мой милый Августин», пулярная мещанская немецкая песенка.

...виц или шарфзин... остроумца Сафира.— Виц (*нем.*— Witz) — шутка. Шарфзин (*нем.*— Scharfsinn) — остроумие. Сафир Мориц Готлиб (1795—1858) — немецкий писатель-юморист.

Стр. 34. «Dorfbarbier» (*нем.*) — «Деревенский брадобрей», немецкий юмористический журнал.

Стр. 38. Новый завет — христианская книга Библии.

Ноев ковчег — легендарное судно, в котором, по библейскому рассказу, люди и животные спаслись во главе с Ноем от всемирного потопа.

Стр. 40. ...«Альфонса и Далинду».— «Альфонс и Далинда, или Волшебство искусства и натуры» — сентиментально-нравоувеселительная повесть, напечатанная Н. М. Карамзиным в «Детском чтении» (1787).

Стр. 45. Отверзтый (киижн., поэтич., устар.) — открытый.

Стр. 50. Коллежский советник (дореволюц.) — один из чинов в гражданской службе.

Рославлев и Юрий Милославский — герои исторических романов М. Н. Загоскина (1789—1852) «Рославлев, или Русские в 1812 году» (1831) и «Юрий Милославский, или Русские в 1612 году» (1829).

Стр. 51. Петров день — церковный праздник.

«Оно конечно, Александр Македонский герой, но зачем же стулья ломать?» — слова Городничего из комедии Гоголя «Ревизор».

«Освобождение Москвы» — псевдоисторический авантюрный роман И. Глухарева (1840).

Не засыпа́й на лаврах — не успокаиваться на достигнутом.

Стр. 52. Камергер *(нем.)* — придворное звание.

Атташе — сотрудник посольства.

...в Альнаскары записался...— персонаж комедии Н. И. Хмельницкого (1789—1845) «Воздушные замки» (1818).

Стр. 53. Гёте Иоганн Вольфганг (1749—1832) — немецкий поэт, мыслитель и естествоиспытатель.

«Аббаддонна» — роман Н. А. Полевого (1834).

«Северный трутень» («Северная пчела») — газета, издававшаяся в Петербурге Н. И. Гречем и Ф. В. Булгариным; в 1830—1840-е годы — орган общественной и литературной реакции.

Стр. 67. Сюжет... из одной комедии Скриба...— Скриб Огюстен-Эжен (1791—1861) — французский драматург, популярный автор водевилей и комедий.

Стр. 80. Киот — ящик или шкаф для икон; божница.

Стр. 81. Масон — член масонской организации.

Стр. 86. Бонтон *(франц.*— bonton) — хороший тон, хорошие манеры.

Стр. 88. Страшный суд.— Согласно христианской религии — последнее посмертное судилище, которое окончательно определит судьбы «грешников» и «праведников».

Стр. 92. «Улеглася метелица; путь озарен...» — из стихотворения Я. П. Полонского «Колокольчик» (1854).

Стр. 102. Гоголевский мичман.— Жевакин в «Женитьбе» Гоголя рассказывает о мичмане Петухове.

Стр. 104. Ротшильд.— Имеется в виду банкирский дом Ротшильдов.

Стр. 106. Юлий Цезарь.— Гай Юлий Цезарь (102 или 100 — 44 гг. до н. э.) — государственный деятель, полководец, оратор, писатель.

...обмокни», как у Гоголя...— В драме Гоголя «Тяжба» больная помещица подписалась вместо «Евдокия» — «Обмокни».

Куртизанить *(франц.*— courtiser) — ухаживать, угодничать.

Стр. 122. Аневризм — болезненное расширение кровеносных сосудов.

Стр. 124. Ванька — городской извозчик с бедной упряжью и плохой лошадью.

Гитара — здесь: экипаж.

Стр. 125. ...в головке...— здесь: женская головная повязка.

Стр. 126. Фря — особа, важная персона.

Пава — женщина с горделивой осанкой и плавной походкой.

Стр. 127. Фурия — сварливая, злая женщина.

Частный пристав — начальник полицейского участка в городах.

Маклак — посредник при мелких торговых сделках, перекупщик.

Стр. 130. ...муху задавим — выпить алкогольного.

Parfait amour *(франц.)* — наслаждаться любовью.

Стр. 131. Дюссо — петербургский ресторатор.

Расстегай — пирожок с открытой начинкой.

Лабазник — купец, владелец торгового помещения на базаре (рынке) для торговли зерном, мукой.

Стр. 132. ...по откупам.— Откупа — система продажи спиртных напитков на откуп, то есть за определенную плату, вносимую вперед.

Фальстаф — герой трагедий В. Шекспира.

Точить зубы — злобиться на кого-нибудь.

Поддевка — верхняя мужская одежда в талию с мелкими сборками.

Славянофил — приверженец утопического учения о развитии русского народа на основе православия и примирения сословий.

Английский клуб — название дворянских клубов в Петербурге и Москве.

Стр. 133. Корнелий Непот (ок. 99 — после 32 гг. до н. э.) — римский историк.

Подноготная — сокровенная тайна; правда, скрываемая от всех.

Стр. 134. Гомер (между 12 и 7 вв. до н. э.) — легендарный эпический поэт Древней Греции.

Дант — Данте Алигьери (1265—1321) — итальянский поэт.

Фридрих Барбаруса — Фридрих I Барбаросса (1152—1190) — германский император.

Антрепренер — здесь: издатель.

Мольер Жан Батист (1622—1673) — французский драматург, актер, театральный деятель.

Дон Кихот — герой романа М. Сервантеса «Хитроумный идальго Дон Кихот Ламанчский».

Стр. 141. Раскассировать — уничтожить, ликвидировать.

Пенаты — родной дом.

Стр. 143. Машерочка (от франц. слов ma cher) — моя дорогая.

Стр. 144. Канапе — диван с приподнятым изголовьем, софа.

Кикс *(англ.*— kicks) — неудачный удар кием в бильярдной игре.

Стр. 145. Вертеп — здесь: старинный кукольный театр.

Стр. 146. ...огромный Станислав, качавшийся у него на шее.— Орден Станислава III степени носили на шее.

Стр. 160. ...к барьеру — команда, вызывающая участников дуэли на позицию для выстрела.

Стр. 203. «Детство» и «Отрочество» — произведения Л. Н. Толстого.

Томпаковый *(франц.*— tambac) — из сплава меди и цинка.

Стр. 204. Сотерн — белое французское вино.

Лафит — красное французское вино.

Стр. 206. Стратагема (*греч.*) — военная хитрость; хитрость, уловка.

Стр. 211. Санта-фе-де-Богота — ныне столица Колумбии Богота.

Графиня Хлёстова — персонаж комедии Грибоедова «Горе от ума».

Стр. 224. Левенька и Боренька — герои, упоминаемые в комедии Грибоедова «Горе от ума».

Стр. 230. В Большую Морскую, к Б.— ресторан Бореля в Петербурге.

Стр. 232. Сбреидить — сказать глупость или ложь, соврать.

Колпак-отец (*пренебреж.*) — шляпа, шапка, колпак.

Стр. 234. Играть роль второго лица — не иметь большого значения, влияния.

Шиллер — Фридрих Шиллер (1759—1805), немецкий поэт, драматург, теоретик искусства, историк.

Стр. 236. Пастораль — идиллия, сентиментальность.

Тон полишинеля — шутовской тон.

Стр. 237. Метафизик — человек, склонный к отвлеченным, бесплодным умствованиям.

Филантроп — человек, оказывающий благотворительность, покровительство.

Стр. 239. Конфидент — человек, которому доверяют всякие секреты и тайны.

Стр. 240. Тень в «Гамлете» — «Гамлет» — трагедия В. Шекспира. Тень Гамлета — тень отца Гамлета, убитого в соперничестве.

Стр. 241. Абесса — настоятельница женского монастыря.

Маркиз де Сад — литературное имя графа Донасьена де Сада (1740—1814), французского писателя.

Стр. 244. Талейран — Перигор Шарль Морис (1754—1838) — французский дипломат, государственный деятель.

Стр. 246. Брудершафт (*нем.*— Bruderschaft) — выпить (на) брудершафт, закрепить дружбу застольной процедурой.

Стр. 260. Шлафрок (*нем.*— Schlafrock) — домашний халат.

Стр. 261. Декокт (*лат.*) — отвар из лекарственных трав.

Стр. 268. Фанфаронство — хвастовство.

Стр. 320. ...Виланде...— Виланд Кристоф-Мартин (1733—1813) — немецкий писатель-классик.

Стр. 322. Прикинуться Лазарем — прикинуться бедным, больным.

Стр. 324. Морген-фри (*нем.*— morgen früh) — ранним утром.

А. П. ЧЕХОВ

«СМЕРТЬ ЧИНОВНИКА»

Впервые опубликован в журнале «Осколки», 1883, № 27. Подзаголовок: «Случай». Подпись: А. Чехонте.

Стр. 331. ...в «А р к а д и и»...— летний сад с театром в Петербурге.

«ТОЛСТЫЙ И ТОНКИЙ»

Впервые опубликован в журнале «Осколки», 1883, № 40. Подпись: А. Чехонте.

Стр. 332. Г е р о с т р а т — грек, сжегший в 356 г. до н. э. храм Артемиды Эфесской, чтобы обессмертить свое имя.

Э ф и а л ь т (ок. 500—461 гг. до н. э.) — политический деятель древних Афин.

«ХИРУРГИЯ»

Впервые опубликован в журнале «Осколки», 1884, № 32. Первоначально назывался «Сценка». Подпись: А. Чехонте.

Стр. 333. П р о с ф о р а (просвира) — белый круглый хлебец, употребляемый в православном богослужении.

Стр. 334. А ф о н с к а я г о р а — святая гора. А ф о н — полуостров в восточной Греции.

«ХАМЕЛЕОН»

Впервые опубликован в журнале «Осколки», 1884, № 36, с подзаголовком «Сценка». Подпись: А. Чехонте.

«ЛОШАДИНАЯ ФАМИЛИЯ»

Впервые опубликован в «Петербургской газете», 1885, № 183, с подзаголовком «Сценка». Подпись: А. Чехонте.

Стр. 339. А к ц и з н ы й (*нем.*— Akzise — налог на некоторые предметы потребления) — чиновник, собирающий налоги.

«ЗЛОУМЫШЛЕННИК»

Впервые опубликован в «Петербургской газете», 1885, № 200. Подзаголовок: «Сценка». Подпись: А. Чехонте.

Стр. 342. Ш и л и ш п е р — вид рыбы.

Стр. 344. У л о ж е н и е — свод законов.

«УНТЕР ПРИШИБЕЕВ»

Впервые опубликован в «Петербургской газете», 1885, № 273. Подзаголовок: «Кляузник» («Сценка»). Подпись: А. Чехонте.

Стр. 346. К а п т е н а р м у с (*нем.*) — должностное хозяйственное лицо в войсковой части.

«ЕГЕРЬ»

Впервые опубликован в «Петербургской газете», 1885, № 194, с подзаголовком «Сценка». Подпись: А. Чехонте.

Стр. 348. Ягдташ (*нем.*— Jagdtasche) — охотничья сумка.

«ТОСКА»

Впервые опубликован в «Петербургской газете», 1886, № 26. Подпись: А. Чехонте.

«ВАНЬКА»

Впервые опубликован в «Петербургской 1886, № 354, подписью: А. Чехонте.

Стр. 357. Шпандырь — ремень, которым сапожники прикрепляют работу к ноге.

«МАЛЬЧИКИ»

Впервые опубликован в «Петербургской газете», 1887, № 350. Подзаголовок: «Сценка». Подпись: А. Чехонте.

Стр. 361. Майн Рид — Рид Томас Майн (1818—1883) — английский писатель.

«СПАТЬ ХОЧЕТСЯ»

Впервые опубликован в «Петербургской газете», 1888, № 24, за подписью: А. Чехонте.

«ПОПРЫГУНЬЯ»

Впервые опубликован в журнале «Север», 1892, № 1. Подпись: Антон Чехов.

Стр. 368. Прозектор — заведующий патологоанатомическим вскрытием трупов (в клинике, больнице).

Стр. 369. Анималист — художник, изображающий животных.

Стр. 370. Бенефис — спектакль в пользу одного из участвующих.

Стр. 373. Троица (троицын день) — в христианском учении божество, в котором соединяются три лица: бог-отец, бог-сын, бог — дух святой.

Стр. 378. Мазини Анджело (1844—1926) — итальянский оперный певец.

Стр. 379. Ватерпруф — длинное женское платье.

Стр. 380. Поленов В. Д. (1844—1927) — русский живописец.

Стр. 384. Барнай Людвиг (1842—1924) — немецкий драматический артист.

«В ССЫЛКЕ»

Впервые напечатан в журнале «Всемирная иллюстрация», 1892, т. XLVII, № 20. Подзаголовок: «Очерк Ант. П. Чехова». Подпись — факсимиле.

Стр. 389. Карбас — большая лодка с высокими бортами.

Нельма — хищная рыба северных рек из семейства лососевых.

Стр. 390. Успеньев день — религиозный праздник.

Стр. 394. Мерлушковый — мех, выделанный из шкурки молодой овцы.

«ПАЛАТА № 6»

Впервые напечатан в журнале «Русская мысль», 1892, № 11. Подпись: Антон Чехов.

Стр. 396. Курная изба — изба, отапливаемая без трубы.

Стр. 404. Кастелянша — женщина, заведующая в больнице (общежитии, гостинице) бельевым хозяйством.

Стр. 407. Акафист — род хвалебного церковного песнопения.

Кадильница — сосуд для благовонных курений.

Ладан — ароматическая смола, которой курят при религиозных богослужениях.

Стр. 411. Антисептика — обеззараживание ран при гнойных инфекциях.

Пирогов Н. И. (1810—1881) — хирург, педагог, основатель русской военно-полевой хирургии.

Стр. 412. Пастер Луи (1822—1895) — французский естествоиспытатель и бактериолог.

Кох Роберт (1843—1910) — немецкий бактериолог.

Бастилия — крепость и тюрьма в Париже, разрушенная во время французской буржуазной революции.

Стр. 413. Мантифолия с уксусом — бытовое таганрогское выражение, равнозначное словам: чепуха, ерунда.

Стр. 416. Вольтер (1694—1778) — французский писатель, философ, историк.

Диоген Синопский (404—323 гг. до н. э.) — древнегреческий философ.

Стр. 419. Марк Аврелий (121—180) — римский император, философ.

Стр. 420. Гефсиманский сад — роща на Еланской горе возле Иерусалима.

Синекура — должность, дающая хороший доход и не требующая труда.

Стр. 427. Иверская — икона Иверской богоматери.

Храм Спасителя — храм Христа.

Румянцевский музей — собрание книг, рукописей и других коллекций. Основан гр. Н. П. Румянцевым (1754—1826). С 1925 года — Государственная библиотека им. В. И. Ленина.

...у Тестова — в ресторане Тестова.

Гурман — любитель и ценитель изысканных блюд.

Стр. 428. Вавилон — древний город в Двуречье на берегу Евфрата.

Стр. 434. Стетоскоп — трубка для выслушивания тонов сердца и легких.

«СТУДЕНТ»

Впервые опубликован в газете «Русские ведомости», 1894, № 104, под заглавием: «Вечером». Подпись: Антон Чехов.

Стр. 439. Тяга — охота на перелетных птиц.

«УЧИТЕЛЬ СЛОВЕСНОСТИ»

Впервые опубликован: первая глава в журнале «Новое время», 1889, № 4940, под заголовком: «Обыватели». Подпись: Антон Чехов. Вторая глава — в газете «Русские ведомости», 1894, № 188. Под заглавием: «Учитель словесности», с подзаголовком: «Рассказ».

Стр. 442. Мария Годфруа.— В 1877 г. в Таганроге гастролировал цирк братьев Годфруа. Мария Годфруа — прекрасная наездница.

Мундштук (*нем.*) — металлический прибор для управления верховой лошадью, часть которого вкладывается в рот лошади.

Стр. 446. Принцип Третьего отделения — принцип личной канцелярии русских царей заниматься политическим сыском и борьбой с демократическим и революционным движением.

Стр. 447. «Грешница» — стихотворение А. К. Толстого.

Лессинг Г.-Э. (1729—1781) — немецкий писатель-просветитель, драматург и критик. Его произведение «Гамбургская драматургия». Русский перевод — 1883 г.

Стр. 448. «Ох, недаром, недаром она с гусаром!» — эпиграмма М. Ю. Лермонтова «Толстой»: «Не даром она, не даром С отставным гусаром».

Стр. 449. ...битва при Калке...— битва на реке Калке русских и половецких войск против татаро-монгольских полчищ.

«АННА НА ШЕЕ»

Впервые напечатан в газете «Русские ведомости», 1895, № 292. Подзаголовок: «Рассказ».

«ДОМ С МЕЗОНИНОМ»

Впервые опубликован в журнале «Русская мысль», 1896, кн. IV, № 4. Подпись: Антон Чехов.

Стр. 473. Олеография — способ печатания копий с картин, писанных масляными красками. Копия, писанная таким способом.

Стр. 482. Виши — город в Центральной Франции.

«ЧЕЛОВЕК В ФУТЛЯРЕ»

Впервые напечатан в журнале «Русская мысль», 1898, № 7. Подзаголовок: «Рассказ». Подпись: Антон Чехов.

Стр. 488. ...разных там Боклей.— Бокль Генри Томас (1821—1862) — английский историк.

Стр. 491. «глитай абож паук» *(укр.)* — мироед или паук.

Стр. 493. Манкировать *(франц.)* — отсутствовать, не являться на службу.

«КРЫЖОВНИК»

Впервые опубликован в журнале «Русская мысль», 1898, № 8. Перед заглавием стоит: II. Подпись: Антон Чехов.

Чехов считал этот рассказ вторым из трилогии: «Человек в футляре», «Крыжовник» и «О любви».

Стр. 498. Кантонист — солдатский сын, прикрепленный со дня рождения к военному ведомству.

«ИОНЫЧ»

Впервые опубликован в «Ежемесячных литературных приложениях» к журналу «Нива», 1898, № 9.

Стр. 504. Когда еще я не пил слез из чаши бытия...— строка из романса М. Л. Яковлева на слова «Элегии» А. Дельвига.

Стр. 506. Умри, Денис, лучше не напишешь — оценка, данная князем Г. А. Потемкиным после первого представления «Недоросля» Д. И. Фонвизина.

Стр. 507. Твой голос для меня, и ласковый и томный...— начальная перефразированная строка романса А. Г. Рубинштейна на «Ночь» Пушкина: «Мой голос для тебя и ласковый, и томный...»

Стр. 514. Бонжурте (*франц.* bon jour) — добрый день.

«СЛУЧАЙ ИЗ ПРАКТИКИ»

Впервые напечатан в журнале «Русская мысль», 1898, № 12, с подзаголовком: «Рассказ». Подпись: Антон Чехов.

«ДУШЕЧКА»

Впервые напечатан в журнале «Семья», 1899, № 1. Подзаголовок: «Рассказ» Антона Чехова. Подпись: Антон Чехов.

Стр. 528. «Фауст наизнанку» — русское название оперетты «Маленький Фауст» Эрве (1825—1892). В ней пародируется опера Ш. Гуно.

«Орфей в аду» — оперетта Ж. Оффенбаха (1819—1880).

«ДАМА С СОБАЧКОЙ»

Впервые напечатан в журнале «Русская мысль», 1899, № 12, с подзаголовком: «Рассказ». Подпись: Антон Чехов.

Стр. 545. «Гейша» — оперетта английского композитора Сидиея Джоиса (1896).

Стр. 546. Боа (*лат.*) — женский шарф из меха или перьев.

«НЕВЕСТА»

Впервые опубликован в «Журнале для всех», 1902, № 4. Подпись: Антон Чехов.

Стр. 556. Камилавка — высокий головной убор православного священника.

«ВИШНЕВЫЙ САД»

Впервые опубликована в сборнике товарищества «Знание» на 1903 год, кн. 2, СПБ, 1904.

Стр. 571. ...пошла бы себе в пу́стынь, потом в Киев...— то есть на богомолье. Пу́стынь — монастырь, построенный в безлюдном месте; Киев — Киево-Печерская лавра, «святое место», место паломничества богомольцев.

Стр. 572. Желтого в угол! Дуплет в середину!.. Режу в угол!..— слова, употребляемые при бильярдной игре.

Пачули — сильно пахнущие духи из эфирного масла; добываются из тропических растений пачулей.

Стр. 574. Аукцион (*нем.*) — публичная продажа имущества, при которой продаваемая вещь достанется тому, кто даст более высокую цену.

Стр. 579. Присяжный поверенный — адвокат.

Вексель (*нем.*) — письменное обязательство в уплате денег определенному лицу в установленный срок.

Стр. 580. ...от двух бортов в середину! Кладу стого...— слова, употребляемые в бильярдной игре.

Стр. 582. Тальмочка (тальма) — длинная одежда без рукавов.

Стр. 583. Половой — слуга в трактире.

Стр. 584. Дуплет в угол... Круазе в середину — слова, употребляемые в бильярдной игре.

Стр. 585. «И за деньги русака немцы офранцузят» — видимо, слова из куплетов популярного тогда водевиля.

Стр. 589. Брат мой, страдающий брат...— неточно цитируемая строка из популярного в 90-е годы стихотворения С. Надсона «О брат мой, усталый, страдающий брат!».

...выдь на Волгу, чей стон...— начальная строка стихотворения Н. А. Некрасова.

«Охмелия, иди в монастырь»... «Охмелия, о нимфа, помяни меня в твоих молитвах!» — Охмелия — искаженное Офелия, героиня трагедии В. Шекспира (1564—1616) «Гамлет». Обе фразы — цитаты из «Гамлета».

Стр. 592. Лошадь Калигулы.— Римский император Гай Юлий Цезарь (102 или 100 — 44 гг. н. э.), прозванный Калигулой, отличался деспотизмом и сумасбродством, хотел сделать консулом своего коня.

Ницше — Ницше Фридрих (1844—1900) — немецкий реакционный философ-идеалист.

Стр. 600. Анчоусы — мелкая рыба из породы сельдей.

СОДЕРЖАНИЕ

В. И. Кулешов. В мире идей и образов двух великих реалистов 3

Ф. М. Достоевский

«УНИЖЕННЫЕ И ОСКОРБЛЕННЫЕ»

Роман в четырех частях

Часть I 29
Часть II 101
Часть III 171
Часть IV 247
Эпилог 305

А. П. Чехов

РАССКАЗЫ

Смерть чиновника 329
Толстый и тонкий 332
Хирургия 333
Хамелеон 336
Лошадиная фамилия 339
Злоумышленник 342
Унтер Пришибеев 345
Егерь 348
Тоска 351
Ванька 356
Мальчики 359

Спать хочется 364
Попрыгунья 368
В ссылке 388
Палата № 6 395
Студент 439
Учитель словесности 442
Анна на шее 461
Дом с мезонином. *(Рассказ художника)* 471
Человек в футляре 485
Крыжовник 496
Ионыч 504
Случай из практики 518
Душечка 527
Дама с собачкой 536
Невеста 550

«ВИШНЕВЫЙ САД»

Комедия в четырех действиях

Действие первое 567
Действие второе 581
Действие третье 591
Действие четвертое 602
Комментарии 611

БИБЛИОТЕКА МИРОВОЙ ЛИТЕРАТУРЫ
ДЛЯ ДЕТЕЙ

(том 12)

Федор Михайлович Достоевский

«УНИЖЕННЫЕ И ОСКОРБЛЕННЫЕ»
Роман

Антон Павлович Чехов

РАССКАЗЫ.
«ВИШНЕВЫЙ САД»
Комедия

ИБ № 3435

Ответственный редактор
К. А. Черненко

Художественный редактор
Н. И. Комарова

Технический редактор
Т. Ю. Юрханова

Корректоры
Л. А. Рогова и А. П. Саркисян

*

Сдано в набор 19.06.79. Подписано к печати 18.04.80. Формат 60×90¹/₁₆. Бум. типогр. № 1. Шрифт академический. Печать высокая. Усл. печ. л. 40,13. Уч.-изд. л. 41,21+9 вкл.=41,8. Тираж 404 000 (1—200 000) экз. Заказ № 5107.
Цена 1 р. 90 к.

Ордена Трудового Красного Знамени издательство «Детская литература» Государственного комитета РСФСР по делам издательств, полиграфии и книжной торговли. Москва, Центр, М. Черкасский пер., 1. Ордена Трудового Красного Знамени фабрика «Детская книга» № 1 Росглавполиграфпрома Государственного комитета РСФСР по делам издательств, полиграфии и книжной торговли. Москва, Сущевский вал, 49.

Отпечатано с фотополимерных форм «Целлофот»

Достоевский Ф. М.

Д70 Униженные и оскорбленные: Роман. Чехов А. П. Рассказы; Вишневый сад: Комедия/Вступит. статья и примеч. В. И. Кулешова; Рис. В. П. Панова.— М.: Дет. лит., 1980.— 622 с., ил., 9 л. ил. (Б-ка мировой лит-ры для детей).

В пер.: 1 р. 90 к.

Вошедшие в том произведения двух великих художников слова Ф. М. Достоевского и А. П. Чехова позволяют судить о своеобразии путей развития критического реализма, о богатстве художественных образов и преемственности лучших традиций русской классической литературы: ее гуманизма, свободолюбия, боли за судьбу и участь простого человека.

Д $\frac{70803—310}{M101(03)80}$ Подп. изд. РІ

1 р. 90 к.

ИЗДАТЕЛЬСТВО «ДЕТСКАЯ ЛИТЕРАТУРА»